This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

**Правила использовапия**

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

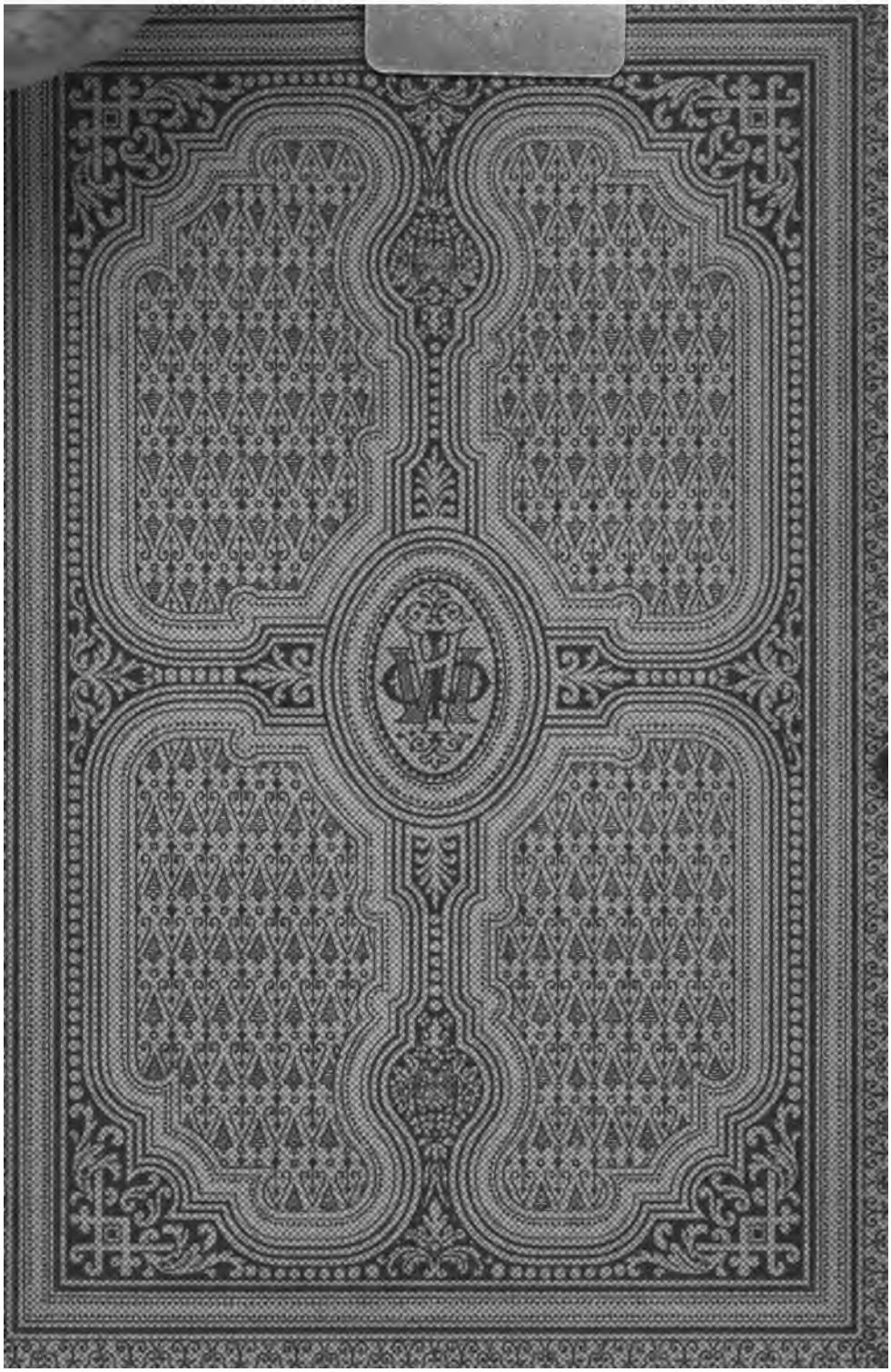
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

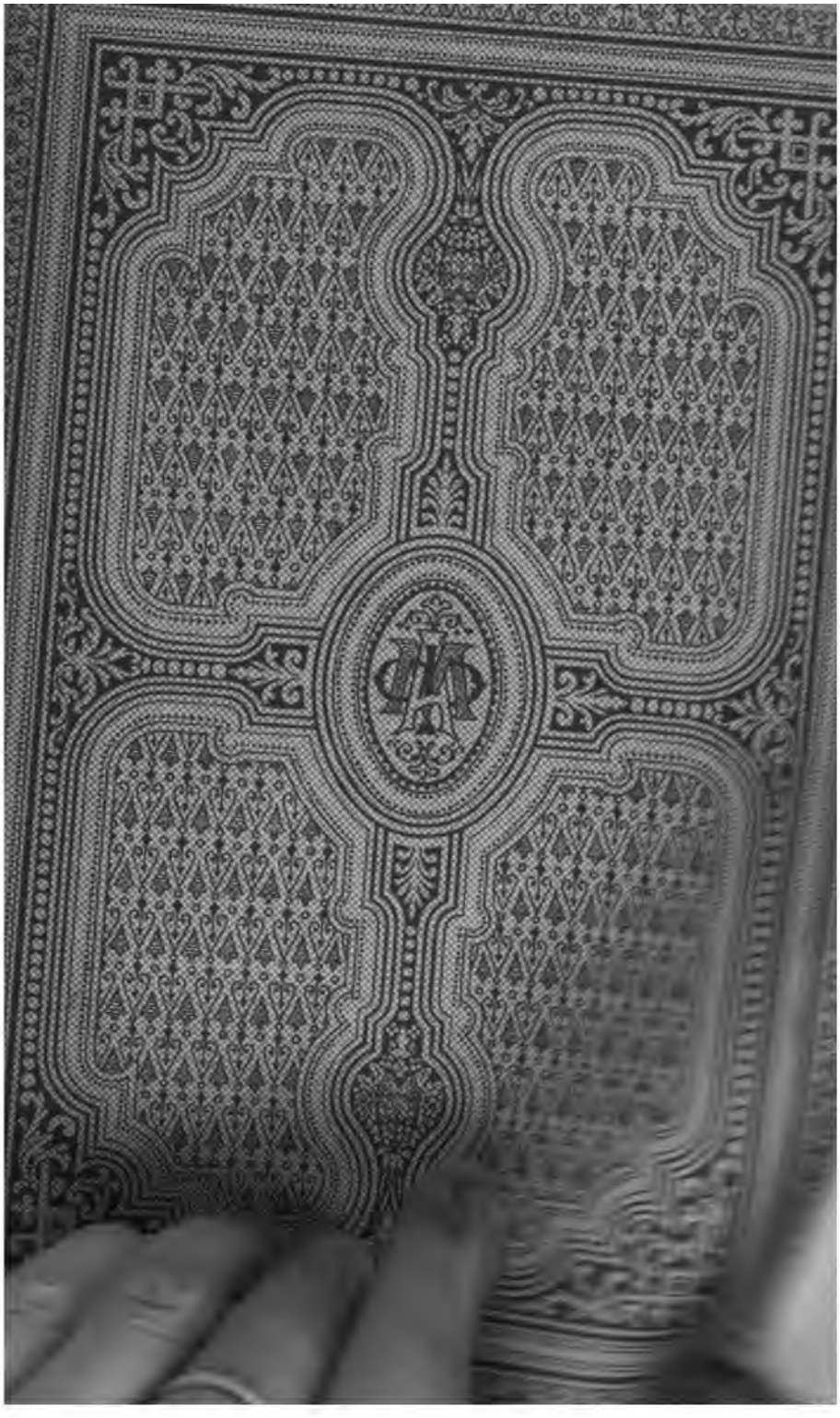
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

**О программе Поиск кпиг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

# Сочиненія Н. А. Полевой





# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

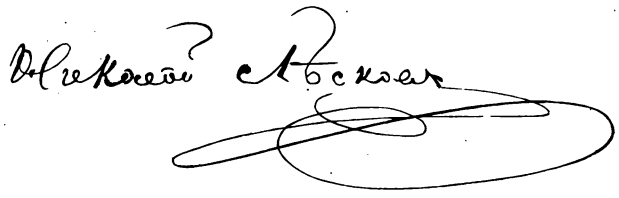
СОЧИНЕНІЙ

# Н. С. ЛѢСКОВА.

---

**ТОМЪ ПЕРВЫЙ.**

Печ. [illegible] Ф. А. Брокгауза [illegible]

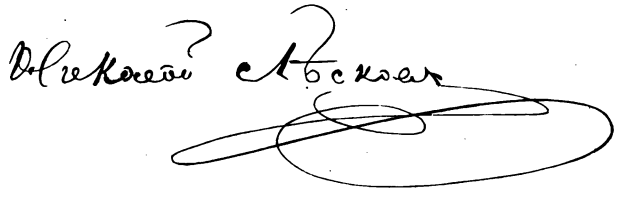


Дозволено Цензурою 1 Августа 1896 Печат. въ Артистич. Зав. А. Ф. Маркса въ

# А.

о, съ
очаго
цигѣ.

Печ. [illegible] Б. А. Бронштуно въ [illegible]



Дозволено Цензурою 1 Августа 1896 Печат. въ Артистич. Зав. А. Ф. Маркса въ СПБ

Дозво,

# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

# Н. С. ЛѢСКОВА.

---

**ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ**

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго, съ приложеніемъ пяти портретовъ Лѣскова и снимка съ его рабочаго кабинета, гравированныхъ на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

---

**ТОМЪ ПЕРВЫЙ.** – 1

---

СОДЕРЖАНІЕ:

Соборяне.—На краю свѣта.—Запечатлѣнный ангелъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
**Изданіе А. Ф. МАРКСА.**
1897.

Типографія **А. Ф. МАРКСА**, Средняя Подъяческая, д. № 1.

# Николай Семеновичъ Лѣсковъ.

Чтобы оцѣнить писателя по достоинству, надо прежде всего его понять. Это элементарное правило здравой критики соблюдается очень рѣдко. Обыкновенно критикъ, придерживаясь извѣстныхъ воззрѣній и подвергая даннаго писателя оцѣнкѣ, только удостовѣряется, подходитъ ли этотъ писатель подъ его воззрѣнія, и если подходитъ, то одобряетъ его, если не подходитъ — высказываетъ ему порицаніе. Такимъ образомъ господствующій методъ критики мало выясняетъ духовную физіономію писателя: писатель остается въ тѣни, а на первый планъ выступаетъ личность критика.

Николай Семеновичъ Лѣсковъ принадлежитъ къ числу первоклассныхъ нашихъ писателей. Если мы назовемъ Гончарова, Тургенева, Островскаго, Достоевскаго, Писемскаго, Салтыкова, Л. Толстого, то Лѣсковъ присоединяется къ этой блестящей плеядѣ, какъ талантъ не во всемъ имъ равный, но въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ имъ не уступающій и превосходящій ихъ въ другихъ. Но, какъ всѣ эти выдающіеся представители нашей литературы, и Лѣсковъ имѣетъ свою собственную, рѣзко обозначенную физіономію. Онъ сказалъ свое самостоятельное слово. Вся образованная Россія это сознаетъ. Одинъ изъ нашихъ наиболѣе добросовѣстныхъ литературныхъ критиковъ, г. Венгеровъ, слѣдующимъ образомъ характеризуетъ Лѣскова: «Подходя нѣкоторыми сторонами своего таланта къ Островскому, Писемскому и Достоевскому, онъ ни одному изъ этихъ великихъ мастеровъ русскаго слова не уступаетъ по чисто-художественнымъ силамъ... Ни у одного русскаго писателя нѣтъ такого неисчерпаемаго богатства фабулы... Въ тѣсной связи съ богатствомъ фабулы находится сконцентрированность беллетристической манеры Лѣскова...

Наконецъ не много знаетъ Лѣсковъ соперниковъ въ русской литературѣ по колоритности и оригинальности своего языка». Но тотъ же критикъ прибавляетъ, что «критика мало имъ занималась, и только успѣхъ въ публикѣ полнаго собранія его сочиненій скрасилъ это несоотвѣтствовавшее размѣрамъ его художественнаго даровапія положеніе».

Въ послѣднихъ словахъ есть преувеличеніе. О Лѣсковѣ очень много писали, имъ очень много занимались, быть-можетъ, въ общемъ не менѣе, чѣмъ нѣкоторыми другими первоклассными писателями, напр. Гончаровымъ. Были моменты, когда вся Россія говорила о Лѣсковѣ, и никогда читавшая публика о немъ не забывала. Но слова названнаго критика вѣрны въ томъ отношеніи, что духовный обликъ Лѣскова, своеобразность котораго всѣ чувствуютъ, не отмѣченъ и не разъясненъ еще никѣмъ. Вся Россія читаетъ Лѣскова, наслаждается его произведеніями, знакомится по нимъ со многими сторонами русской дѣйствительности, изображенными покойнымъ писателемъ съ неподражаемымъ мастерствомъ, находитъ себѣ въ нихъ нерѣдко утѣшеніе, черпаетъ въ нихъ бодрость,—а русская литературная критика до сихъ поръ не дала ни біографіи, ни сколько-нибудь обстоятельной оцѣнки этого столь заслуженнаго писателя. Правда, Лѣсковъ отчасти раздѣляетъ въ этомъ отношеніи участь другихъ выдающихся представителей русскаго слова. Но врядъ ли кому-либо изъ нихъ посчастливилось менѣе Лѣскова. И Тургеневъ, и Островскій, и Салтыковъ только еще ожидаютъ своего безпристрастнаго критика, но каждому изъ этихъ писателей посвящены обстоятельныя изслѣдованія, въ которыхъ сдѣлана, по крайней мѣрѣ, попытка установить ихъ умственный обликъ. Лѣскову же кромѣ журнальной полемики *), бѣглыхъ рецензій, воспоминаній **), посвящена только одна болѣе серьезная критическая статья, принадлежащая г. Венгерову, да и то это — статья энциклопедическаго словаря (Брокгауза и Ефрона), слѣдовательно удовлетворяющая по своей цѣли и размѣрамъ только требованіямъ, которыя вообще предъявляются статьямъ подобнаго рода.

Спрашивается, почему столь выдающагося писателя, какъ Лѣсковъ, постигла такая участь? Ключъ къ разгадкѣ этого вопроса заключается въ первыхъ строкахъ нашей характеристики. Русская

---

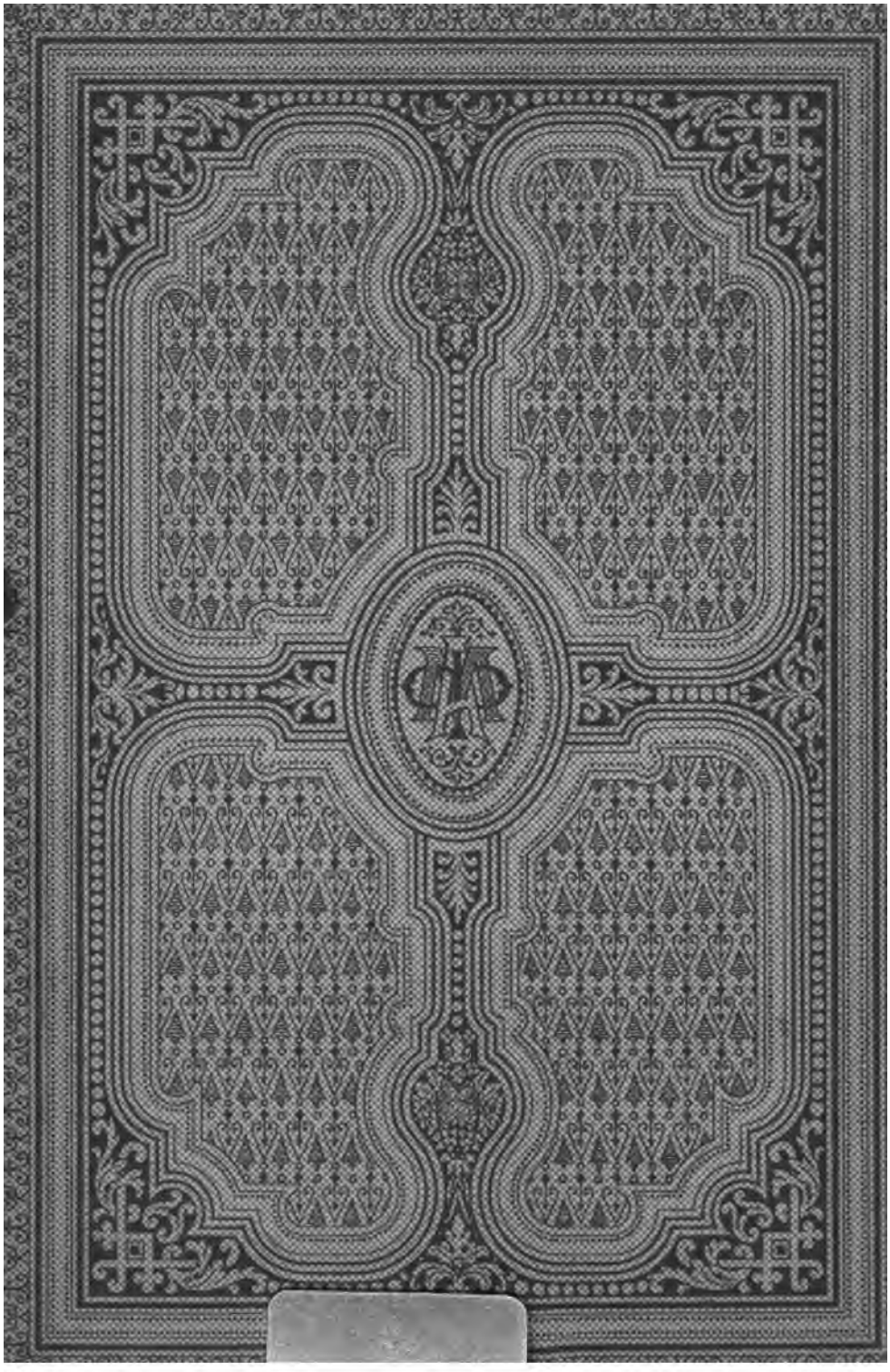
*) Наиболѣе обширныя статьи этого рода принадлежатъ гг. Протопопову и Скабичевскому («Больной талантъ» и «Чѣмъ отличается направленіе въ искусствѣ отъ партійности», — «Русская Мысль» и «Сѣверный Вѣстникъ» 1891 г.).

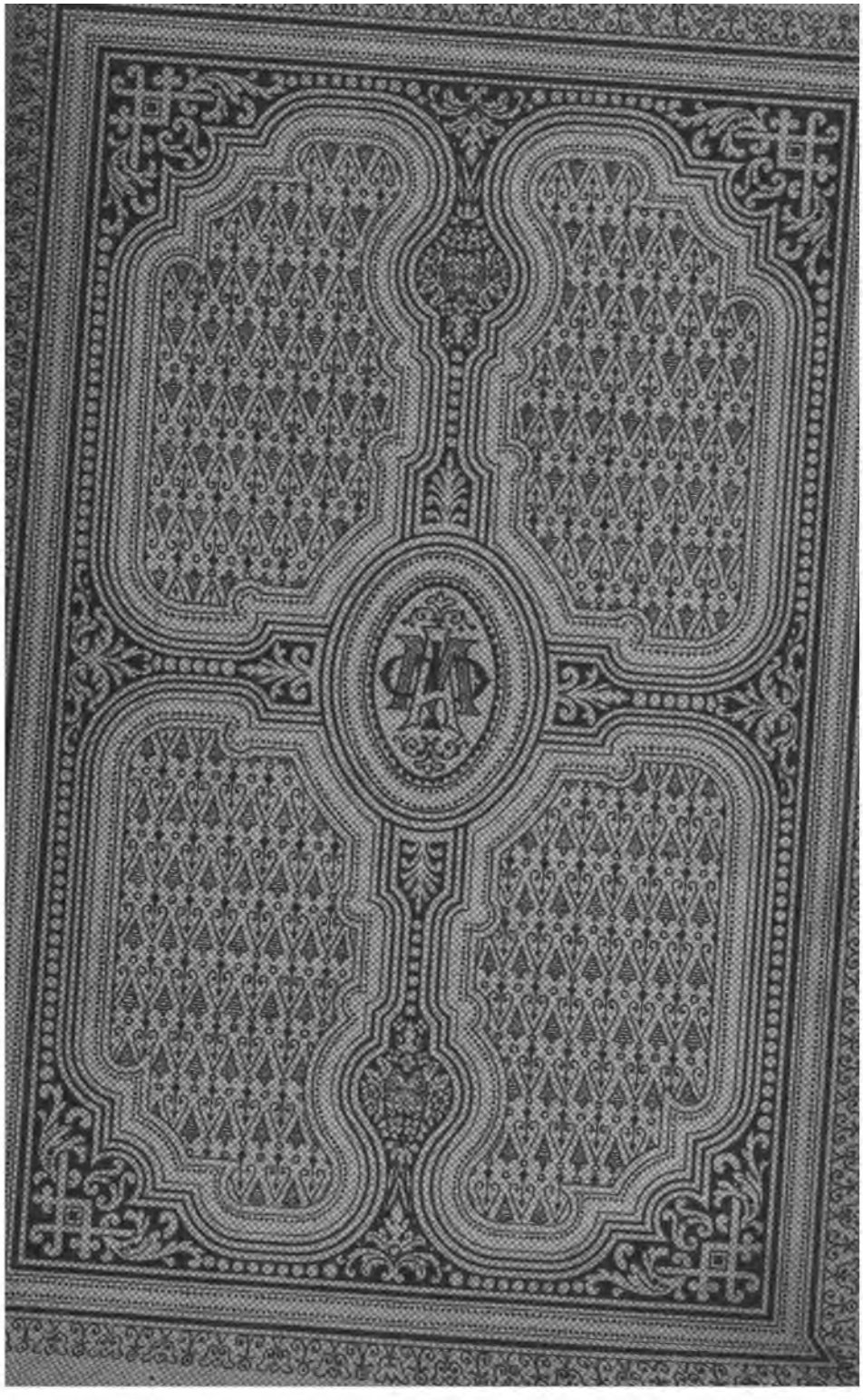
**) «Памяти Н. С. Лѣскова» и «Поминка Н. С. Лѣскова» г. Фаресова («ИсторическійВѣстникъ» 1895 г. и «Книжки Недѣли» 1896 г.).

литературная критика до сихъ поръ не задавалась цѣлью *понять* нашего автора: къ нему прикладывали лишь мѣрку собственныхъ воззрѣній и симпатій тѣ или другіе критики, и такъ какъ Лѣсковъ по причинамъ, которыя мы впослѣдствіи разъяснимъ, подъ эту мѣрку не подходилъ, то оцѣнка его не могла быть ни справедливою, ни убѣдительною. Надъ Лѣсковымъ до сихъ поръ произносила судъ не русская литературная критика, а та или другая партія. Попытаемся же установить его умственный обликъ, руководствуясь не голосомъ представителей разныхъ партій, а анализомъ его произведеній. Осмыслить наслажденіе, которое Лѣсковъ доставляетъ читателю, выяснить, за что онъ боролся и страдалъ, указать на ту высокую цѣль, къ которой онъ стремился всѣми силами своего блестящаго дарованія, отмѣтить, почему онъ на ряду съ другими выдающимися нашими писателями вызывалъ и много злобы, и много любви, словомъ, понять его, вотъ—задача немногихъ, къ сожалѣнію, строкъ, которыя мы можемъ посвятить ему въ этой вступительной статьѣ къ его произведеніямъ.

## I.

«Чтобы понять писателя (поэта), надо побывать въ его странѣ». Это извѣстное и во многихъ отношеніяхъ глубокое изреченіе можетъ быть понято и въ томъ смыслѣ, что надо изучить всю обстановку, въ которой родился, воспитывался и провелъ свою молодость писатель, чтобы должнымъ образомъ его оцѣнить. По крайней мѣрѣ по отношенію къ Лѣскову это безусловно вѣрно. Если мы будемъ его оцѣнивать съ точки зрѣнія разныхъ взглядовъ, стремленій и вѣяній, господствовавшихъ въ нашемъ обществѣ въ періодъ 35-лѣтней литературной дѣятельности Лѣскова, то мы его врядъ ли поймемъ, т. е. уяснимъ себѣ осуществленную имъ крупную литературную задачу. Съ точки зрѣнія этихъ вѣяній онъ постоянно былъ, что называется, не ко двору: ни одна изъ нашихъ партій не признавала его своимъ человѣкомъ, и если онъ повидимому примыкалъ то къ одной, то къ другой, то очень скоро происходилъ разрывъ. Примкнувъ въ началѣ своей литературной дѣятельности къ либеральной партіи, онъ вскорѣ разошелся съ нею и снова какъ бы примкнулъ къ ней подъ конецъ своей жизни. Одно время могло казаться, что онъ прочно присоединился къ консервативной партіи, но и консерваторы вскорѣ отшатнулись отъ него. Если теперь предположить, что воззрѣнія либеральной и консервативной партіи составляютъ нѣчто болѣе или менѣе неизмѣнное, то логически получается тотъ выводъ, что самъ Лѣсковъ сильно колебался въ своихъ воззрѣніяхъ. Такимъ





# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

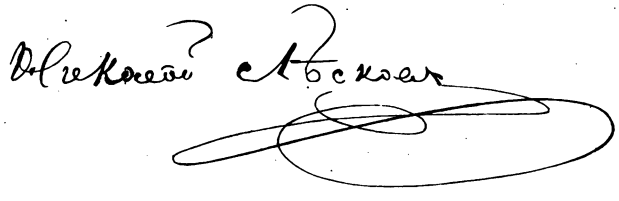
СОЧИНЕНІЙ

# Н. С. ЛѢСКОВА.

---

**ТОМЪ ПЕРВЫЙ.**

Печ. съ стали Ф. А. Брокгауза въ Лейпцигѣ.



Дозволено Цензурою 1 Августа 1896 Печат. въ Артистич. Зав. А. Ф. Маркса

практикомъ, и это его настроеніе повидимому особенно пришлось по душѣ Лѣскову.

Такое же вліяніе имѣлъ на него и второй мужъ жены дяди Лѣскова, пріютившаго его у себя въ Кіевѣ, англичанинъ Шкотъ, управлявшій имѣніями графовъ Перовскихъ и Нарышкиныхъ. Со Шкотомъ и его сыновьями Лѣсковъ поддерживалъ дѣятельныя сношенія въ 50-хъ годахъ до своего переселенія въ Петербургъ. У старика Шкота онъ даже состоялъ на службѣ. Шкоты, какъ англичане, были люди религіозные и въ то же время практики. Видя невѣжество и безпомощность нашего народа, они всячески стремились просвѣтить его въ практическомъ отношеніи, пріучить его къ болѣе совершеннымъ способамъ хозяйничанья, внушить ему культурныя привычки. Все это соотвѣтствовало настроенію Лѣскова, а порученія, которыя ему давали Шкоты, приходились ему по душѣ и удовлетворяли его стремленію придти самому на помощь народу. Кромѣ того они удовлетворяли его любознательности, его страсти къ новымъ наблюденіямъ, а здравое отношеніе къ жизни на почвѣ дѣятельной любви къ ближнему, составлявшей основу міросозерцанія семьи Шкотовъ, гармонировало такъ полно съ настроеніемъ бабушки Александры Васильевны, тети Полли и неразлучной съ нею квакерши Гильдегарды!

II.

Въ предыдущемъ мы старались вкратцѣ охарактеризовать тѣхъ лицъ, которыя имѣли наиболѣе сильное вліяніе на Лѣскова въ дѣтствѣ и молодости. Теперь мы должны коснуться общихъ условій, вліявшихъ на него въ этотъ періодъ его жизни. Лѣсковъ родился, какъ мы видѣли, въ деревнѣ, затѣмъ прожилъ нѣсколько лѣтъ въ губернскомъ городѣ, опять провелъ нѣкоторое время въ деревнѣ, потомъ учился, служилъ, терпѣлъ нужду въ томъ же городѣ, переселился въ Кіевъ, гдѣ имѣлъ близкое прикосновеніе къ университетской жизни, затѣмъ сталъ разъѣзжать въ качествѣ должностного лица по Кіевской губерніи, странствовалъ по значительной части Россіи въ качествѣ агента Шкота и уже въ возрастѣ полной возмужалости, послѣ многихъ житейскихъ невзгодъ и съ громаднымъ запасомъ жизненныхъ наблюденій явился въ качествѣ писателя въ Петербургъ и окунулся въ водоворотъ бурной тогдашней жизни, во время разгара освободительныхъ реформъ незабвеннаго царствованія Александра II.

Дѣтство Лѣскова совпало съ тридцатыми годами, отрочество— съ сороковыми, молодость — съ пятидесятыми. Онъ родился въ вѣкъ, названный великимъ нашимъ поэтомъ «желѣзнымъ», и дѣтскія его воспоминанія наполнены печальными картинами этого вѣка. Присмотрѣлся онъ къ нему не въ столицахъ, а «во глу-

бинѣ Россіи»: онъ видѣлъ печальную картину жизни крѣпостного люда, слышалъ его разсказы въ деревнѣ, а въ городѣ смотрѣлъ какъ на большомъ выгонѣ, на которомъ стояли казенные магазины, учили солдатъ, и какъ ихъ били, — «смотрѣлъ ежедневно, но никакъ не могъ къ этому привыкнуть и всегда плакалъ» («Пугало»). Если бы онъ жилъ не «во глубинѣ Россіи», а въ столицѣ, онъ можетъ-быть вынесъ бы впечатлѣніе, что ничего другого въ Россіи не увидишь и что только въ столицахъ есть сердобольные люди, которые печалятся о народѣ. Но живя «во глубинѣ Россіи» и обладая рѣдкою наблюдательностью, онъ видѣлъ на ряду съ этими печальными картинами и многое другое,—на первый разъ людей, которые тутъ же на мѣстѣ сокрушались объ обездоленныхъ и старались придти имъ на помощь по мѣрѣ силъ и возможности. Уже ребенкомъ онъ вникъ въ народную душу и открылъ въ ней много свѣтлыхъ, но и много темныхъ сторонъ. Достаточно напомнить о потрясающей картинѣ народнаго голода въ 40-хъ годахъ, нарисованной Лѣсковымъ въ его «Юдоли» по дѣтскимъ воспоминаніямъ, чтобы понять, какъ уже въ душѣ ребенка сложилось смутное сознаніе, что народъ безпомощенъ не только вслѣдствіе юридическаго и экономическаго своего положенія, но и вслѣдствіе невѣжества, мрака, всякаго рода предразсудковъ и суевѣрій, которыми онъ опутанъ. И въ этотъ мракъ погруженъ не одинъ народъ, но отчасти и интеллигенція, тѣ, кому довѣрена его судьба. Онъ въ дѣтствѣ видѣлъ на живыхъ примѣрахъ, что народу можно придти на помощь даже въ тогдашнемъ его положеніи, если воодушевиться любовью къ ближнему, отрѣшиться отъ господствовавшихъ предразсудковъ и практически приняться за дѣло. Бабушка Александра Васильевна, тетя Полли, квакерша Гильдегарда служили ему въ томъ порукой, и впечатлѣнія, которыя онъ тогда вынесъ въ этомъ отношеніи, воплотились впослѣдствіи въ характерномъ и мощномъ типѣ княгини Протозановой («Захудалый родъ»). Въ самомъ народѣ и въ другихъ сословіяхъ, — дворянствѣ, духовенствѣ и чиновничествѣ онъ наталкивался уже въ дѣтствѣ на хорошихъ и дурныхъ людей, научился отличать въ одномъ и томъ же человѣкѣ хорошія и дурныя стремленія, видѣлъ, что люди въ очень скромномъ положеніи могутъ сдѣлать массу добра и принести много пользы и что даже самая обширная власть не даетъ благихъ результатовъ, если она находится въ рукахъ неумѣлыхъ или не склонныхъ творить добрыя дѣла. Всѣ дѣтскія впечатлѣнія Лѣскова наталкивали его на мысль, что жизнь прежде всего нуждается въ добрыхъ людяхъ, въ людяхъ готовыхъ придти на помощь ближнему и умѣющихъ это сдѣлать.

Эта готовность и это умѣнье, повидимому, уже тогда составляли идеалы Лѣскова, потому что, когда онъ впослѣдствіи возвращался къ дѣтскимъ своимъ воспоминаніямъ, онъ съ особенною любовью отмѣчалъ людей, въ которыхъ соединялись эти два качества, и такіе люди представлялись ему идеальными дѣятелями.

Во всякомъ случаѣ нельзя сомнѣваться, что Лѣсковъ приступилъ въ началѣ сороковыхъ годовъ къ усиленному чтенію книгъ разнаго рода, имѣя уже въ душѣ при своей крайней впечатлительности запасъ готовыхъ наблюденій, сложившихся симпатій и антипатій. Онъ не читалъ книгъ изъ простой любознательности, но искалъ въ нихъ соотвѣтственнаго настроенія, отвѣта на успѣвшіе уже въ немъ зародиться вопросы. Книга уже въ дѣтствѣ не была для него цѣлью, а лишь средствомъ для удовлетворенія другихъ цѣлей, отчасти уже тогда сложившихся въ немъ благодаря близкому соприкосновенію съ жизнью и многообразными представителями разныхъ сословій и даже разныхъ національностей. Этимъ въ значительной степени объясняется, что книжная мудрость и всѣ вызываемыя ею увлеченія мало коснулись его. По пріѣздѣ въ Кіевъ въ концѣ сороковыхъ годовъ Лѣсковъ часто проводилъ вечеромъ часы въ аллеяхъ верхняго сада съ другими молодыми людьми, съ представителями учащейся молодежи, со студентами. Тамъ образовался даже своеобразный «лицей», и молодежь иногда проводила цѣлыя ночи до бѣла свѣта въ разговорахъ о Кантѣ, Гегелѣ, о «чувствахъ высокаго и прекраснаго и о многомъ другомъ». Дома онъ читалъ Штрауса, Фейербаха, Бюхнера и Бабефа, но тѣмъ не менѣе чувствовалъ себя «одинокимъ и предоставленнымъ самому себѣ». Уже въ началѣ пятидесятыхъ годовъ онъ, возвращаясь на родину, предается слѣдующимъ философскимъ размышленіямъ: «Неужто ничто не перемѣнилось въ то время, когда я пережилъ такъ много: вѣрилъ въ Бога, отвергалъ Его и паки находилъ Его; любилъ мою родину и распинался съ нею и былъ съ распинающими ее». И, вернувшись на родину, онъ спѣшитъ посмотрѣть на знакомыя мѣста, побывать въ «пустынькахъ», какъ онъ въ Кіевѣ тяготѣлъ къ Печерску съ его Лаврою, пещерами и орловскими знакомыми («Овцебыкъ» и «Печерскіе антики»).

Книги не увлекли его въ сторону отъ жизни. Сомнѣнія, которыя въ немъ вызвали Фейербахи, Штраусы, Бабефы, бесѣды съ учащеюся молодежью были чисто поверхностны и скоропреходящи. Уже въ дѣтствѣ онъ слишкомъ глубоко заглянулъ въ жизнь, слишкомъ много видѣлъ въ ней прекраснаго и подмѣтилъ слишкомъ много животрепещущихъ задачъ, чтобы принести ее въ жертву отвлеченнымъ теоріямъ. Въ ряду типовъ изъ всѣхъ классовъ

общества, изображенныхъ имъ съ неподражаемымъ мастерствомъ и усмотрѣнныхъ имъ въ жизни уже въ тотъ ранній періодъ, люди, преисполненные дѣятельной любви къ ближнему, состраданія, готовности жертвовать собою и своимъ достояніемъ ради страждущаго брата, благородныя, возвышенно настроенныя натуры внушили Лѣскову такую любовь къ жизни, что онъ отъ нея уже не могъ оторвать ни своего взора, ни своихъ помысловъ. Бабушка, тетя Полли, Пугало, Голованъ, отецъ Алексѣй, Храпошка—ихъ не перечесть, всѣхъ этихъ людей, которые раскрыли Лѣскову смыслъ жизни, убѣдили его, что жить стòитъ, и заставили его усиленно думать, какъ придти на помощь тѣмъ, изъ-за которыхъ подобныя свѣтлыя личности страдаютъ. Горе у нихъ большое, столь же большое, какъ широко ихъ любвеобильное сердце. И молодому Лѣскову казалось, что Фейербахи и Гегели не помогутъ ихъ горю, что отвлеченныя теоріи вообще въ этомъ отношеніи безсильны. «Овцебыкъ» увлекался ими до самозабвенія, и какъ печальна, трагична его участь: ничего онъ не достигъ, а былъ только смѣшонъ и себя погубилъ. Это одно изъ самыхъ раннихъ и прекрасныхъ произведеній Лѣскова, и въ немъ уже вполнѣ сказалось его скептическое отношеніе къ отвлеченнымъ теоріямъ, когда ими однѣми вооружаются люди, желающіе *дѣйствовать въ жизни*.

Молодость Лѣскова, совпавшая, какъ мы видѣли, съ пятидесятыми годами, могла только упрочить въ немъ это настроеніе. Въ качествѣ секретаря рекрутскаго присутствія въ Кіевѣ и впослѣдствіи агента Шкота онъ въ теченіе почти десяти лѣтъ разъѣзжалъ по Россіи, знакомился съ нею, видѣлъ, чѣмъ она страдаетъ, чего ей недостаетъ, и все болѣе убѣждался, что общими мѣропріятіями, какъ они ни желательны, далеко не всего достигнешь, что нужна еще практическая самодѣятельность общества и самого народа, что безъ нихъ даже наилучшія общія мѣропріятія не принесутъ и сотой доли той пользы, какой отъ нихъ ожидаютъ. Самыя характерныя страницы, посвященныя Лѣсковымъ его дѣятельности въ качествѣ секретаря рекрутскаго присутствія, содержатся въ разсказѣ: «Владычный судъ». Сколько лжи, сколько обмана онъ видѣлъ со стороны самого населенія, и какъ мало въ сущности требовалось чувства справедливости, чтобы предупредить случаи вопіющихъ злоупотребленій! Разсказанный Лѣсковымъ случай обошелся, сравнительно, благополучно, благодаря личному вмѣшательству генералъ-губернатора и архіерея. По закону они собственно не могли предотвратить жестокую обиду, нанесенную бѣдному еврею, но тѣмъ не менѣе нашлось средство ее смягчить, и такимъ образомъ добро-

желательство устранило жестокія послѣдствія обмана и несправедливаго закона.

Но еще болѣе вразумительныя въ этомъ отношеніи страницы посвящены Лѣсковымъ его дѣятельности въ качествѣ агента Шкота. Этотъ англичанинъ, какъ и его сыновья, всячески старались помочь бѣдственному положенію крестьянъ и пользовались вліяніемъ и властью, которыя вполнѣ могли доставить успѣхъ ихъ начинаніямъ. Они управляли имѣніями столь вліятельныхъ государственныхъ дѣятелей, какъ графы Перовскіе, изъ которыхъ одинъ былъ сперва оренбургскимъ военнымъ губернаторомъ, а потомъ самарскимъ, а другой—вицепрезидентомъ департамента удѣловъ и настолько интересовался крестьянскимъ бытомъ, что ввелъ новое управленіе въ удѣльныхъ имѣніяхъ. Оба они были люди гуманные и живо принимали къ сердцу судьбу крестьянъ. Пользуясь такою вліятельною поддержкою, Шкоты задумали обширныя мѣропріятія для улучшенія участи крестьянъ. Но эти опыты постоянно терпѣли неудачу вслѣдствіе невѣжества самихъ крестьянъ. Всѣ попытки ввести болѣе усовершенствованныя земледѣльческія орудія ни къ чему не приводили. Любопытенъ фактъ, какъ въ имѣніи Всеволожскаго для крестьянъ построены были каменныя избы, а крестьяне ни за что не хотѣли въ нихъ поселиться, приравнивая ихъ къ острогу, рядомъ понастроили себѣ курныя избы, а каменныя загрязнили до того, что въ нихъ можно было задохнуться. Любопытно, что рука объ руку съ невѣжествомъ народа шло и невѣжество интеллигентныхъ людей. По этому поводу возгорѣлся ожесточенный споръ, и образовалась даже цѣлая русская партія, защищавшая курную избу противъ каменной, восторгаясь особенно сажей, покрывающей стѣны курной избы, и приписывая ей мнимыя цѣлебныя и всякія другія свойства. Вопросъ этотъ даже горячо обсуждался въ петербургской печати, и курная изба восторжествовала въ этой полемикѣ («Загонъ»). Крайне поучителенъ и разсказъ Лѣскова о томъ, какъ онъ странствовалъ съ переселенцами на баркахъ по Окѣ и Волгѣ. Онъ очень обрадовался предложенію Шкота сопровождать переселенцевъ и по возможности смягчать ихъ участь. Воодушевленный самыми гуманными намѣреніями, онъ оказался однако только игрушкою въ рукахъ самого народа и проявилъ полную свою практическую несостоятельность передъ мужикомъ Петромъ Семеновымъ, которому довѣрено было перевозить переселенцевъ, и передъ секретаремъ исправника, которые предупредили много бѣдъ, въ то время какъ самъ Лѣсковъ, несмотря на всѣ свои добрыя намѣренія, чуть было не ухудшилъ еще болѣе ихъ горькой участи («Продуктъ природы»).

Мы привели здѣсь только нѣсколько отрывочныхъ фактовъ, чтобы охарактеризовать тогдашнее настроеніе Лѣскова. Онъ конечно не менѣе всякаго другого просвѣщеннаго человѣка уяснилъ себѣ при своемъ близкомъ знакомствѣ съ жизнью ненормальность условій, господствовавшихъ въ дореформенной Россіи. Изъ его произведеній ясно видно, какъ глубоко возмущали его душу и крѣпостное право, и судебный произволъ, и несправедливости рекрутскаго набора, и жалкое экономическое положеніе крестьянъ, и его невѣжество, и всякія злоупотребленія властью. Нѣтъ у него почти ни одного произведенія, въ которомъ онъ не представилъ бы краснорѣчивыхъ доказательствъ своего отвращенія къ дореформеннымъ порядкамъ и своей глубокой симпатіи, своего пламеннаго воодушевленія реформами Царя-Освободителя. Не даромъ онъ никогда не разставался съ кольцомъ, въ которое былъ вдѣланъ камень, названный «александритомъ» въ честь этого государя («Александритъ»). Но именно потому, что онъ такъ высоко цѣнилъ эти реформы и считалъ ихъ лучшимъ достояніемъ современной Россіи, онъ, когда наступила заря новой жизни, т. е. въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, сталъ все внимательнѣе присматриваться къ настроенію и дѣятельности той части русскаго общества, которой суждено было главнымъ образомъ осуществить реформы въ жизни. Онъ спрашивалъ себя, —окажется ли она на высотѣ великой и почетной своей задачи? Этотъ вопросъ его волновалъ, не давалъ ему покоя, именно потому, что онъ такъ близко присмотрѣлся къ жизни. Въ Петербургѣ можно было мечтать, что, благодаря реформамъ, люди въ одинъ мигъ переродятся, что всѣ дурные элементы скроются, а всѣ хорошіе всплывутъ на поверхность, что внезапно произойдетъ какое-то общее перерожденіе. Но Лѣсковъ, именно благодаря громадному житейскому своему опыту, въ это перерожденіе не вѣрилъ. Онъ чувствовалъ, что дурные люди будутъ преобладать, что они новыми формами воспользуются для удовлетворенія старыхъ инстинктовъ, и что дѣло, которое онъ такъ свято чтилъ, можетъ быть компрометировано именно самыми горячими его сторонниками вслѣдствіе ихъ непониманія жизни и ея требованій.

## III.

Первое печатное произведеніе Лѣскова появилось въ 1860 г. Это была корреспонденція изъ Кіева о «продажѣ Евангелія на русскомъ языкѣ по возвышеннымъ цѣнамъ». Появилась эта корреспонденція въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ».

Въ произведеніяхъ самого Лѣскова есть указанія, что онъ въ юности не мечталъ о томъ, чтобы сдѣлаться писателемъ. Эта

мысль даже не приходила ему въ голову: онъ только колебался, посвятить ли себя государственной или частной службѣ. Состоя агентомъ Шкота, онъ, понятно, велъ съ нимъ правильную корреспонденцію и въ своихъ письмахъ нерѣдко излагалъ свои впечатлѣнія въ такой интересной формѣ, что Шкотъ ими зачитывался и давалъ читать ихъ членамъ своей семьи и своимъ друзьямъ, въ томъ числѣ писателю И. В. Селиванову. Послѣдній призналъ въ Лѣсковѣ значительныя литературныя дарованія, и такимъ образомъ покровители и друзья Лѣскова начали его побуждать дѣлиться своими впечатлѣніями и съ публикою.

Мы привели эти свѣдѣнія, встрѣчающіяся во всѣхъ некрологахъ Лѣскова, чтобы показать, что такъ-называемаго писательскаго зуда у Лѣскова въ юности не было, и что литературная слава въ то время его не прельщала. Онъ скорѣе усматривалъ свое жизненное призваніе въ томъ, чтобы въ сферѣ практической дѣятельности проявить воодушевлявшую его любовь къ ближнему и къ родинѣ. Но впечатлѣніе, которое произвели его письма, очевидно, заставило его призадуматься. Со всѣхъ сторонъ ему указывали на его литературное дарованіе. Упомянутая первая его корреспонденція имѣла успѣхъ. Даже кіевскіе профессора настаивали на томъ, чтобы онъ продолжалъ писать для печати. Новыя его статьи имѣли еще большій успѣхъ: Лѣсковъ сталъ самъ вѣрить, что у него есть талантъ. Предъ нимъ раскрывалась перспектива вліять на общество своимъ словомъ, и онъ чувствовалъ, что у него есть что сказать, есть на что обратить вниманіе.

Однако и тутъ скромность и неувѣренность въ собственныхъ силахъ, свойственныя истинному дарованію, заставляли его дѣйствовать очень осмотрительно. Онъ задавался только желаніемъ указать на тѣ отрицательныя явленія, которыя онъ подмѣтилъ и которыя остались незамѣченными для другихъ. Такимъ образомъ первые печатные труды были только, какъ у насъ принято выражаться, «публицистическими» статьями, посвященными вопросамъ, съ положеніемъ которыхъ онъ ознакомился въ самой дѣйствительности. Стòитъ только назвать эти вопросы, чтобы убѣдиться въ вѣрности этой мысли. Онъ писалъ о рабочемъ классѣ, наймѣ рабочихъ, искорененіи пьянства, винокуренной промышленности, переселеніи крестьянъ, полицейскихъ врачахъ, коммерческой службѣ, народномъ здравіи. Мы видимъ, что все это вопросы, съ которыми онъ ознакомился, служа въ рекрутскомъ присутствіи, странствуя по Россіи по порученію казны или Шкота. Характерно однако для Лѣскова еще то, что главное его вниманіе направлено на народъ, и что онъ въ то же время затрогиваетъ во-

просы наиболѣе животрепещущіе, наиболѣе важные для народной жизни. Народное пьянство, переселенческій вопросъ, наемъ рабочихъ, народное здравіе,—вотъ на что направлено вниманіе Лѣскова, и вотъ чѣмъ до сихъ поръ усиленно занимаются лица, которымъ дорого народное благо. Нельзя не отмѣтить еще характернаго факта, что первая статья Лѣскова была посвящена вопросу о распространеніи Евангелія. Такимъ образомъ уже тутъ сказалось во всей силѣ его міросозерцаніе, сложившееся въ дѣтствѣ и юности, получившее такое блестящее выраженіе во всей его литературной дѣятельности,—міросозерцаніе, основанное на глубокомъ альтруистическомъ чувствѣ.

Изучая явленія жизни въ этомъ духѣ и самъ начиная участвовать въ литературномъ движеніи, онъ сразу испытываетъ какую-то неудовлетворенность, и уже въ 1861 г. пишетъ статью о «неблаготворномъ направленіи нѣкоторыхъ писателей», касается и бурнаго вопроса о женской эмансипаціи. Словомъ, онъ начинаетъ интересоваться и тѣми вопросами, которые возникали и усиленно обсуждались въ столичныхъ литературныхъ кружкахъ, но тотчасъ занимаетъ во всѣхъ этихъ вопросахъ самостоятельное положеніе: онъ не примыкаетъ, какъ многіе другіе, пассивно къ движенію, а старается руководить имъ, направить его въ русло, которое онъ считаетъ спасительнымъ.

Такъ онъ сразу вооружается противъ полемическихъ пріемовъ и грубости литературныхъ нравовъ, онъ обвиняетъ наше общество въ бездѣятельности, въ стремленіи жить исключительно на казенныхъ хлѣбахъ. Для него писать значило священнодѣйствовать, значило приносить все въ жертву общественной пользѣ. А что онъ видѣлъ вокругъ себя: полемику, принимавшую характеръ площадной брани, удовлетвореніе личныхъ интересовъ, только прикрываемыхъ громкими фразами объ общественномъ благѣ. Печать какъ бы забывала, что Россія переживаетъ моментъ громадной исторической важности, когда старый строй рушится и замѣняется новымъ. Не того настроенія ожидалъ Лѣсковъ, когда изъ провинціи пріѣхалъ въ Петербургъ. Онъ всей душой примкнулъ къ «новымъ» людямъ, ожидая, что они одушевлены исключительно желаніемъ трудиться серьезно, съ забвеніемъ своей личности на столь внезапно открывшемся широкомъ поприщѣ. Не забудемъ, какое это было время. Россія только-что пережила 19-ое февраля, грандіозную реформу, какой еще не бывало въ ея исторіи. Существовали опасенія, что эта реформа не обойдется мирно; задача всѣхъ благомыслящихъ людей, всѣхъ друзей свободы и культурныхъ успѣховъ должна была заключаться въ томъ, чтобы вызвать успокоеніе умовъ въ такое время,

когда было столько горючаго матеріала. А тутъ началось броженіе въ Польшѣ. Можно было опасаться возстанія въ этой части имперіи. Въ разныхъ мѣстахъ начались какіе-то зловѣщіе пожары. Въ центрѣ столицы огонь охватилъ громадную площадь, въ народѣ начались толки о поджогахъ. Понятно, что подозрѣніе толпы пало на тѣхъ, кто пострадалъ отъ только-что совершенной реформы, затѣмъ на поляковъ, но почему-то она стала подозрѣвать нѣкоторую часть интеллигенціи, учащуюся молодежь, студентовъ. Ихъ обвиняли громогласно на всѣхъ перекресткахъ. Легко себѣ представить, какъ эти обвиненія должны были подѣйствовать на Лѣскова, только-что всей душой примкнувшаго къ «новымъ» людямъ и ожидавшаго отъ нихъ убѣжденнаго, горячаго содѣйствія задуманнымъ правительствомъ реформамъ. Онъ призналъ своимъ прямымъ гражданскимъ долгомъ рѣшительно выступить въ защиту учащейся молодежи, обѣлить ее отъ столь позорнаго поклепа. Съ этою цѣлью онъ и помѣстилъ соотвѣтственную статью въ «Сѣверной Пчелѣ» (№ 143, 1862 г.). Въ статьѣ этой между прочимъ говорится: «Насколько основательны подозрѣнія въ народѣ и насколько умѣстны опасенія, что поджоги имѣютъ связь съ послѣднимъ мерзкимъ и возмутительнымъ воззваніемъ, приглашающимъ къ ниспроверженію всего гражданскаго строя нашего общеетва, мы судить не смѣемъ. Произнесеніе такого суда—дѣло такое страшное, что языкъ нѣмѣетъ, и ужасъ охватываетъ душу. Но какъ бы то ни было, если бы и въ самомъ дѣлѣ петербургскіе пожары имѣли что-нибудь общее съ безумными выходками политическихъ демагоговъ, то они нисколько не представляются намъ опасными для Россіи. Скрываться нечего. На народъ можно разсчитывать смѣло, и потому смѣло же должно сказать: основательны ли сколько-нибудь слухи, носящіеся въ столицѣ о пожарахъ и о поджигателяхъ? Щадить адскихъ злодѣевъ не должно, но и не слѣдуетъ рисковать ни однимъ волоскомъ ни одной головы, живущей въ столицѣ и подвергающейся небезопаснымъ нареканіямъ со стороны перепуганнаго народа».

Смыслъ этой статьи такъ ясенъ, что повидимому никакія недоразумѣнія тутъ невозможны. Лѣсковъ опасается, что студенты могутъ пострадать отъ народнаго гнѣва. Онъ настойчиво требуетъ, чтобы неосновательныя обвиненія были опровергнуты. Но онъ опасается еще другого: онъ опасается, что эти страшные пожары и толки о поджогахъ могутъ компрометировать великое дѣло задуманныхъ реформъ. Поэтому онъ считаетъ нужнымъ категорически заявить, согласно вынесенному имъ широкому опыту, что «на народъ можно разсчитывать смѣло». Иначе конечно

не могъ и не долженъ былъ выразиться человѣкъ, преданный освободительному дѣлу и знакомый съ условіями, въ которыхъ находилась Россія. Но, несмотря на ясность статьи, Лѣсковъ подвергся за нее цѣлому ряду незаслуженныхъ оскорбленій; его заподозрили въ отступничествѣ, злонамѣренности, въ желаніи натравить полицію на студентовъ... Мы не станемъ разсказывать здѣсь этой печальной исторіи. Она разсказана самимъ Лѣсковымъ въ его «Загадочномъ человѣкѣ», написанномъ восемь лѣтъ спустя (1870 г.), когда онъ могъ болѣе или менѣе объективно отнестись къ этому въ настоящее время почти непонятному эпизоду первыхъ лѣтъ его литературной дѣятельности. Но мы считаемъ своимъ долгомъ обѣлить память Лѣскова отъ другого обвиненія, которое еще до сихъ поръ возводится на него съ нѣкоторыхъ сторонъ, именно будто онъ въ дальнѣйшей своей литературной дѣятельности утратилъ хладнокровіе и подчинился духу озлобленія противъ тѣхъ, кто его тогда такъ незаслуженно оскорбилъ. Какъ на доказательство справедливости этого обвиненія ссылаются обыкновенно на романы: «Некуда», появившійся въ 1864 г., и «На ножахъ», печатавшійся въ 1870 — 71 гг. Мы считаемъ своимъ долгомъ обѣлить память Лѣскова въ этомъ отношеніи не только потому, что привыкли уважать его, какъ личность, но и главнымъ образомъ потому, что это обвиненіе можетъ заставить читателя отнестись къ такому капитальному произведенію, какъ «Некуда», не съ достаточнымъ вниманіемъ и съ неправильной точки зрѣнія.

Прежде всего надо принять во вниманіе, что самъ Лѣсковъ и не думалъ отрекаться отъ «новыхъ» людей послѣ этого печальнаго инцидента. Ровно черезъ годъ въ той же «Сѣверной Пчелѣ» появился фельетонъ Лѣскова, озаглавленный: «Н. Г. Чернышевскій въ его романѣ: «Что дѣлать». Въ этомъ фельетонѣ говорится: «Героевъ романа г. Чернышевскаго называютъ нигилистами. Однако между ними и личностями, надоѣвшими всѣмъ и каждому своимъ нигилизмомъ, нѣтъ ничего общаго. Люди г. Чернышевскаго совсѣмъ другіе, а это—фразеры; въ людяхъ г. Чернышевскаго прежде всего стремленіе дать благосостояніе возможно большему числу людей; въ нигилистахъ нашихъ общность интересовъ только на языкѣ, а на дѣлѣ жестокосердіе. Г. Чернышевскій заставляетъ дѣлать такое дѣло, которое можно сдѣлать во всякомъ благоустроенномъ государствѣ, отъ Кореи до Лиссабона. Нужно только для этого добрыхъ людей, какихъ вывелъ г. Чернышевскій, а ихъ, признаться сказать, очень мало».

Похоже ли это на отреченіе отъ новыхъ людей? И злѣйшій врагъ Лѣскова, если только онъ ихъ теперь имѣетъ, не рѣшится

этого утверждать. Напротивъ, это не отреченіе, а скорѣе признаніе извѣстной солидарности. Отрекается Лѣсковъ только отъ несостоятельныхъ, по его мнѣнію, элементовъ «молодой» Россіи. Но самой партіи онъ въ лицѣ главнаго ея вождя выражаетъ сочувствіе,—выражаетъ именно въ то время, когда его всячески поносятъ за его мнимое отступничество. Романъ же «Некуда» печатался въ 1864 году и написанъ позже фельетона о Чернышевскомъ, а «На ножахъ» — шесть лѣтъ спустя. Можно ли съ психологической точки зрѣнія допустить, чтобы озлобленіе возрастало, а не ослабѣвало съ теченіемъ времени? Вѣдь это слишкомъ исключительное явленіе, и ни одинъ трезвый умъ не повѣритъ, чтобы Лѣсковъ былъ больше озлобленъ, когда писалъ «Некуда», чѣмъ когда писалъ свой фельетонъ о Чернышевскомъ? Да такое предположеніе совершенно несостоятельно и съ другой точки зрѣнія. Какъ мы сейчасъ выяснимъ, романъ и фельетонъ написаны совершенно въ одномъ духѣ. Какъ въ фельетонѣ проводится граница между «новыми» людьми, заслуживающими и не заслуживающими сочувствія, такъ и въ «Некуда» проведена совершенно та же граница, съ тѣмъ только различіемъ, что въ «Некуда» художественно и обстоятельно разъяснено то, что въ фельетонѣ только намѣчено и что соотвѣтствуетъ выраженному уже неоднократно раньше Лѣсковымъ элементарному житейскому правилу, что во всякомъ сословіи и классѣ, во всякой партіи есть дѣятели, заслуживающіе и не заслуживающіе сочувствія. Можно еще возразить, что и сочувственно изображенные въ «Некуда» новые люди, въ родѣ Райнера и Лизы, въ концѣ-концовъ осуждаются Лѣсковымъ. Но выведенные авторомъ «новые» люди не ограничиваются этими знаменитыми героями его романа; въ немъ найдутся и другіе «новые» люди, которымъ авторъ безусловно сочувствуетъ? А почему онъ признаетъ и Райнера, и Лизу дѣятелями безполезными и даже вредными, несмотря на то, что онъ имъ горячо сочувствуетъ, какъ людямъ,—это и составляетъ капитальный вопросъ всего романа и объясняется не озлобленіемъ Лѣскова, а всѣмъ его міросозерцаніемъ, сложившимся гораздо раньше чѣмъ произошелъ отмѣченный нами печальный инцидентъ.

Читатели уже отчасти знакомы съ міросозерцаніемъ Лѣскова, какъ оно сложилось подъ вліяніемъ тѣхъ богатыхъ впечатлѣній, которыя онъ вынесъ во время дѣтства и молодости. Дѣятельная любовь къ ближнему, озаренная религіознымъ чувствомъ и умудренная житейскимъ опытомъ,—вотъ что составляетъ основу его душевной жизни. Когда онъ началъ писать, онъ сразу заботится о распространеніи евангелія и объ устраненіи того, что по

его житейскому опыту главнымъ образомъ вызываетъ страданія народа. Крѣпостное право отмѣнено, надо позаботиться теперь о насажденіи образованія, о борьбѣ съ предразсудками, объ искорененіи пьянства. Все это—задачи первостепенной важности; все вниманіе интеллигенціи должно быть на нихъ направлено. Вѣдь интеллигенція и есть та сила, которая можетъ разсѣять мракъ невѣжества и всякихъ суевѣрій въ народѣ. Она призвана къ дѣятельности и должна дѣйствовать умѣло, осмысленно, трезво, въ полномъ сознаніи величія и отвѣтственности своей задачи. Крупная реформа совершена, предстоятъ другія, также очень значительныя. Это — дѣло законодателя. Интеллигенція же должна направить все вниманіе не только на эти реформы, но и на способы ихъ упроченія въ жизни. Ей открывается широкое поле дѣятельности; она должна подумать о средствахъ и способахъ.

Этимъ вопросомъ и занятъ Лѣсковъ. Онъ его ставитъ очень рѣшительно въ чудесномъ своемъ разсказѣ: «Овцебыкъ», напечатанномъ почти за годъ до появленія «Некуда». Кто главный герой этого разсказа? Сынъ сельскаго дьячка, выросшій въ горькой нуждѣ и нисколько о себѣ не заботящійся. Онъ ищетъ все только евангельскихъ людей, возмущается «неправдой безсудной, обидой безмѣрной». Его сердце обливается кровью при видѣ чужого страданія. Онъ ничего не читаетъ, кромѣ евангелія; журналовъ онъ терпѣть не можетъ, мнитъ же онъ себя проповѣдникомъ слова Божья, ходитъ въ народъ, къ раскольникамъ; но во всемъ терпитъ неудачу. Никого онъ не просвѣщаетъ, ничью участь не облегчаетъ, приходитъ къ горькому разочарованію, становится посмѣшищемъ въ глазахъ народа и кончаетъ жизнь самоубійствомъ, постановивъ самъ надъ собою слѣдующій приговоръ: «Не въ ризѣ учитель—народу шутъ, себѣ — поношеніе, идеѣ— пагубникъ. Я—тать и, что дальше пойду, то больше сворую». Поэтому онъ и прекращаетъ свою жизнь. А приказчикъ разбогатѣвшаго дѣловитаго мужика, бывшаго крѣпостного, у котораго послѣдніе дни своей жизни служилъ Овцебыкъ, произноситъ слѣдующій надъ нимъ приговоръ: «Ему—гнить, а вамъ жить, батюшка Александръ Ивановичъ». Самъ Овцебыкъ былъ того же мнѣнія.

Мы видѣли уже, какимъ глубокимъ религіознымъ чувствомъ воодушевился Лѣсковъ въ дѣтствѣ и молодости, и мы увидимъ еще, какъ развилось это чувство впослѣдствіи. Лѣскова можно упрекнуть, въ чемъ угодно, но только не въ легкомысленномъ отношеніи къ евангелію и къ евангельскимъ истинамъ. И что же мы видимъ? Овцебыкъ,—человѣкъ, который читалъ только евангеліе, который весь проникся его духомъ, который все отвергалъ, за ис-

ключеніемъ евангельскихъ истинъ, кончаетъ такъ печально, приходитъ къ роковому выводу, что вся его жизнь ничего не стоила. Кто однако рѣшится упрекнуть за это Лѣскова въ недостаткѣ религіознаго чувства, въ невѣріи, въ неуваженіи къ евангельскимъ истинамъ, которыя онъ ставилъ такъ неизмѣримо высоко? Почему же когда Лѣсковъ изображаетъ намъ не Овцебыка, а Райнера или Лизу, мы его обвиняемъ въ томъ, что онъ кощунственно отнесся къ идеаламъ, которые были священны этимъ его героямъ и за которые они положили жизнь? Очевидно, что мы въ томъ и другомъ случаѣ мѣримъ разною мѣрою. Тотъ, кто осуждаетъ Лѣскова за «Некуда», долженъ бросить въ него камень и за «Овцебыка», иначе онъ нарушитъ элементарные законы логики или представитъ доказательство вопіющаго пристрастія.

Чѣмъ же однако объясняется эта логическая ошибка, если уже не говорить о пристрастіи? Чтобы рѣшить этотъ вопросъ, присмотримся прежде всего къ дѣятельности Овцебыка. Онъ былъ сперва домашнимъ учителемъ, но выходило какъ-то такъ, что онъ ни на одномъ мѣстѣ ужиться не могъ, точь въ точь, какъ извѣстный уже читателямъ нѣмецъ-учитель Коза въ разсказѣ: «Томленіе духа». Всѣ установленныя жизнью формы его тяготили: онъ хотѣлъ сразу найти евангельскихъ людей, а такъ какъ ихъ не находилъ, то тотчасъ же удалялся отъ людей, встрѣченныхъ имъ на жизненномъ пути. И вотъ онъ началъ бродить въ поискахъ за настоящими людьми. Аскетъ въ полномъ смыслѣ этого слова, не дорожащій ничѣмъ въ мірѣ кромѣ своей идеи, онъ жилъ почти, какъ птицы небесныя. Гдѣ же настоящіе люди? Онъ думалъ, что найдетъ ихъ среди раскольниковъ, и отправился куда-то на сѣверъ. Тамъ его постигло горькое разочарованіе. Онъ подчинился требованіямъ раскольниковъ до того, что даже сталъ жить съ какою-то дѣвушкою внѣ брака. Но все это ни къ чему не привело. Онъ потомъ самъ наивно разсказывалъ, что спасительнаго слова не услышалъ. Какое требовалось знакомство съ жизнью, чтобы вообразить, что онъ отъ раскольниковъ услышитъ сказочное: «Сезамъ, отворись!» Онъ ушелъ отъ нихъ, убѣдившись, что у нихъ только «тюрьма», что они только «байбаки дурацкіе, морочащіе людей своимъ секретничаньемъ». Одно у нихъ буквоѣдство, — вотъ и все. Онъ возвращается на родину и поступаетъ послушникомъ въ одинъ изъ монастырей, въ пустынѣ. Но и тутъ съ нимъ происходитъ нѣчто неладное: онъ ведетъ съ богомольцами такія бесѣды, что его изгоняютъ изъ монастыря. И вотъ онъ поступаетъ къ дѣловитому мужику, Александру Ивановичу Свиридову. Тотъ вмѣстѣ съ женою всячески пристраиваютъ его къ дѣлу, хотя это очень трудно. Начнетъ Овцебыкъ гово-

рить съ работниками о божествѣ, да и свернетъ вдругъ на господъ, а чтобы придать больше выразительности своимъ словамъ, возьметъ онъ горсть гороху, да и разсажаетъ ихъ по свиткѣ: «Вотъ это — говоритъ, — самый набольшій король, а это, поменьше,—его министеры съ князьми; а это, еще поменьше,—баре да купцы, да попы толстопузые; а вотъ это—на горсть-то показываетъ — это, говоритъ, мы, гречкосѣи.» Да какъ этими гречкосѣями-то во всѣхъ въ принцевъ и въ поповъ толстопузыхъ шарахнетъ: все и сравняется. Куча станетъ. Народъ смѣется и говоритъ: «Должно быть, изъ комедіантовъ». Эта гороховая революція прошла для Овцебыка безслѣдно. Онъ самъ, какъ Нежданов въ «Нови», написанной 13 лѣтъ спустя, извѣрился въ своихъ начинаніяхъ и кончилъ жизнь самоубійствомъ, понявъ, что онъ ничего не достигнетъ. Онъ всѣмъ представлялся шутомъ, за исключеніемъ очень немногихъ людей, понявшихъ, какая въ немъ заключается нравственная сила и какой глубокій внутренній трагизмъ представляетъ полное несоотвѣтствіе его возвышеннѣйшихъ идеаловъ, самоотверженнѣйшихъ чувствъ съ полною его неспособностью осуществить въ жизни хоть малѣйшую ихъ часть вслѣдствіе совершеннаго незнакомства съ нею. Эта черта поражала и печалила Лѣскова еще до пріѣзда въ Петербургъ въ такихъ симпатичныхъ ему людяхъ, какъ Шкоты, которые, будучи даже искусными практиками, часто вмѣсто добра дѣлали зло вслѣдствіе своего незнакомства съ народнымъ бытомъ. А когда Лѣсковъ пріѣхалъ въ Петербургъ, когда онъ тутъ на каждомъ шагу убѣждался, что за осуществленіе благихъ начинаній принимаются очень неумѣло, что пускаются въ ходъ совершенно негодныя средства, которыя даже прямо могутъ компрометировать великую задачу, выпавшую на долю русской интеллигенціи, въ немъ это чувство окрѣпло, и онъ написалъ своего «Овцебыка», свое «Некуда». Не озлобленіе говорило въ немъ, а чувство разочарованія, опасеніе, что тѣ радужныя надежды, съ которыми онъ пріѣхалъ въ Петербургъ, не сбудутся, и чѣмъ болѣе онъ присматривался къ столичной жизни, чѣмъ быстрѣе шли событія и случились даже факты, которые заставили глубоко призадуматься и Герцена, тѣмъ сильнѣе становилось въ Лѣсковѣ желаніе пріостановить это шествіе по наклонной плоскости, это пользованіе негодными средствами. Онъ сталъ высказываться все рѣзче и рѣзче и написалъ свое «На ножахъ». Вотъ чѣмъ объясняется, что послѣднее произведеніе, написанное черезъ восемь лѣтъ послѣ петербургскихъ пожаровъ, по содержанію и тону неумолимѣе по отношенію къ «новымъ» людямъ, чѣмъ «Некуда».

Чтобы подтвердить все сказанное, остановимся еще на основной

идеѣ «Некуда». Выведенные въ этомъ романѣ «новые» люди распадаются на три категоріи. Широкою извѣстностью пользуются Райнеръ, Лиза, Помада; менѣе говорятъ о Розановѣ; совершенно игнорируютъ Маслянникова. А все это — «новые» люди, и разница между ними заключается въ томъ, что первые ведутъ борьбу по мысли автора совершенно негодными средствами, второй можетъ кое-чего достигнуть въ жизни, а третій навѣрно достигнетъ въ жизни многаго. Этотъ Маслянниковъ—сынъ деревенскаго богача изъ крестьянъ. Отецъ его всецѣло принадлежитъ къ старымъ людямъ. Сынъ же его уже «новый» человѣкъ. Для чего онъ живетъ,—видно изъ заключительной главы романа. Въ «Овцебыкѣ» безплоднымъ скитаніямъ идеалиста противопоставляется дѣловитость бывшаго крѣпостного Александра Ивановича, съѣздившаго за границу, чтобы запастись практическими свѣдѣніями по своему дѣлу. О немъ Овцебыкъ говоритъ: «Некуда идти; вездѣ все одно; черезъ Александровъ Ивановичей не перескочешь». Но Александръ Ивановичъ заботится только о благосостояніи своей семьи и лицъ, наиболѣе ему близкихъ. Онъ самъ обогащается, обогащаетъ и другихъ, способствуетъ улучшенію экономическихъ условій, но идейная сторона въ его дѣятельности отсутствуетъ. А вотъ Маслянниковъ добивается, что въ его деревнѣ возникаетъ и больница, и ремесленная школка, и пожарная команда. Онъ интеллигенціи не боится, напротивъ онъ зоветъ ее къ себѣ, но только не такихъ людей, которые мужиковъ хотятъ облагодѣтельствовать несбыточнымъ. Онъ вліяетъ на крестьянъ: «У меня есть чѣмъ похвалиться: Боровковская волость составила приговоръ, чтобы больше уже не сѣчься». Вотъ къ чему стремится «новый» человѣкъ изъ народа съ положительными, осуществимыми идеалами, въ противоположность тѣмъ, которые «мутоврятъ народъ тотъ туда, тотъ сюда, а сами, ей право, великое слово тебѣ говорю, дороги никуда не знаютъ, безъ нашего брата не найдутъ ее никогда, все будутъ кружиться и все сѣсть будетъ некуда». Значитъ, Лѣсковъ въ своемъ романѣ съ одной стороны указываетъ на тѣхъ людей, которые, будучи воодушевлены наилучшими намѣреніями, ничего не достигнутъ вслѣдствіе негодности избранныхъ ими средствъ, которымъ идти собственно «некуда», а съ другой стороны указываетъ на людей, которые хорошо знаютъ, «куда» идутъ, и на повѣрку оказывается, что теперь по этому пути идутъ всѣ благомыслящіе люди. Можно только сожалѣть, что истинный смыслъ романа Лѣскова не былъ понятъ и оцѣненъ по достоинству въ свое время. Если бы интеллигенція, какъ предлагалъ Лѣсковъ, направила всѣ свои усилія на то, чтобы достигнуть идеаловъ Маслянникова, можетъ-быть,

позоръ тѣлеснаго наказанія былъ бы давно уже смытъ, Россія избавилась бы отъ того громаднаго ущерба, который наносятъ ся народному хозяйству безконечные пожары, и школъ и больницъ было бы гораздо больше, чѣмъ теперь. Но какъ бы то ни было, Лѣсковъ въ этомъ вопросѣ является единомышленникомъ Писемскаго, Достоевскаго, Гончарова и Тургенева, которые въ своихъ романахъ: «Взбаламученное море», «Бѣсы», «Обрывъ», «Новь» высказались въ томъ же смыслѣ. Лѣсковъ вслѣдствіе своего знакомства съ жизнью одинъ изъ первыхъ въ прекрасномъ художественномъ произведеніи указалъ путь, признанный вѣрнымъ такими писателями, которые составляютъ гордость нашей литературы.

## IV.

«Некуда» и вызванная этимъ романомъ яростная полемика была для Лѣскова своего рода «огненнымъ крещеніемъ». Требовалось не мало гражданскаго мужества, чтобы въ то время выступить съ такимъ романомъ. Если бы Лѣсковъ дорожилъ только своею литературною славою, возможностью помѣщать свои произведенія въ лучшихъ и наиболѣе распространенныхъ журналахъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ существовать безбѣдно, то онъ конечно бы своего романа не написалъ или по крайней мѣрѣ не напечаталъ. Но онъ хорошо зналъ, на что идетъ: исторія съ петербургскими пожарами его вполнѣ на этотъ счетъ просвѣтила, и тѣмъ не менѣе онъ счелъ своимъ долгомъ высказаться откровенно и рѣшительно. Его не остановили на этомъ пути самыя злостныя выходки противниковъ, а эти выходки превзошли всякую мѣру. Современный критикъ г. Венгеровъ называетъ тогдашній судъ надъ Лѣсковымъ «неумолимо суровымъ и въ значительной степени несправедливымъ». Дѣйствительно, Лѣскова называли шпіономъ; увлекающійся Писаревъ сомнѣвался, найдется ли въ Россіи хоть одинъ журналъ, который «осмѣлится» напечатать на своихъ страницахъ что-нибудь, выходящее изъ-подъ пера Стебницкаго (Лѣсковъ, какъ извѣстно, подписывалъ этимъ псевдонимомъ свои первыя произведенія). Эти слова Писарева очень характерны: никто «не осмѣлится» напечатать дальнѣйшихъ произведеній Лѣскова. Это—своего рода угроза, застращиваніе. Печатать Лѣскова, какъ выражается дальше Писаревъ, значитъ проявить «неосторожность» и быть «равнодушнымъ къ своей репутаціи». Послѣ угрозы слѣдуетъ совѣтъ позаботиться о себѣ, не подвергать себя очевидной опасности. Какой? Понятно, раздѣлить участь Лѣскова, т. е. быть изгнаннымъ изъ журналовъ и лишиться куска хлѣба. Лѣсковъ былъ поставленъ къ позорному

столбу, и противъ него началась невѣроятная травля. Но онъ перенесъ это «огненное крещеніе», не сдѣлавъ своимъ противникамъ ни малѣйшей уступки, и вышелъ изъ него «рыцаремъ духа», человѣкомъ, готовымъ на все, чтобы отстоять свою святыню: свободу высказываться такъ, какъ ему велятъ совѣсть и гражданскій долгъ.

Отречься отъ своихъ убѣжденій Лѣсковъ не могъ и по другой причинѣ. Его убѣжденія не были чѣмъ-то наноснымъ, въ родѣ разныхъ модныхъ теорій, которыя такъ быстро смѣняются въ нашемъ обществѣ. То, что говорилъ Лѣсковъ, было плодомъ его широкаго знакомства съ жизнью. Если онъ утверждалъ, обращаясь къ идеалистамъ разнаго рода, исповѣдывавшимъ евангельскія истины или тѣ или другія соціальныя и политическія теоріи, что имъ идти «некуда», то имъ дѣйствительно идти было некуда, потому что путь былъ ложный и велъ въ глухой переулокъ. Надо было избрать другой путь, быть-можетъ болѣе далекій, но несравненно болѣе вѣрный. Всѣмъ теперь извѣстно, что Лѣсковъ списалъ своего Райнера съ живой личности, съ нѣкоего Бенни, идеалиста крайнихъ воззрѣній. Самъ Лѣсковъ въ своемъ «Загадочномъ человѣкѣ» изложилъ намъ біографію этого дѣятеля шестидесятыхъ годовъ, и біографія эта лучше всякихъ разсужденій убѣждаетъ въ полной непригодности средствъ, избранныхъ Бенни и однородными съ нимъ дѣятелями. Какъ мы видѣли, точно такую же картину полной непригодности средствъ изобразилъ намъ Лѣсковъ и въ «Овцебыкѣ» относительно осуществленія евангельскихъ истинъ. Принявъ все это во вниманіе, мы легко уяснимъ себѣ, по какому пути самъ Лѣсковъ пойдетъ въ дальнѣйшей своей литературной дѣятельности. Онъ пріѣхалъ въ Петербургъ съ богатымъ житейскимъ опытомъ, изъѣздилъ Россію вдоль и поперекъ, познакомился со всѣми классами населенія, убѣдился, что условія очень несовершенны, что требуется усиленная работа для ихъ пересозданія. Въ Петербургѣ ему предлагали разныя готовыя теоріи крайне отвлеченнаго свойства, заимствованныя по большей части со стороны, изъ другихъ странъ людьми, очень мало знакомыми съ Россіею. Средства, предлагавшіяся для осуществленія этихъ теорій, отличались по большей части крайне наивнымъ характеромъ. Въ «Овцебыкѣ» и «Некуда» Лѣсковъ произнесъ краснорѣчивый и убѣдительный приговоръ надъ этими средствами. Но понятно на этомъ нельзя было остановиться. Такимъ образомъ предстояла задача подвергнуть критической оцѣнкѣ нарождающіяся новыя теоріи, а вмѣстѣ съ тѣмъ установить ихъ приложимость къ жизни, вдуматься въ средства ихъ осуществленія.

Самыя благія начинанія терпятъ крушеніе, когда они не находятъ себѣ надлежащихъ исполнителей. Если это вѣрно по отношенію къ правительственной дѣятельности, то это не менѣе вѣрно и по отношенію къ дѣятельности общественной. Эта истина представлялась особенно ясно Лѣскову, какъ человѣку, глубоко изучившему русскую дѣйствительность. Поэтому, когда рѣчь заходила о той или другой теоріи, онъ немедленно задумывался надъ исполнителями и умственнымъ взоромъ охватывалъ ту безконечную галлерею типичныхъ представителей нашего общества, съ которыми ему приходилось встрѣчаться въ жизни. Эту галлерею онъ распредѣлялъ по категоріямъ соотвѣтственно съ ихъ способностью осуществлять въ дѣйствительности идеальныя стремленія. А его судъ относительно этой пригодности обусловливался общимъ его міросозерцаніемъ, основаннымъ, какъ мы видѣли, на дѣятельной любви къ ближнему. Быть-можетъ, Лѣсковъ больше вѣрилъ въ людей, чѣмъ въ тѣ или другія мѣропріятія. Въ дѣтствѣ и молодости онъ убѣдился, что при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ человѣкъ, воодушевленный чувствомъ дѣятельной любви къ ближнему, можетъ сдѣлать очень много добра. Настроеніе же русскаго общества было въ значительной степени противоположное: оно исходило изъ убѣжденія, что и хорошій человѣкъ ничего не можетъ сдѣлать добраго при несостоятельныхъ условіяхъ, что благопріятныя условія родятъ хорошихъ людей. Это было глубокое несоотвѣтствіе взглядовъ: для нашего общества центръ тяжести вопроса лежалъ въ надлежащихъ мѣропріятіяхъ; для Лѣскова—въ хорошихъ людяхъ или, какъ онъ ихъ называлъ, праведникахъ, понимая подъ этимъ терминомъ людей, не только воодушевленныхъ прекрасными намѣреніями, но и умѣющихъ ихъ осуществлять въ жизни. Указаніемъ на этихъ праведниковъ, на этихъ представителей дѣятельной любви къ ближнему исчерпывается значительная часть беллетристическихъ произведеній Лѣскова. Съ одной стороны онъ намъ рисуетъ цѣлый рядъ типовъ съ тѣми характеристическими чертами, которыя мы уже отмѣтили въ «Овцебыкѣ», съ другой—дѣятелей въ истинномъ значеніи этого слова. Затѣмъ онъ выводитъ еще третій типъ,—людей, которые при отсутствіи идеальныхъ стремленій сами устраиваются въ жизни сносно, но причиняютъ другимъ много заботъ и страданій. Иногда дѣятели этого типа приходятъ къ сознанію своей ошибки уже поздно, и тогда получается трагизмъ, который Лѣсковъ умѣетъ подчеркнуть съ поразительною художественною силою.

Остановимся теперь на этихъ трехъ типахъ, какъ они послѣдовательно изображены въ произведеніяхъ Лѣскова. Вслѣдъ за

«Некуда» появился обширный его романъ: «Обойденные». Главный герой этого романа — Долинскій, человѣкъ недурной. Онъ принадлежитъ именно къ типу людей безъ опредѣленныхъ идеальныхъ стремленій и обусловленной ими жизненной задачи. Любовь, кончающаяся смертью горячо любимой дѣвушки, приводитъ его къ мистицизму. Неустойчивость его чувствъ и стремленій прекрасно оттѣнена сознательностью, твердостью и цѣлесообразностью всѣхъ дѣйствій и всей жизни главной героини романа Анны Михайловны, которая въ такое повидимому безразличное съ нравственной точки зрѣнія предпріятіе, какъ модная мастерская, умѣетъ вложить глубокое идеальное содержаніе. Она просто, безъ всякихъ фразъ, разрѣшаетъ вопросъ о женскомъ трудѣ, въ то время, какъ ея сестра, дѣвушка съ блестящими дарованіями, только губитъ свою жизнь, и сама прекрасно разъясняетъ причину своей гибели, говоря, что «сильные люди вывелись». Ея сестра, живущая только для другихъ и умѣющая найтись въ жизни, является такимъ «сильнымъ» человѣкомъ.

Та же идея положена въ основу другого большого романа Лѣскова: «Островитяне». Тутъ талантливый художникъ Истоминъ, думающій только о себѣ, кончаетъ жизнь весьма печально. Любимая имъ дѣвушка, богато одаренная натура, находитъ душевный миръ послѣ безконечныхъ страданій, только когда посвящаетъ себя дѣятельной любви къ ближнему. А ея сестра, Ида, посвятившая себя инстинктивно этой любви, хотя и не находитъ личнаго счастья въ ходячемъ смыслѣ этого слова, представляетъ картину необычайно гармоничной внутренней жизни и влагаетъ въ душу всѣхъ близкихъ ей людей тѣ чувства, которыя болѣе всего обезпечиваютъ человѣческое счастье. Въ концѣ романа она воспитываетъ дѣтей своего брата, ведетъ съ ними длинныя бесѣды, и «крѣпнетъ дѣтскій духъ въ этихъ бесѣдахъ, и какъ шептунъ-трава тихо растутъ и вырастаютъ въ нихъ и рѣшимость, и воля, и воспитывается то, что далекій потомокъ можетъ-быть условится называть въ человѣкѣ прямою добродѣтелью гражданина». Противопоставленіе этой василье-островской нѣмки, дочери простого токаря, воспитывающей людей въ истинно-гражданскихъ чувствахъ, дѣятелямъ, такъ много толковавшимъ о гражданскомъ долгѣ и такъ мало его исполнявшимъ, очень характерно для Лѣскова. Во всякомъ случаѣ мы видимъ, что, по его мысли, богато одаренныя натуры, пока онѣ ищутъ исключительно личнаго счастья, цѣли своей не достигаютъ, терпятъ крушеніе въ жизни и умираютъ съ сознаніемъ безплодно прожитой жизни. Эта мысль такъ и просвѣчиваетъ въ двухъ только-что указанныхъ романахъ Лѣскова.

Одновременно, то-есть тотчасъ же послѣ «Некуда», имъ написаны два очерка, въ которыхъ проводится та же мысль съ поразительною художественною силою по отношенію къ народной средѣ. Это—«Леди Макбетъ Мценскаго уѣзда» и «Воительница». Второй очеркъ въ то же время — истинный перлъ художественнаго творчества.

Леди Макбетъ — провинціальная купчиха, совершающая рядъ преступленій, чтобы навсегда соединиться съ своимъ возлюбленнымъ и осчастливить его. Она цѣли не достигаетъ, попадаетъ вмѣстѣ съ нимъ въ Сибирь и, отвергнутая любовникомъ, кончаетъ жизнь самоубійствомъ. Этотъ очеркъ, написанный, какъ всегда у Лѣскова, съ большимъ знаніемъ бытовыхъ подробностей, производитъ сильное впечатлѣніе, но оно почти меркнетъ, сравнительно съ тѣмъ ужасомъ, который вызываетъ второй очеркъ. «Воительница» — это деревенская баба, торгующая въ Петербургѣ кружевами и при случаѣ занимающаяся и другими дѣлами: сближаетъ мужчинъ и женщинъ для законнаго брака и для другихъ, менѣе законныхъ отношеній. Этотъ теперь уже исчезающій типъ очерченъ Лѣсковымъ съ поразительною рельефностью. Домна точно живетъ передъ вами. Такая она на видъ славная баба. Ея попеченіямъ о другихъ нѣтъ конца. Руководствуется она во всемъ только чувствомъ «доброты», мнитъ себя настоящей христіанкой и при этомъ разсказываетъ съ невозмутимою простотою невѣроятныя мерзости. Она постоянно удивляется, что за ея «доброту» ее то и дѣло постигаютъ напасти, и удивляется совершенно искренно, потому что мораль у нея своеобразная. Въ церковь она ходитъ, Богу молится, но въ сущности заботится лишь объ одномъ,—какъ бы прожить безбѣдно. Эта баба позволяетъ намъ бросить глубокій взглядъ въ народную жизнь. Она по натурѣ— человѣкъ недурной и одарена значительными способностями, но другого идеала у нея нѣтъ, кромѣ заботы о собственномъ благополучіи. Видитъ она всюду обманъ и ложь, и съ нею въ этомъ отношеніи дѣйствительно не церемонились: ее обманывали и надували, при случаѣ истязали, и ей кажется, что она еще гораздо лучше другихъ людей, потому что, когда она, напримѣръ, ведетъ женщину, находящуюся въ крайности, на позоръ, то чувствуетъ къ ней нѣкоторое состраданіе, а та угощаетъ ее пощечиной. Противопоставленіе того, что происходитъ въ душѣ Домны и ея жертвы во время этой сцены, представляетъ такой блестящій психологическій анализъ, какой встрѣчается только у большихъ художниковъ. И вотъ эта-то баба наконецъ сама въ первый разъ въ жизни узнаетъ, что такое сильная привязанность. Любовь ея несчастна, и тутъ только

передъ нею раскрывается завѣса того мрака, которымъ она была окутана всю жизнь. Святое чувство любви растоптано, и Домна, всю свою жизнь только думавшая о наживѣ, вдругъ становится страдалицею, и сознаніе, что она могла испытать такое сильное горе, сближаетъ насъ съ нею, заставляетъ насъ забыть всѣ ея грѣхи. Любовь къ ближнему, самоотверженіе, даже въ этой грубой формѣ, возвышаетъ, облагораживаетъ человѣка.

Сопоставляя эти два очерка съ разобранными нами романами, мы видимъ, что, независимо отъ сравнительныхъ достоинствъ всѣхъ этихъ произведеній, они внушены идеею и чувствомъ, не имѣющими ничего общаго съ озлобленіемъ, будто бы вызваннымъ инцидентомъ съ «Некуда», но находящимися въ тѣсной связи съ міросозерцаніемъ Лѣскова, какъ оно сложилось еще въ дни дѣтства и юности. Сѣмена, тогда посѣянныя, даютъ иногда пышные всходы, такіе цвѣты, какіе рѣдко встрѣчаются не только въ нашей, но и въ европейской литературѣ.

Слѣдующія по порядку произведенія Лѣскова, сатирическіе очерки: «Смѣхъ и горе» и народная легенда «Очарованный странникъ» еще болѣе насъ убѣждаютъ, что творчество Лѣскова представляетъ собою дерево, прямо выросшее изъ почвы и достигшее доступной ему вершины, безъ всякаго уклоненія въ сторону. Эти двѣ вещи по своей реальности, по неисчерпаемому богатству бытовыхъ чертъ не допускаютъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что онѣ написаны авторомъ, не только глубоко изучившимъ Россію, но и чуждымъ всякой тенденціозности. Жизнь какъ бы сама собою развертывается передъ вами, и присматриваясь къ ней, вы не знаете, — плакать или смѣяться,—такъ близко трагическое соприкасается съ комическимъ. Мы не можемъ доставить себѣ здѣсь удовольствія познакомить читателя хотя бы только съ выдающимися частностями этихъ двухъ картинъ русской жизни; впрочемъ въ этомъ и не представляется надобности, потому что онѣ—въ его рукахъ. Для нашей задачи важно только отмѣтить общій выводъ, который получается при ихъ созерцаніи. О, Русь, это ты! Становой, углубившійся въ дебри философіи и не видящій, что у него происходитъ подъ носомъ, богатый помѣщикъ, весь ушедшій въ протестъ и доходящій въ этомъ отношеніи до комизма, до самыхъ непростительныхъ выходокъ, докторъ, не вѣрящій въ медицину, мировой посредникъ, поощряющій народное образованіе тѣмъ, что беретъ взятки школами, либеральная губернаторша, проливающая слезы о томъ, что мужъ ея губернаторъ, а не редакторъ, губернаторъ мечтающій о томъ, какъ бы выпороть всю Европу и учредить парижскую губернію, наконецъ

самъ разсказчикъ, который, несмотря на добрыя свои намѣренія, ничего не можетъ сдѣлать, даже просто не можетъ разобраться во всемъ этомъ хаосѣ, въ этомъ невообразимомъ сумбурѣ! У людей, дѣйствующихъ въ жизни, бродятъ въ головѣ самыя разнообразныя религіозныя, политическія, общественныя, философскія идеи, если только они не живутъ, какъ жандармскій офицеръ Постельниковъ, исключительно для удовлетворенія низменныхъ инстинктовъ; но изъ всего этого ничего не выходитъ или выходитъ одно только уродство, потому что эти люди практической задачи себѣ не создали и постоянно уклоняются куда-то въ сторону. Если таковъ основной смыслъ очерковъ: «Смѣхъ и горе», то, читая «Очарованнаго странника», котораго мы назвали народною легендою и котораго вѣрнѣе было бы назвать сборникомъ легендъ, написанныхъ въ чисто-народномъ духѣ и съ неистощимымъ народнымъ юморомъ, мы убѣждаемся, что и въ народѣ вслѣдствіе той же причины гибнутъ и силы, и дарованія, и хорошія стремленія. Очарованный странникъ проявляетъ неистощимый запасъ энергіи, самоотверженія, честности, находчивости, но все это ни къ чему не приводитъ. Остается только сказать то, что сказалъ лѣкарь, лѣчившій его послѣ одного изъ безконечныхъ его похожденій: «Экій ты, братецъ, барабанъ. Били тебя, били, и все никакъ еще не добьютъ.»

Начертавъ эти мрачныя картины русской дѣйствительности, Лѣсковъ спѣшитъ указать на вѣрный по его мнѣнію выходъ изъ этого безотраднаго положенія. Въ семейной хроникѣ «Захудалый родъ» онъ переноситъ читателя въ дореформенную Россію и показываетъ, какъ много могъ сдѣлать хорошій человѣкъ уже тогда, при сравнительно столь неблагопріятныхъ условіяхъ. Выведенная имъ въ этой хроникѣ княгиня Протозанова несомнѣнно является «праведницею» въ томъ смыслѣ, какой придаетъ Лѣсковъ этому слову. Основное правило ея жизни: «самъ въ себѣ человѣка уважай». Потерявъ еще въ молодости мужа, она всецѣло посвятила себя воспитанію дѣтей и благу своихъ крестьянъ. Она безъ всякихъ фразъ достигла того, что дѣйствительно «вошла въ народъ или, какъ говорятъ, слилась съ нимъ». Всякой истинной бѣдѣ она умѣла помочь, и «всѣ искали свѣта не въ городѣ, а въ Протозановѣ». Чрезвычайно любопытно ея столкновеніе съ графиней Хотѣтовой. Она не терпѣла ни ханжей, ни узкихъ патріотовъ, ни тогдашнихъ космополитовъ. Графиня поучала, что надо помнить Бога и молиться Ему; а княгиня добавляла: «безъ добрыхъ дѣлъ и молитва не пользуетъ». Графиня говорила, что надо умѣть себя сдерживать, поститься; а княгиня возражала: «Лошади никогда мяса не ѣдятъ, а все, какъ они скоты, то скотами остаются...

самое главное о другихъ помнить». Графиня говорила о храмѣ Божіемъ, чтобы «благолѣпіе духъ возбуждало»; а княгиня прибавляла: «Надо бѣднымъ тяготы посбавить, а не гробы золотить и не башни строить; тогда скорѣе начнется Христово царствіе». У нея слово не расходилось съ дѣломъ, деревни ея процвѣтали. Она кончила тѣмъ, что роздала все свое имущество крестьянамъ и поселилась нахлѣбницею у своихъ сыновей.

Можно сказать, что «Захудалый родъ» послужилъ началомъ цѣлаго ряда очерковъ, въ которыхъ Лѣсковъ началъ выводить «праведниковъ», то-есть идеально настроенныхъ людей, которые умѣютъ быть полезными въ жизни. Если онъ съ большою симпатіею изобразилъ намъ такихъ идеалистовъ, какъ Овцебыкъ, Райнеръ (Бенни), Коза, Червевъ, Рагожинъ и т. д.,—людей, которые, несмотря на возвышенное свое настроеніе, ничего не достигаютъ и ведутъ жизнь бродячую, безпріютную, то его «праведники» наоборотъ—приносятъ другимъ несомнѣнную пользу и составляютъ тотъ классъ людей, которые сильнѣе другихъ дѣлаютъ исторію, двигаютъ незамѣтно, но вѣрно культурные успѣхи. Въ нихъ воплощается плодотворная работа, болѣе всего обезпечивающая благополучіе родины. Разсказовъ, написанныхъ на эту тему, у Лѣскова не мало. Для нашей цѣли однако достаточно отмѣтить главные. Таковы: «Кадетскій монастырь», «Несмертельный Голованъ», «Пугало», «Фигура», «Дурачокъ», «Однодумъ», «Пигмей», хотя люди того же типа встрѣчаются, какъ мы видѣли и какъ мы еще увидимъ, и въ другихъ произведеніяхъ Лѣскова. Онъ беретъ ихъ изъ всѣхъ сферъ жизни. Вы тутъ встрѣтитесь и съ крестьяниномъ, живущимъ впроголодь, и съ купцомъ, и съ помѣщикомъ, и съ администраторомъ, и съ священникомъ. На нихъ Лѣсковъ останавливается съ особенною любовью, потому что они наиболѣе соотвѣтствуютъ его идеалу дѣятельной любви къ ближнему и потому что онъ эту любовь считаетъ наиболѣе вѣрнымъ средствомъ исцѣленія нашихъ общественныхъ недуговъ, въ томъ числѣ склонности увлекаться фразами и теоріями, несоразмѣренными съ жизнью. Какъ бы для того, чтобы лучше оттѣнить свою мысль, онъ рисуетъ намъ еще типичную фигуру «Шерамура», человѣка, выбросившаго всѣ идеальныя стремленія за бортъ и поставившаго себѣ лозунгомъ короткое слово: «жрать». Какъ и крайніе идеалисты, онъ совершенно не умѣетъ найтись въ жизни, выбитъ изъ колеи и является характернымъ продуктомъ тѣхъ элементовъ нашей интеллигенціи, которые утратили почву въ жизни. Кончаетъ онъ тѣмъ, что становится мужемъ престарѣлой содержательницы парижскаго кабачка, которая за любовь даетъ ему «жрать» въ волю.

Вотъ этимъ безпочвенникамъ, будь они крайніе идеалисты, какъ Райнеръ, или крайніе матеріалисты, какъ Шерамуръ, Лѣсковъ противопоставляетъ своихъ «праведниковъ», крѣпко приросшихъ къ родной почвѣ и воплощающихъ каждый въ своей сферѣ великій законъ дѣятельной любви къ ближнему и этимъ вѣрнѣе всего содѣйствующихъ культурнымъ успѣхамъ народа. Эти люди не разсуждаютъ, не философствуютъ, не выступаютъ героями; они какъ бы совершенно забываютъ о себѣ и помнятъ только о ближнемъ. Возьмемъ для примѣра мужика Селивана въ одномъ изъ лучшихъ разсказовъ Лѣскова: «Пугало». Онъ жестоко провинился предъ людьми,—призрѣлъ всѣми отверженную дочь палача, женился на ней и, опасаясь людского презрѣнія, держался отъ всѣхъ въ сторонѣ. Онъ и сдѣлался для людей пугаломъ. Всѣ избѣгали его общества. Но онъ сумѣлъ сохранить въ душѣ своей, несмотря на общее нерасположеніе, доходившее по временамъ до ненависти,—свѣтлыя душевныя качества. Случай его выручилъ: онъ оказалъ услугу одной изъ тетокъ Лѣскова, проявивъ при этомъ рѣдкую честность, и судьба его измѣнилась. Но сколько лѣтъ онъ влачилъ самое жалкое существованіе, посвятивъ себя спасенію *одного* ближняго. Если бы ему дана была возможность заботиться о *многихъ*, сколько бы добра онъ сдѣлалъ! Въ такомъ положеніи находился «Однодумъ», Алексашка Рыжовъ, который случайно попалъ въ квартальные, а затѣмъ и въ городничіе. Сколько онъ сдѣлалъ добра только тѣмъ, что воздерживался отъ удовлетворенія алчныхъ аппетитовъ прежнихъ полицейскихъ чиновъ! «Несмертельный Голованъ», преисполненный любви къ ближнему, не боится страшной заразы и приходитъ на помощь крестьянамъ, служитъ имъ и при другихъ обстоятельствахъ словомъ и дѣломъ. Авторъ характеризуетъ людей этого рода слѣдующимъ образомъ: «Одушевляющая ихъ совершенная любовь ставитъ ихъ выше всѣхъ страховъ». Въ «Кадетскомъ монастырѣ» мы встрѣчаемъ уже людей, приставленныхъ къ дѣлу воспитанія молодежи. Предъ нами корпусъ николаевскихъ временъ, а если познакомиться съ тогдашними директоромъ, экономомъ и врачомъ этого заведенія, то можно только пожелать, чтобы во всякое время находились такіе дѣятели. Черезъ руки эконома, напримѣръ, прошло 24 милліона, а его самого пришлось похоронить на казенный счетъ. Какую любовь, какое уваженіе внушали эти люди воспитанникамъ, и какъ они умѣли поддерживать въ нихъ человѣческія чувства!..

Но довольно объ этихъ «праведникахъ». Мы достаточно сказали, чтобы выяснить основную мысль автора. Знакомясь съ

соотвѣтствующими разсказами Лѣскова, читатель пойметъ, какое значеніе они имѣютъ для характеристики міросозерцанія Лѣскова.

## V.

Уяснивъ себѣ общее міросозерцаніе Лѣскова, мы легко поймемъ и ту роль, которую онъ сыгралъ, какъ изслѣдователь нашей религіозной жизни и знаменитый бытописатель нашего духовенства и раскольниковъ. Какъ по своему происхожденію, такъ и по воспоминаніямъ дѣтства и молодости, онъ стоялъ очень близко къ духовной средѣ. Онъ былъ внукъ священника, воспитывался подъ непосредственнымъ вліяніемъ священниковъ, росъ въ городѣ, гдѣ жило очень много раскольниковъ самыхъ различныхъ толковъ, до крайнихъ сектъ включительно. Все это невольно обращало вниманіе пытливаго и наблюдательнаго ребенка и юноши на религіозную жизнь нашего народа и общества. Мало того, наиболѣе сильныя дѣтскія впечатлѣнія у него связаны, какъ мы видѣли, съ религіозною жизнью. Образъ тети Полли и Гильдегарды навсегда врѣзался въ его память; онъ съ благодарностью до конца жизни вспоминалъ о своемъ законоучителѣ и другихъ священникахъ, вліявшихъ на него въ дѣтствѣ. Религіозное воздѣйствіе на него было, слѣдовательно, не одностороннее: Христосъ говорилъ съ нимъ черезъ посредство православныхъ священниковъ, лютеранъ, квакеровъ. Обративъ усиленное вниманіе на религіозную жизнь, онъ при своей впечатлительности и наблюдательности улавливалъ всѣ оттѣнки религіознаго чувства и не пропускалъ случая основательно познакомиться съ бытомъ и нравами представителей разныхъ религій, а случаевъ этихъ ему представилось не мало и въ родномъ Орлѣ, и въ окрестныхъ усадьбахъ, и въ Кіевѣ, и во время служебныхъ разъѣздовъ по Кіевской губерніи или странствованія по Россіи въ качествѣ агента Шкота.

Такимъ образомъ и въ этой области у него накопился богатый запасъ наблюденій. Но, можетъ-быть, этотъ запасъ пропалъ бы даромъ или по крайней мѣрѣ не былъ бы разработанъ имъ въ такомъ совершенствѣ и съ такою полнотою, если бы все его міросозерцаніе не покоилось на религіозномъ фундаментѣ, на дѣятельной любви къ ближнему. Онъ всюду искалъ носителей этой любви. Понятно, что онъ ихъ искалъ особенно усердно въ той средѣ, которая по жизненному своему призванію обязана проявлять эту любовь и возбуждать ее въ другихъ. Произведенія Лѣскова, посвященныя описанію религіозной жизни и быта ея главныхъ представителей, слѣдовательно находятся въ самой тѣсной связи съ общимъ его міросозерцаніемъ и должны быть изучаемы съ этой точки зрѣнія; иначе мы ихъ никакъ не оцѣнимъ

по достоинству. Въ сферѣ религіозной онъ искалъ, какъ въ общественной и общенародной жизни, носителей воодушевлявшаго его глубокаго альтруистическаго чувства.

Мы видѣли уже, что первымъ его печатнымъ произведеніемъ была статья о распространеніи Евангелія. Попавъ въ водоворотъ тогдашней бурной петербургской жизни съ ея отрицаніемъ религіозныхъ началъ, онъ однако не подчиняется общему теченію, а продолжаетъ усердно заниматься вопросами религіи. Слѣды этой работы бросаются въ глаза и въ первыхъ его беллетристическихъ произведеніяхъ. Въ «Овцебыкѣ» онъ даетъ мастерскую картину жизни въ пустынѣ, касается раскольничьяго быта; въ томъ же году появляется его чрезвычайно интересное изслѣдованіе «О раскольникахъ города Риги», составленное по порученію тогдашняго министра народнаго просвѣщенія, извѣстнаго Головнина. Въ «Некуда» онъ выводитъ симпатичный типъ игуменьи Агніи и одновременно рисуетъ намъ бытъ «людей древляго благочестія»; въ «Островитянахъ» изображаетъ крайне симпатичными чертами представителя совершенно иной религіозной секты— гернгутера, и тотчасъ же принимается за классическое въ нашей литературѣ произведеніе «Соборяне»,—эту первую блестящую картину быта нашего православнаго духовенства и душевной борьбы, переживаемой лучшими его представителями.

Центральная фигура этой хроники—провинціальный протопопъ Туберозовъ. Чтобы охарактеризовать его настроеніе, достаточно взять сцену, когда Туберозовъ видитъ, какъ полунищій Пизонскій, призрѣвшій младенца дурочки Насти, обольщенной прохожимъ солдатомъ, стоялъ на лѣстницѣ утвержденнаго на столбахъ разсадника, погружалъ зерна и молился: «Боже, устрой и умножь и возрасти на всякую долю человѣка голоднаго и сираго, хотящаго, просящаго и произволящаго, благословляющаго и неблагодарнаго». О. Туберозовъ вноситъ по этому поводу въ свои «нотатки» слѣдующія слова: «Я никогда не встрѣчалъ такой молитвы въ печатной книгѣ. Боже мой, Боже мой! Этотъ старикъ садилъ на долю вора и за него молился. Это можетъ быть гражданскою критикой не очищается, но это ужасно трогаетъ. О, моя мягкосердечная Русь, какъ ты прекрасна!» Вотъ еще его взглядъ на проповѣдь: «Я ощущаю порой нѣчто на меня сходящее, когда любимый даръ мой ищетъ дѣйствія; мною тогда овладѣваетъ нѣкое, позволю себѣ сказать, священное безпокойство; душа трепещетъ и горитъ, и слово падаетъ изъ устъ, какъ угль горящій. Нѣтъ, тогда въ душѣ моей есть свой законъ цензуры... а они требуютъ, чтобы я вмѣсто живой рѣчи, направляемой отъ души къ душѣ, дѣлалъ риторическія упражненія... Я

сей дорогой не ходокъ... Я изъ-подъ неволи не проповѣдникъ».

Таковы основы религіознаго чувства о. Туберозова. Его дѣятельность—борьба съ тѣми, кто такого религіознаго чувства не признаетъ. Онъ предпочитаетъ, чтобы храмъ его былъ пустъ, чѣмъ чтобы онъ былъ наполненъ людьми, посѣщающими его по постороннимъ соображеніямъ, изъ чувства страха или по другимъ мотивамъ. О силѣ воздѣйствія о. Туберозова на людей можно судить по отношеніямъ, которыя устанавливаются между нимъ и дьякономъ Ахиллой,—этимъ удалымъ казакомъ, по ошибкѣ попавшимъ въ духовныя особы, по натурѣ своей, молодеческой, буйной, совершенно неспособнымъ къ проявленію пастырскихъ добродѣтелей и постепенно перерождающимся подъ вліяніемъ о. Туберозова. Фигура дьякона Ахиллы въ художественномъ отношеніи такъ же прекрасна, какъ фигура о. Туберозова — въ идейномъ. Надо ли разсказывать, чѣмъ кончилась глухая борьба, затѣянная протопопомъ? «Прости слѣпому роду его жестокосердіе», — напутствуетъ его въ смертный часъ его товарищъ о. Захарія. А когда онъ умеръ, дьяконъ Ахилла въ первый разъ въ жизни проявилъ краснорѣчіе и судорожно пролепеталъ дрожащими устами: «Въ мірѣ бѣ, и міръ его не позна»—и вдругъ, не находя болѣе соотвѣтствующихъ словъ, побагровѣлъ и, какъ бы ловя высохшими глазами слова, начертанныя для него въ воздухѣ, грозно воскликнулъ: «но возрятъ нань его же прободоша»...

Такъ кончается жизнь о. Туберозова, цѣликомъ ушедшаго въ исполненіе заповѣди о любви къ ближнему. Мы не станемъ останавливаться на другихъ типахъ, выведенныхъ въ этомъ замѣчательномъ произведеніи, потому что они встрѣчаются во многихъ произведеніяхъ Лѣскова и нами уже отмѣчены. Богатая помѣщица Мареа Андреевна является разновидностью княгини Протозановой, осмѣянные въ хроникѣ «новые люди» принадлежатъ къ числу тѣхъ, которые преслѣдуютъ подъ личиною громкихъ фразъ эгоистическіе и своекорыстные интересы и т. д. Мы теперь хотимъ только выяснить, какъ основное міросозерцаніе Лѣскова отразилось на его изображеніи религіозной жизни. Въ окончательной своей редакціи «Соборяне» появились въ 1872 году. Мысль, положенную въ ихъ основаніе, Лѣсковъ развиваетъ затѣмъ въ цѣломъ рядѣ очерковъ, изъ которыхъ нѣкоторые могутъ быть названы перлами художественнаго творчества. Нарисовавъ картину быта православнаго духовенства, онъ въ «Запечатлѣнномъ Ангелѣ» рисуетъ намъ старовѣровъ, поклоняющихся буквѣ, формѣ, но не понимающихъ духа христіанскаго. Изумительно рельефна въ этомъ отношеніи фигура раскольника-старца Малахія, изображеннаго позднѣе Лѣсковымъ въ его «Печерскихъ антикахъ». Онъ ждетъ

не дождется посрамленія своихъ враговъ и вѣритъ, что при открытіи въ высочайшемъ присутствіи новоотстроеннаго моста въ Кіевѣ, императоръ осѣнитъ себя двуперстнымъ крестнымъ знаменіемъ, и что тогда настанетъ часъ торжества раскольниковъ. Тѣмъ временемъ онъ моритъ голодомъ своего вѣрнаго слугу, такъ что тотъ умираетъ впослѣдствіи отъ рака въ желудкѣ, проклявъ расколъ съ его мертвящимъ буквоѣдствомъ.

Борьба съ расколомъ, по мысли автора, можетъ быть успѣшна не на почвѣ внѣшняго принужденія, словопреній, богословской казуистики, а лишь на почвѣ альтруистической. Когда старовѣры встрѣчаются съ людьми, проникнутыми этимъ духомъ, они невольно чувствуютъ къ нимъ симпатію или даже преклоняются передъ ними и признаютъ себя побѣжденными. Они уважаютъ и любятъ англичанина и его жену, проникнутыхъ духомъ вѣротерпимости и состраданія. Когда старовѣръ встрѣчаетъ отшельника Памву, проникнутаго тѣмъ же духомъ, онъ восклицаетъ: «Господи, дерзаю разсуждать: если только въ церкви два такіе человѣка есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевленъ». Еще рѣзче и въ дивной формѣ выражена мысль о спасительности дѣятельной любви къ ближнему въ очеркѣ: «На краю свѣта», въ которомъ авторъ беретъ просвѣщеннаго пастыря нашей церкви (позднѣйшаго архіепископа ярославскаго Нила) и разсказываетъ съ его словъ, какой характеръ приняла его миссіонерская дѣятельность среди зырянъ. Мѣстный монахъ относится къ крещенію зырянъ какъ-то странно, какъ будто даже ему не сочувствуетъ, и архіерей никакъ не можетъ понять его настроенія до тѣхъ поръ, пока не видитъ, какъ совершается миссіонерская дѣятельность и невѣжественный зырянинъ не спасаетъ ему жизни, подвергаясь самъ страшной опасности. Фабула этого разсказа нѣсколько напоминаетъ написанный 20 лѣтъ спустя разсказъ графа Льва Толстого: «Хозяинъ и работникъ»; но только тутъ замерзаетъ архіерей и зырянинъ. Когда послѣдній спасаетъ архіерея, тотъ предается слѣдующимъ размышленіямъ: «Онъ бѣжалъ сутки конечно движимый не однимъ естественнымъ чувствомъ состраданія ко мнѣ, а дорожа возсоединеніемъ съ тѣмъ Хозяиномъ, Который сверху смотритъ. Что же я съ нимъ сотворю теперь? Возьму ли я у него эту религію и разобью ее, когда другой лучшей и сладостнѣйшей я лишенъ возможности дать ему, доколѣ слова путаютъ смыслъ смертнаго, а дѣлъ для плѣненія его показать невозможно? Неужто я стану страхомъ его нудить или выгодою защиты обольщать?.. Гдѣ мои средства его воспитать, его просвѣтить, когда нѣтъ ихъ, этихъ средствъ, и все какъ бы нарочито такъ устроено, чтобы имъ

не быть въ моихъ рукахъ?.. Здѣсь печать, которую несвободной рукой не распечатаешь... Ей гряди, Христосъ, ей гряди Самъ въ сіе сердце чистое, въ сію душу смирную, а доколѣ медлишь, доколѣ не изволишь сего, пусть милы ему будутъ эти снѣжныя глыбы его долинъ, пусть въ свой день онъ скончается... Не мнѣ ставить въ колоды ноги его и преслѣдовать его стези, когда Самъ Сый написалъ перстомъ Своимъ законъ любви въ сердцѣ его и отвелъ его въ сторону отъ дѣлъ гнѣва».

Надо ли послѣ этого еще указывать на основную мысль «Некрещенаго попа»? Герой этого разсказа, православный священникъ Савва—воспитанникъ штундиста, вокругъ него вездѣ штундисты, но его церковь всегда наполнена молящимся православнымъ людомъ, потому что и въ его сердцѣ «написанъ законъ любви», потому что и онъ далекъ «отъ дѣлъ гнѣва».

Мы не имѣемъ возможности коснуться здѣсь другихъ произведеній Лѣскова изъ духовнаго быта, хотя они написаны съ тѣмъ же глубокимъ знаніемъ предмета и съ тою же поразительною художественною правдою. Укажемъ для примѣра только на «Владычный судъ», гдѣ, какъ и въ «Некрещеномъ попѣ», высокій представитель нашей церкви дѣйствуетъ въ духѣ Христа и предотвращаетъ глубокую неправду. Но и въ этомъ отношеніи Лѣсковъ, какъ всегда, раскрываетъ не только положительныя, но и отрицательныя стороны изображаемой имъ жизни. Вотъ почему съ нимъ буквально повторилось въ 70-хъ годахъ, когда онъ особенно усердно занимался изображеніемъ нашей духовной среды, то, что съ нимъ случилось, когда онъ въ 60-хъ годахъ посвящалъ преобладающее вниманіе изображенію «новыхъ людей». Авторъ «Соборянъ», «На краю свѣта», «Некрещенаго попа», въ полной мѣрѣ раздѣлилъ участь автора «Некуда» и «На ножахъ». Правда, очевидно, глаза колетъ, и какъ Лѣсковъ въ 60-ыхъ годахъ не угодилъ либераламъ, такъ онъ въ 70-ыхъ не угодилъ консерваторамъ. Противъ него пущены была въ ходъ интрига. Прежде его признавали отъявленнымъ врагомъ молодежи, а теперь—«потаеннымъ и хитро-ласковымъ нигилистомъ». Этотъ новый походъ противъ Лѣскова стоилъ ему матеріальнаго обезпеченія, которымъ онъ пользовался, состоя на службѣ въ ученомъ комитетѣ министерства народнаго просвѣщенія и въ министерствѣ государственныхъ имуществъ. «Соборяне» обратили на себя милостивое вниманіе императрицы Маріи Александровны, но тѣмъ не менѣе, благодаря интригамъ, Лѣсковъ вынужденъ былъ отказаться отъ службы въ министерствѣ государственныхъ имуществъ, а въ 1883 г., вслѣдствіе указанія, что священники по назначенію бываютъ иногда не лучше священниковъ по избра-

нію,—онъ былъ уволенъ «безъ прошенія» и со службы въ министерствѣ народнаго просвѣщенія. Такое рѣзкое увольненіе отчасти было вызвано самимъ Лѣсковымъ, который не пожелалъ подчиниться установленной въ подобныхъ случаяхъ формѣ. Утверждаютъ, что ему легко было предотвратить этотъ ударъ, но что онъ этого не хотѣлъ, зная, что его отставка вызвана была желаніемъ до извѣстной степени стѣснить свободу сужденій, высказываемыхъ имъ печатно. Когда Лѣскову предстоялъ выборъ—пожертвовать личными своими интересами или свободою убѣжденій, онъ всегда приносилъ въ жертву первые. Такъ онъ поступилъ въ дни молодости, такъ поступилъ и теперь: житейскій опытъ его въ этомъ отношеніи не умудрилъ. Онъ выше всего ставилъ честь писателя и выстраданныя имъ убѣжденія. Жертва, которую онъ приносилъ, была очень тяжелая, потому что у него не было другихъ средствъ къ существованію, кромѣ литературнаго труда, доставлявшаго ему скудное вознагражденіе, несмотря на блестящія дарованія, также потому, что онъ во всемъ и всегда хотѣлъ оставаться самимъ собою.

Разставшись съ казенною службою, онъ продолжалъ попрежнему обсуждать религіозные вопросы. Общество все рѣшительнѣе шло ему навстрѣчу. Вопросы религіи и нравственности начали усиленно занимать общество, въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ гр. Л. Толстой, слѣдуя примѣру Лѣскова, начерталъ на своемъ знамени лозунгъ любви къ ближнему. Лѣсковъ конечно очень обрадовался такому вліятельному союзнику и въ цѣломъ рядѣ газетныхъ статей горячо его защищалъ противъ нападокъ съ разныхъ сторонъ. Одно время могло даже казаться, что Лѣсковъ и гр. Л. Толстой пойдутъ рука объ руку, будутъ дѣйствовать въ одномъ и томъ же направленіи, отчасти даже пользуясь одинаковымъ оружіемъ, то-есть воскрешеніемъ древне-христіанскихъ легендъ для распространенія въ нашемъ обществѣ христіанскихъ началъ. Дѣйствительно, Лѣсковъ написалъ цѣлый рядъ такихъ легендъ, изъ которыхъ нѣкоторыя имѣютъ несомнѣнныя художественныя достоинства и всѣ проникнуты тѣмъ духомъ, который нашелъ себѣ такое яркое выраженіе въ о. Туберозовѣ. Сюда относятся такія общеизвѣстныя произведенія, какъ «Скоморохъ Памфалонъ», «Прекрасная Аза», «Аскалонскій злодѣй», «Гора» и т. д. Къ этому разряду легендъ относится, хотя она и не касается первыхъ временъ христіанства, и легенда: «Часъ воли Божіей». Возьмемъ нѣкоторыя изъ нихъ, чтобы выяснить основную ихъ идею. Въ «Скоморохѣ Памфалонѣ» выводится столпникъ, 30 лѣтъ живущій въ столбѣ, послѣ того, какъ онъ роздалъ все свое богатство, никого въ сущности не

удовлетворивъ. Но и въ аскетическомъ своемъ подвигѣ онъ не находитъ настоящаго удовлетворенія. И вдругъ ему было видѣніе, что настоящій праведникъ — скоморохъ Памфалонъ. Столпникъ идетъ разыскивать его и къ своему удивленію видитъ, что Памфалонъ—настоящій скоморохъ, забавляющій даже гетеръ. Но этотъ скоморохъ отличается отъ столпника тѣмъ, что онъ «не находитъ времени думать о своемъ спасеніи, потому что ему приходится думать все о другихъ». Онъ постоянно раздаетъ все, чтобы спасти ближняго, и самъ весь уходитъ въ дѣло оказанія помощи ближнему. Вернувшись на мѣсто своего аскетическаго подвига, столпникъ уже не входитъ въ столпъ, а посвящаетъ себя служенію мѣстнымъ жителямъ. Таково же содержаніе легенды о «Совѣстномъ Данилѣ», который находитъ себѣ успокоеніе только тогда, когда перестаетъ «мечтать о подвигахъ, смотритъ ниже», ухаживаетъ за прокаженными, служитъ чѣмъ-можетъ людямъ. Такова и судьба прекрасной Азы. Она выросла въ богатствѣ, но пожертвовала все свое состояніе, чтобы спасти бѣдняка. Будучи сама неспособна къ труду, она, побуждаемая голодомъ, становится блудницею. Но именно за свой подвигъ, за отреченіе отъ всего для ближняго, спасается, хотя она и не удостоилась крещенія. По мысли автора, духъ всегда стоитъ выше формы. Другія героини его легендъ,—Тенія и Нефора, подобно Азѣ, хотя и язычницы, но болѣе достойныя женщины, чѣмъ другіе христіане. Основная мысль Лѣскова выражена яснѣе всего въ сказкѣ: «Часъ воли Божіей», гдѣ «важнѣйшимъ часомъ признается теперешній; нужнѣйшій человѣкъ—тотъ, съ которымъ сейчасъ дѣло имѣешь, а самымъ дорогимъ дѣломъ будетъ добро, которое мы можемъ сейчасъ сдѣлать человѣку». Мы видимъ, слѣдовательно, что эти легенды и сказки по духу и настроенію совершенно соотвѣтствуютъ тому, что Лѣсковъ проповѣдывалъ въ началѣ своей литературной дѣятельности: спасаетъ не теорія, не идея, а живое дѣло, направленное къ обезпеченію блага ближняго.

Несмотря, однако, на это видимое совпаденіе основы міросозерцанія Лѣскова съ идеями, которыя такъ рѣшительно сталъ проповѣдывать гр. Толстой въ 80-хъ годахъ, союзники очень скоро разошлись, и этому удивляться, конечно, нельзя. Проповѣдуя любовь къ ближнему, гр. Толстой работаетъ на совершенно иной нивѣ, чѣмъ Лѣсковъ. Если послѣдній кладетъ въ основу своей практической программы дѣятельную любовь къ ближнему, то онъ при этомъ нисколько не отвергаетъ ни науки, ни современныхъ формъ культурной жизни. Для него легенды изъ первыхъ временъ христіанства служатъ, такъ-сказать, только

аллегоріями. Онъ желаетъ, чтобы современный человѣкъ проникся духомъ, господствовавшимъ въ тѣ времена, и вдохнулъ этотъ духъ въ современныя формы жизни, которыя Лѣсковъ признаетъ неизмѣримо выше прежнихъ. Онъ ничего ломать не хочетъ, онъ добивается только дальнѣйшаго усовершенствованія, а возможность этого усовершенствованія усматриваетъ именно въ самоотверженной любви къ ближнему. Графъ же Толстой, указывая па первыя времена христіанства, на разныхъ святыхъ и мудрецовъ, увлекается не только духомъ, господствовавшимъ въ тѣ отдаленныя времена, но и тогдашними формами жизни; онъ отвергаетъ всю современную цивилизацію и въ этомъ отношеніи немного напоминаетъ Овцебыка, не имѣвшаго почти никакихъ потребностей современнаго культурнаго человѣка, отвергавшаго и книги, и журналы, читавшаго только евангеліе, относившагося съ пренебреженіемъ къ господствующимъ формамъ труда и провозглашавшаго: «сердце мое не терпитъ этой цивилизаціи, этой нобилизаціи, этой стерворизаціи» и, когда ему говорили: «да что жъ ты подѣлаешь», — восклицалъ: «о, когда бъ я зналъ, что съ этимъ можно сдѣлать. О, когда бы это знать!.. Я на ощупь иду».

Лѣсковъ съ грустью взиралъ на Овцебыка и своею мастерскою кистью изобразилъ намъ несчастную судьбу этого человѣка, который, отрѣшившись отъ существующихъ формъ жизни, былъ выброшенъ изъ нея, какъ элементъ негодный, хотя стремленія его были такъ возвышены, любовь—такъ горяча. Лѣсковъ не только не предлагалъ разрушать существующія формы цивилизованнаго общества, а напротивъ всячески приглашалъ защищать ихъ, какъ цѣнное достояніе напряженныхъ усилій человѣчества въ теченіе тысячелѣтій. Такимъ образомъ союзъ между Лѣсковымъ и гр. Толстымъ не могъ быть проченъ, и въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ произведеній («Зимній день») онъ осмѣиваетъ, какъ прежнихъ «новыхъ» людей, которые въ свое время «все собирались Бокля читать», такъ и нынѣшнихъ «непротивленцевъ», которые все «собираются что-то дѣлать». Несмотря на все свое уваженіе къ гр. Толстому, онъ не могъ не убѣдиться, что его сторонники, какъ и прежніе нигилисты, ни разрушить, ни создать ничего не могутъ, а пробавляются только однѣми фразами, переодѣваніями, а если повидимому что-то дѣлаютъ, то это дѣло оказывается совершенно безплоднымъ. Такимъ образомъ Лѣсковъ подъ конецъ жизни боролся противъ стараго врага въ новой личинѣ.

## VI.

Для полной характеристики Лѣскова мы должны коснуться еще одной стороны его литературной дѣятельности. Мы видѣли, какъ онъ во всѣхъ своихъ произведеніяхъ близко примыкалъ къ живой дѣйствительности, какъ онъ ею интересовался, какъ близко принималъ къ сердцу всѣ ея злобы. Въ этомъ смыслѣ Лѣскова можно смѣло назвать публицистомъ. Онъ началъ свою дѣятельность съ публицистической дѣятельности. Нельзя перечислить всѣхъ вопросовъ, которые его занимали въ этомъ отношеніи. Его изслѣдованій по расколу и старообрядчеству особенно много. Не менѣе часто онъ писалъ о церковныхъ вопросахъ, о семинаріяхъ, о преподаваніи закона Божьяго, о разводѣ, о разныхъ сектахъ, о великосвѣтскомъ расколѣ (Редстокѣ и Пашковѣ), о религіозномъ движеніи въ фабричной средѣ. Очень часто онъ затрогивалъ остзейскій вопросъ. Первый обратилъ вниманіе на прокаженныхъ въ Прибалтійскомъ краѣ. Мы даже смѣло можемъ сказать, что не было крупнаго вопроса за все время его литературной дѣятельности, который онъ не старался бы освѣтить съ своей точки зрѣнія. Особенно кипучую дѣятельность въ этомъ отношеніи онъ проявилъ въ 80-хъ годахъ. Заходила ли рѣчь о германскихъ соціалистахъ, о возможности войны, о народныхъ театрахъ, о Саррѣ Бекеръ и Семеновой, о буддизмѣ, о нищихъ дѣтяхъ, объ отцѣ Іоаннѣ, о заграничныхъ паспортахъ,—онъ всегда находилъ сказать дѣльное слово, иллюстрировать всѣ эти вопросы примѣрами изъ живой дѣйствительности.

Послѣ всего вышеизложеннаго не трудно себѣ уяснить, каковъ былъ характеръ этой публицистической дѣятельности Лѣскова. Всякій возникавшій вопросъ возбуждалъ въ немъ рядъ воспоминаній, потому что запасъ этихъ воспоминаній былъ у него очень великъ. Онъ освѣщалъ настоящее прошлымъ, какимъ-нибудь интереснымъ случаемъ, непосредственно взятымъ изъ жизни и разсказаннымъ съ свойственнымъ ему мастерствомъ. Такимъ образомъ публицистика и беллетристика постоянно у него сливались. Онъ словно не могъ иначе думать, какъ только при посредствѣ фактовъ изъ жизни, разныхъ случаевъ, образовъ, запечатлѣвшихся въ его воспріимчивой памяти. О чемъ бы онъ ни заговорилъ, тотчасъ же возникало воспоминаніе, тотчасъ же теоретическія соображенія подкрѣплялись разными случаями изъ жизни. Даже филологическія замѣтки, въ родѣ, напримѣръ, замѣтки о происхожденіи слова «ерунда», превращались у него въ два занимательныхъ разсказа, изъ которыхъ одинъ подкрѣплялъ происхожденіе этого слова отъ латинскаго «герундіумъ», а другой—отъ нѣмецкихъ словъ: hier und da.

Этотъ способъ поясненія своей мысли особенно сильно проявлялся при обсужденіи общественныхъ вопросовъ, относительно которыхъ онъ имѣлъ такой богатый запасъ воспоминаній. Благодаря необычайному мастерству повѣствовательной формы, разсказы эти были всегда занимательны, тѣмъ болѣе, что Лѣсковъ очень часто пользовался столь доступною широкой публикѣ анекдотическою формою. Но онъ лишь въ очень исключительныхъ случаяхъ разсказывалъ анекдоты, такъ сказать, изъ любви къ искусству: онъ пользовался ими либо, чтобы привлечь вниманіе читателя къ тому или другому вопросу, заинтересовать его, либо для того, чтобы высказать свою мысль въ наиболѣе безобидной формѣ. Лѣскова можно назвать выдающимся русскимъ анекдотистомъ, но только именно въ этомъ смыслѣ, т. е. въ смыслѣ писателя, пользующагося анекдотомъ для проведенія въ общество тѣхъ или другихъ мыслей, убѣжденій.

Самъ Лѣсковъ далъ нѣкоторымъ изъ своихъ произведеній общее заглавіе: «Разсказы кстати». Но подъ это заглавіе могутъ быть подведены и многіе другіе именно въ томъ смыслѣ, что онъ по поводу того или другого возникавшаго вопроса разсказывалъ что-нибудь кстати, при чемъ выяснялось и его отношеніе къ этимъ вопросамъ. Такимъ образомъ возникло не одно беллетристическое произведеніе, по большей части изложенное въ формѣ воспоминаній. И, дѣйствительно, это нерѣдко — воспоминанія, такъ что авторъ даже не скрываетъ ни мѣста дѣйствія, ни фамилій дѣйствующихъ лицъ или же прикрываетъ ихъ весьма прозрачными псевдонимами. Но при тонкой наблюдательности Лѣскова, при его изумительномъ умѣньи разсказывать, отмѣчать интересныя положенія и типическія личности, всѣ эти произведенія не только занимательны, но часто отличаются большими художественными достоинствами. Авторъ хочетъ осмѣять модный спиритизмъ, и у него получается такая преисполненная безподобнаго юмора вещица, какъ «Духъ г-жи Жанлисъ». Заходитъ рѣчь о настроеніи современныхъ инженеровъ, — Лѣсковъ противопоставляетъ ему нѣсколько примѣровъ изъ прошлаго, часто порицаемаго и тѣмъ не менѣе представлявшаго и много свѣтлыхъ сторонъ, въ разсказѣ: «Инженеры безсребренники». Жизнь выдвигаетъ вопросъ о нашихъ торговыхъ нравахъ,—появляется трилогія: «Отборное зерно», въ которой авторъ разъясняетъ причины печальнаго состоянія этихъ нравовъ. Проявляется въ нашемъ обществѣ склонность къ святошеству,—и Лѣсковъ пишетъ свою «Маленькую ошибку» или глубоко задуманный «Зимній день». Разражается голодъ,—и наша литература обогащается такою потрясающею картиною, какъ «Юдоль». Всѣ эти произведенія не только многое разъясняютъ,

представляя собою тонкое наблюденіе надъ жизнью, но и внушаютъ намъ чувство бодрости: сравнивая настоящее съ прошлымъ, мы видимъ, что недавно еще общія условія были гораздо хуже, но что и тогда уже были борцы, которымъ мы обязаны послѣдовавшимъ улучшеніемъ, что наше вниманіе должно быть главнымъ образомъ направлено на то, чтобы и теперь такіе борцы были, потому что бороться стоитъ, потому что борьба, вѣрно направленная, т. е. веденная при помощи надлежащихъ средствъ, приводитъ къ цѣли. Лѣсковъ кончалъ свою жизнь въ такое время, когда многими овладѣла прострація; противопоставляя современности недавнее прошлое, онъ живыми примѣрами убѣждалъ, что нѣтъ никакого основанія падать духомъ, что многое уже достигнуто и будетъ достигнуто еще большее, если мы отрѣшимся отъ безпочвенности, отъ безплоднаго умствованія и будемъ энергически работать въ жизни для жизни.

Закатъ дней Лѣскова совпалъ и съ сильнымъ обостреніемъ національнаго вопроса. Надо ли указывать, въ какомъ духѣ онъ обсуждалъ этотъ вопросъ, привыкнувъ уже съ дѣтства различать въ людяхъ разныхъ національностей, каковъ бы ни былъ ихъ внѣшній обликъ, какъ бы они ни молились Богу, прежде всего человѣка. Англичанка Гильдегарда, нѣмецъ Коза научили его вмѣстѣ съ православнымъ священникомъ вѣрить въ Бога, когда онъ былъ ребенкомъ. Ребенкомъ же онъ научился различать человѣка подъ оболочкою раскольника. Когда онъ подросъ, онъ то и дѣло встрѣчался съ евреями и поляками. Русскій ученый научилъ его думать объ общественныхъ вопросахъ; англичанинъ Шкотъ показалъ ему нагляднымъ примѣромъ, какъ можно съ успѣхомъ трудиться въ русской дѣйствительности. Въ началѣ своей литературной дѣятельности онъ жилъ нѣкоторое время за границею, присматриваясь къ тамошнимъ людямъ и порядкамъ; затѣмъ еще нѣсколько разъ побывалъ за границею, впослѣдствіи проводилъ лѣто то въ Финляндіи, то въ остзейскихъ губерніяхъ: подъ Ригою, Ревелемъ, въ Аренсбургѣ, Мерекюлѣ. И, какъ въ дѣтствѣ онъ своею воспріимчивою душою сразу уловилъ, что было прекраснаго въ нѣмцѣ Козѣ или англичанкѣ Гильдегардѣ, такъ онъ впослѣдствіи, при наблюдательномъ своемъ умѣ и благорасположеніи ко всѣмъ людямъ, умѣлъ отличать въ представителѣ каждой національности то, что въ немъ было хорошаго, и то, что ему мѣшало быть хорошимъ. Если Лѣсковъ къ собственной своей странѣ и къ собственному своему народу, благополучіе которыхъ были ему дороже всего на свѣтѣ, относился подчасъ сурово, любящею рукою клеймилъ его недостатки, желая видѣть его болѣе совершеннымъ, то онъ указывалъ и на недостатки

другихъ народовъ, но не для того, чтобы превознести собственный, а для того, чтобы добиться нормальной совмѣстной ихъ жизни тамъ, гдѣ Богъ судилъ имъ жить вмѣстѣ и разрѣшать общія задачи. Онъ часто указывалъ на національные недостатки евреевъ, поляковъ, нѣмцевъ, но противупоставлялъ имъ наши собственные недостатки и такимъ образомъ выяснялъ истинныя причины существующихъ разногласій. Въ разсказѣ «Антука» онъ добродушно подсмѣивается надъ польскимъ возстаніемъ, а въ разсказѣ «Русскій демократъ» въ остроумной формѣ указываетъ на причины нашихъ неудачъ въ Польшѣ, зависящихъ отъ насъ самихъ. Къ этимъ двумъ разсказамъ присоединяется третій: «Интересные мужчины», изъ котораго ясно видно, какъ далекъ авторъ отъ чувства національнаго антагонизма. Разсказъ «Колыванскій мужъ» убѣждаетъ читателя, какъ трезво относился Лѣсковъ къ остзейскому вопросу и какимъ горячимъ онъ былъ одушевленъ желаніемъ рѣшить этотъ вопросъ не въ духѣ Аксакова, а съ соблюденіемъ требованій справедливости по отношенію ко всѣмъ заинтересованнымъ сторонамъ. Въ разсказѣ «Дама и Фефёла», собственно посвященномъ указанію на истинныя основы счастливой супружеской жизни, онъ мимоходомъ выводитъ симпатичный типъ финскаго простолюдина. Наконецъ, когда онъ касается еврейскаго вопроса, то часто не щадитъ евреевъ, указывая на ихъ отрицательныя стороны («Ракушанскій Меламедъ», «Владычный судъ»), но какъ въ послѣднемъ изъ этихъ разсказовъ онъ умѣетъ возвыситься до чувства полной справедливости, такъ онъ въ «Сказаніи о Федорѣ-христіанинѣ и о другѣ его Абрамѣ-жидовинѣ» затрогиваетъ такія струны, которыя звучатъ въ сердцахъ, глубоко проникнутыхъ изреченіемъ: «нѣсть эллина, ни іудея» и «оскорбляемыхъ нестерпимымъ дыханіемъ братоненавидѣнія и злопомненія». Христіанинъ Федоръ и еврей Абрамъ послѣ цѣлаго ряда злоключеній, послѣ дружбы въ дѣтствѣ и позднѣе жестокой ссоры основываютъ пріютъ для «всѣхъ бѣдныхъ дѣтей всѣхъ вѣръ безъ различія, чтобы они съ дѣтства другъ съ другомъ свыкались, и приходили туда христіанинъ и еврей, оба одною радостью радовались и, одною равною заботой о ближнихъ заботясь, мнили, яко единую и согласную службу приносятъ всѣхъ сотворившему Богу».

Чтобы въ заключеніе упомянуть еще о двухъ произведеніяхъ Лѣскова, которыхъ мы въ предыдущемъ вовсе не касались или коснулись лишь вскользь, мы укажемъ еще на «Сказъ о тульскомъ косомъ Лѣвшѣ и о стальной блохѣ» и на разсказъ: «Загонъ». Первый изъ нихъ по чисто-народной своей формѣ, богатству бытовыхъ чертъ является однимъ изъ лучшихъ произве-

деній Лѣскова этого рода и можетъ быть сопоставленъ только съ «Очарованнымъ странникомъ». Въ немъ звучитъ патріотическая нотка, но онъ въ то же время представляетъ поразительный контрастъ съ разсказомъ «Загонъ», гдѣ по поводу толковъ объ отсталости нашего сельскаго хозяйства Лѣсковъ рисуетъ истинную причину этой отсталости, въ значительной степени коренящуюся въ самомъ народѣ. Такимъ образомъ и тутъ Лѣсковъ умѣетъ возвыситься до безпристрастнаго отношенія къ собственному народу, изображая его отрицательныя и положительныя стороны и мѣря всѣхъ равною мѣрою, какъ своихъ, такъ и чужихъ. Трезвость мысли у Лѣскова всегда преобладаетъ: онъ менѣе всего тенденціозный писатель, хотя и не понимаетъ другого искусства, кромѣ находящагося въ связи съ общественными задачами. Его возвышенный взглядъ на этотъ предметъ изложенъ, какъ извѣстно, въ «Чертовыхъ куклахъ».

## VII.

Намъ остается еще опредѣлить мѣсто, которое Лѣсковъ занимаетъ въ нашей литературѣ.

Первое его печатное произведеніе, какъ мы видѣли, появилось въ 1860 г., когда ему было почти уже 30 лѣтъ; онъ сразу принялъ самое дѣятельное участіе въ движеніи этого времени; слѣдовательно, его по всей справедливости можно назвать писателемъ шестидесятыхъ годовъ. Но между писателями этой эпохи онъ занимаетъ своеобразное мѣсто, потому что онъ подчинился движенію этого времени только въ извѣстномъ смыслѣ и отвергъ его въ другихъ отношеніяхъ. Въ то время, какъ Салтыковъ, хотя писалъ и составилъ себѣ даже довольно громкую литературную извѣстность уже раньше, является самымъ яркимъ представителемъ движенія шестидесятыхъ годовъ, какъ оно выразилось въ нашей журналистикѣ, Лѣсковъ отсталъ отъ него прежде, чѣмъ успѣлъ окончательно къ нему присоединиться. Салтыковъ относился отрицательно и критически ко всему, за исключеніемъ того, что составляло сущность движенія въ указанномъ смыслѣ; Лѣсковъ началъ свою литературную дѣятельность съ отрицанія этого движенія. Русское образованное общество теперь все болѣе приходитъ къ сознанію, что оба эти писателя имѣютъ большія заслуги передъ литературою и родиною, а между тѣмъ ихъ убѣжденія повидимому совершенно противоположны.

Какъ это объяснить?

Имя Салтыкова окружено легендою. Что думалъ Салтыковъ,— объ этомъ говорить рано; мы должны судить его, какъ и Лѣскова, только по его произведеніямъ. Если же ограничиться одними

произведеніями Салтыкова, то мы должны будемъ признать, что его литературная дѣятельность является прямымъ продолженіемъ дѣятельности Гоголя въ его двухъ капитальнѣйшихъ произведеніяхъ: «Ревизорѣ» и «Мертвыхъ душахъ» Никто изъ русскихъ писателей истекающаго вѣка не осмѣялъ наше общество такъ жестоко, какъ осмѣялъ его Гоголь. Салтыковъ, обладавшій изумительнымъ сатирическимъ талантомъ, является прямымъ послѣдователемъ этой стороны дѣятельности творца «Мертвыхъ душъ». Нуждалось ли, однако, наше общество въ этомъ смѣхѣ надъ самимъ собою? На первый разъ несомнѣнно: этотъ смѣхъ удовлетворялъ очень сильной его потребности. Въ эпоху переходную, когда происходитъ переломъ, когда общество ищетъ новыхъ идеаловъ въ замѣнъ старыхъ, отжившихъ свое время, критическое отношеніе къ послѣднимъ, а при случаѣ и ихъ осмѣяніе соотвѣтствуетъ глубокой общественной потребности. Всѣ, кто желаетъ поскорѣе отрѣшиться отъ прошлаго, жить для будущаго, съ восторгомъ привѣтствуютъ писателя, который не щадитъ прошлаго и осмѣиваетъ тѣхъ, кто, по мнѣнію смѣющихся или на самомъ дѣлѣ, его поддерживаетъ. Этотъ смѣхъ, насколько онъ дѣйствительно направленъ противъ того, что должно рушиться, можетъ быть признанъ благотворнымъ и вполнѣ законнымъ. И мы видимъ, что Салтыковъ и Лѣсковъ идутъ въ этомъ отношеніи рука объ руку. Кто читалъ «Смѣхъ и горе» или «Загонъ» Лѣскова, признаетъ его не только единомышленникомъ Салтыкова, но и родственнымъ ему дарованіемъ по силѣ и глубинѣ сатирическаго настроенія, по необычайному искусству, съ какими они оба умѣли выставлять отрицательныя стороны русской дѣйствительности. Между ними найдется и много другихъ точекъ соприкосновенія. Сатирическое ихъ настроеніе не исключало священнаго трепета, который возбуждали въ душѣ этихъ двухъ писателей «забытыя слова», самыя возвышенныя чувства человѣка: любовь къ ближнему, вѣротерпимость, уваженіе къ личности и свободѣ, готовность къ самопожертвованію, — все это въ одинаковой мѣрѣ ихъ воодушевляло. И тѣмъ не менѣе мы почему-то привыкли ихъ разъединять, считать представителями какихъ-то противоположныхъ началъ. Разъясненіе вопроса, — почему это происходитъ, лучше всего уяснитъ намъ окончательно духовный обликъ Лѣскова.

Начнемъ съ «забытыхъ словъ». Преклоненіе предъ ними, наминаніе о нихъ, конечно, составляютъ заслугу Салтыкова, но они не могутъ служить для него отличительнымъ признакомъ, потому что къ счастью у насъ нѣтъ большихъ писателей, которые отвергали бы «забытыя слова». Предъ ними преклонялись,

о нихъ постоянно напоминали и Кантемиръ, и Ломоносовъ, и Фонвизинъ, и Державинъ, и Жуковскій, и Пушкинъ, и Гоголь, всѣ крупные наши писатели вплоть до Салтыкова и Лѣскова. Значитъ, если руководствоваться только «забытыми словами», то намъ трудно будетъ провести границу между различными писателями. Но «забытыя слова» это—общіе идеалы, идеалы всѣхъ временъ и народовъ, а всякій общій идеалъ осуществляется особеннымъ образомъ въ данное время, въ данномъ народѣ. Эта спеціальная форма осуществленія общаго идеала и составляетъ задачу данной эпохи. Чтобы уловить отличительные признаки извѣстнаго писателя, мы должны, слѣдовательно, знать, какъ онъ представлялъ себѣ осуществленіе общихъ идеаловъ по отношенію къ своему времени и народу. Міровые писатели, т. е. такіе, которые думаютъ для всѣхъ временъ и народовъ, очень рѣдки, да и то среда налагаетъ на нихъ свою руку, а остальные имѣютъ свои спеціальные идеалы, т. е. тѣ же общіе идеалы, но приноровленные къ данному мѣсту и времени. О Салтыковѣ можно только сказать, что онъ въ высокой степени удовлетворилъ современное русское общество въ его потребности критически отнестись къ отрицательнымъ сторонамъ русской жизни; громадный же успѣхъ, которымъ онъ пользовался, объясняется, какъ мы видѣли, тѣмъ, что онъ жилъ въ эпоху переходную, когда народъ, выбиваясь изъ прежнихъ условій, страстно желаетъ покончить съ ними и вступить въ новую жизнь. Въ этомъ отношеніи Салтыковъ былъ своего рода русскимъ геркулесомъ, расчищавшимъ авгіевы конюшни, корчевавшимъ русскую почву для новаго посѣва. Какъ ни значительна роль его въ этомъ отношеніи, но на этомъ она и кончается: обсѣменить ниву онъ не могъ—у него не было сѣмянъ. Другими словами, у него не было спеціальныхъ идеаловъ, пригодныхъ для времени, въ которое онъ жилъ.

Но тамъ, гдѣ кончалась работа Салтыкова, начиналась работа Лѣскова. И Лѣсковъ былъ писателемъ переходнаго времени. Въ качествѣ такого писателя, онъ принялъ дѣятельное участіе въ расчищеніи почвы: онъ примыкаетъ къ тому направленію въ нашей литературѣ, которое называется обличительнымъ. Осмѣяніе старыхъ порядковъ занимаетъ видное мѣсто въ его произведеніяхъ. Въ этомъ отношеніи онъ всецѣло примыкаетъ къ Гоголю и Салтыкову; но онъ на этомъ не останавливается. Во-первыхъ, онъ на ряду съ Писемскимъ, первый изъ крупныхъ нашихъ писателей подвергъ сатирѣ и «новыхъ людей». Но онъ не только ихъ осмѣялъ: онъ въ то же время указалъ имъ, къ чему они должны стремиться, формулировалъ тотъ спеціальный

идеалъ, который наиболѣе пригоденъ для переживаемаго переходнаго времени. Сдѣлалъ онъ это сразу, т. е. тотчасъ по вступленіи на литературное поприще. Мы старались выяснить, почему онъ могъ это сдѣлать; мы старались показать, что онъ собственно готовился къ практической дѣятельности, слѣдовательно, носился въ молодости съ вопросомъ,—какъ ему дѣйствовать не въ качествѣ писателя, а въ качествѣ простого смертнаго въ окружавшей его жизни, и собиралъ соотвѣтственныя наблюденія, обогащалъ себя соотвѣтственнымъ опытомъ. Наблюденія его были чрезвычайно разностороннія, не ограничивались одною школою и канцеляріею, но обнимали болѣе или менѣе всѣ сферы нашей жизни. Онъ чувствовалъ, что̀ Россіи болѣе всего нужно, и пришелъ къ выводу, которымъ проникнуты всѣ его произведенія, что не въ тѣхъ или другихъ теоріяхъ спасеніе, а въ людяхъ, умѣющихъ дѣлать настоящее дѣло у основъ народной жизни. Мы видѣли, что у него цѣлый рядъ произведеній посвященъ указанію на то, что и въ прежней до-реформенной Россіи можно было многое сдѣлать, и что всѣми нашими успѣхами мы обязаны людямъ, трудившимся въ этомъ направленіи. Исходя изъ этого факта, онъ, при своемъ вступленіи на литературное поприще, задался прежде всего вопросомъ, пригодны ли «новые люди» для такого живого дѣла при измѣнившихся условіяхъ. Добросовѣстно изучая и тутъ дѣйствительность, онъ пришелъ къ отрицательному выводу и имѣлъ великое мужество, принося себя въ жертву, сказать это «новымъ людямъ» прямо въ лицо. Это былъ великій его гражданскій подвигъ.

Но и этотъ подвигъ былъ только отрицательнаго свойства. Это было обличеніе. Лѣсковъ сдѣлалъ по отношенію къ своимъ современникамъ и притомъ къ той общественной сферѣ, въ которой онъ самъ жилъ и дѣйствовалъ, то, что сдѣлали въ свое время Фонвизинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь и Салтыковъ. Но изъ всѣхъ этихъ сатириковъ только Грибоѣдову и Лѣскову принадлежитъ честь, что они въ своей сатирѣ не забыли казнить и дѣятелей, имъ наиболѣе близкихъ. Грибоѣдовъ казнилъ не только Фамусовыхъ, Скалозубовъ и Молчалиныхъ, но и Чацкихъ. Лѣсковъ казнилъ не только Функендорфовъ, Постельниковыхъ и тѣхъ видныхъ дѣятелей, которыхъ онъ называлъ прямо по имени, но и дорогихъ его сердцу Райнеровъ и Овцебыковъ. За что онъ ихъ казнилъ? За то, за что и Грибоѣдовъ казнилъ своего Чацкаго: за полное несоотвѣтствіе средствъ, которыми они пользовались, и цѣлей, которыя они преслѣдовали; за благіе порывы, оставляемые неосуществленными; за потокъ громкихъ рѣчей, не сопровождаемыхъ даже маленькимъ дѣломъ; за неумѣнье поставить себѣ

жизненную задачу для доставленія своимъ идеаламъ хотя бы частичнаго торжества. Словомъ, Лѣсковъ не ограничился обличеніемъ стараго, онъ обличилъ и новое и, обличая послѣднее, онъ въ то же время указалъ русскому обществу, — каковъ долженъ быть его путь.

Правильно ли это указаніе? На это можетъ отвѣтить только исторія. Но одно уже теперь видно, именно, что въ томъ направленіи, въ какомъ работалъ Лѣсковъ, несомнѣнно, работаетъ русская жизнь и современная беллетристика. Лѣсковъ примыкаетъ не только къ нашей обличительной литературѣ, но и къ другому направленію, сказавшемуся очень сильно въ первоклассныхъ нашихъ художникахъ. Гоголь далъ намъ Костанжогло, Гончаровъ—Штольца, Тургеновъ уже послѣ Лѣскова—Соломина. Все это — положительные типы въ нашей литературѣ, и ихъ общая черта заключается въ томъ, что они умѣютъ задаваться цѣлями, осуществимыми въ жизни и обезпечивающими наши культурные успѣхи. Творчество Лѣскова въ значительной степени было направлено на то, чтобы укрѣпить въ нашемъ сознаніи убѣжденіе въ возможности такихъ дѣятелей и въ томъ, что безъ нихъ никакой прогрессъ немыслимъ.

Съ этою цѣлью онъ вывелъ цѣлый рядъ типовъ, которыхъ мы здѣсь вторично перечислять не будемъ, но которые имѣютъ ту общую черту, что они представляютъ собою дѣятелей, плодящихъ не одни слова, но и настоящее дѣло. Это — его «праведники», по отношенію къ которымъ онъ повторяетъ слова покойнаго нашего историка Соловьева, что они, «стоя въ сторонѣ отъ главнаго историческаго движенія, сильнѣе другихъ дѣлаютъ исторію». Если мы теперь приглядимся къ современной беллетристикѣ въ лицѣ ея главныхъ представителей, то мы убѣдимся, что и она любитъ главнымъ образомъ рисовать такихъ дѣятелей, указывая при этомъ на тщету широкихъ замысловъ, не сопровождаемыхъ практическимъ дѣломъ. Такимъ образомъ Лѣсковъ, примыкая къ прежней нашей литературѣ, далъ тонъ и направленіе современной, отгадавъ то, въ чемъ жизнь наиболѣе нуждается. Это—вторая великая его заслуга.

Третья, хотя и болѣе частнаго характера, касается раскрытія читателямъ цѣлой новой области русской жизни. Никто до Лѣскова и послѣ него еще не просвѣтилъ въ такой полнотѣ русское общество насчетъ быта и жизни нашего духовенства. И тутъ онъ дѣйствовалъ въ двухъ направленіяхъ: обличалъ прошлое, подготовлялъ будущее. Его отрицательнымъ типамъ соотвѣтствуютъ положительные, которые насъ убѣждаютъ, какъ много скромные пастыри церкви дѣлали и могутъ сдѣлать для цѣлей, насъ всѣхъ воодушевляющихъ. Нѣтъ ничего несправедливѣе, какъ об-

винять Лѣскова въ томъ, что онъ выставилъ лишь отрицательныя стороны нашего духовенства: величественная въ своей простотѣ фигура одного о. Туберозова изобличаетъ этихъ обвинителей въ лжесвидѣтельствѣ. А одинъ ли о. Туберозовъ возбуждаетъ къ себѣ чувства глубокаго уваженія и неменьшей признательности? У Лѣскова найдется не мало такихъ симпатичныхъ типовъ на всѣхъ ступеняхъ духовной іерархіи. Обличалъ Лѣсковъ и въ этой области только то, что было достойно обличенія, противъ чего высказывались всѣ просвѣщенные пастыри нашей церкви. И могъ ли онъ поступать иначе, когда онъ самъ былъ глубоко вѣрующій человѣкъ и не зналъ болѣе высокой заповѣди, какъ христіанская заповѣдь о дѣятельной любви къ ближнему, духомъ которой проникнута всякая строка его замѣчательныхъ произведеній?

Таковы главныя заслуги Лѣскова, которыя мы считали своимъ долгомъ подчеркнуть, потому что ихъ слишкомъ часто забываютъ, не хотятъ знать или не могутъ себѣ уяснить вслѣдствіе временныхъ предубѣжденій. Во всякомъ случаѣ намъ кажется, что только съ этой точки зрѣнія можно понять и оцѣнить Лѣскова. О громадномъ литературномъ его дарованіи мы тутъ говорить не станемъ: оно признается всѣми и не отрицается даже людьми, не сочувствующими его дѣятельности. Но если не одно дарованіе,—этотъ даръ свыше,—обезпечиваетъ за писателемъ мѣсто въ литературѣ и благодарность потомства, если отъ него требуется, чтобы онъ былъ гражданиномъ, чтобы онъ скорбѣлъ скорбью своего времени, чтобы онъ мужественно возвышалъ голосъ за правду, чтобы онъ приносилъ себя, когда нужно, ей въ жертву, то и въ такомъ случаѣ мы должны будемъ признать, что Лѣсковъ въ высокой мѣрѣ исполнилъ свой долгъ, и что онъ является не только выдающимся писателемъ, но и вѣрнымъ, преданнымъ, самоотверженнымъ сыномъ своей страны.

**Р. Сементковскій.**

# СОБОРЯНЕ.

## ХРОНИКА.

# Часть первая.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Люди, житье-бытье которыхъ составитъ предметъ этого разсказа, суть жители Старгородской соборной поповки. Это—протоіерей Савелій Туберозовъ, священникъ Захарія Бенефактовъ и дьяконъ Ахилла Десницынъ. Годы ранней молодости этихъ людей, такъ же какъ и пора ихъ дѣтства, насъ не касаются. А чтобы видѣть предъ собою эти лица въ той порѣ, въ которой читателю приходится представлять ихъ своему воображенію, онъ долженъ рисовать себѣ главу Старгородскаго духовенства, протоіерея Савелія Туберозова, мужемъ уже пережившимъ за шестой десятокъ жизни. Отецъ Туберозовъ высокъ ростомъ и тученъ, но еще очень бодръ и подвиженъ. Въ такомъ же состояніи и душевныя его силы: при первомъ на него взглядѣ видно, что онъ сохранилъ весь пылъ сердца и всю энергію молодости. Голова его отлично красива: ее даже позволительно считать образцомъ мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, какъ грива матераго льва, и бѣлы, какъ кудри Фидіева Зевса. Они художественно поднимаются могучимъ чубомъ надъ его высокимъ лбомъ и тремя крупными волнами падаютъ назадъ, не достигая плечъ. Въ длинной раздвоенной бородѣ отца протопопа и въ его небольшихъ усахъ, соединяющихся съ бородой у угловъ рта, мелькаетъ еще нѣ-

сколько черныхъ волосъ, придающихъ ей видъ серебра, отдѣланнаго чернью. Брови же отца протопопа совсѣмъ черны, и круто заломанными латинскими S-ами сдвигаются у основанія его довольно большого и довольно толстаго носа. Глаза у него коричневые, большіе, смѣлые и ясные. Они всю жизнь свою не теряли способности освѣщаться присутствіемъ разума; въ нихъ же близкіе люди видали и блескъ радостнаго восторга, и туманы скорби, и слезы умиленія; въ нихъ же сверкалъ порою и огонь негодованія, и они бросали искры гнѣва — гнѣва не суетнаго, не сварливаго, не мелкаго, а гнѣва большого человѣка. Въ эти глаза глядѣла прямая и честная душа протопопа Савелія, которую онъ, въ своемъ христіанскомъ упованіи, вѣрилъ быти безсмертною.

Захарія Бенефактовъ, второй іерей Старгородскаго собора, совсѣмъ въ другомъ родѣ. Вся его личность есть воплощенная кротость и смиреніе. Соотвѣтственно тому, сколь мало желаетъ заявлять себя кроткій духъ его, столь же мало занимаетъ мѣста и его крошечное тѣло, и какъ бы старается не отяготить собою землю. Онъ малъ, худъ, тщедушенъ и лысъ. Двѣ маленькихъ букольки сѣро-желтенькихъ волосинокъ у него развѣваются только надъ ушами. Косы у него нѣтъ никакой. Послѣдніе остатки ея исчезли уже давно, да и то была коса столь мизерная, что дьяконъ Ахилла иначе ее не называлъ, какъ мышиный хвостикъ. Вмѣсто бороды, у отца Захаріи точно приклеенъ кусочекъ губочки. Ручки у него дѣтскія, и онъ ихъ постоянно скрываетъ и прячетъ въ кармашки своего подрясника. Ножки у него слабыя, тоненькія, что называется соломенныя, и самъ онъ весь точно сплетенъ изъ соломки. Добрѣйшіе сѣренькіе глазки его смотрятъ быстро, но поднимаются вверхъ очень рѣдко, и сейчасъ же ищутъ мѣста, куда бы имъ спрятаться отъ нескромнаго взора. По лѣтамъ отецъ Захарія немножко старше отца Туберозова и значительно немощнѣе его, но и онъ, такъ же, какъ и протопопъ, привыкъ держаться бодро, и при всѣхъ посѣщающихъ его недугахъ

и немощахъ сохранилъ и живую душу, и тѣлесную подвижность.

Третій и послѣдній представитель Старгородскаго соборнаго духовенства, дьяконъ Ахилла, имѣлъ нѣсколько опредѣленій, которыя будетъ не лишнимъ здѣсь привести всѣ, дабы при помощи ихъ могучій Ахилла сколько-нибудь удобнѣе нарисовался читателю.

Инспекторъ духовнаго училища, исключившій Ахиллу Десницына изъ синтаксическаго класса за «великовозрастіе и малоуспѣшіе», говорилъ ему:

— Эка ты, дубина какая, протяженно сложенная!

Ректоръ, по особымъ ходатайствамъ, вновь принявшій Ахиллу въ классъ реторики, удивлялся, глядя на этого слагавшагося богатыря и, изумляясь его величинѣ, силѣ и безтолковости, говорилъ:

— Недостаточно, думаю, будетъ тебя и дубиной называть, поелику въ моихъ глазахъ ты по малости цѣлый возъ дровъ.

Регентъ же архіерейскаго хора, въ который Ахилла Десницынъ попалъ по извлеченіи его изъ реторики и зачисленіи на причетническую должность, звалъ его «непомѣрнымъ».

— Басъ у тебя, говорилъ регентъ, — хорошій, точно пушка стрѣляетъ; но непомѣренъ ты до страсти, такъ что чрезъ эту непомѣрность я даже не знаю, какъ съ тобой по достоинству обходиться.

Четвертое же и самое вѣское изъ характерныхъ опредѣленій дьякону Ахиллѣ было сдѣлано самимъ архіереемъ, и притомъ въ весьма памятный для Ахиллы день, именно въ день изгнанія его, Ахиллы, изъ архіерейскаго хора и посылки на дьяконство въ Старый Городъ. По этому опредѣленію дьяконъ Ахилла назывался «уязвленнымъ». Здѣсь будетъ умѣстно разсказать, по какому случаю стало ему приличествовать сіе послѣднее названіе «уязвленнаго».

Дьяконъ Ахилла, отъ самыхъ лѣтъ юности своей, былъ человѣкъ весьма веселый, смѣшливый и притомъ безмѣрно

увлекающійся. И мало того, что онъ не зналъ мѣры своимъ увлеченіямъ въ юности: мы увидимъ, зналъ ли онъ имъ мѣру и къ годамъ своей приближающейся старости.

Несмотря на всю «непомѣрность» баса Ахиллы, имъ все-таки очень дорожили въ архіерейскомъ хорѣ, гдѣ онъ хваталъ и самаго залетнаго верха́ и забиралъ подъ самую низкую октаву. Одно, чѣмъ страшенъ былъ регенту непомѣрный Ахилла, это — «увлекательностью». Такъ онъ, напримѣръ, во всенощной никакъ не могъ удержаться, чтобы только трижды пропѣть «Святъ Господь Богъ нашъ», а нерѣдко вырывался въ увлеченіи и пѣлъ это одинъ-одинешенекъ четырежды, и особенно никогда не могъ во̀-время окончить пѣнія многолѣтій. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ, которые уже были извѣстны и которые потому можно было предвидѣть, противъ «увлекательности» Ахиллы благоразумно принимались мѣры предосторожности, избавлявшія отъ всякихъ напастей и самого дьякона, и его вокальное начальство: поручалось кому-нибудь изъ взрослыхъ пѣвчихъ дергать Ахиллу за полы или осаживать его въ благопотребную минуту внизъ за плечи. Но недаромъ сложена пословица, что на всякій часъ не обережешься. Какъ ни тщательно и любовно берегли Ахиллу отъ его увлеченій, все-таки его не могли совсѣмъ уберечь отъ нихъ, и онъ самымъ разительнымъ образомъ оправдалъ на себѣ то теоретическое положеніе, что «тому нѣтъ спасенія, кто въ самомъ себѣ носитъ врага». Въ одинъ большой изъ двунадесятыхъ праздниковъ, Ахилла, исполняя причастный концертъ, долженъ былъ дѣлать весьма хитрое басовое соло на словахъ: «и скорбьми уязвленъ». Значеніе, которое этому соло придавалъ регентъ и весь хоръ, внушало Ахиллѣ много заботъ: онъ былъ неспокоенъ и тщательно обдумывалъ, какъ бы ему не ударить себя лицомъ въ грязь и отличиться передъ любившимъ пѣніе преосвященнымъ и передъ всею губернскою аристократіей, которая соберется въ церковь. И зато справедливость требуетъ сказать, что Ахилла изучилъ это соло великолѣпно. Дни и ночи онъ рас-

хаживалъ то по своей комнатѣ, то по коридору или по двору, то по архіерейскому саду или по загородному выгону, и все распѣвалъ на разные тоны: «уязвленъ, уязвленъ, уязвленъ», и въ такихъ безпрестанныхъ упражненіяхъ дождался наконецъ, что насталъ и самый день его славы, когда онъ долженъ былъ пропѣть свое «уязвленъ» предъ всѣмъ соборомъ. Начался концертъ. Боже, какъ великъ и свѣтло сіяющъ стоитъ съ нотами въ рукахъ огромный Ахилла! Его надо было срисовать,—перомъ нельзя его описывать... Вотъ уже прошли знакомые форшлаги и подходитъ мѣсто басового соло. Ахилла отодвигаетъ локтемъ сосѣда, выбиваетъ себѣ въ молчаніи тактъ своего соло «уязвленъ» и, дождавшись своего темпа, видитъ поднимающуюся съ камертономъ регентскую руку... Ахилла позабылъ весь міръ и себя самого, и удивительнѣйшимъ образомъ, какъ труба архангельская, то быстро, то протяжно возглашаетъ: «И скорбьми уязвленъ, уязвленъ, у-й-я-з-в-л-е-н ъ, у-й-я-з-в-л-е-н-ъ, уязвленъ». Силой останавливаютъ Ахиллу отъ непредусмотрѣнныхъ излишнихъ повтореній, и концертъ конченъ. Но не конченъ онъ былъ въ «увлекательной» головѣ Ахиллы, и среди тихихъ привѣтствій, приносимыхъ владыкѣ подходящею къ его благословенію аристократіей, словно трубный гласъ съ неба, съ клироса снова упалъ вдругъ: «Уязвленъ, уй-яз-вленъ, уй-я-з-в-л-е-н-ъ». Это поетъ ничего не понимающій въ своемъ увлеченіи Ахилла; его дергаютъ—онъ поетъ; его осаживаютъ внизъ, стараясь скрыть за спинами товарищей, — онъ поетъ: «уязвленъ»; его, наконецъ, выводятъ вонъ изъ церкви, но онъ все-таки поетъ: «у-я-з-в-л-е-н-ъ».

— Что тебѣ такое? спрашиваютъ его съ участіемъ сердобольные люди.

— «Уязвленъ», воспѣваетъ, глядя всѣмъ имъ въ глаза, Ахилла, и такъ и остается у дверей притвора, пока струя свѣжаго воздуха не отрезвила его экзальтацію.

Въ сравненіи съ протоіереемъ Туберозовымъ и отцомъ Бенефактовымъ, Ахилла Десницынъ можетъ назваться чело-

вѣкомъ молодымъ, но и ему уже далеко за сорокъ, и по смолянымъ чернымъ кудрямъ его пробѣжала сильная просѣдь. Роста Ахилла огромнаго, силы страшной, въ манерахъ угловатъ и рѣзокъ, но при всемъ этомъ весьма пріятенъ; типъ лица имѣетъ южный и говоритъ, что происходитъ изъ малороссійскихъ казаковъ, отъ коихъ онъ и въ самомъ дѣлѣ какъ будто унаслѣдовалъ безпечность и храбрость и многія другія казачьи добродѣтели.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Жили всѣ эти герои старомоднаго покроя на Старгородской поповкѣ, надъ тихою судоходною рѣкой Турицей. У каждаго изъ нихъ, какъ у Туберозова, такъ и у Захаріи, и даже у дьякона Ахиллы, были свои домики на самомъ берегу, какъ разъ насупротивъ высившагося за рѣкой стариннаго пятиглаваго собора съ высокими куполами. Но какъ разнохарактерны были сами эти обыватели, такъ различны были и ихъ жилища. У отца Савелія домикъ былъ очень красивый, выкрашенный свѣтло-голубою масляною краской, съ разноцвѣтными звѣздочками, квадратиками и репейками, прибитыми надъ каждымъ изъ трехъ его оконъ. Окна эти обрамливались еще рѣзными, ярко же раскрашенными, наличниками и зелеными ставнями, которыя никогда не закрывались, потому что зимой крѣпкій домикъ не боялся холода, а отецъ протопопъ любилъ свѣтъ, любилъ звѣзду, заглядывавшую ночью съ неба въ его комнату, любилъ лунный лучъ, полосой глазета ложившійся на его раздѣланный подъ паркетъ полъ.

Въ домикѣ у отца протопопа всякая чистота и всякій порядокъ, потому что ни сорить, ни пачкать, ни нарушать порядокъ у него некому. Онъ бездѣтенъ, и это составляетъ одну изъ непреходящихъ скорбей его и его протопопицы.

У отца Захаріи Бенефактова домикъ гораздо больше, чѣмъ у отца Туберозова; но въ бенефактовскомъ домикѣ нѣтъ того щегольства и кокетства, какимъ блещетъ жилище протоіерея. Пяти-оконный, немного покосившійся, сѣ-

рый домъ отца Захаріи похожъ скорѣе на большой птичникъ, и къ довершенію сходства его съ этимъ заведеніемъ, во всѣ маленькіе переплеты его зеленыхъ оконъ постоянно толкутся различные носы и хохлики, другъ друга оттирающіе и другъ друга преслѣдующіе. Это все потомство отца Захаріи, котораго Богъ благословилъ яко Іакова, а жену его умножилъ яко Рахиль. У отца Захаріи далеко не было ни зеркальной чистоты протопопскаго дома, ни его строгаго порядка: на всемъ здѣсь лежали слѣды дѣтскихъ запачканныхъ лапокъ; изо всякаго угла торчала дѣтская головенка; и все это шевелилось дѣтьми, все здѣсь и пищало, и пѣло о дѣтяхъ, начиная съ запечныхъ сверчковъ и оканчивая матерью, убаюкивавшею свое потомство пѣсенкой:

Дѣти мои, дѣти!
Куда мнѣ васъ дѣти?
Гдѣ васъ положити?

Дьяконъ Ахилла былъ вдовъ и бездѣтенъ, и не радѣлъ ни о стяжаніяхъ, ни о домостройствѣ. У него на самомъ краю Зарѣчья была мазаная малороссійская хата, но при этой хатѣ не было ни службъ, ни заборовъ, словомъ, ничего, кромѣ небольшой жердяной карды, въ которой, по колѣно въ соломѣ, бродили то пѣгій жеребецъ, то буланый меринъ, то вороная кобылица. Убранство въ домѣ Ахиллы тоже было чисто казацкое: въ лучшей половинѣ этого помѣщенія, назначавшейся для самого хозяина, стоялъ деревянный диванъ съ рѣшетчатою спинкой; этотъ диванчикъ замѣнялъ Ахиллѣ и кровать, и потому онъ былъ застланъ бѣлою казацкою кошмой, а въ изголовьи лежалъ чеканенный азіатскій сѣдельный орчакъ, къ которому была прислонена маленькая, блинообразная подушка, въ просаленной китайчатой наволочкѣ. Предъ этимъ казачьимъ ложемъ стоялъ бѣлый липовый столъ, а на стѣнѣ висѣли безструнная гитара, пеньковый укрючный арканъ, нагайка и двѣ вязаныя пукольками уздечки. Въ уголку на небольшой полочкѣ стоялъ крошечный образокъ Успенія Богородицы, съ водруженною за нимъ засохшею вербочкой, и маленькій

кіевскій молитвословикъ. Болѣе рѣшительно ничего не было въ жилищѣ дьякона Ахиллы. Рядомъ же, въ небольшой приспѣшной, жила у него отставная старая горничная помѣщичьяго дома, Надежда Степановна, называемая Эсперансою.

Это была особа старенькая, маленькая, желтенькая, вострорылая, сморщенная, съ характеромъ самымъ неуживчивымъ и до того несноснымъ, что, несмотря на свои золотыя руки, она не находила себѣ мѣста нигдѣ и попала въ слуги бездомовнаго Ахилла, которому она могла сколько ей угодно трещать и чекотать, ибо онъ не замѣчалъ ни этого треска, ни чекота, и самое крайнее раздраженіе своей старой служанки въ рѣшительныя минуты прекращалъ только громовымъ: «Эсперанса, провались!» Послѣ такихъ словъ Эсперанса обыкновенно исчезала, ибо знала, что иначе Ахилла схватитъ ее на руки, посадитъ на крышу своей хаты и оставитъ тамъ, не снимая отъ зари до зари. Въ виду этого страшнаго наказанія, Эсперанса боялась противорѣчить своему казаку-господину.

Всѣ эти люди жили такою жизнью и въ то же время всѣ болѣе или менѣе несли тяготы другъ друга, и другъ другу восполняли небогатую разнообразіемъ жизнь. Отецъ Савелій главенствовалъ надъ всѣмъ положеніемъ; его маленькая протопопица чтила его и не слыхала въ немъ души. Отецъ Захарія также былъ счастливъ въ своемъ птичникѣ. Не жаловался ни на что и дьяконъ Ахилла, проводившій всѣ дни свои въ бесѣдахъ и въ гуляньи по городу, или въ выѣздѣ и въ мѣнѣ своихъ коней, или, наконецъ, порой въ дразненіи и въ укрощеніи своей «услужающей Эсперансы».

Савелій, Захарія и Ахилла были друзья, но было бы, конечно, большою несправедливостью полагать, что они не дѣлали усилій разнообразить жизнь сценами легкой вражды и недоразумѣній, благодѣтельно будящими человѣческія натуры, усыпляемыя бездѣйствіемъ уѣздной жизни. Нѣтъ, бывало нѣчто такое и здѣсь, и ожидающія насъ страницы туберозовскаго дневника откроютъ намъ многія мелочи, кото-

рыя вовсе не казались мелочами для тѣхъ, кто ихъ чувствовалъ, кто съ ними боролся и переносилъ ихъ. Бывали и у нихъ недоразумѣнія. Такъ, напримѣръ, однажды помѣщикъ и мѣстный предводитель дворянства, Алексѣй Никитичъ Плодомасовъ, возвратясь изъ Петербурга, привезъ оттуда лицамъ любимаго имъ соборнаго духовенства разные болѣе или менѣе цѣнные подарки и между прочимъ три трости: двѣ съ совершенно одинаковыми набалдашниками изъ червоннаго золота для священниковъ, то-есть, одну для отца Туберозова, другую для отца Захаріи, а третью, съ красивымъ набалдашникомъ изъ серебра съ чернью, для дьякона Ахиллы. Трости эти пали между старгородскимъ духовенствомъ какъ библейскіе змѣи, которыхъ кинули предъ Фараона египетскіе кудесники.

— Симъ подареніемъ тростей на насъ наведено сомнѣніе, разсказывалъ дьяконъ Ахилла.

— Да въ чемъ же вы тутъ, отецъ дьяконъ, видите сомнѣніе? спрашивали его тѣ, кому онъ жаловался.

— Ахъ, да вѣдь вотъ вы, свѣтскіе, ничего въ этомъ не понимаете, такъ и не утверждайте, что нѣтъ сомнѣнія, отвѣчалъ дьяконъ,—нѣтъ-съ! тутъ большое сомнѣніе!

И дьяконъ пускался разъяснять это спеціальное горе.

— Во-первыхъ, говорилъ онъ,—мнѣ, какъ дьякону, по сану моему, такого посоха носить не дозволено и неприлично, потому что я не пастырь—это разъ. Повторительно, я его теперь этотъ посохъ ношу, потому что онъ мнѣ подаренъ — это два. А въ-третьихъ, во всемъ этомъ сомнительная одностойность: что̀ отцу Савелью, что̀ Захаріи одно и то же, одинаковые посошки. Зачѣмъ же такъ сравнять ихъ?.. Ахъ, помилуйте же вы, зачѣмъ?.. Отецъ Савелій... вы сами знаете... отецъ Савелій... онъ умница, философъ, министръ юстиціи, а теперь, я вижу, и онъ ничего не можетъ сообразить и смущенъ, и даже страшно смущенъ.

— Да чѣмъ же онъ тутъ можетъ быть смущенъ, отецъ дьяконъ?

— А тѣмъ смущенъ, что, во-первыхъ, отъ этой совершенной одностойности происходитъ смѣшанность. Какъ вы это располагаете, какъ отличить, чья эта трость? Извольте теперь ихъ разбирать, которая отца протопопа, которая Захаріина, когда онѣ обѣ одинаковы? Но, положимъ, на этотъ бы счетъ для разборки можно какую-нибудь замѣточку положить—или сургучомъ подъ головкой прикапнуть, или сдѣлать ножомъ на деревѣ нарѣзочку; но что же вы подѣлаете съ ними въ разсужденіи политики? Какъ теперь у одной изъ нихъ противъ другой цѣну или достоинство ея отнять, когда онѣ обѣ одностойны? Помилуйте вы меня, вѣдь это невозможно, чтобъ и отецъ протопопъ, и отецъ Захарія были одностойны. Это же не порядокъ-съ! И отецъ протопопъ это чувствуетъ, и я это вижу-съ и говорю: отецъ протопопъ, больше ничего въ этомъ случаѣ нельзя сдѣлать, какъ, позвольте, я на отца Захаріину трость сургучную мѣтку положу или нарѣзку сдѣлаю. А онъ говоритъ: «Не надо! Не смѣй, и не надо!» Какъ же не надо? Ну, говорю, благословите: я потаенно отъ самого отца Захаріи его трость супротивъ вашей ножомъ слегка на вершокъ урѣжу, такъ что отецъ Захарія этого сокращенія и знать не будетъ, но онъ опять: «глупъ, говоритъ, ты!..» Ну, глупъ и глупъ, не впервòй мнѣ это отъ него слышать, я отъ него этимъ не обижаюсь, потому онъ заслуживаетъ, чтобъ отъ него снесть, а я все-таки вижу, что онъ всѣмъ этимъ недоволенъ, и мнѣ отъ этого пребезпокойно... И вотъ скажите же вы, что я трижды глупъ, восклицалъ дьяконъ: да-съ, позволяю вамъ, скажите, что я глупъ, если онъ, отецъ Савелій, не сполитикуетъ. Это ужъ я навѣрно знаю, что мнѣ онъ на то не позволяетъ, а самъ сполитикуетъ.

И дьяконъ Ахилла, повидимому, не ошибся. Не прошло и мѣсяца со времени врученія старгородскому соборному духовенству упомянутыхъ, наводящихъ сомнѣніе посоховъ, какъ отецъ протопопъ Савелій вдругъ сталъ собираться въ губернскій городъ. Не было надобности придавать какое-нибудь особенное значеніе этой поѣздкѣ отца Туберозова,

потому что протоіерей, въ качествѣ благочиннаго, частенько ѣзжалъ въ консисторію. Никто и не толковалъ о томъ, зачѣмъ протопопъ ѣдетъ. Но вотъ отецъ Туберозовъ, уже усѣвшись въ кибитку, вдругъ обратился къ провожавшему его отцу Захаріи и сказалъ:

— А послушай-ка, отче, гдѣ твоя трость? Дай-ка ты мнѣ ее, я ее свезу въ городъ.

Одно это обращеніе съ этимъ словомъ, сказаннымъ какъ будто невзначай, вдругъ какъ бы озарило умы всѣхъ провожавшихъ со двора отъѣзжавшаго отца Савелія.

Дьяконъ Ахилла первый сейчасъ же крякнулъ и шепнулъ на ухо отцу Бенефактову:

— А что-съ! Я вамъ говорилъ: вотъ и политика!

— Для чего-жъ мою трость везти въ городъ, отецъ протопопъ? вопросилъ смиренно моргающій своими глазами отецъ Захарія, отстраняя дьякона.

— Для чего? А вотъ я тамъ, можетъ быть, покажу, какъ насъ съ тобой люди уважаютъ и помнятъ, отвѣчалъ Туберозовъ.

— Алеша, бѣги, принеси посошокъ, послалъ домой сынишку отецъ Захарія.

— Такъ вы, можетъ быть, отецъ протопопъ, и мою трость тоже свозите показать? вопросилъ, сколь умѣлъ мягче, Ахилла.

— Нѣтъ, ты свою предъ собою содержи, отвѣчалъ Савелій.

— Что-жъ, отецъ протопопъ, «предъ собою»? И я же вѣдь точно такъ же... тоже вѣдь и я предводительскаго вниманія удостоился, отвѣчалъ, слегка обижаясь, дьяконъ.

Но отецъ протопопъ не почтилъ его претензіи никакимъ отвѣтомъ и, положивъ рядомъ съ собою поданную ему въ это время трость отца Захаріи, поѣхалъ.

Туберозовъ ѣхалъ, ѣхали съ нимъ и обѣ надѣлавшія смущенія трости, а дьяконъ Ахилла, оставаясь дома, томился разрѣшеніемъ себѣ загадки: зачѣмъ Туберозовъ отобралъ трость у Захаріи?

— Ну, что тебѣ? Что тебѣ до этого? что тебѣ? останавливалъ Захарія мятущагося любопытствомъ дьякона.

— Отецъ Захарія, я вамъ говорю, что онъ сполитикуетъ.

— Ну, а если и сполитикуетъ, а тебѣ что до этого? Ну и пусть его сполитикуетъ.

— Да я нестерпимо любопытенъ предвидѣть, въ чемъ сіе будетъ заключаться. Урѣзать онъ мнѣ вашу трость не хотѣлъ позволить, сказалъ: глупость; мѣтки я ему совѣтовалъ положить, онъ тоже и это отвергнулъ. Одно, что я предвижу...

— Ну, ну... ну, что ты, болтунъ, предвидѣть можешь?

— Одно, что... онъ непремѣнно драгоцѣнный камень вставитъ.

— Да! ну... ну, куда же, куда онъ драгоцѣнный камень вставитъ.

— Въ рукоять.

— Да въ свою или въ мою?

— Въ свою, разумѣется, въ свою. Драгоцѣнный камень, вѣдь это драгоцѣнность.

— Да ну, а мою же трость онъ тогда зачѣмъ взялъ? Въ свою камень вставлять будетъ, а моя ему на что?

Дьяконъ ударилъ себя рукой по лбу и воскликнулъ:

— Одурачился!

— Надѣюсь, надѣюсь, что одурачился, утверждалъ отецъ Захарія, добавивъ съ тихою укоризной:—а еще вѣдь ты, братецъ мой, логикѣ обучался; стыдно!

— Что же за стыдъ, когда я ей обучался, да не могъ понять! Это со всякимъ можетъ случиться, отвѣчалъ дьяконъ и, не высказывая уже болѣе никакихъ догадокъ, продолжалъ тайно сгорать любопытствомъ,—что будетъ?

Прошла недѣля, и отецъ протопопъ возвратился. Ахилла дьяконъ, объѣзжавшій въ это время вымѣненнаго имъ степного коня, первый замѣтилъ приближеніе къ городу протоіерейской черной кибитки и летѣлъ по всѣмъ улицамъ, останавливаясь предъ открытыми окнами знакомыхъ домовъ,

крича: «Ѣдетъ! Савелій! ѣдетъ нашъ попъ велій!» Ахиллу вдругъ осѣнило новое соображеніе.

— Теперь знаю, что̀ такое! — говорилъ онъ окружающимъ, спѣшиваясь у протопоповскихъ воротъ. — Всѣ эти размышленія мои до сихъ поръ предварительныя были не больше какъ одною глупостью моею; а теперь я навѣрное вамъ скажу, что отецъ протопопъ, кромѣ ничего, какъ просто велѣлъ вытравить литеры греческія, а не то такъ латинскія. Такъ, такъ, не иначе какъ такъ; это вѣрно, что литеры вытравилъ, и если я теперь не отгадалъ, то сто разъ меня дуракомъ послѣ этого назовите.

— Погоди, погоди и назовемъ, и назовемъ, частилъ въ отвѣтъ ему отецъ Захарія, въ виду остановившейся у воротъ протопоповской кибитки.

Отецъ протопопъ вылѣзъ изъ кибитки важный, солидный; вошелъ въ домъ, помолился, повидался съ женой, поцѣловалъ ее при этомъ три раза въ уста, потомъ поздоровался съ отцемъ Захаріей, съ которымъ они поцѣловали другъ друга въ плечи, и наконецъ и съ дьякономъ Ахиллой, при чемъ дьяконъ Ахилла поцѣловалъ у отца протопопа руку, а отецъ протопопъ приложилъ свои уста къ его темени. Послѣ этого свиданія началось чаепитіе, разговоры, разсказы губернскихъ новостей, и вечеръ уступилъ мѣсто ночи, а отецъ протопопъ и не заикнулся объ интересующихъ всѣхъ посохахъ. День, другой и третій прошелъ, а отецъ Туберозовъ и не заговариваетъ объ этомъ дѣлѣ, словно свезъ онъ посохи въ губернію, да тамъ ихъ оба по рѣкѣ спустилъ, чтобъ и рѣчи о нихъ не было.

— Вы же хоть полюбопытствуйте! спросите! — безпрестанно зудилъ во всѣ дни отцу Захарію нетерпѣливый дьяконъ Ахилла.

— Что я буду его спрашивать?—отвѣчалъ отецъ Захарія.—Нѣшто я ему не вѣрю, что ли, что стану отчетъ требовать, куда дѣлъ?

— Да все-таки ради любознательности спросить должно.

— Ну и спроси, зуда, самъ, если хочешь ради любознательности.

— Нѣтъ, вы, ей-Богу, со страху его не спрашиваете.

— Съ какого это страху?

— Да просто боитесь; а я бы ей-Богу спросилъ. Да и чего тутъ бояться-то? спросите просто: а какъ же, молъ, отецъ протопопъ, будетъ насчетъ нашихъ тростей? Вотъ только всего и страху.

— Ну, такъ вотъ ты и спроси.

— Да мнѣ нельзя.

— А почему нельзя?

— Онъ меня можетъ оконфузить.

— А меня развѣ не можетъ?

Дьяконъ просто сгоралъ отъ любопытства и не зналъ, что бы такое выдумать, чтобы завести разговоръ о тростяхъ; но вотъ къ его радости дѣло разрѣшилось и само собою. На пятый или на шестой день, по возвращеніи своемъ домой, отецъ Савелій, отслуживъ позднюю обѣдню, позвалъ къ себѣ на чай и городничаго, и смотрителя училищъ, и лѣкаря, и отца Захарію съ дьякономъ Ахиллой, и началъ опять разсказывать, что онъ слышалъ и что видѣлъ въ губернскомъ городѣ. Прежде всего отецъ протопопъ довольно пространно говорилъ о новыхъ постройкахъ, потомъ о губернаторѣ, котораго осуждалъ за неуваженіе ко владыкѣ и за постройку водопроводовъ или, какъ отецъ протопопъ выражался, «акведуковъ».

— Акведуки эти, говорилъ отецъ протопопъ, — будутъ ни къ чему, потому городъ малый и притомъ тремя рѣками пересѣкается; но магазины, которые все вновь открываются, нѣчто весьма изящное начали представлять. Да вотъ я вамъ сейчасъ покажу, что касается нынѣшняго тамъ искусства...

И съ этими словами отецъ протопопъ вышелъ въ боковую комнату и черезъ минуту возвратился оттуда, держа въ каждой рукѣ по извѣстной всѣмъ трости.

— Вотъ видите, сказалъ онъ, поднося къ глазамъ гостей верхнія площади золотыхъ набалдашниковъ.

Ахилла дьяконъ такъ и воззрился, что такое сдѣлано политиканомъ Савеліемъ для различенія одностойныхъ тростей; но, увы! ничего такого рѣзкаго для ихъ различія не было замѣтно. Напротивъ, одностойность ихъ даже какъ будто еще увеличилась, потому что посрединѣ набалдашника той и другой трости было совершенно одинаково вырѣзано окруженное сіяніемъ всевидящее око; а вокругъ ока краткая, въ видѣ узорчатой каймы, вязная надпись.

— А литеръ, отецъ протопопъ, нѣтъ? — замѣтилъ, не утерпѣвъ, Ахилла.

— Къ чему здѣсь тебѣ литеры нужны? — отвѣчалъ, не глядя на него, Туберозовъ.

— А для отличенія ихъ одностойности!

— Все ты всегда со вздоромъ лѣзешь, замѣтилъ отецъ протопопъ дьякону и, при этомъ, приставивъ одну трость къ своей груди, сказалъ:—вотъ это будетъ моя.

Ахилла дьяконъ быстро глянулъ на набалдашникъ и прочелъ около всевидящаго ока: «Жезлъ Аароновъ расцвѣлъ».

— А вотъ это, отецъ Захарія, будетъ тебѣ, докончилъ протопопъ, подавая другую трость Захаріи.

На этой вокругъ такого же точно всевидящаго ока, такою же точно древле-славянскою вязью, было вырѣзано: «Даде въ руку его посохъ».

Ахилла какъ только прочелъ эту вторую подпись, такъ палъ за спину отца Захаріи и, уткнувъ голову въ животъ лѣкаря, заколотился и задергался въ припадкахъ неукротимаго смѣха.

— Ну, что, зуда, что, что? — частилъ, обернувшись къ нему, отецъ Захарія, между тѣмъ какъ прочіе гости еще разсматривали затѣйливую работу рѣзчика на іерейскихъ посохахъ.—Литеры? А! литеры, баранъ ты этакой кучерявый? Гдѣ же здѣсь литеры?

Но дьяконъ не только нимало не сконфузился, но опять порскнулъ и закатился со смѣху.

— Чего смѣешься? чего помираешь?

— Это кто жъ баранъ-то выходитъ теперь?—вопросилъ, едва выговаривая слова, дьяконъ.

— Да ты же, ты. Кто же еще баранъ?

Ахилла опять залился, замоталъ руками и, изловивъ отца Захарію за плечи, почти сѣлъ на него медвѣдемъ и театральнымъ шопотомъ забубнилъ:

— А вы, отецъ Захарія, какъ вы много логикѣ учились, такъ вы вотъ это прочитайте: «Даде въ руку его посохъ». Нуте-ка, рѣшите по логикѣ: чему такая надпись соотвѣтствуетъ!

— Чему? Ну, говори чему?

— Чему-съ? А она тому соотвѣтствуетъ, заговорилъ протяжнѣе дьяконъ,—что дали молъ дескать ему линейкой палю въ руку.

— Врешь.

— Вру! А отчего же вонъ у него «жезлъ расцвѣлъ»? А небось ничего про то, что въ руку дано, не обозначено? Почему? Потому, что это сдѣлано для превозвышенія, а вамъ это для униженія черкнуто, что молъ дана палка въ лапу.

Отецъ Захарія хотѣлъ возразить, но и вправду слегка смутился. Дьяконъ торжествовалъ, наведя это смущеніе на тихаго отца Бенефактова; но торжество Ахиллы было непродолжительно.

Не успѣлъ онъ оглянуться, какъ увидѣлъ, что отецъ протопопъ пристально смотрѣлъ на него въ оба глаза, и чуть только замѣтилъ, что дьяконъ уже достаточно сконфузился, какъ обратился къ гостямъ и самымъ спокойнымъ голосомъ началъ:

— Надписи эти, которыя вы видите, я не самъ выдумалъ, а это мнѣ консисторскій секретарь Аѳанасій Ивановичъ присовѣтовалъ. Случилось намъ, гуляя съ нимъ предъ вечеромъ, зайти вмѣстѣ къ золотарю; онъ, Аѳанасій Ивановичъ, и говоритъ: вотъ, говоритъ, отецъ протопопъ, какая мнѣ пришла мысль, надписи вамъ на тростяхъ подобаютъ, вотъ вамъ этакую: «Жезлъ Аароновъ», а отцу Захаріи вотъ этакую очень пристойно, какая теперь значится.

— А тебѣ, отецъ дьяконъ... я и о твоей трости, какъ ты меня просилъ, думалъ сказать, но нашелъ, что лучше всего, чтобы ты съ нею вовсе ходить не смѣлъ, потому что это твоему сану не принадлежитъ...

При этомъ отецъ протопопъ спокойно подошелъ къ углу, гдѣ стояла знаменитая трость Ахиллы, взялъ ее и заперъ ключомъ въ свой гардеробный шкапъ.

Такова была величайшая изъ распрей на старогородской поповкѣ.

— Отсюда, говорилъ дьяконъ,—было все начало болѣзнямъ моимъ. Потому что я тогда не стерпѣлъ и озлобился, а отецъ протопопъ Савелій началъ своею политикой еще болѣе уничтожать меня и довелъ даже до ярости. Я свирѣпѣлъ, а онъ меня, какъ медвѣдя, на рогатину сажалъ на эту политику, пока я даже осатанѣвать сталъ.

Это былъ образчикъ мелочности, обнаруженной на старости лѣтъ протопопопомъ Савеліемъ, и легкомысленности дьякона, навлекшаго на себя гнѣвъ Туберозова; но какъ Москва, говорятъ, отъ копеечной свѣчи сгорѣла, такъ и на старгородской поповкѣ вслѣдъ за этимъ началась цѣлая исторія, выдвинувшая наружу разные недостатки и превосходства характеровъ Савелія и Ахиллы.

Дьяконъ лучше всѣхъ зналъ эту исторію, но разсказывалъ ее лишь въ минуты крайняго своего волненія, въ часы разстройства, раскаяній и безпокойствъ, и потому когда говорилъ о ней, то говорилъ нерѣдко со слезами на глазахъ, съ судорогами въ голосѣ, и даже нерѣдко съ рыданіями.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

— Мнѣ, говорилъ сквозь слезы взволнованный Ахилла,— мнѣ по-настоящему, разумѣется, что бы тогда слѣдовало сдѣлать? Мнѣ слѣдовало пасть къ ногамъ отца протопопа и сказать, что такъ и такъ, что я это, отецъ протопопъ, не по злобѣ, не по ехидству сказалъ, а единственно лишь чтобы только доказать отцу Захаріи, что я хоть и безъ

логики, но ничѣмъ его не глупѣй. Но гордыня меня обуяла и удержала. Досадно мнѣ стало, что онъ мою трость въ шкафъ заперъ, а потомъ послѣ того учитель Варнавка Препотенскій еще подоспѣлъ и подгадилъ... Ахъ, я вамъ говорю, что уже сколько я на самого себя золъ, но на учителя Варнавку вдвое! Ну, да и не я же буду если я умру безъ того, что я этого просвирнинаго сына учителя Варнавку не взвошу!

— Опять и этого ты не смѣешь, останавливалъ Ахиллу отецъ Захарія.

— Отчего же это не смѣю? За безбожіе-то, да не смѣю? Ну, ужъ это извините-съ!

— Не смѣешь, хоть и за безбожіе, а все-таки драться не смѣешь, потому что Варнавка былъ просвирнинъ сынъ, а теперь онъ чиновникъ, онъ учитель.

— Такъ что, что учитель? Да я за безбожіе кого вамъ угодно воздѣлаю. Это-съ, батюшка, законъ, а не что-нибудь. Да-съ, это очень просто кончается: замоталъ покрѣпче руку ему въ аксіосы, потрясъ хорошенько, да и выпустилъ, и ступай, молъ, жалуйся, что битъ духовнымъ лицомъ за безбожіе... Никуда не пойдетъ-съ! Но Боже мой, Боже мой! какъ я только вспомню, да подумаю—и что это тогда со мною подѣлалось, что я его, этакого негодивца Варнавку слушалъ, и что даже до сего дня я еще съ нимъ какъ должно не расправился! Ей, право, не знаю, откуда такая слабость у меня? Вѣдь вонъ тогда Сергѣя дьячка за разсужденіе о громѣ я сейчасъ же прибилъ; комиссара Данилку мѣщанина за ѣденіе яицъ на улицѣ въ прошедшій Великій постъ я опять тоже неупустительно и всенародно весьма прилично по ухамъ оттрепалъ, а вотъ этому просвирнину сыну все до сихъ поръ спускаю, тогда какъ я этимъ Варнавкой болѣе всѣхъ и уязвленъ! Не будь его, сей распри бы не разыграться. Отецъ протопопъ гнѣвались бы на меня за разговоръ съ отцомъ Захаріей, но все бы это не было долговременно; а этотъ просвирнинъ сынъ Варнавка, какъ вы его нынче сами видѣть можете, учитель ма-

тематики въ уѣздномъ училищѣ, мнѣ тогда, озлобленному и уязвленному, какъ подтолдыкнулъ: «Да это, говоритъ, надпись Туберозовская еще, кромѣ того, и глупа». Я, знаете, будучи уязвленъ, страхъ какъ жаждалъ чѣмъ бы и самому отца Савелія уязвить, и спрашиваю: чѣмъ же глупа? А Варнавка говоритъ: «Тѣмъ и глупа, что еще самый фактъ-то, о которомъ она гласитъ, не достовѣренъ; да и не только не достовѣренъ, а и невѣроятенъ. Кто это, говоритъ, засвидѣтельствовалъ, что жезлъ Аароновъ расцвѣлъ? Сухое дерево развѣ можетъ расцвѣсть?» Я было его на этомъ даже остановилъ и говорю: «Пожалуйста, ты этого, Варнава Васильичъ, не говори, потому что Богъ, идѣ же хощетъ, побѣждается естества чинъ»; но при этомъ, какъ вся эта наша рацея у акцизничихи у Бизюкиной происходила, а тамъ все это разныя возліянія, да вино все хорошее: все го-го, гостернъ, да го-марго, я... прахъ меня возьми, и надрызгался. Я, изволите понимать, въ винномъ угарѣ, а Варнавка мнѣ, знаете, тутъ мнѣ по-своему, по-ученому торочитъ, что «тогда вѣдь, говоритъ, вонъ и *мани факелъ фаресъ* было на пиру Вальтасаровомъ написано, а теперь, говоритъ, вѣдь это вздоръ; я вамъ могу это самое сейчасъ фосфорною спичкой написать». Ужасаюсь я; а онъ все дальше да больше: «Да тамъ и во всемъ, говоритъ, бездна противорѣчій...» И пошелъ, знаете, и пошелъ, и все опровергаетъ; а я все это сижу да слушаю. А тутъ опять еще эти го-марго, да ужъ и достаточно даже сдѣлался уязвленъ, и самъ заговорилъ въ вольнодумномъ штилѣ. Я, говорю, я, если бы только не видѣлъ отца Савеліевой прямоты, потому, какъ знаю, что онъ прямо алтарю предстоитъ и жертва его прямо идетъ, какъ жертва Авелева, то я только Каиномъ быть не хочу, а то бы я его... Это, понимаете, на отца Савелія-то! И къ чему-съ это; къ чему это я тамъ въ ту пору о немъ заговорилъ? Вѣдь не глупецъ ли? Ну, а она, эта Данка Нефалимка, Бизюкина-то, говоритъ:—«Да вы еще понимаете ли, что вы лепечете? Вы еще знаете ли цѣну Каину-то? что такое, говоритъ, вашъ Авель? Онъ больше ничего какъ ма-

ленькій барашекъ, онъ низкопоклонный искатель, у него рабская натура, а Каинъ гордый дѣятель,—онъ не помирится съ жизнію подневольною. Вотъ, говоритъ, какъ его англійскій писатель Биронъ изображаетъ...» Да и пошла съ мнѣ расписывать! Ну, а тутъ все эти го-ма-го меня тоже наспиртуозили, и вотъ вдругъ чувствую, что хочу я быть Каиномъ, да и шабашъ. Вышелъ я оттуда домой, дошелъ до отца протопопова дома, сталъ передъ его окнами и вдругъ подперся по-офицерски въ боки руками и закричалъ: «Я царь, я рабъ, я червь, я богъ!» Боже, Боже: какъ страшно вспомнить, сколь я былъ безстыжъ и сколь же я былъ за то въ ту жъ пору постыженъ и уязвленъ! Отецъ протопопъ, услыхавъ мое козлогласіе, вскочили съ постели, подошли въ сорочкѣ къ окну и, распахнувъ раму, гнѣвнымъ голосомъ крякнули: «Ступай спать, Каинъ неистовый!» Вѣрите ли: я даже затрепеталъ весь отъ этого слова, что я «Каинъ», потому, представьте себѣ, что я только собирался въ Каины, а онъ уже это провидѣлъ. Ахъ, Боже! Я отошелъ къ дому своему, самъ слѣдовъ своихъ не разумѣючи, и вся моя стропотность тутъ же пропала, и съ тѣхъ поръ и донынѣ я только скорблю и стенаю.

Повторивъ этотъ разсказъ, дьяконъ обыкновенно задумывался, поникалъ головой и черезъ минуту, вздохнувъ, продолжалъ мягкимъ и грустнымъ тономъ:

— Но вотъ-съ дніе бѣгутъ и текутъ, а гнѣвъ отца протопопа не проходитъ и до сего дня. Я приходилъ и винился; во всемъ винился и каялся, говорилъ: «Простите, какъ Богъ грѣшниковъ прощаетъ», но на все одинъ отвѣтъ: «Иди». Куда? я спрашиваю, куда я пойду? Почтмейстерша Тимохина мнѣ все совѣтуетъ: «Въ полкъ, говоритъ, отецъ дьяконъ, идите, васъ полковые любить будутъ». Знаю я это, что полковые очень могутъ меня любить, потому что я и самъ почти воинъ; но что̀ изъ меня въ полку воспослѣдуетъ, вы это обсудите? Вѣдь я тамъ съ ними въ полку ужъ и, дѣйствительно, Каиномъ сдѣлаюсь... Вѣдь это, вѣдь я знаю, что все-таки одинъ *онъ*, одинъ отецъ Савелій еще меня и содержитъ въ субординаціи,—а онъ... а онъ...

При этихъ словахъ у дьякона закапали въ груди слезы, и онъ, всхлипывая, заканчивалъ:

— А онъ вотъ какую низкую штуку со мною придумалъ: чтобы молчать! Что̀ я ни заговорю, онъ все молчитъ... За что̀ же ты молчишь? восклицалъ дьяконъ, вдругъ совсѣмъ начиная плакать и, обращаясь съ поднятыми руками въ ту сторону, гдѣ полагалъ быть дому отца протопопа.— Хорошо, ты думаешь, это такъ дѣлать, а? Хорошо это, что я по дьяконству моему подхожу и говорю: благослови, отче? и руку его цѣлуя, чувствую, что даже рука его холодна для меня! Это хорошо? На Троицынъ день предъ великою молитвой я, слезами обливаясь, прошу: благослови... А у него и тутъ умиленія нѣтъ. «Буди благословенъ», говоритъ. Да что̀ мнѣ эта форменность, когда все это безъ ласковости!

Дьяконъ ожидалъ утѣшенія и поддержки.

— Заслужи, замѣчаетъ ему отецъ Захарія:—заслужи хорошенько, онъ тогда и съ лаской проститъ.

— Да чѣмъ же я, отецъ Захарія, заслужу?

— Примѣрнымъ поведеніемъ заслужи.

— Да какимъ же примѣрнымъ поведеніемъ, когда онъ совсѣмъ меня не замѣчаетъ? Мнѣ, ты, батя, думаешь, легко, какъ я вижу, что онъ скорбитъ, вижу, что онъ нынче въ столь частой задумчивости. Боже мой! говорю я себѣ: — чего онъ въ такомъ изумленіи? Можетъ-быть это онъ и обо мнѣ... Потому что вѣдь тамъ, какъ онъ на меня ни сердись, а вѣдь онъ все это притворствуетъ: онъ меня любитъ...

Дьяконъ оборачивался въ другую сторону и, стуча кулакомъ по ладони, выговаривалъ:

— Ну, просвирнинъ сынъ, тебѣ это такъ не пройдетъ! Будь я взаправду тогда Каинъ, и не дьяконъ, если только я этого учителя Варнавку публично не исковеркаю!

Изъ одной этой угрозы читатели могутъ видѣть, что нѣкоему упоминаемому здѣсь учителю Варнавѣ Препотенскому со стороны Ахиллы дьякона угрожала какая-то самая рѣшительная опасность, и опасность эта становилась тѣмъ

грознѣе и ближе, чѣмъ чаще и тягостнѣе Ахилла начиналъ чувствовать томленіе по своемъ потерянномъ раѣ, по утраченномъ благорасположеніи отца Савелія. И вотъ, наконецъ, ударилъ часъ, съ котораго должны были начаться кара Варнавы Препотенскаго рукой Ахиллы и совершенно совпадавшее съ симъ событіемъ начало великой старгородской драмы, составляющей предметъ нашей хроники.

Чтобы ввести читателей въ уразумѣніе этой драмы, мы оставимъ пока въ сторонѣ всѣ тропы и дороги, по которымъ Ахилла, какъ американскій слѣдопытъ, будетъ выслѣживать своего врага, учителя Варнавку, и погрузимся въ глубины внутренняго міра самого драматическаго лица нашей повѣсти—уйдемъ въ міръ невѣдомый и незримый для всѣхъ, кто посмотритъ на лицо и близко, и издали. Проникнемъ въ чистенькій домикъ отца Туберозова. Можетъ-быть, стоя внутри этого дома, найдемъ средство заглянуть внутрь души его хозяина, какъ смотрятъ въ стеклянный улей, гдѣ пчела строитъ свой дивный сотъ, съ воскомъ на освѣщеніе лица Божія, съ медомъ на усладу человѣка. Но будемъ осторожны и деликатны: надѣнемъ легкія сандаліи, чтобы шаги ногъ нашихъ не встревожили задумчиваго и грустнаго протопопа; положимъ сказочную шапку-невидимку себѣ на голову, дабы любопытный зракъ нашъ не смущалъ серьезнаго взгляда чиннаго старца, и станемъ имѣть уши наши отверстыми ко всему, что̀ отъ него услышимъ.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Надъ Старъ-Городомъ лѣтній вечеръ. Солнце давно сѣло. Нагорная сторона, гдѣ возвышается острый куполъ собора, озаряется блѣдными блесками луны, а тихое Зарѣчье утонуло въ теплой мглѣ. По пловучему мосту, соединяющему обѣ стороны города, изрѣдка проходятъ одинокія фигуры. Онѣ идутъ спѣшно: ночь въ тихомъ городкѣ рано собираетъ всѣхъ въ гнѣзда свои и на пепелища свои. Прокатила почтовая телѣга, звеня колокольчикомъ и перебирая, какъ кла-

виши, мостовины, и опять все замерло. Изъ далекихъ лѣсовъ доносится благотворная свѣжесть. На островѣ, который образуютъ рукава Турицы и на которомъ синѣетъ бакша кривоносаго чудака, престарѣлаго недоучки духовнаго званія, нѣкоего Константина Пизонскаго, называемаго отъ всѣхъ «дядей Котиномъ», раздаются клики:

— Молвоша! гдѣ ты, Молвоша?

Это старикъ зоветъ рѣзваго мальчишку, своего пріемыша, и клики эти такъ слышны въ домѣ протопопа, какъ будто они раздаются надъ самымъ ухомъ сидящей у окна протопопицы. Вотъ оттуда же, съ той же бакши, несется дѣтскій хохотъ, слышится плескъ воды, потомъ топотъ босыхъ ребячьихъ ногъ по мостовинамъ, звонкій лай игривой собаки, и все это кажется такъ близко, что мать протопопица, продолжавшая все это время сидѣть у окна, вскочила и выставила впередъ руки. Ей показалось, что бѣгущее и хохочущее дитя сейчасъ же упадетъ къ ней на колѣни. Но, оглянувшись вокругъ, протопопица замѣтила, что это обманъ и, отойдя отъ окна въ глубину комнаты, зажгла на комодѣ свѣчу и кликнула небольшую, лѣтъ двѣнадцати, дѣвочку и спросила ее:

— Ты, Ѳёклинька, не знаешь ли, гдѣ нашъ отецъ протопопъ?

— Онъ, матушка, у исправника въ шашки играетъ.

— А, у исправника. Ну, Богъ съ нимъ, когда у исправника. Давай мы ему, Ѳёклушка, постель постелемъ, пока онъ воротится.

Ѳёклинька принесла изъ сосѣдней комнаты въ залу двѣ подушки, простыню и стеганое желтое шерстяное одѣяло; а мать протопопица внесла бѣлый пикейный шлафрокъ и большой пунцовый фуляръ. Постель была постлана отцу протопопу на большомъ, довольно твердомъ диванѣ изъ карельской березы. Изголовье было открыто; бѣлый шлафрокъ раскинутъ по креслу, которое поставлено въ ногахъ постели; на шлафрокъ положенъ пунцовый фуляръ. Когда эта часть была устроена, мать протопопица, вдвоемъ съ Ѳёклинькой,

придвинули къ головамъ постели отца Савелія тяжелый, изъ карельской же березы, овальный столъ на массивной тумбѣ, поставили на этотъ столъ свѣчу, стаканъ воды, блюдце съ толченымъ сахаромъ и колокольчикъ. Всѣ эти приготовленія и тщательность, съ которою они исполнялись, свидѣтельствовали о великомъ вниманіи протопопицы ко всѣмъ привычкамъ мужа. Только устроивъ все какъ слѣдовало, по обычаю, она успокоилась и снова погасила свѣчу и сѣла одиноко къ окошечку ожидать протопопа. Глядя на нее, можно было видѣть, что она ожидаетъ его неспокойно; этому и была причина: давно невеселый Туберозовъ нынче особенно хандрилъ цѣлый день, и это тревожило его добрую подругу. Къ тому же, онъ и усталъ: онъ ѣздилъ нынче на поля пригородныхъ слобожанъ и служилъ тамъ молебенъ по случаю стоящей засухи. Послѣ обѣда онъ немножко вздремнулъ и пошелъ пройтись, но, какъ оказалось, зашелъ къ исправнику, и теперь его еще нѣтъ. Ждетъ его маленькая протопопица еще полчаса и еще часъ, а его все нѣтъ. Тишина ненарушимая. Но вотъ съ нагорья послышалось чье-то довольно пріятное пѣніе. Мать протопопица прислушивается. Это поетъ дьяконъ Ахилла; она хорошо узнаетъ его голосъ. Онъ сходитъ съ Батавиной горы и распѣваетъ:

Ночною темнотою
Покрылись небеса;
Всѣ люди для покоя
Сомкнули очеса.

Дьяконъ спустился съ горы и, идучи по мосту, продолжаетъ:

Внезапно постучался
Мнѣ въ двери купидонъ;
Пріятный перервался
Въ началѣ самомъ сонъ.

Протопопица слушаетъ съ удовольствіемъ пѣніе Ахиллы, потому что она любитъ и его самого за то, что онъ любитъ ея мужа, и любитъ его пѣніе. Она замечталась и не слышитъ, какъ дьяконъ взошелъ на берегъ и все прибли-

жается и приближается, и, наконецъ, подъ самымъ ея окошечкомъ вдругъ хватилъ съ декламаціей:

Кто тамъ стучится смѣло?
Сквозь двери я спросилъ.

Мечтавшая протопопица тихо вскрикнула: «ахъ!» и отскочила въ глубь покоя.

Дьяконъ, услыхавъ это восклицаніе, пересталъ пѣть и остановился.

— А вы, Наталья Николаевна, еще не започивали? отнесся онъ къ протопопицѣ, и съ этими словами, схватясь руками за подоконникъ, вспрыгнулъ на карнизецъ и воскликнулъ:—А у насъ миръ!

— Что? переспросила протопопица.

— Миръ, повторилъ дьяконъ,—миръ.

Ахилла повелъ по воздуху рукой и добавилъ:

— Отецъ протопопъ... конецъ...

— Что̀ ты говоришь, какой конецъ? запытала вдругъ встревоженная этимъ словомъ протопопица.

— Конецъ... со мною всему конецъ... Отнынѣ миръ и благоволеніе. Нынѣ которое число? Нынѣ четвертое іюня; вы такъ и запишите: «*4-го іюня миръ и благоволеніе*», потому что миръ всѣмъ, и Варнавкѣ учителю шабашъ.

— Ты это что-то... виномъ отъ тебя не пахнетъ, а врешь.

— Вру! А вотъ вы скоро увидите, какъ я вру. Сегодня 4-е іюня, сегодня преподобнаго Меѳодія Песношскаго, вотъ вы это себѣ такъ и запишите, что отъ этого дня у насъ распочнется.

Дьяконъ еще приподнялся на локти и, втиснувшись въ комнату по самый по поясъ, зашепталъ:

— Вы вѣдь, небось, не знаете, что̀ учитель Варнавка сдѣлалъ?

— Нѣтъ, дружокъ, не слыхала, что̀ такое еще онъ, негодивецъ, сотворилъ.

— Ужасная вещь-съ! онъ человѣка въ горшкѣ сварилъ.

— Дьяконъ, ты это врешь! воскликнула протопопица.

— Нѣтъ-съ, сварилъ!

— Истинно врешь! — человѣка въ горшокъ не всунешь.

— Онъ его въ золяной корчагѣ сварилъ, продолжалъ, не обращая на нее вниманія, дьяконъ, — и хотя ему это мерзкое дѣло было дозволено отъ исправника и отъ лѣкаря, но тѣмъ не менѣе онъ теперь за это предается въ мои руки.

— Дьяконъ, ты врешь; ты все это врешь.

— Нѣтъ-съ, извините меня, даже ни одной минуты я не вру, зачастилъ дьяконъ и, замотавъ головой, началъ вырубать слово отъ слова еще чаще.—Извольте хорошенько слушать, въ чемъ дѣло и какое его было теченіе: Варнавка, дѣйствительно, сварилъ человѣка съ разрѣшенія начальства, то-есть лѣкаря и исправника, такъ какъ то былъ утопленникъ; но этотъ сваренецъ теперь его жестоко мучитъ и его мать, госпожу просвирню, и я все это разузналъ и сказалъ у исправника отцу протопопу, и отецъ протопопъ исправнику за это... того-съ, по-французски пробире-муа, задали, и исправникъ сказалъ: что я, говоритъ, возьму солдатъ и положу этому конецъ; но я сказалъ, что пока еще ты возьмешь солдатъ, а я самъ солдатъ, и съ завтрашняго дня, ваше преподобіе, честная протопопица Наталья Николаевна, вы будете видѣть, какъ дьяконъ Ахилла начнетъ казнить учителя Варнавку, который богохульствуетъ, смущаетъ людей живыхъ и мучитъ мертвыхъ. Да-съ, сегодня 4-е іюня, память преподобнаго Меѳодія Песношскаго, и вы это запишете...

Но на этихъ словахъ потокъ краснорѣчія Ахиллы оборвался, потому что въ это время какъ будто послышался издалека съ горы кашель отца протопопа.

— Во! грядетъ попъ Савелій! воскликнулъ, заслышавъ этотъ голосъ Ахилла и, соскочивъ съ фундамента на землю, пошелъ своею дорогой.

Протопопица осталась у своего окна не только во мракѣ невѣдѣнія насчетъ всего того, чѣмъ дьяконъ грозился учителю Препотенскому, но даже въ совершенномъ хаосѣ насчетъ всего, что онъ наговорилъ здѣсь. Ей некогда было

и раздумывать о нескладныхъ рѣчахъ Ахиллы, потому она услыхала, какъ скрипнули крылечныя ступени, и отецъ Савелій вступилъ въ сѣни, въ камилавкѣ на головѣ и въ въ рукахъ съ тою самою тростью, на которой было написано: «Жезлъ Аароновъ расцвѣлъ».

Протопопица встала, разомъ засвѣтила двѣ свѣчи и изъподъ обѣихъ зорко посмотрѣла на вошедшаго мужа. Протопопъ тихо поцѣловалъ жену въ лобъ, тихо снялъ рясу, надѣлъ свой бѣлый шлафоръ, подвязалъ шею пунцовымъ фуляромъ и сѣлъ у окошка.

Протопопица совершенно забыла про все, что ей за нѣсколько минутъ передъ этимъ говорилъ дьяконъ, и потому ни о чемъ не спросила мужа. Она пригласила его въ смежную маленькую, продолговатую комнатку, которая служила ей спальней и гдѣ теперь была приготовлена для отца Савелія его вечерняя закуска. Отецъ Савелій сѣлъ къ столику, съѣлъ два сваренныя для него всмятку яйца и, помолясь, началъ прощаться на ночь съ женой. Протопопица сама никогда не ужинала. Она обыкновенно только сидѣла предъ мужемъ, пока онъ закусывалъ, и оказывала ему небольшія услуги, то что-нибудь подавая, то принимая и убирая. Потомъ они оба вставали, молились предъ образомъ и непосредственно затѣмъ оба начинали крестить одинъ другого. Это взаимное благословеніе другъ друга на сонъ грядущій они производили всегда оба одновременно и притомъ съ такою ловкостью и быстротой, что нельзя было надивиться, какъ ихъ быстро мелькавшія одна мимо другой руки не хлопнутъ одна по другой, и одна за другую не зацѣпятся.

Получивъ взаимныя благословенія, супруги напутствовали другъ друга и взаимнымъ поцѣлуемъ, при чемъ отецъ протопопъ цѣловалъ свою низенькую жену въ лобъ, а она его въ сердце; затѣмъ они разставались: протопопъ уходилъ въ свою гостиную и вскорѣ ложился. Точно такъ же пришелъ онъ въ свою комнату и сегодня, но не легъ въ постель, а долго ходилъ по комнатѣ, наконецъ, притворилъ и тихо заперъ на крючокъ дверь въ женину спальню.

— Отецъ Савелій, ты чего-то не въ свѣтломъ духѣ? спросила чрезъ стѣнку протопопица, хорошо изучившая всѣ мельчайшія черты мужнина характера.

— Нѣтъ, другъ, я спокоенъ, отвѣчалъ протопопъ.

— Тебѣ, отецъ Савелій, не подать ли на ночь чистый платочекъ? освѣдомилась она, вскочивъ и приложивъ носъ къ створу двери.

— Платочекъ? да вѣдь ты въ субботу дала мнѣ платочекъ!

— Ну, такъ что жъ, что въ субботу?.. Да отопритесь вы въ самомъ дѣлѣ, отецъ Савелій! Что это вы еще за моду такую взяли, чтобъ отъ меня запираться?

Протопопъ молча откинулъ крючокъ, а Наталья Николаевна принесла чистый фуляровый платокъ и, пользуясь этимъ случаемъ, они съ мужемъ снова начали прощаться и крестить другъ друга тѣмъ же удивительнымъ для непривычнаго человѣка способомъ, и затѣмъ опять разстались. Дверь теперь оставалась отворенною: объяснилось, зачѣмъ старикъ непремѣнно хотѣлъ ее припереть. Отцу протопопу не спалось, и онъ чувствовалъ, что ему не удастся уснуть: прошелъ часъ, а онъ еще все ходилъ по комнатѣ въ своемъ бѣломъ пикейномъ шлафорѣ и пунцовомъ фулярѣ подъ шеей. Въ старикѣ какъ бы совершалась нѣкая борьба. При всемъ внѣшнемъ достоинствѣ его манеръ и движеній, онъ ходилъ шагами неровными, то нѣсколько учащая ихъ, какъ бы хотѣлъ куда-то броситься, то замедляя ихъ и, наконецъ, вовсе останавливаясь и задумываясь. Это хожденіе продолжалось еще съ добрый часъ, прежде чѣмъ отецъ Савелій подошелъ къ небольшому красному шкафику, утвержденному на высокомъ комодѣ съ вытянутою доской. Изъ этого шкафа онъ досталъ Евгеніевскій *Календарь*, переплетенный въ толстый синій демикатонъ, съ желтымъ юхтовымъ корешкомъ, положилъ эту книгу на стоявшемъ у его постели овальномъ столѣ, зажегъ предъ собою двѣ экономическія свѣчи и остановился: ему показалось, что жена его еще ворочается и не спитъ. Это такъ и было.

— Будешь читать, вѣрно? спросила его въ эту минуту изъ-за стѣны своимъ тихимъ, заботливымъ голоскомъ Наталья Николаевна.

— Да, я, другъ Наташа, немножко почитаю, отвѣчалъ отецъ Туберозовъ,—а ты, одолжи меня, усни пожалуй.

— Усну, мой другъ, усну, отвѣчала протопопица.

— Да, прошу тебя, пожалуй усни,—и съ этими словами отецъ протопопъ, осѣдлавъ свой гордый римскій носъ большими серебряными очками, началъ медленно перелистывать свою синюю книгу. Онъ не читалъ, а только перелистывалъ эту книгу, и притомъ останавливался не на томъ, что въ ней было напечатано, а лишь просматривалъ его собственною рукой исписанныя прокладныя страницы. Всѣ эти записки были сдѣланы разновременно и воскрешали предъ старымъ протопопомъ цѣлый міръ воспоминаній, къ которымъ онъ любилъ по временамъ обращаться.

Очутясь между протопопомъ Савеліемъ и его прошлымъ, станемъ тихо и почтительно слушать тихій шопотъ его старческихъ устъ, раздающійся въ глухой тиши полуночи.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

### Демикатоновая книга протопопа Туберозова.

Туберозовъ просматривалъ свой календарь съ самой первой прокладной страницы, на которой было написано: «По рукоположеніи меня *4-го февраля 1831 года* преосвященнымъ Гавріиломъ въ іерея, получилъ я отъ него сію книгу въ подарокъ за мое доброе прохожденіе семинарскихъ наукъ и за поведеніе». За первою надписью, совершенною въ первый день іерейства Туберозова, была вторая: «Проповѣдывалъ впервые въ соборѣ послѣ архіерейскаго служенія. Темой проповѣди избралъ текстъ притчи о сыновьяхъ вертоградаря. Одинъ сказалъ: не пойду и пошелъ, а другой отвѣчалъ: пойду, и не пошелъ. Свелъ сіе ко благимъ дѣйствіямъ и благимъ намѣреніямъ, позволяя себѣ нѣкоторые намеки на служащихъ, присягающихъ и о присягѣ

своей небрегущихъ, давая симъ тонкіе намеки чиноначаліямъ и властямъ. Говорилъ плавно и менѣе пышно, чѣмъ естественно. Владыка одобрили сію мою пробу пера. Однакоже, впослѣдствіи его преосвященство призывалъ меня къ себѣ и, одобряя мое слово вообще, въ частности же указалъ, дабы въ проповѣдяхъ прямого отношенія къ жизни дѣлать опасался, особливо же насчетъ чиновниковъ, ибо отъ нихъ-де чѣмъ дальше, тѣмъ и освященнѣе. Но за прошлое сказаніе не укорялъ и даже какъ бы одобрилъ».

«*1832 года, декабря 18-го,* былъ призванъ высокопреосвященнымъ и получилъ назначеніе въ Старъ-Городъ, гдѣ нарочито силенъ расколъ. Указано противодѣйствовать оному всячески».

«*1833 года, въ восьмой день февраля,* выѣхалъ съ попадьей изъ села Благодухова въ Старъ-Городъ и прибылъ сюда 12-го числа о заутрени. На дорогѣ чуть насъ не съѣла волчья свадьба. Въ церкви засталъ нестроеніе. Расколъ силенъ. Осмотрѣвшись, нахожу, что противодѣйствіе расколу по консисторской инструкціи дѣло не важное, и о семъ писалъ въ консисторію и получилъ за то выговоръ».

Протоіерей пропустилъ нѣсколько замѣтокъ и остановился опять на слѣдующей: «Получивъ замѣчаніе о бездѣятельности, усматриваемой въ недоставленіи мною обильныхъ доносовъ, оправдывался, что въ расколѣ дѣлается только то, что уже давно всѣмъ извѣстно, про что и писать нечего, и при семъ добавилъ въ семъ рапортѣ, что наиглавнѣе всего, что церковное духовенство находится въ крайней бѣдности, и того для, по человѣческой слабости, не противодѣйственно подкупамъ и даже само не мало потворствуетъ расколу, какъ и другіе прочіе оберегатели православія, пріемля даянія раскольниковъ. Заключилъ, что не съ иного чего надо бы начать, къ исправленію скорбей церкви, какъ съ изъятія самого духовенства изъ-подъ тяжкой зависимости. Образцомъ сему показалъ раскольничьи сравненія синода съ патріаршествомъ и симъ надѣялся и дѣятельность свою оправдать, и очередной отъ

себя доносъ отбыть, но за опытъ сей вторично получилъ выговоръ и замѣчаніе, и вызванъ къ личному объясненію, при коемъ былъ названъ «непочтительнымъ Хамомъ, открывающимъ наготу отца». Сіе, надлежитъ подразумѣвать, удостоенъ былъ получить за то, что созналъ какъ бѣдное, полуголодное духовенство само за неволю нерѣдко расколу потворствуетъ, и наипаче за то, что про синодъ упомянулъ... Простите, пожалуйте, кто обиженъ! Въ забвеніе вами мнѣ сея великія вины вспомяну вамъ слова свѣтскаго, но свѣтлаго писателя господина Татищева: «а голодный, хотя бы и патріархъ былъ, кусокъ хлѣба возьметъ, особливо предложенный». Вотъ и патріарху на орѣхи!»

Ниже, черезъ нѣсколько записей, значилось: «былъ по дѣламъ въ губерніи и, представляясь владыкѣ, лично ему докладывалъ о бѣдности причтовъ. Владыка очень о семъ соболѣзновали; но замѣтили, что и самъ Господь нашъ не имѣлъ, гдѣ главы восклонить, а къ сему учить не уставалъ. Совѣтовалъ мнѣ, дабы рекомендовать духовнымъ читать книгу «О подражаніи Христу». На сіе ничего его преосвященству не возражалъ, да и вотще было бы возражать, потому какъ и книги той духовному нищенству нашему достать негдѣ».

«Политично за вечернимъ столомъ у отца соборнаго ключаря еще разъ заводилъ рѣчь о семъ же предметѣ съ отцомъ благочиннымъ и съ секретаремъ консисторіи; однако сіи рѣчи мои обращены въ шутку. Секретарь съ усмѣшкой сказалъ, что «бѣдному удобнѣе въ царствіе Божіе внити», что мы и безъ его благородія знали, а отецъ ключарь при семъ разсказали небезъинтересный анекдотъ объ одномъ академическомъ студентѣ, который впослѣдствіи былъ знаменитымъ святителемъ и проповѣдникомъ. Сей будто бы еще въ мірскомъ званіи, на вопросъ владыки, имѣетъ ли онъ какое состояніе, отвѣтствовалъ:

— Имѣю, ваше преосвященство.

— А движимое или недвижимое? вопросилъ сей, на что оный отвѣтствовалъ:

— И движимое, и недвижимое.

— Что же такое у тебя есть движимое? вновь вопросилъ его владыка, видя замѣтную мизерность его костюма.

— А движимое у меня домъ въ селѣ, отвѣтствовалъ вопрошаемый.

— Какъ такъ, домъ движимое? Разсуди, сколь глупъ отвѣтъ твой.

«А тотъ, нимало симъ не смущаясь, провѣщалъ, что отвѣтъ его правиленъ, ибо домъ его такого свойства, что коль скоро на него вѣтеръ подуетъ, то онъ весь и движется.

«Владыкѣ отвѣтъ сей показался столь своеобразнымъ, что онъ этого студіозуса за дурня уже не хотѣлъ почитать, а напротивъ, интересуяся имъ, еще вопросилъ:

— Что же ты своею недвижимостью нарицаешь?

— А недвижимость моя, отвѣчалъ студентъ, — матушка моя, дьячиха, да наша коровка бурая, кои обѣ ногъ не двигали, когда отбывалъ изъ дому, одна отъ старости, другая же отъ безкормицы.

«Не мало сему всѣ мы смѣялись, хотя я, впрочемъ, находилъ въ семъ болѣе печальнаго и трагическаго, нежели комедійной веселости, способной тѣшить. Начинаю замѣчать во всѣхъ значительную смѣшливость и легкомысліе, въ коихъ добраго не предусматриваю.

«Житіе мое провожу въ снѣ и въ яденіи. Расколу не могу оказывать противодѣйствій ни малымъ чѣмъ, ибо всѣми связанъ, и причтомъ своимъ полуголоднымъ, и исправникомъ дуже сытымъ. Негодую, зачѣмъ я какъ бы въ посмѣшище съ миссіонерскою цѣлію посланъ: проповѣдывать— да некому; учить—да не слушаютъ? Проповѣдуетъ исправникъ меня гораздо лучше, ибо у него къ сему есть такая миссіонерская снасть о нѣсколькихъ концахъ, а отъ меня доносовъ требуютъ. Владыко мой! къ чему сіи доносы? Что въ нихъ завертывать? А мнѣ, по моему разсужденію, и санъ мой не позволяетъ писать ихъ. Я лучше чистой бумаги пожертвую...

«Представлялъ рапортомъ о дозволеніи имѣть на Пасхѣ словопреніе съ раскольниками, въ чемъ и отказано. Вдобавокъ къ форменной бумагѣ, секретарь смѣючись отписалъ приватно, что если скука одолѣваетъ, то чтобы къ нимъ проѣхался. Нѣтъ ужъ, покорнѣйше спасибо, а не прогнѣвайтесь на здоровье. И безъ того мой хитонъ обличаетъ мя, яко нѣсть браченъ, да и жена въ одной исподницѣ гуляетъ. Слѣдовало бы какъ ни на есть поизряднѣе примундириться, потому что люди у насъ руки цѣлуютъ, а примундироваться еще пока ровно не на что; но всего что противнѣе, это сей презрѣнный, наглый и безстыжій тонъ консисторскій, съ которымъ говорится: «а не хочешь ли, попъ, въ консисторію съѣздить подоиться?» Нѣтъ, друже, не хочу, не хочу; поищите себѣ кормилицу подебелѣе».

«*13-го октября 1835 года.* Читалъ книгу объ обличеніи раскола. Все въ ней есть, да одного нѣтъ, что раскольники блюдутъ свое заблужденіе, а мы своимъ правымъ путемъ небрежемъ; а сіе, мню, яко важнѣйшее».

«Сегодня утромъ, 18-го марта сего 1836 года, попадья Наталья Николаевна намекнула мнѣ, что она чувствуетъ себя не порожнею. Подай Господи намъ сію радость! Ожидать въ началѣ ноября».

«*9-го мая,* на день св. Николая Угодника, происходило разрушеніе Дѣевской старовѣрческой часовни. Зрѣлище было страшное, непристойное и поистинѣ возмутительное; а къ сему же еще, какъ на зло, желѣзный крестъ съ купольнаго фонаря сорвался и повисъ на цѣпяхъ, а будучи остервененно понуждаемъ баграми разорителей къ паденію, упалъ внезапно и проломилъ пожарному солдату изъ жидовъ голову, отчего тотъ здѣсь же и померъ. Охъ, какъ мнѣ было тяжко все это видѣть: Господи! да право, хотя бы жидовъ-то не посылали, что ли, кресты рвать! Вечеромъ надъ разоренною молельной собирался народъ, и ихъ, и нашъ церковный, и всѣ вмѣстѣ много и горестно плакали, и, наконецъ того, начали даже искать объятій и уніи».

«*10-го мая.* Были большія со стороны начальства ошибки.

Предъ полунощью прошелъ слухъ, что народъ вынесъ на камень лампаду и началъ молиться надъ разбитою молельной. Всѣ мы собрались и видимъ, точно идетъ моленіе, и лампада горитъ въ рукахъ у старца и не потухаетъ. Городничій велѣлъ тихо подвести пожарныя трубы и изъ нихъ народъ окачивать. Было сіе весьма необдуманно и, скажу, даже глупо, ибо народъ зажегъ свѣчи и пошелъ по домамъ, воспѣвая «мучителя Фараона» и крича: «Господь побораетъ вѣрѣ мучимой; и вѣтеръ свѣщей не гаситъ»; другіе кивали на меня и вопили: «подай намъ нашу Пречистую покровенную Богородицу и поклоняйся своей простоволосой въ нѣмецкомъ платьѣ». Я только указалъ городничему, сколь неосторожно было сіе его распоряженіе о разореніи и срываніи крестовъ и отобраніи иконы, но ему что? Ему лишь бы у нѣмца выслужиться».

«*12-го мая.* Франтовство одолѣло: взялъ въ долгъ у предводительской экономки два шелковыя платья предводительшины и послалъ ихъ въ городъ окрасить въ масока цвѣтъ, какъ у губернскаго протодіакона, и сошью себѣ ряску шелковую. Невозможно безъ этой аккуратности, потому что становлюсь повсюду вхожъ въ дворянскіе дома, а унижать себя не намѣренъ».

«*17-го мая.* Попадья Наталья Николаевна намекнула, что она въ разсужденіи своего положенія ошиблась».

«*20-го іюня.* По донесенію городничаго, за нехожденіе со крестомъ о Пасхѣ въ дома раскольниковъ, былъ снова вызванъ въ губернію. Изложилъ сіе дѣло владыкѣ обстоятельно, что не ходилъ я къ старовѣрамъ не по нерадѣнію, ибо то даже было въ карманный себѣ ущербъ; но я сдѣлалъ сіе для того, дабы раскольники чувствовали, что чести моего съ причтомъ посѣщенія лишаются. Владыко задумались и потомъ объясненіе мое приняли; но не мимо идетъ рѣчь, что царь жалуетъ, да его псарь не жалуетъ. Такъ какъ дѣло сіе о моей манкировкѣ нѣкоторою своей стороной касалось и гражданской власти, то, дабы положить конецъ сей пустой претензіи и объ-онъ-полъ, владыка послали меня

объяснить сіе важное дѣло губернатору. Но и было же объясненіе!.. Оле мнѣ грѣшному, что̀ я только тамъ вытерпѣлъ! Оле и вамъ, ближніе мои, братія мои, искренніи и други, за срамоту мою и униженіе, которыя я перенесъ отъ сего куцаго нечестивца! Губернаторъ, яко нѣмецъ, соблюдая амбицію своего Лютера, русскаго попа къ себѣ не допустилъ, отрядилъ меня для собесѣдованія о семъ къ правителю. Сей же правитель, полякъ, не по владычнему дѣло сіе разсмотрѣть изволилъ, а напустился на меня съ крикомъ и рыканіемъ, говоря, что я потворствую расколу и сопротивляюсь волѣ моего государя. Оле же тебѣ, ляше прокаженный, и ты съ твоею прожженною совѣстію меня сопротивленіемъ царю моему упрекаешь! Однако, я сіе снесъ и ушелъ молча, памятуя хохлацкую пословицу: «скачи, враже, якъ панъ каже». И вышло такъ, что все описанное случилось какъ бы для обновленія моей шелковой рясы, которая, при семъ скажу, сдѣлана весьма исправно и едва только при солнцѣ чуть отмѣняетъ, что изъ разныхъ матерій».

«*23-го марта.* Сегодня, въ субботу Страстную, приходили причетники и дьяконъ. Прохоръ проситъ, дабы неотмѣнно идти со крестомъ на Пасхѣ и по домамъ раскольниковъ, ибо несоблюденіе сего имъ въ ущербъ. Отдалъ имъ изъ своихъ денегъ сорокъ рублей, но не пошелъ на сей срамъ, дабы принимать деньги у мужичьихъ воротъ какъ подаяніе. Вотъ теперь уже рясу свою вижу уже за глупость, могъ бы и безъ нея обойтись, и было бы что̀ причту раздать пообильнѣе. Но думалось: «нельзя же комиссару и безъ штановъ».

«*24-го апрѣля 1837 года.* Былъ осрамленъ до слезъ и до рыданій. Опять былъ на меня доносъ, и опять предстоялъ предъ онымъ губернаторскимъ правителемъ за невхожденіе со крестомъ во дворы раскольниковъ. Доносъ сдѣланъ самимъ моимъ причтомъ. Какъ перенести сію низость и неблагодарность! Мыслитель и администраторъ! сложи въ просвѣщенномъ умѣ своемъ, изъ чего жизнь попа рус-

скаго сочетавается. Возвращаясь домой, цѣлую дорогу сѣтовалъ на себя, что не пошелъ въ академію. Оттоль поступилъ бы въ монашество, какъ другіе; былъ бы съ лѣтами архимандритомъ, архіереемъ; ѣздилъ бы въ каретѣ, самъ бы командовалъ, а не мною бы помыкали. Суетой сею злобно себя тѣшилъ, упорно воображая себя архіереемъ, но, пріѣхавъ домой, былъ нѣжно обласканъ попадьей, и возблагодарилъ Бога, тако устроившаго яко же есть».

«*25-го апрѣля.* Былъ я осрамленъ въ губерніи; но мало въ сравненіи предъ тѣмъ, сколь дома сегодня остыженъ, какъ школьникъ. Вчера только вписалъ я мои нотатки о моихъ скорбяхъ и недовольствахъ, а сегодня, вставъ рано, сѣлъ у окна и, размышляя о дѣлахъ своихъ и о прошедшемъ своемъ, и о будущемъ, глядѣлъ на раскрытую предъ окномъ моимъ бакшу полунищаго Пизонскаго. Прошлый годъ у него на грядахъ нѣкая дурочка Настя, обольщенная проходящимъ солдатомъ, родила младенца и сама, кинувшись въ воду, утонула. Пизонскій въ одинокой старости своей призрѣлъ сего младенца, и о семъ всѣ позабыли; позабылъ и я во главѣ прочихъ. Но утромъ днесь поглядаю свысока на землю сего Пизонскаго, да думаю о дѣлахъ своихъ, какъ вдругъ начинаю замѣчать, что эта, свѣжевзоранная черная, даже какъ бы синеватая земля, необыкновенно какъ красиво нѣжится подъ утреннимъ солнцемъ, и ходятъ по ней бороздами въ блестящемъ перѣ тощія черныя птицы и свѣжимъ червемъ подкрѣпляютъ свое голодное тѣло. Самъ же старый Пизонскій, весь съ лысой головы своей озаренный солнцемъ, стоялъ на лѣстницѣ у утвержденнаго на столбахъ разсадника и, имѣя въ одной рукѣ чашу съ сѣменами, другою погружалъ зерна, кладя ихъ щепотью крестообразно и глядя на небо, съ опущеніемъ каждаго зерна, взывалъ по одному слову: «Боже! устрой и умножь, и возрасти на всякую долю человѣка голоднаго и сираго, хотящаго, просящаго и произволящаго, благословляющаго и неблагодарнаго», и едва онъ сіе кончилъ, какъ вдругъ всѣ ходившія по пашнѣ черныя глянцевитыя птицы вскричали,

закудахтали куры и запѣлъ, громко захлопавъ крылами, горластый пѣтухъ, а съ рогожи сдвинулся тотъ, принятый симъ чудакомъ, мальчикъ, сынъ дурочки Насти; онъ дѣтски отрадно засмѣялся, руками всплескалъ и, смѣясь, поползъ по мягкой землѣ. Было мнѣ все это точно видѣнье. Старый Пизонскій былъ счастливъ и громко запѣлъ: «Аллилуія!» Аллилуія, Боже мой! запѣлъ и я себѣ отъ восторга, и умиленно заплакалъ. Въ этихъ цѣлебныхъ слезахъ я облегчилъ мои досажденія и понялъ, сколь глупа была скорбь моя, и долго послѣ дивился, какъ дивно врачуетъ природа недуги души человѣческой! Умножь и возрасти, Боже, благая на земли на всякую долю: на хотящаго, просящаго, на *произволящаго* и *неблагодарнаго*... Я никогда не встрѣчалъ такой молитвы въ печатной книгѣ. Боже мой, Боже мой! этотъ старикъ садилъ на долю вора и за него молился! Это, можетъ быть, гражданскою критикой не очищается, но это ужасно трогаетъ. О моя мягкосердечная Русь, какъ ты прекрасна!»

«*6-го августа*, день Преображенія Господня. Что это за прелестная такая моя попадья Наталья Николаевна! Опять: гдѣ, кромѣ святой Руси, подобныя жены быть могутъ? Я ей говорилъ какъ-то, сколь меня трогаетъ нѣжность бѣднѣйшаго Пизонскаго о дѣтяхъ, а она сейчасъ поняла или отгадала мысль мою и жажданіе: обняла меня и съ румянцемъ стыдливости, столь ей идущимъ, сказала: «Погоди, отецъ Савелій, можетъ Господь дастъ намъ». (Она разумѣла: дастъ дѣтей). Но я по обычаю, думая, что подобныя ея надежды всегда суетны и обманчивы, ни о какихъ подробностяхъ ея не спрашивалъ, и такъ оно и вышло, что не надо было безпокоиться. Но и изъ ложной сей тревоги вышла превосходная трогательность. Сегодня я говорилъ слово къ убѣжденію въ необходимости всегдашняго себя преображенія, дабы силу имѣть во всѣхъ борьбахъ коваться какъ металлъ нѣкій крѣпкій и ковкій, а не плющиться какъ низменная глина, изсыхая, сохраняющая отпечатокъ послѣдней ноги, которая на нее наступила. Говоря сіе, увлекся

нѣкоею импровизаціей и указалъ народу на стоявшаго у дверей Пизонскаго. Хотя я по имени его и не назвалъ, но сказалъ о немъ, какъ о нѣкоемъ посреди насъ стоящемъ, который, придя къ намъ нагій и всѣми глупцами осмѣянный за свое убожество, не только самъ не погибъ, но и величайшее изъ дѣлъ человѣческихъ сдѣлалъ, спасая и воспитывая неоперенныхъ птенцовъ. Я сказалъ, сколь сіе сладко—согрѣвать беззащитное тѣло дѣтей и насаждать въ души ихъ сѣмена добра. Выговоривъ это, я самъ почувствовалъ мои рѣсницы омоченными и увидалъ, что и многіе изъ слушателей стали отирать глаза свои и искать очами по церкви нѣкоего, его же разумѣла душа моя, искать Котина нищаго, Котина, сирыхъ питателя. И видя, что его нѣту, ибо онъ, понявъ намекъ мой, смиренно вышелъ и ощутилъ какъ бы нѣкую священную острую боль и задыханіе, по тому случаю, что смутилъ его похвалой и сказалъ:—«Нѣтъ его, нѣтъ, братія, межъ нами! ибо ему не нужно это слабое слово мое, потому что слово любве давно огненнымъ перстомъ Божіимъ начертано въ смиренномъ его сердцѣ.—Прошу васъ, сказалъ я съ поклономъ:—всѣ вы, здѣсь собравшіеся достопочтенные и именитые сограждане, простите мнѣ, что не стратига превознесеннаго воспомнилъ я вамъ въ нашей бесѣдѣ въ образъ силы и въ подражаніе, но единаго отъ малыхъ, и если что смутитъ васъ отъ сего, то отнесите сіе къ моей малости, зане грѣшный попъ вашъ Савелій, назирая сего малаго, не разъ чувствовалъ, что самъ онъ предъ нимъ не іерей Бога вышняго, а въ ризахъ сихъ покрывающихъ мое недостоинство—гробъ повапленный. Аминь».

«Не знаю, что заключалося умнаго и краснорѣчиваго въ простыхъ словахъ сихъ, сказанныхъ мною совершенно ex prompt̆u, но могу сказать, что богомольцы мои нѣчто изъ сего вняли и на мою руку, когда я ее подавалъ при отпускѣ, пала не одна слеза. Но это не все: важнѣйшее для меня только наступало».

«Какъ бы въ нѣкую награду за искреннее слово мое

объ отрадѣ пещись не токмо о своихъ, но и о чужихъ дѣтяхъ, Вездѣсущій и Всеисполняющій пріялъ и мое недостоинство подъ свою десницу. Онъ открылъ мнѣ днесь всю истинную цѣну сокровища, которымъ, по безмѣрнымъ щедротамъ Его, я владѣю, и велѣлъ мнѣ еще преобразиться въ наидовольнѣйшаго, судьбою своею, человѣка. Только что прихожу домой съ пяткомъ освященныхъ послѣ обѣдни яблокъ, какъ на порогѣ ожидаетъ меня встрѣча съ нѣкоторою довольно старою знакомкой: то сама попадья моя Наталья Николаевна, выкравшись тихо изъ церкви, во время отпуска, приготовила мнѣ, по обычаю, чай съ легкимъ фриштикомъ и стоитъ стопочкой на порогѣ, но стоитъ не съ пустыми руками, а съ букетомъ изъ рѣчной лилеи и садоваго левкоя. «Ну еще ли не коварная послѣ этого ты женщина, Наталья Николаевна!» сказалъ я, никогда прежде сего ее коварствомъ не укорявши. Но она столь умна, что нимало этимъ не обидѣлась: она поняла, что сіе шуткой сказано и, обнявъ меня, только тихо, но прегорько заплакала. Чего эти слезы?—сіе ея тайна, но для меня не таинственна сія твоя тайна, жена добрая, и не знающая, чѣмъ утѣшать мужа своего, а утѣхи Израилевой, Веніамина малаго, дать ему лишенная. Да, токмо рѣчною лилеею и садовымъ левкоемъ встрѣтило меня въ этотъ день ея отверстое въ любви и благоволеніи сердце! Въ тихой грусти, двое бездѣтные, сѣли мы за чай, но былъ то не чай, а слезы наши растворялись намъ въ питіе, и незамѣтно для себя мы оба заплакали, и оборучь пали мы ницъ предъ образомъ Спаса, и много, и жарко молились Ему объ утѣхѣ Израилевой. Наташа послѣ открылась, что она какъ бы слышала нѣкое обѣтованіе чрезъ ангела, и я хотя понималъ, что это плодъ ея доброй фантазіи, но оба мы стали радостны какъ дѣти. Замѣчу, однако, что и въ семъ настроеніи Наталья Николаевна значительно меня, грубаго мужчину, превосходила какъ въ ума сообразительности, такъ и въ достоинствѣ возвышенныхъ чувствъ.

— Скажи мнѣ, отецъ Савелій, приступила она ко мнѣ,

добродушно ласкаючись,—скажи, дружокъ: не былъ ли ты когда-нибудь, прежде чѣмъ нашелъ меня, противъ цѣломудренной заповѣди грѣшенъ?

«Такой вопросъ, откровенно долженъ признаться, крайне смутилъ меня, ибо я вдругъ сталъ понимать, къ чему моя негодящая женка у меня такое ей несоотвѣтственное выпытываетъ.

«Но она со всею своею превосходною скромностью и со всею съ этою женскою кокетеріей, которую хотя и попадья, но отъ природы унаслѣдовала, вдругъ и взаправду коварно начала меня обольщать воспоминаніями минувшей моей юности, напоминая, что тому, о чемъ она намекнула, не трудно было статься, ибо былъ будто бы я столь собою пригожъ, что когда пріѣхалъ къ ея отцу въ городъ Фатежъ на ней свататься, то всѣ дѣвицы не только духовныя, но даже и свѣтскія по мнѣ вздыхали! Сколь сіе ни забавно, однако я старался разсѣять всякія сомнѣнія насчетъ своей юности, что̀ мнѣ и не трудно, ибо безъ лжи въ семъ имѣю оправданіе. Но чѣмъ я тверже ее успокоивалъ, тѣмъ она болѣе пріунывала, и я не постигалъ, отчего оправданія мои ее нимало не радовали, а напротивъ, все болѣе какъ будто печалили, и наконецъ она сказала:

— Нѣтъ ты, отецъ Савелій, вспомни, можетъ быть, когда ты былъ легкомысленъ... то нѣтъ ли гдѣ какого сиротки?

«Тутъ уже я, что̀ она сказать хочетъ, уразумѣлъ и понялъ, къ чему она все это вела и чего она сказать стыдится; это она тщится отыскать мое незаконное дитя, котораго нѣтъ у меня! Какое благодушіе! Я, какъ ужаленный слѣпнемъ волъ, сорвался съ своего мѣста, бросился къ окну и вперилъ глаза мои въ небесную даль, чтобы даль одна видѣла меня, столь превзойденнаго моею женой въ добротѣ и попеченіи. Но и она, моя лилейная и левкойная подруга, моя роза бѣлая, непорочная, благоуханная и добрая, и она снялась вслѣдъ за мною; поступью легкою ко мнѣ сзади подкралась и, положивъ на плечи мнѣ свои малыя лапки, сказала:

— Вспомни, голубь мой: можетъ быть гдѣ-нибудь есть тотъ голубенокъ, и, если есть, пойдемъ и возьмемъ его!

«Мало что она его хочетъ отыскивать, она его уже любитъ и жалѣетъ какъ неопереннаго голубенка! Этого я уже не снесъ и, закусивъ зубами бороду свою, палъ предъ ней на колѣни и, поклонясь ей до земли. зарыдалъ тѣмъ рыданіемъ, которому нѣтъ на свѣтѣ описанія. Да и вправду, повѣдайте мнѣ времена и народы, гдѣ, кромѣ святой Руси нашей, родятся такія женщины, какъ сія добродѣтель? Кто ее всему этому училъ? Кто ее воспитывалъ, кромѣ Тебя, Всеблагій Боже, Который далъ ее недостойному изъ слугъ Твоихъ, дабы онъ могъ ближе ощущать Твое величіе и благость».

Здѣсь въ дневникѣ отца Савелія почти цѣлая страница была залита чернилами и внизу этого чернильнаго пятна начертаны слѣдующія строки:

«Ни пятна сего не выведу, ни нѣкоей нескладицы и тождесловія, которыя въ послѣднихъ строкахъ замѣчаю, не исправлю: пусть все такъ и остается, ибо все, чѣмъ сія минута для меня обильна, мило мнѣ въ настоящемъ своемъ видѣ, и таковымъ должно сохраниться. Попадья моя не унялась сегодня проказничать, хотя теперь уже двѣнадцатый часъ ночи, и хотя она за обычай всегда въ это время спитъ, и хотя я это и люблю, чтобъ она къ полуночи всегда спала, ибо ей то здорово, а я люблю слегка освѣжать себя въ ночной тишинѣ какимъ удобно чтеніемъ, а иною порой пишу свои нотатки, и нерѣдко, пописавъ нѣсколько, подхожу къ ней спящей и спящую ее цѣлую, и если чѣмъ огорченъ, то въ семъ отрадномъ поцѣлуѣ почерпаю снова бодрость и силу, и тогда засыпаю покойно. Днесь же я велъ себя до сей поры нѣсколько инако. По семъ днѣ, повергавшемъ меня всѣми ощущеніями въ безпрерывное разнообразіе, я столь былъ увлеченъ описаніемъ того, что̀ мною выше описано, что чувствовалъ плохую жёнку мою въ душѣ моей, и поелико душа моя лобзала ее, я не вздумалъ ни однажды подойти къ ней и поцѣло-

вать ее. Но она, тонкая сія лукавица, замѣтивъ сіе мое упущеніе, поправила оное съ невѣроятною оригинальностью: часъ тому назадъ пришла она, положила мнѣ на столъ носовой платокъ чистый и, поцѣловавъ меня, какъ бы и путная, удалилась ко сну. Но что же, однако, за непостижимыя хитрости женскія за ней оказываются! Вдругъ, пресерьезнѣйше пишучи, вижу я, что мой платокъ какъ бы движется и внезапно падаетъ на полъ. Я нагнулся, положилъ его снова на столъ и снова занялся писаніемъ; но платокъ опять упалъ на полъ. Я его положилъ на колѣни мои, а онъ и оттоль падаетъ. Тогда я взялъ сего непокорнаго, да прикрѣпилъ его, подложивъ немного подъ чернильницу, а онъ, однако, и оттуда убѣжалъ и даже увлекъ съ собою и самую чернильницу, опрокинулъ ее и календарь мой симъ изряднымъ пятномъ изукрасилъ. Что же сіе полотняное бѣгство означаетъ? означаетъ оно то, что попадья моя выходитъ найпервѣйшая кокетка, да еще къ тому и рѣдкостная, потому что не съ добрыми людьми, а съ мужемъ кокетничаетъ. Я ужъ ее сегодня вечеромъ въ этомъ упрекнулъ, когда она, улыбаючись, предо мною сидѣла на окошечкѣ и сожалѣла, что она романсовъ пѣть не умѣетъ, а она какую теперь штуку измыслила и приправила! Взяла къ этому платку, что мнѣ положила, поднося его мнѣ, потаенно прикрѣпила весьма длинную нитку, протянула ее подъ дверь къ себѣ на постель и, лежачи на покоѣ, платокъ мой у меня изъ-подъ рукъ изволитъ, шаля, подергивать. И я, толстоносый, потому это только открылъ, что съ послѣднимъ паденіемъ платка ея тихій и радостный хохотъ раздался, и потомъ за дверью ея босыя ножонки затопотали. Напрокудила, да и плюхъ въ постель. Пошелъ, цѣловалъ ее безъ мѣры, но ушелъ опять, чтобы занотовать себѣ всю прелесть жены моей подъ свѣжими чувствами».

«*7-го августа.* Всю ночь прошедшую не спалъ отъ избытка моего счастія, и не солгу, если прибавля, что также и Наташа не мало сему бодрствованію способствовала. Словно влюбленные подъ Петровъ день солнце караулятъ,

такъ и мы съ нею послѣ пятилѣтняго брака своего сегодняшняго солнца дождались, сидя подъ окномъ своимъ. Призналась голубка, что она и весьма часто этакъ не спитъ, когда я пишу, а только спящею притворяется, да и во многомъ другомъ призналась. Призналася, что вчера въ церкви, слушая мое слово, которое ей почему-то столь много понравилось, она дала обѣтъ идти пѣшкомъ въ Кіевъ, если только почувствуетъ себя въ тягости. Я этого не одобрилъ, потому что такой переходъ беременной не совсѣмъ въ силу; но обѣтъ исполнить ей разрѣшилъ, потому что при такой радости, разумѣется, и самъ тогда съ нею пойду, и гдѣ она уставать станетъ, я понесу ее. Дѣлали сему опытъ: я долго носилъ ее на рукахъ моихъ по саду, мечтая, какъ бы она уже была беременная и я ее охраняю, дабы не случилось съ ней отъ ходьбы какого несчастія. Столь этою мыслью желанною увлекаюсь, что, увидѣвъ, какъ Наташа, шаля, сѣла на качели, кои кухаркина дѣвочка подъ яблонью подцѣпила, я даже снялъ тѣ качели, чтобы сего впередъ не случилось, и наверхъ яблони закинулъ съ величайшимъ опасеніемъ, чему Наташа очень много смѣялася. Однако, хотя жизнь моя и не изобилуетъ вещами, тщательной секретности требующими, но все-таки хорошо, что хозяинъ домика нашего обнесъ свой садикъ добрымъ заборцемъ, а Господь обрастилъ этотъ заборъ густою малиной, а то, пожалуй, иной сказалъ бы, что попа Савелія не грѣхъ подчасъ назвать и скоморохомъ».

«*9-го августа.* Заношу препотѣшное событіе, о чемъ моя жена съ дьяконовымъ сыномъ-риторомъ вела сегодня не только разговоръ, но даже и споръ. Это поистинѣ и казусъ, и комедія. Спорили о томъ: *Кто всѣхъ умнѣе?* Риторъ говоритъ, что всѣхъ умнѣе былъ Соломонъ, а моя попадья утверждаетъ, что я, и должно сознаться, что на сей разъ роскошный царь Сіона имѣлъ адвоката гораздо менѣе стойкаго, чѣмъ я. Охъ, сколь же я смѣялся! И скажите, сдѣлайте ваше одолженіе, что на свѣтѣ бываетъ! Я все это слышалъ изъ спальни, послѣ обѣда отдыхая, и проснувшись,

уже не рѣшился прерывать ихъ диспута, а они одинъ другого поражали: оный риторъ, стоя за разумъ Соломона, подкрѣпляетъ свое мнѣніе словами Писанія, что «Соломонъ бѣ мудрѣйшій изъ всѣхъ на земли сущихъ», а моя благовѣрная поразила его особымъ манеромъ: «Нечего, нечего, говоритъ, вамъ мнѣ ткать это ваше *бѣ,* да *рече,* да *пече*; это, ваше *бѣ,* говоритъ, ничего не значитъ, потому что оно еще тогда было писано, когда отецъ Савелій еще не родился». Тутъ въ сей дискурсъ вмѣшался еще слушавшій сей споръ ихъ никитскій священникъ, отецъ Захарія Бенефактовъ, и онъ завершилъ все сіе, подтвердивъ слова жены моей, что «это правда», то-есть «правда» въ разсужденіи того, что меня тогда не было. Итакъ вышли всѣ сіи три критика какъ есть правы. Не правъ остался одинъ я, къ которому всѣ ихъ критическія мнѣнія поступили на антикритику: впервые огорчилъ я мою Наташу, отвергнувъ ея мнѣніе насчетъ того, что я всѣхъ умнѣе, и на вопросъ ея, кто меня умнѣе? отвѣчалъ, что *она.* Наиотчайнѣйшій отпоръ въ семъ получилъ, какимъ только истина одна отвергаться можетъ: «Умные, говоритъ, обо всемъ разсуждаютъ, а я ни о чемъ судить не могу и никогда не разсуждаю. Отчего же это?» На сіе я ее тихо тронулъ за ея маленькій носъ и отвѣчалъ: «Это оттого ты не спѣшишь мѣшать разсужденіемъ, что у тебя вмѣсто строптиваго носа сія смиренная пуговица на этомъ мѣстѣ посажена». Но, однако, она и сіе поняла, что я хотѣлъ выразить этою шуткой, намекая на ея кротость, и попробовала и это въ себѣ опорочить, напомнивъ въ сей цѣли, какъ она однажды руками билась съ почтмейстершей, отнимая у нея служащую дѣвочку, которую та сурово наказывала».

«*10-го августа, утромъ.* Пришла мнѣ какая мысль сегодня въ постели! Рецептъ хочу нѣкій издать для всѣхъ несчастливыхъ паръ какъ всеобщаго званія, такъ и наипаче духовныхъ, поелику намъ домашнее счастіе наипаче необходимѣйшее. Говорятъ иносказательно, что наилучшее, чтобы женщина ходила съ водой противъ мужчины, ходящаго съ

огнемъ, то-есть дабы, если онъ съ пылкостію, то она была бы съ кротостію, но все это по-моему еще не ясно и притомъ слишкомъ много толкованій допускаетъ; а я, глядя на себя съ Натальей Николаевной, рѣшаюсь вывесть, что и наивѣрнѣйшее средство ладить — сіе пусть считаютъ другъ друга умнѣе другъ друга и оба тогда будутъ одинъ другого умнѣй. «Другъ, другъ, друга!» Эко какъ безподобно выражаюсь! Но, впрочемъ, настоящему мечтателю такъ и подобаетъ говорить безъ толку».

«*15-го августа.* Успеніе Пресвятыя Богородицы. Однако, въ то самое время, какъ я восторгался женой моей, я и не замѣтилъ, что тронувшее Наташу слово мое на Преображеньевъ день другихъ тронуло совершенно въ другую сторону, и я посѣялъ противъ себя вовсе нежеланное неудовольствіе въ нѣкоторыхъ лицахъ въ городѣ. Богомольцы мои, конечно не всѣ, а нѣкоторые, конечно, и впереди всѣхъ почтмейстерша Тимонова, обидѣлись, что я унизилъ ихъ намекомъ на Пизонскаго. Но все это вздоръ умовъ пустыхъ и вздорныхъ. Конечно, все это благополучно на самолюбіяхъ ихъ благородій, какъ раны на песьей шкурѣ, такъ и присохнетъ».

«*3-го сентября.* Я сдѣлалъ значительную ошибку: нѣтъ, совсѣмъ этой неосторожности не конецъ. Изъ консисторіи полученъ запросъ: дѣйствительно ли я говорилъ импровизаціей проповѣдь съ указаніемъ на живое лицо? Ахъ, сколь у насъ вездѣ всего живаго бояться! Что жъ, я такъ и отвѣчалъ, что говорилъ именно вотъ какъ и вотъ что. Думаю, не повѣсятъ же меня за это и головы не снимутъ, а между тѣмъ противъ воли смутно, и спокойствіе улетѣло».

«*20-го октября.* Всеконечно, правда, что головы не снимутъ, но ротъ заткнуть могутъ, и сдѣлать сего не преминули. 15-го же сентября я былъ вызванъ для объясненія. Одна спѣшность сія сама по себѣ уже не много добраго предвѣщала, ибо на добро у насъ люди не торопливы, а власти тѣмъ паче, но, однако, я ѣхалъ храбро. Храбрость сія была охлаждена сначала тридцати-шести-дневнымъ сидѣ-

ніемъ на ухѣ безъ рыбы, въ ожиданіи объясненія, а потомъ приказаніемъ, все, что впередъ пожелаю сказать, присылать предварительно цензору Троадію. Но этого никогда не будетъ, и за то я буду нѣмъ яко рыба. Прости, Вседержитель, мою гордыню, но я не могу съ холодностію безстрастною совершать дѣло проповѣди. Я ощущаю порой нѣчто на меня сходящее, когда любимый даръ мой ищетъ дѣйствія; мною тогда овладѣваетъ нѣкое, позволяю себѣ сказать, священное безпокойство; душа трепещетъ и горитъ и слово падаетъ изъ устъ, какъ уголь горящій. Нѣтъ, тогда въ душѣ моей есть свой законъ цензуры!.. А они требуютъ, чтобъ я, вмѣсто живой рѣчи, направляемой отъ души къ душѣ, дѣлалъ риторическія упражненія, и сими отцу Троадію доставлялъ удовольствіе чувствовать, что въ церкви минули дни Могилы, Ростовскаго Димитрія, и другихъ свѣтилъ свѣтлыхъ, а настали иные, когда не умнѣйшій слабѣйшаго въ разумѣ наставляетъ, а обратно, дабы симъ уму и чувству человѣческому поругаться. Я сей дорогой не ходокъ.

«Нѣтъ, я противъ сего бунтливъ, и лучше сомкнитесь вы, мои нельстивыя уста, и смолкни ты, мое безхитростное слово, но я изъ-подъ неволи не проповѣдникъ».

*23-го ноября.* Однако, не могу сказать, чтобы жизнь моя была уже совсѣмъ обижена разнообразіемъ. Напротивъ, все идетъ вперемежку, такъ что даже и интересъ ни на минуту не ослабѣваетъ: то оболгутъ добрые люди, то начальство потреплетъ, то Троадію скорбноглавому въ науку меня назначатъ, то увлекусь ласками попадьи моей, то замечтаюсь до самолюбія, а время въ семъ все идетъ да идетъ, и къ смерти все ближе да ближе. Еще не все! Еще не всѣ послѣдствія моей злополучной преображенской проповѣди совершились. У насъ, въ восьмнадцати верстахъ отъ города, на берегу нашей же рѣки Турицы, въ обширномъ селѣ Плодомасовѣ, живетъ владѣлица сего села, боярыня Мароа Андревна Плодомасова. Сія кочерга столь стараго лѣса, что уже и признаковъ жизни ея издавна никакихъ не замѣчается, а извѣстно только по старымъ памятямъ, что она

женщина весьма немалаго духа. Она и великой императрицѣ Екатеринѣ знаема была, и Александръ императоръ, поговоривъ съ нею, находилъ необременительною для себя эту ея бесѣду; а наиболѣе всего она извѣстна въ народѣ тѣмъ, какъ она въ молодыхъ лѣтахъ своихъ одна съ Пугачевымъ сражалась и нашла, какъ себя отъ этого мерзкаго звѣря защитить. Еще же о чемъ, ежели на ея счетъ вспоминаютъ, то это еще повтореніе о ней различныхъ оригинальныхъ анекдотовъ о ея свиданіяхъ съ посѣщавшими ее губернаторами, чиновниками, а также, въ двѣнадцатомъ году, съ плѣнными французами; но все это относится къ области ея минувшаго вѣка. Нынѣ же про нее забыли, и если когда рѣчь ея особы коснется, то думаютъ, что и она сама уже всѣхъ забыла. Лѣтъ двадцать уже никто изъ стороннихъ людей не можетъ похвастаться, что онъ боярыню Плодомасову видѣлъ.

«Третьяго дня, часу въ двѣнадцатомъ пополудни, я былъ несказанно изумленъ, увидѣвъ подъѣзжающія ко мнѣ большія господскія дрожки тройкой большихъ рыжихъ коней, а на тѣхъ дрожкахъ нарочито небольшого человѣчка, въ картузѣ ворсистой, шляпной матеріи, съ длиннымъ козыремъ и въ коричневой шинели съ премножествомъ одинъ надъ другимъ набранныхъ капишончиковъ и пелеринъ.

«Что бы сіе, думаю, за невѣдомая особа, да и ко мнѣ ли она ѣдетъ, или только ошибкой правитъ на меня путь свой?

«Размышленія эти мои, однакоже, были скоро разрѣшены самою сею загадочною особой, вошедшею въ мою зальцу съ преизящною благопристойностью, которая всегда мнѣ столь нравится. Прежде всего гость попросилъ моего благословенія, а затѣмъ, шаркнувъ своею чрезвычайно маленькою ножкой по полу и отступивъ съ поклономъ два шага назадъ, проговорилъ: «госпожа моя, Марѳа Андревна Плодомасова, приказали мнѣ, отецъ іерей, вамъ кланяться и просить васъ немедленно со мною къ нимъ пожаловать.

«—Въ свою очередь, говорю, позвольте мнѣ, сударь, узнать, чрезъ кого я имѣю честь все это слышать?

«—А я, — отвѣчаетъ оный малютка, — есмь крѣпостной человѣкъ ея превосходительства Марѳы Андревны, Николай Аѳанасьевъ,—и, такимъ образомъ мнѣ отрекомендовавшись, сія крошечная особа при семъ снова напомнила мнѣ, что госпожа его меня ожидаетъ.

«—По какому дѣлу, говорю,—не знаете ли?

«—Ея господской воли, батюшка, я, рабъ ея, знать не могу, отвѣчалъ карла, и симъ скромнымъ отвѣтомъ на мой несообразный вопросъ до того меня сконфузилъ, что я даже началъ предъ нимъ изворачиваться, будто я спрашивалъ его вовсе не въ томъ смыслѣ. Спасибо ему, что онъ не сталъ меня допрашивать: въ какомъ бы то еще въ иномъ смыслѣ таковый вопросъ могъ быть сдѣланъ.

«Пока я въ смежной комнатѣ одѣвался, сей интересный карликъ вступилъ въ собесѣдованіе съ Наташей и совсѣмъ увлекъ и восхитилъ ее своими рѣчами. Дѣйствительно, и въ словахъ, да и въ самомъ говорѣ сего крошечнаго старичка есть нѣчто невыразимо милое и ко всему сему благородство и ласковость. Служанкѣ, которая подала ему стаканъ воды, онъ положилъ на подносъ двугривенный, и когда сія взять эти деньги сомнѣвалась, онъ самъ сконфузился и заговорилъ: «нѣтъ, матушка, не обидьте, это у меня такая привычка»; а когда попадья моя вышла ко мнѣ, чтобы волосы мнѣ напомадить, онъ взялъ на руки случившуюся здѣсь за матерью замарашку-дѣвочку кухаркину и говоритъ:—«Слушай, какъ вонъ уточки на бережку разговариваютъ. Уточка-франтиха говоритъ селезню-козырю: купи коты, купи коты! а селезень отвѣчаетъ: заказалъ, заказалъ!» И дитя разсмѣялось, да и я тоже сему сочиненію словесному птичьяго разговора невольно улыбнулся. Это хотя бы даже господину Лафонтену или Ивану Крылову впору. Дорогу не замѣтилъ, какъ и прошла въ разговорахъ съ этимъ пречудеснымъ карлой: столь много ума, чистоты и здравости нашелъ во всѣхъ его разсужденіяхъ.

«Но теперь самое главное: наступалъ часъ свиданія моего съ одинокою боярыней.

«Не малое для меня удивленіе составляетъ, что, при приближеніи сего свиданія, я, отъ природы моей не робкій, ощущалъ въ себѣ нѣчто въ родѣ небольшой робости. Николай Аѳанасьичъ, проведя меня черезъ рядъ съ поразительною для меня пышностью и крайнею чистотой содержимыхъ покоевъ, ввелъ меня въ круглую комнату съ двумя рядами оконъ, изукрашенныхъ въ полукругахъ цвѣтными стеклами; здѣсь мы нашли старушку немногимъ чѣмъ побольше Николая. При входѣ нашемъ она стояла и вертѣла ручку большого органа, и я уже чуть было не принялъ ее за самую оригиналку-боярыню и чуть ей не раскланялся. Но она, увидѣвъ насъ, неслышно вошедшихъ по устилающимъ покои пушистымъ коврамъ, немедленно при явленіи нашемъ оставила свою музыку и бросилась съ нѣсколько звѣриною, проворною ухваткой въ смежный покой, двери коего завѣшены большою занавѣсью бѣлаго атласа, по которому вышиты цвѣтными шелками разныя китайскія фигурки.

«Эта женщина, скрывшаяся съ такою поспѣшностью за занавѣсь, какъ я послѣ узналъ, родная сестра Николая и тоже карлица, но лишенная пріятности, имѣющейся въ кроткой наружности ея брата.

«Николай тоже скрылся вслѣдъ за сестрою подъ ту же самую занавѣсь, а мнѣ указалъ дожидаться на креслѣ. Тутъ-то вотъ, въ теченіе времени, длившагося за симъ около получаса, я и почувствовалъ нѣкую смягу во рту, столь знакомую мнѣ по бывшимъ ощущеніямъ въ дѣтствѣ во время экзаменовъ. Но, наконецъ, насталъ и сему конецъ. За тою же самою занавѣсью я услышалъ такія слова: «А ну, покажи-ка мнѣ этого умнаго попа, который, я слышала, пріобыкъ правду говорить?» И съ симъ занавѣсь, какъ бы мановеніемъ чародѣйскимъ, на невидимыхъ шнурахъ распахнулась, и я увидалъ предъ собою саму боярыню Плодомасову. Голосъ ея, который я предъ симъ только что слышалъ, уже достаточно противорѣчилъ моему мнѣнію о ея дряхлости, а видъ ея противорѣчилъ сему и еще того

болѣе. Боярыня стояла предо мной въ силѣ, которой, казалось, какъ бы и конца быть не можетъ. Ростомъ она не велика и не дородна особенно, но какъ бы надъ всѣмъ будто царствуетъ. Лицо ея хранитъ выраженіе большой строгости и правды и, судя по чертамъ, надо полагать, нѣкогда было прекрасно. Костюмъ ея довольно странный и нынѣшнему времени несоотвѣтственный: вся голова ея тщательно увита въ нѣсколько разъ большою коричневою шалью, какъ у туркини. Далѣе на ней, какъ бы сказать, какой-то суконный казакинъ свѣтлаго цвѣта; потомъ подъ этимъ казакиномъ юбка аксамитная, ярко-оранжевая и желтые сапожки на высокихъ серебряныхъ каблучкахъ, а въ рукѣ палочка съ аметистовымъ набалдашникомъ. Съ одного боку ея стоялъ Николай Аѳанасьевичъ, съ другого—Марья Аѳанасьевна, а сзади ея—сельскій священникъ, отецъ Алексѣй, по ея назначенію посвященный изъ ея на волю пущенныхъ крѣпостныхъ.

«— Здравствуй! сказала она мнѣ, головы ни мало не наклоняя, и добавила:—Я тебя рада видѣть.

«Я въ отвѣтъ на это ей поклонился и, кажется, даже и съ изрядною неловкостью поклонился.

«— Поди же, благослови меня, сказала она.

«Я подошелъ и благословилъ ее, а она взяла и поцѣловала мою руку, чего я всячески намѣренъ былъ уклониться.

«— Не дергай руки, сказала она, сіе замѣтивъ.—Это не твою руку я цѣлую, а твоего сана. Садись теперь и давай немножко познакомимся.

«Сѣли мы: она, я и отецъ Алексѣй, а карлики возлѣ ея стали.

«— Мнѣ говорилъ отецъ Алексѣй, что ты даромъ проповѣди и хорошимъ умомъ обладаешь. Онъ самъ въ этомъ ничего не смыслитъ, а, вѣрно, отъ людей слышалъ, а я ужъ давно умныхъ людей не видала, и вотъ захотѣла со скуки на тебя посмотрѣть. Ты за это на старуху не сердись.

«Я мѣшался въ отвѣтахъ и, вѣроятно, весьма мало отвѣчалъ тому, что ей объ умѣ моемъ было насказано, но она,

къ счастію, приступила къ разспросамъ, на которые мнѣ пришлось отвѣчать.

«— Тебя, говорятъ, раскольниковъ учить прислали? такъ она начала.

«— Да, говорю, между прочимъ, имѣлась въ виду и такая цѣль въ моей посылкѣ.

«— Полагаю, говоритъ, безполезное это дѣло: дураковъ учить — все равно, что мертвыхъ лѣчить.

«Я не помню, какими точно словами отвѣчалъ, что не совсѣмъ всѣхъ раскольниковъ глупыми понимаю.

«— Что жъ ты, умными ихъ почитая, сколько успѣлъ ихъ на путь наставить?

«— Ни мало, говорю, еще не могу успѣхомъ похвастать, но тому есть причины.

«*Она.* О какихъ ты говоришь причинахъ?

«*Я.* Способъ дѣйствія съ ними несоотвѣтственный, а зло растетъ черезъ ту шатость, которую они видятъ въ церковномъ обществѣ и въ самомъ духовенствѣ.

«*Она.* Ну, зло-то, какое въ нихъ зло? Такъ себѣ, дурачки Божіи, тѣмъ грѣшны, что книгъ начитались.

«*Я.* А православный алтарь все-таки страждетъ на этомъ распаденіи.

«*Она.* А вы бы этому алтарю-то повѣрнѣе служили, а не оборачивали бы его въ лавочку, такъ отъ васъ бы и отпаденій не было. А то вы нынѣ всѣ благодатью, какъ сукномъ, торгуете.

«Я промолчалъ.

«*Она.* Ты женатъ или вдовъ?

«*Я.* Женатъ.

«*Она.* Ну, если Богъ благословитъ дѣтьми, то зови меня кумой: я къ тебѣ пойду крестить. Сама не поѣду: вонъ ее, карлицу свою, пошлю, а если сюда дитя привезешь, такъ и сама подержу.

«Я опять поблагодарилъ и, чтобы разговориться, спрашиваю:

«— Ваше превосходительство, вѣрно, изволите любить дѣтей?

«— Кто же, говоритъ, путный человѣкъ дѣтей не любитъ? Ихъ есть царствіе Божіе.

«— А вы давно однѣ изволите жить?

«*Она.* Одна, отецъ, одна, и давно я одна, проговорила она, вздохнувъ.

«*Я.* Одиночество это часто довольно тягостно.

«*Она.* Что это?

«*Я.* Одиночество.

«*Она.* А ты развѣ не одинокъ?

«*Я.* Какимъ же образомъ я одинокъ, когда у меня есть жена?

«*Она.* Что жъ, развѣ твоя жена все понимаетъ, чѣмъ ты, какъ умный человѣкъ, можешь поскорбѣть и поболѣть?

«*Я.* Я женой моею счастливъ и люблю ее.

«*Она.* Любишь? Но ты ее любишь сердцемъ, а помыслами души все-таки одинокъ стоишь. Не жалѣй меня, что я одинока: всякъ братъ, кто въ семьѣ дальше братняго носа смотритъ, и между своими одинокимъ себя увидитъ. У меня тоже сынъ есть, но ужъ я его третій годъ не видала, знать, ему скучно со мною.

«*Я.* Гдѣ же теперь вашъ сынъ?

«*Она.* Въ Польшѣ мой сынъ полкомъ командуетъ.

«*Я.* Это доблестное дѣло враговъ отчизны смирять.

«*Она.* Не знаю я, сколько въ этомъ доблести, что мы съ этими полячишками ѳ-сю пору возимся, а по-моему вдвое больше въ этомъ меледы.

«*Я.* Справимся-съ, придетъ время.

«*Она.* Никогда оно не придетъ, потому что оно ужъ ушло, а мы все какъ куликъ въ болотѣ стояли: и носъ дологъ, и хвостъ дологъ: носъ вытащимъ — хвостъ завязнетъ, хвостъ вытащимъ—носъ завязнетъ. Перекачиваемся, да дураковъ тѣшимъ: то поляковъ нагайками потчуемъ, то у ихъ хитрихъ-полячекъ ручки цѣлуемъ; это грѣшно и мерзко такъ людей портить.

«— А все же, говорю, войска наши тамъ, по крайней мѣрѣ, удерживаютъ поляковъ, чтобъ они намъ не вредили.

«— Ни отъ чего они ихъ, отвѣчаетъ,—не удерживаютъ; да и намъ тѣ поляки не страшны бы, когда бъ мы сами другъ друга ѣсть обѣщанья не сдѣлали.

«— Это, говорю,—осужденіе вашего превосходительства, кажется, какъ бы нѣсколько излишне сурово.

«*Она.* Ничего нѣтъ въ правдѣ излишне суроваго.

«— Вы же, говорю,—сами, вѣроятно, изволите помнить двѣнадцатый годъ: сколько тогда на Руси единодушія явлено.

«*Она.* Какъ же, какъ мнѣ не помнить: я сама вотъ изъ этого самаго окна глядѣла, какъ наши казачищи моихъ мужиковъ колотили и мои амбары грабили.

«— Что̀ жъ, это, говорю,—можетъ-быть, что такой случай и случился, я казачьей репутаціи ни мало не защищаю, но все же мы себя героически отстояли отъ того, предъ кѣмъ вся Европа ницъ простертою лежала.

«*Она.* Да, удалось, какъ Богъ да морозъ намъ помогли, такъ мы и отстояли.

«Отзывъ сей, сколь пренебрежительный, столь же и несправедливый, подѣйствовалъ на меня такъ пренепріятно, что я, даже не скрывая сей непріятности, возразилъ:

«— Неужто же, государыня моя, въ вашемъ мнѣніи все въ Россіи только случайностями едиными и происходитъ? Дайте, говорю, — разъ случаю и два случаю, а хоть въ третье ужъ киньте нѣчто уму и народнымъ доблестямъ предводителей.

«— Все, отецъ, случай, и во всемъ, что сего государства касается, окромѣ Божіей воли, мнѣ доселѣ видятся только однѣ случайности. Прихлопнули бы твои раскольники Петрушу-воителя, такъ и сидѣли бы мы на своей хваленой землѣ до сихъ поръ не государствомъ великимъ, а въ родѣ какихъ-нибудь толстогубыхъ турецкихъ болгаръ, да у самихъ бы этихъ поляковъ руки цѣловали. За одно намъ хвала — что много насъ: не скоро поѣдимъ другъ друга; вотъ этотъ случай намъ хорошая заручка.

«— Грустно, говорю.

«— А ты не грусти: чужія земли похвалой стоятъ, а наша и хайкой крѣпка будетъ. Да намъ съ тобою и говорить довольно, а то я ужъ устала. Прощай; а если что̀ худое случится, то прибѣги, пожалуйся. Ты не смотри на меня, что я такой грибъ лафертовскій: грибы-то и въ лѣсу живутъ, а и по городамъ про нихъ знаютъ. А что если на тебя нападаютъ, то ты этому радуйся; если бы ты льстивъ, или глупъ былъ, такъ на тебя не нападали, а хвалили бы и другимъ въ примѣръ ставили.

«Проговоривъ эти слова, она оборотилась къ карлицѣ, державшей во все время нашего разговора въ рукахъ сверточекъ, и, передавая оный мнѣ, сказала:

«— Отдай вотъ это отъ меня своей попадьѣ, это здѣсь корольки съ моей шеи; два отрѣза на платье, да холстъ для домашняго обихода, а это тебѣ отъ меня альмантиновый перстень.

«Подарокъ этотъ, предложенный хотя во всей простотѣ, все-таки меня нѣсколько смутилъ, и я, глядя на нити коралловъ и на шелковыя матеріи, и на ярко горящій альмантинъ, сказалъ:

«— Государыня моя! Очень благодарю васъ за столь лестное ваше къ намъ вниманіе; но вещи сіи столь великолѣпны, а жена моя женщина столь простая...

«— Что̀ жъ, перебила меня она, — тѣмъ и лучше, что у тебя простая жена; а гдѣ и на мужѣ, и на женѣ, на обоихъ, штаны надѣты, тамъ не бывать проку. Наилучшее дѣло, если баба въ своей женской исподничкѣ ходитъ, и ты вотъ ей за то на исподницы отъ меня это и отвези. Бабы любятъ подарки, а я дарить люблю. Бери же и поѣзжай съ Богомъ.

«Вотъ этимъ она и весь разговоръ свой со мною окончила и, признаюсь, несказанно меня удивила. По нѣкоей привычкѣ къ логичности, ѣдучи обратно домой и пользуясь молчаливостью того же Николая Аѳанасьевича, взявшагося быть моимъ провожатымъ, я старался себѣ уяснить, что̀ за сенсъ моральный все это, что̀ ею говорено, въ себѣ за-

ключаетъ? И не нашелъ я тутъ никакой логической связи, либо весьма мало ея отыскивалъ, а только все лишь какіе-то обрывки мыслей встрѣчалъ; но такіе обрывки, что невольно ихъ помнишь, да и забыть едва ли сумѣешь. Уповаю, не лгутъ тѣ, кои называли сію бабу, въ свое время, весьма мозговитою. А главное, что̀ меня въ удивленіе приводитъ, такъ это моя предъ нею нескладность, и чему сіе приписать, что я, какъ бы оробѣвъ сначала, примкнулъ языкъ мой къ гортани, и если о чемъ заговаривалъ, то все это выходило весьма скудоумное, а она разговоръ, словно на смѣхъ мнѣ, поворачивала съ прихотливостью, и когда я заботился, какъ бы мнѣ репрезентоваться умнѣе, дабы хотя слишкомъ грубо ее въ себѣ не разочаровать, она совершенно объ этомъ небрегла и словъ своихъ, очевидно, не подготовляла, а и моего ума не испытывала, и вышла межъ тѣмъ таковою, что я ее позабыть не въ состояніи. Въ чемъ эта сила ея заключается? Полагаю, въ томъ образованіи свѣтскомъ, которымъ небрегутъ наши воспитатели духовные, часто впослѣдствіи отнимая чрезъ это лишеніе у насъ самонеобходимѣйшую находчивость и ловкость въ обращеніи со свѣтскими особами.

«Но дню сему было опредѣлено этимъ не окончиться, а суждено, видно, ему было заключиться еще новымъ курьезомъ. Первая радость простодушной Наташи моей по случаю подарковъ не успѣла меня достаточно потѣшить, какъ началъ свои подарки представлять намъ этотъ достопочтеннѣйшій и сразу все мое уваженіе себѣ получившій карло Николай Аѳанасьевичъ. По началу онъ презентовалъ мнѣ бѣлой бумаги съ красными каемочками, вязаныя помочи, а потомъ женѣ косыночку изъ трусиковой нѣжной шерсти, и не успѣлъ я странности сихъ новыхъ, неожиданныхъ подарковъ надивиться, какъ онъ вынулъ изъ кармана шерстяные чулки и вручилъ ихъ подававшей самоваръ работницѣ нашей Аксиньѣ. «Что это за день подарковъ!» невольно воскликнулъ я, не смѣя огорчить дарителя отказомъ. А онъ на это мнѣ отвѣтилъ, что это все его собствен-

ныхъ рукъ издѣліе. «Нужды», говоритъ, «въ работѣ, благодаря благодѣтельницѣ моей, не имѣя и не будучи ничему иному обученъ. я постоянно занимаюсь вязаніемъ, чтобы въ праздности время не проводить и имѣть удовольствіе кому-нибудь нѣчто презентовать отъ трудовъ своихъ». Такъ мнѣ понравилась эта простота, что я схватилъ сего малаго человѣка на грудь мою и поцѣлуями осыпалъ его чуть не до одушенія.

«Да закончу ли я, однако, и симъ мое сегодняшнее описаніе? Уѣхавшимъ служителемъ боярыни Плодомасовой еще всѣ чудеса дня сего не окончились. Запирая на ночь дверь передняго покоя, Аксинья усмотрѣла на платейной вѣшалкѣ нѣчто висящее, какъ бы не намъ принадлежащее, и когда мы съ Наташей на сіе были сею служанкой позваны, то нашли: во-первыхъ, темнокоричневый французскаго граденаплю подрясникъ; во-вторыхъ, богатый гарусный поясъ съ пунцовыми лентами для завязокъ, а, въ-третьихъ, драгоцѣннѣйшаго, зеленаго, неразрѣзного бархату рясу; въ-четвертыхъ же, въ длинномъ кускѣ каленкора полное іерейское облаченіе.

«Просто были всѣ мы поражены сею находкой и не знали, какъ объяснить себѣ ея происхожденіе; но Аксинья первая усмотрѣла на пуговицѣ у воротника рясы вздѣтую карточку, на коей круглыми, такъ сказать, египетскаго штиля буквами, было написано: «помяни, другъ отецъ Савелій, рабу Марѳу въ своихъ молитвахъ». Ахнули мы, но нечего было дѣлать, и стали разлагать по столу новое облаченіе. Тутъ еще бо̀льшее насъ ожидало. Только начала Наташа раскатывать эпитрахиль, смотримъ: изъ него упалъ запечатанный конвертъ на мое имя, а въ томъ конвертѣ пятьсотъ рублей съ самою малою запиской, тою же рукой писанною. Пишетъ: «Дабы ожидающее семью твою при несчастіи излишне тебя не смущало, у алтаря предстоящаго, купи себѣ хибару и возрасти тыкву; тогда спокойнѣе можешь о строеніи дѣла Божія думать».

«Ну, за что мнѣ сіе? Ну, чѣмъ я сего достоинъ? Отчего

же она не такъ, какъ консисторскій секретарь и ключарь, разсуждаетъ, что легче устроить дѣло Божіе, не имѣя гдѣ головы подклонить? Что сіе и взаправду все за случайности!

«Вотъ и ты, попъ Савелій, не бездомовникъ! И у тебя своя хатина будетъ; но—увы!—долженъ добавить, что будетъ она случаемъ».

«*25-е ноября.* Ѣздилъ въ Плодомасовку приносить мою благодарность; но Марѳа Андревна не приняла, для того, сказалъ карликъ Никола, что она не любитъ, чтобъ ее благодарили, но къ сему, однако, прибавилъ: «А вы, батюшка, все-таки отлично сдѣлали, что изволили пріѣхать, а то онѣ неспокойны были бы насчетъ вашей неблагодарности». Можно заключить, что въ особѣ сей цѣлое море пространное всякой своеобычливости. Такъ, напримѣръ, новый другъ мой, карликъ Никола, разсказалъ мнѣ, какъ она его желала женить и о семъ хлопотала. «Для чего же сіе?» спрашиваю. «А для пыжиковъ, говоритъ, батюшка». Это, то-есть, она желала маленькихъ людей развесть!.. Скажите, о чемъ забота! Еще ли эти, коихъ видимъ окрестъ себя, очень велики!»

«*6-е декабря.* Внесъ вчера въ ризницу присланное отъ помѣщицы облаченіе и сегодня служилъ въ ономъ. Прекрасно все на меня построено; а то, облачаясь до сихъ поръ въ ризы покойнаго моего предмѣстника, человѣка роста весьма мелкаго, я, будучи такою дылдой, не велелѣпіемъ церковнымъ украшался, а былъ въ нихъ какъ бы воробей съ общипаннымъ хвостомъ».

«*9-е декабря.* Пречудно! Отецъ протопопъ на меня дуется, а я, какъ винъ за собою противъ него не знаю, то спокоенъ».

«*12-е декабря.* Нѣкоторое объясненіе было между мною и отцомъ благочиннымъ, а изъ-за чего? Изъ-за ризы Плодомасовской, что не такъ она будто въ церковь доставлена, какъ бы слѣдовало, и при семъ добавилъ онъ, что, молъ, «и разные слухи ходятъ, что вы отъ нея и еще нѣчто по-

лучили». Что-жъ, это значитъ имѣетъ такой видъ, что я будто не все для церкви пожертвованное доставилъ, а укралъ нѣчто, что ли?»

«*23-е декабря.* Вотъ слухи-то какіе! Ахъ, Боже мой милосердный! Ахъ, Создатель мой всеправедный! Не говорю чести моей, не говорю лѣтъ ея, но даже сана моего, столь для меня безцѣннаго, и того не пощадили! Гнусники! Но сіе столь недостойно, что не хочу и обижаться».

«*29-е декабря.* Начинаю замѣчать, что и здѣшнее городничество не благоволитъ ко мнѣ, а за что—сего отгадать не въ силахъ. Предположилъ устроить у себя въ домѣ на Святкахъ вечернія собесѣдованія съ раскольниками, но сіе вдругъ стало извѣстно въ губерніи и сочтено тамъ за непозволительное и за сіе усердствованіе дано мнѣ замѣчаніе. Не инако думаю, какъ городничему порученъ за мною особый надзоръ. Наилучше къ сему, однако, пока шуточно относиться; но окропилъ себя святою водой отъ врага и соглядатая».

«*1-е января.* Благослови вѣнецъ благости Твоея, Господи, а попу Савелію новый путь въ губернію. Видно, на сихъ супостатовъ и окропленіе мое не дѣйствуетъ».

«*7-е января.* Госпожа Плодомасова вчера по водоосвященіи прямо во всемъ, что на ней было, окунулась въ прорубь. Удивился! Спросилъ,—всегда ли это бываетъ? Говорятъ: всегда, и это у нея называется «мовничать».

«Экой закалъ предивный! Я бы, кажется, и живъ отъ одной такой бани не остался».

«*20-е января.* Пишу сіи строки, сидя въ смрадницѣ на архіерейскомъ подворьѣ, при семинарскомъ корпусѣ. Къ винѣ моей о собесѣдованіяхъ съ раскольниками присоединена пущая вина: донесено губернатору, что моимъ дьячкомъ Лукьяномъ промѣнена раскольникамъ старопечатная Псалтырь, изъ книгъ Дѣевской молельной, кои находятся у меня на сохраненіи. Дѣло такое и вправду совершилось, но я оное утаилъ, считая то, во-первыхъ, за довольно ничтожное, а во-вторыхъ, зная тому настоящую причину—

бѣдность, которая Лукьяна-дьячка довела до сего. Но сіе пустое дѣло мнѣ прямо вмѣнено въ злодѣйское преступленіе, и я взятъ подъ началъ и посланъ въ семинарскую квасную квасы квасить».

«*4-е февраля.* Вчера, безъ всякой особой съ моей стороны просьбы, получилъ отъ келейника отца Троадія рѣдкостнѣйшую книгу, которую, однако, даже обязанъ бы всегда знать, но которая на Руси издана какъ бы для того, чтобъ ее въ тайности хранить отъ тѣхъ, кто ее знать долженъ. Сіе «Духовный Регламентъ»; читалъ его съ азартною затяжкой. Познаю во всемъ величіе сего законодателя и понимаю тонкую предусмотрительность книгу сію хоронящихъ. Какъ иначе? Писано въ ней, напримѣръ: «Вѣдалъ бы всякъ епископъ мѣру чести своей и не высоко бы о ней мыслилъ. Се же того ради предлагается, дабы укротити оную весьма жестокую епископамъ славу, чтобъ оныхъ подъ руки донележе здрави суть невожено и въ землю бы имъ подручная братія не кланялась. И оные поклонницы самоохотно и нахально стелются на землю, чтобы степень исходатайствовать себѣ недостойный, чтобы такъ неистовство и ворогство свое покрыть». Слѣдовательно, понуждая меня *стлаться* предъ собою, оный понуждающій наипервѣе всего законъ нарушаетъ и становится преступникомъ того сокрываемаго государева регламента. Тоже писано: «Кольми паче не дерзали бъ грабить, подъ виной жестокаго наказанія, ибо слуги архіерейскіе обычно бываютъ лакомыя скотины, и гдѣ видятъ власть своего владыки, тамъ съ великою гордостью и безстыжіемъ, какъ татары, на похищеніе устремляются». Великолѣпно, государь, великолѣпно!»

«*9-е апрѣля.* Возвратился изъ-подъ начала на свое пепелище. Тронутъ былъ очень слезами жены своей, безъ меня здѣсь изстрадавшейся, а еще болѣе растрогался слезами жены дьячка Лукьяна. О себѣ молчавъ, эта женщина благодарила меня, что я пострадалъ за ея мужа. А самого Лукьяна сослали въ пустынь, но всего только, впрочемъ, на одинъ годъ. Срокъ столь непродолжительный, что семья

его не истощаетъ и не ѣвши. Ближе къ Богу будетъ, по консисторскому соображенію».

«*20-е апрѣля.* Пріѣзжалъ ко мнѣ пріятный карликъ и сообщилъ, что Мареа Андревна указала, дабы каждогодно на лѣтняго Николу, на зимняго и на Крещеніе я былъ трижды приглашаемъ служить къ ней въ Плодомасовскую церковь, за что̀ мнѣ черезъ бурмистра будетъ платимо жалованье 150 руб., по 50 руб. за обѣдню. Ну, ужъ эти случайности! Чего добраго, я ихъ даже бояться стану».

«*15-е августа.* Вернулся изъ губерніи пономарь Евтихеичъ и сказывалъ, что между владыкой и губернаторомъ произошла нѣкая распря изъ-за взаимнаго визита».

«*2-е октября.* Слухи о визитной распрѣ подтверждаются. Губернаторъ, бывая въ царскіе дни въ соборѣ, имѣетъ обычай въ сіе время довольно громко разговаривать. Владыка положили прекратить сіе обыкновеніе и послали своего костыльника просить его превосходительство вести себя благопристойнѣе. Губернаторъ принялъ замѣчаніе весьма амбиціонно и чрезъ малое время снова возобновилъ свои громкія съ жандармскимъ полковникомъ собесѣдованія; но на сей разъ владыка уже сами остановились и громко сказали:

«— Ну, я, ваше превосходительство, замолчу и начну, когда вы кончите.

«Очень это со стороны владыки одобряю».

«*8-го ноября.* Получилъ набедренникъ. Не знаю, чему приписать. Развѣ предыдущему визитному случаю и тому, что губернаторъ меня не жалуетъ».

«*6-го января 1837 года.* Новая новость! Владыка на Новый годъ остановилъ губернаторскую дочь, когда она подходила къ благословенію въ рукавичкѣ, и сказали:—«Скинь прежде съ руки собачью шкуру».

«А я до сей поры и не зналъ, что наша губернаторша не нѣмка».

«*1-го февраля.* По изволенію владыки, я представленъ ко скуфьѣ».

*17-го марта.* Богоявленскій протопопъ, идучи ночью со Святыми Дарами отъ больного, взятъ обходными солдатами въ часть, якобы былъ въ нетрезвомъ видѣ. Владыка на другой день въ мантіи его посѣтили. О, ляше правителю, будете вы теперь сію продѣлку свою помнить!»

«*18-го мая.* Владыка переведены въ другую епархію».

«*16-го августа.* Былъ у новаго владыки. Мужчина, казалось, весьма разсудительный и характерный. Разговаривали о состояніи духовенства и приказали составить о семъ записку. Сказали, что я рекомендованъ имъ прежнимъ владыкой съ отличной стороны. Спасибо тебѣ, бѣдный и злопобѣжденный дѣдуня, за доброе слово!»

«*25-го декабря.* Не знаю, что̀ о себѣ думать, къ чему я рожденъ и на что̀ призванъ? Попадья укоряетъ меня, что я и въ сей праздникъ Христова Рождества работаю, а я себѣ лучшаго и удовольствія не нахожу, какъ сію работу. Пишу мою записку о бытѣ духовенства съ радостію такою и съ любовію такою, что и сказать не умѣю. Озаглавилъ ее такъ: «О положеніи православнаго духовенства и о средствахъ, какъ оное возвысить для пользы церкви и государства». Думаю, что такъ будетъ добро. Никогда еще не помню себя столь счастливымъ и торжествующимъ, столь добрымъ и столь силы и разумѣнія преисполненнымъ».

«*1-го апрѣля.* Представилъ записку владыкѣ. Попадья говоритъ, напрасно сего числа представлялъ: по ея легковѣрнымъ примѣтамъ, сіе первое число апрѣля обманчиво. Замѣтимъ».

«*10-го августа.* Произведенъ въ протоіереи».

«*4-го января 1839 года.* Получилъ пакетъ изъ консисторіи, и сердце мое, стѣсненное предчувствіемъ, забилось радостію; но сіе было не о запискѣ моей, а дарованъ мнѣ наперсный крестъ. Благодарю, весьма благодарю; но объ участи записки моей все-таки сѣтую».

«*8-го апрѣля.* Назначенъ благочиннымъ. О запискѣ слуховъ не имѣется. Не знаю, чѣмъ бы сіи трубы вострубить заставить?»

«*10-го апрѣля 1840 года.* Годъ уже протекъ, какъ я благочинствую. О запискѣ слуховъ нѣту. Видно, попадья не все пустякамъ вѣритъ. Сегодня она меня насмѣшила, что я, можетъ-быть, хорошо написалъ, но не такъ подписался».

«*20-го іюня 1841 года.* Воду прошелъ яко сушу, и египетскаго зла избѣжавъ, пою Богу моему дондеже есмь. Что̀ это со мною было? Что̀ такое я вынесъ и какъ я изо всего этого вышелъ на свѣтъ Божій? Любопытенъ я весьма, что дѣлаешь ты, сочинитель басень, балладъ, повѣстей и романовъ, не усматривая въ жизни, тебя окружающей, нитей, достойныхъ вплетенія въ занимательную для чтенія баснь твою? Или тебѣ, исправитель нравовъ человѣческихъ, и вправду нѣтъ никакого дѣла до той дѣйствительной жизни, которою живутъ люди, а нужны только претексты для празднословныхъ рацей? Вѣдомо ли тебѣ, какую жизнь ведетъ русскій попъ, сей «ненужный человѣкъ», котораго, по-твоему, можетъ-быть, напрасно призвали, чтобы привѣтствовать твое рожденіе, и призовутъ еще разъ, такъ же противу твоей воли, чтобы проводить тебя въ могилу? Извѣстно ли тебѣ, что мизерная жизнь сего попа не скудна, но весьма обильна бѣдствіями и приключеніями, или не думаешь ли ты, что его кутейному сердцу недоступны благородныя страсти, и что оно не ощущаетъ страданій? Или же ты съ своей авторской высоты вовсе и не хочешь удостоить меня, попа, своимъ вниманіемъ? Или ты мыслишь, что уже и самое время мое прошло и что я уже не нуженъ странѣ, тебя и меня родившей и воспитавшей... О, слѣпецъ! скажу я тебѣ, если ты мыслишь первое; о, глупецъ! скажу тебѣ, если мыслишь второе, и въ силу сего заключенія стремишься не поднять и оживить меня, а навалить на меня камень и глумиться надъ тѣмъ, что я смраденъ сталъ задохнувшися.

«Но снисхожу отъ философствованія къ тому событію, по коему напало на меня сіе философствованіе.

«Я отрѣшенъ отъ благочинія и чуть не отверженъ сана. А за что? А вотъ за что. Занотую повѣсть сію съ подробностью.

«Въ мартѣ мѣсяцѣ сего года, въ проѣздъ чрезъ нашъ городъ губернатора, предводителемъ дворянства было праздновано торжество, и я, пользуясь симъ случаемъ моего свиданія съ губернаторомъ, обратился къ оному сановнику съ жалобой на обремененіе помѣщиками крестьянъ работами въ воскресные дни и даже въ двунадесятые праздники, и говорилъ, что такимъ образомъ великая бѣдность народная еще болѣе увеличивается, ибо по цѣлымъ селамъ нѣтъ ни у кого ни ржи, ни овса... Но едва лишь только я это слово «овса» выговорилъ, какъ сановникъ мой возгорѣлся на меня гнѣвомъ, прянулъ отъ меня, какъ отъ гадины, и закричалъ: «Да что вы ко мнѣ съ овсомъ пристали! Я вотъ, говоритъ, и то-то, и то-то, да и наконецъ я де не Николай угодникъ, я де овсомъ не торгую!» Этого я не долженъ былъ стерпѣть и отвѣчалъ: «Я вашему превосходительству, какъ человѣку, въ дѣлахъ вѣры не свѣдущему, прежде всего долженъ объяснить, что Николай угодникъ былъ епископъ и ничѣмъ не торговалъ. А затѣмъ вы должны знать, что православному народу нужны священникъ и дьяконъ, ибо до сихъ поръ ихъ однихъ мы еще у нѣмцевъ не заимствовали». Разсмѣявшись злобнымъ смѣхомъ на мои слова, оный правитель подсказалъ мнѣ: «Не бойтесь, отецъ, было бы болото, а черти найдутся». Эта послѣдняя вещь была для меня горше первой. Кто сіи черти, и что твои мерзкія уста болотомъ назвали? подумалъ я въ гнѣвѣ и, не удержавъ себя въ совершенномъ молчаніи, отвѣчалъ сему пану, что «уважая санъ свой, я даже и его на сей разъ чортомъ назвать не хочу». Чѣмъ же сіе для меня кончилось? Нынѣ я *бывый* благочинный, и слава Тебѣ, Творцу моему, что еще не *бывый* попъ и не разстрига. Нѣтъ, сего ты, современный сочинитель повѣстей, должно-быть, не снишешь. Не постараешься, чтобы люди знали, какъ тяжело мнѣ!»

«*3-го сентября.* Осенняя погода нагоняетъ на меня жесточайшую скуку. Привыкъ я весьма постоянно дѣйствовать, но нынѣ безъ дѣла тоскую, и до той глупости, что даже секретно отъ жены часто плачу».

«*27-го января 1842 года.* Купилъ у жида за семь рублей органчикъ и игорныя шашки».

«*18-го мая.* Взялъ въ клѣтку чижа и началъ учить его пѣть подъ органъ».

«*9-го августа.* Зачалъ сочинять повѣсть изъ своего духовнаго быта. Добрыя мнѣ женщины наши представляются въ родѣ матери моей, дочери заштатнаго дьякона, всѣхъ насъ своею работой кормившей; но когда думаю—все это вижу живообразно, а стану описывать—не выходитъ. Нѣтъ, я къ сему неспособенъ!»

«*2-го марта 1845 года.* Три года прошло безъ всякой перемѣны въ жизни. Домикъ свой учреждалъ, да занимался чтеніемъ отцовъ церкви и историковъ. Вывелъ два заключенія, и оба желаю признавать ошибочными. Первое изъ нихъ, что христіанство еще на Руси не проповѣдано; а второе, что событія повторяются, и ихъ можно предсказывать. О первомъ заключеніи говорилъ разъ съ довольно умнымъ коллегомъ своимъ, отцомъ Николаемъ, и былъ удивленъ, какъ онъ это внялъ и согласился. «Да, сказалъ онъ, сіе безспорно, что мы во Христа крестимся, но еще во Христа не облекаемся». Значитъ, не я одинъ сіе вижу и другіе видятъ, но отчего же имъ всѣмъ это смѣшно, а моя утроба симъ до кровей возмущается».

«*Новый 1846 годъ.* Къ намъ начинаютъ ссылать поляковъ. О запискѣ моей еще свѣдѣній нѣтъ. Сильно интересуюсь политичною заворожкой, что̀ начинается на Западѣ, и пренумеровалъ для сего себѣ политическую газету».

«*6-го мая 1847 года.* Прибыли къ намъ еще два новые поляка, ксендзъ Алоизій Конаркевичъ да панъ Игнатій Чемерницкій, сей въ лѣтахъ самыхъ юныхъ, но уже и теперь каналья весьма комплектная. Городничиха наша, яко полька, собрала около себя цѣлый сонмъ соотчичей, и сего послѣдняго нарочито къ себѣ приблизила. Толкуютъ, что сіе будто потому, что сей юнецъ изряденъ видомъ и милъ манерами; но мнѣ мнится, что здѣсь есть еще нѣчто и иное».

«*20-го ноября.* Замѣчаю что-то весьма удивительное и непонятное: поляки у насъ словно господами нашими дѣлаются, все черезъ нихъ въ губерніи можно достигнуть, ибо Чемерницкій оному моему правителю оказывается пріятель».

«*5-го февраля 1849 года.* Чего съ роду не хотѣлъ сдѣлать, то нынѣ сдѣлалъ: написалъ на поляковъ порядочный доносъ, потому что они превзошли всякую мѣру. Мало того, что они уже съ давнихъ поръ гласно издѣваются надъ газетными извѣстіями и представляютъ, что все сіе, что въ газетахъ изложено, якъ бы не такъ, а совершенно обратно, яко бы насъ бьютъ, а не мы бьемъ непріятелей, но отъ слова уже и до дѣла доходятъ. На панихидѣ за воиновъ, на брани убіенныхъ, подняли съ городничихой столь непристойный хохотъ, что отецъ протоіерей послалъ причетника попросить ихъ о спокойномъ стояніи, или о выходѣ, послѣ чего они, улыбаясь, изъ храма вышли. Но когда мы съ причтомъ, окончивъ служеніе, проходили мимо бакалейной лавки братьевъ Лялиныхъ, то одинъ изъ поляковъ вышелъ со стаканомъ вина на крыльцо и подражая голосомъ дьякону, возгласилъ: «много ли это!» Я понялъ, что это посмѣяніе надъ многолѣтіемъ, и такъ и описалъ, и сего не срамлюсь, и за доносчика себя не почитаю, ибо я русскій и деликатность съ таковыми людьми долженъ считать за неумѣстное».

«*1-го апрѣля.* Вечеромъ. Донесеніе мое о поступкѣ поляковъ, какъ видно, хотя поздно, но все-таки возымѣло свое дѣйствіе. Сегодня утромъ пріѣхалъ въ городъ жандармскій начальникъ и пригласилъ меня къ себѣ, долго и въ подробности обо всемъ этомъ разспрашивалъ. Я разсказалъ все, какъ было; а онъ объявилъ мнѣ, что всѣмъ этимъ польскимъ мерзостямъ на Руси скоро будетъ конецъ. Опасаюсь, однако, что все сіе, какъ на зло, сказано мнѣ перваго апрѣля. Начинаю вѣрить, что число сіе, дѣйствительно, обманчиво».

«*7-го сентября.* Первое апрѣля на сей разъ, мнится, не

обмануло: Конаркевича и Чемерницкаго обоихъ перевели на жительство въ губернію».

«*25-го ноября.* Нашъ городничій съ супругой изволили выѣхать: онъ опредѣленъ въ губернію полиціймейстеромъ. Однако, этакъ не очень еще его наказали».

«*5-го декабря.* Прибылъ новый городничій. Называется онъ капитанъ Мрачковскій. Фамилія происходитъ отъ слова мракъ. Ты, Господи, вѣси, когда къ намъ что-нибудь отъ свѣта приходить станетъ!»

«*9-го декабря.* Былъ сегодня у новаго городничаго на фрыштыкѣ. Любезностью большою обладаютъ оба — и онъ, и жена. Подвыпивъ изрядно, пѣлъ намъ: «Ты помнишь ли, товарищъ славы бранной?» А потомъ сынишка его, одѣтый въ русской рубашкѣ, тоже пѣлъ: «Ахъ морозъ, морозецъ, молодецъ ты русскій!» Это что-то новыя новости! Замѣчательность бесѣды сего Мрачковскаго, впрочемъ, наиболѣе всего заключалася для меня въ разсказѣ о нѣкоемъ профессорѣ московскаго университета, получившемъ будто бы отставку за то, что на торжественномъ актѣ сказалъ: «Nunquam de republica desperandum», въ смыслѣ «никогда не должно отчаяваться за государство», но какимъ-то канцелярскимъ мудрецомъ понято, что онъ якобы велѣлъ не отчаяваться въ республикѣ, то за сіе и отставленъ. Даже невѣроятно».

«*12-го декабря.* Прочиталъ въ газетахъ, что будто одному мужику, стоявшему наклонясь надъ водой, вскочила въ ротъ небольшая щука и, застрявъ жабрами, не могла быть вытащена, отчего сей ротозѣй и умеръ. Чему же послѣ сего въ Россіи вѣрить нельзя? Вѣрю и про профессора».

«*20-го декабря.* Нѣтъ, первое-то апрѣля не только обманчиво, но и загадочно. Не хочу даже всего, со мною бывшаго, въ сей пріѣздъ въ губернію вписывать, а скажу одно, что я былъ руганъ и срамленъ всячески, и только что не битъ остался за мое донесеніе. Не вѣдаю, съ чьихъ рѣчей, *самъ-то* нашъ прямо накинулся на меня, что «ты, дескать,

ужъ надоѣлъ своимъ сутяжничествомъ; не на добро тебя и грамотѣ выучили, чтобы ты не въ свое дѣло мѣшался, ябедничалъ, да сутяжничалъ». Сердцевѣдецъ мой! Когда жъ это я ябеды пускалъ и съ кѣмъ сутяжничалъ? Но ничего я отвѣчать не могъ, потому что каждое движеніе губъ моихъ встрѣчало грозное «молчи!» Избыхся всѣхъ лишнихъ, и се возвратясь сижу, какъ крапивой выпоронная насѣдка, и твержу себѣ то слово: «молчи!» и вижу, что слово сіе разумно. Одного не понимаю, отчего мой поступокъ, хотя, можетъ быть, и неосторожный, не инымъ чѣмъ, не неловкостію и не необразованностію моею изъясненъ, а чѣмъ бы вамъ мнилось? злопомненіемъ, что меня тѣ самые поляки не зазвали, да и пьянымъ не напоили, къ чему я, однако, благодаря моего Бога, и неприверженъ. Отъ малаго сего къ великому заключая, припоминая себѣ слова французской дѣвицы Шарлоты Кордай д'Армонъ, какъ она въ предказненномъ письмѣ своемъ писала, что «у новыхъ народовъ мало патріотовъ, кои бы самую простую патріотическую горячность понимали и вѣрили бы возможности чѣмъ-либо ей пожертвовать. Вездѣ эгоизмъ и все имъ объясняется». Оно бы, глядя на однихъ своихъ, пожалуй бы, и я былъ склоненъ заключить, какъ Кордай д'Армонъ, но, имѣя предъ очами сихъ самыхъ поляковъ, у которыхъ всякая дальняя сосна своему бору шумитъ, да раскольниковъ, коихъ всѣ обиды и пригнетенія не отучаютъ любить Русь, поневолѣ долженъ ей противорѣчить и думать, что есть еще у людей любовь къ своему отечеству! Вотъ до чего, долго живучи, домыслишься, что и ляховъ за нѣчто похваливать станешь. Однако, звучно да будетъ мнѣ по вся дни сіе недавно слышанное мною: «молчи». Nunquam de republica desperandum».

«*2-го января 1849 года.* Ходилъ по всѣмъ раскольникамъ и бралъ у воротъ сребряники. Противиться мнѣ не время, однако же минутами горестно сіе чувствовалъ; но дѣлалъ ради того, дабы не перерядить попадью въ дьячихи, ибо послѣ бывшаго со мною и сіе возможно. Былъ

я у городничаго: онъ все со мною бывшее знаетъ и весьма меня на рѣчахъ сожалѣлъ, а что̀ тамъ на сердцѣ, про то Богу извѣстно. Но что̀ поистинѣ достойно смѣха, то это выходка нашей модной чиновницы Бизюкиной: «Правда ли, спросила она меня, — что вы донесли на поляковъ? Какъ это низко. Вы послѣ этого теперь не что иное, какъ ябедникъ и доносчикъ. Сколько вамъ за это заплатили?» А я ей на это отвѣчалъ: «А вы не что иное какъ дура, и къ тому еще неоплатная».

«*1-го января 1850 года.* Годъ прошелъ тихо и смиренно. Схоронилъ мою благотворительницу Марѳу Андревну Плодомасову. Скончалась, переживъ пятерыхъ вѣнценосцевъ: Елизавету, Петра, Екатерину, Павла и Александра, и съ двумя изъ нихъ танцовала на собраніяхъ. Ждалъ непріятностей отъ Бизюкинши, которая со связями и могла потщиться пострекать меня чрезъ губернію, да все обошлось прекрасно: мы, русскіе, сколь ни яровиты порой, но, видно, не злопамятны, можетъ потому, что за насъ и заступиться некому. Въ будущемъ году думаю начать пристройку, ибо вдался въ нѣкоторую слабость: полюбилъ преферансовую игру и началъ со скуки курить, а отъ сего траты. Курилъ спервоначала шутя у городничаго, а нынѣ и дома всею этою сбруей обзавелся. Надо бы и бросить».

«*1850 годъ.* Надо бросить. Нѣтъ, братикъ, не бросишь. Такъ привыкъ курить, что не могу оставить. Рѣшилъ слабость сію не искоренять, а за нее взять къ себѣ какого-нибудь бездомнаго сиротку и воспитать. На попадью, Наталью Николаевну, плоха надежда: дастъ намекъ, что будто есть у нея что-то, но выйдетъ сіе всякій разъ подобно 1-му апрѣля».

«*1-го января 1857 года.* Совсѣмъ не узнаю себя. Семь лѣтъ и строки сюда не вписалъ. Житіе мое странное, зане житіе мое стало сытое и привольное. Перечитывалъ все со дня преподобія своего здѣсь написанное. Достойно замѣчанія, сколь я сталъ иначе ко всему относиться за сіи годы. Самъ не воюю, никого не безпокою и себѣ никакого без-

покойства не вижу. «Укатали сивку крутыя горки», и противъ рожна прати болѣе не охота».

«*20-го февраля.* Благородное дворянство избрало намъ новаго исправника, друга моего, поляка, на коего я доносилъ во дни моей молодой строптивости, пана Чемерницкаго. Онъ женился на русской нашей богатой вдовѣ и учинился нашимъ помѣщикомъ, а нынѣ и исправникомъ. Въ господинѣ Чемерницкомъ непремѣнно буду имѣть врага и, вѣроятно, наидосадливѣйшаго».

«*7-го апрѣля.* Пріѣхалъ новый исправникъ, панъ Чемерницкій, самъ мнѣ и визитъ сдѣлалъ. О старой ссорѣ моей, за «много ли это», и помина не дѣлаетъ».

«*20-го мая.* Впервые читалъ у исправника заграничную русскую газету «Колоколъ», господина Искандера. Рѣчь бойкая и весьма штилистическая, но по непривычкѣ къ смѣлости,—дико».

«*2-го іюня.* Вчера, на день ангела своего, справлялъ пиръ. Думалъ сдѣлать сіе скромненько, по моему достоянію, но Чемерницкій утромъ прислалъ цѣлую корзину вина и сластей, и рому, а вечеромъ ко мнѣ понагрянули и Чемерницкій, и новый городничій Порохонцевъ. Это весьма добрый мужикъ. Онъ, подпивши зѣло-зѣло, сталъ вдругъ меня съ Чемерницкимъ мирить за старое, и я помирился, и просилъ извиненія, и много разъ съ нимъ поцѣловался. Не знаю, къ чему мнѣ было сіе дѣлать, если бы самъ не былъ тоже въ подпитіи? Сегодня утромъ выражалъ о семъ мирителю Порохонцеву большое сожалѣніе, но онъ сказалъ, что по-ихнему, по-полковому, не надо о томъ жалѣть, когда, подпивши, цѣлуешься, ибо это всегда лучше, чѣмъ выпивъ да подерешься. Все это такъ, но все-таки досадно. Служивши сегодня у головы молебенъ, самъ себя поткалъ въ носъ кропиломъ и назидательно сказалъ себѣ: «не пей, попъ, вина».

«*23 августа.* Читалъ *записки* госпожи Дашковой и о Павлѣ Петровичѣ: все заграничнаго изданія. Очень все любопытно. Съ мнѣніями Дашковой во многомъ согласенъ,

кромѣ что о Петрѣ, — о немъ думаю иначе. Однако, спасибо Чемерницкому, что разсѣваетъ этими рѣдкими книгами мою сильную скуку».

«*9-го сентября.* Размолвился съ Чемерницкимъ на свадьбѣ Порохонцева. Дерзкій этотъ полякъ, глумяся, началъ разспрашивать безхитростнаго Захарію, что значитъ, что у насъ при вѣнчаніи поютъ: «живота просише у тебе?» И началъ перекоръ: о какомъ здѣсь животѣ идетъ рѣчь? Я же вмѣшался и сказалъ, что онъ сіе пойметъ, если ему когда-нибудь, подъ висѣлицей, петлю надѣнутъ».

«*20-го декабря.* Я въ крайнемъ недоумѣніи. Дьячиха, по малосмыслію, послала своему сыну по почтѣ рублевую ассигнацію въ простомъ конвертѣ, но конвертъ сей на почтѣ подпечатали и, открывъ преступленіе вдовы, посылку ея конфисковали и подвергли ее штрафу. Что на почтѣ письма подпечатываютъ и читаютъ, — сіе никому не новость; но какъ же это рублевую ассигнацію вдовицы ловятъ, а «Колоколъ», который я беру у исправника, не ловятъ? Что это такое: простота или воровство?»

«*20-го октября.* Вмѣсто скончавшагося дьякона нашего, смиреннаго Прохора, прибылъ изъ губерніи новый дьяконъ, Ахилла Десницынъ. Сей всѣхъ насъ больше, всѣхъ насъ толще, и съ такою физіономіей, и съ такою фигурой, что нельзя, глядя на него, не удивляться силѣ природной произрастительности. Голосъ онъ имѣетъ весьма добрый, нрава весьма веселаго и на первый разъ показался мнѣ будто очень почтителенъ. Но наипаче всего этотъ человѣкъ нравится мнѣ своимъ добродушіемъ. Предъявлялъ мнѣ копію со своего семинарскаго аттестата, въ коей написано: «поведенія хорошаго, но удобоносителенъ». А что сіе обозначаетъ? спросилъ я. «Это совершенные пустяки, объяснилъ онъ,—это больше ни что, какъ будучи въ горячечной болѣзни въ семинарскомъ госпиталѣ, я проносилъ больнымъ богословамъ водку». И сіе, молъ, изрядно».

«*9-го декабря.* Получилъ камилавку и крестъ св. Анны. По чьему бы, мнилось, ходатайству? А все сіе по засви-

дѣтельствованію милостивца моего, пана Чемерницкаго, о моей рачительности по благочинію».

«*7-го марта 1858 года.* Исходъ Израилевъ былъ: поѣхали въ Питеръ Россію направлять на все доброе всѣ друзья мои — и губернаторъ, и его оный правитель, да и нашего Чемерницкаго за собой на изрядное мѣсто потянули. Однако, мнѣ его даже искренно жаль стало, что отъ насъ уѣхалъ. Скука будто еще болѣе».

«*7-го декабря.* По указанію дьячка Сергѣя, замѣтилъ, что нашъ новый дьяконъ Ахилла нѣсколько малодушникъ: онъ многихъ приходящихъ изъ деревень богомольцевъ изъ ложнаго честолюбія благословляетъ потаенно іерейскимъ благословеніемъ, и при семъ еще какъ-то поддерживаетъ лѣвою рукой правый рукавъ рясы. Сказалъ ему, дабы онъ сего отнюдь себѣ впередъ не дозволялъ».

«*18-го іюля 1859 года.* Дьяконъ Ахилла опять замѣченъ въ томъ, что благословляетъ. Дабы уменьшить его подобіе со священникомъ, я отобралъ у него палку, которую онъ даже и права носить по своему чину не имѣетъ. Перенесъ все сіе благопокорно и тѣмъ меня ужасно смягчилъ».

«*15-го августа.* Пировали у городничаго, и на семъ пиру чуть не произошелъ скандалъ, опять по поводу спора объ умѣ, и напомнило мнѣ это старый споръ, которому въ молодости моей когда-то я смѣялся. Дьяконъ Ахилла и лѣкарь сразились въ спорѣ обо мнѣ: лѣкарь отвергалъ мой умъ, а дьяконъ—возносилъ. Тогда на ихъ шумъ и особливо на крикъ лѣкаря, вошли мы, и я съ прочими, и застали, что лѣкарь сидитъ наверху шкафа и отчаянно болтаетъ ногами, производя стукъ, а Ахилла въ спокойнѣйшемъ видѣ сидитъ посреди комнаты въ креслѣ и говоритъ: «Не снимайте его, пожалуйста, это я его яко на водахъ повѣсихъ за его сопротивленіе». Удерживая свой смѣхъ, я достаточно дьякона за его шалость пощунялъ и сказалъ, что сила не доказательство. А онъ за сіе мнѣ поклонился и, отнесясь къ лѣкарю, добавилъ: «А, что такое? Небось, самъ теперь видишь, что онъ министръ юстиціи». Предивно, что

этотъ казаковатый дьяконъ какъ бы провидитъ, что я его смертельно люблю—самъ за что не вѣдая, и онъ тоже меня любитъ, отчета себѣ въ семъ не отдавая».

«*25-го августа.* Какая огромная радость! Ксендзы по Литвѣ учредили общества трезвости: они проповѣдуютъ противъ пьянства, и пьянство престаетъ, и народъ остепеняется, и откупщики-кровопійцы лопаются. Ахъ, какъ бы хотѣлось въ семъ родѣ проповѣдничать!»

«*5-го сентября.* Въ нѣкоторыхъ православныхъ обществахъ заведено то же. Боюсь, не утерплю и скажу слово! Говорилъ бы по мысли Кирилла Бѣлозерскаго, како: «крестьяне ся пропиваютъ, а души гибнутъ». Но какъ проповѣдывать безъ цензуры не смѣю, то хочу интригой учредить у себя общество трезвости. Что̀ дѣлать, за неволю и патеру Игнатію Лойолѣ слѣдовать станешь, когда прямою дорогой ходу нѣтъ».

«*7-го октября.* Составили проектъ нашему обществу, но утвержденія оному еще нѣтъ, а зато пишутъ, что винный откупщикъ жаловался министру на проповѣдниковъ, что они не допускаютъ народъ пить. Ахъ ты, дерзкая каналья! Еще жаловаться смѣетъ, да еще и министру!..»

«*20-го октября.* Бѣшеная вѣсть! Газеты сообщаютъ, что въ іюлѣ сего года откупщики жаловались министру внутреннихъ дѣлъ на православныхъ священниковъ, удерживающихъ народъ отъ пьянства, и господинъ министръ передалъ эту жалобу оберъ-прокурору святѣйшаго синода, который отвѣчалъ, что «св. синодъ благословляетъ священнослужителей ревностно содѣйствовать возникновенію въ нѣкоторыхъ городскихъ и сельскихъ сословіяхъ благой рѣшимости воздержанія отъ употребленія вина». Но откупщики не унялись и снова просили отмѣнить указъ св. синода, ибо, при содѣйствіи его, общества трезвости разведутся повсемѣстно. Тогда министръ финансовъ сообщилъ будто бы оберъ-прокурору святѣйшаго синода, что совершенное запрещеніе горячаго вина, посредствомъ сильно дѣйствующихъ на умы простого народа религіозныхъ угрозъ

и клятвенныхъ обѣщаній, не должно быть допускаемо какъ противное не только общему понятію о пользѣ умѣреннаго употребленія вина, но и тѣмъ постановленіямъ, на основаніи которыхъ правительство отдало питейные сборы въ откупное содержаніе. Затѣмъ, сказываютъ, сдѣлано распоряженіе, чтобы приговоры городскихъ и сельскихъ обществъ о воздержаніи уничтожить и впредь городскихъ собраній и сельскихъ сходокъ для сей цѣли нигдѣ не допускать. Пей, бѣдный народъ, и распивайся!»

«*8-го ноября.* Въ день святыхъ и небесныхъ силъ воеводы и архистратига Михаила присланъ мнѣ пребольшущій носъ, дабы не токмо объ учрежденіи общества трезвости не злоумышлялъ, но и проповѣдывать о семъ не смѣлъ, имѣя въ виду и сіе, и оное, и всякое, и овакое, опричь единой пользы человѣческой... Да не полно ли мнѣ, наконецъ, все это писать? Довольно сплошной срамъ-то свой все записывать!»

«*1-го января 1860 года.* Даже новогодія пропускаю и ничѣмъ оставляю неотмѣченныя. Сколь горячъ былъ нѣкогда ко всему трогающему, столь нынѣ ко всему отношусь равнодушно. Протопопица моя, Наталья Николаевна, говоритъ, что я каковъ былъ, таковъ и сегодня; а гдѣ тому такъ быть! Ей, можетъ, это въ иную минуту и такъ покажется, потому что и сама она уже Сарриныхъ лѣтъ достигла, но а мнѣ-то виднѣе... Тѣло-то здорово и даже толсто, да что въ томъ проку, а душа уже какъ бы какою корой обрастаетъ. Вижу, что нѣчто дивное на Руси зрѣетъ и готовится систематически; народу-то потворствуютъ и мирволятъ въ его дурныхъ склонностяхъ, то внезапно начинаютъ сборы податей и поступаютъ тогда безпощадно, говоря при семъ, что сіе «по царскому указу». Дивно, что всего сего какъ бы никто не замѣчаетъ, къ чему это клонитъ».

«*27-го марта.* Запахло весной, и съ горъ среди дня стремятся потоки. Дьяконъ Ахилла уже справляетъ свои сѣдла и собирается опять скакать степнымъ киргизомъ.

Благо ему, что его это тѣшитъ: я ему въ томъ не помѣха, ибо, дѣйствительно, скука неодоленная, а онъ мужикъ сложенія живого, такъ пусть хоть въ чемъ-нибудь имѣетъ разсѣяніе.»

«*23-го апрѣля.* Ахилла появился со шпорами, которыя нарочно заказалъ себѣ для ѣзды изготовить Пизонскому. Вотъ что худо, что онъ ни за что не можетъ ограничиться на умѣренности, а непремѣнно во всемъ достарается до крайности. Чтобъ остановить его, я моими собственными ногами шпоры эти отъ Ахиллиныхъ сапогъ однимъ ударомъ отломилъ, а его просилъ за эту пошлость и самое наѣздничество на сей годъ прекратить. И такъ, онъ нынѣ у меня подъ эпитимьей. Да что же дѣлать, когда нельзя его не воздерживать. А то онъ и мечами препояшется».

«*2-го сентября.* Дьячокъ Сергѣй сегодня донесъ мнѣ, что дьяконъ ходитъ по ночамъ съ ружьемъ на охоту и застрѣлилъ двухъ зайцевъ. Сергѣю сказалъ, что сему не вѣрю, а дьякону изрядно намылилъ голову».

«*9-го сентября.* Однако, съ этимъ дьякономъ не мало хлопотъ: онъ вчера отстегалъ дьячка Сергѣя ремнемъ, не поручусь, что можетъ быть и изъ мщенія, что тотъ на него донесъ мнѣ объ охотѣ; но говоритъ, что будто бы наказалъ его за какое-то богохульство. Дабы не допустить его до суда тѣхъ архіерейскихъ слугъ, коихъ великій императоръ изволилъ озаглавить «лакомыми скотинами» и «несытыми татарами», я призвалъ къ себѣ и битаго, и небитаго и настоятельно заставилъ ихъ поклониться другъ другу въ ноги и примириться, и при семъ замѣтилъ, что дьяконъ Ахилла исполнилъ сіе со всею весьма доброю искренностью. Въ семъ мужикѣ, помимо его горячности, порой усматривается не мало самаго голубинаго незлобія».

*14-го сентября.* Дьячокъ Сергѣй, придя будто бы за наполомъ для капусты, словно невзначай донесъ мнѣ, что сегодня вечеромъ у фокусника, который проѣздомъ показываетъ въ кирпичныхъ сараяхъ силача и великана, будетъ на представленіи дьяконъ Ахилла. Прегнусный и мстительный характеръ у сего Сергѣя».

«*15-го.* Я пошелъ подсмотрѣть это представленіе и, не будучи самъ видимъ, все достаточно хорошо самъ видѣлъ сквозь щелочку въ заднихъ воротищахъ. Ахилла точно [illegible] но болѣе не зрителемъ, а какъ бы сказать актеромъ. Онъ появился въ большомъ нагольномъ овчинномъ тулупѣ, съ поднятымъ и обвязаннымъ ковровымъ платкомъ воротникомъ, скрывавшимъ его волосы и большую часть лица до самыхъ глазъ, но я, однако, его, разумѣется, немедленно узналъ, а дальше и мудрено было бы кому-нибудь его не узнать, потому что, когда привозный комедіантомъ великанъ и силачъ вышелъ въ голотѣлесномъ трикѣ и, взявъ въ обѣ руки по пяти пудовъ, мало колеблясь, обнесъ сію тяжесть предъ скамьями, гдѣ сидѣла публика, то Ахилла, забывшись, закричалъ своимъ голосомъ: «ни что же тутъ во всемъ этомъ дивнаго!» Затѣмъ, когда великанъ нахально вызывалъ бороться съ нимъ и никого на сіе состязаніе охотниковъ не выискивалось, то Ахилла, утупя лицо въ оный, обвязанный вокругъ его головы, ковровый платокъ, вышелъ и схватился. Я полагалъ, что кости ихъ сокрушатся: то сей гнется, то оный одолѣваетъ, и такъ нѣсколько минутъ; но, наконецъ, Ахилла сего гордаго нѣмца сломалъ и, закрутивъ ему ноги узломъ, на подобіе, какъ подаютъ въ дворянскихъ домахъ жареныхъ пулярокъ, взялъ оные десять пудовъ, да вдобавокъ самого сего силача и началъ со всѣмъ этимъ коробомъ ходить передъ публикой, громко кричавшею ему «браво». Дивнѣе же всего Ахилла сдѣлалъ этому финалъ: «Господа! обратился онъ къ публикѣ,—можетъ, кто вздумаетъ увѣрять, что я кто другой: такъ вы ему, сдѣлайте милость, плюньте, потому что я просто мѣщанинъ Иванъ Морозовъ изъ Сѣвска». Кто-то его, изволите видѣть, будто просилъ объ этомъ объясненіи. Но, однако, я всѣмъ этимъ весьма со скуки позабавился. Ахъ, въ чемъ проходитъ жизнь! Ахъ, въ чемъ уже и прошла она! Идучи назадъ отъ сараевъ, гдѣ было представленіе, я впалъ въ нервность какую-то и прослезился—самъ о чемъ не вѣдая, но чувствуя лишь одно, что есть что-то, чего нельзя мнѣ не оплакивать, когда вздумаю

молодые свои широкіе планы и посравню ихъ съ продолженною мною жизнію моею! Мечталъ нѣкогда обиженный, что съ достоинствомъ провести могу жизнь мою, уже хотя не за дѣланіемъ во внѣшности, а за самоусовершенствованіемъ собственнымъ; но не философъ я, а гражданинъ; мало мнѣ сего: нужусь я, скорблю и страдаю безъ дѣятельности, и отъ сего не всегда осуждаю живыя наклонности моего любезнаго Ахиллеса. Богъ прости и благослови его за его плѣнительную сердца простоту, въ которой все его утѣшаетъ и радуетъ. Сергѣю-дьячку сказалъ, что онъ вретъ про Ахиллу, и запретилъ ему на него кляузничать. Чувствую, что я со всею отеческою слабостію полюбилъ сего добраго человѣка».

«*14-го мая 1861 года.* Въ какія чудесныя дѣла можетъ попадать человѣкъ по легкомыслію своему! Комплектъ шутниковъ у насъ полонъ и безъ дьякона Ахиллы, но сей, однако, никакъ не въ силахъ воздержаться, чтобы еще не пополнять его собою. Городничій у тестя своего, княжескаго управителя Глича, къ шестерику лошадь торговалъ, а тотъ продать не желаетъ, и они поспорили, что городничій добудетъ ту лошадь, и ударили о закладъ. Городничій договорилъ за два рубля праздношатающагося мѣщанина Данилку, по прозвищу «Комиссара», дабы тотъ уворовалъ коня у господина Глича. Прилично, видите, сіе городничему на воровство посылать, хотя бы и ради потѣхи! Но что всего приличнѣе, это было моему Ахиллѣ выхватиться съ своею готовностію пособлять Данилкѣ въ этомъ дѣлѣ. Сергѣй-дьячокъ донесъ мнѣ объ этомъ, и я заблаговременно взялъ Ахиллу къ себѣ и сдалъ его на день подъ надзоръ Натальи Николаевны, съ которою мой дьяконъ и провелъ время, сбивая ей въ карафинѣ сливочное масло, а ночью я положилъ его у себя на полу и, дабы онъ не ушелъ, заперъ до утра всю его обувь и платье. Утромъ же сегодня были мы всѣ пробуждены нѣкоторымъ шумомъ и тревогой: проскакала прямо къ крыльцу городничаго тройкой телѣга и въ ней комиссаръ Данилка между двумя мужи-

ками, кричащій какъ оглашенный. Пошли мы полюбопытствовать, чего онъ такъ кричитъ, и нашли, что Данилку освобождали отъ портъ, начиненныхъ стрекучею крапивой. Оказывается, что господинъ Гличъ его изловилъ, посадилъ въ крапиву, и слуги его привезли сего молодца назадъ къ пославшему его. Я указалъ дьякону, что еслибъ и онъ раздѣлялъ таковую же участь съ Данилкой и пріѣхалъ назадъ, какъ карась, весь обложенный крапивой, пріятно ли бы это ему было? Но онъ отвѣчалъ, что не дался бы,—что хотя бы даже и десять человѣкъ на него напали, онъ бы не дался.—Ну, говорю, а если бы двадцать!—«Ну, а съ двадцатью, говоритъ, ужъ нечего дѣлать — двадцать одолѣютъ», и при семъ разсказалъ, что однажды онъ, еще будучи въ училищѣ, шелъ съ своимъ роднымъ братомъ домой и одновременно съ проходившею партіей солдатъ увидѣли кустъ калины съ немногими вѣтками сихъ никуда почти негодныхъ ягодъ, и устремились овладѣть ими, и Ахилла съ братомъ, и солдаты человѣкъ до сорока, «и произошла, говоритъ, тутъ между нами великая свалка, и братца Финогешу убили». Какъ это наивно и просто! Что разсказъ, то и событіе! Ему: «жизнь—копѣйка».

«*29-го сентября 1861 года.* Пріѣхалъ изъ губерніи сынъ никитской просвирни Марѳы Николаевой Препотенской, Варнава. Окончилъ онъ семинарію первымъ разрядомъ, но въ попы идти отказался, а прибылъ сюда въ гражданское уѣздное училище учителемъ математики. На вопросъ мой, отчего не пожелалъ въ духовное званіе, коротко отвѣчалъ, что не хочетъ быть обманщикомъ. Не стерпѣвъ сего глупаго отвѣта, я сказалъ ему, что онъ глупецъ. Однако, сколь ни ничтожнымъ сего человѣка и всѣ его мнѣнія почитаю, но уязвленъ его отвѣтомъ, какъ ядовитой осой. Гдѣ мой проектъ о положеніи духовенства и средствахъ возвысить оное на достойную его степень, дабы глупецъ всякій надъ нимъ не глумился и врагъ отчизны сему не радовался? Видно, правду попадья моя сказала, что «можетъ быть, написалъ хорошо, да не хорошо подписался». Встрѣ-

чаю съ нѣкоей поры частыя упоминанія о книгѣ, озаглавленной «О сельскомъ духовенствѣ» и, пожелавъ ее выписать, потребовалъ оную, но книгопродавецъ изъ Москвы отвѣчаетъ, что книга «О сельскомъ духовенствѣ» есть книга запрещенная и въ продажѣ ея нѣтъ. Вотъ поистинѣ геніальная чья-то мысль, для насъ, духовныхъ: книга о духовенствѣ запрещена, а сіи, какъ ихъ называютъ, разнаго сорта «нигилисты» ее читаютъ и цитируютъ!.. Ну, что это за наругательство надъ смысломъ, взаправду!»

*22-го ноября.* Ѣздилъ въ губернію на чреду. При двухъ архіерейскихъ служеніяхъ былъ сослужащимъ и въ оба раза стоялъ ниже отца Троадія, а сей Троадій до поступленія въ монашество былъ почитаемъ у насъ за нѣчто самое малое и назывался «скорбноглавымъ»; но зато у него, какъ у цензора и, стало быть, православія блюстителя и нравовъ оберегателя, нашлась и сія любопытная книжка «О сельскомъ духовенствѣ». О, сколько правды! сколько горькой, но благопотребнѣйшей правды! Мню, что отецъ Троадій не всездѣсь написанное съ апробаціей и удовольствіемъ читаетъ».

«*14-го декабря.* За ранней обѣдней вошелъ ко мнѣ въ алтарь просвирнинъ сынъ, учитель Варнавка Препотенскій, и просилъ отслужить панихиду, причемъ подалъ мнѣ и записку, коей я особаго значенія не придалъ, и потому въ оную не заглянулъ, а только мысленно подивился его богомольности; удивленіе мое возросло, когда я, выйдя на панихиду, увидѣлъ здѣсь и нашу модницу Бизюкину и всѣхъ нашихъ ссыльныхъ поляковъ. И загадка сія недолго оставалась загадкой, ибо я тотчасъ же все понялъ, когда Ахилла сталъ по запискѣ читать: Павла, Александра, Кондратья.. Прекрасная вещь со мною сыграна! Это я, выходитъ, отпѣлъ панихиду за декабристовъ, ибо сегодня и день былъ тотъ, когда было возстаніе. Впередъ буду умнѣе, ибо хотя молиться за всѣхъ могу и долженъ, но въ дуракахъ какъ-то у дураковъ дважды быть ужъ не согласенъ. Причту своему не подалъ никакого виду, и они ничего этого не поняли».

«*27-го декабря.* Ахилла въ самомъ дѣлѣ иногда изобличаетъ въ себѣ ужъ такую большую легкомысленность, что для его же собственной пользы прощать его невозможно. Младенца, котораго призрѣлъ и воспиталъ неоднократно мною упомянутый Константинъ Пизонскій, сей бѣдный старикъ просилъ дьякона научить какому-нибудь пышному стихотворному поздравленію для городского головы, а Ахилла, охотно взявшись за это порученіе, натвердилъ мальчишкѣ такое:

Днесь Христосъ родился,
А Иродъ царь взбѣсился:
Я васъ поздравляю,
И вамъ того-жъ желаю.

Нѣтъ; противъ него необходима большая строгость!»

«*11-го января 1863 года.* Лѣкарь, по обязанности службы, вскрывалъ одного скоропостижно умершаго, и учитель Варнава Препотенскій привелъ на вскрытіе нѣсколько учениковъ изъ уѣзднаго училища, дабы показать имъ анатомію, а потомъ въ классѣ говорилъ имъ: «видѣли ли вы тѣло?» отвѣчаютъ: «видѣли».—«А видѣли ли кости?»—«И кости, отвѣчаютъ, видѣли».—«И все ли видѣли?»—«Все видѣли», отвѣчаютъ.—«А души не видали?»—«Нѣтъ, души не видали». — «Ну, такъ гдѣ же она?..» И рѣшилъ имъ, что души нѣтъ. Я конфиденціально обратилъ на сіе вниманіе смотрителя и сказалъ, что не премину сказать объ этомъ при директорской ревизіи.

«Вотъ ты, попъ, уже и потребовался. Воевалъ ты съ расколомъ—не сладилъ; воевалъ съ поляками—не сладилъ, теперь ладь съ этою дуростью, ибо это уже плодъ отъ чреслъ твоихъ возрастаетъ. Сладишь ли?.. Погадай на пальцахъ».

«*2-го февраля.* Боленъ жабой и не выхожу изъ дому, и уроки въ училищѣ вмѣсто меня преподаетъ отецъ Захарія. Сегодня онъ пришелъ разстроенный и сконфуженный, и со слезами отъ преподаванія уроковъ вмѣсто меня отказывается, а причина сему такая. Отецъ Захарія въ прошлый

урокъ въ третьемъ классѣ задалъ о Промыслѣ, и истолковалъ его и сталъ сегодня отбирать заданное; но одинъ ученикъ, бакалейщика Лялина сынъ, способнѣйшій мальчикъ Аліоша, вдругъ отвѣтилъ, что «онъ допускаетъ только Бога Творца, но не признаетъ Бога Промыслителя». Удивленный такимъ отвѣтомъ, отецъ Захарія спросилъ, на чемъ сей юный богословъ основываетъ свое заключеніе, а тотъ отвѣчалъ, что на томъ, что въ природѣ много несправедливаго и жестокаго, и на первое указалъ на смерть, неправосудно будто бы посланную всѣмъ за грѣхопаденіе одного человѣка. Отецъ Захарія, вынужденъ будучи такъ этого дерзкаго отвѣта не бросить, началъ разъяснять ученикамъ, что мы, по несовершенству ума нашего, всему сему весьма плохіе судьи, и подкрѣпилъ свои слова указаніемъ, что если бы мы во грѣхахъ нашихъ вѣчны были, то и грѣхъ былъ бы вѣченъ, все порочное и злое было бы вѣчно, а для бо̀льшаго вразумленія прибавилъ примѣръ, что и кровожадный тигръ, и свирѣпая акула были бы вѣчны, и достаточно симъ всѣхъ убѣдилъ. Но на вторыхъ часахъ, когда отецъ Захарія былъ въ низшемъ классѣ, сей самый мальчикъ вошелъ туда и тамъ при малюткахъ опровергъ отца Захарію, сказавъ: «а что же бы сдѣлали намъ кровожадный тигръ и свирѣпая акула, когда мы были бы безсмертны?» Отецъ Захарія, по доброти своей и ненаходчивости, только и нашелся отвѣтить, что «ну, ужъ о семъ люди умнѣе насъ съ тобой разсуждали». Но это столь старика тронуло, что онъ у меня часъ добрый очень плакалъ; а я, какъ на зло, все еще боленъ и не могу выйти, чтобы погрозить этому дебоширству, въ коемъ подозрѣваю учителя Варнаву».

«*13-го января.* Сколь я, однако, угадчивъ! Аліоша Лялинъ выпоронъ отцомъ за свое вольнодумное разсужденіе и, плача подъ лозами, объявилъ, что сему вопросу и послѣдующему отвѣту научилъ его учитель Препотенскій. Негодую страшно; но лѣкарь нашъ говоритъ, что выйти мнѣ невозможно, ибо у меня будто рецидивная angina, и за-

тѣмъ проторю дорожку ad patres, а сего бы еще не хотѣлось. Писалъ смотрителю записку и получилъ отвѣтъ, что Препотенскому, въ удовлетвореніе моего требованія, сдѣлано замѣчаніе. Да, замѣчаніе! за растленіе умовъ, за соблазнъ *малыхъ сихъ*, за оскорбленіе честнѣйшаго, кроткаго и, можно сказать, примѣрнаго служителя алтаря—замѣчаніе, а за то, что голодный дьячокъ промѣнялъ Псалтырь старую на новую, сажаетъ семью цѣлую на годъ безъ хлѣба... О, роде лукавый!»...

«*18-го января.* Препотенскій, конечно, поощрился только этимъ замѣчаніемъ и моего отца Захарію совсѣмъ заклевалъ. Этотъ глупый, но язвительный негодяй научилъ ожесточеннаго лозами Аліошу Лялина спросить у Захаріи: «правда ли, что пьяный человѣкъ скотъ?» — «Да, скотъ», отвѣчалъ, ничто же сумняся, отецъ Захарія. «А гдѣ же его душа въ это время, ибо вы говорили-де, что у скота души нѣтъ?» Отецъ Захарія смутился и отвѣтилъ только то, что: «а, ну, погоди, я вотъ еще и про это твоему отцу скажу: онъ тебя опять выпоретъ». Для Господа Бога скажите, вѣдь становится серьезнымъ вопросомъ: что̀ дѣлать съ этимъ новымъ супостатомъ просвирнинымъ сыномъ и научителемъ пакостей Варнавою».

«*19-го января.* Старый бакалейщикъ Лялинъ вновь выдралъ сына лозами и за симъ вслѣдъ взялъ его совсѣмъ изъ училища въ лавку, сказавъ, что «здѣсь не училище, а развратъ содомскій». Ненавижу мою несносную горловую жабу, которая мнѣ въ эти минуты стиснула гортань. Вотъ этотъ успѣхъ Варнавинъ есть живой прикладъ, что такое можетъ сдѣлать одна паршивая овца, если ее въ стадо пустятъ! Вотъ также и наука къ тому, что музыканту мало трезвости, а нужно и искусство. Первый прикладъ даетъ Препотенскій, второй—мой отецъ Захарія. Ради просвѣтителя Препотенскаго изъ школы дѣтей берутъ, а отецъ Захарія, при всей чистотѣ души своей, ни на что отвѣтить не можетъ. Вотъ когда уши мои выше лба хотятъ вспрыгнуть. Да, теперь чувствуешь ли, разумный гражданинъ,

что я не совсѣмъ дармоѣдъ и не обманщикъ? Чувствуешь ли? И ежели чувствуешь сіе, то чувствуешь ли и то, что я хилъ, старъ и отупѣлъ отъ всѣхъ оныхъ «молчи»... А что еще тамъ на смѣну мнѣ растетъ? Думай о нихъ, брате мой, думай о нихъ, искренній мой и ближній, ибо уже ехидный врагъ внюду насъ всталъ, и сей врагъ плоть отъ плоти нашея. Нынѣ онъ еще пока глупъ и юродивъ, въ Варнавкиной кожурѣ ходитъ, но старый попъ, опытомъ наученный, говоритъ тебѣ: на стражѣ стой и зорко слѣди, во что онъ перерядится. Гдѣ теперь Чемерницкій, и оный мой правитель? Какого они плана держатся? Сколь они умнѣе стали съ тѣхъ поръ, какъ разговаривали въ храмѣ и пѣли на крыльцѣ «много ли это» вмѣсто многая лѣта? Пойди нынѣ, лови! Сунься... они тебя поймаютъ».

«*21-го января.* Скажешь себѣ слово подъ-руку, да и самъ не обрадуешься. Еще и чернило съ достаточною прочностію не засохло, коимъ писалъ, что «лови ихъ, они сами тебя поймаютъ», какъ вдругъ уже и изловленъ. Сегодня пришелъ ко мнѣ городничій Порохонцевъ и принесъ копію съ служебной бумаги изъ Петербурга. Писано, что до свѣдѣнія высшаго начальства дошло о распространеніи въ нашихъ мѣстахъ газеты «Колоколъ» и прочихъ секретныхъ сочиненій, и что посему вмѣняется въ обязанность распространеніе сихъ вещей строго преслѣдовать; а подписано— нашъ «Чемерницкій!» Каковъ!»

«*27-го.* Я ужасно встревоженъ. Съ гадостнымъ Варнавой Препотенскимъ справы нѣтъ. Разсказывалъ на урокѣ, что Іона пророкъ не могъ быть во чревѣ китовѣ, потому что у огромнаго звѣря кита все-таки весьма узкая глотка. Рѣшительно не могу этого снесть, но пожаловаться на него директору боюсь, дабы еще и оттуда не ограничилось все однимъ легонькимъ ему замѣчаніемъ».

«*2-го февраля.* Почтмейстеръ Тимоѳей Ивановичъ, подпечатывая письма, нашелъ описаніе Тугановскаго дѣла, списаннаго городничимъ для Чемерницкаго, и всѣ сему очень смѣялись. На что же сіе дѣлаютъ, на что же и под-

печатываніе съ болтовствомъ, уничтожающимъ сей операціи всякое значеніе, и корреспондированіе революціонеру отъ полицейскаго чиновника? Городничій намекалъ, что литераторствуетъ для «Колокола». Не достойнѣе ли бы было, если бы ничего этого, ни того, ни другого, совсѣмъ не было?»

«*14-го февраля.* Я все еще боленъ и не выхожу. Читалъ книгу журнала, гдѣ въ одной повѣсти выводится авторомъ попъ. Разсказано, какъ онъ пріѣхалъ въ село и какъ онъ старается быть добрымъ и честнымъ; но встрѣчаетъ къ тому ежечасныя препятствія. Хотя все это описано вскользь и безъ фундаментальнаго знанія нашего положенія, но весьма тому радуюсь, что пришла автору такая мысль. Насталъ часъ, чтобы свѣтскіе люди посмотрѣли на насъ, а мы въ свою очередь въ ихъ соображенія и стремленія вникли. Какой смѣшной нашъ дьяконъ Ахилла! Видя, что я въ болѣзни скучаю, и желая меня разсѣять, привелъ ко мнѣ собачку Пизонскаго, ублюдочку пуделя, коему какъ Ахилла скажетъ: «собачка, засмѣйся!» она какъ бы и вправду, скаля свои зубы, смѣется. Опять сядетъ предъ нею большущій дьяконъ на корточки и повторитъ: «засмѣйся, собачка!» она и снова смѣется. Сколь дѣтски близокъ этотъ Ахилла къ природѣ и сколь все его въ ней занимаетъ!..»

«*17-го февраля.* Препотенскій окончательно вывелъ меня изъ терпѣнія. Я его и человѣкомъ болѣе вовсе считать не могу послѣ того, что онъ сдѣлалъ, и о дѣяніяхъ его написалъ не директору его, а предводителю Туганову. Что отродится отъ сего стараго вольтерьянина—не знаю, но все-таки онъ человѣкъ земли, а не наемщикъ, и пожалѣетъ ее. Варнавка дѣлаетъ, до чего только безуміе довести можетъ. За болѣзнію учителя Гонорскаго, Препотенскому поручено временно читать исторію, а онъ сейчасъ же началъ толковать о безнравственности войны и относилъ сіе все прямо къ событіямъ въ Польшѣ. Но этого мало ему было, и онъ, глумясь надъ цивилизаціей, порицалъ патріотизмъ и начала національныя, а далѣе осмѣивалъ дѣтямъ благопри-

стойность, представляя ее во многихъ отношеніяхъ даже безнравственною, и привелъ такой примѣръ сему, что народы образованные скрываютъ актъ зарожденія человѣка, а не скрываютъ акта убійства, и даже оружія войны на плечахъ носятъ. Чего сему глупцу хочется? По правдѣ, сіе столь глупо, что и подумать стыдно, а я все сержусь. Мелочь сіе; но я вѣдь мелочи однѣ и назираю, ибо я въ малѣ и поставленъ».

«*28-го февраля.* Ого! Волтерьянинъ-то мой не шутитъ. Пріѣхалъ директоръ. Я не вытерпѣлъ, и хотя лѣкарь грозилъ мнѣ опасностью, однако я вышелъ и говорилъ ему о безчинствахъ Препотенскаго; но директоръ всему сему весьма разсмѣялся. Что это у нихъ за смѣшливость! Обратилъ все сіе въ шутку и сказалъ, что отъ этого Москва не загорится, «а впрочемъ, добавилъ онъ съ серьезною миной:—гдѣ вы мнѣ прикажете брать другихъ? они всѣ нынѣ такіе бываютъ». И вышелъ я же въ смѣшныхъ дуракахъ, какъ безполезный хлопотунъ. Видно, такъ этому и быть слѣдуетъ».

«*1-го марта.* И вправду я старый шутъ вѣрно сталъ, что всѣ надо мною потѣшаются. Пришли сегодня ко мнѣ лѣкарь съ городничимъ, и я имъ сказалъ, что здоровье мое отъ вчерашняго выхода нимало не пострадало; но они на сіе разсмѣялись и отвѣчали, что лѣкарь это шутя продержалъ меня въ карантинѣ, ибо ударился объ закладъ съ кѣмъ-то, что стоитъ ему захотѣть, я мѣсяцъ просижу дома. Съ этою цѣлію онъ и запугивалъ меня опасностью, которой не было. Тпфу!»

«*14-го мая.* Препотенскій, однакоже, столь осмѣлѣлъ, что и въ моемъ присутствіи мало измѣняется. Добывъ у кого-то изъ раскольниковъ весьма распространенную книжечку съ видами, гдѣ антихристъ изображенъ архіереемъ въ нынѣшнемъ облаченіи, изъяснялъ, что Христосъ былъ соціалистъ, а мы, попы и архіереи, какъ сему противимся, то мы и есьмы антихристы».

«*20-го іюля.* Отлично поправился, проѣхавшись по бла-

гочинію. Такъ свѣжо и хорошо въ природѣ, на людяхъ и миръ и довольство замѣчается. Въ Благодуховѣ крестьяне на свой счетъ поправили и расписали храмъ, но опять и здѣсь, при такомъ спокойномъ дѣлѣ, явилось нѣчто въ игривомъ духѣ. Изобразили въ притворѣ на стѣнѣ почтенныхъ лѣтъ старца, опочивающаго на ложѣ, а внизу умѣстили подпись: «Въ седьмый день Господь почилъ отъ всѣхъ дѣлъ своихъ». Далъ отцу Якову за сіе замѣчаніе и картину велѣлъ замалевать».

«*11-го мая 1863 года.* Позавчера служилъ у насъ въ соборѣ проѣздомъ владыка. Спрашивалъ я отца Троадія: стерта ли въ Благодуховѣ извѣстная картина? и узналъ, что картина еще существуетъ, чѣмъ было и встревожился, но отецъ Троадій успокоилъ меня, что это ничего, и шутливо сказалъ, что «это въ народномъ духѣ», и еще присовокупилъ къ сему нѣкоторый анекдотъ о душѣ въ башмакахъ, и опять все покончили въ самомъ игривомъ. Эко! сколь имъ все весело».

«*20-го іюня.* Ѣздилъ въ Благодухово и картину велѣлъ состругать при себѣ: въ глупомъ народному духу потворствовать не нахожу нужнымъ. Узнавалъ о художникѣ; оказалось, что это пономарь Павелъ упражнялся. Гармонируя съ духомъ времени въ шутливости, велѣлъ сему художнику сѣсть съ моимъ кучеромъ на облучокъ и, прокативъ его сорокъ верстъ, отпустилъ пѣшечкомъ обратно, чтобы имѣлъ время въ сей проходкѣ поразмыслить о своей живописной фантазіи».

«*12-го августа.* Дьяконъ Ахилла все давно что-то мурлычитъ. Недавно узналъ, что это онъ вступилъ въ польскій хоръ и поетъ у Кальярскаго, басомъ, польскія пѣсни. Далъ ему честное слово, что донесу о семъ владыкѣ; но простилъ, потому что вижу, что это учинено имъ по его всегдашнему легкомыслію».

«*12-го октября.* Былъ у насъ на ревизіи новый губернаторъ. Заходилъ въ соборъ и въ училище, и въ оба раза, и въ училищѣ, и въ церкви, непремѣнно требовалъ у меня

благословенія. Человѣкъ русскій и по обхожденію, и по фамиліи. Очень еще молодъ, учился въ семъ особенномъ училищѣ правовѣдѣнія, и изъ Петербурга въ первый разъ всего выѣхалъ, что сейчасъ на немъ и замѣтно, ибо все его интересуетъ. Съ особымъ любопытствомъ разспрашивалъ о характерѣ столкновеній духовенства съ властію предводительскою; но, къ сожалѣнію, я его любопытства удовлетворить не могъ, ибо у насъ, что уѣздный Плодомасовъ, что губернскій Тугановъ — мужи достойные, столкновеній нѣтъ. Говорилъ, что копошенью поляковъ онъ не намѣренъ придавать никакого значенія, и выразился такъ: что «ихъ просто надо игнорировать», какъ бы ихъ нѣтъ, ибо «все это, добавилъ, должно стушеваться; масса ихъ поглотитъ, и ихъ слѣда не останется». При семъ не безъ краснорѣчія указалъ, что не должно ставить всякое лыко въ строку, «ибо (его слова) все это только раздуваетъ несогласіе и отвлекаетъ правительственныхъ людей отъ ихъ главныхъ цѣлей». При семъ, развивая свою мысль въ духѣ высшей же, вѣроятно, политики, заговорилъ о національномъ фанатизмѣ и нетерпимости».

«*14-го ноября.* Разсказываютъ, что одинъ помѣщикъ ѣздилъ къ губернатору жаловаться на неисполненіе крестьянами обязательствъ; губернаторъ, остановивъ потокъ его жалобъ, сказалъ: «прошу васъ, говоря о народѣ, помнить, что я демократъ».

«*20-го января 1863 года.* Пишу замѣчательную и назидательную *исторію о суррогатѣ.* Сообщаютъ такую курьезную повѣсть о первомъ свиданіи сего новаго губернатора съ нашимъ предводителемъ Тугановымъ. Сей высшей политики исполненный петербургскій шписъ и Вольтеру нашему отрекомендовалъ себя демократомъ, за что Тугановъ на балѣ въ дворянскомъ собраніи въ глаза при всѣхъ его и похвалилъ, добавивъ, что это направленіе самое прекрасное и особенно въ настоящее время идущее кстати, такъ какъ у насъ уѣздахъ въ трехъ изрядный голодъ и для любви къ народу открыта широкая дѣятельность. Гу-

бернаторъ сему весьма возрадовался, что есть голодъ, но осерчалъ, что ему это до сихъ поръ было неизвѣстно, и, подозвавъ своего правителя, сильно ему выговаривалъ, что тотъ его не извѣстилъ о семъ прежде, причемъ, какъ настоящій торопыга, тотчасъ же велѣлъ донести о семъ въ Петербургъ. Но правитель, оправляя передъ нимъ свою вину, молвилъ, что замѣчаемый въ тѣхъ уѣздахъ голодъ еще не есть настоящій голодъ; ибо, хотя тамъ хлѣбъ и пропалъ, но зато изрядно «родилось *просо*». Отсюда и началась исторія. «Что такое *просо?*» воскликнулъ губернаторъ. «Просо—суррогатъ хлѣба», отвѣчалъ ученый правитель, вмѣсто того, чтобы просто сказать, что изъ проса кашу варятъ, что, можетъ статься, удовлетворило бы и нашего правовѣда, ибо онъ долженъ быть мастеръ варить кашу. Но, однако, случилось такъ, что сказано ему «суррогатъ». «Стыдитесь, возразилъ, услыхавъ это слово, вышнеполитикъ; стыдитесь обманывать меня, когда стоитъ войти въ любую фруктовую лавку, чтобы знать на что употребляется просо: въ просѣ виноградъ возятъ!» Тугановъ серьезно промолчалъ, а черезъ день послалъ изъ комиссіи продовольствія губернатору списокъ хлѣбныхъ сѣмянъ въ Россіи. Губернаторъ сконфузился, увидавъ тамъ просо, и, призвавъ своего правителя, сказалъ: «Извините, что я вамъ тогда не повѣрилъ, вы правы, *просо—хлѣбъ*». Всеискреннѣйше тебя, любезный демократъ, сожалѣю! Нѣмецъ хотя и полагалъ, что Николай угодникъ овсомъ промышляетъ, но такъ не виноградничалъ».

«*6-го декабря.* Постоянно приходятъ вѣсти о контрахъ между предводителемъ Тугановымъ и губернаторомъ, который, говорятъ, отыскиваетъ чѣмъ бы ткнуть предводителя за свое «просо» и, наконецъ, кажется они столкнулись. Губернаторъ все за крестьянъ, а тотъ, Вольтеръ, за свои права и вольности. У одного правовѣдство смыслъ покривило, такъ что ему надо бы пожелать позабыть то, что онъ узналъ, а у другого—гонору съ Араратскую гору, и уже никакого ни къ какимъ правамъ почтенія. У нихъ будетъ баталія».

«*20-го декабря.* Пріѣхали на Святки семинаристы, и сынъ отца Захарія, дающій приватные уроки въ добрыхъ домахъ, привезъ совершенно невѣроятную и дикую новость: какой-то отставной солдатъ, притаясь въ уголкѣ Покровской церкви, снялъ вѣнецъ съ чудотворной иконы Іоанна воина и, будучи взятъ съ тѣмъ вѣнцомъ въ домѣ своемъ, объяснилъ, что онъ этого вѣнца не кралъ, а что, жалуясь на необезпеченность отставного русскаго воина, молилъ сего святого воинственника пособить ему въ его бѣдности, а святой, якобы внявъ сему, проговорилъ: «я ихъ за это накажу въ будущемъ вѣкѣ, а тебѣ нà вотъ покуда это», и съ сими участливыми словами снялъ будто бы своею рукой съ головы оный драгоцѣнный вѣнецъ и промолвилъ «возьми». Стоитъ ли, кажется, такое объясненіе какого-либо вниманія? Но просу воздѣйствовавшу разсуждено иначе, и отъ губернатора въ консисторію послѣдовалъ запросъ: могло ли происходить таковое чудо? Разумѣется, что консисторія очутилась въ затрудненіи, ибо нельзя же ей отвѣчать, что чудо невозможно; но къ чему же, однако, это направляется? Предводитель Тугановъ по сему случаю секретно запротестовалъ и написалъ, что видитъ это дѣйствіе неразумнымъ и предпринимаемымъ единственно для колебанія вѣры и для насмѣшки надъ духовенствомъ. Такимъ образомъ сей старый невѣръ становится за духовенство, а обязанный защищать оное правовѣдецъ надъ нимъ издѣвается. Нѣтъ, кажется, и вправду уже грядетъ часъ и нынѣ есть, когда здравый разумъ будетъ не въ состояніи усматривать во всемъ совершающемся хотя малѣйшую странность. Самое заступленіе Туганова, такъ какъ оно не по ревности къ вѣрѣ, а по враждѣ къ губернатору, то хотя бы это, повидимому, и на пользу въ семъ настоящемъ случаѣ, но, однако, радоваться тутъ нечему, ибо чего же можно ожидать хорошаго, если въ государствѣ всѣ одинъ надъ другимъ станутъ издѣваться, забывая, что они одной коронѣ присягали и одной странѣ служатъ? Плохо-съ!»

«*9-го января 1864.* Самъ Тугановъ пріѣзжалъ зачѣмъ-

то въ Плодомасово. Я не утерпѣлъ и поѣхалъ вчера повидаться и узнать насчетъ его борьбы и его протеста за Іоанна воина. Чудно! Сей Тугановъ, нѣкогда чтитель Вольтера, заговорилъ со мною съ грустью и въ наидруженнѣйшемъ тонѣ. Протестъ свой онъ еще не считаетъ достаточно сильнымъ, ибо сказалъ, «что я самъ для себя думаю обо всемъ чудодѣйственномъ, то про мой обиходъ при мнѣ и остается, а не могу же я раздѣлять бездѣльничьихъ желаній—отнимать у народа то, что одно только пока и вселяетъ въ него навыкъ думать, что онъ принадлежитъ немножечко къ высшей сферѣ бытія, чѣмъ его полосатая свинья и корова». Какая сухменность въ этихъ словахъ, но я уже не возражалъ... Что ужъ дѣлать! Боже! помози Ты хотя *сему невѣрію,* а то взаправду не доспѣть бы намъ до табуннаго скитанія, пожиранія корней и конскаго ржанія».

«*20-го мая.* По части шутовства новое преуспѣяніе: по случаю распространившагося по губерніи вредоноснаго повѣтрія на скотъ и людей, въ губернскихъ вѣдомостяхъ напечатано внушеніе духовенству — наставлять прихожанъ, «чтобы крестьяне остерегались шарлатанскаго лѣченія знахарей и бабокъ, нерѣдко разстраивающихъ здоровье навѣки, а обращались бы тотчасъ за пособіемъ къ мѣстнымъ врачамъ и ветеринарамъ». А гдѣ же у насъ сіи «мѣстные врачи и ветеринары?» Припоминаю невольно давно читанную мною старую книжечку англійскаго писателя, остроумнѣйшаго пастора Стерна, подъ заглавіемъ «Жизнь и мнѣнія Тристрама Шанди», и заключаю, что, по окончаніи у насъ сего патентованнаго нигилизма, нынѣ начинается *шандіизмъ*, ибо и то, и другое не есть ученіе, а есть особое умственное состояніе, которое по Стернову опредѣленію «растворяетъ сердце и легкія, и вертитъ очень быстро многосложное колесо жизни». И что меня еще болѣе убѣждаетъ въ томъ, что Русь вступила въ фазу шандіизма, такъ это то, что сей Шанди говорилъ: «если бы мнѣ, какъ Санхѣ-Пансѣ, дали выбирать для себя государство, то я выбралъ бы себѣ не коммерческое и не богатое, а такое, въ кото-

ромъ бы непрестанно какъ въ шутку, такъ и въ серьезъ смѣялись». Ей-право опасаюсь; не насъ ли убогенькихъ разумѣлъ сей штуковатый Панса, ибо все это какъ разъ къ намъ подходящее, и не богаты, и не тороваты, а ужъ куда какъ гораздо смѣшливы!»

«*21-го мая.* Помѣщикъ Плодомасовъ вернулся изъ столицы и привезъ и мнѣ, и отцу Захаріи, и дьякону Ахиллѣ весьма дорогія трости натуральнаго камыша и показывалъ небольшую стеклянную лампочку съ горящею жидкостью, «керосинъ» или горное масло, что добывается изъ нефти».

«*9-го іюня 1865 года.* Я допустилъ въ себѣ постыдную мелочность съ тростями, о которыхъ выше писалъ, и цѣлая прошедшая жизнь моя опрокинулась какъ рѣшето и покрыла меня. Я сижу подъ этимъ рѣшетомъ какъ ощипанный грачъ, котораго злые ребята припасли, чтобы надъ нимъ потѣшаться. Вотъ поистинѣ печальнѣйшая сторона житейскаго измельчанія: я обмелѣлъ, обмелѣлъ всемѣрно и даже до того обмелѣлъ, что безгласной бумагѣ суетности своей довѣрить не въ состояніи, а скажу вкратцѣ: меня смущало, что у меня и у Захаріи одинаковыя трости и почти таковая же подарена Ахиллѣ. Боже! на то ли я былъ нѣкогда годенъ, чтобы за тросточку обижаться или, что еще хуже, ухищряться объ ея отличіи? Нѣтъ, не такой я былъ, не пустяки подобные меня влекли, а занятъ я былъ мыслью высокою, чтобъ усовершивъ себя въ земной юдоли, увидѣть невечерній свѣтъ и возвратить съ процентами врученный мнѣ отъ Господа талантъ».

Этимъ оканчивались старыя Туберозовскія записи, дочитавъ которыя, старикъ взялъ перо и написалъ новую дату, началъ спокойно и строго выводить на чистой страницѣ: «Было внесено мной своевременно, какъ однажды просвирнинъ сынъ, учитель Варнава Препотенскій, надъ трупомъ смущалъ неповинныхъ дѣтей о душѣ человѣческой, говоря, что никакой души нѣтъ, потому что нѣтъ ей въ тѣлѣ видимаго гнѣздилища. Гнѣвъ мой противъ сего пустого, но вреднаго человѣка былъ въ оныя времена ум-

ными людьми признанъ суетнымъ, и самый поводъ къ сему гнѣву найденъ не заслуживающимъ вниманія. Нынѣ новое происшествіе: когда недавно былъ паводокъ, къ городскому берегу принесло откуда-то сверху неизвѣстное мертвое тѣло. Мать Варнавки, бѣдненькая просвирня, сегодня сказала мнѣ въ слезахъ, что лѣкарь съ городничимъ, вѣроятно по злобѣ къ ея сыну, или въ насмѣшку надъ нимъ, подарили ему онаго утопленника, а онъ, Варнавка, по глупости своей, этотъ подарокъ принялъ, сварилъ мертвеца въ корчагахъ, въ которыхъ она доселѣ мирно золила свое бѣлье, и отваръ вылилъ подъ апортовую яблоньку, а кости, собравъ, повезъ въ губернскій городъ, и что чрезъ сіе она опасается, что ея драгоцѣннаго сына возьмутъ какъ убійцу съ костями сего человѣка. Ее я, какъ умѣлъ, успокоилъ, а городничаго просилъ объяснить: «для какихъ надобностей трупъ утонувшаго человѣка, подлежащій послѣ вскрытія церковному погребенію, былъ отданъ ими учителю Варнавкѣ?» И получилъ въ отвѣтъ, что это сдѣлано ими «въ интересахъ просвѣщенія», то-есть для образованія себя, Варнавки, надъ скелетомъ въ естественныхъ наукахъ. Пресмѣшно, какое раченіе о наукѣ со стороны людей, столь отъ нея далекихъ какъ городничій Порохонцевъ, проведшій полжизни въ кавалерійской конюшнѣ, гдѣ учатся конямъ хвостъ подвязывать, или лѣкарь-лгунъ, принадлежащій къ той наукѣ, члены которой учеными почитаются только отъ круглыхъ невѣждъ, чему и служитъ доказательствомъ его грубѣйшая нелѣпица, якобы онъ, выпивъ по ошибкѣ у Плодомасова, вмѣсто водки, рюмку освѣтительнаго керосина, имѣлъ-де цѣлую недѣлю животъ свой свѣтящимся. Но какъ бы тамъ ни было, а сваренный Варнавкой утопленникъ превратился въ скелетъ. Кости Варнавка отвезъ въ губернію къ фельдшеру въ богоугодное заведеніе. Сей искусникъ въ анатоміи позацѣплялъ всѣ эти косточки одну за другую и составилъ скелетъ, который привезенъ сюда въ городъ и нынѣ находится у Препотенскаго, укрѣпившаго его на окнѣ своемъ, что выходитъ какъ разъ противъ ал-

таря Никитской церкви. Тамъ онъ и стоитъ, служа постояннымъ предметомъ сбора уличной толпы и ссоры, и нестроеній домашнихъ у Варнавки съ его простоватою матерью. Мертвецъ сей началъ мстить за себя. Еженощно началъ онъ сниться несчастливой матери сего ученаго и смущаетъ покой старухи, неотступно требуя у нея себѣ погребенія. Бѣдная и вполнѣ несчастливая женщина эта молилась, плакала и, на колѣняхъ стоя, просила сына о дарованіи ей сего скелета для погребенія и натурально встрѣтила въ семъ наирѣшительнѣйшій отпоръ. Тогда она рѣшилась на мѣру нѣкоего отчаянія и, въ отсутствіе сына, собрала кости въ небольшой деревянный ковчежецъ и снесла оныя въ садъ и своими старческими руками закопала эти кости подъ тою же апортовою яблонью, подъ которую вылито Варнавкой разваренное тѣло несчастливца. Но все это вышло неудачно, ибо ученый сынокъ обратно ихъ оттуда ископалъ, и началась съ сими костями новая исторія, еще по сіе время не оконченная. Просто смѣху и сраму достойно, что̀ изъ сего послѣдовало! Похищали они эти кости другъ у дружки до тѣхъ поръ, пока мой дьяконъ Ахилла, которому до всего дѣло, взялся сіе прекратить и такъ немѣшкотно приступилъ къ исполненію этой своей рѣшимости, что я не имѣлъ никакой возможности его удержать и обрезонить, и вотъ точно какое-то предощущеніе меня смущаетъ, какъ бы изъ этого пустяка не вышло какой нибудь вредной глупости для людей путныхъ. А кромѣ того, я ужасно разстроился разговорами съ городничимъ и съ лѣкаремъ, укорявшими меня за мою *ревнивую* (по ихъ словамъ) *нетерпимость къ невѣрію*, тогда какъ, думается имъ, вѣры уже никто не содержитъ, не исключая-де и тѣхъ, кои офиціально за нее заступаются. Вѣрю! По вѣрѣ моей и сему вѣрю и даже не сомнѣваюсь, но удивляюсь, откуда это взялась у насъ такая ожесточенная вражда и ненависть къ вѣрѣ? Происходитъ ли сіе отъ стремленій къ свободѣ; но кому же вѣра помѣхой въ дѣлахъ всяческихъ преуспѣяній къ исканію свободы? Отчего настоящіе мыслители такъ не думали?»

Отецъ Савелій глубоко вздохнулъ, положилъ перо, еще взглянулъ на свой дневникъ и словно еще разъ общимъ генеральнымъ взглядомъ окинулъ всѣхъ, кого въ жизнь свою вписалъ онъ въ это не безстрастное поминанье, закрылъ и замкнулъ свою демикатоновую книгу въ ея старое мѣсто. Затѣмъ онъ подошелъ къ окну, приподнялъ спущенную коленкоровую штору и, поглядѣвъ за рѣку, выпрямился во весь свой ростъ и благодарственно перекрестился. Небо было закрыто черными тучами и рѣдкія капли дождя уже шлепали въ густую пыль; это былъ дождь, прошеный и моленый Туберозовымъ, прошедшимъ днемъ, на мірскомъ молебнѣ, и въ теперешнемъ его появленіи старикъ видѣлъ какъ бы знаменіе, что его молитва не бездѣйственна. Старый Туберозовъ шепталъ слова восторженныхъ хваленій и не замѣтилъ, какъ по лицу его тихо бѣжали слезы, и дождь все частилъ капля за каплей и, наконецъ, засѣялъ какъ сквозь частое сито, освѣжая влажною прохладой слегка воспаленную голову протопопа, который такъ и уснулъ, какъ сидѣлъ у окна, склонясь головой на свои бѣлыя руки.

Между тѣмъ безгромный, тихій дождь пролилъ, воздухъ сталъ чистъ и свѣжъ, небо очистилось, и на востокѣ сѣдой сумракъ начинаетъ серебриться, приготовляя мѣсто зарѣ дня иже во святыхъ отца нашего Меѳодія Песношскаго, дня, которому, какъ мы можемъ вспомнить, дьяконъ Ахилла придавалъ такое особенное и, можно сказать, великое значеніе, что даже велѣлъ кроткой протопопицѣ записать у себя этотъ день на всегдашнюю память.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Разсвѣтъ быстро яснѣлъ, и пока солнце умывалось въ туманѣ за дымящимся боромъ, золотыя стрѣлы его лучей уже остро вытягивались на горизонтѣ. Легкій туманъ всполохнулся надъ рѣкой и поползъ вверхъ по скалистому берегу; подъ мостомъ онъ клубится и липнетъ около черныхъ и мокрыхъ свай. Изъ-подъ этого тумана синѣетъ бакша и виднѣется бѣлая полоса шоссе. На всемъ еще лежатъ тѣни

полусвѣта, и нигдѣ, ни внутри домовъ, ни на площадяхъ и улицахъ, не замѣтно никакихъ признаковъ пробужденія.

Но вотъ на самомъ верху крутой, нагорной стороны Стараго Города, надъ узкою крестовою тропой, что ведетъ по уступамъ кременистаго обрыва къ рѣкѣ, тонко и прозрачно очерчиваются контуры весьма странной группы. При слабомъ освѣщеніи, при которомъ появляется эта группа, въ ней есть что-то фантастическое. Посрединѣ ея стоитъ человѣкъ, покрытый съ плечъ до земли ниспадающимъ длиннымъ хитономъ, слегка схваченнымъ въ опоясьѣ. Фигура эта появилась совершенно незамѣтно, точно выплыла изъ рѣдѣющаго тумана, и стоитъ неподвижно, какъ привидѣніе.

Суевѣрный человѣкъ можетъ подумать, что это старогородскій домовой, пришедшій повздыхать надъ городомъ за часъ до его пробужденія.

Однако, все болѣе и болѣе яснѣющій разсвѣтъ съ каждымъ мгновеніемъ позволяетъ точнѣе видѣть, что это не домовой, и не иной духъ, хотя въ то же время все-таки и не совсѣмъ что-либо обыкновенное. Теперь мы видимъ, что у этой фигуры руки опущены въ карманы. Изъ одного кармана торчитъ очень длинный прутъ, съ надвязанною на его концѣ пращей, или, по крайней мѣрѣ, рыболовною лесой, изъ другого—на четырехъ бичевахъ виситъ что-то похожее на тяжелую палицу. Но вотъ шелохнулъ вѣтерокъ, по сонной рѣкѣ тихо сверкнуло мелкою рябью, за узорною рѣшеткой соборнаго храма встрепенулись листочки березъ, и пустыя складки широкихъ покрововъ нагорной статуи задвигались тихо и открыли тонкія ноги, въ бѣлыхъ ночныхъ панталонахъ. Въ эту же секунду, какъ обнажились эти тонкія ноги, взади изъ-за нихъ неожиданно выставилось четыре руки, принадлежащія двумъ другимъ фигурамъ, скрывавшимся на второмъ планѣ картины. Услужливыя руки эти захватили раздутыя полы, собрали ихъ и снова обернули ими тоненькія, бѣлыя ноги кумира. Теперь стоило только взглянуть поприлежнѣе, и можно было разсмотрѣть двѣ остальныя фигуры. Справа виднѣлась жен-

щина. Она бросалась въ глаза прежде всего непомѣрною выпуклостью своего чрева, на которомъ высоко поднималась узкая туника. Въ рукахъ у этой женщины мѣдный, блестящій щитъ, посрединѣ котораго былъ прикрѣпленъ большой пукъ волосъ, какъ будто только что снятыхъ съ черепа вмѣстѣ съ кожей. Съ другой стороны, именно слѣва высокой фигуры, выдавался широкобородый, приземистый, черный дикарь. Подъ лѣвою рукой у него было что-то похожее на орудія пытки, а въ правой онъ держалъ кровавый мѣшокъ, изъ котораго свѣсились книзу двѣ человѣческія головы, блѣдныя, лишенныя волосъ и, вѣроятно, испустившія послѣдній вздохъ въ пыткѣ. Окрестъ этихъ трехъ лицъ совсѣмъ вѣяло воздухомъ сѣверной саги. Но вотъ свѣтъ, ясное солнце всплыло еще немножко повыше, и таинственной саги какъ не бывало. Это просто три живые, хотя и весьма оригинальные человѣка. Они и еще постояли съ минуту и потомъ двинулись книзу. Спустясь шаговъ десять, они снова остановились, и тотъ, который былъ изъ нихъ выше другихъ и стоялъ впереди, тихонько промолвилъ:

— Смотри, братъ Комарь, а вѣдь ихъ что-то нынче не видно!

— Да, не видать, отвѣчалъ чернобородый Комарь.

— Да ты получше смотри!

Комарь воззрился за рѣку и черезъ секунду опять произнесъ:

— Нечего смотрѣть: никого не видать.

— А въ городѣ, Господи, тишь-то какая!

— Сонное царство, замѣтила тихо фигура, державшая мѣдный щитъ подъ рукой.

— Что ты говоришь, Фелиси? — спросила, не разслышавъ, худая фигура.

— Я докладываю вамъ, Воинъ Васильевичъ, что въ городѣ сонное царство, проговорила въ отвѣтъ женщина.

— Да, сонное царство; но скоро начнутъ просыпаться. Вотъ погляди-ка, Комарь, оттуда ужъ, кажется, кто-то бултыхнулъ?

Фигура кивнула налѣво къ острову, съ котораго легкій парокъ подымался и тихо клубился подъ мостомъ.

— Бултыхнулъ и есть, отвѣтилъ Комарь и началъ слѣдить за двумя тонкими кружками, расширявшимися по тихой водѣ. Въ центрѣ передняго изъ этихъ кружковъ, тихо качаясь, вертѣлось что-то въ родѣ зрѣлой, желтой тыквы.

— Ахъ онъ, каналья, опять прежде насъ бултыхнулъ, не дождавшись начальства.

— А вонъ и оттуда готовъ, молвилъ безстрастно Комарь.

— Можетъ-ли быть! Ты врешь, Комарище.

— А вонъ! поглядите, вонъ, идутъ ужъ надъ самою рѣкой!

Всѣ три путника приложили ладони къ бровямъ, и, поглядѣвъ за рѣку, увидали, что тамъ выступало что-то рослое и дебелое, съ ногъ до головы повитое бѣлымъ саваномъ: это «что-то» напоминало какъ нельзя болѣе статую Командора и, какъ та же статуя, двигалось плавно и медленно, но неуклонно приближаясь къ рѣкѣ.

Въ эти минуты свѣтозарный Фебъ быстро выкатилъ на своей огненной колесницѣ еще выше на небо; совсѣмъ разрѣдѣвшій туманъ словно весь пропитало янтарнымъ тономъ. Картина обагрилась багрецомъ и лазурью, и въ этомъ яркомъ, могучемъ освѣщеніи, весь облитый лучами солнца, въ волнахъ рѣки показался нагой богатырь съ буйною гривой черныхъ волосъ на большой головѣ. Онъ плылъ противъ теченія воды, сидя на достойномъ его могучемъ красномъ конѣ, который мощно разсѣкалъ широкою грудью волну и сердито храпѣлъ темноогненными ноздрями.

Всѣ эти пѣшія лица и плывущій всадникъ стремятся съ разныхъ точекъ къ одному пункту, который, если бы провести отъ нихъ перекрестныя линіи, обозначился непремѣнно на выдающемся посрединѣ рѣки большомъ камнѣ. Въ первой фигурѣ, которая спускается съ горы, мы узнаемъ старгородскаго исправника Воина Васильевича Порохон-

цева, отставного ротмистра, длиннаго худого добряка, разрѣшившаго, въ интересахъ науки, учителю Варнавѣ Препотенскому воспользоваться тѣломъ утопленника. На этомъ сухомъ и длинномъ меценатѣ надѣтъ масаковаго цвѣта шелковый халатъ, а на головѣ остренькая гарусная ермолка; изъ одного его кармана, гдѣ покоится его правая рука, торчитъ тоненькое кнутовище съ навязаннымъ на немъ длиннымъ выводнымъ кнутомъ, а около другого, въ который засунута лѣвая рука городничаго, тихо показываются огромная, до-черна закуренная пенковая трубка и сафьяновый восточный кисетъ съ охотницкимъ ремешкомъ.

У него за плечомъ слѣва тихо шагаетъ его главный кучеръ Комарь, бариновъ другъ и наперсникъ, давно уже утратившій свое крестное имя и отъ всѣхъ называемый Комаремъ. У Комаря вовсе не было съ собой ни пытальныхъ орудій, ни двухъ мертвыхъ головъ, ни мѣшка изъ испачканной кровью холстины, а онъ просто несъ подъ мышкой скамейку, старенькій пунцовый коверчикъ, да пару бычьихъ туго надутыхъ пузырей, связанныхъ одинъ съ другимъ суконною покромкой.

Третій ликъ, за четверть часа столь грозный, съ мѣднымъ щитомъ подъ рукой, теперь предстаетъ намъ въ скромнѣйшей фигурѣ жены Комаря. «Мать Фелисата», такъ звали эту особу на дворнѣ, была обременена довольно тяжелою ношей, но вся эта ноша тоже отнюдь не была пригодна для битвы. Прежде всего она несла свое чрево, служившее пріютомъ будущему юному Комаренку, потомъ подъ рукой у нея былъ ярко заблиставшій на солнцѣ мѣдный тазъ, а въ томъ тазѣ мочалка, въ мочалкѣ—суконная рукавичка, въ суконной рукавичкѣ—кусочекъ камфарнаго мыла; а на головѣ у нея лежала вчетверо сложенная бѣлая простыня.

Картина самаго тихаго свойства.

Подъ бѣлымъ покровомъ шедшая тихо съ Зарѣчья фигура тоже вдругъ потеряла свою грандіозность, а съ нею и всякое подобіе съ Командоромъ. Это шелъ человѣкъ въ

сапогахъ изъ такой точно кожи, въ какую обута нога каждаго смертнаго, носящаго обувь. Шелъ онъ спокойно, покрытый до пять простыней, и когда, подойдя къ рѣкѣ, сбросилъ ее на траву, то въ немъ просто-на-просто представился дебелый и нескладный бѣлобрысый уѣздный лѣкарь Пуговкинъ.

Въ кучерявомъ нагомъ всадникѣ, плывущемъ на гнѣдомъ долгогривомъ конѣ, узнается дьяконъ Ахилла, и даже еле мелькающая въ мелкой ряби струй тыква принимаетъ знакомый человѣческій обликъ: на ней обозначаются два кроткіе голубые глаза и сломанный носъ. Ясно, что это не тыква, а лысая голова Константина Пизонскаго, старческое тѣло котораго скрывается въ свѣжей влагѣ.

Предъ нами стягивается на свое урочное мѣсто компанія старогородскихъ купальщиковъ, которые издавна обыкновенно встрѣчаются здѣсь такимъ образомъ каждое утро погожаго лѣтняго дня и вмѣстѣ наслаждаются свѣжею, утреннею ванной. Посмотримъ на эту сцену.

Первый сбросилъ съ себя свою простыню бѣлый лѣкарь, черезъ минуту онъ снялъ и второй свой покровъ, свою розовую серпянковую сорочку, и вслѣдъ затѣмъ, шибко разбѣжавшись, бросился кувыркомъ въ рѣку и поплылъ къ большому, широкому камню, который возвышался на одинъ футъ надъ водой на самой срединѣ рѣки. Этотъ камень, дѣйствительно, былъ центромъ ихъ сборища.

Лѣкарь въ нѣсколько взмаховъ переплылъ пространство, отдѣлявшее его отъ камня, вскочилъ на гладкую верхнюю площадь камня и, захохотавъ, крикнулъ:

— Я опять прежде всѣхъ въ водѣ! И съ этимъ лѣкарь гаркнулъ Ахиллѣ:—Плыви скорѣй, Фараонъ! Видишь ли ты его чортушку? опять, весело смѣясь, закричалъ онъ исправнику, и снова, не ожидая отвѣта отъ ротмистра, звалъ уже Пизонскаго, поманивая его тихонько какъ уточку:—Гряди, плѣшиве! гряди, плѣшиве!

Межъ тѣмъ къ исправнику, или уѣздному начальнику, который не былъ такъ проворенъ и еще оставался на сушѣ,

въ это время подошла Фелисата: она его распоясала и снявъ съ него халатъ, оставила въ одномъ бѣльѣ и въ пестрой фланелевой фуфайкѣ.

Такъ этотъ воинъ еще приготовлялся къ купанью, тогда какъ лѣкарь, сидя на камнѣ и болтая въ водѣ ногами, вертѣлся во всѣ стороны и весело свисталъ и вдругъ неожиданно такъ громко треснулъ подплывшаго къ нему Ахиллу ладонью по голой спинѣ, что тотъ даже вскрикнулъ не отъ удара, а отъ громогласнаго звука.

— За что это такъ громко дерешься? — воскликнулъ дьяконъ.

— Не хватай меня за тѣло, отвѣчалъ лѣкарь.

— А если у меня такая привычка?

— Отвыкай, отозвался снова, громко свистя, лѣкарь.

— Я и отвыкаю, да забываюсь.

Лѣкарь ничего не отвѣтилъ и продолжалъ свистать, а дьяконъ, покачавъ головой, плюнулъ и, развязавъ шнурочекъ, которымъ былъ подпоясанъ по своему богатырскому тѣлу, снялъ съ этого шнурочка конскую скребницу и щетку и началъ усердно и съ знаніемъ дѣла мыть гриву своего коня, который, гуляя на чембурѣ, выгибалъ наружу ладьистую спину и бурливо пѣнилъ колѣнами воду.

Этотъ пейзажъ и жанръ представляли собою простоту старогородской жизни, какъ увертюра представляетъ музыку оперы: но увертюра еще не окончена.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

На лѣвомъ берегу, гдѣ оставался медлительный градоначальникъ, кучеръ Комарь разостлалъ коверъ, утвердилъ на немъ принесенную скамейку, покачалъ ее вправо и влѣво, и убѣдясь, что она стоитъ крѣпко, возгласилъ:

— Садитесь, Воинъ Васильевичъ; крѣпко!

Порохонцевъ подошелъ поспѣшно къ скамьѣ, еще собственноручно пошаталъ ее и сѣлъ не прежде какъ убѣдясь, что скамья, дѣйствительно, стоитъ крѣпко. Едва только баринъ присѣлъ, Комарь взялъ его сзади подъ плечи, а Ко-

марева жена, поставивъ на коверъ тазъ съ мочалкой и простыней, принялась разоблачать воинственнаго градоначальника. Сначала она сняла съ него ермолку, потомъ вязаную фуфайку, потомъ туфли, носки, затѣмъ осторожно наложила свои ладони на сухія ребры ротмистра и остановилась, скосивъ въ знакъ вниманія на бокъ свою голову.

— Что̀, Фелиси, кажется уже ничего: кажется можно ѣхать?—спросилъ Порохонцевъ.

— Нѣтъ, Воинъ Васильевичъ, еще пульсы бьются, отвѣчала Фелисата.

— Ну, надо подождать, если бьются: а ты, Комарь, бултыхай.

— Да я бултыхну.

— Ты бултыхай, братецъ, бултыхай! Ты оплыви разокъ, да и выйди, и поѣдемъ.

— Не былъ бы я тогда только, Воинъ Васильевичъ, очень скользкій, чтобы вы опять по анамеднешному не упали?

— Нѣтъ, ничего; не упаду.

Комарь сбросилъ съ себя, за спиной своего господина, рубашку и, прыгнувъ съ разбѣгу въ воду, шибко заработалъ руками.

— Ишь какъ лихо плаваетъ твой Комарище!—проговорилъ Порохонцевъ.

— Отлично, отвѣчала Комариха, повидимому нимало не стѣсняясь сама и не стѣсняя никого изъ купальщиковъ своимъ присутствіемъ.

Фелисата, бывшая крѣпостная дѣвушка Порохонцева, давно привыкла быть нянькой своего больного помѣщика, и въ ухаживаніяхъ за нимъ различіе пола для нея не существовало. Межъ тѣмъ Комарь оплылъ камень, на которомъ сидѣли купальщики, и, выскочивъ снова на берегъ, сталъ спиной къ скамьѣ, на которой сидѣлъ градоначальникъ, и изогнулся глаголемъ.

Воинъ Васильевичъ взлѣзъ на него верхомъ, обхватился руками за шею и поѣхалъ на немъ въ воду. Ротмистръ

обыкновенно такимъ образомъ выѣзжалъ на Комарѣ въ воду, потому что не могъ идти босою ногой по мелкой щебенкѣ, но чуть вода начинала доставать Комарю подмышки, Комарь останавливался и докладывалъ, что камней ужъ нѣтъ, и что онъ чувствуетъ подъ ногами песокъ. Тогда Воинъ Васильевичъ слѣзалъ съ его плечъ и ложился на пузыри. Такъ было и нынче: сухой градоначальникъ легъ, Комарь толкнулъ его въ пятки, и они оба поплыли къ камню, и оба на него взобрались. Небольшой камень этотъ, возвышающійся надъ водой ровною и круглою площадью фута въ два въ діаметрѣ, служилъ теперь помѣщеніемъ для пяти человѣкъ, изъ коихъ четверо: Порохонцевъ, Пизонскій, лѣкарь и Ахилла размѣщались по краямъ, усѣвшись другъ къ другу спинами, а Комарь стоялъ между ними въ узенькомъ четыреугольникѣ, образуемомъ ихъ спинами и мылъ голову своего господина, остальные бесѣдовали. Пизонскій, дергая своимъ кривымъ носомъ, разсказывалъ, что, какъ вчера смерклось, гдѣ-то ниже моста въ лозахъ, сѣла пара лебедей и ночью подъ дождичекъ все гоготали.

— Лебеди кричали это къ чьему-то прилету, замѣтилъ Комарь, продолжая усердно намыливать баринову голову.

— Нѣтъ, это просто къ хорошему дню, отвѣтилъ Пизонскій.

— Да и кому къ намъ прилетѣть?—вмѣшался лѣкарь:— живемъ какъ кикиморы, цѣлый вѣкъ ничего новаго.

— А на что намъ новое? отвѣтилъ Пизонскій.—Все у насъ есть; погода прекрасная, сидимъ мы здѣсь на камушкѣ, никто насъ не осуждаетъ; наги мы, и никто насъ не испугаетъ. А пріѣдетъ новый человѣкъ, все это ему покажется не такъ, и пойдетъ онъ разбирать...

— Пойдетъ разбирать, зачѣмъ они голые сидятъ? — фамильярно перебилъ Комарь.

— Спроситъ: зачѣмъ это держатъ такого начальника, котораго баба моетъ?—подсказалъ лѣкарь.

— А вѣдь и правда! — воскликнулъ, тревожно поворотясь на мѣстѣ, ротмистръ.

Комарь подулъ себѣ въ усы, улыбнулся и тихо проговорилъ:

— Скажетъ: зачѣмъ это исправникъ на Комарѣ верхомъ ѣздитъ?

— Молчи, Комарище!

— Полюбопытствуютъ, полюбопытствуютъ и объ этомъ, снова отозвался кроткій Пизонскій, и вслѣдъ затѣмъ вздохнулъ и добавилъ:—А теперь безъ новостей мы вотъ сидимъ, какъ въ раю; сами мы наги, а видимъ красу: видимъ лѣсъ, видимъ горы, видимъ храмы, воды, зелень; вонъ тамъ выводки утиные подъ бережкомъ попискиваютъ; вонъ рыбья мелкота цѣлою стаей играетъ. Сила Господня!

Звукъ двухъ послѣднихъ словъ, которыя громче другихъ произнесъ Пизонскій, сначала раскатился по рѣкѣ, потомъ еще разъ перекинулся на взгорьѣ и, наконецъ, нѣсколько гулче отозвался на Зарѣчьи. Услыхавъ эти переливы, Пизонскій поднялъ надъ своею лысою головой устремленный вверхъ указательный палецъ и сказалъ:

— Трижды сила Господня тебѣ отвѣчаетъ: чего еще лучше, какъ жить въ такой тишинѣ и въ ней все и окончить.

— Правда, истинная правда, отвѣчалъ, вздохнувъ, ротмистръ.—Вотъ мы съ лѣкаремъ маленькую новость сдѣлали: дали Варнавѣ мертваго человѣка сварить, а и то сколько пошло изъ этого вздора! Кстати, дьяконъ: ты, братъ, не забудь, что ты обѣщалъ отобрать у Варнавки эти кости!

— Что мнѣ забывать; я не аристократъ, чтобы на меня орать сто кратъ; я что обѣщалъ, то и сдѣлалъ.

— Какъ сдѣлалъ? Неужто и сдѣлалъ?

— А, разумѣется, сдѣлалъ.

— Дьяконъ, ты это врешь, голубчикъ.

Ахилла промолчалъ.

— Что-жъ ты молчишь? Разскажи же, какъ ты это отобралъ у него эти кости? А? Да что ты, какого чорта нынче солидничаешь?

— А отчего же мнѣ и не солидничать, когда мнѣ талія моя на то позволяетъ? отозвался не безъ важности Ахилла. — Вы съ лѣкаремъ нагадили, а я ваши глупости исправилъ; влѣзъ къ Варнавкѣ въ окошко, сгребъ въ кулечекъ всѣ эти кости...

— И что же дальше, Ахиллушка? Что, милый, дальше, что?

— Да вотъ тутъ безтолковщина вышла.

— Говори же скорѣй, говори!

— А что говорить, когда я самъ не знаю: кто у меня ихъ, эти кости, назадъ укралъ.

Порохонцевъ подпрыгнулъ и вскричалъ:

— Какъ опять украдены?

— То-есть какъ тебѣ сказать украдены? Я не знаю украдены онѣ или нѣтъ, а только я ихъ принесъ домой, и всѣ какъ надо высыпалъ на дворѣ въ телѣжку, чтобы схоронить, а теперь утромъ глянулъ: ихъ опять нѣтъ, и всего вотъ этотъ одинъ хвостикъ остался.

Лѣкарь захохоталъ.

— Чего ты смѣешься? проговорилъ слегка сердившійся на него дьяконъ.

— Хвостикъ у тебя остался?

Ахилла разсердился.

— Разумѣется, хвостикъ, отвѣчалъ онъ:—а то это что же такое?

Дьяконъ отвязалъ отъ скребницы привязанную веревочкой щиколодочную человѣческую косточку и, сунувъ ее лѣкарю, сухо добавилъ:—на, разглядывай, если тебѣ не вѣрится.

— Да развѣ у людей бываютъ хвостики?

— А то развѣ не бываютъ?

— Значитъ и ты съ хвостомъ?

— Я?—переспросилъ Ахилла.

— Да, ты.

Лѣкарь опять расхохотался, а дьяконъ поблѣднѣлъ и сказалъ:

— Послушай, отецъ лѣкарь, ты шути, шути, только пропорцію знай: ты помни, что я духовная особа!

— Ну, да, ладно! Ты скажи хоть, гдѣ у тебя астра́гелюсъ?

Незнакомое слово «астра́гелюсъ» произвело на дьякона необычайное впечатлѣніе: ему почудилось что-то чрезвычайно обидное въ этомъ латинскомъ названіи щиколодки, и онъ, покачавъ на лѣкаря укоризненно головой, глубоко вздохнулъ и медленно произнесъ:

— Ну, никогда я не ожидалъ, чтобы ты былъ такой подлецъ!

— Я подлецъ?

— А, разумѣется, послѣ того, какъ ты смѣлъ меня, духовное лицо, такую глупость спросить,—ты больше ничего какъ подлецъ. А ты послушай: я тебѣ давеча спустилъ, когда ты пошутилъ про хвостикъ, но ужъ этого ты бойся.

— Ужасно!

— Нѣтъ, не ужасно, а ты въ самомъ дѣлѣ бойся, потому что мнѣ ужъ это ваше нынѣшнее вольномысліе надоѣло и я еще вчера отцу Савелью сказалъ, что онъ не умѣетъ, а что если я возьмусь, такъ и всю эту вольнодумную гадость, которая у насъ завелась, сразу выдушу.

— Да развѣ astragelus сказать—это вольнодумство?

— Цыть!—крикнулъ дьяконъ.

— Вотъ, дуракъ, произнесъ, пожавъ плечами, лѣкарь.

— Цыть! — загремѣлъ Ахилла, поднявъ свой кулакъ и засверкавъ грозно глазами.

— Тьфу, оселъ; съ нимъ нельзя говорить!

— А, а, я оселъ; со мной нельзя говорить! Ну, братъ, такъ я же вамъ не Савелій; пойдемъ въ омутъ?

И съ этими словами дьяконъ, перемахнувъ въ лѣвую руку чумбуръ своего коня, правою обхватилъ лѣкаря поперекъ его тѣла и бросился съ нимъ въ воду. Они погрузились, выплыли и опять погрузились. Хотя по дѣйствіямъ дьякона можно было заключить, что онъ отнюдь не хотѣлъ утопить врача, а только подвергалъ пыткѣ окупаньемъ и,

барахтаясь съ нимъ, держалъ полегоньку къ берегу; но три человѣка, оставшіеся на камнѣ и стоявшая на противоположномъ берегу Фелисата, слыша отчаянные крики лѣкаря, пришли въ такой неописанный ужасъ, что подняли крикъ, который не могъ не произвесть повсемѣстной тревоги.

Такъ дьяконъ Ахилла началъ искорененіе водворившагося въ Старъ-Городѣ пагубнаго вольномыслія, и мы будемъ видѣть, какія великія послѣдствія повлечетъ за собою это энергическое начало.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Крикъ и шумъ, поднятый по этому случаю купальщиками, пробудилъ еле вздремнувшаго у окна протопопа; старикъ испугался, вскочилъ и, взглянувъ за рѣку, рѣшительно не могъ себѣ ничего объяснить, какъ подъ окномъ у него остановилось щегольское тюльбюри, запряженное кровною сѣрою лошадью. Въ тюльбюри сидѣла молодая дама въ черномъ платьѣ: она правила лошадью сама, а возлѣ нея помѣщался рядомъ маленькій казачокъ. Это была молодая вдова помѣщица Александра Ивановна Серболова, нѣкогда ученица Туберозова, которую онъ очень любилъ и о которой всегда отзывался съ самымъ теплымъ сочувствіемъ. Увидавъ протопопа, молодая дама привѣтливо ему поклонилась и дружественно привѣтствовала.

— Александра Ивановна, пріймите дань моего наиглубочайшаго почтенія! отвѣчалъ протопопъ. — Всегдашняя радость моя, когда я васъ вижу. Жена сейчасъ встанетъ, позвольте мнѣ просить васъ ко мнѣ на чашку чая.

Но дама отказалась и сказала, что она пріѣхала съ тѣмъ, чтобы помолиться объ усопшемъ мужѣ и просить Туберозова поспѣшить для нея въ церковь.

— Готовъ къ вашимъ услугамъ.

— Пожалуста; вы начинайте обѣдню, а я заѣду на минутку къ старушкѣ Препотенской, она иначе обидится.

Съ этими словами дама кивнула головой, и легкій экипажецъ ея скрылся. Протопопъ Савелій началъ спѣшно дѣлать

свой всегда тщательно содержимый туалетъ, послалъ дѣвочку велѣть ударить къ заутрени и велѣлъ ей забѣжать за дьякономъ Ахиллой, а самъ сталъ передъ кивотомъ на правило. Черезъ полчаса раздался ударъ соборнаго колокола, а черезъ нѣсколько минутъ позже и дѣвочка возвратилась, но возвратилась съ извѣстіемъ, что дьякона Ахиллу она не только не нашла, но что никому неизвѣстно и гдѣ онъ. Ждать было некогда, и отецъ Туберозовъ, взявъ свою трость съ надписью «жезлъ Аароновъ расцвѣлъ», вышелъ изъ дому и направился къ собору. Не прошло затѣмъ и десяти минутъ, какъ глазамъ протопопицы, Натальи Николаевны, предсталъ дьяконъ Ахилла. Онъ былъ, что называется, весь внѣ себя.

— Маменька, воскликнулъ онъ,—все, что я вчера вамъ обѣщалъ о мертвыхъ костяхъ, вышло вздоръ.

— Ну, я такъ тебѣ и говорила, что это вздоръ, отвѣчала Наталья Николаевна.

— Нѣтъ, позвольте же, надо знать, почему этотъ вздоръ выходитъ? Я вчера, какъ вамъ и обѣщалъ,—я этого сваренаго Варнавкой человѣка останки, какъ слѣдуетъ, выкралъ у него въ окнѣ и снесъ въ кулькѣ къ себѣ на дворъ и высыпалъ въ телѣгу, но днесь поглядѣлъ, а въ телѣгѣ ничего нѣтъ! Я же тому не виноватъ?

— Да кто-жъ тебя винитъ?

— То-то и есть: я даже впалъ въ сомнѣніе, не схоронилъ ли я ихъ ночью, да не засыпалъ ли, но на купаньи меня лѣкарь разсердилъ, и потомъ я прямо съ купанья бросился къ Варнавѣ; окошки закрыты болтами, а я заглянулъ въ щелочку и вижу, что этотъ обвареный опять весь цѣликомъ на крючечкѣ виситъ! Гдѣ отецъ протопопъ? Я все хочу ему разсказать.

Наталья Николаевна послала дьякона вслѣдъ за мужемъ, и шагистый Ахилла догналъ Туберозова на полудорогѣ.

— Чего это ты такъ... и бѣжишь, и пыхтишь, и сопишь, и топочешь? — спросилъ его, услышавъ его шаги, Савелій.

— Это у меня... отецъ Савелій, всегда, когда бѣжу... Вы развѣ не замѣтили?

— Нѣтъ, я этого не замѣчалъ, а ты отчего же объ этомъ лѣкарю не скажешь, онъ можетъ помочь.

— Ну, вотъ лѣкарю! Не напоминайте мнѣ, пожалуста, про него, отецъ Савелій, да и онъ ничего не поможетъ. Мнѣ венгерецъ такого лѣкарства давалъ, что говоритъ, «только выпей, такъ не будешь ни сопѣть, ни дыхать!» однако же я все выпилъ, а меня не взяло. А нашъ лѣкарь... да я, отецъ протопопъ, имъ сегодня и разстроенъ. Я сегодня, отецъ протопопъ, вскипѣлъ на нашего лѣкаря. Вѣдь этакая, отецъ протопопъ, наглость... Дьяконъ пригнулся къ уху отца Савелія и добавилъ вслухъ:—представьте вы себѣ, какая наглость!

— Ничего особеннаго не вижу, отвѣчалъ протопопъ, тихо всходя на ступени собора: — astragelus есть кость во щиколодкѣ, и я не вижу, для чего ты могъ тутъ разсердиться.

Дьяконъ сдѣлалъ шагъ назадъ и въ изумленіи воскликнулъ:—Такъ это щиколодка!

— Да.

Ахилла ударилъ себя ладонью по лбу и еще громче крикнулъ:

— Ахъ, я дуракъ!

— А что ты сдѣлалъ?

— Нѣтъ, вы, сдѣлайте милость, назовите меня, пожалуста, дуракомъ!

— Да скажи, за что назвать?

— Нѣтъ, ужъ вы смѣло называйте, потому что я вѣдь этого лѣкаря чуть не утопилъ.

— Ну, изволь, братецъ, исполняю твою просьбу: воистину ты дуракъ, и я тебѣ предсказываю, что если ты еще отъ подобныхъ своихъ глупыхъ обычаевъ не отстанешь, то ты безъ того не заключишь жизнь, чтобы кого нибудь не угодить на смерть.

— Полноте, отецъ Савелій, я не совсѣмъ безъ понятій.

— Нѣтъ, не «полноте», а это правда. Что это, въ самомъ дѣлѣ, ты духовное лицо, у тебя полголовы сѣдая, а между тѣмъ, куда ты ни оборотишься, всюду у тебя скандалъ: тамъ ты нашумѣлъ, тутъ ты накричалъ, тамъ то повалилъ, здѣсь это опрокинулъ; такъ вездѣ за собой и ведешь безпорядокъ.

— Да что же такое, отецъ Савелій, я валяю и опрокидываю? Вѣдь этакъ круглымъ числомъ можно на человѣка ни вѣсть что наговорить.

— Постоянно, постоянно за тобой по пятамъ идетъ безпорядокъ!

— Не знаю я, отчего это такъ, и все же таки, значитъ, это не по моей винѣ, а по нескладности, потому что у меня такая природа, а въ другую сторону вы это напрасно располагаете. Я скорѣе за порядокъ теперь стою, а не за безпорядокъ, и въ этомъ расчисленіи все это и сдѣлалъ.

И вслѣдъ за симъ Ахилла скороговоркой, но со всѣми деталями разсказалъ, какъ онъ вчера укралъ костякъ у Варнавы Препотенскаго и какъ этотъ костякъ опять пропалъ у него и очутился на старомъ мѣстѣ. Туберозовъ слушалъ Ахиллу, все болѣе и болѣе раскрывая глаза и, невольно сдѣлавъ нѣсколько шаговъ назадъ, воскликнулъ:

— Великій Господи, что это за злополучный человѣкъ!

— Кто это, отецъ Савелій?—съ неменьшимъ удивленіемъ воскликнулъ и Ахилла.

— Ты, искренній мой, ты!

— А по какой причинѣ я злополученъ?

— Кто, какой злой духъ научаетъ тебя все это дѣлать?

— Да что́ такое дѣлать?

— Лазить, похищать, ссориться!

— Это вы меня научили, отвѣчалъ спокойно и искренно дьяконъ; — вы сказали: путемъ или непутемъ этому надо положить конецъ, я и положилъ. Я вашу волю исполнилъ.

Туберозовъ только покачалъ головой и, повернувшись лицомъ къ дверямъ, вошелъ въ притворъ, гдѣ стояла на

колѣняхъ и молилась Серболова, а въ углу, на погребальныхъ носилкахъ, сидѣлъ, сбивая щелчками пыль съ своихъ панталонъ, учитель Препотенскій, лицо котораго сіяло на этотъ разъ радостнымъ восторгомъ: онъ глядѣлъ въ глаза протопопу и дьякону, и улыбался. Онъ, очевидно, слышалъ, если не весь разговоръ, который они вели на сходахъ храма, то, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя слова ихъ. Но зачѣмъ, какъ, съ какого повода появляется здѣсь, бѣжавшій храма, учитель? Это удивляетъ и Ахиллу и Туберозова, съ тою лишь разницей, что Ахилла не можетъ отрѣшиться отъ той мысли: зачѣмъ здѣсь Препотенскій, а чинный Савелій выбросилъ эту мысль вонъ изъ головы тотчасъ, какъ предъ нимъ распахнулись двери, открывающія алтарь, которому онъ привыкъ предстоять со страхомъ и трепетомъ. Прошелъ часъ; скорбная служба отпѣта. Серболова и ея дальній кузенъ, нѣкто Дарьяновъ, напились у отца Савелія чаю и ушли: Серболова уѣзжаетъ домой подъ вечеръ, когда схлынетъ солнечный жаръ. Она теперь хочетъ отдохнуть. Дарьяновъ придетъ къ ней обѣдать въ домикъ старушки Препотенской; а отецъ Туберозовъ условился туда же придти нѣсколько попозже, чтобы напиться чаю и проводить свою любимѣйшую духовную дочь.

Но гдѣ же Ахилла и гдѣ Препотенскій?

Учитель исчезъ изъ церкви, какъ только началась служба, а дьяконъ бѣжалъ тотчасъ, какъ ее окончилъ. Отцу Савелію, который прилегъ отдохнуть, такъ и кажется, что они гдѣ нибудь носятся и другъ друга гонятъ. Это былъ «сонъ въ руку»: дьяконъ и Варнава приготовлялись къ большому сраженію.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Тяжелъ, скученъ и утомителенъ видъ пустынныхъ улицъ, нашихъ уѣздныхъ городовъ во всякое время; но особенно убійственъ онъ своею мертвенностію въ жаркій лѣтній полдень. Густая сѣрая пыль, мѣстами изборожденная слѣдами прокатившихся по ней колесъ, сонная и увядшая муравка,

окаймляющая немощеныя улицы къ сторонѣ воображаемыхъ тротуаровъ; сѣдые, подгнившіе и покосившіеся заборы; замкнутыя тяжелыми замками церковныя двери; деревянныя лавочки, брошенныя хозяевами и заставленныя двумя, крестъ-на-крестъ положенными, досками; все это, среди полдневнаго жара, дремлетъ до такой степени заразительно, что человѣкъ, осужденный жить среди такой обстановки, и самъ теряетъ всякую бодрость и тоже томится и дремлетъ.

Въ такую именно пору, Валеріанъ Николаевичъ Дарьяновъ прошелъ нѣсколько пустыхъ улицъ и, наконецъ, повернулъ въ очень узенькій переулочекъ, который наглухо запирался старымъ рѣшетчатымъ заборомъ. За заборомъ видна была церковь. Пригнувъ низко голову, Дарьяновъ вошелъ въ низенькую калиточку, на церковный погостъ. Здѣсь, въ углу этого погоста, мѣстилась едва замѣтная хибара церковнаго сторожа, а въ глубинѣ, за цѣлымъ лѣсомъ ветхихъ надмогильныхъ крестовъ, ютился низенькій трехъоконный домикъ просвирни Препотенской.

На погостѣ не было той густой пыли, которая сплошнымъ слоемъ лежала по всему пространству городской площади и улицъ. Тутъ, напротивъ, стлалась зеленая мурава, и двѣ курицы, желавшія понѣжиться въ пыли, на солнечномъ припекѣ, должны были выдти для этого за калитку и лечь подъ ея порогомъ на улицѣ. Здѣсь онѣ закапывались въ пыль, такъ что ихъ почти нельзя было и замѣтить, и лежали обыкновенно каждый день въ полной увѣренности, что ихъ никто не побезпокоитъ; при появленіи перешагнувшаго черезъ нихъ Дарьянова, онѣ даже не шевельнулись и не тронулись; а только открыли по одному изъ своихъ янтарныхъ глазъ и, проводивъ соннымъ взглядомъ гостя, снова завели ихъ выпуклыми сѣрыми вѣками. Дарьяновъ прямо направился къ калиткѣ домика Препотенскихъ и постучалъ въ тяжелое желѣзное кольцо. Отвѣта не было. Вездѣ тишь: ни собака не тявкнетъ, ни голосъ человѣческій не окликнетъ. Дарьяновъ постучалъ снова, но опять безуспѣшно. Тогда онъ, отложивъ всякую надежду

кого-нибудь дозваться, прошелъ подъ жердочку въ малину, которою густо обросъ просвирнинъ домикъ, и заглянулъ въ одно изъ его оконъ. Окна были закрыты отъ солнца ставнями, но сквозь неплотныя створы этихъ ставень свободно можно было видѣть все помѣщеніе. Это была комната большая, высокая, почти безъ мебели и съ двумя дверями, изъ которыхъ за одною виднѣлась другая, крошечная синяя каморочка, съ высокою постелью, закрытою лоскутовымъ ситцевымъ одѣяломъ.

Большая пустая комната принадлежала учителю Варнавѣ, а маленькая каморочка—его матери: въ этомъ и состоялъ весь ихъ домъ, если не считать кухоньки, въ которой негдѣ было поворотиться около загнѣтки.

Теперь ни въ одной изъ этихъ комнатъ не было видно ни души, но Дарьяновъ слышалъ, что въ сѣняхъ, за дверью, кто-то сильно работаетъ сѣчкой, а въ саду, подъ окномъ, кто-то другой не то третъ кирпичъ, не то пилитъ терпугомъ какое-то желѣзо. Еще болѣе убѣжденный теперь, что стукомъ здѣсь никого не докличешься, Дарьяновъ перешелъ къ забору, огораживавшему садикъ, и, отыскавъ между досками щелочку, началъ чрезъ нее новое обозрѣніе, но это было не такъ легко: у самаго забора росли густые кусты, не дозволявшіе разглядѣть человѣка, производившаго шумъ кирпичомъ или напилкомъ. Дарьяновъ нашелся вынужденнымъ взять другой обсерваціонный пунктъ. Ступивъ носкомъ сапога на одну, слегка выдавшуюся доску, а рукой ухватясь за верхній край забора, онъ поднялся и увидѣлъ маленькій, но очень густой и опрятный садикъ, посрединѣ котораго руками просвирни была пробита чистенькая, усыпанная желтымъ пескомъ дорожка. На этой дорожкѣ, прямо на землѣ, сидѣлъ учитель Варнава. Онъ сидѣлъ разставивъ вытянутыя ноги, какъ дѣлаютъ это играющія въ мячъ дѣти. Въ ногахъ у учителя, между колѣнами, лежала на пескѣ цѣлая груда человѣческихъ костей и листъ синей сахарной бумаги. Учитель держалъ въ каждой своей рукѣ по цѣлому кирпичу и ожесточенно теръ ими одинъ

о другой надъ бумагой. Потъ лилъ ручьями по лицу Препотенскаго, несмотря на то, что учитель сидѣлъ въ тѣни, и не обременялъ себя излишнимъ туалетомъ. Онъ былъ босой, въ одной рубашкѣ и панталонахъ, подстегнутыхъ только одною подтяжкой.

— Варнава Васильевичъ! Отоприте мнѣ, Варнава Васильевичъ!—закричалъ ему Дарьяновъ, но зовъ этотъ пропадалъ безслѣдно. Препотенскій попрежнему теръ ожесточенно свои кирпичи, локти его ходили одинъ противъ другого какъ два кривошипа; мокрые волосы трепались въ тактъ изъ стороны въ сторону; самъ онъ также качался, какъ подвижной цилиндръ, и ничего не слыхалъ, и ни на что не откликался.

Гость могъ бы скорѣе добиться отвѣта у мертвыхъ, почіющихъ на покинутомъ кладбищѣ, чѣмъ у погруженнаго въ свои занятія учителя. Угадывая это, Дарьяновъ болѣе и не звалъ его, а прыгнулъ на заборъ и перелетѣлъ въ садъ Препотенскаго. Какъ ни легокъ былъ этотъ прыжокъ, но старыя, разошедшіяся доски все-таки застучали, и пораженный этимъ стукомъ учитель быстро выпустилъ изъ рукъ свои кирпичи и, бросившись на четвереньки, схватилъ въ охабку разсыпанныя предъ нимъ человѣческія кости. Препотенскій, очевидно, былъ въ большомъ перепугѣ, но не могъ бѣжать. Не оставляя своего распростертаго положенія, онъ только тревожно смотрѣлъ въ шевелившійся густой малинникъ и все тщательнѣе и тщательнѣе забиралъ въ руки лежавшія подъ нимъ кости. Въ тотъ моментъ, когда предъ учителемъ раздвинулись самые близкіе ряды малины, онъ быстро вскочилъ на свои длинныя ноги и предсталъ удивленнымъ глазамъ Дарьянова въ самомъ странномъ видѣ. Растрепанная и всклоченная голова Препотенскаго, его потное, захватанное краснымъ кирпичомъ лицо, испуганные глаза и длинная полураздѣтая фигура, нагруженная человѣческими костями, а съ пояса засыпанная мелкимъ, тертымъ кирпичомъ, издали совсѣмъ какъ будто залитая кровью, дѣлала его скорѣе похожимъ

на людоѣда-дикаря, чѣмъ на человѣка, который занимается дѣломъ просвѣщенія.

— Ну, батюшка, Варнава Васильевичъ, прилежно же вы работаете! Васъ даже не дозовешься, началъ, выходя, гость, разсмотрѣвъ котораго Варнава вдругъ просіялъ, захлопалъ глазами и воскликнулъ:

— Такъ это вы! А я вѣдь думалъ, что это Ахилка.

И съ этими словами учитель отрадно разжалъ свои руки, и цѣлая груда человѣческихъ костей рухнула на дорожку, точно будто онъ вдругъ весь самъ выпотрошился.

— Ахъ, Валерьянъ Николаичъ, заговорилъ онъ,—если-бы вы знали, какія здѣсь съ нами дѣлаются дѣла. Нѣтъ, чортъ возьми, чтобъ еще послѣ всего этого въ этой проклятой Россіи оставаться!

— Батюшки! Что же это такое? Нельзя ли разсказать?

— Конечно можно, если только... если вы не шпіонъ.

— Надѣюсь.

— Такъ садитесь на лавочку, а я буду работать. Сядьте-жъ пожалуста, мнѣ при васъ даже пріятно, потому что все-таки есть свидѣтель, а я буду работать и разсказывать.

Гость принялъ приглашеніе и попросилъ хозяина разсказать, что у него за горе и съ коихъ поръ оно началось.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

— Горе мое, Валерьянъ Николаевичъ, началось съ минуты моего рожденія,—заговорилъ Препотенскій,—и заключается это горе, главнымъ образомъ, въ томъ, что я рожденъ моею матерью!

— Утѣшьтесь, другъ любезный, всѣ люди рождены своими матерями, — проговорилъ, отирая со лба потъ, Дарьяновъ.—Одинъ Макдуфъ былъ вырѣзанъ изъ чрева, да и то для того, чтобы Макбета не побѣдилъ—женой рожденный.

— Ну да, Макбета!.. Какой такъ Макбетъ? Намъ не Макбеты нужны, а науки; но что же дѣлать, когда здѣсь учиться невозможно. Я Богъ знаетъ чѣмъ отвѣчаю, что и въ Петер-

бургѣ, и въ Неаполѣ, и во всякой странѣ, если гдѣ человѣкъ захочетъ учиться, онъ нигдѣ не встрѣтитъ такихъ препятствій, какъ у насъ. Говорятъ Испанія... Да что же такое Испанія? Въ Испаніи Библій лютеранскихъ нельзя имѣть, но тамъ и заговоры, и возстанія, и все дѣлается. Я увѣренъ, что пусть бы тамъ кто-нибудь завелъ себѣ кости, чтобы учиться, такъ ему этого не запретятъ. А тутъ съ перваго дня, какъ я завелъ кости, моя собственная родная мать пошла ко мнѣ приставать: «Дай, дитя мое, Варнаша, я *его* лучше схороню». Кого это: *его*, спрашивается? Что это еще за *онъ?* Почему эти кости *онъ*, а не *она?* Правъ я или нѣтъ?

— Совершенно правы.

— Прекрасно-съ! Теперь говорятъ, будто я мою мать честью не урезониваю. Неправда-съ! напротивъ, я ей говорилъ: «Маменька, не трогайте костей, это глупо; вы, говорю, не понимаете, онѣ мнѣ нужны, я по нимъ человѣка изучаю». Ну, а что вы съ нею прикажете, когда она отвѣчаетъ: «Другъ мой, Варнаша, нѣтъ, все-таки лучше я его схороню...» Вѣдь это же изъ рукъ вонъ!

— Ужъ именно.

— Да то ли еще одно: она ихъ въ поминанье записала-съ!

— Будто?

— Честью васъ увѣряю! такъ и записано: «помяни Господи раба твоего *имрека*».

— Что вы за чудо разсказываете?

— Да вотъ вамъ и чудо, а изъ этого чуда скандалъ!

— Ну?

— Да, конечно-съ! А вы какъ изволите разсуждать? Вѣдь это все имѣетъ связь съ церковью. Вѣдь отсюда цѣлый рядъ недоразумѣній и даже уголовщиной пахнетъ?

— Господи мой!

— Именно-съ, именно вамъ говорю, потому что моя мать записываетъ людей, которыхъ не знаетъ какъ и назвать, а отъ этого понятно, что у ея приходскаго попа, когда онъ

станетъ читать ея поминанье, сейчасъ полицейскіе инстинкты разыгрываются: что это за люди *имреки*, безъ именъ?

— Вы бы ее уговорили не писать?

— Уговаривалъ-съ. Я говорилъ ей: не молитеся вы, пожалуйста, маменька, за него, онъ изъ жидовъ. Не вѣритъ! «Лжешь, говоритъ, это тебя бѣсъ научаетъ меня обманывать, я знаю, что жиды съ хвостиками!» Никогда, говорю, ни у какихъ ни у жидовъ, ни у не-жидовъ никакихъ хвостиковъ нѣтъ. Ну и споръ: я какъ слѣдуетъ стою за евреевъ, а она противъ; я спорю—нѣтъ хвостовъ, а она твердитъ: есть! Я «нѣтъ», она «есть». «Нѣтъ», «есть!» А ужъ потомъ какъ разволнуется, такъ только кричитъ: «Кш-ш-шь, кш-ш-шь», да какъ на курицу, на меня ладошами предъ самымъ носомъ хлопаетъ. Ну, представьте же вы себѣ, еще говорятъ, нужна свобода женщинамъ. Отлично-съ, я и самъ за женскую свободу; но это надо съ толкомъ: молодой, развитой женщинѣ, которая хочетъ не стѣсняться своими дѣйствіями, давайте свободу, но старухамъ... Нѣтъ-съ, я первый противъ этого, и даже удивляюсь, какъ этого никто не разовьетъ въ литературѣ. Вѣдь этимъ пользуются самые вредные люди. Не угодно ли вамъ, попъ Захарія, и онъ вдругъ за женскую эмансипацію! Да, да-съ, онъ за мою мать. «Ежели ты, говоритъ, имѣешь право не вѣрить въ Бога, такъ она такой же человѣкъ и имѣетъ право вѣрить!» Слышите, *такой* же. Не будь этихъ взглядовъ, моя мать давно бы мнѣ сдалась и уступила: она бы у меня и въ церковь не ходила и бросила бы свое просвирничанье, а пошла бы къ Бизюкиной въ няньки, а это ее все противъ меня вооружаютъ или Ахилка, или самъ Туберозовъ.

— Ну, полноте, пожалуйста!

— Да какъ же полноте, когда я на это имѣю доказательства. Туберозовъ никогда не любилъ меня, но теперь онъ меня за естественныя науки просто ненавидитъ, потому что я его срѣзалъ.

— Какъ же это вы его срѣзали?

— Я сто разъ его срѣзывалъ, даже на той недѣлѣ еще разъ обрѣзалъ. Онъ въ смотрительской комнатѣ, въ училищѣ, пустился ораторствовать, что праздничные дни будто заключаютъ въ себѣ что-то особенное этакое, а я его при всѣхъ и осадилъ. Я ему очень просто при всѣхъ указалъ на математически доказанную невѣрность исчисленія праздничныхъ дней. Гдѣ же, говорю, наши праздники? У васъ Рождество, а заграницей оно уже тринадцать дней назадъ было. Вѣдь правъ я?

— То-есть, двѣнадцать, а не тринадцать.

— Да, кажется, что двѣнадцать, но не въ томъ дѣло, а онъ сейчасъ застучалъ по столу ладонью и закричалъ: «Эй, гляди, математикъ, не добрались бы когда-нибудь за это до твоей физики!» Во-первыхъ, что такое онъ здѣсь разумѣетъ подъ словомъ *физики*?.. Вы понимаете—это и невѣжество, да и цинизмъ, а потомъ я васъ спрашиваю, развѣ это отвѣтъ?

Гость разсмѣялся и сказалъ, что это хотя и отвѣтъ, но, дѣйствительно, очень странный отвѣтъ.

— Да какъ же-съ! разумѣется глупо; но вѣдь этакихъ вещей идетъ цѣлый рядъ-съ. И вотъ, напримѣръ, даже вчера еще вечеромъ иду я отъ Бизюкиной, а передо мною немножко впереди идетъ комиссаръ Данилка, знаете тотъ шляющійся, который за два цѣлковыхъ ѣздилъ у Глича лошадь воровать, когда Ахилла масло билъ. Я съ Данилой и разговорился. Что, говорю, Данило, гдѣ ты былъ? Отвѣчаетъ, что былъ у исправника, отъ почтмейстерши ягоды приносилъ, и слышалъ какъ тамъ читали, что въ чухонскомъ городѣ Ревелѣ мертвый человѣкъ безъ тлѣнія сто лѣтъ лежалъ, а теперь его велѣли похоронить. «Не знаю, насколько правды, что было такое происшествіе, но только послѣ тамъ тоже и про васъ говорка была», сообщилъ мнѣ Данило. Я, разумѣется, встревожился, а онъ меня успокоиваетъ: «не про самихъ про васъ, говоритъ, а про вашихъ мертвыхъ людей, которыхъ вы у себя содержите». Понимаете ли вы эту интригу! Я далъ Данилкѣ двугривенный:

что-жъ дѣлать? это не хорошо, но шпіоны нужны, и я всегда говорю, что шпіоны нужны, и мы съ Бизюкиной въ этомъ совершенно согласны. Безъ шпіоновъ нельзя обойтись, вводя новыя ученія, потому что надо штудировать общество. Да-съ, ну такъ вотъ... про что это я говорилъ? Да! Я далъ Данилкѣ двугривенный и говорю: разсказывай все. Онъ мнѣ и разсказалъ, что какъ прочитали эту газету, такъ дьяконъ и повелъ рѣчь о моихъ костяхъ. «Я, говоритъ, нарочно и газету эту принесъ, потому что на это вниманіе обращаю». А совсѣмъ вретъ, потому что онъ ничего никогда не читаетъ, а въ этой газетѣ ему Данилка отъ Лялиныхъ орѣховъ принесъ. «Это, говоритъ, Воинъ Васильичъ, ваша съ лѣкаремъ большая ошибка была дать Варнавѣ утопленника; но это можно поправить». Городничій, конечно, знаетъ мой характеръ, и говоритъ, что я не отдамъ, и я бы, конечно, и не отдалъ. Но Ахилла говоритъ: «У него, говоритъ, ихъ очень просто можно отобрать и преспокойно предать погребенію». Городничій говоритъ: «не дать ли квартальному предписаніе, чтобъ отобрать кости?» Но этотъ бандитъ: «мнѣ ничего», говоритъ, «не нужно: я ихъ сейчасъ безъ предписанія отберу и уложу въ гробикъ въ дѣтскій, да и кончено».

Препотенскій вдругъ рванулся къ костямъ, накрылъ ихъ руками, какъ насѣдка покрываетъ крыломъ испуганныхъ приближеніемъ коршуна цыплятъ, и произнесъ нервнымъ голосомъ:

— Нѣтъ-съ, извините! пока я живъ, это не кончено. И того съ васъ довольно, что вы все это нѣсколько замедляете!

— Что же это такое «они» замедляютъ.

— Ну, будто вы не понимаете?

— Революцію что ли?

Учитель прекратилъ работу и съ усмѣшкою кивнулъ головой.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

— Отобравъ эти свѣдѣнія отъ Данилки, продолжалъ Варнава,—я сейчасъ же повернулъ къ Бизюкиной, чтобъ она объ этомъ знала, а черезъ часъ прихожу домой и уже не застаю у себя ни одной кости. Гдѣ онѣ? кричу, гдѣ? А эта госпожа, моя родительница, отвѣчаетъ: «Не сердись, говоритъ, другъ мой, Варнашенька (очень хорошее имя, изволите видѣть, дали, чтобъ его еще передѣлывать въ Варнашенекъ, да въ Черташенекъ), не сердись, говоритъ, ихъ начальство къ себѣ потребовало».—Что за вздоръ, кричу, что за вздоръ: какое начальство? «А безъ тебя, говоритъ, отецъ дьяконъ Ахилла приходилъ въ окно и всѣ ихъ забралъ и понесъ». Нравится вамъ: «Начальство, говоритъ, потребовало, и Ахилла понесъ». Да вы, говорю, хоть бы мозгами-то, если они у васъ есть, шевельнули: какое же дьяконъ начальство? «Другъ мой», говоритъ, «что ты, что ты это? да вѣдь онъ помазанъ!» Скажите вы, сдѣлайте ваше одолженіе! Вы вотъ смѣетесь, вамъ это смѣшно; но мнѣ это, стало-быть, не смѣшно было, когда я самъ къ этому бандиту пошелъ. Да-съ; Ахилка говоритъ, что я трусъ, и это и всѣ такъ думаютъ; но я вчера доказалъ, что я не трусъ; а я прямо пошелъ къ Ахилкѣ. Я прихожу, онъ дрыхнетъ. Я постучалъ въ окно и говорю: Отдайте мнѣ, Ахилла Андреичъ, мои кости? Онъ, во-первыхъ, насилу проснулся и знаете, начинаетъ со мною кобениться; «на что онѣ, говоритъ, тебѣ кости (что это за фамильярное «ты»? что это за короткость?) Ты безъ костей складнѣе». Это, говорю, не ваше дѣло, какъ я складнѣй. «Нѣтъ; совсѣмъ напротивъ. Мое, говоритъ, это дѣло: я священнослужитель». Но, вы же, говорю, вѣдь не имѣете права отнимать чужую собственность? «А развѣ кости, говоритъ, это развѣ собственность? А ты бы, говоритъ, еще то понялъ, что этакую собственность тебѣ даже не позволено содержать?» А я отвѣчаю, что и красть же, говорю, священнослужителямъ тоже вѣрно не позволено: вы, говорю, вѣрно хорошенько англійскихъ законовъ не знаете. Въ Англіи васъ

за это повѣсили бы. «Да ты, говоритъ, если ужъ про разные законы сталъ разсуждать, то ты еще знаешь ли что, если тебя за это въ жандармскую канцелярію отправить, такъ тебя тамъ сейчасъ спустятъ по-поясъ въ подполъ, да начнутъ въ два пука пороть. Вотъ тебѣ и будетъ Англія. Что? Хорошо тебѣ отъ этого станетъ?» А я ему и отвѣчаю: Вы, говорю, все знаете, вамъ даже извѣстно уже во сколько пуковъ тамъ порютъ. А онъ: «Конечно, говоритъ, извѣстно: это по самому по простому правилу, кто самъ претерпѣвалъ, тотъ и понять можетъ, что съ обѣихъ сторонъ станутъ съ пучьями и начнутъ донимать какъ найлучше». Прекрасная, говорю, картина; а онъ: «Да, говоритъ, ты это замѣть; а теперь лучше, братъ, слушай меня, забудь про всѣ свои глупости и уходи», и съ этимъ, слышу, онъ опять завалился на свое логово. Ну, тутъ уже, разумѣется, я все понялъ, какъ онъ проврался, но чтобъ еще болѣе отъ него вывѣдать, я говорю ему: но вѣдь вы же, говорю, дьяконъ, и въ жандармахъ не служите, чтобы законы наблюдать. А онъ, представьте себѣ, ничего этого не понялъ, къ чему это я подвелъ, и отляпалъ: «А ты почему, говоритъ, знаешь, что я не служу въ жандармахъ? Анъ у меня можетъ и бѣлая рукавица есть и я ее тебѣ, пожалуй, сейчасъ и покажу, если ты еще будешь мнѣ мѣшать спать». Но я, разумѣется, уже до этого не сталъ дожидаться, потому что, во-первыхъ, меня это не интересовало, а во-вторыхъ, я уже все, что мнѣ нужно было знать, то вывѣдалъ, а потомъ, зная его скотскія привычки драться... Нѣтъ-съ, говорю, не хочу и вовсе не интересуюсь вашими доказательствами, и сейчасъ же пошелъ къ Бизюкинымъ, чтобы поскорѣй разсказать все это Дарьѣ Николаевнѣ. Дарья Николаевна точно такъ же, какъ и я сейчасъ, и говоритъ, что она и сама подозрѣвала, что они всѣ здѣсь служатъ въ тайной полиціи.

— Кто служитъ въ тайной полиціи?—спросилъ Варнаву его изумленный собесѣдникъ.

— Да вотъ всѣ эти наши различные людцы, а особенно попы: Савелій, Ахилла.

— Ну, батюшка, вы съ своею Дарьей Николаевной, просто сказать, рехнулись.

— Нѣтъ-съ; Дарью Николаевну на этотъ счетъ не обманешь: она вѣдь ужъ много вынесла отъ такихъ молодцовъ.

— Вретъ она, ваша Дарья Николаевна,—ничего она ни отъ кого не вынесла.

— Кто не вынесъ? Дарья Николаевна!?

— Да.

— Покорно васъ благодарю! отвѣчалъ съ комическимъ поклономъ учитель.

— А что такое?

— Помилуйте, да вѣдь ее сѣкли, съ гордостью произнесъ Препотенскій.

— Въ дѣтствѣ; да и то, видно, очень мало.

— Нѣтъ-съ, не въ дѣтствѣ, а всего за два дня до ея свадьбы.

— Вы меня все больше и больше удивляете.

— Нечего удивляться: это фактъ-съ.

— Ну, простите мое невѣжество,—я не зналъ этого факта.

— Да какъ же-съ, я вѣдь и говорю, что это всякому надо знать, чтобы судить. Дѣло началось съ того, что Дарья Николаевна тогда рѣшилась отъ отца уйти.

— Зачѣмъ?

— Зачѣмъ? Какъ вы странно это спрашиваете!

— Я потому такъ спрашиваю, что отецъ, кажется, ее не гналъ, ни тѣснилъ, ни неволилъ.

— Ну, да мало ли что! Ни къ чему не неволилъ, а такъ просто захотѣла уйти, —и ушла. Чего же ей было съ отцомъ жить? Бизюкинъ ея младшаго братишку училъ, и онъ это одобрилъ, и самъ согласился съ ней перевѣнчаться, чтобъ отецъ на нее права не имѣлъ, а отецъ ея не позволялъ ей идти за Бизюкина и считалъ его за дурака, а она, рѣшившись сдѣлать скандалъ, ужъ, разумѣется, уступить не могла и сдѣлала по-своему... Она такъ распорядилась, что ужъ за другого ее выдавать нечего было думать, и обо всемъ этомъ, понимаете, совершенно честно сказала отцу. Да вы слушаете ли меня, Валерьянъ Николаевичъ?

— Не только слушаю, но съ каждымъ вашимъ словомъ усугубляю мое любопытство.

— Оно такъ и слѣдуетъ, потому что интересъ сейчасъ будетъ возрастать. Итакъ, она честно и прямо раскрыла отцу имѣющій значеніе фактъ, а онъ, ни болѣе ни менѣе, какъ сдѣлалъ слѣдующую подлость; онъ сказалъ ей: «Съѣзди, мой другъ, завтра къ теткѣ и разскажи еще это ей». Дарья Николаевна, ничего не подозрѣвая, взяла да и поѣхала, а они ее тамъ вдвоемъ съ этою барыней и высѣкли. Она прямо отъ нихъ кинулась къ жандармскому офицеру. «Освидѣтельствуйте, говоритъ, и донесите въ Петербургъ,—я не хочу этого скрывать, — пусть всѣ знаютъ, что̀ за учрежденіе такое родители». А тотъ: «ни свидѣтельствовать, говоритъ, васъ не хочу, ни доносить не стану. Я заодно съ вашимъ старикомъ и даже охотно помогъ бы ему, еслибъ онъ собрался повторить». Ну, что же еще послѣ этого ожидать? Вотъ вамъ-съ наша и тайная полиція. Родной отецъ, родная тетка, и вдругъ оказывается, что всѣ они не что иное какъ та же тайная полиція! Дарья Николаевна одно говоритъ: по крайней мѣрѣ, говоритъ, я одно выиграла, что я ихъ изучила и знаю, и потому, когда я ей вчера сообщилъ мои открытія надъ Ахилкой, она говоритъ: «Это такъ и есть, онъ шпіонъ! И теперь, говоритъ, въ нашемъ опасномъ положеніи самый главный вопросъ, чтобы ваши кости достать и по нимъ какъ можно злѣе учить и учить. Ахилка, говоритъ, ночью еще никуда не могъ ихъ сбыть, и вы если тотчасъ къ нему прокрадетесь, то вы можете унести ихъ назадъ. Одно только, говоритъ,—не попадайтесь, а то онъ можетъ васъ набить...»

— Какъ «набить»?

— Это такъ она сказала, потому что она знаетъ Ахилкины привычки; но, впрочемъ, она говоритъ: «нѣтъ ничего, вы намотайте себѣ на шею мой толстый ковровый платокъ и надѣньте на голову мой ватный капоръ, такъ этакъ, если онъ васъ и поймаетъ, и выбьетъ, вамъ будетъ мягко и не больно. Я всѣмъ этимъ, какъ она учила, хорошенько обмо-

тался и пошелъ. Прихожу къ этому скоту на дворъ во второй разъ... Собака было залаяла, но Дарья Николаевна это предвидѣла и дала мнѣ для собаки кусокъ пирожка. Я кормлю собаку и иду, и вижу прямо предо мною стоитъ телѣга; я къ телѣгѣ, и все въ ней нашелъ,—всѣ мои кости!

— Ну, тутъ, конечно, скорѣй за работу?

— Ужъ, разумѣется! Я духомъ снялъ съ головы Дарьи Николаевнинъ капоръ, завязалъ въ него кости и во всю рысь назадъ.

— Тѣмъ эта исторія и кончилась?

— Какъ кончилась? Напротивъ, она теперь въ самомъ разгарѣ. Хотите я доскажу?

— Ахъ, сдѣлайте милость!

## ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

— Начну съ объясненія того· какъ и почему я попалъ нынче въ церковь? Сегодня утромъ рано пріѣзжаетъ къ намъ Александра Ивановна Серболова. Вы, конечно, ее знаете не хуже меня: она вѣрующая, и ея убѣжденія касательно многаго очень отсталыя, но она моей матери кой-чѣмъ помогаетъ, и потому я жертвую и заставляю себя съ нею не спорить. Но къ чему это я говорю? Ахъ, да! какъ она пріѣхала, маменька мнѣ и говоритъ: «встань, такой-сякой, другъ мой, Варнаша, проводи Александру Ивановну въ церковь, чтобы на нее акцизниковы собаки не бросились». Я пошелъ. Я, вы знаете, въ церковь никогда не хожу; но вѣдь я же понимаю, что тамъ меня ни Ахилла, ни Савелій тронуть не смѣютъ; я и пошелъ. Но, стоя тамъ, я вдругъ вспомнилъ, что оставилъ отпертою свою комнату, гдѣ кости, и побѣжалъ домой. Прихожу,—маменьки нѣтъ; смотрю на стѣну: нѣтъ ни одной косточки!

— Схоронила?

— Да-съ.

— Безъ шутокъ, схоронила?

— Да полноте, пожалуста: какія съ ней шутки! Я сталъ ее просить: маменька, милая, я почитать васъ буду, только

скажите честно, гдѣ мои кости? «Не спрашивай, говоритъ, Варнаша, имъ, другъ мой, теперь покойно». Все дѣлалъ: плакалъ, убить себя грозился, наконецъ даже обѣщалъ ей Богу молиться,—нѣтъ-таки не сказала! Злой-презлой я шелъ въ училище, съ самою твердою рѣшимостью взять нынче ночью заступъ, разрыть имъ одну изъ этихъ могилъ на погостѣ и достать себѣ новыя кости, чтобы меня не переспорили, и я бы это непремѣнно и сдѣлалъ. А между тѣмъ, вѣдь это тоже, небось, называется преступленіемъ?

— Да еще и большимъ.

— Ну, вотъ видите! А кто бы меня подъ это подвелъ?.. мать. И это бы непремѣнно случилось; но вдругъ на мое счастіе приходитъ въ классъ мальчишка и говоритъ, что на берегу свинья какія-то кости вырыла. Я бросился, въ полной надеждѣ, что это мои кости—такъ и вышло! Народъ твердитъ: «зарыть»... Я говорю: прочь. Какъ вдругъ слышу—Ахилла... Я схватилъ кости и бѣжать. Ахилла меня за сюртукъ. Я повернулся... трахъ! пола къ чорту, Ахилла меня за воротникъ,—я трахъ... воротникъ къ чорту; Ахилла меня за жилетъ,—я трахъ... жилетъ пополамъ; онъ меня за шею,—я трахъ и убѣжалъ, и вотъ здѣсь сижу и отчищаю ихъ, а вы меня опять испугали. Я думалъ, что это опять Ахилла.

— Да помилуйте, пойдетъ къ вамъ Ахилла, да еще черезъ заборъ! Вѣдь онъ дьяконъ.

— Онъ дьяконъ! Говорите-ка вы «дьяконъ». Много онъ на это смотритъ. Мнѣ комиссаръ Данилка вчера говорилъ, что онъ, прощаясь, сказалъ Туберозову: «Ну, говоритъ, отецъ Савелій, пока я этого Варнаву не сокрушу, не зовите меня Ахилла-дьяконъ, а зовите меня всѣ *Ахилла-воинъ*». Что же, пусть воюетъ, я его не боюсь, но я съ этихъ поръ знаю что дѣлать. Я рѣшилъ, что мнѣ здѣсь больше не жить; я кое съ кѣмъ въ Петербургѣ въ перепискѣ; тамъ одинъ баринъ устраиваетъ одно предпріятіе, и я уйду въ Петербургъ. Я вамъ скажу, я уже пробовалъ, мы съ Дарьей Николаевной посылали туда нѣсколько статеекъ, оттуда все

отвѣчаютъ: «Рѣзче». Прекрасно, что «рѣзче»; я тамъ и буду рѣзокъ, я тамъ церемониться не стану, но здѣсь, помилуйте, духу не взведешь, когда за мертвую кость чуть жизнію не поплатишься. А съ другой стороны, посудите, и тамъ, въ Петербургѣ, какая пошла подлость; даже самыя благонамѣреннѣйшія газеты начинаютъ подтрунивать надъ распространяющеюся у насъ страстью къ естественнымъ наукамъ! Читали вы это?

— Кажется что-то похожее читалъ.

— Ага! такъ и вы это поняли? Такъ скажите же мнѣ, зачѣмъ же они въ такомъ случаѣ манили насъ работать надъ лягушкой и все прочее?

— Не знаю.

— Не знаете? Ну, такъ я же вамъ скажу, что имъ это такъ не пройдетъ! Да-съ; я вотъ заберу мои кости, поѣду въ Петербургъ, да тамъ прямо въ рожи имъ этими костями, въ рожи! И пусть меня ведутъ къ своему мировому.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

— Ха-ха-ха! Вы прекрасно сдѣлаете! — внезапно проговорила Серболова, стоявшая до этой минуты за густымъ вишневымъ кустомъ и ни однимъ изъ собесѣдниковъ не замѣченная.

Препотенскій захватилъ на груди разстегнутую рубашку, приподнялся и подтянувъ другою рукой свои испачканные въ кирпичѣ панталоны, проговорилъ:

— Вы, Александра Ивановна, простите, что я такъ не одѣтъ...

— Ничего; съ рабочаго человѣка туалета не взыскиваютъ; но идите, васъ мать зоветъ обѣдать.

— Нѣтъ, Александра Ивановна, я обѣдать не пойду. Мы съ матерью не можемъ болѣе жить; между нами все кончено.

— А вы бы постыдились такъ говорить, она васъ любитъ!

— Напрасно вы меня стыдите. Она съ моими врагами дружитъ; она мои кости хоронитъ; а я какъ-нибудь папироску у лампады закурю, такъ она и за то сердится...

— Зачѣмъ же свои папиросы у ея лампады закуриваете? Развѣ вамъ другого огня нѣтъ?

— Да вѣдь это же глупо!

Серболова улыбнулась и сказала:

— Покорно васъ благодарю.

— Нѣтъ; я не вамъ, а я говорю о лампадѣ: вѣдь все равно огонь.

— Ну, потому-то и закурите у другого.

— Все равно, на нее чѣмъ-нибудь другимъ не угодишь. Вонъ я вчера нашей собакѣ немножко супу далъ изъ миски, а маменька и объ этомъ расплакалась и миску съ досады разбила: «Не годится, говоритъ, она теперь; ее собака *нанюхала*». Ну, я васъ спрашиваю: вы Валеріанъ Николаичъ, знаете физику: можно ли что-нибудь *нанюхать*? Можно *понюхать*, можно *вынюхать*, но *нанюхать!* Вѣдь это дуракъ одинъ сказать можетъ!

— Но вѣдь вы могли и не давать собакѣ изъ этой чашки?

— Могъ, да на что же это?

— Чтобы вашу мать не огорчать.

— Да, вотъ вы какъ на это смотрите! По-моему никакая хитрость не достойна честнаго человѣка.

— А ѣсть лошадиную ветчину при старой матери достойно?

— Ага! ужъ она вамъ и на это нажаловалась! Что-жъ, я изъ любознательности купилъ у знакомаго татарина копченыхъ жеребячьихъ реберъ. Это, повѣрьте, очень вкусная вещь. Мы съ Дарьей Николаевной Бизюкиной два ребра за завтракомъ съѣли и дѣтей ея накормили, а третье—понесъ маменькѣ, и маменька, ничего не зная, отлично ѣла и хвалила, а потомъ вдругъ, какъ я ей сказалъ, и бѣда пошла.

— Угостилъ, отнеслась къ Дарьянову, улыбнувшись, Серболова. — Впрочемъ, пусть это не къ обѣду вспоминается... Пойдемте лучше обѣдать.

— Нѣтъ-съ, я вѣдь вамъ сказалъ, что я не пойду и не пойду.

— Да вы на хлѣбъ и на соль-то за что же сердитесь?

— Не сержусь, а мнѣ отсюда отойти нельзя. Я въ такомъ положеніи, что отовсюду жду всякихъ гадостей.

Серболова тихо засмѣялась, подала руку Дарьянову, и они пошли обѣдать, оставивъ учителя надъ его костями.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Просвирня Препотенская, маленькая старушка съ крошечнымъ личикомъ и вѣчно изумленными добрыми глазками, покрытыми бровями, имѣющими фигуру французскихъ апострофовъ, извинилась предъ Дарьяновымъ, что она не слыхала, какъ онъ долго стучалъ, и непосредственно за симъ пригнулась къ нему надъ столомъ и спросила шопотомъ:

— Варнашу моего видѣли?

Тотъ отвѣчалъ, что видѣлъ.

— Убиваетъ онъ меня, Валерьянъ Николаичъ, до безконечности, жаловалась старушка.

— Да Богъ съ нимъ, что вы огорчаетесь? Онъ молодъ; постарѣетъ, женится и перемѣнится.

— Перемѣнится... Нѣтъ, какъ его, дружокъ, возможно женить? невозможно. Онъ ужъ весь до сихъ поръ, до безконечности извертѣлся: въ Господа Бога не вѣритъ до безконечности; молоко и мясо по всѣмъ постамъ, даже и въ Страшную недѣлю ѣстъ до безконечности, а я, дружокъ мой, правду вамъ сказать, въ вечернее время ихъ до безконечности боюсь; все ихъ до безконечности тревожусь...

Черненькіе апострофы надъ глазками крошечной робкой старушки задвигались, и она, вздрогнувъ, залепетала.

— И, кромѣ того, все мнѣ, другъ мой, видятся такіе до безконечности страшные сны, что я, какъ проснусь, сейчасъ шепчу: «святой Симеонъ, разгадай мой сонъ», но все еслибъ я могла себя съ кѣмъ-нибудь въ домѣ разговорить, я бы терпѣла; а то возьмите же, что я постоянно одна и постоянно съ мертвецами. Я, мои дружочки, отпѣтаго покойника не боюсь, а Варнаша не позволяетъ ихъ отпѣть.

— Ну, вы на него не сердитесь,—вѣдь онъ добрый.

— Добрый, конечно, онъ добрый, я не хочу на него лгать, что онъ золъ. Я была его счастливая мать и онъ прежде ко мнѣ былъ добръ даже до безконечности, пока въ шестой классъ по философіи перешелъ. Онъ, бывало, когда домой пріѣзжалъ и въ церковь ходилъ и къ отцу Савелію я его водила, и отецъ Савелій даже его до безконечности ласкали и по бездѣлицѣ ему кое-чѣмъ помогали, но тутъ вдругъ,—и сама не знаю что съ нимъ подѣлалось: все началъ умствовать. И съ тѣхъ поръ, какъ пріѣдетъ изъ семинаріи, все разъ отъ разу хуже да хуже, и, наконецъ, даже такъ противъ всего хорошаго ожесточился, что на крестинахъ у отца Захаріи зачалъ на самого отца протопопа метаться. Ахъ, тяжело это мнѣ, душечки! продолжала старушка, горько сморщившись.— Теперь опять я третьяго дня узнала, что они съ акцизничихой, съ Бизюкиной, вдругъ въ соусѣ лягушекъ ѣли! Господи! Господи! каково это матери вынести? А что съ голоду, что-ль, это дѣлается? Испорченъ онъ. Я, какъ вы хотите, я иначе и не полагаю, что онъ испорченъ. Мнѣ отецъ Захарія въ «Домашней Бесѣдѣ» нарочно читалъ тамъ: одинъ благородный сынъ бѣсновался, десять человѣкъ удержать не могли. Такъ и Варнава! его никто не удержитъ. Робость имѣетъ страшную, даже и недавно, всего еще года нѣтъ, какъ я его вечерами сама, куда нужно, провожала; но если расходится, кричитъ: «Не выдамъ своихъ! не выдамъ», да этакъ рукой машетъ, да приговариваетъ: «нѣтъ; рѣзать всѣхъ, рѣзать!» Такъ живу и постоянно гляжу, что его въ полицію и въ острогъ.

Просвирня опять юркнула, обтерла въ кухнѣ платочкомъ слезы и, снова появясь, заговорила:

— Я его, признаюсь вамъ, я его наговорной водой всякій день пою. Онъ, конечно, этого не знаетъ и не замѣчаетъ, но я пою, только не помогаетъ, — да и грѣхъ. А отецъ Савелій говоритъ одно: что стоило бы мнѣ его куда-то въ Ташкентъ сослать.—Отчего же, говорю, еще не по-

пробовать лаской?—А потому, говоритъ, что изъ него лаской ничего не будетъ,—у него, онъ находитъ, будто совсѣмъ природы чувствъ нѣтъ. А мнѣ, если и такъ, мнѣ, дѣтки мои, его все-таки жалко... И просвирня снова исчезла.

— Экое несчастное твореніе! — прошептала вслѣдъ вышедшей старушкѣ молодая дама.

— Ужъ именно, подтвердилъ ея собесѣдникъ и прибавилъ: — а тотъ болванъ еще ломается и даже теперь обѣдать не идетъ.

— Подите приведите его въ самомъ дѣлѣ.

— Да вѣдь упрямъ, какъ лошадь, не пойдетъ.

— Ну, какъ не пойдетъ? Скажите ему, что я ему приказываю, что я агентъ тайной полиціи и приказываю ему, чтобъ онъ сейчасъ шелъ, а то я донесу, что онъ въ Петербургъ собирается.

Дарьяновъ засмѣялся, всталъ и пошелъ за Варнавой. Между тѣмъ учитель, употребившій это время на то, чтобы спрятать свое сокровище, чувствовалъ здоровый аппетитъ и при новомъ приглашеніи къ столу не безъ труда выдерживалъ характеръ и отказывался.

Чтобы вывести этого добровольнаго мученика изъ его затруднительнаго положенія, посланный за нимъ молодой человѣкъ нагнулся таинственно къ его уху и шепнулъ ему то, что̀ было сказано Серболовой.

— Она шпіонъ!—воскликнулъ, весь покрывшись румянцемъ, Варнава.

— Да.

— И можетъ быть...

— Что?

— Можетъ быть и вы?..

— Да, и я.

Варнава дружески сжалъ его руку и проговорилъ:

— Вотъ это благодарю, что вы не дѣлаете изъ этого тайны. И затѣмъ онъ съ чистою совѣстью пошелъ обѣдать. Извольте, я вамъ повинуюсь.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Шутка удалась. Варнава имѣлъ предлогъ явиться и притомъ явиться съ достоинствомъ. Онъ вошелъ въ комнату, какъ жертва враждебныхъ силъ, и помѣстился въ узкомъ концѣ стола противъ Дарьянова. Между ними двумя, съ третьей стороны, сидѣла Серболова, а четвертая сторона стола оставалась пустою. Сама просвирня обыкновенно никогда не садилась за столъ съ сыномъ, не садилась она и нынче съ гостями, а только служила имъ. Старушка была теперь въ восторгѣ, что видитъ передъ собою своего многоученаго сына; радость и печаль одолѣвали другъ друга на ея лицѣ, вѣки ея глазъ были красны; нижняя губа тихо вздрагивала и ветхія ея ножки не ходили, а все бѣгали, причемъ она постоянно старалась и на бѣгу, и при остановкахъ брать такіе обороты, чтобы лица ея никому не было видно.

— Остановить васъ теперь невозможно?—шутя говорилъ ей Дарьяновъ.

— Нѣтъ, невозможно, Валерьянъ Николаичъ, отвѣчала она весело и, снова убѣгая, спѣшно проглатывала въ кухонькѣ непрошенную слезу.

Гости поднимались на хитрость, чтобъ удерживать старушку, и хвалили ея стряпню; но она скромно отклоняла всѣ эти похвалы, говоря, что она только умѣетъ готовить самое простое.

— Но простое-то ваше очень вкусно.

— Нѣтъ; гдѣ ему быть вкуснымъ, а только развѣ для здоровья оно, говорятъ, самое лучшее: да и то и не знаю: вотъ Варнаша всегда это кушанье кушаетъ, а посмотрите какой онъ: точно пустой!

— Гм!—произнесъ Варнава, укоризненно взглянувъ на мать, и покачалъ головой.

— Да что же ты! Ей-Богу ты, Варнаша, пустой!

— Вы еще разъ это повторите!—отозвался учитель.

— Да что же тутъ, Варнаша, тебѣ такого обиднаго?

Молока ты утромъ пьешь до безконечности; чаю съ булкой кушаешь до безконечности; жаркого и каши тоже, а встанешь изъ-за стола опять весь до безконечности пустой, — это болѣзнь. Я говорю, послушай меня, сынокъ...

— Маменька!—перебилъ ее, сердито крикнувъ, учитель.

— Что-жъ тутъ такого, Варнаша? Я говорю: скажи, Варнаша, какъ встанешь утромъ, «наполни, Господи, мою пустоту» и вкуси...

— Маменька!—еще громче воскликнулъ Препотенскій.

— Да что ты, дурачокъ, чего сердишься? Я говорю: скажи: «наполни, Господи, пустоту мою» и вкуси пѣтой просвирки, потому я, знаете,—обратилась она къ гостямъ,—я и за себя, и за него всегда одну часточку вынимаю, чтобы намъ съ нимъ на томъ свѣтѣ въ одной скиніи быть, а онъ не хочетъ вкусить. Почему такъ?

— Почему? вы хотите знать: почему?—извольте-съ: потому, что я не хочу съ вами нигдѣ въ одномъ мѣстѣ быть! Понимаете; нигдѣ ни на этомъ свѣтѣ, ни на какомъ другомъ.

Но прежде чѣмъ учитель досказалъ эту рѣчь, старушка поблѣднѣла, затряслась, и двѣ завѣтныя фаянсовыя тарелки, выскользнувъ изъ ея рукъ, ударились о полъ, зазвенѣли и разбились вдребезги.

— Варнаша!—воскликнула она.—Это ты отъ меня отрекся!

— Да-съ, да-съ, да-съ, отрекся и отрекаюсь! Вы мнѣ и здѣсь надоѣли, не только чтобъ еще на томъ свѣтѣ я пожелалъ съ вами видѣться.

— Тс! тс! тс! — останавливала сына, плача, просвирня и начала громко хлопать у него подъ носомъ въ ладони, чтобы не слыхать его отреченій. Но Варнава кричалъ гораздо громче, чѣмъ хлопала его мать. Тогда она бросилась къ образу и, махая предъ иконой растопыренными пальцами своихъ слабыхъ рукъ, въ изступленіи закричала:

— Не слушай его, Господи! не слушай! не слушай!—и съ этимъ пала въ уголъ и зарыдала.

Эта тяжелая и совершенно неожиданная сцена взвол-

новала всѣхъ при ней присутствовавшихъ, кромѣ одного Препотенскаго. Учитель оставался совершенно спокойнымъ и ѣлъ съ непокидавшимъ его никогда аппетитомъ. Серболова встала изъ-за стола и вышла вслѣдъ за убѣжавшей старушкой. Дарьяновъ видѣлъ, какъ просвирня обняла Александру Ивановну. Онъ поднялся и затворилъ дверь въ комнату, гдѣ были женщины, а самъ сталъ у окна.

Препотенскій попрежнему ѣлъ.

— Александра Ивановна когда ѣдетъ домой?—спросилъ онъ, ворочая во рту пищу.

— Какъ схлынетъ жаръ,—вымолвилъ ему сухо въ отвѣтъ Дарьяновъ.

— Вонъ когда!—протянулъ Препотенскій.

— Да, у нея здѣсь еще будетъ Туберозовъ.

— Туберозовъ? У насъ? въ нашемъ домѣ?

— Да, въ вашемъ домѣ, но не у васъ, а у Александрины.

Дарьяновъ велъ послѣдній разговоръ съ Препотенскимъ отвернувшись и глядя на дворъ; но при этомъ словѣ онъ оборотился къ учителю лицомъ и сказалъ сквозь едва замѣтную улыбку.

— А вы, кажется, все-таки Туберозова-то побаиваетесь!

— Я? Я его боюсь?

— Ну, да; я вижу, что у васъ какъ будто даже носъ позеленѣлъ, когда я сказалъ, что онъ сюда придетъ.

— Носъ позеленѣлъ? Увѣряю васъ, что вамъ это такъ только показалось, а что я его не боюсь, такъ я вамъ это нынче же докажу.

И съ этимъ Препотенскій поднялся съ своего мѣста и торопливо вышелъ. Гостю и въ голову не приходило, какія смѣлыя мысли родились и зрѣли въ эту минуту въ отчаянной головѣ Варнавы; а благосклонный читатель узнаетъ объ этомъ изъ слѣдующей главы.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Выйдя изъ комнаты, Препотенскій юркнулъ въ небольшой сарай и, сбросивъ здѣсь съ себя верхнее платье, полѣзъ

на сѣновалъ, а оттуда, съ трудомъ раздвинувъ двѣ потолочины, спустился чрезъ довольно узкую щель въ небольшой, запертой снаружи, амбарчикъ. Въ этомъ амбарчикѣ былъ всякій домашній скарбъ. Тутъ стояли кадочки, наполы, висѣлъ окорочекъ ветчины, торчали на колкахъ пучки чебору, мяты и укропу. Учитель ничего этого не тронулъ, но онъ взлѣзъ на высокій сосновый ларь, покрытый покатой крышей, досталъ съ него большія и разлатыя липовыя ночвы, чистыя какъ стекло зеркальнаго магазина, и тотчасъ же началъ спускаться съ ними назадъ въ сарай, гдѣ имъ очень искусно были спрятаны злополучныя кости.

За учителемъ никто, рѣшительно, не присматривалъ, но онъ, какъ человѣкъ, уже привыкшій мечтать объ «опасномъ положеніи», ничему не вѣрилъ; онъ отъ всего жался и хоронился, чтобы ему не воспрепятствовали докончить свое предпріятіе и совершить оное въ свое время съ полною торжественностью. Прошло уже около часа съ тѣхъ поръ, какъ Варнава заключился въ сараѣ, на дворѣ начало вечерѣть, и вотъ у утлой калиточки просвирнина домика звякнуло кольцо.

Это пришелъ Туберозовъ. Варнавѣ въ его сараѣ слышно, какъ подъ крѣпко ступающими ногами большого протопопа, гнутся и скрипятъ ступени ветхаго крыльца; слышны привѣтствія и благожеланія, которыя онъ выражаетъ Серболовой и старушкѣ Препотенской. Варнава, однако, все еще не выходитъ и не обнаруживаетъ, что такое онъ намѣренъ устроить.

— Ну, что моя вдовица Наинская, что твой ученый сынъ?—заговорилъ отецъ Савелій ко вдовѣ, выставлявшей на свое открытое крылечко бѣлый столикъ, за которымъ компанія должна была пить чай.

— Варнаша мой? А Богъ его знаетъ, отецъ протопопъ: онъ вѣрно оробѣлъ и гдѣ-нибудь отъ васъ спрятался?

— Чего-жъ ему въ своемъ домѣ прятаться?

— Онъ васъ, отецъ протопопъ, очень боится.

— Господи помилуй, чего меня бояться? Пусть лучше

себя боится и бережетъ,—и Туберозовъ началъ разсказывать Дарьянову и Серболовой, какъ его удивилъ своими похожденіями вчерашней ночи Ахилла.

— Кто его объ этомъ просилъ? кто ему поручилъ? кто приказывалъ? — разсуждалъ старикъ, и отвѣчалъ: — никто, самъ вздумалъ съ Варнавой Васильичемъ перевѣдаться, и надѣлали на весь городъ разговоровъ.

— А вы, отецъ протопопъ, развѣ ему этого не приказывали?—спросила старушка.

— Ну, скажите пожалуста: стану я такія глупости приказывать! — отозвался Туберозовъ и заговорилъ о чемъ-то постороннемъ, а межъ тѣмъ уплыло еще полчаса, и гости стали собираться по домамъ. Варнава все не показывался, но за то, чуть только кучеръ Серболовой подалъ къ крыльцу лошадь, ворота сарая, скрывавшаго учителя, съ шумомъ распахнулись, и онъ торжественно предсталъ глазамъ изумленныхъ его появленіемъ зрителей.

Препотенскій былъ облаченъ во всѣ свои обычныя одежды и обѣими руками поддерживалъ на головѣ своей похищенныя имъ у матери новыя ночвы, на которыхъ теперь симметрически были разложены извѣстныя человѣческія кости.

Прежде чѣмъ кто-нибудь могъ рѣшить, что можетъ значить появленіе Препотенскаго съ такою ношей, учитель прошелъ съ нею величественнымъ шагомъ мимо крыльца, на которомъ стоялъ Туберозовъ, показалъ ему языкъ и вышелъ чрезъ кладбище на улицу.

Гости просвирни только ахнули и не утерпѣли, чтобы не посмотрѣть, чѣмъ окончится эта демонстрація. Выйдя вслѣдъ за Варнавой на тихую улицу, они увидали, что учитель подвигался тихо, врозвалъ, и несъ свою ношу осторожно, какъ будто это была не доска, укладенная изсохшими костями, а драгоцѣнный и хрупкій сосудъ взрѣзь съ краями полный еще болѣе многоцѣнною жидкостью; но сзади ихъ вдругъ послышался тихій, прерываемый одышкой плачъ, и за спинами у нихъ появилась облитая слезами просвирня.

Бѣдная старуха дрожала и, судорожно кусая кончики сложенныхъ вмѣстѣ всѣхъ пяти пальцевъ руки шептала:

— Что это онъ? что это онъ такое носитъ по городу?

И съ этимъ, уразумѣвъ дѣло, она болѣзненно визгнула и, съ несвойственною ея лѣтамъ рѣзвостью, бросилась въ погоню за сыномъ. Ветхая просфирня бѣжала подпрыгивая и подскакивая, какъ бѣгаютъ дурно летающія птицы, прежде чѣмъ имъ подняться на воздухъ, а Варнава шелъ тихо; но, тѣмъ не менѣе, все-таки трудно было рѣшить, могла ли бы просвирня и при такомъ быстромъ аллюрѣ догнать своего сына, потому что онъ былъ ужъ въ концѣ улицы, которую та только что начала. Быть или не быть этому—рѣшилъ случай, давшій всей этой процессіи и погонѣ совершенно неожиданный оборотъ.

Въ то самое время, какъ вдова понеслась съ неизвѣстными цѣлями за своимъ ученымъ сыномъ, откуда-то сверху раздалось громкое и веселое:

—«Эй! ур-р-ре-ре: не бей его! не бей! не бей!»

Присутствовавшіе при этой сценѣ оглянулись по направленію, откуда происходилъ этотъ крикъ, и увидѣли на голубцѣ одной изъ сосѣднихъ крышъ оборванца, который держалъ въ рукѣ тонкій шестъ, какимъ обыкновенно охотники до голубинаго лета пугаютъ турмановъ. Этотъ крикунъ былъ старогородскій бирючъ, фактотумъ и пролетарій, праздношатающійся мѣщанинъ, по прозванію комиссаръ Данилка. Онъ пугалъ въ это время своихъ турмановъ и не упустилъ случая, смѣха ради, испугать и учителя. Цѣль комиссара Данилки была достигнута какъ нельзя болѣе, потому что Препотенскій, едва лишь услыхалъ его предостерегающій кликъ, какъ тотчасъ же перемѣнилъ шагъ и бросился впередъ съ быстротой лани.

Шибко скакалъ Варнава по пустой улицѣ, а съ нимъ вмѣстѣ скакали, прыгали и разлетались въ разныя стороны кости, уложенныя на его плоскихъ ночвахъ; но все-таки онѣ не столько уходили отъ одной бѣды, сколько спѣшили навстрѣчу другой, несравненно болѣе опасной: на ближай-

шемъ перекресткѣ улицы испуганнымъ и полнымъ страха глазамъ учителя Варнавы предсталъ въ гораздо большей противъ обыкновеннаго величинѣ своей грозный дьяконъ Ахилла.

По пословицѣ: впереди стояла затрещина, а сзади—тычокъ.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Чуть только бѣдный учитель завидѣлъ Ахиллу, ноги его подкосились и стали; но черезъ мгновеніе отдрогнули, какъ сильно нагнетенныя пружины, и въ три сильныхъ прыжка перенесли Варнаву черезъ такое разстояніе, котораго человѣку въ спокойномъ состояніи не перескочить бы и въ десять прыжковъ. Этимъ Варнава былъ почти спасенъ: онъ теперь находился какъ разъ подъ окномъ акцизничихи Бизюкиной, и на его великое счастье сама ученая дама стояла у открытаго окна.

— Берите!—крикнулъ ей, задыхаясь, Препотенскій;— за мной гонятся шпіоны и духовенство!—съ этимъ онъ сунулъ ей въ окно свои ночвы съ костями, но самъ былъ такъ обезсиленъ, что не могъ больше двинуться и прислонился къ стѣнѣ, гдѣ тутъ же съ нимъ рядомъ сейчасъ очутился Ахилла и, тоже задыхаясь, держалъ его за руку.

Дьяконъ и учитель похожи были на двухъ друзей, кокоторые только что пробѣжались въ горѣлки и отдыхаютъ. Въ лицѣ дьякона не было ни малѣйшей злобы: ему скорѣй было весело. Тяжко дыша и поводя вокругъ глазами, онъ замѣтилъ посреди дороги два торчащія изъ пыли человѣческія ребра и, обратясь къ Препотенскому, сказалъ ему:

— Что же ты не поднимаешь вонъ этихъ твоихъ астрагелюсовъ?

— Отойдите прочь, я тогда подниму.

— Ну, хорошо: я отойду, и дьяконъ со всею свойственною ему простотой и откровенностію подошелъ къ окну, поднялся на цыпочки и, заглянувъ въ комнаты, проговорилъ:

— Послушайте, совѣтница, а вы, право, напрасно за этого учителя заступаетесь.

Но вмѣсто ожидаемаго отвѣта отъ «совѣтницы», Ахиллѣ предсталъ самъ либеральный акцизный чиновникъ Бизюкинъ и показалъ ему голый черепъ скелета.

— Послушай, спрячь, сдѣлай милость, это, а то я разсержусь, попросилъ вѣжливо Ахилла; но вмѣсто отвѣта, изъ дома послышался самый оскорбительный хохотъ, и самъ акцизный, стоя у окна, началъ, смѣясь, громко щелкать на дьякона челюстями скелета.

— Перебью васъ, еретики!— взревѣлъ Ахилла и сгребъ въ обѣ руки лежавшій у фундамента большой булыжный камень съ непремѣннымъ намѣреніемъ бросить эту шестипудовую бомбу въ своихъ оскорбителей, но въ это самое время, какъ онъ, сверкая глазами, готовъ былъ вергнуть поднятую глыбу, его сзади кто-то сжалъ за руку, и знакомый голосъ повелительно произнесъ:

— Брось!

Это былъ голосъ Туберозова. Протопопъ Савелій стоялъ строгій и дрожащій отъ гнѣва и одышки. Ахилла его послушалъ; онъ сверкнулъ покраснѣвшими отъ ярости глазами на акцизника и бросилъ въ сторону камень съ такою силой, что онъ ушелъ на цѣлый вершокъ въ землю.

— Иди домой, шепнулъ ему, и самъ отходя, Савелій.

Ахилла не возразилъ и въ этомъ и пошелъ домой тихо и сконфуженно, какъ обличенный въ шалости добронравный школьникъ.

— Боже! какой глупый и досадный случай!—произнесъ, едва переводя духъ, Туберозовъ, когда съ нимъ поровнялся его давишній собесѣдникъ Дарьяновъ.

— Да не безпокойтесь: ничего изъ этого не будетъ.

— Какъ не будетъ-съ? будетъ то, что Ахиллу отдадутъ подъ судъ! Вы развѣ не слыхали, что онъ кричалъ, грозя камнемъ? Онъ хотѣлъ ихъ всѣхъ перебить!

— А увидите, что все это кончится однимъ смѣхомъ.

— Нѣтъ-съ; это не кончится смѣхомъ и здѣсь нѣтъ ни-

какого смѣха, а есть глупость, которою дрянные люди могутъ воспользоваться.

И протопопъ, ускоривъ шагъ, шибко пошелъ домой, выписывая сердитые эсы концомъ своей трости.

Въ слѣдующей части нашей хроники мы увидимъ, какія все это будетъ имѣть послѣдствія и кто изъ двухъ прорицателей правѣе.

---

# Часть вторая.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Утро, наступившее послѣ ночи, заключившей день Меѳодія Песношскаго, обѣщало день погожій и тихій. Можно было ожидать даже, что онъ тихъ будетъ во всемъ: и въ стихіяхъ природы, и въ сердцахъ старогородскихъ людей, съ которыми мы познакомились въ первой части нашей хроники. Этихъ убѣжденій былъ и самъ протопопъ. Вчерашняя усталость оказала ему хорошую услугу: онъ крѣпко спалъ, видѣлъ мирные сны и, проснувшись утромъ, разсуждалъ, что, авось либо, вся его вчерашняя тревога напрасна, авось либо Господь пронесетъ эту тучку, какъ онъ до сихъ поръ проносилъ многія другія, отъ которыхъ никому вреда не бывало.

«Да; мы народъ не лиходѣйный, но добрый», размышлялъ старикъ, идучи въ полномъ спокойствіи служить раннюю обѣдню за сей народъ не лиходѣйный, но добрый. Однако же этотъ покой былъ обманчивъ: подъ тихою поверхностью воды, на днѣ, дремалъ крокодилъ.

Туберозовъ, отслуживъ обѣдню и возвратившись домой, пилъ чай, сидя на томъ самомъ диванѣ, на которомъ спалъ ночью, и за тѣмъ же самымъ столомъ, за которымъ писалъ свои «нотатки». Мать протопопица только прислуживала мужу: она подала ему стаканъ чаю и небольшую серебря-

ную тарелочку, на которую протопопъ Савелій осторожно поставилъ принесенную имъ въ карманѣ просфору.

Сердобольная Наталья Николаевна, сберегая покой мужа, ухаживала за нимъ, боясь какимъ бы то ни было вопросомъ нарушить его строгія думы. Она шопотомъ велѣла дѣвочкѣ набить жуковскимъ вакштафомъ и поставить въ уголъ на подносикѣ обѣ трубки мужа и, подпершись ручкой подъ подбородокъ, ждала, когда протоіерей выкушаетъ свой стаканъ и попроситъ второй.

Но прежде чѣмъ она дождалась этой просьбы, вниманіе ея было отвлечено необычайнымъ шумомъ, который раздался гдѣ-то невдалекѣ отъ ихъ дома. Слышны были торопливые шаги и безпорядочный говоръ, переходившій минутами въ азартный крикъ. Протопопица выглянула изъ окна своей спальни и увидала, что шумъ этотъ и крикъ производила толпа людей, которые шли очень быстрыми шагами и притомъ прямо направлялись къ ихъ дому. Они на ходу толкались, размахивали руками, спорили, и то какъ бы упирались, то вдругъ снова почти бѣгомъ подвигались впередъ.

«Что̀ бы это такое?» подумала протопопица и, выйдя въ залу къ мужу, сказала:

— Посмотри, отецъ Савелій, что-то какъ много народу идетъ.

— Народу, мой другъ, много, а людей нѣтъ, отвѣчалъ спокойно Савелій.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, взгляни: очень ужъ много народу.

— Господь съ ними, пусть ихъ расхаживаютъ; а ты дай-ка мнѣ еще стаканчикъ чаю.

Протопопица взяла стаканъ, налила его новымъ чаемъ и, подавъ мужу, снова подошла къ окну, но шумливой кучки людей уже не было. Вмѣсто всего сборища, только три или четыре человѣка стояли кое-гдѣ вразбивку и глядѣли на домъ Туберозова съ видимымъ замѣшательствомъ и смущеніемъ.

— Господи, да ужъ не горимъ ли мы гдѣ-нибудь, отецъ

Савелій!—воскликнула, въ перепугѣ бросаясь въ комнату мужа, протопопица, но тотчасъ же на порогѣ остановилась и поняла, въ чемъ заключалась исторія.

Протопопица увидала на своемъ дворѣ дьякона Ахиллу, который летѣлъ, размахивая рукавами своей широкой рясы, и тащилъ за ухо мѣщанина комиссара Данилку.

Протопопица показала на это мужу, но прежде чѣмъ протопопъ успѣлъ встать съ своего мѣста, дверь передней съ шумомъ распахнулась, и въ залу протоіерейскаго дома предсталъ Ахилла, непосредственно ведя за собой за ухо раскраснѣвшагося и переконфуженнаго Данилку.

— Отецъ протопопъ, началъ Ахилла, бросивъ Данилку и подставляя пригоршни Туберозову.

Савелій благословилъ его.

За Ахиллой подошелъ и точно также принялъ благословеніе Данилка. Затѣмъ дьяконъ отдернулъ мѣщанина на два шага назадъ и, снова взявъ его крѣпко за ухо, заговорилъ:

— Отецъ Савелій, вообразите-съ: прохожу улицей и вдругъ слышу говоръ. Мѣщане говорятъ о дождѣ, что дождь нынѣ ночью былъ посланъ послѣ молебствія, а сей (Ахилла уставилъ указательный палецъ лѣвой руки въ самый носъ моргавшаго Данилки), а сей это опровергалъ.

Туберозовъ поднялъ голову.

— Онъ, вообразите, говорилъ, опять началъ дьяконъ, потянувъ Данилку,—онъ говорилъ, что дождь, сею ночью шедшій, послѣ вчерашняго мірского молебствія, совсѣмъ не по молебствію ниспослѣдовалъ.

— Откуда же ты это знаешь?—сухо спросилъ Туберозовъ.

Сконфуженный Данилка молчалъ.

— Вообразите же, отецъ протопопъ! А онъ говорилъ, продолжалъ дьяконъ, — что дождь излился только силой природы.

— Къ чему же это ты такъ разсуждалъ?—процѣдилъ, собирая придыханіемъ съ ладони крошечки просфоры, отецъ Туберозовъ.

— По сомнѣнію, отецъ протопопъ, скромно отвѣчалъ Данилка.

— Сомнѣнія какъ и самомнѣнія, тебѣ, невѣждѣ круглому, вовсе не принадлежатъ, и посему достоинъ дѣлатель мзды своея и ты вполнѣ достойное по заслугамъ своимъ и принялъ. А потому ступай вонъ, празднословецъ, изъ моего дома.

Выпроводивъ за свой порогъ еретичествующаго Данилку, протоіерей опять чинно присѣлъ, молча докушалъ свой чай, и только, когда все это было обстоятельно покончено, сказалъ дьякону Ахиллѣ:

— А ты, отецъ дьяконъ, долго еще намѣренъ этакъ свирѣпствовать? Не я ли тебѣ внушалъ оставить твое заступничество и не давать рукамъ воли?

— Нельзя, отецъ протопопъ; утерпѣть было невозможно; потому что я ужъ это давно хотѣлъ доложить вамъ, какъ онъ, вообразите, все противъ божества и противъ бытописанія; но прежде я все это ему, по его глупости, снисходилъ доселѣ.

— Да; когда не нужно было снисходить, то ты тогда снисходилъ.

— Ей-Богу снисходилъ; но ужъ тогда онъ, слышу, началъ противъ обрядности...

— Да; ну, ты тогда что же сдѣлалъ?

Протопопъ улыбнулся.

— Ну, ужъ этого я не вытерпѣлъ.

— Да; такъ и надо было тебѣ съ нимъ всенародно подраться?

— И что же отъ того, что всенародно, отецъ протопопъ? Я предстою алтарю и обязанъ стоять за вѣру повсемѣстно. Святой Николай угодникъ Арія тоже вѣдь всенародно же смазалъ...

— То святой Николай, а то ты, перебилъ его Туберозовъ.—Понимаешь, ты ворона, и что довлѣетъ тебѣ яко воронѣ знать свое *кра*, а не въ свои дѣла не мѣшаться. Что ты костылемъ-то своимъ размахался? Забылъ ты, вѣрно,

что въ костылѣ два конца? На силищу свою, дромадеръ, все надѣешься!

— Полагаюсь-съ.

— Полагаешься? Ну, такъ не полагайся. Не сила твоя тебя спасла, а вотъ это, вотъ это спасло тебя, произнесъ протопопъ, дергая дьякона за рукавъ его рясы.

— Что-жъ, отецъ протопопъ, вы меня этимъ укоряете? Я вѣдь свой санъ и почитаю.

— Что! Ты свой санъ почитаешь?

Съ этимъ словомъ протопопъ сдѣлалъ къ дьякону шагъ и, хлопнувъ себя ладонью по колѣну, прошепталъ:

— А не знаете ли вы, отецъ дьяконъ, кто это у бакалейной лавки, сидючи съ приказчиками, папиросы куритъ?

Дьяконъ сконфузился и забубнилъ:

— Что-жъ, я, точно, отецъ протопопъ... этимъ я виноватъ, но это больше ничего, отецъ протопопъ, какъ по неосторожности, ей-право, по неосторожности.

— Смотрите, молъ, какой у насъ есть дьяконъ франтъ, какъ онъ хорошо папиросы муслитъ.

— Нѣтъ, ей-право, отецъ протопопъ, вообразите, совсѣмъ не для того. Что-жъ мнѣ этимъ хвалиться? Вѣдь этою табачною невоздержностью изъ духовныхъ не я же одинъ занимаюсь.

Туберозовъ оглянулъ дьякона съ головы до ногъ самымъ многозначащимъ взглядомъ и, вскинувъ вверхъ голову, спросилъ его:

— Что же ты мнѣ этимъ сказать хочешь? То ли, что, молъ, и ты самъ, протопопъ, куришь?

Дьяконъ смутился и ничего не отвѣтилъ.

Туберозовъ указалъ рукой на уголъ комнаты, гдѣ стояли его три черешневые чубука, и проговорилъ:

— Что такое я, отецъ дьяконъ, курю?

Дьяконъ молчалъ.

— Говорите же, потрудитесь, что я курю? Я трубку курю?

— Трубку курите, отвѣтилъ дьяконъ.

— Трубку? отлично. Гдѣ я ее курю? я ее дома курю?

— Дома курите.

— Иногда въ гостяхъ, у хорошихъ друзей курю.

— Въ гостяхъ курите.

— А не съ приказчиками же-съ я ее у лавокъ курю! вскрикнулъ, откидываясь назадъ, Туберозовъ и, постучавъ внушительно пальцемъ по своей ладони, добавилъ:—Ступай къ своему мѣсту, да смотри за собою. Я тебя много, много разъ удерживалъ, но теперь гляди: наступаютъ новые порядки, вводится новый судъ, и пойдутъ иные обычаи и ничто не будетъ въ тѣни, а все въ-явѣ, и тогда мнѣ тебя не защитить.

Съ этимъ протопопъ сталъ своею большущею ногой на соломенный стулъ и началъ бережно снимать рукой желтенькую канареечную клѣтку.

«Тьфу! Господи милосердый, за вѣру заступился и опять не въ такту!» проговорилъ въ себѣ Ахилла и, выйдя изъ дома протопопа, пошелъ скорыми шагами къ небольшому желтенькому домику, изъ открытыхъ оконъ котораго выглядывала цѣлая куча бѣлокуренькихъ дѣтскихъ головокъ.

Дьяконъ торопливо взошелъ на крылечко этого домика, потомъ съ крыльца вступилъ въ сѣни и, треснувшись о перекладину лбомъ, отворилъ дверь въ низенькую залу.

По залѣ, заложивъ назадъ маленькія ручки, расхаживалъ сухой, миніатюрный Захарія, въ подрясникѣ и съ длинною серебряною цѣпочкой на запавшей груди.

Ахилла входилъ въ домъ къ отцу Захарію совсѣмъ не съ тою физіономіей и не съ тою поступью, какъ къ отцу протопопу. Смущеніе, съ которымъ дьяконъ вышелъ отъ Туберозова, по мѣрѣ приближенія его къ дому отца Захаріи исчезало, и на самомъ порогѣ замѣнилось уже крайнимъ благодушіемъ. Дьяконъ отъ нетерпѣнія еще у порога начиналъ:

— Ну, отецъ Захарія! Ну... братъ ты мой милесенькій... Ну!..

— Что такое?—спросилъ съ кроткою улыбкой отецъ За-

харія:—чего это ты, чего егозишься, чего? и съ этимъ словомъ, не дождавшись отвѣта, сухенькій попикъ заходилъ снова.

Дьяконъ прежде всего весело расхохотался, а потомъ воскликнулъ:

— Вотъ, друже мой, какой мнѣ сейчасъ былъ пудромантель; охъ, отче, отъ мыла даже голова болитъ. Вели скорѣе дать маленькій опрокидонтикъ?

— Опрокидонтъ? Хорошо. Но кто же это, кто, молъ, тебя пробиралъ?

— Да, разумѣется, министръ юстиціи.

— Ага! Отецъ Савелій.

— Никто же другой. Дѣло, отецъ Захарія, необыкновенное по началу своему и по окончанію необыкновенное. Я старался какъ заслужить, а онъ все смялъ, повернулъ Богъ знаетъ куда лицомъ и вывелъ что-то такое, чего я, хоть убей, теперь не пойму и разсказать не умѣю.

Однако же дьяконъ, присѣвъ и выпивъ поданную ему на тарелкѣ рюмку водки, съ мельчайшими подробностями передалъ отцу Захаріи всю свою исторію съ Данилкой и съ отцомъ Туберозовымъ. Захарія, во все время этого разсказа, ходилъ тою же подпрыгивающею походкой, и лишь только на секунду пріостанавливался, по временамъ устранялъ со своего пути то одну, то другую изъ шныявшихъ по комнатѣ бѣлокурыхъ головокъ, да когда дьяконъ совсѣмъ кончилъ, то онъ при самомъ послѣднемъ словѣ его разсказа, закусивъ губами кончикъ бороды, проронилъ внушительное: «да-съ, да, да, да, однако ничего».

— Я больше никакъ не разсуждаю, что онъ въ гнѣвѣ и еще...

— Да, и еще что такое? Подите вы прочь, пострѣлята! Такъ, и что такое еще?—любопытствовалъ Захарія, распихивая съ дороги дѣтей.

— И что я еще въ это время такъ неполитично трубки коснулся, объяснилъ дьяконъ.

— Да, ну, конечно... разумѣется... отчасти оно могло и

это... Подите вы прочь, пострѣлята!.. Впрочемъ, полагать можно, что онъ не на тебя недоволенъ. Да, оно даже и вѣрно, что не на тебя.

— Да и я говорю тоже, что не на меня: за что ему на меня быть недовольнымъ? Я ему, вы знаете, безъ лести преданъ.

— Да, это не на тебя: это онъ... я такъ полагаю... Да уйдете ли вы съ дороги прочь, пострѣлята!.. Это онъ душою... понимаешь?

— Скорбенъ, сказалъ дьяконъ.

Отецъ Захарія помоталъ ручкой около своей груди и сдѣлавъ кислую гримаску на лицѣ, проговорилъ:

— Возмущенъ.

— Уязвленъ, рѣшилъ дьяконъ Ахилла, — знаю: его все учитель Варнавка гнѣвитъ, ну да я съ Варнавкой скоро сдѣлаю и прочее, и прочее!

И съ этимъ дьяконъ, ничего въ подробности не объясняя, простился съ Захаріей и ушелъ.

Идучи по дорогѣ домой, Ахилла повстрѣчался съ Данилкой, остановилъ его и сказалъ:

— А ты, братъ Данилка, сдѣлай милость, на меня не сердись. Я если тебя и наказалъ, то совершенно по христіанской моей обязанности наказалъ.

— Всенародно оскорбили, отецъ дьяконъ!—отвѣчалъ Данилка тономъ обиженнымъ, но звучащимъ склонностью къ примиренію.

— Ну, и что-жъ ты теперь со мною будешь дѣлать, что обидѣлъ? Я знаю, что я обидѣлъ, но когда я строгъ... Я же вѣдь это не нагло; я тебѣ вѣдь еще въ прошломъ году, когда засталъ тебя, что ты въ сѣняхъ у исправника отца Савельеву ризу надѣвалъ и крапиломъ крапилъ, я тебѣ еще тогда говорилъ: «Разсуждай, Данила, по бытописанію какъ хочешь, я по наукѣ много не смыслю, но обряда не касайся». Говорилъ я вѣдь тебѣ этакъ или нѣтъ? Я говорилъ: «не касайся, Данила, обряда».

Данилка нехотя кивнулъ головой и пробурчалъ:

— Можетъ быть и говорили.

— Нѣтъ, ты, братъ, не финти, а сознавайся! Я навѣрно говорилъ, я говорилъ: не касайся обряда, вотъ все! А почему я такъ говорилъ? Потому что это наша жизненность, наше существо, и ты его не касайся. Понялъ ты это теперь?

Данила только отвернулся въ сторону и улыбался: ему самому было смерть смѣшно, какъ дьяконъ велъ его по улицѣ за ухо, но другіе, находившіеся при этомъ разговорѣ мѣщане, шутя и тоже едва сдерживая свой смѣхъ, упрекали дьякона въ излишней строгости.

— Нѣтъ, строги вы, сударь, отецъ дьяконъ! Ужъ очень не въ мѣру строги, говорили они ему.

Ахилла, выслушавъ это замѣчаніе, подумалъ и, добродѣтельно вздохнувъ, положилъ свои руки на плечи двухъ ближе стоящихъ мѣщанъ и сказалъ:

— Строгъ, вы говорите: да, я, точно, строгъ, это ваша правда, но за то я и справедливъ. А еслибъ это дѣло къ мировому судьѣ?—Гораздо хуже.—Сейчасъ три рубля въ пользу дѣтскихъ пріютовъ взыщетъ!

— Ничего-съ: иной мировой судья за это еще рубль серебра на чай дастъ.

— Ну, вотъ видишь! нѣтъ, я, братецъ, знаю, что я справедливъ.

— Что̀ же за справедливость? Не Богъ знаетъ какъ вы, отецъ дьяконъ, и справедливы.

— Это почему?

— А потому, что Данила много ли тутъ виноватъ, что онъ только повторилъ, какъ ему ученый человѣкъ сказывалъ? Это вѣдь по-настоящему, если такъ судить, вы Варнаву Васильича должны остепенять, потому что это онъ намъ сказывалъ, а Данила только сомнѣвался, что не то это, какъ учитель говорилъ, дождь отъ естества вещей, не то отъ молебна! Вотъ еслибы вы оттрясли учителя, это точно было бы законъ.

— Учителя?.. Дьяконъ развелъ широко руки, вытянулъ

къ носу хоботкомъ обѣ свои губы и, постоявъ такъ секунду предъ мѣщанами, прошепталъ:—Законъ!.. Законъ-то это, я знаю, велитъ... да вотъ отецъ Савелій не велитъ... и невозможно!

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Прошло нѣсколько дней: Туберозовъ убѣдился, что онъ совершенно напрасно опасался, какъ бы несдержанные поступки дьякона Ахиллы не навлекли какія-нибудь судебныя непріятности; все благополучно шло по-старому; люди разнообразили свою монотонную уѣздную жизнь тѣмъ, что ссорились для того, чтобы мириться, и мирились для того, чтобы снова ссориться. Покою ничто не угрожало; напротивъ, даже Туберозову былъ ниспосланъ прекрасный день, который онъ провелъ въ чистѣйшемъ восторгѣ. Это былъ день именинъ исправницы, наступившій вскорѣ за тѣмъ днемъ, когда Ахилла, въ своей, по вѣрѣ, ревности, устроилъ публичный скандалъ съ комиссаромъ Данилкой. Когда всѣ гости, собравшіеся на исправницкій пирогъ, были заняты утоленіемъ своего аппетита, хозяинъ, подойдя случайно къ окну, вдругъ громко крикнулъ женѣ:

— Боже мой! Посмотри-ка, жена, какіе къ тебѣ гости!

— Кто же тамъ, кто?—отозвалась исправница.

— А ты посмотри.

Именинница, а съ ней вмѣстѣ и всѣ бывшіе въ комнатѣ гости бросились къ окнамъ, изъ которыхъ было видно, какъ съ горы осторожно, словно трехглавый змѣй на чревѣ, спускалась могучая тройка рослыхъ буланыхъ коней. Коренникъ мнется и тычетъ ногами, какъ старый генералъ, подходящій, чтобы кого-то распечь: онъ то скуситъ губу налѣво, то скуситъ ее направо, то встряхнетъ головой и опять тычетъ и тычетъ ногами; пристяжныя то вьются какъ отыскивающіе vis-à-vis уланскіе корнеты, то сжимаются въ клубочки какъ спутанныя овцы; малиновый колокольчикъ шлепнетъ колечкомъ въ край и снова прилипъ и молчитъ; одни бубенчики глухо рокочутъ, но рокочутъ

безъ всякаго звона. Но вотъ этотъ трехглавый змѣй сползъ и распустился: показались хребты коней, махнулъ въ воздухѣ хвостъ пристяжной; изъ-подъ вѣтра взвѣяла грива; тройка выравнялась и понеслась по мосту. Показались золоченая дуга съ травленою росписью и большія старинныя, бронзой кованыя, троечныя дрожки гитарой. На дрожкахъ рядкомъ, какъ сидятъ на козеткахъ, сидѣли два маленькія существа: одно мужское и одно женское; мужчина былъ въ темно-зеленой камлотовой шинели и въ большомъ картузѣ изъ шляпнаго волокнистаго плюша, а женщина въ масаковомъ гроденаплевомъ солопѣ, съ лиловымъ бархатнымъ воротникомъ, и въ чепчикѣ съ коричневыми лентами.

— Боже, да это Плодомасовскіе карлики! — Не можетъ быть!—Смотрите сами!—Точно, точно!—Да какъ же: вонъ Николай-то Аѳанасьичъ, видите, увидѣлъ насъ и кланяется; а вонъ и Марья Аѳанасьевна киваетъ.

Такіе возгласы раздались со всѣхъ сторонъ при видѣ карликовъ, и всѣ словно ни вѣсть чему обрадовались: хозяева захлопотали возобновленіемъ для новыхъ гостей завтрака, а прежніе гости внимательно смотрѣли на двери, въ которыя должны были показаться маленькіе люди, и они, наконецъ, показались.

Впереди шелъ старичокъ, ростомъ съ небольшого восьмилѣтняго мальчика; за нимъ старушка немного побольше.

Старичокъ былъ весь чистота и благоразуміе: на лицѣ его и слѣда нѣтъ ни желтыхъ пятенъ, ни морщинъ, обыкновенно портящихъ лица карликовъ: у него была очень пропорціональная фигура, круглая, какъ шаръ, головка, покрытая совершенно бѣлыми, коротко остриженными волосами, и небольшіе коричневые медвѣжьи глазки. Карлица лишена была пріятности брата: она была одутловата, у нея былъ глуповатый чувственный ротъ и тупые глаза.

На карликѣ Николаѣ Аѳанасьевичѣ, не смотря на жаркое время года, были надѣты теплые плисовые сапожки, черные панталоны изъ лохматой байки, желтый фланелевый жилетъ и коричневый фракъ съ металлическими пугови-

цами. Бѣлье его было безукоризненной чистоты, и щечки его туго поддерживалъ высокій атласный галстухъ. Карлица была въ шолковомъ зеленомъ капотѣ и большомъ кружевномъ воротникѣ.

Николай Аѳанасьевичъ, войдя въ комнату, вытянулъ ручки по швамъ, потомъ приподнялъ правую руку съ картузомъ къ сердцу, шаркнулъ ножкой объ ножку и, направясь въ развалецъ прямо къ именинницѣ, проговорилъ тихимъ и ровнымъ старческимъ голосомъ:

— Господинъ нашъ Никита Алексѣичъ Плодомасовъ и господинъ Парменъ Семеновичъ Тугановъ, отъ себя и отъ супруги своей, изволили приказать намъ, ихъ слугамъ, принести вамъ, сударыня Ольга Арсентьевна, ихъ поздравленіе. Сестрица, повторите, отнесся онъ къ стоявшей возлѣ него сестрѣ, и когда та кончила свое поздравленіе, Николай Аѳанасьевичъ шаркнулъ исправнику и продолжалъ:

— А васъ, сударь Воинъ Васильевичъ, и всю честную компанію—съ дорогою именинницей. И затѣмъ, сударь, имѣю честь доложить, что, приславъ насъ съ сестрицей для принесенія вамъ ихъ поздравленія, и господинъ мой, и Парменъ Семеновичъ Тугановъ просятъ извиненія за наше холопье посольство; но сами теперь въ своихъ минутахъ не вольны и принесутъ вамъ въ томъ извиненіе сегодня вечеромъ.

— Парменъ Семенычъ будетъ здѣсь?—воскликнулъ исправникъ.

— Вмѣстѣ съ господиномъ моимъ Никитою Алексѣичемъ Плодомасовымъ, проѣздомъ въ Петербургъ, просятъ васъ простить, что заѣдутъ въ дорожномъ положеніи.

Въ обществѣ по поводу этого извѣстія возникла маленькая суета, пользуясь которою карликъ подошелъ подъ благословеніе къ Туберозову и тихо проговорилъ:

— Парменъ Семеновичъ просили васъ быть вечеромъ здѣсь.

— Скажи, голубчикъ, буду, отвѣчалъ Туберозовъ.

Карликъ взялъ благословеніе у Захаріи. Дьяконъ Ахилла

взялъ ручку у почтительно поклонившагося ему маленькаго человѣчка, который при этомъ, улыбнувшись, проговорилъ:

— Только сдѣлайте милость, сударь, надо мною силы богатырской не пробуйте!

— А что, Николай Аѳанасьичъ, развѣ онъ того... здоровъ?—пошутилъ хозяинъ.

— Силу пробовать любятъ-съ, отвѣчалъ старичокъ.— Есть надъ кѣмъ? Надъ калѣчкой.

— А что ваше здоровье, Николай Аѳанасьичъ?—пытали карлика дамы, окружая его со всѣхъ сторонъ и пожимая его рученки.

— Какое, государыни, мое здоровье! Смѣхъ отвѣчать; точно поросенокъ сталъ. Петровки на дворѣ,—а я все зябну!

— Зябнете?

— Да какъ же-съ: вотъ можете посудить, потому что весь въ мѣшокъ заячій зашитъ. Да и чему дивиться-то-съ. государи мои, станемъ? Восьмой десятокъ лѣтъ вѣдь ужъ совершилъ ненужный человѣкъ.

Николая Аѳанасьича на перебой засыпали вопросами о различныхъ предметахъ, усаживали, подчивали всѣмъ: онъ отвѣчалъ на всѣ вопросы умно и находчиво, но отказывался отъ всѣхъ угощеній, говоря, что давно ужъ ѣстъ мало, и то какой-нибудь овощикъ.

— Вотъ сестрица покушаютъ, говорилъ онъ, обращаясь къ сестрѣ.—Садитесь, сестрица, кушайте, кушайте! Чего церемониться? А не хотите безъ меня, такъ позвольте мнѣ, сударыня Ольга Арсентьевна, морковной начиночки изъ пирожка на блюдце... Вотъ такъ, довольно-съ, довольно! Теперь, сестрица, кушайте, а съ меня довольно. Меня и кормить-то ужъ не за что; нитянаго чулка вязать, и того уже теперь путемъ не умѣю. Лучше гораздо сестрицы вязалъ когда-то, и даже бродери англезъ выплеталъ, а нынче что ни стану вязать, все петли спускаю.

— Да; бывало, Никола, ты славно вязалъ!—отозвался Туберозовъ, весь оживившійся и повеселѣвшій съ прибытіемъ карлика.

— Ахъ, отецъ Савелій! Время, государь, время!—карликъ улыбнулся и договорилъ шутя.—А къ тому же и строгости надо мной, ваше высокопреподобіе, нынче не стало; избаловался послѣ смерти моей благодѣтельницы. Что? хлѣбъ-соль готовые, кровъ теплый, всегда лѣнюсь.

Протоіерей посмотрѣлъ со счастливою улыбкой въ глаза карлику и сказалъ:

— Вижу я тебя, Никола, словно милую сказку старую предъ собою вижу, съ которою умереть бы хотѣлось.

— А она, батушка (карликъ говорилъ *у* вмѣсто *ю*), она, сказка-то добрая, прежде насъ померла.

— А забываешь, Николушка, про госпожу-то свою? Про боярыню-то свою, Марѳу Андреевну, забываешь?—вопрошалъ юля около карлика дьяконъ Ахилла, котораго Николай Аѳанасьевичъ все какъ бы опасался и остерегался.

— Забывать, сударь отецъ дьяконъ, я уже старъ, я уже и самъ къ ней, къ утѣшительницѣ моей, служить на томъ свѣтѣ давно собираюсь, отвѣчалъ карликъ очень тихо и съ легкимъ только полуоборотомъ въ сторону Ахиллы.

— Утѣшительная, говорятъ, была эта старуха, отнесся безразлично ко всему собранію дьяконъ.

— Ты это въ какомъ же смыслѣ берешь ея утѣшительность?—спросилъ Туберозовъ.

— Забавная!

Протопопъ улыбнулся и махнулъ рукой, а Николай Аѳанасьевичъ поправилъ Ахиллу, твердо сказавъ ему:

— Утѣшительница, сударь, *утѣшительница*, а не забавница.

— Что ты ему внушаешь, Никола. Ты лучше разскажи, какъ она тебя ожесточила-то? Какъ откупъ-то сдѣлала? — посовѣтовалъ протопопъ.

— Что, отецъ протопопъ, старое это, сударь.

— Наитеплѣйше это у него выходитъ, когда онъ разсказываетъ, какъ онъ ожесточился,—обратился Туберозовъ къ присутствующимъ.

— А ужъ такъ, батушка, она, госпожа моя, умѣла че-

ловѣка и ожесточить и утѣшить, и ожесточала и утѣшала, какъ развѣ только одинъ ангелъ Господень можетъ утѣшить, — сейчасъ же отозвался карликъ. — Въ сокровенную души, бывало, человѣка проникнетъ и утѣшитъ, и мановеніемъ своимъ всю благую для него на земли совершитъ.

— А ты, въ самомъ дѣлѣ, разскажи, какъ это ты ожесточенъ былъ?

— Да, разскажи, Николаша, разскажи!

— Что жъ, милостивые государи, смѣетесь ли вы, или не смѣетесь, а вправду интересуетесь объ этомъ слышать, но если вся компанія желаетъ, то уже я ослушаться не смѣю, разскажу.

— Пожалуста, Николай Аѳанасьичъ, разсказывай.

— Разскажу, — отвѣчалъ улыбнувшись карликъ, — разскажу, потому что повѣсть эта даже и пріятна.—Съ этими словами карликъ началъ:

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

— Это всего было чрезъ годъ какъ они меня у прежнихъ господъ купили. Я прожилъ этотъ годокъ въ ужасной грусти, потому что былъ оторванъ, знаете, отъ крови родной и отъ фамиліи. Разумѣется, виду этого, что грущу, я не подавалъ, чтобы какъ помѣщицѣ о томъ не донесли, или бы сами онѣ не замѣтили; но только все это было втунѣ, потому что покойница все это провидѣли. Стали приближаться мои именины, онѣ и изволятъ говорить:

«— Какой же,—говорятъ,—я тебѣ, Николай, подарокъ подарю?

«— Матушка,—говорю,—какой мнѣ еще, глупцу, подарокъ? Я и такъ всѣмъ свыше главы моей доволенъ.

«— Нѣтъ, изволятъ говорить, я думаю тебя хоть рублемъ одарить.

«Что жъ, я отказываться не посмѣлъ, поцѣловалъ ея ручку и говорю:

«— Много, говорю, вашею милостью взысканъ, и самъ опять сѣлъ чулокъ вязать. Я еще тогда хорошо глазами

видѣлъ и даже въ гвардію нитяные чулки на господина моего, Алексѣя Никитича, вязалъ. Вяжу, сударь. чулокъ-то, да и заплакалъ. Богъ знаетъ чего заплакалъ, такъ, знаете, вспомнилось что-то про родныхъ, предъ днемъ ангела, и заплакалъ. А Марѳа Андреевна видятъ это, потому что я напротивъ ихъ кресла на подножной скамеечкѣ всегда вязалъ и спрашиваютъ:

«— Чего жъ ты это, изволятъ говорить, Николаша плачешь?

«— Такъ, отвѣчаю, матушка, что-то слезы такъ... да, и знаете, что̀ имъ доложить-то, отчего плачу, и не знаю. Всталъ, ручку ихъ поцѣловалъ, да и опять сѣлъ на свою скамеечку. Не извольте, говорю, сударыня, обращать взоровъ вашихъ на эту слабость, это я такъ, сдуру, эти мои слезы пролилъ.

«И опять сидимъ да работаемъ; и я чулокъ вяжу, и онѣ чулочекъ вязать изволятъ. Только вдругъ онѣ этакъ повязали, повязали и изволятъ спрашивать:

«— А куда же ты, Николай, рубль-то дѣнешь, что я тебѣ завтра подарить хочу?

«— Тятенькѣ, говорю, сударыня, своему при вѣрной оказіи отправлю.

«— А если, говорятъ, я тебѣ два подарю?

«— Другой, докладываю, маменькѣ пошлю.

«— А если три?

«— Братцу, говорю, Ивану Аѳанасьевичу.

«Онѣ покачали головой да изволятъ говорить:

«— Много же какъ тебѣ, братецъ, денегъ-то надо, чтобы всѣхъ одѣлить! Этого ты, такой маленькій, и вѣкъ не заслужишь.

«— Господу, говорю, было угодно меня такимъ создать,—да съ сими словами и опять заплакалъ; опять сердце, знаете, сжалось: и сержусь на свои слезы и плачу. Онѣ же, покойница, глядѣли, глядѣли на меня и этакъ молчкомъ меня къ себѣ однимъ пальчикомъ и поманули: я упалъ имъ въ ноги, а онѣ положили мою голову въ колѣни, да и я

плачу, и онѣ изволятъ плакать. Потомъ встали да и говорятъ:

«— Ты никогда не ропщешь, Николаша, на Бога?

«— Какъ же, говорю, матушка, можно на Бога роптать? Никогда не ропщу!

«— Ну, Онъ, изволятъ говорить, тебя за это и утѣшитъ.

«Встали онѣ, знаете, съ этимъ словомъ, велѣли мнѣ приказать, чтобы къ нимъ послали бурмистра Дементія въ ихъ нижній разрядный кабинетъ и сами туда отправились.

«— Не плачь, говорятъ, Николаша! тебя Господь утѣшитъ.

«И точно утѣшилъ.

При этомъ Николай Аѳанасьевичъ вдругъ заморгалъ частенько своими тонкими вѣками и, проворно соскочивъ со стула, отбѣжалъ въ уголокъ, гдѣ утеръ бѣлымъ платочкомъ глаза и возвратился со стыдливою улыбкой на свое мѣсто. Снова усѣвшись, онъ началъ совсѣмъ другимъ, торжественнымъ голосомъ, очень мало напоминавшимъ прежній:

— Встаю я, судари мои, рано: сходилъ потихоньку, умылся, потому что я у нихъ, у Марѳы Андреевны въ ножкахъ за ширмой, на коврѣ спалъ, да и пошелъ въ церковь, чтобъ у отца Алексѣя послѣ утрени молебенъ отслужить. Вошелъ я, сударь, въ церковь и прошелъ прямо въ алтарь, чтобъ у отца Алексѣя благословеніе принять, и вижу, что покойникъ отецъ Алексѣй какъ-то необыкновенно радостны въ выраженіи и меня шопотливо поздравляютъ съ радостью. Я это отнесъ, разумѣется, къ праздничному дню и къ именинамъ моимъ. Но что жъ тутъ, милостивые государи, послѣдовало! Выхожу я съ просфорой на лѣвый клиросъ, такъ какъ я съ покойнымъ дьячкомъ Ефимычемъ на лѣвомъ клиросѣ тонкимъ голосомъ пѣлъ, и вдругъ мнѣ въ народѣ представились и матушка, и отецъ, и братецъ Иванъ Аѳанасьевичъ. Батушку-то съ матушкой я въ народѣ еще и не очень вижу, но братецъ Иванъ Аѳанасьевичъ, онъ такой былъ... этакой гвардіонъ, я его сейчасъ увидалъ. Думаю, это видѣніе! Потому что очень ужъ я желалъ ихъ въ

этотъ день видѣть. Нѣтъ, не видѣніе! Вижу, маменька,— крестьянка онѣ были,—такъ и убиваются плачутъ. Думаю, вѣрно у своихъ господъ отпросились и издалека да пришли съ своимъ дитемъ повидаться. Разумѣется, я, чтобы благочинія церковнаго не нарушать, только подошелъ къ родителямъ, къ братцу, поклонился имъ въ поясъ и ушелъ скорѣй совсѣмъ въ алтарь, и самъ уже не пѣлъ... Потому рѣшительно скажу: не могъ-съ! Ну-съ; такъ и заутреня и обѣдня по чину, какъ должно, кончились, и тогда... Вотъ только опять боюсь, чтобъ эти слезы дурацкія опять разсказать не мѣшали, проговорилъ, быстро обмахнувъ платочкомъ глаза, Николай Аѳанасьевичъ.—Выхожу я, сударь, послѣ обѣдни, изъ алтаря, чтобы святителю по моему заказу молебенъ отслужить, а смотрю — предъ аналоемъ съ иконой стоитъ сама Марѳа Андреевна, къ обѣдни пожаловали, а за нею вотъ онѣ самыя, сестрица Марья Аѳанасьевна, которую предъ собой изволите видѣть, родители мои и братецъ. Стали пѣть «святителю отче Николае», и вдругъ отецъ Алексѣй на молитвѣ всю родню мою поминаетъ. Очень я былъ всѣмъ этимъ, сударь, тронутъ: отцу Алексѣю я, по состоянію своему, что имѣлъ заплатилъ, хотя они и брать не хотѣли, но это нельзя же даромъ молиться, да и подхожу къ Марѳѣ Андреевнѣ, чтобы поздравить. А онѣ меня тихонько ручкой отъ себя отстранили и говорятъ:

«— Иди прежде родителямъ поклонись!

« Я повидался съ отцомъ, съ матушкой, съ братцемъ, и все со слезами. Сестрица Марья Аѳанасьевна (Николай Аѳанасьевичъ съ ласковою улыбкой указалъ на сестру), сестрица ничего не плачутъ, потому что у нихъ характеръ лучше, а я слабъ и плачу. Тутъ, батушка, выходимъ мы на паперть, госпожа моя Марѳа Андревна достаютъ изъ карманчика кошелечекъ кувшинчикомъ, и самъ я видѣлъ даже, какъ онѣ этотъ кошелечекъ вязали, да не зналъ, разумѣется, кому онъ. «Одари, говорятъ мнѣ, Николаша, свою родню». Я начинаю одарять: тятенькѣ серебряный рубль, маменькѣ рубль, братцу Ивану Аѳанасьевичу рубль, и все новые

рубли, а въ кошелькѣ и еще четыре рубля. Это, говорю, матушка, для чего прикажете? А ко мнѣ, гляжу, бурмистръ Дементій и подводитъ и невѣстушку, и трехъ ребятишекъ,— всѣ въ свиткахъ. Всѣхъ я, по ея великой милости, одарилъ, и пошли мы домой изъ церкви всѣ вмѣстѣ: и покойница госпожа, и отецъ Алексѣй, и я, сестрица Марья Аѳанасьевна и родители, и всѣ дѣти братцевы. Сестрица Марья Аѳанасьевна опять и здѣсь идутъ, ничего разумно, ну, а я, глупецъ, все и тутъ, самъ не знаю чего, рѣкой разливаюсь плачу. Но все же, однако, я, милостивые государи, до сихъ поръ хоть и плакалъ, но шелъ; но тутъ, батушка, у крыльца господскаго, вдругъ смотрю, вижу стоятъ три подводы, лошади запряжены разгонныя господскія Марѳы Андревны, а братцевы двѣ лошаденки сзади прицѣплены, и на телѣгахъ вижу весь багажъ моихъ родителей и братца. Я, батушка, этимъ смутился, и не знаю, что̀ думать. Марѳа Андревна до сего времени, идучи съ отцемъ Алексѣемъ, все о покосахъ изволили разговаривать и вниманія на меня будто не обращали, а тутъ вдругъ ступили ножками на крыльцо, оборачиваются ко мнѣ и изволятъ говорить такое слово: «Вотъ тебѣ, слуга мой, отпускная: пусти своихъ стариковъ и брата съ дѣтьми на волю!» и положили мнѣ за жилетъ эту отпускную... Ну, ужъ этого я не перенесъ...

Николай Аѳанасьевичъ приподнялъ руки вровень съ своимъ лицомъ и заговорилъ:

— Ты!—закричалъ я въ безуміи,—такъ это все ты, говорю, жестокая, стало быть совсѣмъ хочешь такъ раздавить меня благостію своей! И тутъ грудь мнѣ перехватило, виски заныли, въ глазахъ по всему свѣту замелькали лампады и я безъ чувствъ упалъ у отцовскихъ возовъ съ тою отпускной.

— Ахъ, старичокъ, какой чувствительный!—воскликнулъ растроганный Ахилла, хлопнувъ по плечу Николая Аѳанасьевича.

— Да-съ,—продолжалъ, вытеревъ себѣ ротикъ, карло.— А пришелъ-то я въ себя ужъ черезъ девять дней, потому что горячка у меня сдѣлалась и то-съ осматриваюсь и

вижу, госпожа сидитъ у моего изголовья и говоритъ: «Охъ, прости ты меня, Христа ради, Николаша: чуть я тебя съумасшедшая не убила!» Такъ вотъ она какой великанъ-то была, госпожа Плодомасова!

— Ахъ, ты, старичокъ прелестный!—опять воскликнулъ дьяконъ Ахилла, схвативъ Николая Аѳанасьевича въ шутку за пуговочку фрака и какъ бы оторвавъ ее.

Карла молча попробовалъ эту пуговицу и, удостовѣрясь, что она цѣла и на своемъ мѣстѣ, сказалъ:

— Да-съ, да, я ничтожный человѣкъ, а онѣ заботились обо мнѣ, довѣряли; даже скорби свои иногда мнѣ открывали, особенно когда въ разлукѣ по Алексѣю Никитичу скорбѣли. Получатъ, бывало, письмо, сейчасъ сначала скоро-скоро сами про себя пробѣжатъ, а потомъ и все вслухъ читаютъ. Онѣ сидятъ читаютъ, а я предъ ними стою, чулокъ вяжу, да слушаю. Прочитаемъ и въ розговоръ сейчасъ вступимъ: «Теперь его въ офицеры, бывало, скажутъ, должно быть скоро произведутъ». А я говорю: ужъ по ранжиру, матушка, непремѣнно произведутъ. Тогда разсуждаютъ: «Какъ ты, Николаша, думаешь, ему вѣдь больше надо будетъ денегъ посылать».—А какъ же, отвѣчаю, матушка, непремѣнно тогда надо больше. «То-то, скажутъ, намъ вѣдь здѣсь деньги все равно и ненужны». Да намъ, молъ, онѣ на что же, матушка, нужны! А сестрица Марья Аѳанасьевна вдругъ въ это время не потрафятъ и смолчатъ, покойница на нихъ за это сейчасъ и разгнѣваются. «Деревяшка ты, скажутъ, деревяшка! Недаромъ мнѣ тебя за братомъ въ придачу даромъ отдали».

Николай Аѳанасьевичъ вдругъ спохватился, страшно покраснѣлъ и, повернувшись къ своей тупоумной сестрѣ, проговорилъ:

— Вы простите меня, сестрица, что я это разсказываю?

— Сказывайте, ничего, сказывайте,—отвѣчала, водя языкомъ за щекой, Марья Аѳанасьевна.

— Сестрица, бывало, расплачутся, — продолжалъ успокоенный Николай Аѳанасьевичъ,—а я ее куда-нибудь въ

уголокъ или на лѣстницу тихонечко съ глазъ Марѳы Андревны выманю и уговорю. Сестрица, говорю, успокойтесь; пожалѣйте себя, эта немилость къ милости. И точно, горячее, да сплывчивое сердце ихъ сейчасъ скоро и пройдетъ: «Марья!» бывало, зовутъ черезъ минутку. «Полно, мать, злиться-то. Чего ты кошкой-то ощетинилась, иди сядь здѣсь, работай». Вы вѣдь, сестрица, не сердитесь?

— Сказывайте, что-жъ мнѣ? сказывайте,—отвѣчала Марья Аѳанасьевна.

— Да-съ; тѣмъ, бывало, и кончено. Сестрица возьмутъ скамеечку, подставятъ у ихъ ножекъ и опять начинаютъ вязать. Ну, тутъ я ужъ, какъ это спокойствіе водворится, сейчасъ подхожу къ Марѳѣ Андревнѣ, попрошу у нихъ ручку поцѣловать и скажу: покорно васъ, матушка, благодаримъ. Сейчасъ всѣ даже слезой взволнуются. «Ты у меня, говорятъ, Николай, нѣжный. Отчего это только, я понять не могу, отчего она у насъ такая деревянная?» скажутъ опять на сестрицу.— А я, продолжалъ Николай Аѳанасьевичъ, улыбнувшись, — я эту рѣчь ихъ сейчасъ по-секретарски подъ сукно, подъ сукно. Сестрица! шепчу, сестрица, попросите ручку поцѣловать, Марѳа Андревна! услышутъ и сейчасъ все и конецъ: «Сиди ужъ, мать моя, скажутъ сестрицѣ, не надо мнѣ твоихъ поцѣлуевъ». И пойдемъ колтыхать спицами въ трое рукъ. Только и слышно, что спицы эти три-ти-ти-ти-три-ти-ти, да мушка ж-ж-жу, ж-жу, ж-жу пролетитъ. Вотъ въ какой тишинѣ мы всю жизнь и жили!

— Ну, а васъ же самихъ съ сестрицей на волю она не отпустила?—спросилъ кто-то, когда карликъ хотѣлъ встать, окончивъ свою повѣсть.

— На волю? Нѣтъ, сударь, не отпускали. Сестрица, Марья Аѳанасьевна, были приписаны къ родительской отпускной, а меня не отпускали. Онѣ, бывало, изволятъ говорить: «Послѣ смерти моей живи гдѣ хочешь (потому что онѣ на меня капиталъ для пенсіи положили), а пока жива, я тебя на волю не отпущу». Да и на что, говорю, мнѣ, матушка, она, воля? Меня на ней воробьи заклюютъ.

— Ахъ ты, маленькій этакой!—воскликнулъ въ умиленіи Ахилла.

— Да, а что вы такое думаете? И конечно-съ заклюютъ, подтвердилъ Николай Аѳанасьевичъ.—Вонъ у насъ дворецкій Глѣбъ Степановичъ, какой былъ мужчина, просто красота, а на волю ихъ отпустили, они гостиницу открыли и занялись винцомъ, и теперь по гостиному двору ходятъ, да купцамъ за грошъ «скупого рыцаря» изъ себя представляютъ. Развѣ это хорошо?

— Онъ вѣдь у нея во всемъ правая рука былъ, Николай-то Аѳанасьевичъ,—отозвался Туберозовъ, желая возвысить этимъ отзывомъ заслуги карлика и снова наладить разговоръ на желанную тему.

— Служилъ, батушка отецъ протоіерей, по разумѣнію своему служилъ. Въ Москву и въ Питеръ покойница ѣзжали, никогда горничныхъ съ собою не брали. Терпѣть женской прислуги въ дорогѣ не могли. Изволятъ, бывало, говорить: «Все эти Милитрисы Кирбитьевны квохчутъ, да въ гостиницахъ по коридорамъ расхаживаютъ, да знакомятся, а Николаша, говорятъ, у меня какъ заяцъ въ углѣ сидитъ». Онѣ вѣдь меня за мужчину вовсе не почитали, а все: заяцъ.

Николай Аѳанасьевичъ разсмѣялся и добавилъ:

— Да и взаправду, какой же я ужъ мужчина, когда на меня, извините, ни сапожковъ и никакого мужского платья готоваго нельзя купить, — не придется. Это и точно ихъ слово справедливое было, что я заяцъ.

— Трусъ! трусъ! трусъ!—заговорилъ, смѣясь и оглаживая карлика по плечамъ, Ахилла.

— Но не совсѣмъ же она тебя считала зайцемъ, когда хотѣла женить?—отозвался къ карлику исправникъ Порохонцевъ.

— Это, батушка Воинъ Васильичъ, было. Было, сударь, добавилъ онъ все понижая голосъ,—было.

— Неужто, Николай Аѳанасьичъ, было?—откликнулось разомъ нѣсколько голосовъ.

Николай Аѳанасьевичъ покраснѣлъ и шопотомъ уронилъ.

— Грѣхъ лгать—было.

Всѣ, кто здѣсь на это время находились, разомъ пристали къ карлику:

— Голубчикъ, Николай Аѳанасьичъ, разскажите про это!

— Ахъ, господа, про что тутъ разсказывать?—отговаривался, смѣясь, краснѣя и отмахиваясь отъ просьбъ руками, Николай Аѳанасьевичъ.

Его просили неотступно; дамы брали его за руку, цѣловали его въ лобъ; онъ ловилъ на лету прикасавшіяся къ нему дамскія руки и цѣловалъ ихъ, но все-таки отказывался отъ разсказа, находя его долгимъ и незанимательнымъ. Но вотъ что-то вдругъ неожиданно стукнуло о полъ, именинница, стоявшая въ эту минуту предъ кресломъ карлика, въ испугѣ посторонилась и глазамъ Николая Аѳанасьевича представился колѣнопреклоненный, съ воздѣтыми кверху руками, дьяконъ Ахилла.

— Душка!—мотая головой, выбивалъ Ахилла.—Разскажи, какъ тебя женить хотѣли!

— Скажу, все разскажу, только поднимитесь, отецъ дьяконъ.

Ахилла всталъ и, обмахнувъ съ рясы пыль, самодовольно возгласилъ:

— Ага! А что-съ? А то, говорятъ, не разскажетъ! Съ чего такъ не разскажетъ? Я сказалъ—выпрошу, вотъ и выпросилъ. Теперь, господа, опять по мѣстамъ, и чтобъ тихо; а вы, хозяйка, велите Николашѣ за это, что онъ будетъ разсказывать, стаканъ воды съ червоннымъ виномъ, какъ въ домахъ подаютъ.

Всѣ усѣлись. Николаю Аѳанасьевичу подали стаканъ воды, въ который онъ самъ впустилъ нѣсколько капель краснаго вина, и началъ новую о себѣ повѣсть.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

— То, господа, было вскорѣ послѣ французскаго замиренія, какъ я со въ Бозѣ почившимъ государемъ императоромъ разговаривалъ.

— Вы съ государемъ разговаривали?—сію же минуту перебили разсказчика нѣсколько голосовъ.

— А какъ бы вы изволили полагать?—отвѣчалъ съ тихою улыбкой карликъ.—Да-съ; съ самимъ императоромъ Александромъ Павловичемъ говорилъ и имѣлъ разсудокъ, какъ ему отвѣчать.

— Ха-ха-ха! Вотъ, Богъ меня убей, шельма какая у насъ этотъ Николавра! — взвылъ вдругъ отъ удовольствія дьяконъ Ахилла и, хлопнувъ себя ладонями по бедрамъ, добавилъ:—Глядите на него,—маленькій, а между тѣмъ онъ, клопштосъ, съ царемъ разговаривалъ.

— Сиди, дьяконъ, смирно, сиди спокойно, внушительно произнесъ Туберозовъ.

Ахилла показалъ руками, что онъ болѣе ничего не скажетъ, и сѣлъ.

Разсказъ начался снова.

— Это какъ будто отъ разговора моего съ государемъ императоромъ даже и начало имѣло, спокойно заговорилъ Николай Аѳанасьевичъ.—Госпожа моя, Марѳа Андревна, имѣла желаніе быть въ Москвѣ, когда туда ждали императора, послѣ всесвѣтной его побѣды надъ Наполеономъ Бонапарте. Разумѣется, и я въ этой поѣздкѣ, по ихъ волѣ, при нихъ находился. Онѣ, покойница, тогда уже были въ большихъ лѣтахъ и, по нездоровью своему, порядочно стали гнѣвливы и обидчивы. Молодымъ господамъ по этой причинѣ въ дому у насъ было скучно и покойница это видѣли и много за это досадовали, а больше всѣхъ на Алексѣя Никитича сердились, что не такъ, полагали, вѣрно у нихъ въ домѣ порядокъ устроенъ, чтобы всѣмъ весело было и что чрезъ то ихъ всѣ забываютъ. Вотъ Алексѣй Никитичъ и достали маменькѣ приглашеніе на балъ, на который государя ожидали. Марѳа Андревна не скрыли отъ меня, что это имъ очень большое удовольствіе доставило. Сдѣлали онѣ себѣ къ этому балу нарядъ безцѣнный, и для меня, французу портному, заказали синій фракъ аглицкаго сукна съ золотыми пуговицами, панталоны,—сударыни, простите,—жилетъ, гал-

стукъ—все бѣлое; манишку съ гофреями и пряжки на бантмаки, сорокъ два рубля заплатили. Алексѣй Никитичъ для маменькина удовольствія такъ упросили, чтобъ и меня можно было туда взять. Приказано было метръ д'отелю, чтобы ввесть меня въ оранжерею при домѣ и напротивъ самаго зала, куда государь войдетъ, въ углу гдѣ нибудь между цвѣтами поставить. Такъ это, милостивые государи, все и исполнилось, но не совсѣмъ. Поставилъ меня, знаете, метръ д'отель въ уголъ у большого такого дерева, китайская пальма называется, и сказалъ, чтобъ я держался и смотрѣлъ, что отсюда увижу. А что оттуда увидать можно? ничего. Вотъ я, знаете, какъ Закхей Мытарь , цапъ-царапъ, да и взлѣзъ на этакую маленькую искусственную скалу, взлѣзъ и стою подъ пальмой. Въ залѣ шумъ, блескъ, музыка; а я хоть и на скалѣ подъ пальмой стою, а все ничего не вижу, кромѣ какъ однѣ макушки, да тупеи. Только вдругъ всѣ эти головы засуетились, раздвинулись, и государь съ княземъ Голицынымъ прямо и входитъ отъ жара въ оранжерею. И еще то, представьте, идетъ не только что въ оранжею, а даже въ самый тотъ дальній уголъ прохладный, куда меня спрятали. Я такъ, сударыни, и засохъ. На скалѣ-то засохъ и не слѣзу.

— Страшно?—спросилъ Туберозовъ.

— Какъ вамъ доложить? не страшно, но какъ будто волненье.

— А я бы убёгъ, сказалъ, не вытерпѣвъ, дьяконъ.

— Чего же, сударь, бѣжать? Не могу сказать, чтобы совсѣмъ ни капли не испугался, но не бѣгалъ. А его величество тѣмъ часомъ все подходятъ, подходятъ; ужъ я слышу даже, какъ сапожки на нихъ рипъ, рипъ, рипъ; вижу ужъ и ликъ у нихъ этакій тихій, взракъ ласковый,да уже знаете на отчаянность ужъ и думаю и не думаю, зачѣмъ а предъ ними на самомъ на виду явлюсь. Только государь вдругъ этакъ головку повернули и. вижу, изволили вскинуть на меня свои очи и на мнѣ ихъ и остановили.

— Ну!—крикнулъ блѣднѣя, дьяконъ.

— Я взялъ да имъ поклонился.

Дьяконъ вздохнулъ и, сжавъ руку карлика, прошепталъ:

— Сказывай же, сдѣлай милость, скорѣе, не останавливайся!

— Они посмотрѣли на меня и изволятъ князю Голицыну говорить по-французски: «Ахъ, какой миніатюрный экземпляръ!—чей, любопытствуетъ, это такой?» Князь Голицынъ, вижу, въ затруднительности отвѣтить; а я, какъ французскую рѣчь могу понимать, самъ и отвѣчаю: «Госпожи Плодомасовой, ваше императорское величество», Государь обратился ко мнѣ и изволятъ меня спрашивать: «Какой вы націи?»—Вѣрноподданный, говорю, вашего императорскаго величества. «И русскій уроженецъ?» изволятъ спрашивать, а я опять отвѣчаю:—Изъ крестьянъ, говорю, вѣрноподданный вашего императорскаго величества. Императоръ и разсмѣялись. «Bravo! изволили пошутить,—bravo, mon petit sujet fidèle» и ручкой этакъ меня за голову къ себѣ и пожали.

Николай Аѳанасьевичъ понизилъ голосъ и сквозь тихую улыбку, какъ будто величайшую политическую тайну, шопотомъ добавилъ:

— Ручкой-то своею, знаете, взяли обняли, а здѣсь... непримѣтно для нихъ пуговочкой обшлага носъ-то мнѣ совсѣмъ чувствительно больно придавили.

— А ты же вѣдь ничего... не закричалъ? — спросилъ дьяконъ.

— Нѣтъ-съ, что̀ вы, батюшка, что вы? Какъ же можно отъ ласкъ государя кричать? Я-съ, заключилъ Николай Аѳанасьевичъ, только какъ они выпустили меня, я поцѣловалъ ихъ ручку... что счастливъ и удостоенъ чести и только и всего моего разговора съ ихъ величествомъ было. А послѣ, разумѣется, какъ сняли меня изъ-подъ пальмы и повезли въ каретѣ домой, такъ вотъ тутъ ужъ я все плакалъ.

— Отчего же послѣ-то плакать?—спросилъ Ахилла.

— Да какъ же отчего? Мало ли отчего-съ? Отъ умиленія чувствъ плачешь.

— Маленькій, а какъ чувствуетъ! — воскликнулъ въ восторгѣ Ахилла.

— Ну-съ, позвольте!—началъ снова разсказчикъ. — Теперь только что это случайное вниманіе императора по Москвѣ въ нѣкоторыхъ домахъ разгласилось, покойница Марѳа Андревна начали всюду возить меня и показывать, и я, истину вамъ докладываю, не лгу, я былъ тогда самый маленькій карликъ во всей Москвѣ.
Но недолго это было-съ, всего одну зиму...

Но въ это время дьяконъ, ни съ того, ни съ сего, вдругъ оглушительно фыркнулъ и, свѣсивъ голову за спинку стула, тихо захохоталъ.

Замѣтя, что его смѣхъ остановилъ разсказъ, онъ приподнялся и сказалъ:

— Нѣтъ, это ничего!.. Разсказывай, сдѣлай милость, Николавра, это я по своему дѣлу смѣюсь. Какъ со мною однажды графъ Кленыхинъ говорилъ.

— Нѣтъ-съ, ужъ вы, сударь, лучше выскажитесь, а то опять перебьете, отвѣтилъ карликъ.

— Да ничего, ничего, это самое простое дѣло, возражалъ Ахилла. — Графъ Кленыхинъ у насъ семинарскій корпусъ смотрѣлъ, я ему поклонился, а онъ говоритъ: «пошелъ прочь, дуракъ!» Вотъ и весь нашъ разговоръ, чему я разсмѣялся.

— И точно-съ смѣшно, сказалъ Николай Аѳанасьевичъ и, улыбнувшись, сталъ продолжать:

— На другую зиму, заговорилъ онъ, — Вихіорова генеральша привезла изъ-за Петербурга чухоночку Метту, карлицу еще меньше меня на палецъ. Покойница Марѳа Андревна слышать объ этомъ не могла. Сначала все изволила говорить, что эта карлица не натуральная, а свинцомъ будто опоенная, но какъ пріѣхали и изволили сами Метту Ивановну увидать и разсердились, что она этакая бѣленькая и совершенная. Во снѣ стали видѣть, какъ бы намъ Метту Ивановну себѣ купить. А Вихіорша та слышать не хочетъ, чтобы продать. Вотъ тутъ Марѳа Андревна и объ-

ясняютъ, что «мой Николай, говорятъ, умный и государю отвѣчать умѣлъ, а твоя, говорятъ, дѣвчушка,—что-жъ, только на видъ хороша». Такъ межъ собой обѣ госпожи за насъ и спорятъ. Марѳа Андревна говорятъ той продай, а эта имъ говоритъ, чтобы меня продать. Марѳа Андревна вскипятъ вдругъ: «Я вѣдь, изволятъ говорить, не для игрушки у тебя ее торгую: я ее въ невѣсты на выводъ покупаю, чтобы Николая на ней женить». А госпожа Вихіорова говорятъ: «что-жъ, я его и у себя женю». Марѳа Андревна говорятъ: «Я тебѣ отъ нихъ дѣтей дамъ, если будутъ», и та тоже говоритъ, что и онѣ пожалуютъ дѣтей, если дѣти будутъ. Марѳа Андревна разсердятся и велятъ мнѣ прощаться съ Меттой Ивановной. А потомъ опять, какъ Марѳа Андревна не выдержатъ, заѣдемъ, и какъ только онѣ войдутъ, сейчасъ и объявляютъ: «Ну, слушай же, матушка генеральша, я тебѣ, чтобы попусту не говорить, тысячу рублей за твою уродицу дамъ», а та какъ на зло не порочитъ меня, а двѣ за меня Марѳѣ Андревнѣ предлагаетъ. Пойдутъ другъ другу набавлять и набавляютъ, и опять разсердится Марѳа Андревна, вскрикнетъ: «Я, матушка, своими людьми не торгую», а госпожа Вихіорова тоже отвѣчаютъ, что и онѣ не торгуютъ, такъ и опять велятъ намъ съ Меттой Ивановной прощаться. До десяти тысячъ рублей, милостивые государи, доторговались за насъ, а все дѣло не подвигалось, потому что моя госпожа за ту даетъ десять тысячъ, а та за меня одиннадцать. До самой весны, государи мои, такъ тянулось, и доложу вамъ, хотя госпожа Марѳа Андревна была духа великаго и несокрушимаго, и съ Пугачевымъ спорила, и съ тремя государями танцовала, но госпожа Вихіорова ужасно Марѳы Андревны весь характеръ переломили. Скучаютъ! страшно скучаютъ! И на меня все начинаютъ гнѣваться. «Это вотъ все ты, изволятъ говорить, сякой-такой пентюхъ, что дѣвку даже ни въ какое воображеніе ввести не можешь, чтобъ она сама за тебя просилась». «Матушка, говорю, Марѳа Андревна, чѣмъ же, говорю, питательница, я могу ее въ воображеніе вводить? Ручку, говорю, матушка,

мнѣ, дураку, пожалуйте». А онѣ еще больше гнѣваются. «Глупый, говорятъ, глупый! только и знаетъ про ручки». А я ужъ все молчу.

— Маленькій! маленькій! Онъ, бѣдный, этого ничего не можетъ!—участливо объяснялъ кому-то по сосѣдству дьяконъ.

Карликъ оглянулся на него и продолжалъ:

— Ну-съ, такъ дальше больше, дошло до весны, пора намъ стало и домой въ Плодомасово изъ Москвы собираться. Марѳа Андревна опять приказали мнѣ одѣваться, и чтобъ одѣлся въ гишпанское платье. Поѣхали къ Вихіоршѣ и опять не сторговались. Марѳа Андревна говорятъ ей: «Ну, хоть позволь же ты своей каракатицѣ, пусть они хоть походятъ съ Николашей вмѣстѣ предъ домомъ!» Генеральша на это согласилась, и мы съ Меттой Ивановной по тротуару противъ оконъ и гуляли. Марѳа Андревна, покойница, и этому радовались и всякихъ костюмовъ намъ обоимъ нашили. Пріѣдемъ, бывало, онѣ и приказываютъ «Надѣньте нынче, Николаша, съ Меттой пейзанскіе костюмы!» Вотъ мы оба и являемся въ деревянныхъ башмакахъ, я въ камзолѣ и въ шляпѣ, а Метта Ивановна въ высокомъ чепчикѣ, и ходимъ такъ предъ домомъ, и народъ на насъ стоитъ смотритъ. Другой разъ велятъ одѣться туркой съ турчанкой, мы тоже опять ходимъ; или матросомъ съ матроской, мы и этакъ ходимъ. А то были у насъ тоже медвѣжьи платьица, тѣ изъ коричневой фланели, въ родѣ чехловъ сшиты. Всунутъ насъ, бывало, въ нихъ, будто руку въ перчатку или ногу въ чулокъ, ничего, кромѣ глазъ, и не видно, а на макушечкахъ такія суконныя завязочки ушками подѣланы, трепятся. Но въ этихъ платьицахъ насъ на улицу не посылали, а велятъ, бывало, одѣться, когда обѣ госпожи за столомъ кофе кушаютъ, и чтобы во время ихъ кофею на коврѣ противъ ихъ стола бороться. Метта Ивановна пресильная была, даромъ, что женщина, но я, бывало, если имъ дамъ хорошенько подножку, такъ онѣ все-таки сейчасъ и слетятъ, но только я, впрочемъ, всегда Меттѣ Ивановнѣ больше поддавался, потому что мнѣ ихъ жаль было по ихъ женскому

полу, да и генеральша сейчасъ, бывало, въ ихъ защиту собачку болонку кличутъ, а та меня за голеняшки, а Мареа Андревна сердятся... Ну ихъ совсѣмъ и съ одолѣніемъ! А то тоже покойница заказали намъ самый лучшій костюмъ, онъ у меня и теперь цѣлъ: меня одѣли французскимъ гренадеромъ, а Метту Ивановну маркизой. У меня этакій киверъ, медвѣжій, мѣховой, высокій, мундиръ длинный, ружье со штыкомъ и тесакъ, а Меттѣ Ивановнѣ робъ и опахало большое. Я, бывало, стану въ дверяхъ съ ружьемъ, а Метта Ивановна съ опахаломъ проходятъ, и я имъ честь отдаю, и потомъ Мареа Андревна съ генеральшей опять за насъ торгуются, чтобы насъ женить. Но только надо вамъ доложить, что всѣ эти наряды и костюмы для насъ съ Меттой Ивановной все моя госпожа на свой счетъ дѣлали, потому что онѣ ужъ навѣрное надѣялись, что мы Метту Ивановну купимъ, и даже такъ, что чѣмъ больше онѣ на насъ двоихъ этихъ костюмовъ надѣвали, тѣмъ больше увѣрялись, что мы оба ихніе; а дѣло-то совсѣмъ было не туда. Госпожа генеральша Вихіорова, Каролина Карловна, какъ были изъ нѣмокъ, то онѣ ничему этому, что въ ихъ пользу, не препятствовали и принимали, а уступить ничего не хотѣли. Предъ самою весной Мареа Андревна ей вдругъ рѣшительно говорятъ: «однако, что же это такое мы съ тобою, матушка, дѣлаемъ, ни Мишу, ни Гришу? Надо же, говорятъ, это на чемъ нибудь кончить», да на томъ было и кончили, что чуть-чуть ихъ самихъ на Ваганьково кладбище не отнесли. Зачахли покойница, желчью покрылись, на всѣхъ стали сердиться, и вотъ минуты одной, какова есть минута, не хотятъ ждать: вынь да положь имъ Метту Ивановну, чтобы сейчасъ меня на ней женить! У кого въ домѣ Свѣтлое Христово Воскресенье, а у насъ тревога, а къ Красной Горкѣ ждемъ послѣдній отвѣтъ и не знаемъ, какъ ей и передать его. Тутъ-то Алексѣй Никитичъ, дай имъ Богъ здоровья, ужъ и имъ это дѣло насолило, видятъ, что бѣда ожидаетъ неминучая, вдругъ надумались, или съ кѣмъ тамъ въ полку изъ умныхъ офицеровъ посовѣтовались, и доложили маменькѣ, что будто бы

Вихіоршина карлица пропала. Марѳѣ Андревнѣ все, знаете, отъ этого легче стало, что ужъ ни у кого ее нѣтъ, и начали онѣ безпрестанно объ этомъ говоритъ.—«Какъ же такъ, разспрашиваютъ, она пропала?» Алексѣй Никитичъ отвѣчаютъ, что жидъ укралъ. — «Какъ? какой жидъ?—все разспрашиваютъ. Сочиняемъ имъ что попало: такъ, молъ, жидъ этакой каштановатый, съ бородой, всѣ видѣли, взялъ да понесъ. «А что же, изволятъ спрашивать,—зачѣмъ же его не остановили?»—Такъ, молъ; онъ изъ улицы въ улицу, изъ переулка въ переулокъ, такъ и унесъ.—«Да и она-то, разсуждаютъ, дура какая, что ее несутъ, а она даже не кричитъ. Мой Николай ни за что бы, говорятъ, не дался».—«Какъ можно, говорю, сударыня, жиду сдаться!» Всему ужъ онѣ какъ ребенокъ стали вѣрить. Но тутъ Алексѣй Никитичъ вдругъ ненарокомъ маленькую ошибку далъ или, пожалуй сказать, перехитрилъ: намѣреніе ихъ такое было разумѣется, чтобы скорѣе Марѳу Андревну со мною въ деревню отправить, чтобъ это тутъ забылось, они и сказали маменькѣ: «вы, изволятъ говорить, маменька, не безпокойтесь: ее, эту карлушку, найдутъ, потому что ее ищутъ, и какъ найдутъ, я вамъ сейчасъ и отпишу въ деревню; а покойница-то за это слово и ухватились: «Нѣтъ ужъ, говорятъ, если ищутъ, такъ я лучше подожду, я главное теперь этого жида-то хочу посмотрѣть, который ее унесъ!» Тутъ, судари мои, мы ужъ и одного квартальнаго вмѣстѣ съ собою лгать подрядили: тотъ всякій день приходитъ и вретъ, что «ищутъ, молъ, ее, да не находятъ». Она ему всякій день синенькую, а меня всякій день къ ранней обѣднѣ посылаетъ въ церковь, Іоанну Воинственнику молебенъ о сбѣжавшей рабѣ служить...

— Іоанну Воинственнику? Іоанну Воинственнику говоришь ты молебенъ-то ходилъ служить?—перебилъ дьяконъ.

— Да-съ, Іоанну Воинственнику.

— Ну, такъ, братъ, поздравляю тебя, совсѣмъ не тому святому служилъ.

— Дьяконъ! да сдѣлай ты милость, сядь,—рѣшилъ отецъ Савелій,—а ты, Николай, продолжай.

— Да что, батюшка, больше продолжать, когда вся ужъ почти моя сказка и разсказана. Ѣдемъ мы одинъ разъ съ Марѳой Андревной отъ Иверской Божіей Матери, а генеральша Вихіорова и хлопъ на самой Петровкѣ намъ навстрѣчу въ коляскѣ и Метта Ивановна съ ними. Тутъ Марѳа Андревна все поняли и... повѣрите ли, государи мои, или нѣтъ, тихо, но горько въ каретѣ заплакали.

Карликъ замолчалъ.

— Ну, Никола, подогналъ его протопопъ Савелій.

— Ну-съ, а тутъ ужъ что же: какъ пріѣхали мы домой, онѣ и говорятъ Алексѣю Никитичу: «А ты, сынокъ, говорятъ, выходишь дуракъ, что смѣлъ свою мать обманывать, да еще квартальнаго приводилъ», и съ этимъ велѣли укладываться и уѣхали.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

Николай Аѳанасьевичъ обернулся на стульцѣ ко всѣмъ слушателямъ и добавилъ:—Я вѣдь вамъ докладывалъ, что исторія самая простая и нисколько не занимательная. А мы, сестрица, добавилъ онъ вставая,—засимъ и поѣдемте!

Марья Аѳанасьевна стала собираться; но дьяконъ опять выступилъ со споромъ, что Николай Аѳанасьевичъ не тому святому молебенъ служилъ.

— Это, сударь мой, отецъ дьяконъ, не мое дѣло знать, оправдывался, отыскивая свой пуховой картузъ, Николай Аѳанасьевичъ.

— Нѣтъ, какъ же не твое! Непремѣнно твое: ты долженъ знать, кому молишься.

— Позвольте-съ, позвольте, я въ первый разъ какъ пришелъ по этому дѣлу въ церковь, подалъ записочку о *бѣжавшей рабѣ* и полтинникъ, священникъ и стали служить Іоанну Воинственнику, такъ оно послѣ и шло.

— Ой! если такъ, значитъ плохъ священникъ...

— Чѣмъ? чѣмъ? чѣмъ? Чѣмъ такъ священникъ плохъ?— вмѣшался неожиданно отецъ Бенефактовъ.

— Тѣмъ, отецъ Захарій, плохъ, что дѣла своего не знаетъ, отвѣчалъ Бенефактову съ отмѣнною развязностію Ахилла.— *О бѣжавшемъ рабѣ* нешто Іоанну Воинственнику пѣть подабаетъ?

— Да; да; а кому же по-твоему? кому же? кому же?

— Кому? Забыли, что ли, вы? У ктиторова мѣста листъ въ прежнее время былъ наклеенъ. Теперь его сняли, а я все помню, кому въ немъ за что молебенъ пѣть положено.

— Да.

— Ну, и только! Ѳедору Тирону, если вамъ угодно слышать, вотъ кому.

— Ложно осуждаешь: Іоанну Воинственнику они правильно служили.

— Не конфузьте себя, отецъ Захарій.

— Я тебѣ говорю, служили правильно.

— А я вамъ говорю, понапрасну себя не конфузьте.

— Да что ты тутъ со мной споришь!

— Нѣтъ, это что вы со мной спорите! Я васъ вѣдь, если захочу, сейчасъ могу оконфузить.

— Ну, оконфузь.

— Ей-Богу, душечка, оконфужу!

— Ну, оконфузь, оконфузь!

— Ей-Богу вѣдь оконфужу, не просите лучше, потому что я эту таблицу наизусть знаю.

— Да ты не разговаривай, а оконфузь, оконфузь,—смѣясь и радуясь частилъ Захарія Бенефактовъ, глядя то на дьякона, то на чинно хранящаго молчаніе отца Туберозова.

— Оконфузить? извольте,—рѣшилъ Ахилла и сейчасъ же закинувъ далеко на локоть широкій рукавъ рясы, загнулъ правою рукой большой палецъ лѣвой руки, какъ будто собирался его отломить, и началъ:—Вотъ первое: объ исцѣленіи отъ отрясовичной болѣзни, преподобному Марою.

—Преподобному Марою,—повторилъ за нимъ, соглашаясь, отецъ Бенефактовъ.

— Отъ огрызной болѣзни — великомученику Артемію, вычитывалъ Ахилла, заломивъ тѣмъ же способомъ второй палецъ.

— Артемію, повторилъ Бенефактовъ.

— О разрѣшеніи неплодства—Роману чудотворцу: если возненавидитъ мужъ жену свою — мученикамъ Гурію, Самону и Авиву; объ отогнаніи бѣсовъ—преподобному Нифонту; объ избавленіи отъ блудныя страсти — преподобной Ѳомаидѣ...

— И преподобному Моисею Угрину,—тихо подставилъ до сихъ поръ только въ тактъ покачивавшій своею головкой Бенефактовъ.

Дьяконъ, уже загнувшій всѣ пять пальцевъ лѣвой руки, секунду подумалъ, глядя въ глаза отцу Захаріи, и затѣмъ, разжавъ лѣвую руку съ тѣмъ, чтобы загибать ею правую, произнесъ:

— Да, тоже можно и Моисею Угрину.

— Ну, теперь продолжай.

— Отъ виннаго запойства—мученику Вонифатію....

— И Моисею Мурину.

— Что-съ?

— Вонифатію и Моисею Мурину, — повторилъ отецъ Захарія.

— Точно, повторилъ дьяконъ.

— Продолжай.

— О сохраненіи отъ злого очарованія священномученику Кипріяну...

— И святой Устиніи.

— Да позвольте же, наконецъ, отецъ Захарія, съ этими подсказами!

— Да нечего позволять! Русскимъ словомъ ясно напечатано: и святой Устиніи.

— Ну, хорошо! ну, и святой Устиніи, а объ обрѣтеніи украденныхъ вещей и бѣжавшихъ рабовъ (дьяконъ началъ съ этого мѣста подчеркивать свои слова)—Ѳеодору Тирону, его же память празднуемъ семнадцатаго февраля.

Но только что Ахилла протрубилъ свое послѣднее слово, какъ Захарій тою же тихою и безстрастною рѣчью продолжалъ чтеніе таблички словами:

— И Іоанну Воинственнику, его же память празднуемъ десятаго іюля.

Ахилла похлопалъ глазами и проговорилъ:

— Точно; теперь вспомнилъ, есть и Іоанну Воинственнику.

— Такъ о чемъ же это вы, сударь отецъ-дьяконъ, изволили цѣлый часъ спорить? спросилъ, протягивая на прощанье свою ручку Ахиллѣ, Николай Аѳанасьевичъ.

— Ну, вотъ поди же ты со мною! Дубликаты позабылъ, вотъ изъ-за чего и спорилъ, отвѣчалъ дьяконъ.

— Это, сударь, называется: шапка на головѣ, а я шапку ищу. Мое глубочайшее почтеніе, отецъ дьяконъ.

— «Шапку ищу»... Ахъ ты маленькій! произнесъ осклабляясь Ахилла, и, подхвативъ Николая Аѳанасьевича съ полу, посадилъ его себѣ на ладонь и воскликнулъ, — какъ пушиночка легенькій!

— Перестань, велѣлъ отецъ Туберозовъ.

Дьяконъ опустилъ карлика и, поставивъ его на землю, шутливо замѣтилъ, что, по легкости Николая Аѳанасьевича, его никакъ бы нельзя на вѣсъ продавать; но протопопу уже немножко досадила суетливость Ахиллы, и онъ ему отвѣчалъ:

— А ты знаешь ли кого цѣнятъ по вѣсу?

— А кого-съ?

— Повѣсу.

— Покорно васъ благодарю-съ.

— Не взыщи, пожалуста.

Дьяконъ смутился и, обведя носовымъ бумажнымъ платкомъ по ворсу своей шляпы, проговорилъ:

— А вы ужъ нигдѣ не можете обойтись безъ политики, и съ этимъ, слегка надувшись, вышелъ за двери.

Вскорѣ раскланялись и разошлись въ разъ всѣ другіе гости.

Николая Аѳанасьевича съ сестрой быстро унесли окованныя бронзой троечныя дрожки, а Туберозовъ тихо шелъ за рѣку вдвоемъ съ тѣмъ самымъ Дарьяновымъ, съ которымъ мы его видѣли въ домикѣ просвирни Препотенской.

Перейдя вмѣстѣ мостъ, они на минуту остановились, и протопопъ, какъ бы что-то вспомнивъ, сказалъ:

— Не удивительно ли, что эта старая сказка, которую разсказалъ сейчасъ карликъ и которую я такъ много разъ уже слышалъ, ничтожная сказочка про эти вязальныя старухины спицы, не только меня освѣжила, но и успокоила отъ того раздраженія, въ которое меня ввергла намедняшняя новая дѣйствительность? Не явный ли знакъ въ этомъ тотъ, что я уже остарѣлъ и назадъ меня клонитъ? Но нѣтъ, и не то; таковъ былъ я съиздѣтства, и вотъ въ эту самую минуту мнѣ вспомнился вотъ какой случай: пріѣхалъ я разъ уже студентомъ въ село гдѣ жилъ мои дѣтскіе годы, и засталъ тамъ, что деревянную церковку сносятъ и выводятъ стройный каменный храмъ... и я разрыдался!

— О чемъ же?

— Представьте: стало мнѣ жаль деревянной церковки. Чуденъ и свѣтелъ новый храмъ возведутъ на Руси и будетъ въ немъ и свѣтло, и тепло молящимся мужикамъ, но больно глядѣть какъ старыя бревна безъ жалости рубятъ!

— Да что и хранить-то изъ тѣхъ временъ, вы только въ спички стучали, да карликовъ для своей шайки женили.

— Да; вотъ замѣтьте себѣ, много-много [illegible] скудости, а мнѣ отъ этого пахнуло русскимъ [illegible]. Я вспомнилъ эту старуху и стало таково и бодро и [illegible], и это бережи моей отрадная награда. Ж[illegible] мои, люди русскіе, въ ладу со своею стар[illegible] вещь старая сказка! Горе тому, у ко[illegible] подъ старость! Для насъ во[illegible] пр[illegible] монотонно, но [illegible] сказанный [illegible] мирѣ [illegible]

— Представьте, а я опасаюсь, что нѣтъ.

— Напрасно. Кто же вамъ можетъ помѣшать?

— Какъ можно знать, какъ можно знать, кто это будетъ? Но, однако, позвольте, что же это я вижу? заключилъ протоіерей, вглядываясь въ показавшееся на горѣ облако пыли.

Это облако сопровождало дорожный троечный тарантасъ, а въ этомъ тарантасѣ сидѣли два человѣка: одинъ — высокій, мясистый, черный, съ огненными глазами и несоразмѣрной величины верхнею губой; другой—сюбтильный, выбритый, съ лицомъ совершенно безстрастнымъ и свѣтлыми водянистыми глазками.

Экипажъ съ этими пассажирами быстро проскакалъ по мосту и, переѣхавъ рѣку, повернулъ берегомъ влѣво.

— Какія непріятныя лица! сказалъ, отвернувшись, протопопъ.

— А вы знаете ли, кто это такіе?

— Нѣтъ, слава Богу, не знаю.

— Ну, такъ я васъ огорчу. Это и есть ожидаемый у насъ чиновникъ князь Борноволоковъ; я узнаю его, хоть и давно не видалъ. Такъ и есть; вонъ они и остановились у воротъ Бизюкина.

— Скажите жъ на милость, который же изъ нихъ самъ Борноволоковъ?

— Борноволоковъ тотъ, что слѣва, маленькій.

— А тотъ другой, что за персона?

— А эта персона, должно быть, просто его письмоводитель. Онъ тоже знаменитъ кой-чѣмъ.

— Юристъ большой?

— Гм! Ну, этого я не слыхалъ о немъ, а онъ по какой-то студенческой исторіи въ крѣпости сидѣлъ.

— Батюшки мои! А какъ имя мужу сему?

— Измаилъ Термосесовъ.

— Термосесовъ?

— Да, Термосесовъ; Измаилъ Петровъ Термосесовъ.

— Господи, какихъ у нашего царя людей нѣтъ!

— А что такое?

— Да какъ же, помилуйте: и губастый, и страшный, и въ крѣпости сидѣлъ, и на свободу вышелъ, и фамилія ему Термосесовъ.

— Не правда ли, ужасно? воскликнулъ, расхохотавшись, Дарьяновъ.

— А что вы думаете, оно, пожалуй, и вправду ужасно! отвѣчалъ Туберозовъ.—Имя человѣческое не пустой совсѣмъ звукъ: пѣвецъ «Одиссеи» не даромъ сказалъ, что «въ минуту рожденія каждый имя свое себѣ въ сладостный даръ получаетъ». Но до свиданія пока. Вечеромъ встрѣтимся?

— Непремѣнно.

— Такъ вотъ и прекрасно: тамъ намъ будетъ время добесѣдовать и объ именахъ, и объ именосцахъ.

Съ этимъ протопопъ пожалъ руку своего компаньона, и они разстались.

Туберозовъ пришелъ вечеромъ первый въ домъ исправника и такъ рано, что хозяинъ еще наслаждался послѣобѣденнымъ сномъ, а именинница обтирала губкой свои камеліи и олеандры, окружавшія угольный диванъ въ маленькой гостиной.

Хозяйка и протопопъ встрѣтились очень радушно и съ простотой, свидѣтельствовавшею о ихъ дружествѣ.

— Рано придралъ я? спросилъ протопопъ.

— И очень даже рано,—отвѣчала, смѣясь, хозяйка.

— Подите-жъ! Жена была права, что останавливала, да что-то не сидится дома; охота гостевать пришла. Давайте-ка я стану помогать вамъ мыть цвѣты.

И старикъ вслѣдъ за словомъ снялъ рясу, засучилъ рукава подрясника и, вооружась мокрою тряпочкой, принялся за работу.

Въ этихъ занятіяхъ и незначащихъ перемолвкахъ съ хозяйкой о состояніи ея цвѣтовъ прошло не болѣе полчаса, какъ подъ окнами дома послышался топотъ подкатившей четверни. Туберозовъ вздрогнулъ и, взглянувъ въ окно, произнесъ въ себѣ: «Ага! нѣтъ, хорошо, что я поторопился!» Затѣмъ онъ громко воскликнулъ: «Парменъ Семенычъ? Ты

ли это, другъ?» И бросился навстрѣчу выходившему изъ экипажа предводителю Туганову.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Теперь волей-неволей, повинуясь неодолимымъ обстоятельствамъ, встрѣчаемымъ на пути нашей хроники, мы должны оставить на время и старогородскаго протопопа, и предводителя, и познакомиться совершенно съ другимъ кружкомъ того же города. Мы должны вступить въ домъ акцизнаго чиновника Бизюкина, куда сегодня прибыли давно жданные въ городъ петербургскіе гости: старый университетскій товарищъ акцизника князь Борноволоковъ, нынѣ довольно видный петербургскій чиновникъ, разъѣзжающій съ цѣлью что-то ревизовать и что-то вводить, и его секретарь Термосесовъ, также нѣкогда знакомецъ и одномысленникъ Бизюкина. Мы входимъ сюда именно въ тотъ предобѣденный часъ, когда предъ этимъ домомъ остановилась почтовая тройка, доставившая въ Старогородъ столичныхъ гостей.

Самого акцизника въ это время не было дома, и хозяйственный элементъ представляла одна акцизница, молодая дама, о которой мы кое-что знаемъ изъ словъ дьякона Ахиллы, старой просвирни, да учителя Препотенскаго. Интересная дама эта одна ожидала дорогихъ гостей, изъ коихъ Термосесовъ ее необыкновенно занималъ, такъ какъ онъ былъ ей извѣстенъ за весьма вліятельнаго политическаго дѣятеля. О великомъ характерѣ и о значеніи этой особы она много слыхала отъ своего мужа и потому, будучи сама политическою женщиной, ждала этого гостя не безъ душевнаго трепета. Желая показаться ему съ самой лучшей и выгоднѣйшей для своей репутаціи стороны, Бизюкина еще съ утра была озабочена тѣмъ, какъ бы ей привести домъ въ такое состояніе, чтобы даже внѣшній видъ ея жилища съ перваго же взгляда производилъ на пріѣзжихъ цѣлесообразное впечатлѣніе. Акцизница еще спозаранка обошла нѣсколько разъ всѣ свои комнаты и нашла, что все никуда

не годится. Остановясь посреди опрятной и хорошо меблированной гостиной, она въ отчаяніи воскликнула: «Нѣтъ, это чортъ знаетъ что такое! Это совершенно такъ, какъ и у Порохонцевыхъ, и у Дарьяновыхъ, и у почтмейстера, словомъ, какъ у всѣхъ, даже, пожалуй, гораздо лучше! Вотъ, напримѣръ, у Порохонцевыхъ нѣтъ часовъ на каминѣ, да и камина вовсе нѣтъ; но каминъ, положимъ, еще ничего, этого гигіена требуетъ; а зачѣмъ эти бра, зачѣмъ эти куклы, наконецъ, зачѣмъ эти часы, когда въ залѣ часы есть?.. А въ залѣ? Господи! Тамъ фортепьяно, тамъ ноты... Нѣтъ, это рѣшительно невозможно такъ, и я не хочу, чтобы новые люди обошлись со мной какъ-нибудь за эти мелочи. Я не хочу, чтобы мнѣ Термосесовъ могъ написать что-нибудь въ родѣ того, что въ умномъ романѣ «Живая душа» умная Маша написала своему жениху, который жилъ въ хорошемъ домѣ и пилъ чай изъ серебрянаго самовара. Эта умная дѣвушка прямо написала ему, что, молъ, «послѣ того, что я у васъ видѣла, между нами все кончено». Нѣтъ, я этого не хочу. Я знаю, какъ надо принять дѣятелей! Одно досадно: не знаю, какъ именно у нихъ все въ Петербургѣ?.. Вѣрно у нихъ тамъ все это какъ-нибудь скверно, то есть я хотѣла сказать прекрасно... тфу, то есть скверно... Чортъ знаетъ что такое. Да! Но куда же, однако, мнѣ все это дѣть? Неужели же все выбросить? Но это жаль, испортится; а это все денегъ стòитъ, да и что пользы выбросить вещи, когда кругомъ, на что ни взглянешь... вонъ въ спальнѣ кружевныя занавѣски... положимъ, что это въ спальнѣ, куда гости не заглянутъ... ну, а если заглянутъ!.. Ужасная гадость. При томъ же дѣти такъ хорошо одѣты!.. Ну, да ихъ не покажутъ; пусть тамъ и сидятъ, гдѣ сидятъ; но все-таки... все выбрасывать жаль! Нѣтъ, лучше ужъ одну мужнину комнату отдѣлать.

И съ этимъ молодая чиновница позвала людей и велѣла имъ тотчасъ же перенести все излишнее, по ея мнѣнію, убранство мужнина кабинета въ кладовую.

Кабинетъ акцизника, и безъ того обдѣленный убран-

ствомъ въ пользу комнатъ госпожи и повелительницы дома, теперь совсѣмъ былъ ободранъ и представлялъ зрѣлище весьма печальное. Въ немъ оставались столъ, стулъ, два дивана и больше ничего.

— Вотъ и отлично, подумала Бизюкина. — По крайней мѣрѣ есть хоть одна комната, гдѣ все совершенно какъ слѣдуетъ. Затѣмъ она сдѣлала на письменномъ столѣ два пятна чернилами, опрокинула ногой въ углу плевальницу и разсыпала по полу песокъ... Но, Боже мой! возвратясь въ залъ, акцизница замѣтила, что она было чуть-чуть не просмотрѣла самую ужасную вещь: на стѣнѣ висѣлъ образъ!

— Ермошка! Ермошка! скорѣй тащи долой этотъ образъ и неси его... я его спрячу въ комодъ.

Образъ былъ спрятанъ.

— Какъ это глупо, разсуждала она,—что женихъ, ожидая *живую душу*, побилъ свои статуи и порвалъ занавѣски? Эй, Ермошка, подавай мнѣ сюда занавѣски! Скорѣй свертывай ихъ. Вотъ такъ! Теперь самъ смотри же, чертенокъ, одѣвайся получше!

— Получше-съ?

— Ну, да, конечно, получше. Что тамъ у тебя есть?

— Бешметъ-съ.

— Бешметъ, дуракъ, «бешметъ-съ»! Жилетку, мапишку и новый кафтанъ, все надѣнь, чтобы все было какъ должно,—да этакъ не изволь мнѣ отвѣчать по-лакейски: «чего-съ изволите-съ», да «я вамъ докладывалъ-съ», а просто говори: «что, молъ, вамъ нужно?» или «я, молъ, вамъ говорилъ». Понимаешь?

— Понимаю-съ.

— Не «понимаю-съ», глупый мальчишка, а просто «понимаю», ю, ю, ю; просто понимаю!

— Понимаю.

— Ну, вотъ и прекрасно. Ступай одѣвайся, у насъ будутъ гости. Понимаешь?

— Понимаю-съ.

— Понимаю, дуракъ, *понимаю*, а не «понимаю-съ».

— Понимаю.

— Ну и пошелъ вонъ, если понимаешь.

Озабоченная хозяйка вступила въ свой будуаръ, открыла большой орѣховый шкафъ съ нарядами и, пересмотрѣвъ весь свой гардеробъ, выбрала, что тамъ нашлось худшаго, позвала свою горничную и велѣла себя одѣвать.

— Марѳа! ты очень не любишь господъ?

— Отчего же-съ?

— Ну, «отчего же-съ?» Такъ, просто ни отчего. За что тебѣ любить ихъ?

Дѣвушка была въ затрудненіи.

— Что они тебѣ хорошаго сдѣлали?

— Хорошаго, ничего-съ.

— Ну и ничего-съ, и дура, и значитъ, что ты ихъ не любишь, а впередъ, я тебя покорно прошу, ты не смѣй мнѣ этакъ говорить: «отчего же-съ», «ничего-съ», а говори просто «отчего» и «ничего». Понимаешь?

— Понимаю-съ.

— Вотъ и эта: «понимаю-съ». Говори просто «понимаю».

— Да зачѣмъ такъ, сударыня?

— Затѣмъ, что я такъ хочу.

— Слушаю-съ.

— «Слушаю-съ». Я сейчасъ только сказала: говори просто «слушаю и понимаю».

— Слушаю и понимаю; но только мнѣ этакъ, сударыня, трудно.

— Трудно? Зато послѣ будетъ легко. Всѣ такъ будутъ говорить. Слышишь?

— Слышу-съ.

— «Слышу-съ»... Дура. Иди вонъ! Я тебя прогоню, если ты мнѣ еще разъ такъ отвѣтишь. Просто «слышу» и ничего больше. Господъ скоро вовсе никакихъ не будетъ; понимаешь ты это? не будетъ ихъ вовсе! Ихъ всѣхъ скоро... топорами порѣжутъ. Поняла?

— Поняла, отвѣтила дѣвушка, не зная какъ отвязаться.

— Иди вонъ и пошли Ермошку.

«Теперь необходимо еще одно, чтобъ у меня здѣсь была школа». И Бизюкина, вручивъ Ермошкѣ десять мѣдныхъ пятаковъ, велѣла заманить къ ней съ улицы сколько онъ можетъ мальчишекъ, сказавъ каждому изъ нихъ, что они у нея получатъ еще по другому пятаку.

Ермошка вернулся минутъ черезъ десять въ сопровожденіи цѣлой гурьбы оборванцевъ—уличныхъ ребятишекъ.

Безюкина одѣлила ихъ пятаками и, посадивъ ихъ въ мужниномъ кабинетѣ, сказала:

— Я васъ буду учить и дамъ вамъ за это по пятачку. Хорошо?

Ребятишки подернули носами и прошипѣли:

— Ну, дакъ что жъ.

— А мы въ книжку не умѣемъ читать, отозвался мальчикъ посмышленѣе прочихъ.

— Пѣсню учить будете, а не книжку.

— Ну, пѣсню, такъ ладно.

— Ермошка, иди и ты садись рядомъ.

Ермошка сѣлъ и застѣнчиво закрылъ ротъ рукой.

— Ну, теперь валяйте за мною!

Какъ идетъ младъ кузнецъ да изъ кузницы.

Дѣти кое-какъ черезъ пятое въ десятое повторили.

— «Слава!» воскликнула Бизюкина.

— «Слава!» повторили дѣти.

Подъ полой три ножа да три острыхъ несетъ. Слава!

Тутъ Ермошка приподнялъ вверхъ голову и, взглянувъ въ окно, вскрикнулъ:

— Сударыня, гости!

Бизюкина бросила изъ рукъ линейку, которою размахивала, уча дѣтей пѣсни, и быстро рванулась въ залу.

Ермошка опередилъ ее и выскочилъ сначала въ переднюю, а оттуда на крыльцо и кинулся высаживать Борноволокова и Термосесова. Молодая политическая дама была

чрезмѣрно довольна собою, гости застали ее, какъ говорится, во *всемъ туалетѣ.*

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Князь Борноволоковъ и Термосесовъ, при внимательномъ разсмотрѣніи ихъ, были гораздо занимательнѣе, чѣмъ показались они мелькомъ Туберозову.

Самъ ревизоръ былъ живое подобіе уснувшаго ерша: маленькій, вихрястенькій, широкоперый, съ глазами, совсѣмъ затянутыми какою-то сонною влагой. Онъ казался ни къ чему негоднымъ и ни на что неспособнымъ; это былъ не человѣкъ, а именно сонный ершъ, который ходилъ по всѣмъ морямъ и озерамъ, и теперь, уснувъ, осклизъ такъ, что въ немъ ничего не горитъ и не свѣтится.

Термосесовъ же былъ нѣчто напоминающее кентавра. При огромномъ мужскомъ ростѣ у него было сложеніе здоровое, но чисто женское; въ плечахъ онъ узокъ, въ тазу непомѣрно широкъ; ляшки какъ лошадиные окорока, колѣни мясистыя и круглыя; руки сухія и жилистыя; шея длинная, но не съ кадыкомъ, какъ у большинства рослыхъ людей, а лошадиная—съ зарѣзомъ; голова съ гривой вразметъ на всѣ стороны; лицомъ смуглъ, съ длиннымъ, будто армянскимъ носомъ, и съ непомѣрною верхнею губой, которая тяжело садилась на нижнюю; глаза у Термосесова коричневаго цвѣта, съ рѣзкими черными пятнами въ зрачкѣ; взглядъ его присталенъ и смышленъ.

Костюмы новоприбывшихъ гостей тоже были довольно замѣчательны. На Борноволоковѣ надѣто маленькое сѣренькое пальто въ родѣ рейтъ-фрака, и шотландская шапочка съ цвѣтнымъ околышемъ, а на Термосесовѣ широкій темно-коричневый суконный сакъ, подпоясанный широкимъ чернымъ ремнемъ, и форменная фуражка съ зеленымъ околышемъ и кокардой; Борноволоковъ въ лайковыхъ полусапожкахъ, а Термосесовъ въ такъ-называемыхъ суворовскихъ сапогахъ.

Вообще Термосесовъ и шире скроенъ, и крѣпче сшитъ,

и по всему есть существо гораздо болѣе фундаментальное, чѣмъ его начальникъ! Фундаментальность эта еще болѣе подкрѣпляется его отмѣнною манерой держаться.

Ревизоръ Борноволоковъ, ступивъ на ноги изъ экипажа, прежде чѣмъ дойти до крыльца, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ быстрыхъ, но неровныхъ, озираясь по сторонамъ и оглядываясь назадъ, какъ будто онъ созерцалъ городъ и даже любовался имъ, а Термосесовъ не верхоглядничалъ, не озирался и не корчилъ изъ себя первое лицо, а шелъ тихо и спокойно у лѣваго плеча Борноволокова. Лошадиная голова Термосесова была имъ слегка опущена на грудь, и онъ какъ будто почтительно прислушивался къ тому, что думаетъ въ это время въ своей головѣ его начальникъ. Бизюкина видѣла все это. Она наблюдала новопріѣзжихъ изъ-за оконной притолки и млѣла въ недоумѣніи: который же изъ этихъ двоихъ ревизоръ Борноволоковъ и который Термосесовъ? По ея соображеніямъ выходило, что князь Борноволоковъ непремѣнно этотъ большой, потому что онъ въ форменной фуражкѣ и съ кокардой, а тотъ вонъ, безъ формы, въ рейтъ-фрачкѣ и пестренькой шапочкѣ — Термосесовъ, человѣкъ свободный, служащій по вольному найму. Хозяйку, кромѣ того, томилъ другой вопросъ: какъ ей ихъ встрѣтить?.. Выйти навстрѣчу?.. Это похоже на церемонію. Ничего не дѣлать, сидѣть, пока войдутъ?.. натянуто. Книгу читать?.. Да, это самое естественное, читать книгу.

И она взяла первую попавшуюся ей въ руки книгу и, взглянувъ поверхъ ея въ окно, замѣтила, что у Борноволокова, котораго она считала Термосесовымъ, руки довольно грязны, между тѣмъ какъ ея праздныя руки бѣлы какъ пѣна.

Бизюкина немедленно схватила горсть земли изъ стоявшаго на окнѣ цвѣтного вазона, растерла ее въ ладоняхъ и, закинувъ колѣно на колѣно, сѣла полуоборотясь къ окну съ книгой.

Въ эту самую минуту въ сѣняхъ послышался веселый, довольно ласковый басъ и вслѣдъ затѣмъ двери съ шумомъ

отворились и въ переднюю вступили оба гостя: Термосесовъ впереди, а за нимъ князь Борноволоковъ.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Хозяйка сидѣла и не трогалась. Она въ это время только вспомнила, какъ неумѣстенъ долженъ показаться гостямъ стоящій на окнѣ цвѣтокъ, и, при всемъ своемъ замѣшательствѣ, соображала, какъ бы ловчѣе сбросить его за открытое окошко? Мысль эта такъ ее занимала, что она даже не вслушалась въ первый вопросъ, съ которымъ отнесся къ ней одинъ изъ ея новопріѣзжихъ гостей, что̀ ей и придало видъ особы непритворно занятой чтеніемъ до самозабвенія.

Термосесовъ посмотрѣлъ на нее черезъ порогъ и долженъ былъ повторить свой вопросъ.

— Вы кто здѣсь, можетъ быть сама Бизюкина?—спросилъ онъ, спокойно всовываясь въ залу.

— Я—Бизюкина, отвѣчала, не поднимаясь съ мѣста, хозяйка.

Термосесовъ вошелъ въ залъ и заговорилъ:

— Я Термосесовъ, Измаилъ Петровъ сынъ Термосесовъ, вашего мужа когда-то товарищъ по воспитанію, но послѣ изъ глупости размолвили; а это князь Аѳанасій Ѳедосѣичъ Борноволоковъ, чиновникъ изъ Петербурга и ревизоръ, пробирать здѣсь всѣхъ будемъ. Здравствуйте!

Термосесовъ протянулъ руку.

Бизюкина подала свою руку Термосесову, а другою, кладя на окно книгу, столкнула на улицу вазонъ.

— Что это; вы, кажется, цвѣтокъ за окно уронили?

— Нѣтъ, нѣтъ; пустое... Это совсѣмъ не цвѣтокъ, это трава отъ порѣза, но ужъ она не годится.

— Да, разумѣется, не годится: какой же шутъ теперь лечится отъ порѣза травой. А, впрочемъ, можетъ быть еще есть и такіе ослы. А гдѣ же это вашъ мужъ?

Бизюкина оглянулась на ревизора, который, ни слова не

говоря, тихо сѣлъ на диванчикъ, и отвѣчала Термосесову, что мужа ея нѣтъ дома.

— Нѣтъ! Ну, это ничего: свои люди—сочтемся. Мы вѣдь съ нимъ большіе были пріятели, да послѣ изъ глупости немножко повздорили; но все-таки я вамъ откровенно скажу, вашъ мужъ не по васъ. Нѣтъ, не по васъ,—тутъ и толковать нечего, что не по васъ. Онъ фофанъ—и больше ничего, и это счастье его, что вы ему могли такое мѣсто доставить по акцизу; а вы молодчина и все уладили; и мѣсто мужу выхлопотали, и чудесно у васъ тутъ! добавилъ онъ, заглянувъ насколько могъ по всѣмъ виднымъ изъ залы комнатамъ и, замѣтивъ въ освобожденномъ отъ всякихъ убранствъ кабинетѣ кучу столпившихся у порога дѣтей, добавилъ:

— А-а! да у васъ тутъ есть и школка. Ну, эта комнатка за то и плохандросъ: ну, да для школы ничего. Чему вы ихъ, паршь-то эту, учите? заключилъ онъ круто.

Ненаходчивая Бизюкина совсѣмъ не знала, что ей отвѣчать. Но Термосесовъ самъ выручилъ. Не дожидаясь ея отвѣта, онъ подошелъ къ ребятишкамъ и, поднявъ одного изъ нихъ за подбородокъ, заговорилъ:

— А что? Умѣешь горохъ красть? Воруй, братецъ, и когда въ Сибирь погонятъ, то да будетъ надъ тобой мое благословеніе. Отпустите ихъ, Бизюкина! Идите, ребятишки, по дворамъ! Маршъ горохъ бузовать.

Дѣти одинъ за другимъ тихо выступили и перетянувшись гуськомъ черезъ залу, шибко побѣжали по сѣнямъ, а потомъ по двору.

— Что всѣ эти школы? канитель!

— Я и сама это нахожу, осмѣлилась вставить хозяйка.

— Да, разумѣется; субсидіи вѣдь не получаете?

— Нѣтъ: какая-жъ субсидія!

— Отчего-жъ? другіе изъ нашихъ берутъ. А это, вѣроятно, вашъ фруктикъ?—вопросилъ онъ, указавъ на вошедшаго наряднаго Ермошку и, не ожидая отвѣта, заговорилъ къ нему:

— Послушайте, милый фруктикъ: вели-ко, дружочекъ, прислугѣ подать намъ умыться!

— Это вовсе не сынъ мой, отозвалась сконфуженная хозяйка.

Но Термосесовъ ее не слышалъ. Ухватясь за мысль, что видитъ предъ собой хозяйскаго сына, онъ развивалъ ей, къ чему его готовить и какъ его вести.

— Къ службѣ его приспособляйте. Чтобы къ литературѣ не пріохочивался. Я вотъ и права не имѣю поступить на службу, но кое-какъ, хоть какъ нибудь, бочкомъ, ничкомъ, а все-таки примкнулъ. Да-съ; а я вѣдь прежде тоже самъ нигилистъ былъ и даже на вашего мужа сердился, что онъ себѣ службу досталъ. Глупо! отчего намъ не служить? на службѣ нашего брата любятъ, на службѣ деньги имѣешь; на службѣ вліяніе у тебя есть,—не то что тамъ, въ этой литературѣ. Тамъ еще дарованія спрашиваютъ, а тутъ дарованія даже вредятъ и ихъ не любятъ. Эхъ, да-съ, матушка, да-съ! служить сынка учите, служить.

— Да... Но, однако, мастерскія идутъ, замѣтила Данка.

— Идутъ?.. Да, идутъ, отвѣтилъ съ ироніей Термосесовъ.—А имъ бы лучше потверже стоять, чѣмъ все идти. Нѣтъ, я замѣчаю, вы рутинистка. Въ Россіи сила *на службѣ*, а не въ мастерскихъ — у Вѣры Павловны. Это баловство, а на службѣ я настоящэму дѣлу служу; и сортирую людей: ты такой?—такъ тебя, а ты этакой? — тебя этакъ. Не нашъ ты? Я тебя приневолю, придушу, сокрушу, а казна мнѣ за это плати. Хоть немного, а все тысячки три, четыре давай. Это ужъ теперь такой прификсъ. Что вы на меня такъ глазенками-то уставились? или дико безъ привычки эту практику слышать?

Удивленная хозяйка молчала, а гость продолжалъ:

— Вы вонъ школы заводите, что же? по-настоящему, какъ принято у глупыхъ красныхъ пѣтуховъ, васъ за это, пожалуй, надо хвалить, а какъ Термосесовъ практикъ, то онъ не станетъ этого дѣлать. Термосесовъ говоритъ: бросьте школы, онѣ вредны; народъ, обучась грамотѣ, станетъ

святыя книги читать. Вы думаете грамотность къ разрушающимъ элементамъ относится? Нѣтъ-съ. Она идетъ къ созидающимъ, а намъ надо прежде все разрушить.

— Но вѣдь говорятъ же, что революція съ нашимъ народомъ теперь невозможна, осмѣлилась возразить хозяйка.

— Да, и на кой чортъ она намъ теперь, революція, когда и такъ безъ революціи дѣло идетъ какъ нельзя лучше на нашу сторону.,. А вонъ вашъ сынишка, видите, стоитъ и слушаетъ. Зачѣмъ вы ему позволяете слушать, что большіе говорятъ.

— Это совсѣмъ не мой сынъ, отвѣтила акцизница.

— Какъ не сынъ вашъ; а кто же онъ такой?

— Мальчишка, слуга.

— Мальчишка, слуга! А выфранченъ лихо. Пошелъ намъ умыться готовь, чертенокъ.

— Готово, рѣзко отвѣтилъ намуштрованный Ермошка.

— А что же ты давно не сказалъ? Пошелъ вонъ!

Термосесовъ обернулся къ неподвижному во все время разговора Борноволокову и, взявъ очень ласковую ноту, проговорилъ:

— Позвольте ключъ, я достану вамъ изъ сака ваше полотенце.

Но молчаливый князь свернулся и не далъ ключа.

— Да полотенце вамъ, вѣрно, подано, отозвалась хозяйка.

— Есть, крикнулъ изъ кабинета Ермошка.

— «Есть!» Ишь какъ оретъ каналья.

Термосесовъ довольно комично передразнилъ Ермошку и, добавивъ: «вотъ самый чистокровный нигилистъ!» пошелъ вслѣдъ за Борноволоковымъ въ кабинетъ, гдѣ было приготовлено умыванье.

Первое представленіе кончилось и хозяйка осталась одна,—одна, но съ бездною новыхъ чувствъ и глубочайшихъ размышленій.

Бизюкина совсѣмъ не того ожидала отъ Термосесова и была поражена имъ. Ей было и сладко, и страшно слушать

его неожиданныя и совершенно новыя для нея рѣчи. Она не могла еще пока отдать себѣ отчета въ томъ, лучше это того, что ею ожидалось, или хуже, но ей во всякомъ случаѣ было пріятно, что во всемъ, что она слышала, было очень много чрезвычайно удобнаго и укладливаго. Это ей нравилось.

— Вотъ что называется, въ самомъ дѣлѣ, быть умнымъ! разсуждала она, не сводя изумленнаго взгляда съ двери, за которою скрылся Термосесовъ.—У всѣхъ строгости, заказы, а тутъ ничего: все позволяется, все можно, и между тѣмъ этотъ человѣкъ все-таки никого не боится. Вотъ съ какимъ человѣкомъ легко жить; вотъ кому даже сладко покоряться.

Коварный незнакомецъ смертельно покорилъ сердце Данки. Вся прыть, которою она съизмлада отличалась предъ своимъ отцомъ, мужемъ, Варнавкой и всѣмъ человѣческимъ обществомъ, вдругъ ее предательски оставила. Послѣ бесѣды съ Термосесовымъ, Бизюкина почувствовала неодолимое влеченіе къ рабству. Она его уже любила, — любила, разумѣется, раціонально, любила за его несомнѣнныя превосходства. Бизюкиной все начало нравиться въ ея гостѣ: что у него за голосъ? что въ немъ за сила? И вообще какой онъ мужчина!.. Какой онъ прелестный! Не селадонъ, какъ ея мужъ; не мямля, какъ Препотенскій; нѣтъ, онъ рѣшительный, неуступчивый... настоящій мужчина... Онъ ни въ чемъ не уступитъ... Онъ какъ... настоящій ураганъ... идетъ... палитъ, жжетъ...

Да, бѣдная Дарья Николаевна Бизюкина не только была влюблена, но она была неисцѣлимо уязвлена жесточайшею страстью: она на мгновеніе даже потеряла сознаніе и, закрывъ вѣки, почувствовала, что по всему ея тѣлу разливается доселѣ невѣдомый, крѣпящій холодъ: во рту у корня языка потерпло, уста похолодѣли, въ ушахъ отдаются учащенные удары пульса и слышно, какъ въ шеѣ тяжело колышется сонная артерія.

Да! дѣло кончено! Гдѣ-то ты, гдѣ ты теперь, бѣдный

акцизникъ, и не чешется ли у тебя лобъ, какъ у молодого козленка, у котораго пробиваются рога?

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Влюбленная Бизюкина уже давно слышала сквозь затворенную дверь кабинета то тихое утиное плесканье, то ярые взбрызги и горловыя фіоритуры; но все это уже кончилось а Термосесовъ не является. Неужто онъ еще не наговорился съ этимъ своимъ безсловеснымъ, вихрястымъ княземъ, или онъ спитъ?.. Чего мудренаго: вѣдь онъ усталъ съ дороги. Или онъ, можетъ быть, читаетъ?.. Что онъ читаетъ? И на что ему читать, когда онъ самъ умнѣе всѣхъ, кто пишетъ?.. Но во время этихъ впечатлѣній дверь отворилась и на порогѣ предсталъ мальчикъ Ермошка съ тазомъ, полнымъ мыльною водой, и не затворилъ за собою двери, а черезъ это Дарьѣ Николаевнѣ стало все видно. Вонъ далеко, въ глубинѣ комнаты, маленькая фигурка вихрястаго князька, который смотрѣлъ въ окно, а вонъ тутъ же возлѣ него, но нѣсколько ближе, мясистый торсъ Термосесова. Ревизоръ и его письмоводитель, оба были въ дезабилье. Борноволоковъ былъ въ панталонахъ и бѣлой, какъ кипѣнь, голландской рубашкѣ, по которой черезъ плечи лежали крестъ-на-крестъ двѣ алыя ленты шолковыхъ подтяжекъ; его маленькая, бѣлокурая головка была приглажена и онъ еще тщательнѣе натиралъ ее металлическою щеткой. Термосесовъ же стоялъ весь выпуклый, преставляясь и всею своею физіономіей, и всею фигурой: воротъ его рубахи былъ разстегнутъ, и далеко за локоть засученные рукава открывали мускулистыя и обросшія волосами руки.

На этихъ рукахъ Термосесовъ держалъ длинное русское полотенце съ вышитыми на концахъ красными пѣтухами и крѣпко теръ и трепалъ въ немъ свои изъерошенные мокрые волосы.

По энергичности, съ которою пріятнѣйшій Измаилъ Петровичъ производилъ эту операцію, можно было безъ ошибки

отгадать, что тѣ веселыя, могучія и искреннія фіоритуры, которыя минуту тому назадъ неслись изъ комнаты сквозь затворенныя двери, пускалъ непремѣнно Термосесовъ, а Борноволоковъ только свирестѣлъ и плескался поутиному. Но вотъ Ермошка вернулся, дверь захлопнулась и сладостное видѣніе скрылось.

Однако Термосесовъ въ это короткое время уже успѣлъ окинуть поле своимъ орлинымъ окомъ и не упустилъ случая утѣшить Бизюкину своимъ появленіемъ безъ вихрястаго князя. Онъ появился въ накинутомъ на-опашь сакѣ своемъ и, держа за ухо Ермошку, выпихнулъ его въ переднюю, крикнувъ вслѣдъ ему:

— И глазъ не смѣй показывать, пока не позову!

Затѣмъ онъ заперъ вплотную дверь въ кабинетъ, гдѣ оставался князь, и въ томъ же нарядѣ прямо подсѣлъ къ акцизницѣ.

— Послушайте, Бизюкина, вѣдь этакъ, маточка, нельзя! началъ онъ, взявъ ее безцеремонно за руку. — Посудите сами, какъ вы это вашего подлаго мальчишку избаловали: я его назвалъ поросенкомъ за то, что онъ князю всѣ рукава облилъ, а онъ отвѣчаетъ: «моя мать-съ не свинья, а Аксинья». Это вѣдь, конечно, все вы виноваты, вы его такъ наэмансипировали? Да?

И Термосесовъ вдругъ совершенно инымъ голосомъ и самою мягкою интонаціей произнесъ: «Ну, такъ да, что ли? да?» Это да было произнесено такимъ тономъ, что у Бизюкиной захолонуло въ сердцѣ. Она поняла, что отвѣтъ требуется совсѣмъ не къ тому вопросу, который высказанъ, а къ тому, подразумѣваемый смыслъ котораго даже ее испугалъ своимъ реализмомъ, и потому Бизюкина молчала. Но Термосесовъ наступалъ.

— Да? или нѣтъ? да, или нѣтъ?—напиралъ онъ съ оттѣнкомъ рѣзкаго нетерпѣнія.

Мѣста долгому раздумью не было, и Бизюкина, тревожно вскинувъ на Термосесова глаза, начала было робко:

— Да я не зн...

Но Термосесовъ рѣзко прервалъ ее на полусловѣ.

— Да! — воскликнулъ онъ: — да! и довольно! И больше мнѣ отъ тебя никакихъ словъ не нужно. Давай свои ручонки: я съ перваго же взгляда на тебя узналъ, что мы свои, и другого отвѣта отъ тебя не ожидалъ. Теперь не трать время, но докажи любовь поцѣлуемъ.

— Не хотите ли вы чаю?—пролепетала, какъ будто бы не слыхавъ этихъ словъ, акцизница.

— Нѣтъ, этимъ меня не забавляй: я голова не чайная, а я голова отчаянная.

— Такъ, можетъ быть, вина? — шептала, вырываясь, Дарья Николаевна.

— Вина?—повторилъ Термосесовъ,—ты—«слаще мирра и вина», и онъ съ этимъ привлекъ къ себѣ мадамъ Бизюкину и, прошептавъ: давай «сольемся въ поцѣлуй», накрылъ ея алый ротикъ своими подошвенными губами.

— А скажи-ка мнѣ теперь, зачѣмъ же это ты такая завзятая монархистка? — началъ онъ непосредственно послѣ поцѣлуя, держа предъ своими глазами руку дамы.

— Я вовсе не монархистка! — торопливо отреклась Бизюкина.

— А по комъ же ты этотъ трауръ носишь: по мексиканскому Максимиліану? — И Термосесовъ, улыбаясь, указалъ ей на черныя полосы за ея ногтями и, отодвинувъ ее отъ себя, сказалъ:—Ступай, вымой руки!

Акцизница вспыхнула до ушей и готова была расплакаться. У нея всегда были безукоризненно чистые ногти, а она нарочно загрязнила ихъ, чтобы только заслужить похвалу, но какія тутъ оправданія?.. Она бросилась въ свою спальню, вымыла тамъ свои руки и, выходя съ улыбкой назадъ, объявила:

— Ну, вотъ я и опять республиканка, у меня бѣлыя руки.

Но гость погрозилъ ей пальцемъ и отвѣчалъ, что республиканство—это очень глупая штука.

— Что еще за республика!—сказалъ онъ:—за это только

горячо достаться можетъ. А вотъ у меня есть съ собою всего правительства фотографическія карточки, не хочешь ли я ихъ тебѣ подарю, и мы ихъ развѣсимъ на стѣнку?

— Да у меня онѣ и у самой есть.

— А гдѣ же онѣ у тебя? Вѣрно спрятаны? А? Клянусь самимъ сатаной, что я угадалъ: петербургскихъ гостей ждала и, чтобы либерализмомъ пофорсить, взяла и спрятала? Глупо это, дочь моя, глупо! Ступай-ка тащи ихъ скорѣе сюда, я ихъ опять тебѣ развѣшу.

Пойманная и изобличенная акцизница снова спламенѣла до ушей, но вынула изъ стола оправленныя въ рамки карточки и принесла по требованію Термосесова молотокъ и гвозди, которыми тотъ и принялся работать.

— Я думаю, ихъ лучше всего здѣсь, на этой стѣнѣ, размѣстить?— разсуждалъ онъ, водя пальцемъ.

— Какъ вы хотите.

— Да чего ты все до сихъ поръ говоришь мнѣ *вы*, когда я тебѣ говорю *ты*? Говори мнѣ *ты*. А теперь подавай мнѣ сюда портреты.

— Это все мужъ накупилъ.

— И прекрасно, что онъ начальство уважаетъ, и прекрасно! Ну, мы господъ министровъ всѣхъ рядомъ подъ низокъ. Давай? Это кто такой? Горчаковъ. Канцлеръ, чудесно! Онъ намъ Россію отстоялъ! Ну, молодецъ, что отстоялъ,— давай мы его за то перваго и повѣсимъ. А это кто? ба! ба! ба!

Термосесовъ поднялъ вровень съ своимъ лицомъ карточку покойнаго графа Муравьева и пропѣлъ:

— Михайло Николаичъ, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!

— Вы съ нимъ развѣ были знакомы?

— Я?.. то есть, ты спрашиваешь, лично былъ ли я съ нимъ знакомъ? Нѣтъ; меня Богъ миловалъ, — а наши кое-кто наслаждались его бесѣдой. Ничего; хвалятъ и превозносятъ. Онъ одну нашу барыню даже въ Христову вѣру

привелъ, и Некрасова музу вдохновилъ. Давай-ка, я его поскорѣе повѣшу!

— Ну, вотъ теперь и все какъ слѣдуетъ на мѣстѣ.

Термосесовъ соскочилъ на полъ, взялъ хозяйку за локти и сказалъ:

— Ну; а теперь какое же мнѣ отъ тебя поощреніе будетъ?

Бизюкиной это показалось такъ смѣшно, что она тихонько разсмѣялась и спросила:

— За что поощреніе?

— А за все: за труды, за заботы, за расположеніе. Ты, вѣрно, неблагодарная?—И Термосесовъ, взявъ правую руку Бизюкиной, положилъ ее себѣ на грудь.

— Правда, что у меня горячее сердце?—спросилъ онъ, пользуясь ея смущеніемъ.

Но Дарья Николаевна была обижена и, дернувъ руку, сердито замѣтила:

— Вы, однако, уже слишкомъ дерзки!

— Те-те-те-те! «ви слиськомъ дельски», а совсѣмъ «не слиськомъ», а только какъ разъ впору, — передразнилъ ее Термосесовъ и обвелъ другую свою свободную руку вокругъ ея стана.

— Вы, просто, наглецъ! Вы забываете, что мы едва знакомы, — заговорила, вырываясь отъ него, разгнѣванная Дарья Николаевна.

— Ни капли я не наглецъ и ничего я не забываю, а Термосесовъ уменъ, простъ, естественъ и практикъ отъ природы, вотъ и все. Термосесовъ просто разсуждаетъ: если ты умная женщина, то ты понимаешь, къ чему разговариваешь съ мужчиной на такой короткой ногѣ, какъ ты со мною говорила; а если ты сама не знаешь, зачѣмъ ты себя такъ держишь, такъ ты, выходитъ, глупа и тобою дорожить не стоитъ.

Бизюкина, конечно, непремѣнно желала быть умною.

— Вы очень хитры,—сказала она слегка отклоняя свое лицо отъ лица Термосесова.

— Хитеръ! На что же мнѣ тутъ хитрость? Разумѣется, если ты меня любишь или я тебѣ нравлюсь...

— Кто же вамъ сказалъ, что я васъ люблю?

— Ну, полно врать!

— Нѣтъ, я вамъ правду говорю. Я вовсе васъ не люблю, и вы мнѣ нимало не нравитесь.

— Ну, полно врать вздоръ! какъ не любишь? Нѣтъ, а ты вотъ что: я тебя чувствую и понимаю, и открою тебѣ, кто я такой, но только это надо наединѣ.

Бизюкина молчала.

— Понимаешь, что я говорю? чтобъ узнать другъ друга вполнѣ—нужна рандевушка... съ политическою, разумѣется, цѣлью.

Бизюкина опять молчала.

Термосесовъ вздохнулъ и, тихо освободивъ руку своей дамы, проговорилъ:

— Эхъ вы, жены, всероссійскія жены? А туда же съ польками равняются! Нѣтъ, далеко еще вамъ подруженьки, до полекъ! Дай-ка Измаила Термосесова полькѣ, она бы съ нимъ не разсталась и горы бы Араратскія съ нимъ перевернула.

— Польки—другое дѣло,—заговорила акцизница.

— Почему другое?

— Онѣ любятъ свое отечество, а мы свое ненавидимъ.

— Ну, такъ что же? У полекъ, стало быть, враги—всѣ враги самостоятельности Польши, а ваши враги—всѣ русскіе патріоты.

— Это правда.

— Ну, такъ кто же здѣсь твой злѣйшій врагъ? Говори, и ты увидишь, какъ онъ испытаетъ на себѣ всю тяжесть руки Термосесова!

— У меня много враговъ.

— Злѣйшихъ называй! Называй самыхъ злѣйшихъ!

— Злѣйшихъ двое.

— Имена сихъ несчастныхъ, имена подавай!

— Одинъ... Это здѣшній дьяконъ Ахилла.

— Смерть дьякону Ахиллѣ!

— А другой протопопъ Туберозовъ.

— Гибель протопопу Туберозову!

— За нимъ у насъ весь городъ, весь народъ.

— Ну, такъ что́ же такое, что весь городъ и весь народъ? Термосесовъ знаетъ начальство и потому никакихъ городовъ и никакихъ народовъ не боится.

— Ну, а начальство не совсѣмъ его жалуетъ.

— А не совсѣмъ жалуетъ, такъ тѣмъ ему вѣрнѣе и капутъ; теперь только закрѣпи все это какъ слѣдуетъ: «полюби и стань моей, Иродіада!»

Бизюкина безтрепетно его поцѣловала.

— Вотъ это честно!—воскликнулъ Термосесовъ и, разспросивъ у своей дамы, чѣмъ и какъ досаждали ей ея враги Туберозовъ и Ахилла, пожалъ съ улыбкой ея руку и удалился въ комнату, гдѣ оставался во все это время его компаньонъ.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Ревизоръ еще не спалъ, когда къ нему возвратился его счастливый секретарь.

Одѣтый въ бѣлую коломенковую жакетку, сіятельный сопутникъ Термосесова лежалъ на приготовленной ему постели и, закрывъ ноги легкимъ плэдомъ, дремалъ или мечталъ съ опущенными вѣками.

Термосесовъ пожелалъ удостовѣриться, спитъ его начальникъ или только притворяется спящимъ, и для того онъ тихо подошелъ къ кровати, нагнулся къ его лицу и назвалъ его по имени.

— Вы спите?—спросилъ его Термосесовъ.

— Да,—отвѣчалъ Борноволоковъ.

— Ну, гдѣ жъ тамъ да? Значитъ не спите, если откликаетесь.

— Да.

— Ну, это и выходитъ нелѣпость.

Термосесовъ отошелъ къ другому дивану, сбросилъ съ себя свой сакъ и началъ тоже умащиваться на покой.

— А я этимъ временемъ, пока вы здѣсь дремали, много кое-что обработалъ,—началъ онъ, укладываясь.

Борноволоковъ въ отвѣтъ на это опять уронилъ только одно да, но «да» совершенно особое, такъ сказать любопытное да, съ оттѣнкомъ вопроса.

— Да вотъ-съ какъ да, что я, напримѣръ, могу сказать, что я кое-какія преполезнѣйшія для насъ сдѣлалъ открытія.

— Съ этою дамой?

— Съ дамой? Дама—это само по себѣ,—это дѣло междудѣльное! Нѣтъ-съ, а вы помните, что я вамъ сказалъ, когда поймалъ васъ въ Москвѣ на Садовой?

— Охъ, да!

— Я вамъ сказалъ: ваше сіятельство, премилостивѣйшій мой князь! Такъ со старыми товарищами нельзя обходиться, чтобъ ихъ бросать: такъ дѣлаютъ только одни подлецы. Сказалъ я вамъ это, или не сказалъ?

— Да, вы это сказали.

— Ага! вы помните! Ну, такъ вы тоже должны помнить, какъ я вамъ потомъ развилъ мою мысль и доказалъ вамъ, что вы, наши принцы égalité, обратясь теперь къ преимуществамъ своего рода и состоянія по службѣ, должны не задирать носовъ предъ нами, старыми монтаньярами и бывшими вашими друзьями. Я вамъ это все путемъ растолковалъ.

— Да, да.

— Прекрасно! Вы поняли, что со мной шутить плохо, и были очень покладисты, и я васъ за это хвалю. Вы поняли, что вамъ меня нельзя такъ подпидывать, потому что голодъ-то вѣдь не свой братъ, и голодая-то мало-ли кто что̀ можетъ припомнить? А у Термосесова память первый сортъ и сметка тоже водится: онъ еще, когда вы самымъ краснымъ революціонеромъ были, зналъ, что вы непремѣнно свернете.

— Да.

— Вы рѣшились взять меня съ собою въ родѣ письмоводителя... То есть, если по правдѣ говорить, чтобы не оскорблять васъ лестію, вы не рѣшились этого сдѣлать, а я васъ заставилъ взять меня. Я васъ припугнулъ, что могу выдать ваши переписочки кое-съ-кѣмъ изъ нашихъ привислянскихъ братій.

— Охъ!

— Ничего, князь; не вздыхайте. Я вамъ что̀ тогда сказалъ въ Москвѣ на Садовой, когда держалъ васъ за пуговицу и когда вы отъ меня удирали, то и сейчасъ скажу: не тужите и не охайте, что на васъ напалъ Термосесовъ. Измаилъ Термосесовъ вамъ большую службу сослужитъ. Вы вонъ тамъ съ вашею нынѣшнею партіей, гдѣ нѣтъ такихъ плутовъ, какъ Термосесовъ, а есть другіе почище его, газеты заводите и стремитесь къ тому, чтобы ни тѣмъ, такъ другимъ способомъ надъ народишкомъ инспекцію получить.

— Да-съ.

— Ну, такъ никогда вы это̀го не получите.

— Почему?

— Потому что очень неискусны: сейчасъ васъ патріоты по лапамъ узнаютъ и за вихоръ да и на улицу.

— Гмъ!

— Да-съ; а вы бросьте эти газеты, да возьмитесь за Термосесова, такъ онъ вамъ дѣло уладитъ. Будьте-ка вы Иванъ Царевичъ, а я буду вашъ Сѣрый Волкъ.

— Да, вы Сѣрый Волкъ.

— Вотъ оно что̀ и есть: я Сѣрый Волкъ, и я вамъ, если захочу, помогу достать и златогривыхъ коней, и жаръ-птицъ, и царь-дѣвицъ, и я учиню васъ вновь на господарствѣ.

И съ этимъ Сѣрый Волкъ, быстро сорвавшись съ своего логова, перескочилъ на кровать своего Ивана Царевича и тихо сказалъ:

— Подвиньтесь-ка немножко къ стѣнкѣ, я вамъ кое-что пошепчу.

Борноволоковъ подвинулся, а Термосесовъ присѣлъ къ

нему на край кровати и, обнявъ его рукой, началъ потихоньку рѣчь.

— Хлестните-ка по церкви: вотъ гдѣ язва! Ея набольшихъ-то хорошенько пугните!

— Ничего не понимаю.

— Да вѣдь христіанство равняетъ людей, или нѣтъ? Вѣдь извѣстные, такъ сказать, государственные люди усматривали же вредъ въ переводѣ Библіи на народные языки. Нѣтъ-съ, христіанство... оно легко можетъ быть толкуемо, знаете, этакъ, въ опасномъ смыслѣ. А такимъ толкователемъ можетъ быть каждый попъ.

— Попы у насъ плохи, ихъ не боятся.

— Да, это хорошо, пока они плохи, но вы забываете-съ, что и у нихъ есть хлопотуны; что, можетъ быть, и ихъ послобонятъ и тогда и попы станутъ иные. Не вольготить имъ нужно, а нужно ихъ подтянуть.

— Да, пожалуй.

— Такъ-съ; стойте на томъ, что все надо подобрать и подтянуть и благословите судьбу, что она послала вамъ Термосесова, да держитесь за него, какъ Иванъ Царевичъ за Сѣраго Волка. Я вамъ удеру такой отчетъ, такое донесеніе вамъ сочиню, что враги ваши и тѣ должны будутъ отдать вамъ честь и признаютъ въ васъ административный геній.

Термосесовъ еще понизилъ голосъ и заговорилъ:

— Помните, когда вы здѣсь уже, въ здѣшнемъ губернскомъ городѣ, въ послѣдній разъ съ правителемъ губернаторской канцеляріи, изъ клуба идучи, разговаривали, онъ сказалъ, что его превосходительство жалѣетъ о своихъ прежнихъ безтактностяхъ и особенно о томъ, что допустилъ себя до фамильярности съ разными патріотами.

— Да.

Помните, какъ онъ упоминалъ, что его превосходительству одинъ вольномысленный попъ даже рѣзкостей наговорилъ.

— Да.

— А вѣдь вотъ вы, небось, не спохватились, что этотъ попъ называется Туберозовъ и что онъ здѣсь въ этомъ самомъ городѣ, въ которомъ вы растягиваетесь, и рѣшительно не будете въ состояніи ничего о немъ написать.

Борноволоковъ вдругъ вскочилъ и, сѣвъ на кровати, спросилъ:

— Но какъ вы можете знать, что мнѣ говорилъ правитель канцеляріи?

— А очень просто. Я тогда потихоньку сзади васъ шелъ. За вами вѣдь не худо присматривать. Но теперь не въ этомъ дѣло, а вы понимаете, мы съ этого попа Туберозова начнемъ свою тактику, которая въ развитіи своемъ докажетъ его вредность, и вредность вообще подобныхъ независимыхъ людей въ духовенствѣ; а въ окончательномъ выводѣ явится логическое заключеніе о томъ, что религія можетъ быть допускаема только какъ одна изъ формъ администраціи. А коль скоро вѣра становится серьезною вѣрой, то она вредна и ее надо подобрать и подтянуть. Это будетъ вами первыми высказанная мысль, и она будетъ повторяться вмѣстѣ съ вашимъ именемъ, какъ повторяются мысли Макіавелли и Меттерниха. Довольны ли вы мною, мой повелитель?

— Да.

— И уполномочиваете меня дѣйствовать?

— Да.

— То есть какъ разумѣть это «да»? Значитъ ли оно, что вы этого хотите?

— Да, хочу.

— То-то! А то вѣдь у васъ «да» значитъ и да и нѣтъ.

Термосесовъ отошелъ отъ кровати своего начальника и добавилъ:

— А то вѣдь... нашему брату, холопу, долго бездѣйствовать нельзя: намъ бабушки не ворожатъ, какъ вамъ, чтобы прямо изъ нигилистовъ въ сатрапы попадать. Я и о васъ, да и о себѣ хлопочу; мнѣ голодать уже надоѣло,

а куда не сунешься, все формуляръ одинъ: «красный» да «красный», и никто брать не хочетъ.

— Побѣлитесь.

— Бѣлилъ не на что купить-съ.

— Зачѣмъ вы въ Петербургѣ въ шпіоны себя не предложили?

— Ходилъ-съ и предлагалъ, — отвѣчалъ беззастѣнчиво Термосесовъ, — но съ нашимъ нынѣшнимъ реализмомъ-то уже всѣ эти выгодныя вакансіи стали заняты. Надо, говорятъ, прежде чѣмъ-нибудь зарекомендоваться.

— Такъ и зарекомендуйтесь.

— Дайте случай способности свои показать; а то, ей-Богу, съ васъ начну.

— Скотъ, прошипѣлъ Борноволоковъ.

— Мм-м-м-м-у-у-у!— замычалъ громко Термосесовъ.

Борноволоковъ вскочилъ и, схватись въ ужасѣ за голову, спросилъ:

— Это еще что?

— Это? это черный скотъ мычитъ, жратвы проситъ и приглашаетъ бѣлыхъ быть съ нимъ вѣжливѣе, проговорилъ спокойно Термосесовъ.

Борноволоковъ скрипнулъ въ досадѣ зубами и завернулся молча къ стѣнѣ.

— Ага! вотъ этакъ-то лучше! Смирись, благородный князь, и не кичись своею бѣлизной, а то такъ тебя разрисую, что выйдешь ты сѣро-буро-соловой, въ полтѣни голубой съ крапинами! Не забывай, что я тебѣ, братъ, посланъ въ наказанье; я тернъ въ листахъ твоего вѣнца. Носи меня съ почтеньемъ!

Умаянный Борноволоковъ задушилъ вздохъ и притворился спящимъ; а торжествующій Термосесовъ безъ притворства заснулъ на самомъ дѣлѣ.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Тою порой, пока между пріѣзжими гостями Бизюкиной происходила описанная сцена, сама Дарья Николаевна, со-

бравъ всю свою прислугу, открыла усиленную дѣятельность по реставраціи своихъ аппартаментовъ. Обрадованная дозволеніемъ жить не по-спартански, она рѣшила даже сдѣлать маленькій раутъ, на которомъ бы показать своимъ гостямъ все свое превосходство предъ обществомъ маленькаго города, гдѣ она, чуткая и живая женщина, погибаетъ непонятая и неоцѣненная.

Работа кипѣла и подвигалась быстро: комнаты прифрантились. Дарья Николаевна работала, и сама она стояла на столѣ и подбирала у оконъ спальни буфы бѣлыхъ пышныхъ шторъ на розовомъ дублюрѣ.

Едва кончилось вѣшанье шторъ, какъ изъ темныхъ кладовыхъ полѣзла на свѣтъ Божій всякая другая галантерейщина, на стѣнахъ появились картины за картинами, всталъ у камина роскошнѣйшій экранъ, на самой доскѣ камина помѣстились черные мраморные часы со звѣзднымъ маятникомъ, столы покрылись новыми, дорогими салфетками; лампы, фарфоръ, бронза, куколки и всякія бездѣлушки усѣяли всѣ мѣста спальни и гостиной, гдѣ только было ихъ ткнуть и приставить. Все это придало всей квартирѣ видъ ложемента богатой дамы demi-monde'а, получающей вещи зря и безъ толку.

На самый разгаръ этой ряботы явился учитель Препотенскій и ахнулъ. Разумѣется, онъ никакъ не могъ одобрять «этихъ шиковъ». Онъ даже благоразумно не понималъ, какъ можно «новой женщинѣ», не сойдя окончательно съ ума, обличить такую наглость предъ петербургскими предпринимателями, и потому Препотенскій стоялъ и глядѣлъ на всю эту роскошь съ язвительной улыбкой, но когда не обращавшая на него никакого вниманія Дарья Николаевна дерзко велѣла прислугѣ, въ присутствіи учителя, снимать чехлы съ мебели, то Препотенскій уже не выдержалъ и спросилъ:

— И вамъ это не стыдно?

— Нимало.

И затѣмъ, снова не обращая никакого вниманія на

удивленнаго учителя, Бизюкина распорядилась, чтобы за диваномъ былъ поставленъ вынесенный вчера трельяжъ съ зеленымъ плющемъ, и начала устраивать передъ каминомъ самый восхитительный уголокъ изъ лучшей своей мягкой мебели.

— Это ужъ просто наглость!—воскликнулъ Препотенскій и, отойдя въ сторону, сѣлъ и началъ просматривать новую книгу.

— А вотъ погодите, вамъ за это достанется!—сказала ему вмѣсто отвѣта Дарья Николаевна.

— Мнѣ достанется? За что-съ?

— Чтобы вы такъ не смѣли разсуждать.

— Отъ кого же-съ мнѣ можетъ достаться? Кто мнѣ это можетъ запретить имѣть честныя мысли?..

Но въ это время послышался кашель Термосесова, и Бизюкина коротко и рѣшительно сказала Препотенскому.

— Послушайте, идите вонъ!

Это было такъ неожиданно, что тотъ даже не понялъ всего суроваго смысла этихъ словъ, и она должна была повторить ему свое приказаніе.

— Какъ вонъ?—переспросилъ изумленный Препотенскій.

— Такъ, очень просто. Я не хочу, чтобы вы у меня больше бывали.

— Нѣтъ, послушайте... да развѣ вы это серьезно?

— Какъ нельзя серьезнѣе.

Въ комнатѣ гостей послышалось новое движеніе.

— Прошу васъ вонъ, Препотенскій!—воскликнула нетерпѣливо Бизюкина.—Вы слышите,—идите вонъ!

— Но позвольте же.!. вѣдь я ничему не мѣшаю.

— Нѣтъ, неправда, мѣшаете!

— Такъ я же могу вѣдь исправиться.

— Да не можете вы исправиться, настаивала хозяйка съ нетерпѣливою досадой, порывая гостя съ его мѣста.

Но Препотенскій тоже обнаруживалъ характеръ и спокойно, но стойко добивался объясненія, почему она отрицаетъ въ немъ способность исправиться.

— Потому что вы набитый дуракъ!—наконецъ, вскричала въ бѣшенствѣ madame Бизюкина.

— А, это другое дѣло, отвѣтилъ, вставая съ мѣста, Препотенскій,—но въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ мои кости...

— Тамъ, спросите ихъ у Ермошки; я ему ихъ отдала, чтобъ онъ выкинулъ.

— Выкинулъ!—воскликнулъ учитель и бросился на кухню; а когда онъ черезъ полчаса вернулся назадъ, то Дарья Николаевна была уже въ такомъ ослѣпительномъ нарядѣ, что учитель, увидавъ ее, даже пошатнулся и схватился за печку.

— А! вы еще не ушли?—спросила она его строго.

— Нѣтъ... я не ушелъ и не могу... потому что вашъ Ермошка...

— Ну-съ!

— Онъ бросилъ мои кости въ такое мѣсто, что теперь нѣтъ больше никакой надежды...

— О, да вы, я вижу, будете долго разговаривать!—воскликнула въ яростномъ гнѣвѣ Бизюкина и, схвативъ Препотенскаго за плечи, вытолкала его въ переднюю. Но въ это же самое мгновеніе, на порогѣ другихъ дверей, очамъ сражающихся предсталъ Термосесовъ.

## ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

— Ба, ба, ба! что это за изгнаніе?—вопросилъ онъ у Бизюкиной, протирая свои слегка заспанные глаза.

— Ничего, это одинъ... глупый человѣкъ, который къ намъ прежде хаживалъ, отвѣчала та, покидая Препотенскаго.

— Такъ за что же теперь его вонъ,—что онъ такое сневѣжничалъ?

— Рѣшительно ничего, совершенно ничего, отозвался учитель.

Термосесовъ посмотрѣлъ на него и проговорилъ:

— Да вы кто же такой?

— Учитель Препотенскій.

— Чѣмъ же вы ее раздражали?

— Да ровно ничѣмъ-съ, ровно ничѣмъ.

— Ну, такъ идите назадъ, я васъ помирю.

Препотенскій сейчасъ же вернулся.

— Почему же вы говорите, что онъ будто глупъ?— спросилъ у Бизюкиной Термосесовъ, крѣпко держа за обѣ руки учителя.—Я въ немъ этого не вижу.

— Да, разумѣется-съ, повѣрьте, я рѣшительно не глупъ, отвѣчалъ, улыбаясь, Варнава.

— Совершенно вѣрю; и госпожу хозяйку за такое обращеніе съ вами не похвалю. Но пусть она намъ за это на мировую чаю дастъ. Я со сна чай иногда употребляю.

Хозяйка ушла распорядиться чаемъ.

— А вы, батюшка учитель, сядьте-ка да потолкуемте! Вы, я вижу, человѣкъ очень хорошій и покладливый,—началъ, оставшись съ нимъ наединѣ, Термосесовъ и въ пять минутъ заставилъ Варнаву разсказать себѣ все его горестное положеніе и дома, и на поляхъ, причемъ не были позабыты ни мать, ни кости, ни Ахилла, ни Туберозовъ, при имени котораго Термосесовъ усугубилъ все свое вниманіе; потомъ разсказана была и недавнишняя утренняя военная исторія дьякона съ комиссаромъ Данилкой.

При этомъ послѣднемъ разсказѣ Термосесовъ крякнулъ и, хлопнувъ Препотенскаго по колѣну, сказалъ потихоньку:

— Такъ слушайте же, профессоръ, я поручаю вамъ непремѣнно доставить мнѣ завтра утромъ этого самаго мѣщанина?

— Данилку-то?

— Да; того, что дьяконъ обидѣлъ.

— Помилуйте, да это ничего нѣтъ легче!

— Такъ доставьте же.

— Утромъ будетъ у васъ до зари.

— Именно до зари. Нѣтъ; вы, я вижу, даже молодчина, Препотенскій!—похвалилъ Термосесовъ и, обратясь къ возвратившейся въ это время Бизюкиной, добавилъ:—Нѣтъ,

мнѣ онъ очень нравится, а если онъ меня съ попомъ Туберозовымъ познакомитъ, то я его даже совсѣмъ умникомъ назову.

— Я его терпѣть не могу и вамъ не совѣтую съ нимъ знакомиться, лепеталъ Варнава,—но если вамъ это нужно...

— Нужно, другъ, нужно.

— Въ такомъ случаѣ пойдемте на вечеръ къ исправнику, тамъ вы со всѣми нашими познакомитесь.

— Пожалуй; я куда хочешь пойду, только вѣдь надо, чтобы позвали.

— О, ничего нѣтъ этого легче, перебилъ учитель, и изложилъ самый простой планъ, что онъ сейчасъ пойдетъ къ исправницѣ и скажетъ ей отъ имени Дарьи Николаевны, что она проситъ позволенія придти вечеромъ съ пріѣзжимъ гостемъ.

— Препотенскій, приди, я тебя обниму!—воскликнулъ Термосесовъ.

— Да-съ; продолжалъ радостный учитель.—И они сами еще всѣ будутъ довольны, что у нихъ будетъ новый гость, а вы тамъ сразу познакомитесь не только съ Туберозовымъ, но и съ противнымъ Ахилкой и съ предводителемъ.

— Препотенскій! подойди сюда, я тебя поцѣлую!—воскликнулъ Термосесовъ, и когда учитель всталъ и подошелъ къ нему, онъ, дѣйствительно, его поцѣловалъ и, завернувъ налѣво кругомъ, сказалъ:—ступай и дѣйствуй!

Гордый и совершенно обольщенный насчетъ своей репутаціи, Варнава схватилъ шапку и убѣжалъ.

Черезъ часъ времени, проведенный Термосесовымъ въ разговорѣ съ Бизюкиной о томъ, что ни одному дураку на свѣтѣ не надо давать чувствовать, что онъ глупъ, учитель явился съ приглашеніемъ для всѣхъ пожаловать на вечеръ къ Порохонцеву и при этомъ добавилъ:

— А что касается интересовавшаго васъ мѣщанина Данилки, то я его уже розыскалъ и онъ въ эту минуту стоитъ у воротъ.

Термосесовъ, еще разъ поощривъ Варнаву всякими по-

хвалами, всталъ и, захвативъ съ собою учителя, велѣлъ ему провести себя куда-нибудь въ укромное мѣсто и доставить туда же и Данилку.

Препотенскій свелъ Измаила Петровича въ пустую канцелярію акцизника и поставилъ передъ нимъ требуемаго мѣщанина.

— Здравствуйте, гражданинъ, встрѣтилъ Данилку Термосесовъ.—Какъ васъ на сихъ дняхъ утромъ обидѣлъ здѣшній дьяконъ?

— Никакой обиды не было.

— Какъ не было? Вы говорите мнѣ прямо все, смѣло и откровенно, какъ попу на духу, потому что я другъ народа, а не врагъ. Ахилла дьяконъ васъ обидѣлъ?

— Нѣтъ, обиды не было. Это мы такъ промежъ себя все уже кончили.

— Какъ же можно все это кончить? Вѣдь онъ васъ за ухо велъ по улицѣ?

— Такъ что же такое? Глупость все это!

— Какъ глупость? Это обида. Вы размыслите, гражданинъ,—вѣдь онъ васъ за ухо дралъ.

— Все же это больше баловство и мы въ этомъ обиды себѣ не числимъ.

— Какъ же, гражданинъ, не числите? Какъ же не числите такой обиды? Вѣдь это, говорятъ, было почти всенародно?

— Да, всенародно же-съ, всенародно.

— Такъ вы должны на это жалобу подать!

— Кому-съ?

— А вотъ этому князю, что̀ со мною пріѣхалъ.

— Такъ-съ.

— Значитъ, подаете вы жалобу или нѣтъ?

— Да на какой предметъ ее подавать-съ?

— Сто рублей штрафу присудятъ, вотъ на какой предметъ.

— Это точно.

— Такъ вы, значитъ, согласны. Ну, и давно бы такъ. Препотенскій! садись и строчи, что я проговорю.

И Термосесовъ началъ диктовать Препотенскому просьбу на имя Борноволокова, просьбу довольно краткую, но кляузную, въ которой не было позабыто и имя протопопа, какъ поощрителя самоуправства, сказавшаго даже ему, Данилѣ, что онъ воспріялъ отъ дьякона достойное по своимъ дѣламъ.

— Подписывай, гражданинъ!—крикнулъ Термосесовъ на Данилку, когда Препотенскій дописалъ послѣднюю строчку.

Данила встрепенулся.

— Подписывайте, подписывайте!—внушалъ Термосесовъ, насильно всовывая ему въ руку перо, но «гражданинъ» вдругъ отвѣтилъ, что онъ не хочетъ подписывать жалобу.

— Что, какъ не хотите?

— Потому, я на это не согласенъ-съ.

— Какъ несогласенъ! Что ты это, чортъ тебя побери! То молчалъ, а когда просьбу тебѣ даромъ написали, такъ ты не согласенъ.

— Несогласенъ-съ.

— Что не цѣлковый ли еще тебѣ за это давать, чтобы ты подписалъ? Жиренъ, братъ, будешь. Подписывай сейчасъ!

И Термосесовъ, схвативъ его сердито за-воротъ, потащилъ къ столу.

— Я... какъ вашей милости будетъ угодно, а я не подпишу, залепеталъ мѣщанинъ и уронилъ нарочно перо на полъ.

— Я тебѣ дамъ «какъ моей милости угодно!» А не угодно ли твоей милости за это отъ меня получить разъ десять по рылу?

Испуганный «гражданинъ» рванулся всѣмъ тѣломъ назадъ и залепеталъ:

— Ваше высокородіе, смилуйтесь, не понуждайте! Вѣдь изъ моей просьбы все равно ничего не будетъ!

— Это почему?

— Потому что я уже хотѣлъ одинъ разъ подавать просьбу, какъ меня княжескій управитель Гличъ крапивой выпоролъ, что я ходилъ о закладъ для исправника лошадь красть, но весь народъ мнѣ отсовѣтовалъ: не подавай, говорятъ,

Данилка, станутъ о тебѣ повальный обыскъ писать, мы всѣ скажемъ, что тебя давно бы надо въ Сибирь сослать. Да-съ, и я самъ себя даже достаточно чувствую, что мнѣ за честь свою вступаться не пристало.

— Ну это ты самъ себѣ можешь разсуждать о своей чести какъ тебѣ угодно...

— И господа чиновники здѣшніе тоже всѣ знаютъ...

— И пусть ихъ знаютъ, всѣ твои господа здѣшніе чиновники, а мы не здѣшніе, мы петербургскіе. Понимаешь?— изъ самой столицы, изъ Петербурга, и я приказываю тебѣ: сейчасъ подписывай, подлецъ ты, треанаѳемскій, безъ всякихъ разсужденій, а то... въ Сибирь безъ обыска улетишь!

И при этомъ могучій Термосесовъ такъ сдавилъ Данилку одною рукой за руку, а другою за горло, что тотъ въ одно мгновенье покраснѣлъ, какъ вареный ракъ, и едва прохрипѣлъ:

— Ради Господа освободите! Все что̀ угодно подпишу!

И вслѣдъ за симъ, перхая и ежась, онъ нацарапалъ подъ жалобой свое имя.

Термосесовъ тотчасъ же взялъ этотъ листъ въ карманъ и, поставивъ предъ носомъ Данилки кулакъ, грозно сказалъ:

— Гражданинъ, ежели ты только кому-нибудь до времени пробрешешься, что ты подалъ просьбу, то...

Данилка, продолжая кашлять, только отмахнулся перемлѣвшею рукой.

— Я тебѣ, бездѣльнику, тогда всю рожу растворожу, щеку на щеку помножу, носъ вычту и зубы въ дроби превращу!

Мѣщанинъ замахалъ уже обѣими руками.

— Ну, а теперь полно здѣсь перхать. Алё маширъ въ двери! — скомандовалъ Термосесовъ и, снявъ наложенный крючокъ съ дверей, такъ наподдалъ Данилкѣ на порогѣ, что тотъ вылетѣлъ выше пригороженнаго къ крыльцу курятника и, сѣвъ съ разлету въ теплую муравку, только оглянулся, потомъ плюнулъ и, потерявъ даже свою перхоту, выкатился на четвереньках за ворота.

Препотенскій, увидя эту расправу, взрадовался и заплескалъ руками.

— Чего ты?—спросилъ Термосесовъ.

— Вы сильнѣе Ахилки! Съ вами я его теперь не боюсь.

— Да и не бойся.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Спустившіяся надъ городомъ сумерки освѣтили на улицѣ, ведущей отъ дома акцизницы къ дому исправника, удалую тройку, которая была совсѣмъ въ другомъ родѣ, чѣмъ та, что подвозила сюда утромъ плодомасовскихъ карликовъ. Въ корню точно дикій степной иноходецъ, пригорбясь и подносясь, шла, закинувъ назадъ головенку, Бизюкина; справа отъ ней, заломя назадъ шлыкъ, перъ Термосесовъ, а слѣва—вилъ ногами и моталъ головой Препотенскій. Точно сборная обывательская тройка, одна съ двора, другая—съ задворка, а третья—съ попова загона: одинъ пляшетъ, другой скачетъ, третій пѣсенки поетъ. Но разлада нѣтъ, и всѣ они, хотя неровнымъ аллюромъ, везутъ однѣ и тѣ же дроги и къ одной и той же цѣли. Цѣль эту знаетъ одинъ Термосесовъ; одинъ онъ работаетъ не изъ пустяковъ и заставляетъ служить себѣ и учителя, и акцизницу, но весело имъ всѣмъ поровну. Если Термосесовъ знаетъ, чего ликуетъ смѣлая и предпріимчивая душа его, то не всуе же играетъ сердце и Дарьи Николаевны и Препотенскаго. Оба эти лица предвкушаютъ захватывающее ихъ блаженство,—они готовятся насладиться стычкой Гога съ Магогомъ, — Туберозова съ Термосесовымъ!..

Какъ возьмется за это дѣло ловкій, всесокрушающій пріѣзжій, и кто устоитъ въ неравномъ спорѣ?

Какъ вамъ угодно, а это, дѣйствительно, довольно интересно!

---

# Часть третья.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Раньше чѣмъ Термосесовъ и его компанія пришли на раутъ къ исправнику, Туберозовъ провелъ уже болѣе часа въ уединенной бесѣдѣ съ предводителемъ Тугановымъ. Старый протопопъ жаловался важному гостю на то самое, на что онъ жаловался въ извѣстномъ намъ своемъ дневникѣ, и получалъ въ отвѣтъ тѣ же старыя шутки.

— Что будетъ изъ всей такой шаткости?—морща брови, пыталъ протопопъ, а предводитель, смѣясь, отвѣчалъ ему:

— Не уявися, что будетъ, мой любезный.

— Безъ идеала, безъ вѣры, безъ почтенія къ дѣяніямъ предковъ великихъ... Это... это сгубитъ Россію.

— А что жъ, если ей нужно сгибнуть, такъ и сгубитъ, отвѣтитъ равнодушно Тугановъ и, вставши, добавилъ:—а пока знаешь что: пойдемъ къ гостямъ, мы съ тобою все равно ни до чего не договоримся; ты маньякъ.

Протопопъ остановился и съ обидой въ голосѣ спросилъ:

— За что же я маньякъ?

— Да что же ты ко всѣмъ лѣзешь, ко всѣмъ пристаешь: «идеалъ, вѣра?» Нечего, братъ, дѣлать, когда этому всему, видно, время прошло.

Туберозовъ улыбнулся и, вздохнувъ кротко, отвѣтилъ, что прошло не время вѣры и идеаловъ, а прошло *время словъ*.

— Совершай, братъ, *дѣла*.

— Дѣлъ теперь тоже мало.

— Что же нужно?

— Подвиги.

— Совершай подвиги. Въ какомъ только духѣ?

— Въ духѣ крѣпкомъ, въ дыханіи бурномъ... Чтобы сами гасильники загорались!

— Да, да, да! Тебѣ ссориться хочется! Нѣтъ, отче: лучше мирись.

— Парменъ Николаевичъ, много слышу, сударь, нынче объ этомъ примиреніи. Что за миръ съ тѣмъ, кто пардона не проситъ. Не гожъ этотъ миръ, и дѣды недаромъ намъ завѣщали «не побивши кума, не пить мировой».

— Ему непремѣнно «побить»!

— А то какъ же? Непремѣнно побить!

— Ты, братъ, совсѣмъ бурсакъ!

— Да вѣдь я себя и не выдаю за благороднаго.

— Да тебѣ что неотразимо что ли ужъ хочется пострадать? Такъ, вѣдь, этого изъ-за пустяковъ не дѣлаютъ. Лучше побереги себя до хорошаго случая.

— Бережныхъ и безъ меня много; а я долженъ свой долгъ исполнять.

— Ну, ужъ не я же, разумѣется, стану тебя отговаривать исполнять по совѣсти свой долгъ. Исполняй: прлстыди безстыжихъ — выкусишь кукишъ, прапорщикъ будешь, а теперь все-таки пойдемъ къ хозяевамъ; я, вѣдь, здѣсь долго не останусь.

Протопопъ пошелъ за Тугановымъ, бодрясь, но чрезвычайно обезкураженный. Онъ совсѣмъ не того ожидалъ отъ этого свиданія, но врядъ ли онъ и самъ зналъ, чего ожидалъ.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Термосесовъ съ Варнавой и либеральною акцизницей прибыли на раутъ въ то время, когда Тугановъ съ Туберозовымъ уже прошли черезъ залъ и сидѣли въ маленькой гостиной. Другіе гости расположились въ залѣ, разговаривали, играли на фортепіано и пробовали что-то пѣть. Сюда-

то прямо и вошли въ это самое время Термосесовъ, Бизюкина и Варнава.

Хозяйка встрѣтила ихъ и поблагодарила Бизюкину за гостя, а Термосесова за его безцеремонную простоту.

— Мы люди простые и простыхъ людей любимъ,— сказала она ему.

— А я самый и есть простой человѣкъ,—отвѣчалъ Термосесовъ, и при этомъ поклонился очень низко, улыбнулся очень привѣтливо и даже щелкнулъ каблукомъ.

Видя это, Бизюкина, по совѣсти, гораздо болѣе одобряла достойное поведеніе Препотенскаго, который стоялъ, будто проглотилъ аршинъ. Случайно ли, или въ силу соображеній, что вновь пришедшіе гости люди болѣе серьезные, которымъ неприлично хохотать съ барышнями и слушать вздорные разсказы и плохое пѣніе, хозяйка провела Термосесова и Препотенскаго прямо въ ту маленькую гостиную, гдѣ помѣщались: Тугановъ, Плодомасовъ, Дарьяновъ, Савелій, Захарія и Ахилла.

Бизюкина могла оріентироваться, гдѣ ей угодно, но у нея не достало смѣлости проникнуть въ гостиную вслѣдъ за своими кавалерами, а якшаться съ дамами она не желала, и потому сѣла у двери.

Гостиная, куда вошли Препотенскій и Термосесовъ, была узенькая комнатка; въ концѣ ея стоялъ диванъ съ преддиваннымъ столомъ, за которымъ помѣщались Тугановъ и Туберозовъ, а вокругъ на стульяхъ сидѣли: смиренный Бенефактовъ, Дарьяновъ и уѣздный предводитель Плодомасовъ. Ахилла не сидѣлъ, а стоялъ сзади за пустымъ кресломъ и держался рукою за рѣзьбу. Бизюкина видѣла, какъ Термосесовъ, войдя въ гостиную, наипочтительнѣйше раскланялся и... чего, вѣроятно, никто не могъ себѣ представить, вдругъ подошелъ къ Туберозову и попросилъ себѣ у него благословенія. Больше всѣхъ этимъ былъ удивленъ, конечно, самъ отецъ Савелій; онъ даже не сразу нашелся какъ поступить и далъ требуемое Термосесовымъ благословеніе съ видимымъ замѣшательствомъ. А когда же Термо-

сесовъ, вдобавокъ, хотѣлъ поцѣловать его руку, то протопопъ столь этимъ смутился, что торопливо опустилъ сильнымъ движеніемъ свою и Термосесовскую руку книзу и крѣпко сжалъ и потрясъ эту предательскую руку, какъ руку наилучшаго друга.

Термосесовъ пожелалъ получить благословеніе и отъ Захаріи, но смиренный Бенефактовъ оказался на сей разъ находчивѣй Туберозова,—онъ не только благословилъ, но и, ничто же сумняся, самъ поднесъ къ губамъ проходимца свою желтенькую ручку.

Разошедшійся Термосесовъ направился было за благословеніемъ и къ Ахиллѣ, но этотъ, бойко шаркнувъ ногою, сказалъ гостю:

— Я дьяконъ-съ.

Засимъ оба они пожали другъ другу руки и Ахилла предложилъ Термосесову сѣсть на то кресло, за которымъ стоялъ, но Термосесовъ вѣжливо отклонилъ эту честь и помѣстился на ближайшемъ стулѣ, возлѣ отца Захаріи, межъ тѣмъ какъ вѣрный законамъ своей рутинной школы Препотенскій отошелъ какъ можно дальше и сѣлъ напротивъ отворенной двери въ залъ.

Такимъ выборомъ мѣста онъ, во-первыхъ, показывалъ, что не желаетъ имѣть общенія съ міромъ, а, во-вторыхъ, онъ видѣлъ отсюда Бизюкину; она, въ свою очередь, должна была слышать все, что онъ скажетъ. Учитель чувствовалъ и сознавалъ необходимость поднять свои фонды, заколебавшіеся съ пріѣздомъ Термосесова, и теперь, усѣвшись, ждалъ только перваго предлога завязать споръ и показать Бизюкиной, если уже не превосходство своего ума, то, по крайней мѣрѣ, чистоту направленія. Для искателей спора предлогъ къ этому занятію представляетъ всякое слово, и Варнава недолго томился молчаніемъ.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

При входѣ новыхъ гостей предводитель Плодомасовъ разсказывалъ Туберозову о современныхъ реформахъ въ духо-

венствѣ и возобновилъ этотъ разговоръ, когда Термосесовъ и Варнава усѣлись.

Уѣздный предводитель былъ поборникъ реформы, Тугановъ тоже, но послѣдній вставилъ, что когда онъ вчера видѣлся съ архіереемъ, то его преосвященство высказывался очень осторожно и, между прочимъ, шутилъ, что прекращеніемъ наслѣдственности въ духовенствѣ переведется у насъ самая чистокровная русская порода.

— Это что̀ же значитъ-съ?—любопытствовалъ Захарія.

Тугановъ ему объяснилъ, что намекъ этотъ на чистоту несмѣшанной русской породы въ духовенствѣ касается неупотребительности въ этомъ сословіи смѣшанныхъ браковъ. Захарія не понялъ, и Тугановъ долженъ былъ ему помочь.

— Просто дѣло въ томъ,—сказалъ онъ,—что духовные всѣ женились на духовныхъ же...

— На духовныхъ-съ, на духовныхъ.

— А духовные всѣ русскіе.

— Русскіе.

— Ну, и течетъ, значитъ, въ духовенствѣ кровь чистая русская, межъ тѣмъ какъ всѣ другіе перемѣшались съ инородцами: съ поляками, съ татарами, съ нѣмцами, со шведами и... даже съ жидами.

— Ай, ай, ай, даже съ жидами! — тпфу, погань!— произнесъ Захарія и плюнулъ.

— Да и шведы-то тоже «нерубленыя головы»;—легко ли дѣло съ кѣмъ мѣшаться!—поддержалъ Ахилла.

Протопопъ, кажется, побоялся, какъ бы дьяконъ не сказалъ чего-нибудь неподлежащаго, и, чтобы замять этотъ разговоръ о національностяхъ, вставилъ:

— Да; владыка нашъ не бѣднаго ума человѣкъ.

— Онъ даже что-то о какомъ-то «млекѣ» написалъ, отозвался изъ своего далека Препотенскій, но на его слова никто не отвѣтилъ.

— И онъ юмористъ большой,—продолжалъ Тугановъ.—

Тамъ у насъ завелся новый жандармчикъ, развязности безконечной, и все для себя считаетъ возможнымъ.

— Да, это такъ и есть; жандармы все могутъ, — опять подалъ голосъ Препотенскій, и его опять не замѣтили.

— Узналъ этотъ господчикъ, — продолжалъ Тугановъ, — что у вашего архіерея никто никогда не обѣдалъ, и пошелъ пари въ клубѣ съ полиціймейстеромъ, что онъ пообѣдаетъ, а старикъ-то на грѣхъ объ этомъ и узнай!..

— Ай, ай, ай!—протянулъ Захарія.

— Ну-съ; вотъ пріѣхалъ къ нему этотъ кавалеристъ и сидитъ, и сидитъ, какъ зашелъ отъ обѣдни, такъ и сидитъ. Наконецъ, ужъ не выдержалъ и въ седьмомъ часу вечера сталъ прощаться. А молчаливый архіерей, до этихъ поръ все его слушавшій, а не говорившій, говоритъ: а что̀ же, откушать бы со мною остались! Ну, у того ужъ и ушки на макушкѣ:—выигралъ пари. Ну, тутъ еще часокъ архіерей его продержалъ и ведетъ къ столу.

— Ахъ, вотъ это ужъ онъ напрасно,—сказалъ Захарія,— напрасно!

— Но позвольте же; пришли они въ столовую, архіерей сталъ предъ иконой и зачиталъ, и читаетъ, да и читаетъ, молитву за молитвой. Опять часъ прошелъ; тощій гость какъ съ ногъ не валится.

— Ну, теперь подавайте,—говоритъ владыка. Подали двѣ мелкія тарелочки гороховаго супа съ сухарями, и только что офицеръ раздразнилъ аппетитъ, какъ владыка уже и опять встаетъ.—Ну, возблагодаримте, говоритъ, теперь Господа Бога по трапезѣ. Да ужъ въ этотъ разъ какъ сталъ читать, такъ тотъ молодецъ не дождался, да потихоньку драла и убѣжалъ. Разсказываетъ мнѣ это вчера старикъ и смѣется: — «Сей духъ, говоритъ, ничѣмъ же изъимается, токмо молитвою и постомъ».

— Онъ и остроуменъ, и человѣкъ обращенія пріятнаго и тонкаго, уронилъ Туберозовъ, словно его тяготили эти анекдотическіе разговоры.

— Да; но тоже кряхтитъ и жалуется, *что людей нѣтъ.*

«Плывемъ, говоритъ, по глубокой пучинѣ на расшатанномъ кораблѣ и съ пьяными матросами. Хорони Богъ на сей случай бури».

— Слово горькое,—отозвался Туберозовъ.

— Впрочемъ, началъ снова Тугановъ,—про вашъ городъ сказалъ, что тутъ крѣпко. Тамъ, говоритъ, у меня есть два попа: одинъ умный, другой—благочестивый.

— Умный—это отецъ Савелій, отозвался Захарія.

— Почему же вы увѣрены, что умный—это непремѣнно отецъ Савелій?

— Потому что... они мудры, отвѣчалъ, конфузясь, Бенефактовъ.

— А отецъ Захарія вышли по второму разряду, подсказалъ дьяконъ.

Туберозовъ покачалъ на него укоризненно головою. Ахилла поспѣшилъ поправиться и сказалъ:

— Отецъ Захарія благочестивый, это владыка, должно-быть, къ тому и сказали, что на отца Захарія жалобъ никакихъ не было.

— Да, жалобъ на меня не было, вздохнулъ Захарія.

— А отецъ Савелій безпокойный человѣкъ, — пошутилъ Тугановъ.

Минута эта представилась Препотенскому крайне благопріятною, и онъ, не упуская ее, тотчасъ же заявилъ, что безпокойные въ духовенствѣ это значитъ доносчики, потому что религіозная совѣсть должна быть свободна. Тугановъ не постерегся и отвѣтилъ Препотенскому, что свобода совѣсти необходима и что очень жаль, что ея у насъ нѣтъ.

— Да, бѣдная наша церковь несетъ за это отовсюду напрасныя порицанія, замѣтилъ отъ себя Туберозовъ.

— Такъ на что же вы жалуетесь?—живо обратился къ нему Препотенскій.

— Жалуемся на невѣротерпимость, сухо отвѣтилъ ему Туберозовъ.

— Вы отъ нея не страдаете.

— Нѣтъ, горестно страдаемъ! Вы громко и свободно

проповѣдуете, что надо, чтобы вѣры не было, и вамъ это сходитъ, а мы если только пошепчемъ, что надо, чтобы лучше вашихъ ученій не было, то...

— Да, такъ вы вотъ чего хотите!—перебилъ учитель.— Вы хотите на насъ науськивать, чтобы насъ порѣшили!

— Нѣтъ, это вы хотите, чтобы насъ порѣшили.

Препотенскій не нашелся отвѣтить: отрицать этого онъ не хотѣлъ, а прямо подтвердить боялся. Тугановъ устранилъ затрудненіе, сказавъ, что отецъ протопопъ только негодуетъ, что есть люди, поставляющіе себѣ задачею подрывать въ простыхъ сердцахъ вѣру.

— Наипаче негодую на то, что сіе за потворствомъ и удается.

Препотенскій улыбнулся.

— Удается это потому, сказалъ онъ,—что вѣра роскошь, которая дорого народу обходится.

— Ну, однако, не дороже его пьянства, безстрастно замѣтилъ Тугановъ.

— Да, вѣдь, пить-то—это веселіе Руси есть, это національное, и водка все-таки полезнѣе вѣры: она, по крайней мѣрѣ, грѣетъ.

Туберозовъ вспыхнулъ и крѣпко сжалъ рукавъ своей рясы; но въ это время Тугановъ возразилъ учителю, что онъ ошибается, и указалъ на то, что вѣра согрѣваетъ лучше чѣмъ водка, что всѣ добрыя дѣла нашъ мужикъ начинаетъ помолившись, а всѣ худыя, за которыя въ Сибирь ссылаютъ, дѣлаетъ водки напившись.

— Впрочемъ, откупа́ уничтожены экономистами, перебросился вдругъ Препотенскій. — Экономисты утверждали, что чѣмъ водка будетъ дешевле, тѣмъ меньше ее будутъ пить, и соврали. Впрочемъ, экономисты не соврали; — они знаютъ, что для того, чтобы народъ меньше пьянствовалъ, требуется не одно то, чтобы водка подешевѣла. Надо, чтобы многое не шло такъ, какъ идетъ. А между тѣмъ къ новому стремятся не экономисты, а одни... «новые люди».

— Да; только люди-то эти дрянные, и пошло чортъ знаетъ что.

— Да, ихъ уловили шпіоны.

— Нѣтъ, просто мошенники.

— Мошенники-и!

— Да. Мошенники, вѣдь, всегда заключаютъ своею узурпаціею всѣ сумятицы, въ которыя имъ не безвыгодно вмѣшаться. У насъ долго возились съ этими... нигилистами, что ли? Возилось съ ними одно время и правительство, возится до сихъ поръ и общество, и печать, а пошабашутъ ихъ не эти, а просто-на-просто мошенники, которые откликнутся въ ихъ кличку, мошенники и превзойдутъ ихъ, а затѣмъ наступитъ поворотъ.

Препотенскій бросилъ тревожный взглядъ на Бизюкину. Его смущало, что Тугановъ просто съѣдаетъ его задоръ, какъ вешній туманъ съѣдаетъ съ поля бугры снѣга. Варнава искалъ поддержки, и въ этомъ чаяніи перевелъ взоры свои на Термосесова, но Термосесовъ даже и не смотрѣлъ на него, но зато дьяконъ Ахилла, давно дававшій ему рукою знаки перестать, сказалъ:

— Замолчи, Варнава Васильевичъ,—совсѣмъ не занятно!

Это взорвало учителя—тѣмъ болѣе, что и Тугановъ отъ него отвернулся. Препотенскій пошелъ напроломъ.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Учитель соскочилъ съ мѣста и подбѣжалъ къ Туганову, говорившему съ Туберозовымъ.

— Извините, что васъ перебью... но я все-таки... Я стою за свободу.

— И я тоже, отвѣтилъ Тугановъ, снова обращаясь къ протопопу.

— Позвольте же-съ мнѣ вамъ кончить! — воскликнулъ учитель.

Тугановъ обернулся въ его сторону.

— А вы знаете ли, что свобода не дается, а берется?— задалъ ему Варнава.

— Ну-съ!

— Кто же ее возьметъ, если новые люди скверны?

— Ее возьметъ порядокъ вещей.

— И все-таки это значитъ не будетъ дано, а будетъ взято. Я правъ. Это я сказалъ: будетъ взята!

— Да вѣдь тебѣ про то же и говорятъ, отозвался изъ-за стула дьяконъ Ахилла.

— Но, вѣдь, это я сказалъ: будетъ взята!

— А вамъ про что же говорятъ, поддержалъ дьякона, въ качествѣ одномышленника, Термосесовъ.—Парменъ Семеновичъ вамъ про то и говоритъ, внушалъ Термосесовъ, нарочно какъ можно отчетливѣе и задушевнѣе произнося имя Туганова.

— Однако, мнѣ пора, шепнулъ, выходя изъ-за стола, Тугановъ и хотѣлъ выйти въ залу, но былъ снова атакованъ Варнавой.

— Позвольте еще одно слово, приставалъ учитель.—Мнѣ кажется, вамъ, вѣроятно, непріятно, что теперь всѣ равны.

— Нѣтъ-съ, мнѣ не нравится, что не всѣ равны.

Препотенскій остановился и, переждавъ секунду, залепеталъ:

— Вѣдь, это фактъ,—всѣ должны быть равны.

— Да, вѣдь, Парменъ Семеновичъ вамъ это и говоритъ, что всѣ должны быть равны!—отгонялъ его отъ предводителя Термосесовъ съ одной стороны.

— Позвольте-съ, забѣгалъ онъ съ другой, но здѣсь его не допускалъ Ахилла.

— Оставь, говорилъ онъ, что ни скажешь—все глупость!

— Ахъ, позвольте, сдѣлайте милость, я не съ вами и говорю, отбивался Препотенскій, забѣгая съ фронта. — Я говорю: вамъ, вѣрно, Англія нравится, потому что тамъ лорды... Вамъ досадно и жаль, что исчезли сословныя привилегіи?

— А онѣ развѣ исчезли?

— Отойди прочь, ты ничего не знаешь,—сплавлялъ, от-

талкивая Варнаву, Ахилла, но тотъ обѣжалъ вокругъ и, снова зайдя во фронтъ предводителю, сказалъ:

— О всякомъ предметѣ можно имѣть нѣсколько мнѣній.

— Да чего же вамъ отъ меня угодно? — воскликнулъ, разсмѣявшись, Тугановъ.

— Я говорю... можно имѣть разныя сужденія.

— Только одно будетъ умное, а другое — глупое, отвѣчалъ Термосесовъ.

— Одно будетъ справедливое, другое — несправедливое, проговорилъ въ видѣ примиренія предводитель.

— У Бога — и у Того одна правда! — внушалъ дьяконъ.

— Между двумя точками только одна прямая линія проводится, вторую не проведете, натверживалъ Термосесовъ.

Препотенскій вышелъ изъ себя.

— Да это что жъ? вѣдь этакъ нельзя ни о чемъ говорить! — вскричалъ онъ. — Я одинъ, а вы всѣ вмѣстѣ льстите. Этакъ хоть кого переспоришь. А я знаю одно, что я ничего стариннаго не уважаю.

— Это и есть самое старинное... Когда же у насъ уважали исторію?

— Ну, послушай! замолчи, дурачокъ, дружественно посовѣтовалъ Варнавѣ Ахилла, а Бизюкина отъ него презрительно отвернулась. Термосесовъ же, устраняя его съ дороги, наступилъ ему на ногу, отчего учитель, имѣвшій слабость въ затруднительныя минуты заговариваться и ставить одно слово вмѣсто другого, вскрикнулъ:

— Ой, вы мнѣ наступили на самую мою любимую мозоль!

По поводу «любимой мозоли» послѣдовалъ смѣхъ, а Тугановъ въ это время уже прощался съ хозяйкой.

Зазвенѣли бубенцы и шестерикъ свѣжихъ почтовыхъ лошадей подкатилъ къ крыльцу Тугановскую коляску, а на порогѣ вытянулся рослый гайдукъ съ англійскою дорожною кисой черезъ плечо. Наступили послѣднія минуты, которыми могъ еще воспользоваться Препотенскій, чтобы себя выручить, и онъ вырвался изъ рукъ удерживавшихъ его

Термосесова и Ахиллы, и, прыгая на своей «любимой мозоли», наскочилъ на предводителя и спросилъ:

— Вы читали Тургенева? *Дымъ*... Это дворянскій писатель, и у него доказано, что въ Россіи все дымъ: «кнута, и того сами не выдумали».

— Да, отвѣчалъ Тугановъ,—кнутъ, точно, позаимствовали, но зато отпускъ крестьянъ на волю съ землею сами изобрѣли. Укажите на это господину Тургеневу.

— Но, вѣдь, крестьянъ съ землей отняли у помѣщиковъ, сказалъ Препотенскій.

— Отняли? — неправда. Государю принадлежитъ честь почина, а дворянству доблесть жертвы, не вытерпѣлъ Туберозовъ.

— Велѣно, и благородное дворянство не смѣло ослушаться.

— Да оно и не желало ослушаться, отозвался Тугановъ.

— Все-таки власть отняла крестьянъ.

— И власть, и время. Александръ Благословенный цѣлую жизнь мечталъ освободить крестьянъ, но дѣло не шло, а у остзейскихъ бароновъ и теперь не идетъ.

— Потому что нѣмцы умнѣе.

Тугановъ разсмѣялся и, протянувъ руку Туберозову, сказалъ Варнавѣ съ легкимъ пренебреженіемъ:

— Честь имѣю вамъ откланяться.

— Ничего-съ, а я все-таки буду противъ дворянъ и за естественное право.

Безпокойство Препотенскаго заставило всѣхъ улыбнуться, и Тугановъ, будучи совсѣмъ на пути, еще пріостановился и сказалъ ему:

— А самая естественная форма жизни это... это жизнь вотъ этихъ лошадей, что̀ мнѣ подали, но ихъ, видите, запрягаютъ возить дворянина.

— И еще доро́гой будутъ кнутомъ наяривать, чтобы шибче, замѣтилъ дьяконъ.

— И скотовъ всегда бьютъ, поддержалъ Термосесовъ.

— Ну, опять всѣ на одного! — воскликнулъ учитель и

заключилъ, что онъ все-таки всегда будетъ противъ дворянъ.

— Ну, такъ ты, значитъ, смутьянъ, сказалъ Ахилла.

— Бездну на бездну призываешь, отозвался Захарія.

— А вы знаете ли, что̀ такое значитъ бездна бездну призываетъ?—огрызнулся Варнава. — Вѣдь это противъ васъ: бездна бездну призываетъ это—попъ попа въ гости зоветъ.

Это всѣмъ показалось забавнымъ, и дружный хохотъ залилъ залу.

Одинъ Туберозовъ гнѣвно сверкнулъ глазами и, порывисто дернувъ ленту, на которой висѣлъ наперсный крестъ, вышелъ въ гостиную.

— Старикъ-то у васъ совсѣмъ маньякъ сдѣлался, сказалъ, кивнувъ вслѣдъ ему, Тугановъ.

— И не говорите. Получитъ газеты и носится съ ними, и вздыхаетъ, и ни о чемъ хладнокровно не можетъ разсуждать, отвѣтилъ Дарьяновъ.

— Они это слышатъ, тихо прошепталъ Ахилла.

Савелій, дѣйствительно, все это слышалъ.

Тугановъ сошелъ съ лѣстницы и усаживался въ коляску. Его провожали хозяева, нѣкоторые изъ гостей, Варнава и протопопъ. Варнава былъ сильно ободренъ: ему казалось, что послѣ «бездны» фонды его быстро возвысились и онъ, неожиданно смѣло схвативъ за рукавъ Туберозова, проговорилъ:

— Позвольте васъ спросить: я третьяго дня былъ въ церкви и слышалъ, какъ одинъ протопопъ произнесъ слово «дуракъ». Что̀ клиръ долженъ пѣть въ то время, когда протопопъ возглашаетъ «дуракъ»?

— Клиръ трижды воспѣваетъ: «учитель Препотенскій», отвѣтилъ Савелій.

При этомъ неожиданномъ отвѣтѣ присутствующіе съ секунду были въ остолбенѣніи и вдругъ разразились всеобщимъ бѣшенымъ хохотомъ. Тугановъ махнулъ рукой и уѣхалъ въ самомъ веселомъ настроеніи духа.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

Около Препотенскаго, какъ говорится, было кругомъ нехорошо. Даже снисходительныя дамы того сорта, которымъ дорогъ только процессъ разговора и для которыхъ, что мужчины ни говори, лишь бы это былъ говоръ, и тѣ имъ возгнушались. Зато Термосесовъ забиралъ силу и овладѣвалъ всеобщимъ вниманіемъ. Варнава не успѣлъ оглянуться, какъ Термосесовъ уже бесѣдовалъ со всѣми дамами, а за почтмейстершей просто ухаживалъ, и ухаживалъ, по мнѣнію Препотенскаго, до послѣдней степени дурно; ухаживалъ за нею не какъ за женщиной, но какъ за предержащею властью.

За ужиномъ Термосесовъ, оставивъ дамъ, подступилъ поближе къ мужчинамъ и выпилъ со всѣми. И выпилъ какъ должно, изрядно, но не охмѣлѣлъ, и тутъ же внезапно сблизился съ Ахиллой, съ Дарьяновымъ и съ отцомъ Захаріей. Онъ заговаривалъ не разъ и съ Туберозовымъ, но старикъ не очень поддавался на сближеніе. Зато Ахилла, послѣ часовой или получасовой бесѣды, ко всеобщему для присутствующихъ удивленію, неожиданно перешелъ съ Термосесовымъ на «ты», жалъ ему руку, цѣловалъ его толстую губу и даже сдѣлалъ изъ его фамиліи кличку.

— Вотъ, ей-Богу, молодчина этотъ Термосёска,—барабанилъ всѣмъ дьяконъ,—посудите, какъ мы нынче съ нимъ вдвоемъ Варнавку обработали. Правда? Ты, братъ Термосёсушка, отъ насъ лучше совсѣмъ не уѣзжай. Что тамъ у васъ въ Петербургѣ, какія кондиціи? А мы съ тобой здѣсь зимою станемъ вмѣстѣ лисицъ ловить. Чудесно, братъ! Правда?

— Правда, правда,—отвѣчалъ Термосесовъ,—и самъ сталъ хвалить Ахиллу и называлъ его молодчиной. И оба эти молодчины снова цѣловались.

Когда пиръ былъ при концѣ и Захарій съ Туберозовымъ уходили уже домой, Термосесовъ придержалъ Ахиллу за рукавъ и сказалъ:

— А тебѣ, вѣдь, спѣшить некуда?

— Да, пожалуй, что и некуда,—отвѣтилъ Ахилла.

— Такъ подожди, пойдемъ вмѣстѣ!

Ахилла согласился, а Термосесовъ предложилъ еще потанцовать подъ фортепіано и танцовалъ прежде съ почтмейстершей, потомъ съ ея дочерями, потомъ еще съ двумя или тремя другими дамами и, наконецъ, послѣ всѣхъ съ Бизюкиной, а въ заключеніе всего обхватилъ дьякона и провальсировалъ съ нимъ и, сажая его на мѣсто, какъ даму, поднесъ къ губамъ его руку, а поцѣловалъ свою собственную.

Никакъ не ожидавшій этого Ахилла, сконфузился и быстро вырвалъ у Термосесова руку, но тотъ надъ нимъ расхохотался и сказалъ:

— Неужто же ты думалъ, что я твою кучерскую лапу стану цѣловать?

Дьяконъ обидѣлся и подумалъ: «охъ, не надо бы мнѣ, кажется, съ нимъ якшаться!» Но какъ они сейчасъ вслѣдъ за этимъ отправились по домамъ, то и онъ не отбился отъ компаніи. Семейство почтмейстера, дьяконъ, Варнава, Термосесовъ и Бизюкина шли вмѣстѣ. Они завели домой почтмейстершу съ дочерьми и здѣсь, у самаго порога комнаты, Ахилла слышалъ, какъ почтмейстерша сказала Термосесову:

— Я надѣюсь, что мы съ вами будемъ видѣться?

— Въ этомъ не сомнѣваюсь,—отвѣчалъ Термосесовъ, и добавилъ:—вы говорили, что вамъ нравится, какъ у исправника на стѣнѣ вся Царская Фамилія въ портретахъ?

— Да, мнѣ этого давно очень, очень хочется.

— Ну, такъ это я вамъ завтра же устрою.

И они разстались.

На дворѣ было уже около двухъ часовъ ночи, что для уѣзднаго города, конечно, было весьма поздно, и Препотенскій, плетяся, размышлялъ, какимъ способомъ ему благополучнѣе доставиться домой, то-есть улизнуть ли потихоньку, чтобъ его не замѣтилъ Ахилла, или, напротивъ, ввѣриться его великодушію, такъ какъ Варнава когда-то

читалъ, что у черкесовъ на Кавказѣ иногда спасаются единственно тѣмъ, что ввѣряютъ себя великодушію врага, и теперь онъ почему-то склонялся къ мысли судить объ Ахиллѣ по-черкесски.

Но прежде чѣмъ Препотенскій пришелъ къ какому-нибудь положительному рѣшенію, Термосесовъ все это переиначилъ.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Тотчасъ какъ только они разстались съ почтмейстершей, Термосесовъ объявилъ, что всѣ непремѣнно должны на минуту зайти съ нимъ къ Бизюкиной.

— Позволяешь?—отнесся онъ полуоборотомъ къ хозяйкѣ.

Той это было непріятно, но она позволила.

— У тебя питра какая-нибудь дома есть?

Бизюкина сконфузилась. Она какъ нарочно нынче забыла послать за виномъ, и теперь вспомнила, что со стола отъ обѣда приняли послѣднюю, чуть не совсѣмъ пустую, бутылку хересу. Термосесовъ замѣтилъ это смущеніе и сказалъ:

— Ну, хоть пиво, небось, есть?

— Пиво, конечно, есть.

— Я знаю, что у акцизныхъ пиво всегда есть. И медъ есть?

— Да, есть и медъ.

— Ну, вотъ и прекрасно: есть, господа, у насъ пиво и медъ, и я вамъ состряпаю изъ этого такое лампопò, что...— Термосесовъ поцѣловалъ свои пальцы и договорилъ:—языкъ свой, и тотъ, допивая, проглотите.

— Что это за ланнопò?—спросилъ Ахилла.

— Не ланнопò, а лампопò—напитокъ такой изъ пива и меду дѣлается.—Идемъ!—и онъ потянулъ Ахиллу за рукавъ.

— Постой,— оборонялся дьяконъ.— Какое же это ланнопò? Это у насъ на похоронахъ пьютъ... «пивомедіе» называется.

— А я тебѣ говорю, это не пивомедіе будетъ, а лампопò. Идемъ!

— Нѣтъ, постой!—опять оборонялся Ахилла.—Я знаю это пивомедіе... Оно, братъ, опрокидонтомъ съ ногъ валитъ... я его ни за чтò не стану пить.

— Я тебѣ говорю будетъ лампопò, а не пивомедіе!

— А лучше бы его нынче не надо,—отвѣчалъ дьяконъ,— а то на завтра чердакъ трещать будетъ.

Препотенскій былъ тоже того мнѣнія, но какъ ни Ахилла, ни Препотенскій не обладали достаточною твердостью характера, чтобы настоять на своемъ, то настоялъ на своемъ Термосесовъ и забралъ ихъ въ домъ Бизюкиной. По мысли вожака, «питра» должна была состояться въ садовой бесѣдкѣ, куда немедленно же и явилась нàскоро закуска и множество бутылокъ пива и меду, изъ которыхъ Термосесовъ въ ту же минуту сталъ готовить лампопò.

Варнава Препотенскій помѣстился возлѣ Термосесова. Учитель хотѣлъ нимало не медля объясниться съ Термосесовымъ, зачѣмъ онъ юлилъ около Туганова и помогалъ угнетать его, Варнаву?

Но, къ удивленію Препотенскаго, Термосесовъ потерялъ всякую охоту болтать съ нимъ, и вмѣсто того, чтобъ отвѣтить ему что-нибудь ласково, оторвалъ весьма нетерпѣливо:

— Мнѣ всѣ равны: и мѣщане, и дворяне, и люди черныхъ сотенъ. Отстаньте вы теперь отъ меня съ политикой, я пить хочу!

— Однакоже, вы должны согласиться, что люди семинарія воспитанскаго лучше, — пролепеталъ, путая слова, Варнава.

— Ну, вотъ,—перебилъ Термосесовъ,—то была «любимая мозоль», а теперь «семинарія воспитанскаго!»—Вотъ Цицеронъ!

— Онъ это часто, когда разгорячится, хочетъ сказать одно слово, а скажетъ совсѣмъ другое,—вступился за Препотенскаго Ахилла, и при этомъ пояснилъ, что учитель за

эту свою способность даже чуть не потерялъ хорошее знакомство, потому что хотѣлъ одинъ разъ сказать дамѣ: «Матрена Ивановна, дайте мнѣ лимончика», да вдругъ выговорилъ: «Лимона Ивановна, дайте мнѣ матренчика!» А та это въ обиду приняла.

Термосесовъ такъ и закатился веселымъ смѣхомъ, но вдругъ схватилъ Варнаву за руку и, нагнувъ къ себѣ его голову, прошепталъ:

— Поди сейчасъ запиши мнѣ для памяти тотъ разговоръ, который мы слышали отъ поповъ и дворянъ. Понимаешь, насчетъ того, что и время пришло, и что Александръ I не могъ, и что въ Остзейскомъ краѣ и сейчасъ не удается... Однимъ словомъ—все, все...

— Зачѣмъ же распространяться?—удивился учитель.

— Ну, ужъ это не твое дѣло. Ты иди скорѣй напиши, и тамъ увидишь на что?.. Мы это подпишемъ и пошлемъ въ надлежащее мѣсто...

— Что̀ вы! что̀ вы это? — громко заговорилъ, отчаянно замотавъ руками, Препотенскій. — Доносить! Да ни за что̀ на свѣтѣ.

— Да, вѣдь, ты же ихъ ненавидишь!

— Ну, такъ что̀ жъ такое?

— Ну, и рѣжь ихъ, если ненавидишь!

— Да; извольте, я рѣзать извольте, но... я не подлецъ, чтобы доносы...

— Ну, такъ пошелъ вонъ, перебилъ его, толкнувъ къ двери, Термосесовъ.

— Ага, «вонъ!» значитъ, я васъ разгадалъ: вы заодно съ Ахилкой.

— Пошелъ вонъ!

— Да-съ, да-съ. Вы меня позвали на лампопо̀, а вмѣсто того...

— Да... ну, такъ вотъ тебѣ и лампопо̀!—отвѣтилъ Термосесовъ и, щелкнувъ Препотенскаго по затылку, выпихнулъ его за двери и задвинулъ щеколду.

Смотрѣвшій на всю эту сцену Ахилла смутился и, привставъ съ мѣста, взялъ свою шляпу.

— Чего это ты? куда?—спросилъ его, снова садясь за столъ, Термосесовъ.

— Нѣтъ; извините... Я домой.

— Допивай же свое лампопò.

— Нѣтъ; исчезни оно совсѣмъ, не хочу. Прощайте; мое почтеніе.—И онъ протянулъ Термосесову руку, но тотъ, не подавая своей руки, вырвалъ у него шляпу и, бросивъ ее подъ свой стулъ, закричалъ: «сядь!»

— Нѣтъ, не хочу, отвѣчалъ дьяконъ.

— Сядь, тебѣ говорятъ!—громче крикнулъ Термосесовъ, и такъ подернулъ Ахиллу, что тотъ плюхнулъ на табуретку.

— Хочешь ты быть попомъ?

— Нѣтъ, не хочу, отвѣчалъ дьяконъ.

— Отчего же не хочешь?

— А потому, что я къ этому несроденъ и недостоинъ.

— Но, вѣдь, тебя протопопъ обижаетъ?

— Нѣтъ, не обижаетъ.

— Да, вѣдь, онъ у тебя, говорятъ, разъ палку отнялъ?

— Ну такъ что жъ что отнялъ!

— И глупцомъ тебя называлъ?

— Не знаю, можетъ-быть, и называлъ.

— Донесемъ на него, чтò онъ нынче говорилъ.

— Что-о-о?

— А вотъ чтò!

И Термосесовъ нагнулся и, взявъ изъ-подъ стула шляпу Ахиллы, бросилъ ее къ порогу.

— Ну, такъ ты, я вижу, петербургскій мерзавецъ, молвилъ дьяконъ, нагибаясь за своею шляпою; но въ это же самое время неожиданно получилъ оглушительный ударъ по затылку и очутился носомъ на садовой дорожкѣ, на которой въ ту же минуту явилась и его шляпа, а немного подальше сидѣлъ на колѣняхъ Препотенскій. Дьяконъ даже не сразу понялъ, какъ все это случилось, но, увидавъ въ

дверяхъ Термосесова, погрозившаго ему садовою лопатой, понялъ, отчего ударъ былъ широкъ и тяжекъ, и протянулъ:

— Вотъ такъ лампопо̀! Спасибо, что поучилъ.

И съ этимъ онъ обратился къ Варнавѣ и сказалъ:

— Что же? пойдемъ, братъ, теперь по домамъ!

— Я не могу, отвѣчалъ Варнава.

— Отчего?

— Да у меня, я думаю, на всемъ тѣлѣ синевы и болова голитъ.

— Ну, «болова голитъ», пройдетъ голова. Пойдемъ домой: я тебя провожу,—и дьяконъ сострадательно поднялъ Варнаву на ноги и повелъ его къ выходу изъ сада. На дворѣ уже разсвѣтало.

Отворяя садовую калитку, Ахилла и Препотенскій неожиданно встрѣтились лицомъ къ лицу съ Бизюкинымъ.

Либеральный акцизный чиновникъ Бизюкинъ, высокій, очень недурной собой человѣкъ, съ незначащею, но не злою физіономіею, только что возвратился изъ уѣзда. Онъ посмотрѣлъ на Ахиллу и Варнаву Препотенскаго и весело проговорилъ:

— Ну, ну, однако, вы, ребята, нарѣзались?

— Нарѣзались, братъ, отвѣчалъ Ахилла,—могу сказать, что нарѣзались.

— Чѣмъ же это вы такъ угостились?—запыталъ Бизюкинъ.

— Ланпопомъ, другъ, насъ тамъ угощали. Иди туда въ бесѣдку: тамъ еще и на твою долю осталось.

— Да кто же тамъ? Жена? и кто съ нею?

— Діонисъ, тиранъ Сиракузскій.

— Ну, однакожъ, вы нализались!.. Какой тамъ тиранъ?.. А вы, Варнава Васильичъ, уже даже какъ будто и людей не узнаете?—отнесся акцизникъ къ Варнавѣ.

— Извините, отвѣчалъ, робко кланяясь, Препотенскій.— Не узнаю. Знако̀ лицомое, а гдѣ васъ помнилъ, не увижу.

— Вонъ онъ даже, какъ онъ бѣдный, ужъ совсѣмъ плохо заговорилъ!—произнесъ дьяконъ, и потащилъ Варнаву съ гостепріимнаго двора.

Спустя нѣсколько минутъ, Ахилла благополучно доставилъ Варнаву до дома и сдалъ его на руки просвирнѣ, удивленной неожиданною пріязнью дьякона съ ея сыномъ и излившейся въ безмѣрныхъ ему благодарностяхъ.

Ахилла ничего ей не отвѣчалъ и, придя домой, поскорѣе потребовалъ у своей Эсперансы мѣдную гривну.

— Вы, вѣрно, обо что-нибудь ударились, отецъ-дьяконъ?— полюбопытствовала старуха, видя, какъ Ахилла жметъ къ затылку поданную гривну.

— Да, Эсперанса, я ударился, отвѣчалъ онъ со вздохомъ,—но только если ты до теперешняго раза думала, что я на мою силу надѣюсь, такъ больше этого не думай. Отецъ протопопъ—министръ юстиціи; онъ правду мнѣ, Эсперанса, говорилъ: не хвались, Эсперанса, сильный силою своею, ни крѣпкій крѣпостью своею!

И Ахилла, опустивъ *услужающую*, присѣлъ на корточки къ окну и, все вздыхая, держалъ у себя на затылкѣ гривну и шепталъ:

— Такое ланпопо̀ вздулось, что, по-настоящему, дня два показаться на улицу нельзя будетъ.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Протопопъ возвратился домой очень взволнованный и разстроенный. Такъ какъ онъ, по причинѣ празднества, пробылъ у исправника довольно долго, то домосѣдка-протопопица Наталья Николаевна, противъ своего всегдашняго обыкновенія, не дождалась его и легла въ постель, оставивъ, однако, дверь изъ своей спальни въ залъ, гдѣ спалъ мужъ, отпертою. Наталья Николаевна непремѣнно хотѣла проснуться при возвращеніи мужа.

Туберозовъ это понялъ и, увидавъ отворенную дверь въ спальню жены, вошелъ къ ней и назвалъ ее по имени.

Наталья Николаевна проснулась и отозвалась.

— Не спишь?

— Нѣтъ, дружечка, Савелій Ефимычъ, не сплю.

— Ну, и благо; мнѣ хочется съ тобой говорить.

И старикъ присѣлъ на краешекъ ея кровати и началъ пересказывать женѣ свою бесѣду съ предводителемъ, а затѣмъ сталъ жаловаться на общее равнодушіе къ распространяющемуся повсемѣстно въ Россіи убѣжденію, что развитому человѣку «стыдно вѣровать». Онъ представилъ женѣ разныя свои опасенія за упадокъ нравовъ и потерю добраго идеала. И какъ человѣкъ вѣры, и какъ гражданинъ, любящій отечество, и какъ философствующій мыслитель, отецъ Савелій въ его семьдесятъ лѣтъ былъ свѣжъ, ясенъ и тепелъ: въ каждомъ словѣ его блестѣлъ здравый умъ, въ каждой нотѣ слышалась задушевная искренность.

Наталья Николаевна не прерывала возвышенныхъ и страстныхъ рѣчей мужа ни однимъ звукомъ, и онъ говорилъ на полной свободѣ, какой не давало ему положеніе его ни въ какомъ другомъ мѣстѣ.

— И представь же ты себѣ, Наташа!—заключилъ онъ, замѣтивъ, что уже начинаетъ разсвѣтать, и его канарейка, проснувшись, стала чистить о жердочку свой носикъ,—и представь себѣ, моя добрая старушка, что, вѣдь, ни въ чемъ онъ меня, Тугановъ, не опровергалъ и во всемъ со мною согласился, находя и самъ, что у насъ, какъ покойница Марѳа Андревна говорила, и хвостъ дологъ, и носъ дологъ, и мы стоимъ какъ кулики на болотѣ, да перекачиваемся: носъ вытащимъ—хвостъ завязнетъ, а хвостъ вытащимъ — носъ завязнетъ; но горячности, какой требуетъ такое положеніе, не обличилъ... Ужасное равнодушіе!

Наталья Николаевна молчала.

— И въ дополненіе ко всему меня же еще назвалъ «маньякъ»!.. Ну, скажи, сдѣлай милость, къ чему это такое названіе ко мнѣ можетъ относиться и послѣ чего? (Савелій продолжалъ, понизивъ голосъ). Меня назвалъ «маньякомъ», а самъ мнѣ говоритъ... Я ему поставилъ вопросъ, что все же, молъ... мелко ли это или не мелко, то, что̀ я указываю, но все это знаменія царящаго въ обществѣ духа. «И что же, молъ, если теперь съ этою мелочью не справимся, то какъ набольшіе-то наши тогда ду-

маютъ справляться, когда это выростетъ?» А онъ по этой, ненавистной мнѣ, нашей русской шутливости изволилъ оповѣдать анекдотъ, который, дѣйствительно, очень подходящъ къ дѣлу, но котораго я, по званію своему, никому, кромѣ тебя, не могу и разсказать! Говоритъ, что былъ-де, будто, одинъ какой-то офицеръ, который, вступивъ на походѣ въ одну квартиру, замѣтилъ, по сосѣдству съ собою, замѣчательную красавицу и, плѣнясь ея видомъ, тотчасъ же, по своему полковому обычаю, позвалъ деньщика и говоритъ: «какъ бы, братецъ, мнѣ съ сею красавицей познакомиться?» А деньщикъ помялся на мѣстѣ, и какъ ставилъ въ эту пору самоваръ, вдругъ восклицаетъ: «дымомъ пахнетъ!» Офицеръ вскочилъ и бросился въ комнату къ сей прелестницѣ, говоря: «Ай, сударыня, у васъ дымомъ пахнетъ и я пришелъ васъ съ вашею красотой спасти отъ пламени пожара», и такимъ образомъ съ нею познакомился, а деньщика одарилъ и напоилъ водкой. Но, спустя немалое время, тотъ же охотникъ до красоты, перейдя на другое мѣсто, также увидалъ красивую даму, но уже не рядомъ съ собою, а напротивъ своего окна черезъ улицу, и говоритъ деньщику; «ахъ, познакомь меня съ сею дамой!» но тотъ, однако, сумѣлъ только отвѣтить снова то же самое, что «дымомъ пахнетъ!» И офицеръ увидалъ, что напрасно онъ полагался на умъ сего своего помощника, и желаннаго знакомства черезъ него вторично уже не составилъ. Заключай же, какая изъ сего является аналогія: у насъ въ необходимость просвѣщеннаго человѣка вмѣняется безвѣріе, издѣвка надъ родиной, въ оцѣнкѣ людей, небреженіе о святынѣ семейныхъ узъ, неразборчивость, а иносказательная красавица наша, наружная цивилизація, досталась намъ просто; но теперь, когда нужно знакомиться съ красавицей иною, когда нужна духовная самостоятельность... и сія красавица сидитъ насупротивъ у своего окна, какъ мы ее достанемъ? Хватимся и ахнемъ: «Ахъ, молъ, какъ бы намъ съ нею познакомиться!» А нескладные деньщики что̀ могутъ на сіе отвѣтить, кромѣ того, что, молъ,

«дымомъ пахнетъ». Что̀ тогда въ этомъ проку, что «дымомъ пахнетъ»?

— Да, уронила, вздохнувъ, Наталья Николаевна.

— Ну то-то и есть! Стало-быть, и тебѣ это ясно: кто же теперь «маньякъ»? Я ли, что, яснѣе видя сіе, безпокоюсь, или тѣ, кому все это ясно и понятно, но которые смотрятъ на все спустя рукава: лишь бы-де по нашъ вѣкъ стало, а тамъ хоть все пропади! Вѣдь это-то и значитъ: «дымомъ пахнетъ». Не такъ ли, мой другъ?

— Да, голубчикъ, это, вѣрно, дѣвчонка встала самоваръ ставить!—проговорила скороговоркой соннымъ голосомъ Наталья Николаевна.

Туберозовъ понялъ, что онъ всѐ время говорилъ воздуху, не имѣющему ушей для того, чтобъ его слышать, и онъ поникъ своею бѣлой головой и улыбнулся.

Ему припомнились слова, нѣкогда, давно сказанныя ему покойною боярыней Марѳой Плодомасовой: «А ты развѣ не одинокъ? Что̀ же въ томъ, что у тебя есть жена добрая и тебя любитъ, а все же чѣмъ ты болѣешь, ей того не понять. И такъ всякъ, кто подальше брата видитъ, будетъ одинокъ промежъ своихъ».

— Да, одинокъ! всемѣрно одинокъ! — прошепталъ старикъ.—И вотъ когда я это особенно почувствовалъ, когда наиболѣе не хотѣлъ бы быть одинокимъ, потому что... маньякъ ли я или не маньякъ, но... я рѣшился долѣе ничего этого не терпѣть, и на что̀ рѣшился, то совершу, хотя бы то было до дерзости...

И старикъ тихо поднялся съ кровати, чтобы не нарушить покоя спящей жены, перекрестилъ ее и, набивъ свою трубку, вышелъ съ нею на дворъ и присѣлъ на крылечкѣ.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

У Туберозова была большая рѣшимость на дѣло, о которомъ долго думалъ, на которое давно порывался и о которомъ никому не говорилъ. Да и съ кѣмъ онъ могъ совѣтоваться? Кому могъ онъ говорить о томъ, что̀ задумалъ?

Не смиренному ли Захаріи, который «есть такъ, какъ бы его нѣтъ»; удалому ли Ахиллѣ, который живетъ какъ стихійная сила, не зная самъ для чего и къ чему онъ поставленъ; не чиновникамъ ли, или не дамамъ ли, или, наконецъ, даже не Туганову ли, отъ котораго онъ ждалъ поддержки, какъ отъ кореннаго русскаго барина? Нѣтъ, никому и даже ни своей елейной Натальѣ Николаевнѣ, которой запахъ дыма и во снѣ только напоминаетъ одинъ самоваръ...

— Она, голубка, и во снѣ озабочена, печется однимъ, какъ бы согрѣть и напоить меня, стараго, теплымъ, а не знаетъ того, что согрѣть меня можетъ иной уголь, горящій во мнѣ самомъ, и лишь живая струя властна напоить душевную жажду мою, которой нѣтъ утоленія при одной мысли, что я старый... сѣдой... полумертвецъ... умру лежачимъ камнемъ и... потеряю утѣшеніе сказать себѣ предъ смертью, что... силился, по крайней мѣрѣ, присягу выполнить и... и возбудить упавшій духъ собратій!

Старикъ задумался. Тонкія струйки вакштафнаго дыма, вылетая изъ-подъ его сѣдыхъ усовъ и разносясь по воздуху, окрашивались янтарною пронизью взошедшаго солнца; куры слетѣли съ насѣстей и, выйдя изъ закутки, отряхивались и чистили перья. Вотъ на мосту заигралъ въ липовую дудку пастухъ; на берегу зазвенѣли о водоносъ пустыя ведра на плечахъ босой бабы; замычали коровы и собственная работница протопопа, крестя зѣвающій ротъ, погнала за ворота хворостиной коровку; канарейка трещитъ на окнѣ и день во всемъ сіяніи.

Вотъ ударили въ колоколъ.

Турберозовъ позвалъ работника и послалъ его за дьячкомъ Павлюканомъ.

— Да, размышлялъ въ себѣ протопопъ,—надо уйти отъ себя, непремѣнно уйти и... покинуть многозаботливость. Поищу сего.

На порогѣ калитки показалась молодая цыганка съ ре-

бенкомъ у груди, съ другимъ за спиной и съ тремя цѣплявшимися за ея лохмотья.

— Дай что-нибудь, панъ отецъ, счастливый, талантливый!—приступила она къ Савелію.

— Что̀ жъ я тебѣ дамъ, несчастливая и безталанная? Жена спитъ, у меня денегъ нѣтъ.

— Дай что-нибудь, что̀ тебѣ не надо; за то тебѣ честь и счастіе будетъ.

— Что̀ же бы не надобно мнѣ? А, а! Ты дѣло сказала:— у меня есть, что̀ мнѣ не надо!

И Туберозовъ сходилъ въ комнаты и, вынеся оттуда свои чубуки съ трубками, бисерный кисетъ съ табакомъ и жестянку, въ которую выковыривалъ пепелъ, подалъ все это цыганкѣ и сказалъ:

— На́ тебѣ, цыганка, отдай это все своему цыгану, — ему это пристойнѣе.

Наталья Николаевна спала и протопопъ винилъ въ этомъ себя, потому что все-таки онъ долго мѣшалъ ей уснуть то своимъ отсутствіемъ, то своими разговорами, которыхъ она хотя и не слушала, но которые, тѣмъ не менѣе, все-таки ее будили.

Онъ пошелъ въ конюшню и самъ задалъ двойную порцію овса парѣ своихъ маленькихъ бурыхъ лошадокъ и тихо шелъ черезъ дворъ въ комнаты, какъ вдругъ неожиданно увидалъ входившаго въ калитку разсыльнаго солдата акцизнаго Бизюкина. Солдатъ былъ съ книгой.

Протопопъ взялъ изъ его рукъ разносную книгу и, развернувъ ее, весь побагровѣлъ; въ книгѣ лежалъ конвертъ, на которомъ написанъ былъ слѣдующій адресъ: «Благочинному Старогородскаго уѣзда, протопопу Савелію Туберкулову». Слово «Туберкулову» было слегка перечеркнуто и сверху написано: «Туберозову».

— Велѣли сейчасъ росписку представить,—сказалъ солдатъ.

— А кто это велѣлъ?

— Этого пріѣзжаго чиновника секретарь.

— Ну, подождетъ.

Протопопъ понялъ, что это было сдѣлано не спроста, что съ нимъ идутъ на задоръ и, вѣроятно, имѣютъ за что̀ зацѣпиться.

«Что̀ бъ это такое могло быть? И такъ рано... ночь, вѣрно, не спали, сочиняя какую-нибудь мерзость... Люди досужіе!»

Думая такимъ образомъ, Туберозовъ вступилъ въ свою залитую солнцемъ зальцу и, надѣвъ круглыя серебряныя очки, распечаталъ любопытный конвертъ.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Щекотливая бумага была нѣчто безформенное, которымъ въ непріятныхъ, каверзливыхъ выраженіяхъ, какими преизобилуетъ канцелярскій языкъ, благочинный Туберозовъ не то приглашался, не то вызывался «конфиденціально» къ чиновнику Борноволокову «для дачи объясненій относительно важныхъ предметовъ, а также соблазнительныхъ и непристойныхъ поступковъ дьякона Ахиллы Десницына».

— Фу, ты, прахъ васъ возьми, да ужъ это не шутка ли глупѣйшая?.. Неужто ужъ они вздумали шутить надо мною такимъ образомъ?!. Но нѣтъ, это не шутка: «Туберкулову»... Фамилія моя перековеркана съ явнымъ умысломъ оскорбить меня и... и потомъ «соблазнительное и непристойное поведеніе» Ахиллы!.. Что̀ все это такое значитъ и на что̀ сплетается?.. Дабы ихъ не потѣшить и не впасть въ погрѣшность, испробуемъ методъ выжидательный, въ неясныхъ случаяхъ единственно умѣстный.

Протопопъ взялъ перо и подъ текстомъ безформенной бумаги написалъ: «Благочинный Туберозовъ, не имѣя чести знать полномочій требующаго его лица, не можетъ почитать въ числѣ своихъ обязанностей явку къ нему по сему зову или приглашенію», и потомъ, положивъ эту бумагу въ тотъ же конвертъ, въ которомъ она была прислана, онъ надписалъ поперекъ адреса: «Обратно тому, чьего титула и величанія не знаю».

Кинувъ все это въ ту же разсыльную книгу, въ которой бумага была доставлена, онъ вышелъ на крыльцо и отдалъ книгу солдату; явившемуся длинному дьячку Павлюкану велѣлъ мазать кибитку и готовиться черезъ часъ ѣхать съ нимъ въ уѣздъ по благочинію, а работницу послалъ за Ахиллой.

Межъ тѣмъ встала Наталья Николаевна и, много извиняясь предъ мужемъ, что она вчера уснула во время его разсказа, начала собирать ему его обыкновенный путевой чемоданчикъ, но при этомъ была удивлена тѣмъ, что на вопросъ ея: куда сунуть табакъ? протопопъ коротко отвѣчалъ, что онъ больше не куритъ табаку, и вслѣдъ затѣмъ обратился къ вошедшему въ эту минуту дьякону.

— Я сейчасъ ѣду по благочинію, а тебя попросилъ къ себѣ, чтобы предупредить, заговорилъ онъ къ Ахиллѣ, но тотъ его сейчасъ же перебилъ.

— Ужъ покорно васъ благодарю, отецъ протоіерей, я уже предупрежденъ.

— Да; но это пока еще ничего: не очень-то я сего пугаюсь, но, пожалуйста, прошу тебя, будь ты хотя въ мое отсутствіе посолиднѣе.

— Да ужъ теперь, отецъ протоіерей... хоть бы и вы не изволили говорить, такъ все кончено.

Туберозовъ остановился и посмотрѣлъ на него пристальнымъ, проницающимъ взоромъ. Фигура и лицо дьякона были не въ авантажѣ; его густые, природные локоны лежали на головѣ какъ сдвинувшаяся фальшивая накладка; правый високъ былъ слишкомъ далеко обнаженъ, лѣвый закрытъ до самаго глаза.

Протопопъ смекалъ, что̀ бъ это такое еще могло случиться съ неосторожнымъ дьякономъ, а тотъ, потупивъ глаза въ свою шляпу, заговорилъ:

— Я еще вчера же, отецъ протопопъ... какъ только пришелъ домой отъ Бизюкинши... потому что мы всѣ отъ исправника къ ней еще заходили, какъ вернулся, сейчасъ и сказалъ своей услужающей: нѣтъ, говорю, Эсперанса,

отецъ Савелій справедливъ: не надѣйся сильный на свою силу и не хвались своею крѣпостью.

Протопопъ, вмѣсто отвѣта, подошелъ къ дьякону и приподнялъ рукой волосы, не въ мѣру закрывшіе всю лѣвую часть его лица.

— Нѣтъ, отецъ Савелій, здѣсь ничего, а вотъ тутъ,— тихо проговорилъ Ахилла, переводя руку протопопа себѣ на затылокъ.

— Стыдно, дьяконъ,—сказалъ Туберозовъ.

— И больно даже, отецъ протопопъ!—отвѣчалъ, ударивъ себя въ грудь, Ахилла, и горько заплакалъ, лепеча:—За это я себя теперь ежечасно буду угрызать.

Туберозовъ не подлилъ ни одной капли въ эту чашу страданія Ахиллы, а, напротивъ, отполнилъ отъ нея то, что̀ лилось черезъ край; онъ прошелся по комнатѣ и, тронувъ дьякона за руку, сказалъ:

— Помнишь ли, ты меня когда-то весьма хорошо укорялъ трубкой?

— Простите.

— Нѣтъ; я тебѣ за это благодаренъ и хотя особенно худого въ этомъ куреніи не усматриваю и привычку къ сему имѣлъ, но дабы не простирать рѣчей, сегодня эту привычку бросилъ и всѣ свои трубки цыганамъ отдалъ.

— Цыганамъ!—воскликнулъ, весь просіявъ, дьяконъ.

— Да; это тебѣ все равно, кому я ихъ отдалъ, но отдай же и ты кому-нибудь свою удаль: ты не юноша, тебѣ пятьдесятъ лѣтъ, и ты не казакъ, потому что ты въ рясѣ. А теперь еще разъ будь здоровъ, а мнѣ пора ѣхать.

И Туберозовъ уѣхалъ, а дьяконъ отправился къ отцу Захаріи, чтобъ упросить его немедленно же подъ какимъ-нибудь предлогомъ сходить къ акцизному и узнать, изъ какого званія происходитъ Термосесовъ?

— А на что̀ это тебѣ?—отвѣчалъ Бенефактовъ.

— Да надобно же мнѣ знать, чьего онъ роду, племени и какого отца съ матерью.

Захарія взялся забрать эту необходимую для Ахиллы справку.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ домѣ Бизюкина утро этого дня было очень неблагополучно: акцизница хватилась бывшаго на ней вчера вечеромъ дорогого брильянтоваго колье и не нашла его. Прислуга была вся на ногахъ; хозяева тоже. Пропажу искали и въ бесѣдкѣ, и по всему дому, и нигдѣ не находили.

Борноволоковъ приступилъ къ ревизіи, а Термосесовъ былъ ожесточенно занятъ: онъ все возился около тарантаснаго ящика, служившаго вмѣстилищемъ его движимости. Доставъ отсюда изъ своей фотографической коллекціи нѣсколько карточекъ членовъ Императорской Фамиліи, Термосесовъ почистилъ резинкой и ножичкомъ тѣ изъ нихъ, которыя ему показались запыленными, и потомъ, положивъ ихъ въ конвертикъ, началъ писать письмо въ Петербургъ къ какому-то несуществующему своему пріятелю. Не зная плановъ Термосесова, объяснить себѣ этого невозможно. Онъ тутъ описывалъ красу природы, цвѣтъ розо-желтый облаковъ и потомъ свою дружбу съ Борноволоковымъ и свои блестящія надежды на служебную карьеру и наслѣдство въ Самарской губерніи, а въ концѣ прибавлялъ легкій эскизъ видѣннаго имъ вчера старогородскаго общества, которое раскритиковалъ страшно и сдѣлалъ изъятіе для одной лишь почтмейстерши. «Эта женщина,—писалъ онъ,—вполнѣ достойна того, чтобы на ней остановиться. Представь, что тутъ даже какъ будто что-то роковое; я увидалъ ее и сразу почувствовалъ къ ней что-то сыновнее. Просто скажу тебѣ, что, кажется, если бъ она меня захотѣла высѣчь, то я поцѣловалъ бы у нея съ благодарностью руку. А впрочемъ, я и самъ еще не знаю, чѣмъ это кончится; у нея есть двѣ дочери. Одна изъ нихъ настоящая мать, да и другая, вѣрно, будетъ не хуже. Кто, братъ, знаетъ, для чего неисповѣдимыя судьбы сблизили меня съ этимъ

семействомъ высокоуважаемой женщины? Можетъ-быть, придется пропѣть: «ты прости-прощай, волюшка». Не осуждай, братъ, а лучше, когда будешь ѣхать домой, закати и самъ сюда на недѣльку! Кто, братъ, знаетъ, что̀ и съ тобой будетъ, какъ увидишь? Одному, вѣдь, тоже жить не радостно, а тѣмъ паче теперь, когда мы съ тобой въ хлѣбѣ насущномъ обезпечены, да еще людямъ помогать можемъ! Затѣмъ прощай покуда. Я тебѣ, впрочемъ, вѣрно, опять скоро буду писать, потому что я изъ лица этой почтенной почтмейстерши задумалъ сдѣлать литературный очеркъ и черезъ тебя пошлю его, чтобы напечатать въ самомъ лучшемъ журналѣ. Твой Термосесовъ».

Адресовавъ письмо на имя Николая Ивановича Иванова, Термосесовъ погнулъ запечатанный конвертъ между двумя пальцами и, убѣдясь, что такимъ образомъ можно прочесть всю его приписку насчетъ почтмейстерши, крякнулъ и сказалъ: «ну-ка, посмотримъ теперь, правду ли говорилъ вчера Препотенскій, что она подлѣпливаетъ письма? Если правда, такъ я благоустроюсь».

Съ этимъ онъ взялъ письмо и карточки, и пошелъ въ почтовую контору. Кромѣ этого письма, въ карманѣ Термосесова лежало другое сочиненіе, которое онъ написалъ въ тѣ же ранніе часы, когда послалъ повѣстку Туберозову. Въ этомъ писаніи значилось:

«Комплотъ демократическихъ соціалистовъ, маскирующихся патріотизмомъ, встрѣчается повсюду, и здѣсь онъ группируется изъ чрезвычайно разнообразныхъ элементовъ, и что всего вредоноснѣе, такъ это то, что въ этомъ комплотѣ уже въ значительной степени участвуетъ духовенство, — элементъ чрезвычайно близкій къ народу и потому самый опасный. Результаты печальныхъ промаховъ либеральной терпимости здѣсь безмѣрны и неисчислимы. Скажу одно: съ тѣхъ поръ, какъ нѣкоторымъ газетамъ дозволено было истолковать значеніе, какое имѣло русское духовенство въ Галиціи, и наши многіе священники видимо стремятся подражать галицкимъ духовнымъ. Они уже не довольствуются

однимъ исполненіемъ церковныхъ требъ, а агитируютъ за свободу церкви и за русскую народность.

«Старогородскій протопопъ Савелій Туберозовъ, уже не однажды обращавшій на себя вниманіе начальства своимъ свирѣпымъ и дерзкимъ характеромъ и вреднымъ образомъ мыслей, былъ многократно и воздерживаемъ отъ своихъ непозволительныхъ поступковъ, но, однако, воздерживается весьма мало и въ сущности полонъ всякихъ революціонныхъ началъ.

«Не хочу предрѣшать, сколько онъ можетъ быть вреденъ цѣлямъ правительства, но я полагаю, что вредъ, который онъ можетъ принести, а частію уже и приноситъ, великъ безконечно. Протопопъ Туберозовъ пользуется здѣсь большимъ уваженіемъ у всего города, и должно сознаться, что онъ владѣетъ несомнѣннымъ умомъ и при томъ смѣлостью, которая, будучи развита долгимъ потворствомъ начальства, доходитъ у него до безстрашія. Такой человѣкъ долженъ бы быть во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ ограниченъ какъ можно строже, а онъ между тѣмъ говоритъ обо всемъ, нимало не стѣсняясь, и вдобавокъ еще пользуется правомъ говорить всенародно въ церкви.

«Этотъ духовный элементъ, столь близкій къ народу, съ другой стороны видимо начинаетъ сближаться и со всею земщиной, то-есть съ помѣстнымъ дворянствомъ. Такъ, напримѣръ, этотъ подозрительный протопопъ Туберозовъ пользуется, повидимому, расположеніемъ и покровительствомъ предводителя Туганова, личность и взгляды котораго столь вамъ извѣстны. Г. Тугановъ, бывъ здѣсь на вечерѣ у здѣшняго исправника, говорилъ, что «отъ земли застятъ солнце», очевидно, разумѣя подъ словомъ *земля*— народъ, а подъ солнцемъ — монарха, но а кто же заститъ, то уже не трудно опредѣлить, да, впрочемъ, онъ и самъ это объяснилъ, сказавъ въ разговорѣ, что онъ человѣкъ земскій, а «*губернаторъ калифъ на часъ*». И наконецъ, кромѣ всего этого, когда ему одинъ здѣшній учитель Препотенскій, человѣкъ совершенно глупый, но вполнѣ благо-

надежный, сказалъ, что всѣ мы не можемъ отвѣчать: чѣмъ и какъ Россія управляется? то онъ съ наглою циничностью отвѣчалъ: «я, говоритъ, въ этомъ случаѣ питаю большое довѣріе къ словамъ Екатерининскаго Панина, который говорилъ, что *Россія управляется милостью Божіею и глупостью народною*». На все это имѣю честь обратить вниманіе вашего превосходительства, и при семъ считаю своею обязанностью свидѣтельствовать предъ вашимъ превосходительствомъ о незамѣнимыхъ заслугахъ находящагося при мнѣ вольнонаемнаго канцелярскаго служителя Измаила Петрова Термосесова, тонкой наблюдательности котораго и умѣнью проникать во всѣ слои общества я обязанъ многими драгоцѣнными свѣдѣніями, и смѣю выразить ту мысль, что если бы начальству угодно было употребить этого даровитаго человѣка къ самостоятельной работѣ въ наблюдательномъ родѣ, то онъ несомнѣнно могъ бы принесть пользу безмѣрную».

Идучи съ этою бумагой, Термосесовъ кусалъ себѣ губы и вопрошалъ себя:

«Подпишетъ ли каналья Борноволоковъ эту штуку? Да ничего,—хорошенько нажму, такъ все подпишетъ!»

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Термосесовъ зашелъ сначала въ контору, подалъ здѣсь письмо и потомъ непосредственно отправился къ почтмейстершѣ. Они встрѣтились друзьями; онъ поцѣловалъ ея руку, она чмокнула его въ темя и благодарила за честь его посѣщенія.

— Помилуйте, мнѣ васъ надо благодарить, — отвѣчалъ Термосесовъ, — такая скука. Даже всю ночь не спалъ отъ страху, гдѣ я и съ кѣмъ я?

— Да, она такая невнимательная, Дарья Николаевна, то-есть не невнимательная, а не хозяйка.

— Да, кажется.

— Какъ же! она вѣдь все за книгами.

— Скажите, какія глупости! Тутъ надо смотрѣть, а не

читать. Я, знаете, какъ вчера всѣхъ вашихъ посмотрѣлъ и послушалъ... просто ужасъ.

— Ужъ я говорила вчера дочерямъ: весело, я говорю, должно-быть, было нашему заѣзжему гостю?

— Нѣтъ; относительно этого ничего. Я, вѣдь, служу не изъ-за денегъ, а больше для знакомства съ краемъ.

— Ахъ, такъ вы у насъ найдете бездну матеріаловъ для наблюденія!

— Вотъ именно *для наблюденія*! А вотъ кстати и тѣ портреты, которые вы мнѣ позволили принесть. Позвольте я ихъ развѣшу.

Почтмейстерша не знала, какъ ей благодарить.

— Это будетъ работа, которою я съ удовольствіемъ займусь, пока увижу вашихъ прекрасныхъ дочерей... Надѣюсь, я ихъ увижу?

Почтмейстерша отвѣчала, что онѣ еще не одѣты, потому что хозяйничаютъ, но что, тѣмъ не менѣе, онѣ выйдутъ.

— Ахъ, прошу васъ, прошу васъ объ этомъ, умолялъ Термосесовъ, и когда обольщенная имъ хозяйка вышла, онъ сталъ размѣщать по стѣнѣ портреты на гвоздяхъ, которые принесъ съ собою въ карманѣ.

Туалетъ дѣвицъ продолжался около часа, и во все это время не являлась и почтмейстерша.

«Добрый знакъ, добрый знакъ!» думалъ Термосесовъ.— «Вѣрно зачиталась моей литературы».

Но вотъ появились и предводимыя матерью дѣвицы. Измаилъ Петровичъ кинулъ быстрый и проницательный взглядъ на мать. Она сіяла и брызгала лучами восторга.

«Клюнула моего червячка, клюнула!» мигнулъ себѣ Термосесовъ и удесятерилъ свою очаровательную любезность. Но чтобы еще вѣрнѣй дознаться, «клюнула» ли почтмейстерша, онъ завелъ опять рѣчь о литературѣ и о своемъ дорожномъ альбомѣ впечатлѣній и замѣтокъ.

— Портретовъ! Бога ради, болѣе портретовъ! болѣе картинокъ съ натуры!—просила почтмейстерша.

— Да, я ужъ написалъ, какъ мнѣ представилось все здѣшнее общество и, простите, упомянулъ о васъ и о вашей дочери... Такъ, знаете, немножко, вскользь... Вотъ если бы можно было взять назадъ мое письмо, которое я только что подалъ...

— Ахъ, нѣтъ, на что̀ же!—отвѣчала, вспыхнувъ, почтмейстерша.

«Клюнула, разбойница, клюнула!» утѣшался Термосесовъ, и настаивалъ на желаніи прочесть дамамъ то, что онъ о нихъ написалъ. Въ залѣ долгое время только и слышалось: «Нѣтъ, на что̀ же читать? мы вамъ и такъ вѣримъ!» и «Нѣтъ-съ, почему же не прочесть?.. Вы мнѣ, Бога ради, не довѣряйтесь!»

Доводы Термосесова слишкомъ соблазнительно дѣйствовали на любопытство дѣвицъ; изъ нихъ то одна, то другая начали порываться сбѣгать къ отцу въ контору и принесть интересное письмо заѣзжаго гостя.

Какъ почтмейстерша ни останавливала ихъ и словами и знаками, онѣ все-таки не понимали и рвались, но зато Термосесовъ понялъ все въ совершенствѣ: письмо было въ рукахъ хозяйки, теперь его надо было взять только изъ ея рукъ и тѣмъ ее самоё взять въ руки.

Термосесовъ, не задумываясь ни на одну минуту, сорвался съ мѣста и, не смотря на всѣ удерживанья и зовы, бросился съ предупредительностью въ контору, крича, что онъ, наконецъ, и самъ уже не властенъ отказать себѣ въ удовольствіи представить дамамъ легкіе штрихи своихъ глубокихъ отъ нихъ восторговъ.

Удержать его стремительности не могли никакія просьбы, а письма въ конторѣ, дѣйствительно, не было.

## ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Измаилъ Петровичъ возвратился къ дамамъ въ крайнемъ смущеніи и засталъ ихъ въ еще бо̀льшемъ. Дѣвицы при его приходѣ обѣ вскочили и убѣжали, чтобы скрыть слезы, ко-

торыя прошибли ихъ отъ материнской гонки, но почтмейстерша сама осталась на жертву.

Термосесовъ сталъ передъ нею молча и улыбался.

— Я вижу васъ, заговорила, жеманясь, дама, — и мнѣ стыдно.

— Письмо у васъ?

— Что̀ дѣлать? я не утерпѣла: вотъ оно.

— Это хорошо, что вы этимъ не пренебрегаете, похвалилъ ее Термосесовъ, принимая изъ ея рукъ свое запечатанное письмо.

— Нѣтъ, мнѣ стыдно, мнѣ ужасно стыдно, но что̀ дѣлать... я женщина...

— Полноте, пожалуйста! Женщина! тѣмъ лучше, что вы женщина. Женщина-другъ всегда лучше друга-мужчины, а я довѣрчивъ какъ дуракъ и нуждаюсь именно въ такой... въ женской дружбѣ! Я сошелся съ господиномъ Борноволоковымъ... Мы давно друзья, и онъ и теперь именно болѣе мой другъ, чѣмъ начальникъ, по крайней мѣрѣ, я такъ думаю.

— Да, я вижу, вижу; вы очень довѣрчивы и простодушны.

— Я дуракъ-съ въ этомъ отношеніи! совершенный дуракъ! Меня маленькія дѣти и тѣ надуваютъ!

— Это нехорошо, это ужасно нехорошо!

— Ну, а что̀ же вы сдѣлаете, когда ужъ такая натура? Мнѣ одна особа, которая знаетъ нашу дружбу съ Борноволоковымъ, говоритъ: ей, Измаилъ Петровичъ, ты слишкомъ глупо довѣрчивъ! Не полагайся, братъ, на эту дружбу коварную. Берноволоковъ въ глаза одно, а за глаза совсѣмъ другое о тебѣ говоритъ, но я все-таки не могу и вѣрю.

— Зачѣмъ же?

— Да вотъ подите жъ! какъ въ пѣсенкѣ поется: «И тебя возненавидѣть и хочу, да не могу». Не могу-съ, я не могу по однимъ подозрѣніямъ перемѣнять свое мнѣніе о человѣкѣ, но... если бы мнѣ представили доказательства!.. если бъ я могъ слышать, что онъ говоритъ обо мнѣ за глаза, или

видѣть его письмо!.. О, тогда я весь вѣкъ мой не забылъ бы услугъ этой дружбы.

Почтмейстерша пожалѣла, что она даже и въ глаза не видала этого коварнаго Борноволокова и спросила: нѣтъ ли у Термосесова карточки этого предателя?

— Нѣтъ, карточки нѣтъ; но письмо есть. Вотъ его почеркъ.

И онъ показалъ и оставилъ на столѣ у почтмейстерши обрывокъ листка, исписаннаго рукой Борноволокова.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Эта вторая удочка была брошена еще мѣтче первой, и предъ вечеромъ, когда Термосесовъ сидѣлъ съ Борноволоковымъ и Бизюкинымъ за кофе, явился почтальонъ съ просьбой, чтобъ Измаилъ Петровичъ сейчасъ пришелъ къ почтмейстершѣ.

— А, да! я ей далъ слово ѣхать нынче съ ними за городъ въ какую-то рощу и было совсѣмъ позабылъ! — отвѣчалъ Термосесовъ и ушелъ вслѣдъ за почтальономъ.

Почтмейстерша встрѣтила его одна въ залѣ и, сжавъ его руку, прошептала:

— Ждите меня! я сейчасъ приду, и съ тѣмъ она вышла.

Когда почтмейстерша чрезъ минуту обратно вернулась, Термосесовъ стоялъ у окна и билъ себя по спинѣ фуражкой. Почтмейстерша осмотрѣлась; заперла на ключъ дверь и, молча вынувъ изъ кармана письмо, подала его Термосесову.

Термосесовъ взялъ конвертъ, но не раскрывалъ его: онъ игралъ роль простяка и какъ будто ожидалъ поясненія, что̀ ему съ этимъ письмомъ дѣлать?

— Смѣло, смѣло читайте, сюда никто не взойдетъ,—проговорила ему хозяйка.

Термосесовъ прочелъ письмо, въ которомъ Борноволоковъ жаловался своей петербургской кузинѣ Нинѣ на свое несчастіе, что онъ въ Москвѣ случайно попался Термосесову, котораго при этомъ назвалъ «страшнымъ негодяемъ

и мерзавцемъ», и просилъ кузину Нину «работать всѣми силами и связями, чтобы дать этому подлецу хорошее мѣсто въ Польшѣ, или въ Петербургѣ, потому что иначе онъ, зная всѣ *старыя глупости*, можетъ надѣлать чортъ знаетъ какого кавардаку, такъ какъ онъ способенъ удивить свѣтъ своею подлостью, да и къ тому же едва ли не воръ, такъ какъ всюду, гдѣ мы побываемъ, начинаются пропажи».

Термосесовъ дочиталъ это письмо своего друга и начальника очень спокойно, не дрогнувъ ни однимъ мускуломъ и, кончивъ чтеніе, молча же возвратилъ его почтмейстершѣ.

— Узнаете вы своего друга?

— Не ожидалъ этого! Убей меня Богъ, не ожидалъ! — отвѣчалъ Термосесовъ, вздохнувъ и закачавъ головой.

— Я признаюсь, — заговорила почтмейстерша, вертя съ угла на уголъ возвращенное ей письмо, — я даже изумилась... Мнѣ моя дѣвушка говоритъ: барыня, барыня! какой-то незнакомый господинъ бросилъ письмо въ ящикъ! Я говорю: ну, что жъ такое? а сама, впрочемъ, думаю, зачѣмъ же письмо въ ящикъ? у насъ это еще не принято: у насъ письмо въ руки отдаютъ. Честный человѣкъ не станетъ таиться, что онъ посылаетъ письмо, а это непремѣнно какая-нибудь подлость! И вы не повѣрите, какъ и почему?... просто по какому-то предчувствію говорю: нѣтъ, я чувствую, что это непремѣнно угрожаетъ чѣмъ-то этому молодому человѣку, котораго я... полюбила какъ сына.

Термосесовъ подалъ почтмейстершѣ руку и поцѣловалъ ея руку.

— Право,—заговорила почтмейстерша съ непритворными нервными слезами на глазахъ.—Право... я говорю, что жъ, онъ здѣсь одинъ... я его люблю, какъ сына; я въ этомъ не ошибаюсь и, слава Богу, что я это прочитала.

— Возьмите его, — продолжала она, протягивая письмо Термосесову,—возьмите и уничтожьте.

— Уничтожить? — зачѣмъ? Нѣтъ я его не уничтожу.

Нѣтъ; пусть его идетъ, куда послано, но копійку позвольте, я только сниму съ него для себя копійку.

Термосесовъ сразу сообразилъ, что хотя это письмо и не лестно для его чести, но зато весьма для него выгодно въ томъ отношеніи, что ужъ его, какъ человѣка опаснаго, непремѣнно пристроятъ на хорошее мѣсто.

Списавъ себѣ копію, Термосесовъ, однако, спряталъ въ карманъ и оригиналъ и ушелъ погулять.

Онъ проходилъ до поздняго вечера по загороднымъ полямъ и вернулся поздно, когда уже супруги Бизюкины отошли въ опочивальню, а Борноволоковъ сидѣлъ одинъ и что-то писалъ.

— Строчите вы, ваше сіятельство? Уже опять что-то строчите?—заговорилъ весело Термосесовъ.

Въ отвѣтъ послѣдовало одно короткое, безстрастное «да».

— Вѣрно, опять какую-нибудь гадость сочиняете?

Борноволоковъ вздрогнулъ.

— Ну, такъ и есть!—лѣниво произнесъ Термосесовъ, и вдругъ неожиданно заперъ дверь и взялъ ключъ въ карманъ.

Борноволоковъ вскочилъ и быстро началъ рвать написанную имъ бумажку.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Жестоковыйный проходимецъ расхохотался.

— Ахъ, какъ вы сполошились!—заговорилъ онъ.—Я заперъ дверь единственно для того, чтобы посвободнѣе съ вами поблагодушествовать, а вы все сочиненіе порвали.

Борноволоковъ сѣлъ.

— Подпишите вотъ эту бумажку. Только, чуръ, ее не рвать.

Термосесовъ положилъ предъ нимъ ту безформенную бумагу, въ которой описалъ правду и неправду о Туберозовѣ съ Тугановымъ и положилъ себѣ аттестацію.

Борноволоковъ безстрастно прочелъ ее всю отъ начала до конца.

— Что̀ же,—спросилъ Термосесовъ, видя, что чтеніе окончено,—подписываете вы, или нѣтъ?

— Я могъ бы вамъ сказать, что я удивляюсь, но...

— Но я васъ уже отучилъ мнѣ удивляться! Я это прекрасно знаю, и я и самъ вамъ тоже не удивляюсь,—и Термосесовъ положилъ предъ Борноволоковымъ копію съ его письма кузинѣ Нинѣ, и добавилъ:

— Подлинникъ у меня-съ.

— У васъ?.. но какъ же вы смѣли?

— Ну, вотъ еще мы съ вами станемъ про смѣлость говорить! Этотъ документъ у меня по праву сильнаго и разумнаго.

— Вы его украли?

— Укралъ.

— Да это просто чортъ знаетъ что̀!

— Да какъ же не чортъ знаетъ что̀: быть другомъ и пріятелемъ, вмѣстѣ Россію собираться уничтожить, и вдругъ потомъ аттестовать меня чуть не послѣднимъ подлецомъ и негодяемъ! Нѣтъ, батенька: это нехорошо, и вы за то мнѣ совсѣмъ другую аттестацію пропишите.

Борноволоковъ вскочилъ и заходилъ.

— Сядьте: это вамъ ничего не поможетъ!—приглашалъ Тормосесовъ. — Надо кончить дѣло миролюбно, а то я теперь съ этимъ вашимъ письмецомъ, заключающимъ указанія, что у васъ въ прошедшемъ хвостъ не чистъ, знаете куда могу васъ спрятать? Оттуда уже ни полячишки, ни кузина Нина не выручатъ.

Борноволоковъ нетерпѣливо хлопнулъ себя по ляшкамъ и воскликнулъ.

— Какъ вы могли украсть мое письмо, когда я его самъ своими руками опустилъ въ почтовый ящикъ?

— Ну, вотъ разгадывайте себѣ по субботамъ: какъ я укралъ? Это уже мое дѣло, а я въ послѣдній разъ вамъ говорю: подписывайте! На первомъ листѣ напишите вашу должность, чинъ, имя и фамилію, а на копіи съ вашего

письма сдѣлайте скрѣпу и еще два словечка, которыя я вамъ продиктую.

— Вы... вы мнѣ продиктуете?

— Да, да; я вамъ продиктую, а вы ихъ напишите, и дадите мнѣ тысячу рублей отсталого.

— Отсталого!.. за что?

— За свой покой безъ меня.

— У меня нѣтъ тысячи рублей.

— Я вамъ подъ росписку повѣрю. Рублей сто, полтораста наличностью, а то я подожду... Только ужъ вотъ что: разговаривать я долго не буду: вуле-ву, такъ вуле-ву, а не вуле-ву, какъ хотите: я вамъ имѣю честь откланяться и удаляюсь.

Борноволоковъ шагалъ мимо по комнатѣ.

— Думайте, думайте! такого дѣла не обдумавши не слѣдуетъ дѣлать, но только все равно ничего но выдумаете: я свои дѣла аккуратно веду, — молвилъ Термосесовъ.

— Давайте я подпишу,—рѣзко сказалъ Борноволоковъ.

— Извольте-съ!

Термосесовъ обтеръ полой перо, обмокнулъ его въ чернило и почтительно подалъ Борноволокову вмѣстѣ съ копіей его письма къ петербургской кузинѣ Нинѣ.

— Что̀ писать?

— Сейчасъ-съ.

Термосесовъ крякнулъ и началъ:

— Извольте писать: «Подлецъ Термосесовъ».

Борноволоковъ остановился и вытаращилъ на него глаза.

— Вы въ самомъ дѣлѣ хотите, чтобъ я написалъ эти слова?

— Непремѣнно-съ; пишите: «Подлецъ Термосесовъ»...

— И вамъ это даже не обидно?

— Вѣдь, все на свѣтѣ обидно, или не обидно, смотря по тому, отъ кого идетъ.

— Да; но говорите скорѣе, чего вы хотите далѣе; я написалъ: «Подлецъ Термосесовъ».

— Покорно васъ благодарю-съ. Продолжайте.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Секретарь, стоя за стуломъ Борноволокова, глядѣлъ черезъ его плечо въ бумагу и продолжалъ диктовать: «Подлецъ Термосесовъ непостижимымъ и геніальнымъ образомъ досталъ мое собственноручное письмо къ вамъ, въ которомъ я, по неосторожности своей, написалъ то самое, что̀ вы на этомъ листкѣ читаете выше, хотя это теперь написано рукой того же негодяя Термосесова».

— Довольно?

— Нѣтъ-съ, еще надо набавить. Извольте писать: «Ка́къ онъ взялъ письмо, собственноручно мною отданное на почту, я этого не могу разгадать, но зато это же самое можетъ вамъ свидѣтельствовать объ отважности и предпріимчивости этого мерзавца, поставившаго себѣ задачей не отступать отъ меня и мучить меня, пока вы его не устроите на хорошее жалованье. Заклинаю васъ общимъ нашимъ благополучіемъ сдѣлать для него даже то, чего невозможно, ибо иначе онъ клянется открыть все, что̀ мы дѣлали въ глупую пору нашего революціонерства».

— Нельзя ли послѣднія слова измѣнить въ редакціи?

— Нѣтъ-съ; я какъ Пилатъ: еже писахъ—писахъ.

Борноволоковъ дописалъ свое униженіе и отбросилъ листъ.

— Теперь вотъ эту бумагу о духовенствѣ и о вредныхъ движеніяхъ въ обществѣ просто подпишите.

Борноволоковъ взялъ въ руки перо и началъ еще разъ просматривать эту бумагу, раздумался и спросилъ:

— Что̀ они вамъ сдѣлали, эти люди, Туберозовъ и Тугановъ?

— Ровно ничего.

— Можетъ-быть, они прекрасные люди...

— Очень можетъ быть.

— Ну, такъ за что̀ же вы на нихъ клевещете? Вѣдь, это, конечно, клевета?

— Не все, а есть немножко и клеветы!

— За что̀ же это?

— Что̀ же дѣлать: мнѣ надо способности свои показать. За васъ, чистокровныхъ, вѣдь, дядья да тетушки хлопочутъ, а мы, парвенюшки, сами о себѣ печемся.

Борноволоковъ вздохнулъ и съ омерзеніемъ подписалъ бумагу, на которой Термосесовъ строилъ его позоръ, Савеліеву гибель и собственное благополучіе.

Термосесовъ принялъ подписанную ябеду и, складывая бумагу, заговорилъ:

— Ну, а теперь третье дѣло сдѣлаемъ, и тогда шляпу надѣнемъ и простимся. Я заготовилъ векселекъ на восемьсотъ рублей и двѣсти прошу наличностью.

Борноволоковъ молчалъ и глядѣлъ на Термосесова, опершись на столъ локтями.

— Что̀ же, въ молчанку что ли будемъ играть?

— Нѣтъ; я только смотрю на васъ и любуюсь.

— Любуйтесь, таковъ, какого жизнь устроила, и подпишите векселекъ и пожалуйте деньги.

— За что̀ же, господинъ Термосесовъ? За что̀?

— Какъ за что̀? за прежнія тайныя удовольствія въ тиши ночей во святой Москвѣ, въ грѣховномъ Петербургѣ; за бесѣды, за планы, за списки, за всѣ, за всѣ забавы, которыхъ слѣдъ я сохранилъ и въ карманѣ, и въ памяти, и могу вамъ всю вашу карьеру испортить.

Борноволоковъ подписалъ вексель и выкинулъ деньги.

— Благодарю-съ, отвѣтилъ Термосесовъ, пряча вексель и деньги,—очень радъ, что вы не торговались.

— А то бы что̀ еще было?

— А то бы я вдвое съ васъ спросилъ.

Термосесовъ, забравъ всѣ свои вымогательства, сталъ искать фуражку.

— Я буду спать въ тарантасѣ, сказалъ онъ,—а то тутъ вдвоемъ намъ душно.

— Да, это прекрасно, но вы же, надѣюсь, теперь отдадите мнѣ мое собственное письмо?

— Гм! ну, нѣтъ, не надѣйтесь: этого въ уговорѣ не было.

— Но на что̀ же оно вамъ?

— Да, этого въ договорѣ не было!

И Термосесовъ разсмѣялся.

— Хотите, я вамъ еще денегъ дамъ?

— Нѣтъ-съ, я не жаденъ-съ, съ меня довольно.

— Фу, какая вы...

— Скотина, что ли? ничего, ничего, безъ церемоній, я не слушаю и бай-бай иду.

— Такъ выслушайте же, по крайней мѣрѣ, вотъ что: гдѣ брильянты, которые пропали у Бизюкиной?

— А я почему это долженъ знать?

— Вы... вы были съ ней гдѣ-то... въ бесѣдкѣ, что ли?

— Что̀ же такое, что былъ? Тамъ и другіе тоже были: учителишка и дьяконъ.

— Да; ну, такъ скажите, по крайней мѣрѣ, не въ моихъ ли вещахъ гдѣ-нибудь эти брильянты спрятаны?

— А я почему могу это знать?

— Господи! этотъ человѣкъ меня съ ума сведетъ!—воскликнулъ Борноволоковъ, заметавшись.

— А вы вотъ что... прошепталъ, сжавъ его руку, Термосесовъ,—вы не вздумайте-ка расписывать объ этомъ своимъ кузинамъ, а то... здѣсь письма, вѣдь, не одинъ я читаю.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Пропавшіе брильянты Бизюкиной, лампопо̀, пораженіе Ахиллы и Препотенскаго, продѣлки съ Дарьей Николаевной и почтмейстершей, наконецъ, шахъ и матъ, данные Борноволокову, — все это, будучи дѣломъ почти однихъ сутокъ, немножко ошеломило самого Термосесова. Онъ чувствовалъ неодолимую потребность выспаться и, растянувшись на сѣнѣ въ тарантасѣ, спалъ могучимъ крѣпкимъ сномъ до поздняго утра. Прохладный сарай, въ которомъ стоялъ экипажъ, обращенный Термосесовымъ въ спальню, оставался запертымъ, и Измаилъ Петровичъ, даже и проснувшись, долго̀ еще лежалъ, потягивался, чесалъ пятки и размышлялъ.

Въ размышленіяхъ своихъ этотъ фруктъ нашего разсадника былъ особенно интересенъ съ той стороны, что онъ ни на минуту не возвращался къ прошлому и совершившемуся и не останавливался ни на одномъ изъ новыхъ лицъ, которыхъ онъ такъ круто и смѣло обошелъ самыми безцеремонными пріемами. Хотя это и можетъ показаться страннымъ, но позволительно сказать, что въ Термосесовѣ была даже своего рода незлобивость, смѣшанная съ безконечною нравственною неряшливостію нахала и пренебрежительностію ко всѣмъ людямъ и ко всякимъ мнѣніямъ. Онъ словно разъ навсегда порѣшилъ себѣ, что совѣсть, честь, любовь, почтеніе и вообще всѣ такъ-называемыя возвышенныя чувства,—все это вздоръ, гиль, чепуха, выдуманная философами, литераторами и другими сумасшедшими фантазерами. Онъ не отрицалъ,—нѣтъ, это было бы слишкомъ спорно,—онъ просто зналъ, что ничего подобнаго нѣтъ и что потому не стоитъ надъ этимъ и останавливаться. Не менѣе странно относился онъ и къ людямъ: онъ не думалъ, что предстоящая ему въ данную минуту личность жила прежде, до встрѣчи съ нимъ, и хочетъ жить и послѣ, и что потому у нея есть свои историческія оглядки и свои засматриванья впередъ. Нѣтъ, по его, каждый человѣкъ выскакивалъ предъ нимъ, какъ дождевой пузырь или грибъ, именно только на ту минуту, когда Термосесовъ его видѣлъ, и онъ съ нимъ тотчасъ же распоряжался и эксплуатировалъ его самымъ дерзкимъ и безцеремоннымъ образомъ, и потомъ, какъ только тотъ отслуживалъ ему свою службу, онъ немедленно же просто позабывалъ его. На своемъ циническомъ языкѣ онъ простодушно говорилъ: «я кого обижу, послѣ на него никогда не сержусь», и это было вѣрно. Если бы теперь къ нему подъ сарай зашелъ Ахилла или Препотенскій, онъ могъ бы заговорить съ ними, нимало не смущаясь ничѣмъ происшедшимъ вчерашнею ночью.

Поймавъ Борноволокова, о которомъ давно было позабылъ, онъ схватился за него и сказалъ: я на немъ повисну! И повисъ. Встрѣтивъ Бизюкину, онъ пожелалъ за ней прі-

ударить и пріударилъ; занимаясь ея развитіемъ чортъ знаетъ для чего, онъ метнулъ мыслью на возможность присвоить себѣ бывшіе на ней брильянты и немедленно же привелъ все это въ исполненіе и при томъ спряталъ ихъ такъ хитро, что если бы, чего Боже сохрани, Бизюкины довели до обыска, то брильянты оказались бы, конечно, не у Термосесова, а у князя Борноволокова, который носилъ эти драгоцѣнности чуть ли не на самомъ себѣ: онѣ были зашиты въ его шинели. О протопопѣ Туберозовѣ Термосесовъ, разумѣется, даже и совсѣмъ никогда не размышлялъ, и при первыхъ жалобахъ Бизюкиной на протопопа бросалъ на вѣтеръ обѣщанія стереть этого старика, но потомъ вдохновился мыслью положить его ступенью для зарекомендованія своихъ «наблюдательныхъ способностей», и теперь никакія силы не отвлекли бы его отъ упорнаго стремленія къ исполненію этого плана.

Если бы старый протопопъ это зналъ, то такая роль для него была бы самымъ большимъ оскорбленіемъ, но онъ, разумѣется, и на мысль не набредалъ о томъ, что̀ для него готовится, и разъѣзжалъ себѣ на своихъ буркахъ изъ села въ село, отъ храма къ храму, проходилъ многія версты по лѣсамъ, отдыхалъ въ лугахъ и на рубежахъ нивъ и укрѣплялся духомъ въ лонѣ матери-природы.

А въ городѣ въ это время неустанными усиліями Термосесова была уже затравлена длинная петля. Жалоба мѣщанина Данилки возымѣла ходъ, ничтожное происшествіе стало дѣломъ, требующимъ рѣшенія по законамъ.

Ахилла былъ въ ужасѣ: онъ метался то туда, то сюда, всѣхъ спрашивая:

— Ахъ, браточки мои, куда меня теперь за Данилку засудятъ?

Судъ былъ для него страшнѣе всего на свѣтѣ.

Слухи о предстоящемъ судьбищѣ поползли изъ города въ уѣздъ и въ самыхъ нелѣпѣйшихъ преувеличеніяхъ дошли до Туберозова, который сначала имъ не вѣрилъ, но потомъ, получая отовсюду подтвержденія, встревожился и,

не объѣхавъ всего благочинія, велѣлъ Павлюкану возвращаться въ городъ.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Шумныя извѣстія о напастяхъ на дьякона Ахиллу и с приплетеніи самого протопопа къ этому ничтожному дѣлу захватили о. Савелія въ далекомъ приходѣ, отъ котораго до города было по меньшей мѣрѣ двое сутокъ ѣзды.

Дни стояли невыносимо жаркіе. Отъ послѣдняго села, гдѣ Туберозовъ ночевалъ, до города оставалось ѣхать около пятидесяти верстъ. Протопопъ, не рано выѣхавъ, успѣлъ сдѣлать едва половину этого пути, какъ наступилъ жаръ неодолимый: бѣдные бурые коньки его мылились, потѣли и были жалки. Туберозовъ рѣшилъ остановиться на покормъ и послѣдній отдыхъ: онъ не хотѣлъ заѣзжать никуда на постоялый дворъ, а вспомнивъ очень хорошее мѣсто у опушки лѣса, въ такъ-называемомъ «Корольковомъ верху», рѣшился тамъ и остановиться въ холодкѣ.

Отсюда открывается обширная плоская покатость, въ концѣ которой почти за двадцать слишкомъ верстъ мелькаютъ золотыя главы городскихъ церквей, а сзади вѣковой лѣсъ, которому нѣтъ перерыва до сплошного полѣсья. Здѣсь глубокая тишина и прохлада.

Утомленный зноемъ, Туберозовъ лишь только вышелъ изъ кибитки, такъ сію же минуту почувствовалъ себя, какъ нельзя лучше. Несмотря на повсемѣстный жаръ и истому, въ густомъ, темно-синемъ молодомъ дубовомъ подсѣдѣ стояла живительная свѣжесть. На упругихъ и какъ будто обмокнутыхъ въ зеленый воскъ листьяхъ молодыхъ дубковъ ни соринки. Повсюду живой, мягкій, успокоивающій матъ; изъподъ пестрой, трафаретной листвы папоротниковъ глядитъ ярко-красная волчья ягода; выше, вся озолоченная свѣтомъ, блещетъ сухая орѣшина, а вдали, на темно-коричневой торфянистой почвѣ, раскинуты цѣлыя семьи грибовъ и межъ нихъ кораллъ костяники.

Пока Павлюканъ въ одномъ бѣльѣ и жилетѣ отпрягалъ

и проваживалъ потныхъ коней и устанавливалъ ихъ къ корму у растянутаго на оглобляхъ хрептюга, протопопъ походилъ немножко по лѣсу, а потомъ, взявъ изъ повозки коверчикъ, снесъ его въ зеленую лощинку, изъ которой бурливымъ ключомъ билъ гремучій ручей, умылся тутъ свѣжею водой и здѣсь же легъ отдохнуть на этомъ коверчикѣ.

Мѣрный рокотъ ручья и прохлада повѣяли здоровымъ «русскимъ духомъ» на опаленную зноемъ голову Туберозова, и онъ не замѣтилъ самъ, какъ заснулъ, и заснулъ нехотя: совсѣмъ не хотѣлъ спать,—хотѣлъ встать, а сонъ свалилъ и держитъ, — хотѣлъ что-то Павлюкану молвить, да дрема мягкою рукой ротъ зажала.

Дремотныя мечтанія протопопа были такъ крѣпки, что Павлюканъ напрасно трясъ его за плечи, приглашая встать и откушать каши, сваренной изъ крупы и молодыхъ грибовъ. Туберозовъ едва проснулся и, проговоривъ: «Кушай, мой другъ, мнѣ сладостно спится», снова заснулъ еще глубже.

Павлюканъ отобѣдалъ одинъ. Онъ собралъ ложки и хлѣбъ въ плетеный изъ лыка дорожный кошель, опрокинулъ на свѣжую траву котелъ и, заливъ водой костерчикъ, забрался подъ телѣгу и немедленно послѣдовалъ примѣру протопопа. Лошади отца Савелія тоже недолго стучали своими челюстями: и онѣ одна за другою скоро утихли, уронили головы и задремали.

Кругомъ стало сонное царство. Тишь до того нерушима, что изъ чащи лѣса сюда на опушку выскочилъ подлинялый заяцъ, сдѣлавъ прыжокъ, сѣлъ на заднія лапки, пошевелилъ усиками, но сейчасъ же и сконфузился: кинулъ за спину длинныя уши и исчезъ.

Туберозовъ отрывался отъ сна на томъ, что уста его съ непомѣрнымъ трудомъ выговаривали кому-то въ отвѣтъ слово: «здравствуй».

«Съ кѣмъ я это здравствуюсь? Кто былъ здѣсь со мной?» старается онъ понять, просыпаясь. И мнится ему, что сейчасъ возлѣ него стоялъ кто-то прохладный и тихій въ длинной одеждѣ цвѣта зрѣющей сливы... Это казалось такъ яв-

ственно, что Савелій быстро поднялся на локти, но увидѣлъ только, что вонъ спитъ Павлюканъ, вонъ его бурыя лошади, вонъ и кибитка. Все это просто и ясно. Вонъ даже пристяжная лошадь, наскучивъ покоемъ, скапываетъ съ головы оброть... Сбросила, отошла, повалялась, встала и нюхаетъ вѣтеръ. Туберозовъ продолжаетъ дремать, лошадь идетъ дальше и дальше; вотъ она щипнула густой муравы на опушкѣ; вотъ скусила верхушку молодого дубочка; вотъ, наконецъ, ступила на поросшій дикимъ клеверомъ рубежъ и опять нюхаетъ теплый вѣтеръ. Савелій все смотритъ и никакъ не пойметъ своего состоянія. Это не сонъ и не бдѣнье; влага, въ которой онъ спалъ, отуманила его, и въ головѣ точно паръ стоитъ. Онъ протеръ глаза и глянулъ вверхъ: высоко въ небѣ надъ его головой плаваетъ вòронъ. Вòронъ ли это, или коршунъ? Нѣтъ. Нѣтъ, соображаетъ старикъ, это непремѣнно вòронъ: онъ держится стойче и круги его шире... А вотъ долетаетъ оттуда, какъ брошенная горстка гороху, ку-у-рлю. Это воронье ку-у-рлю, это вòронъ. Что онъ назираетъ оттуда? Что ему нужно? Онъ усталъ парить въ поднебесьѣ и, можетъ-быть, хочетъ этой воды. И Туберозову приходитъ на память легенда, прямо касающаяся этого источника, который, по преданію, имѣетъ особенное чудесное происхожденіе. Чистый, прозрачный водоемъ ключа похожъ на врытую въ землю хрустальную чашу. Образованіе этой котловины приписываютъ громовой стрѣлѣ. Она пала съ небесъ и проникла здѣсь въ нѣдра земли, и тоже опять по совершенно особенному случаю. Тутъ будто бы нѣкогда, разумѣется очень давно, палъ изнемогшій въ бою русскій витязь, а его одного отовсюду облегла несмѣтная сила невѣрныхъ. Погибель была неизбѣжна; и витязь взмолился Христу, чтобы Спаситель избавилъ его отъ позорнаго плѣна, и преданіе гласитъ, что въ то же мгновеніе изъ-подъ чистаго неба внизъ стрекнула стрѣла и взвилась опять кверху и грянулъ ударъ, и кони татарскіе пали на колѣни и сбросили своихъ всадниковъ, а когда тѣ поднялись и встали, то витязя уже не было, и на мѣстѣ, гдѣ онъ стоялъ, гремя

и сверкая алмазною пѣной, билъ вверхъ высокою струей ключъ студеной воды, сердито рвалъ ребра оврага и серебристымъ ручьемъ разбѣгался вдали по зеленому лугу.

Родникъ почитаютъ всѣ чудеснымъ и повѣрье гласитъ, что въ водѣ его кроется чудотворная сила, которую будто бы знаютъ даже и звѣри, и птицы. Это всѣмъ вѣдомо, про это всѣ знаютъ, потому что тутъ всегдашнее таинственное присутствіе Ратая вѣры. Здѣсь вѣра творитъ чудеса и оттого все здѣсь такъ сильно и крѣпко, отъ вершины столѣтняго дуба до гриба, который ютится при его корнѣ. Даже, повидимому, совершенно умершее здѣсь оживаетъ: вонъ тонкая сухая орѣшина; ее опалила молонья, но на ея кожурѣ выше корня, какъ зеленымъ воскомъ, выведенъ «Петровъ крестъ», и отсюда опять пойдетъ новая жизнь. А въ грозу здѣсь, говорятъ, бываетъ не шутка.

«Что̀ же; есть вѣдь, какъ извѣстно, такія наэлектризованныя мѣста», подумалъ Туберозовъ, и почувствовалъ, что у него какъ будто шевелятся сѣдые волосы. Только-что всталъ на ноги, какъ въ нѣсколькихъ шагахъ предъ собою увидалъ небольшое бланжевое облачко, которое, мѣняя слегка очертанія, тихо ползло надъ рубежемъ, по которому бродила свободная лошадь. Облачко точно прямо шло на коня и, настигнувъ его, вдругъ засновало, вскурилось и разнеслось какъ дымъ пушечнаго жерла. Конь дико всхрапнулъ и въ испугѣ понесся, не чуя подъ собой земли.

Это была дурная вещь. Туберозовъ торопливо вскочилъ, разбудилъ Павлюкана, помогъ ему вскарабкаться на другого коня и послалъ его въ погоню за испуганною лошадью, которой между тѣмъ уже не было и слѣда.

— Спѣши, догоняй, сказалъ Савелій дьячку и, вынувъ свои серебряные часы, поглядѣлъ на нихъ: былъ въ началѣ четвертый часъ дня.

Старикъ сѣлъ въ тѣни съ непокрытою головой, зѣвнулъ и неожиданно вздрогнулъ; ему вдалекѣ послышался тяжелый грохотъ.

— «Что бы это такое: неужто громъ?»

Съ этимъ онъ снова всталъ и, отойдя отъ опушки, увидѣлъ, что съ востока, дѣйствительно, шла темная туча. Гроза застигала Савелія однимъ-одинёшенка, среди лѣса и полей приготовлявшихся встрѣтить ея нестерпимое дыханіе.

Опять ударъ, нива заколебалась сильнѣй и по ней полоснуло свѣжимъ холодомъ.

Къ черной тучѣ, которою заслоненъ весь востокъ, снизу взмывали клубами меньшія тучки. Ихъ будто что-то подтягивало и подбирало какъ кулисы, и по всему этому нѣтъ-нѣтъ и прорѣжетъ огнемъ. Точно магъ, готовый дать страшное представленіе, въ послѣдній разъ осматриваетъ съ фонаремъ въ рукѣ темную сцену, прежде чѣмъ зажжетъ всѣ огни и подниметъ завѣсу. Черная туча ползетъ, и чѣмъ она ближе, тѣмъ кажется непроглядней. Не пронесетъ ли ее Богъ? Не разразится ли она гдѣ подальше? Но нѣтъ: вонъ, по ея верхнему краю, тихо сверкнула огнистая нить и молніи замигали и зарѣяли разомъ по всей темной массѣ. Солнца уже нѣтъ: тучи покрыли его дискъ и его длинные, какъ шпаги, лучи, посвѣтивъ мгновеніе, тоже сверкнули и скрылись. Вихорь засвисталъ и защелкалъ. Облака заволновались точно знамена. По бурому полю зрѣющей ржи запестрѣли широкія бѣлыя пятна и пошли ходенемъ; въ одномъ мѣстѣ падетъ будто съ неба одно, въ другомъ—сядетъ широко другое и разомъ пойдутъ навстрѣчу другъ другу, сольются и оба исчезнутъ. У межи при дорогѣ вѣтеръ треплетъ колосъ такъ странно, что это какъ будто и не вѣтеръ, а кто-то живой притаился у корня и злится. По лѣсу шумъ. Вотъ и надъ лѣсомъ зигзагъ; и еще вотъ черкнуло совсѣмъ по верхушкамъ и вдругъ тихо... все тихо!.. ни молній, ни вѣтру: все стихло. Это тишина предъ бурей: все запоздавшее спрятать себя отъ невзгоды пользуется этою послѣднею минутой затишья; нѣсколько пчелъ пронеслось мимо Туберозова, какъ будто онѣ не летѣли, а несло ихъ напоромъ вѣтра. Изъ темной

чащи кустовъ, которые казались теперь совсѣмъ черными, выскочило нѣсколько перепуганныхъ зайцевъ и залегли въ межѣ вровень съ землею. По травѣ, которая при теперешнемъ освѣщеніи тоже черна, какъ асфальтъ, прокатился серебристый клубокъ и юркнулъ подъ землю. Это ёжъ. Все убралось, что̀ куда можетъ. Вотъ и послѣдній, недавно рѣявшій, во̀ронъ плотно сжалъ у плечъ крылья и, ринувшись внизъ, тяжело закопошился въ вершинѣ высокаго дуба.

## ГЛАВА ВОСЬМНАДЦАТАЯ.

Туберозовъ не былъ трусомъ, но онъ былъ человѣкъ нервный, а такими людьми въ пору большихъ электрическихъ разряженій овладѣваетъ невольное и неодолимое безпокойство. Такое безпокойство чувствовалъ теперь и онъ, озираясь вокругъ и соображая, гдѣ бы, на какомъ бы мѣстѣ, ему безопаснѣе встрѣтить и переждать готовую грянуть грозу.

Первымъ его движеніемъ было броситься къ своей повозкѣ, сѣсть въ нее и закрыться, но чуть только онъ умѣстился здѣсь, лѣсъ заскрипѣлъ и кибитку затрясло какъ лубочную люльку. Ясно было, что это пріютъ не надежный: кибитка могла очень легко опрокинуться и придавить его.

Туберозовъ выскочилъ изъ-подъ своего экипажа и бросился бѣгомъ въ ржаное поле; крутившій встрѣчь и съ боковъ вѣтеръ останавливалъ его, рвалъ его назадъ за полы и свисталъ, и трубилъ, и визжалъ, и гайгайкалъ ему въ уши.

Туберозовъ бросился въ ложбину къ самому роднику; а въ хрустальномъ резервуарѣ ключа еще безпокойнѣе: вода здѣсь бурлила и кипѣла, и изъ-подъ расходящихся по ней круговъ точно выбивался наружу кто-то замкнутый въ нѣдрахъ земли. И вдругъ, въ темносвинцовой массѣ воды, внезапно сверкнуло и разлилось кровавое пламя. Это ударъ молніи, но что это за странный ударъ! Стрѣлой въ два

зигзага онъ упалъ сверху внизъ и отраженный въ водѣ въ то же мгновеніе, такимъ же зигзагомъ, взвился подъ небо. Точно небо съ землею переслалось огнями; грянулъ трескучій ударъ, какъ отъ массы брошенныхъ съ кровли желѣзныхъ полосъ, и изъ родника вверхъ цѣлымъ фонтаномъ взвилось облако брызгъ.

Туберозовъ закрылъ лицо руками, палъ на одно колѣно и поручилъ душу и жизнь свою Богу, а на поляхъ и въ лѣсу пошла одна изъ тѣхъ грозовыхъ перепалокъ, которыя всего краснорѣчивѣе напоминаютъ человѣку его беззащитное ничтожество предъ силой природы. Рѣяли молніи; съ грохотомъ несся ударъ за ударомъ, и вдругъ Туберозовъ видитъ предъ собою темный стволъ дуба и къ нему плыветъ свѣтящійся, какъ тусклая лампа, шаръ; чудная искра посрединѣ дерева блеснула ослѣпляющимъ свѣтомъ, выросла въ комъ и разорвалась. Въ воздухѣ грянуло страшное: бббахъ! У старика сперло дыханіе и на всѣхъ перстахъ его на рукахъ и ногахъ завертѣлись горячія кольца, тѣло болѣзненно вытянулось, подломилось и пало... Сознаніе было одно,—это сознаніе, что *все рушилось*. Конецъ! промелькнуло въ головѣ протопопа, и дальше ни слова. Протопопъ не замѣчалъ, сколько времени прошло съ тѣхъ поръ, какъ его оглушило, и долго ли онъ былъ безъ сознанія. Приходя въ себя, онъ услыхалъ, какъ по небу вдалекѣ тяжело и неспѣшно прокатило и стихло! Гроза проходила. Савелій поднялъ голову, оглянулся вокругъ и увидалъ въ двухъ шагахъ отъ себя на землѣ нѣчто огромное и безобразное. Это была цѣлая куча вѣтвей, цѣлая вершина громаднаго дуба. Дерево было какъ ножомъ срѣзано у самаго корня и лежало на землѣ, а изъ подъ вѣтвей его, смѣшавшихся съ колосомъ ржи, раздавался противный рѣжущій крикъ: это дралъ глотку давешній воронъ. Онъ упалъ вмѣстѣ съ деревомъ, придавленъ тяжелою вѣтвью къ землѣ и, разинувъ широко пурпуровую пасть, судорожно бился и отчаянно кричалъ.

Туберозовъ быстро отпрыгнулъ отъ этого зрѣлища та-

кимъ бодрымъ прыжкомъ, какъ бы ему было не семьдесятъ лѣтъ, а семнадцать.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Гроза какъ быстро подошла, такъ быстро же и пронеслась: на мѣстѣ черной тучи вырѣзывалась на голубомъ просвѣтѣ розовая полоса, а на мокромъ мѣшкѣ съ овсомъ, который лежалъ на козлахъ кибитки, уже весело чирикали воробьи и смѣло таскали мокрыя зерна сквозь дырки мокрой рѣднины. Лѣсъ весь оживалъ; послышался тихій, ласкающій свистъ, и на межу, звонко скрипя крыльями, спустилася пара степныхъ голубей. Голубка разостлала по землѣ крылышко, черкнула по немъ красненькою лапкой и, поставивъ его парусомъ кверху, закрылась отъ дружка. Голубь надулъ зобъ, поклонился ей въ землю и заговорилъ ей печально «умру». Эти поклоны заключаются поцѣлуями, и крылышки трепетно бьются въ густой бахромѣ мелкой полыни. Жизнь началась. Невдалекѣ послышался топотъ: это Павлюканъ. Онъ ѣхалъ верхомъ на одной лошади, а другую велъ въ поводу.

— Ну, отецъ, живы вы!—весело кричалъ онъ, подъѣзжая и спѣшиваясь у кибитки.—А я было, знаете, шибко спѣшилъ, чтобы васъ однихъ не застало, да какъ этотъ громище, какъ треснулъ, я такъ, знаете, съ лошади всею моею мордой оземь и чокнулъ... А это дубъ-то срѣзало?

— Срѣзало, другъ, срѣзало. Давай запряжемъ и поѣдемъ.

— Боже мой, знаете, силища!

— Да, другъ, поѣдемъ.

— Теперь, знаете, легкое повѣтріе, ѣхать чудесно.

— Чудесно, запрягай скорѣй; чудесно.

И Туберозовъ нетерпѣливо взялся помогать Павлюкану.

Выкупанные дождемъ кони въ минуту были впряжены, и кибитка протопопа покатила, плеща колесами по лужамъ колеистаго проселка.

Воздухъ былъ благорастворённѣйшій; освѣщеніе теплое; съ полей несся легкій парокъ; въ воздухѣ пахло орѣшиной.

Туберозовъ, сидя въ своей кибиткѣ, чувствовалъ себя такъ хорошо, какъ не чувствовалъ давно, давно. Онъ все глубоко вздыхалъ и радовался, что можетъ такъ глубоко вздыхать. Словно орлу обновились крылья!

У городской заставы его встрѣтилъ малиновый звонъ колоколовъ; это былъ благовѣстъ ко всенощной.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Кибитка Туберозова въѣхала на самый дворъ.

— Господи, что я за тебя, отецъ Савелій, изстрадалася! кричала Наталья Николаевна, кидаясь навстрѣчу мужу. Этакой громъ, а ты, сердце мое, былъ одинъ.

— О, голубка моя, да я былъ на шагъ отъ смерти!

И протопопъ разсказалъ женѣ все, что было съ нимъ у Гремучаго ключа, и добавилъ, что отнынѣ онъ живетъ словно вторую жизнь, не свою, а чью-то иную, и въ семъ видитъ себѣ и урокъ, и укоризну, что словно никогда не думалъ о бренности и ничтожествѣ своего краткаго вѣка.

Наталья Николаевна только моргала глазками и, вздохнувъ, проговорила:—А ты теперь покушать не хочешь ли? но видя, что мужъ въ отвѣтъ на это качнулъ отрицательно головой, она освѣдомилась о его жаждѣ.

— Жажда?—повторилъ за женою Савелій;—да, я жажду.

— Чайку?

Протопопъ улыбнулся и, поцѣловавъ жену въ темя, сказалъ:

— Нѣтъ, истины.

— Ну, что же? и благословенъ. Богъ твой, ты что ни учредишь, все хорошо.

— Да, ну, я буду умываться, а ты, мой другъ, разсказывай мнѣ, что тутъ дѣлаютъ съ дьякономъ. И протопопъ подошелъ къ блестящему мѣдному рукомойнику и сталъ умываться, а Наталья Николаевна сообщила, что знала объ Ахиллѣ и вывела, что все это дѣлается не иначе, какъ на зло ея мужу.

Протопопъ молчалъ и, сдѣлавъ свой туалетъ, взялъ трость

и шляпу, и отправился въ церковь, гдѣ на эту пору шла всенощная.

Минутъ черезъ пять, стоя въ сторонкѣ у жертвенника въ алтарѣ, онъ положилъ на покатой доскѣ озареннаго закатомъ окна листокъ бумаги и писалъ на немъ. Что такое онъ писалъ? Мы это можемъ прочесть изъ-подъ его руки.

Вотъ этотъ манускриптъ, адресованный Савеліемъ исправнику Порохонцеву: «Имѣя завтрашняго числа совершить соборне литургію по случаю торжественнаго дня, долгомъ считаю извѣстить объ этомъ ваше высокородіе, всепокорнѣйше прося васъ нынѣ же заблаговременно оповѣстить о семъ съ надлежащею роспиской всѣхъ чиновниковъ города, дабы они пожаловали во храмъ. А наипаче сіе прошу рекомендовать тѣмъ изъ служебныхъ лицъ, кои сею обязанностью наиболѣе склонны манкировать, такъ какъ я предопредѣлилъ о подаваемомъ ими дурномъ примѣрѣ донести неукоснительно по начальству. Въ принятіи же сего вѣдѣнія, ваше высокородіе всепокорно прошу росписаться».

Протоіерей потребовалъ разсыльную церковную книгу; выставилъ на бумагѣ нумеръ, собственноручно записалъ ее и тотчасъ же послалъ ее съ пономаремъ по назначенію.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Ночь, послѣдовавшая за этимъ вечеромъ въ домѣ Савелія, напоминала ту, когда мы видѣли старика за его журналомъ: онъ также былъ одинъ въ своемъ зальцѣ, также ходилъ, также садился, писалъ и думалъ, но предъ нимъ не было его книги. На столѣ, къ которому онъ подходилъ, лежалъ маленькій, пополамъ перегнутый, листокъ и на этомъ листкѣ онъ какъ бисеромъ часто и четко нанизывалъ слѣдующія отрывочныя замѣтки: «Боже, судъ Твой Цареви даждь и правду Твою сыну Цареву».

«Обыденный приступъ отъ вчерашняго моего положенія подъ грозою. Воронъ: какъ онъ спрятался отъ грозы въ крѣпчайшій дубъ и нашелъ гибель тамъ, ждалъ защиту.

«Сколь поучителенъ мнѣ этотъ воронъ. Тамъ ли спа-

сенье, гдѣ его чаемъ,—тамъ ли погибель, гдѣ оной боимся?

«Безмѣрное наше умствованіе, порабощающее разумъ. Ученость, отвергающая возможность постиженія доселѣ постижимаго.

«Недостаточность и неточность свѣдѣній о душѣ. Непониманіе натуры человѣка и проистекающее отсель безстрастное равнодушіе къ добру и злу и кривосудство о поступкахъ: оправданіе неоправдимаго и порицаніе достойнаго. Моисей, убившій египтянина, который билъ еврея, не подлежитъ ли осужденію съ ложной точки зрѣнія иныхъ либераловъ, охуждающимъ горячность патріотическаго чувства? Іуда предатель съ точки зрѣнія «слѣпо почивающихъ въ законѣ» не заслуживаетъ ли награды, ибо онъ «соблюлъ законъ», предавъ учителя, преслѣдуемаго правителями? (Иннокентій Херсонскій и его толкованіе). Дніе наши также лукавы: укоризны небезпристрастнымъ противъ ухищреній тайныхъ враговъ государства. Великая утрата заботы о благѣ родины и какъ послѣдній примѣръ небреженье о молитвѣ въ день народныхъ торжествъ, сведенной на единую формальность.

«*Толкованіе* словъ: «Боже судъ Твой Цареви даждь» въ смыслѣ: «да тихое и мирное житіе поживемъ». (Ап. Павелъ). Сколь такое житіе важно? Примѣръ: Ровоамъ послѣ Соломона, окруженный друзьями и совоспитанными съ нимъ и предстоявшими предъ лицомъ его, лукаво представлявшими ему, что облегченіе народу есть уничиженіе собственнаго его царева достоинства, и какъ онъ по ихъ совѣту пріумножилъ бѣдствія Израиля. «Отецъ мой, наложи на васъ яремъ тяжекъ; азъ же приложу къ ярему вашему» (кн. Царствъ 11, 12). Происшедшія отъ сего несчастія и раздѣленіе царства.

«Ясно отсюда, что намъ надлежитъ желать и молиться, дабы сердце Царево не было ни въ какихъ рукахъ человѣческихъ, а въ рукахъ Божіихъ.

«Но мы преступно небрежемъ этою заботою, и мнѣ, если доводится видѣть въ такой день храмъ не пустымъ, то я

даже недоумѣваю, чѣмъ это объяснить? Перебираю всѣ догадки и вижу, что нельзя этого ничѣмъ инымъ объяснить, какъ страхомъ угрозы моей, и отсель заключаю, что всѣ эти молитвенники—слуги лукавые и лѣнивые и молитва ихъ не молитва, а наипаче есть торговля, торговля во храмѣ, видя которую Господь нашъ І. Х. не только возмутился божественнымъ духомъ своимъ, но и вземь вервіе и изгна ихъ изъ храма».

«Слѣдуя его божественному примѣру, я порицаю и осуждаю сію торговлю совѣстью, которую вижу предъ собою во храмѣ. Церкви противна сія наемничья молитва. Можетъ быть довлѣло бы мнѣ взять вервіе и выгнать имъ вонъ торгующихъ нынѣ въ храмѣ семъ, да не блазнится о лукавствѣ ихъ вѣрное сердце. Да будетъ слово мое имъ вмѣсто вервія. Пусть лучше будетъ праздненъ храмъ, я не смущуся сего: я изнесу на главѣ моей тѣло и кровь Господа моего въ пустыню и тамъ предъ дикими камнями въ затрапезной ризѣ запою: «Боже, судъ Твой Цареви даждь и правду Твою сыну Цареву», да соблюдется до вѣка Русь, ей же благодѣялъ еси!

«*Воззваніе заключительное*: не положи ея, Творче и Содѣтелю! въ посмѣяніе народамъ чужимъ, ради лукавства слугъ ея злосовѣстливыхъ и недоброслужащихъ».

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Это была программа поученія, которую хотѣлъ сказать и сказалъ на другой день Савелій предъ всѣми собранными имъ во храмѣ чиновниками, закончивъ такимъ сказаніемъ не только свою проповѣдь, но и все свое служеніе церкви.

Старогородская интеллигенція находила, что это не проповѣдь, а революція, и что если протопопъ пойдетъ говорить въ такомъ духѣ, то чиновнымъ людямъ скоро будетъ неловко даже выходить на улицу. Даже самые друзья и пріятели Савелія строго обвиняли его въ неосторожномъ возбужденіи страстей черни. На этомъ возбужденіи друзья его сошлись съ его врагами, и въ одно общимъ хоромъ

гласили: нѣтъ, этого терпѣть нельзя! Исключеніе изъ общаго хора составляли заѣзжіе: Борноволоковъ и Термосесовъ. Они хотя слышали проповѣдь, но ничего не сказали и не надулись. Напротивъ, Термосесовъ, возвратясь отъ обѣдни, подошелъ со сложенными руками къ Борноволокову, и чрезвычайно счастливый прочелъ: «Нынѣ отпущаеши раба твоего».

— Что это значитъ, освѣдомился начальникъ.

— Это значитъ, что я отъ васъ отхожу. Живите и будьте счастливы, но на отпускѣ еще послѣднюю дружбу: черкните начальству, что, молъ, попъ, про котораго писано мной, забывъ сегодня все уваженіе, подобающее торжественному дню, сказалъ крайне возмутительное слово, о которомъ устно будетъ имѣть честь изложить посылаемый мною господинъ Термосесовъ.

— Чортъ васъ возьми! Напишите, я подпишу.

Друзья уже совсѣмъ были готовы разстаться, но разлука ихъ на минуту замедлилась внезапнымъ появленіемъ блѣднаго и перепуганнаго мѣщанина Данилки, который влетѣлъ весь мокрый и растерзанный предъ очи Борноволокова и, повалясь ему въ ноги, завопилъ:

— Батюшка, сошлите меня, куда милость ваша будетъ, а только мнѣ теперь здѣсь жить невозможно! Сейчасъ народъ, на берегу собравшись, такъ всѣ къ моей мордѣ и подсыкаются.

И Данилка объяснилъ, что ему чуть не смертью грозятъ за то, что онъ противъ протопопа просьбу подалъ и въ доказательство указалъ на свое мокрое и растерзанное рубище, доложивъ, что его сію минуту народъ съ моста въ рѣку сбросилъ.

— Превосходно!... Бунтъ!—радостно воскликнулъ Термосесовъ и, надѣвъ посреди комнаты фуражку, замѣтилъ своему начальнику:—Видите, какъ дѣлаютъ дѣла!

Термосесовъ уѣхалъ, а вслѣдъ за нимъ въ другую сторону уѣхалъ и Борноволоковъ обнаруживать иные безпорядки.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Въ Старогородѣ проповѣдь Туберозова уже забывалась. Но къ вечеру третьяго дня въ городъ на почтовой телѣгѣ пріѣхала пара оригинальныхъ гостей: длинный сухожильный квартальный и толстый, какъ мужичій блинъ, консисторскій чиновникъ съ пуговочнымъ носомъ.

Это были послы по Савеліеву душу: протопопа подъ надзоромъ ихъ требовали въ губернскій городъ. Черезъ полчаса это зналъ весь городъ, и къ дому Туберозова собрались люди, а черезъ часъ дверь этого дома отворилась и изъ нея вышелъ готовый въ дорогу Савелій. Наталья Николаевна провожала мужа, идучи возлѣ него и склонясь своею голубиною головкой къ его локтю.

Они оба умѣли успокоить другъ друга и теперь не разслабляютъ себя ни единою слезой.

Ожидавшій выхода протопопа народъ шарахнулся впередъ и загудѣлъ.

Туберозовъ снялъ шляпу, поклонился ниже пояса на всѣ стороны.

Гомонъ затихъ; у многихъ навернулись слезы и всѣ стали креститься.

Изъ-за угла тихо выѣхала спрятанная тамъ, по деликатному распоряженію исправника, запряженная тройкой, почтовая телѣга.

Протопопъ поднялъ ногу на ступицу и взялся рукою за грядку, въ это время квартальный подхватилъ его подъ локоть снизу, а чиновникъ потянулъ за другую руку вверхъ... Старикъ гадливо вздрогнулъ и голова его заходила на шеѣ, какъ у куклы на проволочной пружинѣ.

Наталья Николаевна подскочила къ мужу и, схвативъ его руку, прошептала:

— Одну только жизнь свою пощади!

Туберозовъ отвѣчалъ ей:

— Не хлопочи: жизнь уже кончена; теперь начинается «житіе».

# Часть четвертая.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

«Жизнь кончилась и начинается житіе», сказалъ Туберозовъ въ послѣднюю минуту предъ отъѣздомъ своимъ къ отвѣту. Непосредственно затѣмъ уносившая его борзая тройка взвилась на гору и исчезла изъ виду.

Народъ, провожавшій протопопа, постоялъ-постоялъ и началъ расходиться. Наступила ночь: всѣ ворота и калитки заперлись на засовы, и мѣсяцъ, глядя съ высокаго неба, назиралъ на осиротѣломъ протопоповскомъ дворѣ одну осиротѣлую же Наталью Николаевну.

Она не спѣшила подъ кровлю и, плача, сидѣла на томъ же крылечкѣ, съ котораго недавно сошелъ ея мужъ. Она, рыдая, бьется своею маленькою головкой о перила, и нѣтъ съ ней ни друга, ни утѣшителя! Нѣтъ; это было не такъ. Другъ у нея есть, и другъ крѣпкій...

Предъ глазами плачущей старушки, въ широко распахнувшуюся калитку, влѣзъ съ непокрытою курчавою головою дьяконъ Ахилла. Онъ въ короткомъ толстомъ казакинѣ и широкихъ шароварахъ, нагруженъ какими-то мѣшками и ведетъ за собой пару лошадей, изъ которыхъ на каждой громоздится большой и тяжелый вьюкъ. Наталья Николаевна молча смотрѣла, какъ Ахилла ввелъ на дворъ своихъ лошадей, сбросивъ на землю вьюки, и, возвратившись къ ка-

литкѣ, заперъ ее твердою хозяйскою рукой и положилъ ключъ къ себѣ въ шаровары.

— Дьяконъ! Это ты сюда ко мнѣ! — воскликнула, догадавшись о намѣреніяхъ Ахиллы, Наталья Николаевна.

— Да, скорбная мати, я переѣхалъ, чтобы беречь васъ.

Они обнялись и поцѣловались, и Наталья Николаевна пошла досиживать ночь въ свою спаленьку, а Ахилла, поставивъ подъ сарай своихъ коней, разостлалъ на крыльцѣ войлокъ; легъ навзничь и уставился въ звѣздное небо.

Цѣлую ночь онъ не спалъ, все думалъ думу: какъ бы теперь, однако, помочь своему министру юстиціи? Это совсѣмъ не то, что Варнавку избить? Тутъ нужно бы умомъ подвигать. Какъ же это: однимъ умомъ, безъ силы? Еслибы хоть при этомъ... какъ въ сказкахъ, коверъ-самолетъ, или сапоги-скороходы, или... не видимку бы шапку! Вотъ тогда бы онъ зналъ, что сдѣлать очень умное, а то... Дьяконъ рѣшительно не зналъ за что взяться, а взяться было необходимо.

Добравшись до самолета-ковра и невидимки-шапки, непривычный ни къ какимъ умственнымъ ухищреніямъ, Ахилла словно освободился отъ непосильной ноши, вздохнулъ и самъ полетѣлъ на коврѣ; онъ прошелъ никѣмъ невидимый въ сапогахъ и въ шапкѣ къ одному и къ другому изъ важныхъ лицъ, къ которымъ безъ этихъ сапогъ пройти не надѣялся, и того и другого толкнулъ слегка соннаго въ ребра и началъ имъ говорить: «не обижайте попа Савелія, а то послѣ сами станете тужить, да не воротите».

И вотъ, слыша невидимый голосъ, всѣ важныя лица завертѣлись на своихъ пышныхъ постеляхъ и всѣ побѣжали, всѣ кричали: «О, Бога ради, заступитесь поскорѣе за попа Савелія!» Но все это въ нашъ вѣкъ только и можно лишь со скороходами-сапогами и съ невидимкою-шапкой, и хорошо, что Ахилла во-время о нихъ вспомнилъ и запасся ими. Благодаря лишь только имъ, дьяконъ могъ проникнуть въ своей желтой нанковой рясѣ въ такой свѣтозарный чертогъ, сіяніе котораго такъ нестерпимо ослѣпляетъ его, что

онъ даже и не радъ уже, что сюда забрался. Можетъ быть и тѣхъ бы мѣстъ довольно, гдѣ онъ уже побывалъ, но скороходы-сапоги разскакались и затащили его туда, гдѣ онъ даже ничего не можетъ разглядѣть отъ несноснаго свѣта и, забывъ про Савелія и про цѣль своего посольства, мечется, заботясь только, какъ бы самому уйти назадъ, межъ тѣмъ какъ проворные сапоги-скороходы несутъ его все выше и выше, а онъ забылъ спросить слово, какъ остановить ихъ...

— Загорюсь! ей-Богу, загорюсь!—кричалъ дьяконъ, прячась за мелькнувшее предъ нимъ маленькое тѣневое пятнышко, и удивился, услышавъ изъ этого пятнышка тихій голосокъ Николая Аѳанасьевича.

— Полно вамъ, отецъ дьяконъ, спать да кричать, что вы загоритесь! Со стыда развѣ надо всѣмъ намъ сгорѣть!— говорилъ карликъ, заслоняя отъ солнца лицо дьякона своимъ маленькимъ тѣломъ.

Ахилла вскочилъ и, бросясь къ ушату, выпилъ одинъ за другимъ два желѣзные ковша студеной воды.

— Что ты, Никола, о какомъ здѣсь стыдѣ говоришь?— вопросилъ онъ, смачивая водой свои кудри.

— А гдѣ нашъ протопопъ? А?

— Протопопъ, душка Николавра, тютю, его вчера увезли...

— Что жъ, сударь, «тютю»? Вѣдь намъ надо его выручать.

— Голубчикъ, я и самъ всю ночь про то думалъ, да не умѣю ничего придумать.

— Вотъ то-то и есть, камень въ воду всякъ броситъ, да не всякъ-съ его вытащитъ.

И Николай Аѳанасьевичъ, скрипя своими сапожками, заковылялъ въ комнаты къ протопопицѣ, но, побывъ здѣсь всего одну минуту, взялъ съ собой дьякона и побрелъ къ исправнику; отъ исправника они прошли къ судьѣ, и карликъ съ обоими съ ними совѣщался, и ни отъ того, ни отъ другого ничего не узналъ радостнаго. Они жалѣли Туберозова, говорили, что хотя протопопъ и не хорошо сдѣлалъ,

сказавъ такую возбуждающую проповѣдь, но что съ нимъ все-таки поступлено уже черезъ мѣру строго.

А что теперь дѣлать? Что предпринять? И вообще предпринимать ли и дѣлать ли что-нибудь въ защиту Туберозова? Объ этомъ ни слова.

Карликъ, слушая пространныя, но мало содержательныя рѣчи чиновниковъ, только вздыхалъ и мялся, а Ахилла глядѣлъ, хлопая глазами, то на того, то на другого, и въ помышленіяхъ своихъ все-таки сводилъ опять все къ тому, что еслибы коверъ-самолетъ или хотя волшебная шапка, а то какъ и за что взяться? Не за что.

— Одно, что я могу,—спохватился судья,—это написать письмо губернскому прокурору: онъ мой товарищъ и, вѣрно, не откажетъ самъ посодѣйствовать и походатайствовать за протопопа.

Исправнику это чрезвычайно понравилось, а Николаю Аѳанасьевичу, хотя оно и не понравилось, но онъ считалъ возраженія неумѣстными.

Думали только о томъ, какъ послать письмо? Почта шла черезъ два дня, а эстафета была бы, по мнѣнію обоихъ чиновниковъ, дѣломъ слишкомъ эффектнымъ, и притомъ почтмейстерша, другъ Термосесова, котораго, по указанію Ахиллы, всѣ подозрѣвали въ доносѣ на Туберозова, могла бы писать этому дѣятелю извѣстія съ тою же эстафетой.

Услыша такое затрудненіе, дьяконъ тотчасъ же взялся все это уладить и объявилъ, что пусть только будетъ готово письмо, а ужъ онъ отвѣчаетъ своею головой, что оно завтра будетъ доставлено по адресу; но способъ, которымъ онъ располагалъ исполнить это, Ахилла удержалъ въ секретѣ и просилъ ничего на этотъ счетъ не выпытывать у него.

Ему въ этомъ не отказали, и дѣло сдѣлалось. Предъ вечеромъ чиновникъ секретно передалъ дьякону ничего не значащее письмо, а черезъ часъ послѣ сумерекъ къ дому отца Захаріи тихо подъѣхалъ верхомъ огромный черный всадникъ и, слегка постучавъ рукой въ окошко, назвалъ «кроткаго попа» по имени.

Захарія отворилъ раму и, увидавъ всадника, спросилъ:

— Это ты такой страшный?

— Тс! Строго блюдите тишину и молчаніе, — отвѣчалъ таинственно всадникъ, смиряя въ шенкеляхъ своего нетерпѣливаго коня.

Захарія оглянулся вправо и влѣво по пустой набережной и прошепталъ.

— Куда же это ты и по какой надобности?

— Не могу вамъ ничего объяснить, потому что слово далъ,—отвѣчалъ таинственно всадникъ:—но только прошу васъ, не ищите меня завтра и не спрашивайте, зачѣмъ я ѣду... Ну, да, хоть слово далъ, а скажу вамъ аллегоріей:

Казакъ на сѣверъ держитъ путь,
Казакъ не хочетъ отдохнуть

и въ шапкѣ у меня —

Доносъ на гетмана злодѣя
Царю Петру отъ Кочубея...

— Поняли?

— Нѣтъ, ничего не понялъ.

— Такъ оно и слѣдуетъ по аллегоріи.

И съ этимъ всадникъ, ударивъ себя кулакомъ въ грудь, добавилъ:

— Но только знайте, отче Захаріе, что это не казакъ ѣдетъ, а это дьяконъ Ахилла, и что сердце мое за его обиду стерпѣть не можетъ, а разума въ головѣ, какъ помочь, нѣтъ.

Проговоривъ это, дьяконъ пустилъ коню повода, стиснулъ его въ колѣняхъ и не поскакалъ, а точно полетѣлъ, махая по темно-синему фону ночного неба своими кудрями, своими необъятными полами и рукавами нанковой рясы, и хвостомъ, и разметистою гривой своего коня.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Николай Аѳанасьевичъ не напрасно ничего не ожидалъ отъ письма, съ которымъ поскакалъ дьяконъ. Ахилла проѣздилъ цѣлую недѣлю и, возвратясь домой съ опущенною

головой и на понуромъ конѣ, отвѣчалъ, что ничего изъ того письма не было, да и ничего быть не могло.

— Отчего это такъ?—пытали Ахиллу.

— Очень просто! Оттого, что отецъ Савелій сами сказали мнѣ: брось эти хлопоты, другъ; для насъ, духовныхъ, нѣтъ защитниковъ. Проси всѣхъ, въ одолженіе мнѣ, не вступаться за меня.

И дьяконъ болѣе не хотѣлъ объ этомъ и говорить.

— Что же,—рѣшилъ онъ,—если уже нѣтъ промежъ насъ ни одного умнаго человѣка, который бы зналъ, какъ его защитить, такъ чего напрасно и суетиться? Надо исполнять его наученіе и не вмѣшиваться.

Ахилла гораздо охотнѣе разсказывалъ, въ какомъ положеніи нашелъ Туберозова и что съ нимъ было въ теченіе этой недѣли. Вотъ что онъ повѣствовалъ:

— Владыка къ нимъ даже вовсе не особенно грозны и даже совсѣмъ не гнѣвливы, и предали ихъ сему терзанію только для одной политики, чтобы не противорѣчить за чиновниковъ свѣтской власти. Для сего единственно и вызовъ отцу Савелію сдѣлали, да-съ! И отецъ Савелій могли бы и совсѣмъ эту вину съ себя сложить и возвратиться, потому что владыка потаенно на ихъ сторонѣ... да-съ! И имъ было отъ владыки даже на другой же день секретно преподано, чтобъ они шли къ господину губернатору и повинились, и извинились, да-съ! Но токмо отецъ Савелій, по крѣпкому нраву своему, отвѣчали строптиво... Не знаю, говоритъ, за собой вины, а потому не имѣю въ чемъ извиняться! Этимъ и владыку ожесточили, да-съ! Но и то ожесточеніе сіе не особенное, потому владыка рѣшеніе консисторское о назначеніи слѣдствія насчетъ проповѣди синимъ херомъ перечеркнули и все тѣмъ негласно успокоили, что назначили отца Савелія къ причетнической при архіерейскомъ домѣ должности,—да-съ!

— И онъ нынѣ причетничествуетъ? — спросилъ Захарія.

— Да-съ; читаетъ часы и пареміи, но обычая своего не

измѣняютъ, и на политичный вопросъ владыки: «въ чемъ ты провинился?» еще политичнѣе, яко бы по непонятливости, отвѣтилъ: «въ этомъ подрясникѣ, ваше преосвященство», и тѣмъ себѣ худшее заслужили, да-съ!

— О-о-охъ!—воскликнулъ Захарія и отчаянно замоталъ головкой, закрывъ ручками уши.

— Наняли у жандармскаго вахмистра въ монастырской слободкѣ желтенькую каморочку за два съ половиной серебра въ мѣсяцъ и ходятъ себѣ съ кувшиномъ на рѣку по воду. Но въ лицѣ и въ позиціи они очень завострились, и наказали, чтобы вы, Наталья Николаевна, къ нимъ всемѣрно спѣшили.

— Ѣду, завтра же ѣду, — отвѣчала плачущая протопопица.

— Да-съ; только и всѣхъ новостей. А этотъ прокуроръ, къ которому было письмо, говоритъ: «скажи, не мое это дѣло, у васъ свое начальство есть», и письма не далъ, а велѣлъ кланяться,—вотъ и возьмите, если хотите, себѣ его поклонъ. И еще велѣлъ всѣмъ вамъ поклониться господинъ Термосесовъ; онъ встрѣтился со мной въ городѣ: катитъ куда-то шибко, и говоритъ: «Ахъ, постой, говоритъ, пожалуста, дьяконъ, здѣсь у воротъ: я тебѣ штучку сейчасъ вынесу: ваша почтмейстерша съ дочерьми мнѣ предъ отъѣздомъ свой альбомъ навязала, чтобъ имъ стихи написать, я его завезъ, да и назадъ переслать не съ кѣмъ. Сдѣлай милость, проситъ, отдай имъ, когда назадъ поѣдешь». Я думаю себѣ: врагъ тебя побери. Давай, говорю, чтобъ отвязаться, и взялъ.

Дьяконъ вынулъ изъ кармана подрясника тощій альбомчикъ изъ разноцвѣтной бумаги и прочиталъ:

На послѣднемъ семъ листочкѣ
Пишемъ вамъ четыре строчки
Въ знакъ почтенія отъ насъ...
Ахъ, не вырвало бы васъ?

— Вотъ его всѣмъ вамъ почтеніе и примите оное, яко дань вамъ благопотребную.

И Ахилла швырнулъ на столъ предъ публикой альбомъ съ почтеніемъ Термосесова, а самъ отправился съ дороги спать на конюшню.

Утромъ рано его разбудилъ карликъ и, сѣвъ возлѣ дьякона на вязанку сѣна, спросилъ:

— Ну-съ, что же теперь, сударь, будемъ далѣе дѣлать?

— Не знаю, Николавра, ей-право, не знаю!

— Или на этомъ будетъ и квита?—язвилъ Николай Аѳанасьичъ.

— Да, вѣдь, голубчикъ Никола... куда же сунешься?

— Куда сунуться-съ?

— Да; куда ты сунешься? ишь всюду волки сидятъ.

— Ну, а я, сударь, старый заяцъ: что мнѣ волковъ бояться? Пусть меня волки съѣдятъ.

Карликъ всталъ и равнодушно протянулъ Ахиллѣ на прощаніе руку, но когда тотъ хотѣлъ его удержать, онъ нетерпѣливо вырвался и, покраснѣвъ, добавилъ:

— Да-съ, сударь! Нехорошо! А еще великанъ!.. Оставьте меня; старый заяцъ волковъ не боится, пускай его съѣдятъ! и съ этимъ Николай Аѳанасьевичъ, крехтя, влѣзъ въ свою большую крытую бричку и уѣхалъ.

Ахилла вышелъ вслѣдъ за нимъ за ворота, но уже брички и видно не было.

Въ этотъ же день дьяконъ выпроводилъ Наталью Николаевну къ мужу и остался одинъ въ опальномъ домѣ.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Изъ умовъ городской интеллигенціи Савелій самымъ успѣшнымъ образомъ былъ вытѣсненъ стихотвореніемъ Термосесова. Послѣдній пассажъ сего послѣдняго и скандальное положеніе, въ которомъ, благодаря ему, очутилась бойкая почтмейстерша и ея дочери, совсѣмъ убрали съ мѣстной сцены стараго протопопа; всѣ были довольны и всѣ помирали со смѣху. О Термосесовѣ говорили, какъ «объ острой бестіи»; о протопопѣ изрѣдка вспоминали, какъ «о скучномъ маньякѣ».

Дни шли за днями; прошелъ мѣсяцъ и наступилъ другой. Городъ пробавлялся новостями, не идущими къ нашему дѣлу; то къ исправнику поступала жалоба отъ нѣкоей дѣвицы на начальника инвалидной команды, капитана Повердо́вню, то Ахилла, сидя на крыльцѣ у станціи, узнавалъ отъ проѣзжающихъ, что чиновникъ князь Борноволоковъ будто бы умеръ «скорописною смертію», а Туберозовъ все пребывалъ въ своей ссылкѣ и друзья его солидно остепенились на томъ, что тутъ «ничего не подѣлаешь». Враги протопопа оказались нѣсколько лучше друзей; по крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ нихъ не забыли его. Въ его спасеніе вступилась, напримѣръ, тонкая почтмейстерша, которая не могла позабыть Термосесову нанесенной ей тяжкой обиды и еще болѣе того не могла простить обществу его злорадства, и вздумала показать этому обществу, что она одна всѣхъ ихъ тоньше, всѣхъ ихъ умнѣе и дальновиднѣе, даже честнѣе.

Къ этому ей ниспосланъ былъ случай, которымъ она и воспользовалась опять не безъ тонкости и не безъ ядовитости. Она задумала ослѣпить общество нестерпимымъ блескомъ и поднять въ его глазахъ авторитетъ свой на небывалую высоту.

Верстахъ въ шести отъ города проводила лѣто въ своей роскошной усадьбѣ петербургская дама, г-жа Мордоконаки. Старый мужъ этой молодой и весьма красивой особы, въ пору своего откупщичества, былъ нѣкогда воспріемникомъ одной изъ дочерей почтмейстерши. Это показалось послѣдней достаточнымъ поводомъ пригласить молодую жену стараго Мордоконаки на именины крестницы ея мужа и при всѣхъ неожиданно возвысить къ ней, какъ къ извѣстной филантропкѣ и покровительницѣ церквей, просьбу за угнетеннаго Туберозова.

Разсчетъ почтмейстерши былъ не совсѣмъ плохъ: молодая и чудовищно богатая петербургская покровительница пользовалась вліяніемъ въ столицѣ и большимъ почетомъ отъ губернскихъ властей. Во всякомъ случаѣ она, еслибы

только захотѣла, могла бы сдѣлать въ пользу наказаннаго протопопа болѣе чѣмъ кто-либо другой. А захочетъ ли она? Но для того-то и будутъ ее просить всѣмъ обществомъ.

Дама эта скучала уединеніемъ и не отказала сдѣлать честь балу почтмейстерши. Ехидная почтмейстерша торжествовала: она болѣе не сомнѣвалась, что поразитъ уѣздную знать своею неожиданною иниціативой въ пользу старика Туберозова,—иниціативой, къ которой всѣ другіе, спохватясь, поневолѣ примкнутъ только въ качествѣ хора, въ роли людей значенія второстепеннаго.

Почтмейстерша таила эту сладкую мысль, но, наконецъ, насталъ и день ея осуществленія.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

День именинъ въ домѣ почтмейстерши начинался, по уѣздному обычаю, утреннею закуской. Встрѣчая гостей, хозяйка ликовала, видя, что у нихъ ни у одного нѣтъ на умѣ ничего серьезнаго, что всѣ заботы объ изгнанномъ старикѣ испарились и позабыты.

Гости нагрянули веселые и радостные; первый пришелъ «уѣздный комендантъ», инвалидный капитанъ Повердовня, глазастый рыжій офицеръ изъ провіантскихъ писарей. Онъ принесъ именинницѣ стихи своего произведенія; за нимъ жаловали дамы, мужчины и, наконецъ, Ахилла дьяконъ.

Ахилла тоже былъ веселъ. Онъ подалъ именинницѣ изъ-подъ полы рясы вынутую просфору и произнесъ:

— Богородичная-съ!

Затѣмъ на порогѣ появился кроткій отецъ Захарія и, раскланиваясь, заговорилъ:

— Господи, благослови! Со днемъ ангела-хранителя!—и тоже подалъ именинницѣ въ двухъ перстахъ точно такую же просфору, какую нѣсколько минутъ назадъ принесъ Ахилла, проговоривъ: — Пріимите богородичную просфору!

Поклонившись всѣмъ, тихій священникъ широко распахнулъ полы своей рясы, сѣлъ, отдулся и произнесъ:

— А долгое-таки нынче служеньице было и на дворѣ очень жарко.

— Очень долго.

— Да-съ; помолились, слава Создателю!

И Захарія, загнувъ на локоть рукавъ новой рясы, принялъ чашку чаю.

Въ эту минуту предъ нимъ, улыбаясь и потирая губы, появился лѣкарь и спросилъ, сколько бываетъ богородичныхъ просфоръ за обѣдней?

— Одна, сударь, одна, отвѣчалъ Захарія. — Одна была пресвятая наша Владычица Богородица, одна и просфора въ честь ея вынимается; да-съ, одна. А тамъ другая въ честь мучениковъ, въ честь апостоловъ, пророковъ...

— Такъ богородичная одна?

— Одна; да-съ, одна.

— А вотъ отецъ дьяконъ говоритъ, что двѣ.

— Вретъ онъ-съ; да-съ, вретъ, съ ласковою улыбкой отвѣчалъ добродушный отецъ Захарія.

Ахилла хотѣлъ отмолчаться, но, видя, что лѣкарь схватилъ его за рукавъ, поспѣшилъ вырваться и пробасилъ:

— Никогда я этого не говорилъ.

— Не говорилъ? А какую же ты просфору принесъ?

— Пѣтую просфору, отвѣчалъ дьяконъ и, нагнувшись подъ столъ, заговорилъ:—Что̀ это мнѣ показалось, будто я трубку здѣсь давеча видѣлъ...

— Съ нимъ это бываетъ, проговорилъ, слабо вторя веселому смѣху лѣкаря, отецъ Захарія. — Онъ у насъ, бываетъ, иногда нѣчто соплететъ; но только онъ это все безъ всякой цѣли; да-съ, онъ безъ цѣли.

Все утреннее угощеніе у именинницы на этотъ разъ предположено было окончить однимъ чаемъ. Почтмейстерша съ довольно изысканною простотой сказала, что у нея вся хлѣбъ-соль готовится къ вечеру, что она днемъ никого не проситъ, но за то постарается, чтобы вечеромъ всѣ были сыты и довольны и чтобы всѣмъ было весело.

И вотъ онъ и насталъ этотъ достославный вечеръ.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

Семейство почтмейстерши встрѣтило важную петербургскую гостью.

Большая, бѣлая, вальяжная Мордоконаки осчастливила собраніе и при ней все какъ бы померкло и омизерилось. Сама Данка Бизюкина смялась въ ея присутствіи. Хозяйка не набирала льстивыхъ словъ, и окружила гостью всѣми интереснѣйшими лицами, наказавъ капитану Повердовнѣ и Варнавѣ Препотенскому занимать гостью всемѣрно. Личности мало-мальски неудобныя къ бесѣдованію были убраны. Эти личности были: голова, имѣвшій привычку употреблять въ разговорѣ поговорку: «въ ротъ-те наплевать»; старый кавказскій маіоръ, по поводу котораго въ городѣ ходила пословица: «глупъ какъ кавказскій маіоръ», и съ ними дьяконъ Ахилла. Эти три лица были искусно спрятаны въ прохладномъ чуланѣ, гдѣ стояли вина и приготовленная закуска. Эти изгнанники сидѣли здѣсь очень уютно при одной свѣчкѣ и нимало не тяготились своимъ удаленіемъ за фронтъ. Напротивъ, имъ было здѣсь очень хорошо. Безъ чиновъ и въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ закуской, они вели самые оживленные разговоры и даже философствовали. Маіоръ добивался, отчего «бываетъ дерзость?», и объяснялъ происхожденіе ея разбалованностью и приводилъ тому разныя доказательства; но Ахилла возражалъ противъ множественности причинъ и говорилъ, что дерзость бываетъ только отъ двухъ причинъ: «отъ гнѣва и еще чаще отъ вина».

Маіоръ подумалъ и согласился, что, дѣйствительно, бываетъ дерзость, которая происходитъ и отъ вина.

— Это вѣрно, я вамъ говорю, пояснилъ дьяконъ и, выпивъ большую рюмку настойки, началъ развивать.—Я вамъ даже и о себѣ скажу. Я во хмѣлю очень прекрасный, потому что у меня ни озорства, ни мыслей скверныхъ никогда нѣтъ; ну, я за то, братцы мои, смерть люблю пья-

пенькій хвастать. Ей-право! И не то, чтобъ я это дѣлалъ изнарочно, а такъ, вѣрно, по природѣ. Начну такое на себя сочинять, что послѣ самъ не надивлюсь, откуда только у меня эта брехня въ то время берется.

Голова и маіоръ засмѣялись.

— Право!—продолжалъ дьяконъ.—Вдругъ начну, напримѣръ, разсказывать, что прихожане ходили ко владыкѣ просить, чтобы меня имъ въ попы поставить, чего даже и самъ не желаю; или въ другой разъ увѣряю, будто губернское купечество меня въ протодьяконы просятъ произвесть; а то... Дьяконъ оглянулся по чулану и прошепталъ:—А то одинъ разъ брякнулъ, что будто я въ юности былъ тайно обрученъ съ консисторскаго секретаря дочерью! То есть, я вамъ говорю, послѣ я себя за это мало не убилъ, какъ мнѣ эту мою продерзость стали разсказывать.

— А вѣдь дойди это до секретаря, вотъ бы сейчасъ и бѣда, замѣтилъ маіоръ.

— Да какъ же-съ, не бѣда! Еще какая бѣда-то! подтвердилъ дьяконъ, и опять пропустилъ настойки.

— Да, я вамъ даже, если на то пошло, такъ еще вотъ что̀ разскажу, продолжалъ онъ, еще понизивъ голосъ. — Я ужъ черезъ эту свою брехню-то разъ подъ такое было дѣло попалъ, что чуть-чуть публичному истязанію себя не подвергъ. Вы этого не слыхали?

— Нѣтъ, не слыхали.

— Какъ же-съ! Ужасное дѣло было; могъ быть повѣшенъ по самому первому пункту въ законѣ.

— Господи!

— Да-съ; да этого еще-съ мало, что голова-то моя на площади бы скатилась, а еще и семь тысячъ триста лѣтъ дьяконъ въ православія день анаѳемой поминалъ бы меня, вмѣстѣ съ Гришкой Отрепьевымъ и Мазепой!

— Не можетъ быть! — воскликнулъ, повернувшись на своемъ мѣстѣ, маіоръ.

— Отчего же такъ не можетъ? Очень просто бы было, еслибъ одинъ добрый человѣкъ не спасъ.

— Такъ вы, отецъ дьяконъ, это разскажите.

— А вотъ сейчасъ выпью водочки и разскажу.

Ахилла еще пропустилъ рюмочку и приступилъ къ продолженію разсказа о своемъ преступленіи по первому пункту.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

— Фортель этотъ, началъ дьяконъ,—оттого зависѣлъ, что предъ пасхой я поѣхалъ въ губернію, моя лошадь, да Серёги дьячка, парой спрягли. Серёга ѣхалъ за ребетенками, а я такъ; даже врагъ меня знаетъ зачѣмъ и поѣхалъ-то? Просто, чтобы съ знакомцами повидаться. Пріѣхали-съ мы такимъ манеромъ подъ самый городъ; а тамъ мостъ снесенъ и паромъ черезъ рѣку ходитъ. Народу ждетъ видимо-невидимо; а въ перевозчицкой избѣ тутъ солдатикъ водкой шинкуетъ. Ну, пока до очереди ждать, мы и зашли, да съ холоду и выпили по двѣ косушечки. А тутъ народу всякаго: и послушники, и извозчики, и солдаты, и приказъ — это ужъ самый вредный народъ, — и нашей тоже братіи духовенства. Знакомцы хорошіе изъ нашей округи тожь нашлись, ну для соблюденія знакомства и еще по двѣ косушечки раздавили. А тутъ приказный, что къ парому отряженъ, и этакій шельма рѣчистый, все насъ заводить началъ. Я говорю: иди братъ, откуда пришелъ; иди, ты намъ не родня. А онъ: «Я, говоритъ, государю моему офицеръ!» Я говорю, я и самъ, братъ, все равно, что штабъ-офицеръ. «Штабъ-офицеръ, онъ говоритъ, попъ, а ты ему подначальный». Я говорю, что у престола Божія точно, что я ниже попа стою по-моему сану, а въ политикѣ, говорю, мы оба равны. Споръ пошелъ. Я разгорячился отъ этихъ самыхъ отъ косушечекъ-то, да и говорю, что, говорю, ты знаешь, строка ты этакая! Ты, я говорю, Божьяго писанія понимать не можешь; у тебя кишокъ въ головѣ нѣтъ. Ты вотъ, говорю, скажи, былъ ли хоть одинъ попъ на престолѣ? «Нѣтъ, говоритъ, не былъ». А, молъ, то-то и есть, что не былъ. А дьяконъ былъ и короною вѣнчался.

«Кто такой? Когда это, говоритъ, было?» То-то молъ и есть *когда*? Я не арихметчикъ и этихъ годовъ въ точности не понимаю, а ты возьми, да въ книгахъ почитай, кто таковъ былъ Григорій Отрепьевъ до своего воцаренія замѣсто Димитрія, вотъ ты тогда и увидишь, чего дьяконы-то стоютъ? «Ну, то, говоритъ, Отрепьевъ; а тебѣ далеко, говоритъ, до Отрепьева». А я это пьяненькій-то и брехни ему:—А почемъ, говорю, ты знать можешь, что далеко? А можетъ быть даже и совсѣмъ очень близко? Тотъ, говорю, на Димитрія былъ похожъ, а я може на какого нибудь тамъ Франца-Венецыяна или Махмуда сдамся въ одно лицо, вотъ тебѣ и воцарюсь! Только что я это проговорилъ, какъ, братцы вы мои, этотъ приказный сдѣлалъ сейчасъ крикъ, шумъ, свидѣтелей, бумаги. Схватили меня, связали, посадили на повозку съ сотскимъ и повезли. Да дай Господи вѣчно доброе здоровье, а по смерти царство небесное жандармскому полковнику, Альберту Казиміровичу, что въ тѣ поры у насъ по тайной полиціи былъ. Призвалъ онъ меня утромъ къ себѣ, жену свою вызвалъ, да и говоритъ: «Посмотри, душечка, на самозванца!» Посмѣялся надо мной, посмѣялся, да и отпустилъ. «Ступай, говоритъ, отецъ Махмудъ, а впередъ косушки-то счетомъ глотай». Дай Богъ ему много лѣтъ! повторилъ еще разъ отецъ дьяконъ и, еще разъ поднявъ рюмочку съ настойкой, добавилъ:—вотъ даже и сейчасъ выпью за его здоровье!

— Ну, это вы избавились отъ большой бѣды, протянулъ маіоръ.

— Да какъ же не отъ большой? Я потому и говорю: полякъ—добрый человѣкъ. Полякъ власти не любитъ, и если что противъ власти—онъ всегда снисходительный.

Около полуночи бесѣда этихъ трехъ отшельниковъ была прервана; настало и ихъ время присоединиться къ обществу: ихъ позвали къ столу.

Когда немножко выпившій и пріосанившійся дьяконъ вошелъ въ залу, гдѣ въ это время стоялъ уже накрытый къ ужину столъ и тѣсно сдвинутые около него стулья, ка-

питанъ Повердовня взялъ Ахиллу за локоть и, отведя его къ столику, у котораго пили водку, сказалъ:

— Ну-ка, дьяконъ, пусти на дамъ хорошаго *глазенапа.*

— Это зачѣмъ?—спросилъ дьяконъ.

— А чтобъ онѣ на тебя вниманіе обратили.

— Ну, да; поди ты! стану я о твоихъ дамахъ думать! Чѣмъ мнѣ, вдовцу, на нихъ смотрѣть, такъ я лучше безъ всякаго грѣха двѣ капли водки выпью.

И, давъ такой отвѣтъ, Ахилла, дѣйствительно, выпилъ, да и всѣ выпили предъ ужиномъ по комплектной чаркѣ. Исключеніе составлялъ одинъ отецъ Захарія, потому что у него яко бы отъ всякаго вина голова кружилась. Какъ его ни упрашивали хоть что-нибудь выпить, онъ на всѣ просьбы отвѣчалъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, освободите! Я ровно, ровно вина никакого не пью.

— Нынче всѣ пьютъ, уговаривали его.

— Дѣйствительно, дѣйствительно такъ, ну, а я не могу.

— Курица и та пьетъ, поддерживалъ подчивавшихъ дьяконъ Ахилла.

— Что-жъ, пускай и курица!... Глупо это довольно, что ты, братецъ, мнѣ курицу представляешь...

— Хуже курицы вы, отецъ, укорялъ Ахилла.

— Не могу! Чего хуже курицы? Не могу!

— Ну, если ужъ вина никакого не можете, такъ хоть хересу для политики выпейте!

Захарія, видя, что отъ него не отстаютъ, вздохнулъ и, принявъ изъ рукъ дьякона рюмку, отвѣтилъ:

— Ну, еще ксересу такъ и быть; позвольте мнѣ ксересу.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Балъ вступалъ въ новую фазу развитія.

Только что всѣ сѣли за столъ, капитанъ Повердовня тотчасъ же успѣлъ встать снова и, обратившись къ петербургской филантропкѣ, зачиталъ:

Привѣтствую тебя, обитатель
Не здѣшняго міра!

Тебя, которую послалъ Создатель,
Поетъ моя лира.
Слети къ намъ съ высотъ голубого эѳира,
Тебя ждетъ здѣсь восторгъ добродушный;
Прикоснись веществамъ сего пира,
Оставь на время міръ воздушный.

Аристократка откупщичьей породы выслушала это стихотвореніе, слегка покраснѣвъ, и взяла изъ рукъ Повердовни листокъ, на которомъ безграмотною писарскою рукой, съ тысячью росчерковъ, были написаны прочитанные стихи.

Хозяйка была въ восторгѣ, но гости ея имѣли каждый свое мнѣніе какъ объ умѣстности стиховъ Повердовни, такъ и объ ихъ относительныхъ достоинствахъ или недостаткахъ. Мнѣнія были различны: исправникъ, ротмистръ Порохонцевъ находилъ, что сказать стихи со стороны капитана Повердовни во всякомъ случаѣ прекрасно и любезно. Препотенскій, напротивъ, полагалъ, что это глупо; а дьяконъ уразумѣлъ такъ, что это просто очень хитро и, сидя рядомъ съ Повердовней, сказалъ капитану на ухо:

— А ты, братъ, я вижу, насчетъ дамъ большой шельма!

Но, какъ бы тамъ ни было, послѣ стиховъ Повердовни, всѣмъ обществомъ за столомъ овладѣла самая неподдѣльная веселость, которой почтмейстерша была уже и не рада. Говоръ не прекращался и не было ни одной паузы, которою хозяйка могла бы воспользоваться, чтобы заговорить о сосланномъ протопопѣ. Между тѣмъ гостья, повидимому, не скучала, и когда заботливая почтмейстерша въ концѣ ужина отнеслась къ ней съ вопросомъ: не скучала ли она? та съ искреннѣйшею веселостью отвѣчала: что она не умѣетъ ее благодарить за удовольствіе, доставленное ей ея гостями, и добавила, что если она можетъ о чемъ нибудь сожалѣть, то это только о томъ, что она такъ поздно познакомилась съ дьякономъ и капитаномъ Повердовней. И госпожа Мордоконаки не преувеличивала; непосредственность Ахиллы и капитана сильно заняли ее. Повердовня, услыхавъ о себѣ такой отзывъ, тотчасъ же въ отвѣтъ на это раскланялся.

Не остался равнодушенъ къ такой похвалѣ и дьяконъ: онъ толкнулъ въ бокъ Препотенскаго и сказалъ ему:

— Видишь, дуракъ, какъ насъ уважаютъ, а о тебѣ ничего.

— Вы сами дуракъ, отвѣчалъ ему шопотомъ недовольный Варнава.

Повердовня же минуту подумалъ, крѣпко взялъ Ахиллу за руку, приподнялся съ нимъ вмѣстѣ и отъ лица обоихъ проговорилъ:

Мы станемъ свято твою память чтить.
Хранить ее на многія и счастливыя лѣта.
Позволь, о свѣтлый духъ, тебя молить:
Да услышана будетъ молитва эта!

И затѣмъ они, покрытые рукоплесканіями, сѣли.

— Вотъ видишь, а ты опять никакихъ и стиховъ не знаешь, укорилъ Варнаву дьяконъ Ахилла; а Повердовня въ эти минуты опять вспрыгнулъ уже и произнесъ, обращаясь къ хозяйкѣ дома:

Матреной ты наречена
И всѣмъ женамъ предпочтена.
Ура!

— Что̀ это за капитанъ! Это совсѣмъ душа общества, похвалила Повердовню хозяйка.

— А ты все ничего!—надоѣдалъ Варнавѣ дьяконъ.

— Давайте всѣ говорить стихи!

— Всѣ! всѣ! Пусть исправникъ начинаетъ!

— А что-жъ такое: я начну!—отвѣчалъ исправникъ.— Безъ церемоніи: кто что можетъ, тотъ и читай.

— Начинайте! Да что-жъ такое, ротмистръ! ей-Богу, начинайте!

Ротмистръ Порохонцевъ всталъ, поднялъ вровень съ лицомъ кубокъ и, посмотрѣвъ сквозь вино на огонь, началъ:

Когда деспотъ отъ власти отрекался,
Желая Русь какъ жертву усыпить,
Чтобы потомъ вѣрнѣй ее сгубить,
Свободы голосъ вдругъ раздался,
И Русь на громкій братскій зовъ

Могла-бъ воспрянуть изъ оковъ.
Тогда какъ тать ночной, боящійся разсвѣта,
Позорно ты бѣжалъ отъ друга и поэта
Взывавшаго: грѣхи жидовъ,
Отступничество уніатовъ,
Всѣ пригрѣшенія сарматовъ
Принять я на душу готовъ,
Лишь только-бъ русскому народу
Могъ возвратить его свободу?
Ура!

— Всѣ читаютъ, а ты ничего!—опять отнесся къ Препотенскому Ахилла.—Это, братъ, ужъ какъ ты хочешь, а если ты пьешь, а ничего не умѣешь сказать, ты не человѣкъ, а больше ничего какъ бурдюкъ съ виномъ.

— Что вы ко мнѣ пристаете съ своимъ бурдюкомъ! Сами вы бурдюкъ,—отвѣчалъ учитель.

— Что-о-о-о?—вскричалъ, обидясь, Ахилла.—Я бурдюкъ?.. И ты это могъ мнѣ такъ смѣло сказать, что я бурдюкъ?!..

— Да, разумѣется, бурдюкъ.

— Что-о-о?

— Вы сами не умѣете ничего прочесть, вотъ что!

— Я не умѣю прочесть? Ахъ ты, глупый человѣкъ! Да я если только захочу, такъ я такое прочитаю, что ты долженъ будешь какъ листъ передъ травой вскочить да на ногахъ слушать!

— Ну, ну, попробуйте, прочитайте.

— Да и прочитаю, и ты теперь кстати сейчасъ можешь видѣть, что у меня, дѣйствительно, верхняя челюсть ходитъ...

И съ этимъ Ахилла всталъ, обвелъ все общество широко раскрытыми глазами и, остановивъ ихъ на стоявшей посреди стола солонкѣ, началъ низкимъ бархатнымъ басомъ отчетистое.

— «Бла-годенствен-н-н-ное и мир-р-рное житіе, здр-р-ра-авіе же и спас-с-сеніе... и во всемъ благ-г-гое поспѣшеніе... на вр-р-раги же поб-б-бѣду и одол-лѣніе...» и т. д. и т. д.

Ахилла все забирался голосомъ выше и выше, лобъ, скулы и виски, и вся верхняя челюсть его широкаго лица все болѣе и болѣе покрывались густымъ багрецомъ и потомъ; глаза его выступали, на щекахъ, возлѣ угловъ губъ, обозначались бѣлыя пятна, и ротъ отверстъ былъ какъ мѣдная труба и оттуда со звономъ, трескомъ и громомъ вылетѣло многолѣтіе, заставившее всѣ неодушевленные предметы въ цѣломъ домѣ задрожать, а одушевленные подняться съ мѣстъ и, не сводя въ изумленіи глазъ съ открытаго рта Ахиллы, тотчасъ, по произнесеніи имъ послѣдняго звука, хватить общимъ хоромъ: «Многая, многая, мно-о-о-огая лѣта, мно-о-о-гая лѣта, многая лѣ-ѣ-та!»

Одинъ Варнава хотѣлъ остаться въ это время при своемъ занятіи и продолжать упитываться, но Ахилла поднялъ его насильно и, держа его за руку, пѣлъ: «многая, многая, мно-о-о-гая лѣта, многая лѣта!»

Городской голова послалъ Ахиллѣ чрезъ сосѣда синюю бумажку.

— Это что же такое?—спросилъ Ахилла.

— *Всей палатѣ.* Хвати «всей палатѣ и воинству», — просилъ голова.

Дьяконъ положилъ ассигнацію въ карманъ и ударилъ:

— «И вс-сей пал-латѣ и в-воинству ихъ, мно-о-ггая лѣттта:»

Это Ахилла сдѣлалъ уже превзойдя самого себя, и за то, когда онъ окончилъ многолѣтіе, то пѣть рискнулъ только одинъ привычный къ его голосу отецъ Захарія, да городской голова: всѣ остальные гости пали на свои мѣста и полулежали на стульяхъ, держась руками за столъ или другъ за друга.

Дьяконъ былъ утѣшенъ.

— У васъ рѣдкій басъ,—сказала ему первая, оправясь отъ испуга, петербургская дама.

— Помилуйте, это вѣдь я не для того, а только чтобы доказать, что я не трусъ и знаю, что прочитать.

— Ишь, ишь!.. А кто же тутъ трусъ? — вмѣшался Захарія.

— Да, во-первыхъ, отецъ Захарія, вы-съ! Вы вѣдь со старшими даже хорошо говорить не можете: заикаетесь.

— Это правда, — подтвердилъ отецъ Захарія, — я предъ старшими въ таковыхъ случаяхъ, точно, заикаюсь. Ну, а ты, а ты? Развѣ старшихъ не боишься?

— Я?.. мнѣ все равно: мнѣ что самъ владыка, что кто простой, все равно. Мнѣ владыка говоритъ: такъ и такъ, братецъ, а я ему тоже: такъ и такъ, ваше преосвященство; только и всего.

— Правда это, отецъ Захарія?—пожелалъ освѣдомиться преслѣдующій дьякона лѣкарь.

— Вретъ,—спокойно отвѣчалъ, не сводя своихъ добрыхъ глазъ съ дьякона, Бенефактовъ.

— И онъ также архіерею въ землю кувыркается?

— Кувыркается-съ.

— Никогда! У меня этого и положенія нѣтъ,—вырубалъ дьяконъ, выдвигаясь всею грудью.—Да мнѣ и невозможно. Мнѣ еслибъ обращать на всѣхъ вниманіе, то я и жизни бы своей былъ не радъ. У меня вотъ и теперь не то что владыка, хоть онъ и преосвященный, а на меня теперь всякій день такое лицо смотритъ, что сто разъ его важнѣе.

— Это ты про меня что ли говоришь?—спросилъ лѣкарь.

— Съ какой стати про тебя? Нѣтъ, не про тебя.

— Такъ про кого же?

— Ты давно ли читалъ новыя газеты?

— А что-жъ тамъ такого писали?—спросила, какъ дитя развеселившаяся, гостья.

— Да по распоряженію самого оберъ-протопресвитера Бажанова посланъ придворный регентъ по всей Россіи для царской пѣвческой басовъ выбирать. Въ генеральскомъ чинѣ онъ и ордена имѣетъ, и даромъ что гражданскій, а ему архіерей все равно, что ничего, потому что, вѣдь, у государя и кучеръ, который на козлахъ ѣздитъ, и тотъ полковникъ. Ну-съ, а приказано ему, этому регенту, идти по-

таенно, въ родѣ какъ простолюдину, чтобы баса при немъ не надюжались, а по волѣ бы онъ могъ ихъ выслушать.

Дьяконъ затруднялся продолжать, но лѣкарь его подогналъ.

— Ну, что-жъ далѣе?

— А далѣе, этотъ царскій регентъ теперь пятую недѣлю въ нашемъ городѣ находится, вотъ что? Я и вижу, какъ онъ въ воскресенье войдетъ въ синей сибиркѣ и межъ мѣщанами и стоитъ, а самъ все меня слушаетъ. Теперь другой на моемъ мѣстѣ что̀ бы долженъ дѣлать? Долженъ бы онъ сейчасъ предъ царскимъ посломъ мелкимъ бѣсомъ разсыпаться, зазвать его къ себѣ, угостить его водочкой, чаемъ попотчивать; вѣдь такъ? А у меня этого нѣтъ. Хоть ты и царскій регентъ, а я, братъ, нѣтъ... шалишь... поступай у меня по закону, а не хочешь по закону, такъ адью, мое почтенье.

— Это онъ все вретъ?—отнесся къ отцу Захаріи лѣкарь.

— Вретъ-съ,—отвѣчалъ, по обыкновенію спокойно, отецъ Захарія. — Онъ немножко выпилъ, такъ отъ него ужъ теперь правды до завтра не услышишь, все будетъ въ мечтаніи хвастать.

— Нѣтъ, это я вѣрно говорю.

— Ну, полно,—перебилъ отецъ Захарія.—Да тебѣ, братецъ, тутъ нечѣмъ и обижаться, когда у тебя такое заведеніе мечтовать по разрѣшеніи на вино.

Ахилла обидѣлся. Ему показалось, что послѣ этого ему не вѣрятъ и въ томъ, что онъ не трусъ, а этого онъ ни за что не могъ снесть, и онъ клялся за свою храбрость и требовалъ турнира, немедленнаго и самаго страшнаго.

— Я всѣмъ хочу доказать, что я всѣхъ здѣсь храбрѣе, и докажу.

— Этимъ, отецъ дьяконъ, не хвалитесь,—сказалъ маіоръ.— Особенно же вы сами сказали, что имѣете слабость... прихвастнуть.

— Ничего, слабость имѣю, а хвалюсь: я всѣхъ здѣсь храбрѣе.

— Не хвалитесь. Иной разъ и на храбреца трусъ на-

ходитъ, а другой разъ трусъ чего и не ждешь надѣлаетъ, да-съ, да-съ, это были такіе примѣры.

— Ничего, подавай.

— Да кого-жъ подавать-съ? Позвольте, я лучше примѣръ представлю.

— Ничего, представляйте.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

— У насъ, какъ я съ Кавказа перевелся, — началъ маіоръ,—былъ полковникъ, превеселый начальникъ и службистъ. Саблю золотую имѣлъ за храбрость. Дѣлали мы Венгерскую кампанію въ сорокъ восьмомъ году. Ночью нужно было охотниковъ послать, а тутъ попойка шла. Полковникъ и говоритъ: «сколько охотниковъ?» Адъютантъ отвѣчаетъ: «сто десять охотниковъ».— «Ого!» говоритъ полковникъ, а самъ въ преферансъ играетъ. «Это, говоритъ, много. Нѣтъ ли между ними трусовъ?» Адъютантъ говоритъ: «нѣту».— «А если есть?»—«Не надѣюсь» говоритъ, «господинъ полковникъ».—«А ну-те-ка, говоритъ, соберете ихъ». Собрали. «Ну-ка, говоритъ полковникъ, попробуемъ. Кто самый храбрый? Кто за старшаго?» Такой-то, Сергѣевъ, тамъ что ли, или Ивановъ. «Позвать, говоритъ его сюда. Ты за старшаго идешь?»—«Я, говоритъ, ваше высокоблагородіе».—«Ты не трусъ?»—«Никакъ нѣтъ, говоритъ, выше высокоблагородіе».—«Не трусъ?»—«Нѣтъ».—«Ну, если не трусъ, потяни меня за усъ». Солдатикъ сталъ да и ни съ мѣста, и оробѣлъ. Кликнули другого, и другой тоже, третьяго, и третій, и пятый, и десятый. Всѣ трусами въ этотъ разъ оказались.

— Ахъ, лукавый его возьми! Вотъ выдумщикъ! — воскликнулъ весело Ахилла.—«Трусъ, потяни меня за усъ!» Ха-ха-ха!.. Это отлично! Капитанъ, пусть, другъ, тебя учитель Варнава за усъ тронетъ.

— Охотно,—отвѣчалъ капитанъ.

Препотенскій отказывался, но его раздражили злыми насмѣшками надъ его трусостью, и онъ согласился.

Ахилла выставилъ на средину комнаты стулъ и капитанъ Повердовня сѣлъ на этотъ стулъ и подперся въ бока по-кавалерійски.

Вокругъ него стали исправникъ, Захарія, голова и маіоръ.

Ахилла помѣстился у самаго плеча Варнавы и наблюдалъ каждое его движеніе.

Учитель пыхтѣлъ, мялся, ежился, и то робко потуплялъ глаза, то вдругъ расширялъ ихъ и, не шевелясь, двигался всѣмъ своимъ существомъ, точно по немъ кверху полозьями ѣздили.

Ахилла, по добротѣ своей, ободрялъ его какъ умѣлъ, говоря:

— Да чего же ты, дурачокъ, испугался? Ты небось: онъ не укуситъ, не робѣй.

И съ этимъ дьяконъ послюнилъ себѣ концы пальцевъ, сердобольно поправилъ ими набѣгавшую на глаза Варнавы косицу и добавилъ:

— Ну, хватай его сразу за усъ!

Варнава тронулся, но дрогнулъ въ колѣняхъ и отступилъ.

— Ну, такъ ты трусъ, сказалъ Ахилла.—А ты бы, дурачокъ, посудилъ: чего ты боишься-то?... Смѣхъ!

Варнава посудилъ и разслабѣлъ еще хуже. А Повердовня сидитъ какъ божокъ и чувствуетъ, что онъ «душа общества» и готовитъ обществу еще новый сюрпризъ.

— Ты трусъ, братецъ, трусъ. Презрѣнный трусъ, понимаешь ли, самый *презрѣнный трусъ*, внушалъ на ухо учителю Ахилла.

— Что-жъ это, нехорошо: гости ждутъ,—замѣчалъ маіоръ.

Препотенскій подумалъ и, указавъ пальцемъ на исправника, сказалъ:

— Позвольте, я лучше Воина Васильича потяну.

— Нѣтъ, ты не его, а меня,—настаивалъ Повердовня и опять засерьезничалъ.

— Трусъ, трусъ!—опять шепчутъ со всѣхъ сторонъ. Варнава это слышитъ и по его лицу выступаетъ холодный потъ, по тѣлу его бѣгутъ мурашки; онъ разнемогается не-

стерпимою, раздражающею немочью робости и въ этой робости даже страшенъ становится.

Прежде всѣхъ это замѣтилъ близко за нимъ наблюдавшій Ахилла. Видя острое сверканіе глазъ учителя, онъ кивалъ исправнику отойти подальше, а Захарію просто взялъ за рукавъ и, оттянувъ назадъ, сказалъ:

— Не стойте около него, отецъ: видите, онъ мечтаетъ.

Варнава началъ выступать. Вотъ онъ дѣлаетъ шагъ, вотъ трепещущая рука труса шевельнулась, отдѣлилась и стала подниматься тихо и медленно, но не къ усамъ капитана, а неукоснительно прямо къ лицу исправника.

Это постоянное стремленіе Варнавиной руки къ исправничьей физіономіи заставило всѣхъ улыбнуться.

— Чортъ его, братцы мои, знаетъ, что́ въ немъ такое дѣйствуетъ! — воскликнулъ Ахилла и, обратясь къ исправнику, еще разъ ему погрозилъ: отойди, молъ, а то, видишь, человѣкъ смущается.

Но въ это же краткое мгновенье Препотенскій, зажмуря глаза, издалеча коснулся усовъ Повердовни: капитанъ на него страшно зарычалъ и неожиданно гавкнулъ по-собачьи. Варнава, не снеся этого, неистово вскрикнулъ и, кинувшись пантерою на исправника, началъ въ безпамятствѣ колотить кого попало.

Это былъ сюрпризъ, какъ никто не ожидалъ, и эффектъ его былъ полнѣйшій. Опрокинутая лампа, пылающій керосинъ, бѣгущіе гости, ужасъ исправника и вопли Варнавы, отбивавшагося въ углу отъ преслѣдующаго его привидѣнія,— все это сдѣлало продолженіе пира невозможнымъ.

Петербургская гостья уѣзжала, а Препотенскій, хорошо знавшій всѣ ходы и переходы почтмейстерскаго помѣщенія, пользуясь минутой проводовъ, бросился коридоромъ въ контору и спрятался тамъ за шкапомъ.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Почтмейстерша, нетерпѣливо расхаживая въ кофтѣ по своей комнатѣ, мысленно отыскивала, кто могъ быть пер-

вымъ виновникомъ совершившагося ужаснаго событія. Кто затѣялъ эту шутку?

— Нѣтъ, еще шутка ничего, — разсуждала она: — а кто пригласилъ Препотенскаго? Да и это не то, а кто меня съ нимъ познакомилъ? Кто же, какъ не муженекъ мой... Приходитъ: вотъ-де, рекомендую тебѣ Варнаву Васильича. Ну, погоди же ты: задамъ я тебѣ Варнаву Васильича! Но только гдѣ же это мой мужъ?—вопросила она, оглядываясь.—Неужто онъ спитъ? Неужто онъ можетъ спать послѣ того, что̀ случилось!... Ну я этого не могу, — рѣшила почтмейстерша, и нетерпѣливо выскочила въ залъ, гдѣ, по обыкновенію, ночевывалъ почтмейстеръ, изгоняемый при домашнихъ счетахъ изъ супружеской опочивальни. Но, къ удивленію хозяйки, мужа ея здѣсь не было.

— А! это онъ отъ меня прячется; онъ теперь храпитъ на диванѣ въ конторѣ... Ну, да не будете же вы храпѣть!— И почтмейстерша пустилась къ конторѣ.

Почтмейстерша почти не ошиблась: мужъ ея, дѣйствительно, спалъ въ конторѣ; но маленькая ошибка съ ея стороны была лишь въ томъ, что почтмейстеръ спалъ не на диванѣ, какъ полагала она, а на столѣ. На диванѣ же спалъ Препотенскій, который послѣ всего, что съ нимъ здѣсь произошло, боялся идти домой, опасаясь, не подкарауливаетъ ли его гдѣ-нибудь за угломъ Ахилла, и уговорилъ почтмейстера дозволить ему переночевать для безопасности. Почтмейстеръ на это согласился тѣмъ охотнѣе, что, видя жену свою въ состояніи крайняго раздраженія, онъ и самъ находилъ выгоды имѣть въ эту пору около себя въ домѣ чужого человѣка, и потому онъ не только не отказалъ Варнавѣ въ ночлегѣ, но даже, какъ любезный хозяинъ, предоставилъ въ его пользованіе стоявшій въ конторѣ диванъ, а самъ легъ на большомъ сортировальномъ столѣ и закрылся съ головой снятымъ съ этого же стола канцелярскимъ сукномъ.

Дверь изъ комнаты въ контору, гдѣ спали почмейстеръ и Препотенскій, была заперта. Это еще болѣе взбѣсило

энергическую даму, ибо, по уставу дома, ни одна изъ его внутреннихъ дверей никогда не должна была запираться отъ ея, хозяйкина, контроля, а въ конторѣ почтмейстерша считала себя такою же хозяйкой, какъ и въ своей спальнѣ. И вдругъ неслыханная дерзость!..

Почтмейстерша вскипѣла. Она еще разъ потрогала дверь, но дверь не отпирается: крючокъ постукиваетъ, но сидитъ въ петлѣ, а между тѣмъ сквозь дверь слышно два дыханія. Два! Можно представить себѣ весь ужасъ, объявшій сердце жены при такомъ внезапномъ открытіи!

Оскорбленная въ своихъ правахъ супруга кинулась назадъ по коридору и, вбѣжавъ въ кухню, бросилась къ столу. Долго она шарила впотьмахъ руками по большому ящику, въ которомъ кишѣлъ рой прусаковъ, и, наконецъ, нашла именно то, что ей здѣсь было нужно.

Это былъ ножъ.

Огромный интересъ, возбуждаемый этою строкой, заставляетъ на ней пріостановиться, чтобы дать читателю приготовиться быть свидѣтелемъ ужаснаго событія.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Животрепещущая дама, вооруженная большимъ кухоннымъ ножемъ, засучивъ правый рукавъ своей кофты, прямо направилась къ двери конторы и еще разъ приложила ухо къ створу. И сомнѣнія никакого не было, что злочастная пара наслаждается сномъ безмятежнымъ: такъ и слышно какъ одинъ, болѣе сильный, субъектъ гудетъ гусакомъ, а другой, нѣжнѣйшій, выпускаетъ придыханіемъ протяжнѣе «пхэ».

Почтмейстерша завела ножъ въ дверной створъ, приподняла крючокъ, и легкая тесовая дверка безъ всякихъ затрудненій тихо скрипнула и отворилась.

Разсвѣтъ еще былъ далеко и въ комнатѣ только чуть видны были едва сѣрѣющія окна, но привычный глазъ различилъ здѣсь и столъ съ почтовыми вѣсками, и другой длинный столъ въ углу, и диванъ.

Держась лѣвою рукой около стѣны, негодующая почтмейстерша направилась прямо къ дивану и, щупая впотьмахъ руками, безъ большихъ затрудненій, отыскала храпуна, который лежалъ на самомъ краю и, немножко свѣсивъ голову, игралъ во всю носовую завертку. Спящій ничего не слыхалъ и, при приближеніи почтмейстерши, храпнулъ даже съ нѣкоторымъ особеннымъ удовольствіемъ, какъ будто чувствовалъ, что всему этому скоро конецъ, что этимъ удовольствіемъ ему уже болѣе сегодня не наслаждаться.

Это такъ и случилось.

Не успѣлъ спящій сдѣлать послѣдней фіоритуры, какъ лѣвая рука почтмейстерши сильно приподняла его за волосы, а правая, выбросивъ ножъ, дала ему нестерпимую оплеуху.

— Ммм... зачѣмъ же! зачѣмъ! — заговорилъ пробужденный храпунъ, но вмѣсто отвѣта получилъ другую пощечину, потомъ третью, пятую, десятую, и всѣ одна другой громче, одна другой сильнѣе и оглушительнѣй.

— Ай, ай, ай, ай!—восклицалъ онъ, уклоняясь отъ сыпавшихся на него изъ непроглядной тьмы затрещинъ, которыя вдругъ смѣнились беззвучною, отчаянною трепкой и поволочкой.

— Мамчикъ! Что ты это, мамчикъ! вѣдь это не я, а Варнава Васильевичъ, воззвалъ вдругъ въ это время со стола разбуженный и испуганный почтмейстеръ.

Почтмейстерша оторопѣла, выпустила изъ рукъ гривку Варнавы и, вскрикнувъ: «Да что же это вы, разбойникъ, со мною дѣлаете!» кинулась къ мужу.

— Да; вотъ это я... это я! — услышалъ Варнава голосъ почтмейстера и, ничего не соображая въ эту минуту, кромѣ необходимости бѣжать, быстро сорвался съ дивана и, отыскавъ выходную дверь, выскочилъ въ одномъ бѣльѣ на улицу.

Онъ былъ избитъ очень серьезно и, обтерши себѣ рукавомъ лицо, замѣтилъ, что у него идетъ изъ носу кровь.

Въ это же время дверь тихо пріотворилась и почтмейстеръ тихо назвалъ Препотенскаго по имени.

— Здѣсь, отвѣчалъ глухо Препотенскій.

— Ваше платье, и извините.

Дверь снова захлопнулась, а на землю упало платье. Учитель сталъ подбирать его. Минуту спустя, къ его ногамъ черезъ заборъ шлепнулись сапоги.

Варнава сѣлъ на землю и надѣлъ сапоги; потомъ вздѣлъ кое-какъ свое одѣяніе и побрелъ къ дому.

На дворѣ начинало немножко свѣтать, а когда Препотенскій постучалъ въ кольцо у калитки своего дома, стало даже и совсѣмъ видно.

— Боже, кто это тебя, Варначокъ, такъ изувѣчилъ?— вскрикнула, встрѣтивъ запоздалаго сына, просвирня.

— Никто-съ, никто меня не изувѣчилъ. Ложитесь спать. Это на меня впотьмахъ что-то накинулось.

— *Накинулось!*

— Ну, да, да, да, впотьмахъ что-то накинулось, и только.

Старушка-просвирня зарыдала.

— Чего вы визжите! Не до васъ мнѣ.

— Это они, они тебя мучатъ!.. заговорила, всхлипывая, старушка. — Да; теперь тебѣ ужъ не жить здѣсь больше, Варнаша.

— Кто они?—вскрикнулъ недовольный Препотенскій.

Старушка указала рукой по направленію къ пустымъ подставкамъ, на которыхъ до недавняго времени висѣлъ скелетъ, и прошептавъ: «мертвецы!» она убѣжала, крестясь, въ свою каморку.

Черезъ день учитель Препотенскій съ отпускомъ и бѣдными грошами въ карманѣ бѣжалъ изъ города, оставивъ причину своего внезапнаго бѣгства для всѣхъ вѣчною загадкой.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Госпожа Мордоконаки возвратилась къ себѣ тоже около того самаго времени, когда доплелся домой изувѣченный Варнава Препотенскій.

Быстрая ѣзда по ровной, крѣпкой дорогѣ имѣла на петербургскую даму то пріятное освѣжающее дѣйствіе, въ которомъ человѣкъ нуждается, проведя долгое время въ шумѣ и говорѣ, при необходимости принимать во всемъ этомъ свою долю участія. Мордоконаки не смѣялась надъ тѣмъ, что̀ она видѣла. Она просто отбыла свой визитъ въ низменныя сферы и уходила отъ нихъ съ тѣмъ самымъ чувствомъ, съ какимъ она уходила съ крестинъ своей экономки, упросившей ее когда-то быть воспріемницей своего ребенка.

Въ этомъ удобномъ состояніи духа она пріѣхала домой, прошла рядъ пустыхъ богатыхъ покоевъ, раздѣлась, легла въ постель и, почувствовавъ, что ей будто холодно, протянула руку къ пледу, который лежалъ свернутый на табуретѣ у ея кровати.

Къ удивленію своему, раскидывая этотъ пледъ, она замѣтила посрединѣ его приколотую булавкой бумажку. Это былъ вчетверо сложенный тонкій, почтовый листокъ.

— Сонная красавица взглянула внимательнѣе на этотъ supplement къ ея пледу, и посреди странныхъ бордюрокъ, сдѣланныхъ по краямъ листка, увидала крупно написанное русскими буквами слово. «*Парольдонеръ*».

«Что̀ бы это могло значить!» подумала она и, выдернувъ булавку, развернула листокъ и прочитала: «Милостивая государыня! Извините меня, что я предъ вами откровенный, потому что военный всегда откровенный. Душевно радуюсь и Бога благодарю, что вы отъѣзжаете устроить къ ночи вашихъ любезныхъ дѣтей. Дай Боже имъ достигнуть такой цѣли, какъ матушка ихняя. Прошу васъ покорнѣйше написать отвѣтъ. Если же вы находите, что Повердовня не заслужилъ расположенія, то удостойте своимъ неземнымъ подчеркомъ, который будетъ оцѣненъ въ душѣ моей.

Неземной я васъ называю
Вы души моей кумиръ,
Вамъ всю душу открываю, —
Въ васъ сокрытъ волшебный міръ.

„Капитанъ Повердовня".

Мордоконаки расхохоталась, еще разъ прочитала посланіе влюбленнаго капитана и, закрывъ серебрянымъ колпачкомъ парафиновую свѣчку, сладко уснула, подумавъ:

«Bon Dien, voilà la véritable Russie!»

## ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Въ тотъ же самый день, когда въ Старомъ Городѣ, такимъ образомъ, веселились, далеко, въ желтой каморкѣ ссыльнаго протопопа шла сцена другого рода. Тамъ умирала Наталья Николаевна.

По своей аккуратности и бережливости, протопопица все время своего пребыванія при мужѣ въ его ссылкѣ обходилась безъ прислуги и брала на себя труды, вовсе ей непривычные и непосильные. Добравшись до послѣдней двадцати-пяти-рублевой ассигнаціи въ своей коробкѣ, она испугалась, что у нихъ скоро не будетъ ни гроша, и рѣшила просить своего хозяина, жандарма, подождать на нихъ за квартиру, пока выйдетъ имъ прощеніе. Жандармъ на это согласился, и Наталья Николаевна тщательно скрывала все это отъ мужа, искала всѣми мѣрами отслужить чѣмъ-нибудь своему хозяину: она копала съ его работницей картофель, рубила капусту и ходила сама со своимъ бѣльемъ на рѣку.

Ея годы и ея плохое здоровье этого не вынесли, и она заболѣла и слегла.

Протопопъ осуждалъ ея хлопотливость и заботливость.

— Ты думаешь, что ты помогаешь мнѣ, говорилъ онъ,— а я когда узналъ, что ты дѣлала, такъ... ты усугубила муки мои.

— Прости, прошептала Наталья Николаевна.

— Что прости? Ты меня прости, отвѣчалъ протопопъ и съ жаромъ взялъ и поцѣловалъ женину руку.—Я истерзалъ тебя моею непокорною нравностью, но хочешь... скажи одно слово, и я сейчасъ пойду покорюсь для тебя...

— Что ты, что ты! Никогда я не скажу этого слова! Тебя ли мнѣ учить, ты все знаешь, что̀ къ чему устрояешь!

— Къ чести моей, другъ, все сіе переношу.

— И Боже тебѣ помогай, а обо мнѣ не думай.

Протопопъ опять поцѣловалъ женины руки и пошелъ дьячить, а Наталья Николаевна свернулась калачикомъ и заснула, и ей привидѣлся сонъ, что вошелъ будто къ ней дьяконъ Ахилла и говоритъ: «что же вы не помолитесь, чтобъ отцу Савелію легче было страждовать?»—«А какъ же, спрашиваетъ Наталья Николаевна, поучи, какъ это произнести?»—«А вотъ, говоритъ Ахилла, что произносите: Господи, ими же вѣси путями спаси!» — «Господи, ими же вѣси путями спаси!» благоговѣйно проговорила Наталья Николаевна, и вдругъ почувствовала, какъ будто дьяконъ ее взялъ и внесъ въ алтарь, и алтарь тотъ огромный-преогромный: столбы—и конца имъ не видно, а престолъ до самаго неба и весь сіяетъ яркими огнями, а назади, откуда они уходили,—все будто крошечное, столь крошечное, что даже смѣшно бы, если бы не та тревога, что она женщина, а дьяконъ ее въ алтарь внесъ. «Въ умѣ ли ты, дьяконъ!» говоритъ она Ахиллѣ, — «тебя сана лишатъ, что ты женщину въ алтарь внесъ». А онъ отвѣчаетъ: «вы не женщина, а вы *сила!*» и съ этимъ не стало ни Ахиллы, ни престола, ни сіянія, и Наталья Николаевна не спитъ, а удивляется, отчего же это все вокругъ нея остается такое маленькое: вонъ самоваръ не какъ самоваръ, а какъ будто игрушка, а на немъ на конфорочкѣ яичная скорлупочка вмѣсто чайника...

Въ это время вернулся изъ монастыря Туберозовъ и что-то ласково заговорилъ, но Наталья Николаевна такъ и замахала ему руками.

— Тише, говоритъ, тише: вѣдь я скоро умру.

Протопопъ удивился.

— Что ты, Наташа, Богъ съ тобой!

— Нѣтъ, умру, дружокъ, умру: я уже вполовину умерла.

— Кто же тебѣ это сказалъ?

— Какъ кто сказалъ? Я ужъ все вполовину вижу.

Пришелъ лѣкарь, пощупалъ пульсъ, посмотрѣлъ языкъ и говоритъ: «Ничего, простуда и усталость».

Туберозовъ хотѣлъ сказать, что больная все вполовину видитъ, да посовѣстился.

— Что-жъ, отлично, что ты ему не сказалъ, отвѣчала на его слова объ этомъ Наталья Николаевна.

— А ты все видишь вполовину?

— Да, вполовину; вонъ вѣдь это на небѣ, должно-быть, мѣсяцъ?

— Мѣсяцъ въ окно на насъ съ тобой, на старыхъ, смотритъ.

— А я вижу точно рыбій глазокъ.

— Тебѣ это все кажется, Наташа.

— Нѣтъ, это, отецъ Савелій, вѣрно такъ.

Туберозовъ, желая разубѣдить жену, показалъ ей вынутую изъ коробки завѣтную двадцати-пяти-рублевую ассигнацію и спросилъ:

— Ну, скажи: а это что такое?

— Двѣнадцать съ полтиной, кротко отвѣчала Наталья Николаевна.

Туберозовъ испугался: что это за причта непонятная, а Наталья Николаевна улыбнулась, взяла его за руку и, закрывъ глаза, прошептала:

— Ты шутишь и я шучу: я видѣла, это наша бумажка; все маленькое... а вотъ зажмурюсь, и сейчасъ все станетъ большое, пребольшое-большое. Всѣ возрастаютъ: и ты, и Николай Аѳанасьевичъ, дружокъ, и дьяконочекъ Ахилла... и отецъ Захарія... Славно мнѣ, славно, не будите меня!

И Наталья Николаевна заснула навѣки.

---

# Часть пятая.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Карликъ Николай Аѳанасьевичъ не одинъ былъ пораженъ страшнымъ спокойствіемъ лица и дрогающею головой Туберозова, который медленно ступалъ по глубокой слякоти немощеныхъ улицъ за гробомъ своей усопшей жены Натальи Николаевны. Въ большихъ и молчаливыхъ скорбяхъ человѣка съ глубокою натурой есть несомнѣнно всѣми чувствуемая неотразимая сила, внушающая страхъ и наводящая ужасъ на натуры маленькія, обыкшія изливать свои скорби въ вопляхъ и стенаніяхъ. То чувствовали теперь и люди, которымъ было какое-нибудь дѣло до осиротѣлаго старика, лишеннаго своей вѣрной подруги. Когда могильная земля застучала по крышкѣ гроба Натальи Николаевны и запрещенный протопопъ обернулся, чтобы сойти съ высокаго отвала, всѣ окружавшіе его попятились и, разступясь, дали ему дорогу, которую онъ и прошелъ одинъ-одинешенекъ съ обнаженною головой черезъ все кладбище.

У воротъ онъ остановился, помолился на образъ въ часовнѣ и, надѣвъ свою шляпу, еще разъ оглянулся назадъ и изумился: предъ нимъ стоялъ карликъ Николай Аѳанасьевичъ, слѣдовавшій за нимъ отъ самой могилы въ двухъ шагахъ разстоянія.

На серьезномъ лицѣ протопопа выразилось удовольствіе: онъ, очевидно, былъ радъ встрѣчѣ со «старою сказкой» въ

такую тяжелую минуту своей жизни и, отворотясь въ сторону къ черным полямъ, покрытымъ замерзшею и свернувшеюся озимою зеленью, уронилъ изъ глазъ тяжелую слезу—слезу одинокую и быструю какъ капля ртути, которая, какъ сиротка въ лѣсу, спряталась въ его сѣдой бородѣ.

Карликъ видѣлъ эту слезу и, понявъ ее во всемъ ея значеніи, тихонько перекрестился. Эта слеза облегчила грудь Савелія, которая становилась тѣсною для сжатаго въ ней горя. Онъ мощно дунулъ предъ собою и, въ отвѣтъ на приглашеніе карлика сѣсть въ его бричку, отвѣчалъ:

— Да, Николаша, хорошо, я сяду.

Они ѣхали молча, и когда бричка остановилась у жандармской хибары въ монастырской слободкѣ, Туберозовъ молча пожалъ руку карла и молча пошелъ къ себѣ.

Николай Аѳанасьевичъ не слѣдовалъ за нимъ, потому что онъ видѣлъ и понималъ желаніе Туберозова быть съ самимъ собою. Онъ навѣстилъ вдовца только вечеромъ и, посидѣвъ немного, попросилъ чайку, подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ будто озябъ, хотя главною его цѣлію тутъ была попытка отвлечь Савелія отъ его горя и завести съ нимъ бесѣду о томъ, для чего онъ, Николай Аѳанасьевичъ, пріѣхалъ. Планъ этотъ удался Николаю Аѳанасьевичу какъ нельзя лучше, и когда Туберозовъ, внося къ себѣ въ коммату кипящій самоваръ, началъ собирать изъ поставца чашки и готовить чай, карликъ завелъ издалека тихую рѣчь о томъ, что̀ до нихъ въ городѣ происходило, и велъ этотъ разсказъ шагъ за шагъ, день за день, какъ разъ до самаго того часа, въ который онъ сидитъ теперь здѣсь, въ этой лачужкѣ. Въ разсказѣ этомъ, разумѣется, главнымъ образомъ получили большое мѣсто сѣтованія города о несчастьяхъ протопопа; печаль о его отсутствіи и боязнь, какъ бы не пришлось его вовсе лишиться.

Протопопъ, слушавшій начало этихъ рѣчей Николая Аѳанасьевича въ серьезномъ, почти близкомъ къ безучастію покоѣ, при послѣдней части разсказа, касающейся отно-

шеній къ нему прихода, вдругъ усилилъ вниманіе, и когда карликъ, оглянувшись по сторонамъ и понизивъ голосъ, сталъ разсказывать, какъ они написали и подписали мірскую просьбу, и какъ онъ, Николай Аѳанасьевичъ, взялъ ее изъ рукъ Ахиллы и «скрылъ на своей груди», старикъ вдругъ задергалъ судорожно нижнею губой и произнесъ:

— Добрый народъ, спасибо.

— Онъ, нашъ народъ добрый, батушка, и даже очень добрый, но только онъ пока еще не знаетъ, какъ ему за что взяться, отвѣчалъ карликъ.

— Тьма, тьма надъ бездною... но Духъ Божій поверхъ всего, проговорилъ протопопъ и, вздохнувъ изъ глубины груди, попросилъ себѣ бумагу, о которой шла рѣчь.

— А зачѣмъ она вамъ, государь, отецъ протопопъ, эта бумага?—вопрошалъ съ лукавою улыбкой карликъ.—Она кому надписана, тому и будетъ завтра подана.

— Дай мнѣ... я хочу на нее посмотрѣть.

Карликъ сталъ разстегивать свои одежды, чтобы докопаться до лежащей на его груди сумы, но вдругъ что-то вспомнилъ и остановился.

— Дай же, дай!—попросилъ Савелій.

— А вы, батушка... ее не того... не изорвете?

— Нѣтъ, твердо сказалъ Туберозовъ, и когда карла досталъ и подалъ ему листы, усѣянные бисерными и вершковыми, четкими и нечеткими подписями, Савелій благоговѣйно зашепталъ:

— Изорвать... изорвать сію драгоцѣнность! Нѣтъ! нѣтъ! съ нею въ темницу; съ нею на крестъ; съ нею во гробъ меня положите!

И онъ, къ немалому трепету карлика, началъ проворно свертывать эту бумагу и положилъ ее на грудь себѣ подъ подрясникъ.

— Позвольте же, батушка, это вѣдь надо подать!

— Нѣтъ, не надо!

Туберозовъ покачалъ головой и, помахавъ отрицательно пальцемъ, подтвердилъ:

— Нѣтъ, Никола, не надо, не надо.

И съ этимъ онъ еще рѣшительнѣе запряталъ на грудь просьбу и, затянувъ поясъ подрясника, застегнулъ на крючки воротникъ.

Отнять у него эту просьбу не было теперь никакой возможности: смѣло можно было ручаться, что онъ скорѣе разстанется съ жизнію, чѣмъ съ листомъ этихъ драгоцѣнныхъ каракуль «міра».

Карликъ видѣлъ это и не спѣша заигралъ на собственныхъ нотахъ Савелія. Николай Аѳанасьичъ заговорилъ, какъ велико и отрадно значеніе этого мірского заступничества, и затѣмъ перешелъ къ тому, какъ свята и ненарушима должна быть для каждаго воля мірская.

— Они, батушка, отецъ протопопъ, въ горести плачутъ, что васъ не увидятъ.

— Все равно, сего не минетъ, вздохнулъ протопопъ,— немного мнѣ жить; дни мои всѣ сочтены уже вмалѣ.

— Но я-то, батушка, я-то, отецъ протопопъ· міръ что̀ мнѣ довѣрилъ и съ чѣмъ я міру явлюсь?

Туберозовъ тронулся съ мѣста и, обойдя нѣсколько разъ вокругъ своей маленькой каморки, остановился въ углѣ предъ иконой, досталъ съ груди бумагу и, поцѣловавъ ее еще разъ, возвратилъ карлику со словами:

— Ты правъ, мой милый другъ, дѣлай, что велѣлъ тебѣ міръ.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Николай Аѳанасьевичъ имѣлъ много хлопотъ, исполняя возложенное на него порученіе, но дѣйствовалъ рачительно и неотступно. Этотъ маленькій посланецъ большого міра не охладѣвалъ и не горячился, но какъ клещъ впивался въ кого ему было нужно для полученія успѣха, и не отставалъ. Савелія онъ навѣщалъ каждый вечеръ, но не говорилъ ему ничего о своихъ дневныхъ хлопотахъ; тотъ, разумѣется, ни о чемъ не спрашивалъ. А между тѣмъ дѣло настолько подвинулось, что въ девятый день по смерти Натальи Ни-

колаевны, когда протопопъ вернулся съ кладбища, карликъ сказалъ ему:

— Ну-съ, батушка, отецъ протопопъ, ѣдемте, сударь, домой: васъ отпускаютъ.

— Буди воля Господня о мнѣ, — отвѣчалъ равнодушно Туберозовъ.

— Только они требуютъ отъ васъ одного, — продолжалъ карликъ, — чтобы вы подали обязательную записку, что впредь сего не совершите.

— Хорошо; не совершу... именно не совершу, поелику... слабъ я и ни на что больше не годенъ.

— Дадите таковую подписку?

— Дамъ, согласенъ... дамъ.

— И еще прежде того просятъ... чтобы вы принесли покаяніе и попросили прощенія.

— Въ чемъ?

— Въ дерзости... То-есть это они такъ говорятъ, что «въ дерзости».

— Въ дерзости? Я никогда не былъ дерзокъ и другихъ, по мѣрѣ силъ моихъ, отъ того воздерживалъ, а потому каяться въ томъ, чего не сдѣлалъ, не могу.

— Они такъ говорятъ и называютъ.

— Скажи же имъ, что я предерзостнымъ себя не признаю.

Туберозовъ остановился и, поднявъ вверхъ указательный палецъ правой руки, воскликнулъ:

— Не нареченъ былъ дерзостнымъ пророкъ за то, что онъ, ревнуя, поревновалъ о Вседержителѣ. Скажи же имъ: такъ вамъ велѣлъ сказать вашъ подначальный попъ, что онъ ревнивъ и такъ умретъ такимъ, какимъ рожденъ ревнивцемъ. А болѣе со мной не говори ни слова о прощеніи.

Ходатай отошелъ съ такимъ рѣшительнымъ отвѣтомъ и снова ѣздилъ и ходилъ, просилъ, молилъ и даже угрожалъ судомъ людскимъ и Божіимъ судомъ, но всуе дребезжалъ его слабѣющій языкъ.

Карликъ заболѣлъ и слегъ; неодолимость дѣла, за ко-

торое взялся этотъ оригинальный адвокатъ, сломила и его силу, и его терпѣніе.

Роли стариковъ перемѣнились, и какъ до сихъ поръ Николай Аѳанасьевичъ ежедневно навѣщалъ Туберозова, такъ теперь Савелій, напиливъ урочныя дрова и отстоявъ въ монастырѣ вечерню, ходилъ въ большой плодомасовскій домъ, гдѣ лежалъ въ одномъ укромномъ покойчикѣ разболѣвшійся карликъ.

Савелію былъ безмѣрно жаль Николая Аѳанасьевича, и онъ скорбѣлъ за него и, вздыхая, говорилъ:

— Сего лишь единственно ко всему бывшему недоставало, чтобы ты за меня перемучился.

— Батушка, отецъ протопопъ, что тутъ обо мнѣ, старомъ зайцѣ, разговаривать? На что ужъ я годенъ? Нѣтъ, вы о себѣ-то и о нихъ-то, о своемъ первосвященникѣ, извольте попечалиться; вѣдь они *просятъ* васъ покориться! Утѣшьте ихъ: попросите прощенія!

— Не могу, Николай, не могу!

— Усиленно, отецъ протопопъ, просятъ! Вѣдь они только по начальственному высокомѣрію объ этомъ говорить не могутъ, а имъ очень васъ жаль и непріятно, что весь городъ за васъ поднялся... Нехорошо имъ тоже всѣмъ отказывать, не откажите жъ и вы имъ въ нисхожденіи, утѣшьте просьбой.

— Не могу, Николай, не могу! Прощеніе не потѣха.

— Смиритесь!

— Я предъ властью смиренъ, а что̀ есть превыше земной власти, то надо мною властнѣе... Я человѣкъ подзаконный. Сирахъ вмѣнилъ въ обязанности намъ пещись о чести имени, а первоверховный Павелъ протестовалъ противъ попранья правъ его гражданства; не въ правѣ я себя унизить ради просьбы.

Карликъ былъ въ отчаяніи. Подзаконный протопопъ не подавалъ ни малѣйшей надежды ни на какую уступку. Онъ, какъ сталъ на своемъ, такъ и не двигался ни впередъ, ни назадъ, ни направо, ни налѣво.

Николай Аѳанасьевичъ не одобрялъ уже за это отца Савелія, и хотя не относилъ его поведенія къ гордости или къ задору, но видѣлъ въ немъ непохвальное упрямство и, осуждая протопопа, рѣшился еще разъ сказать ему:

— Вѣдь нельзя же, батушка, отецъ Савелій, вѣдь нельзя же-съ и начальства не пожалѣть, вѣдь надо же... надо же имъ хоть какой-нибудь реваншикъ предоставить. Какъ изъ этого выйти?

— А ужъ это ихъ дѣло.

— Ну, значитъ, вы къ нимъ человѣкъ безъ сожалѣнія.

— О, друже, нѣтъ; я его, сіе скорбное начальство наше, очень сожалѣю!—отвѣчалъ, вздохнувъ, протопопъ.

— Ну, такъ и поступитесь маленечко своимъ обычаемъ: повинитесь.

— Не могу, законъ не позволяетъ.

Карликъ мысленно положилъ отречься отъ всякой надежды чего-нибудь достичь и сталъ собираться назадъ въ свой городъ. Савелій ему ничего не возражалъ, а напротивъ, даже совѣтовалъ уѣхать и ничего не наказывалъ, что̀ тамъ сказать или отвѣтить. До послѣдней минуты, даже провожая карлика изъ города за заставу, онъ все-таки не поступился ни на іоту и, поворотивъ съ знакомой дороги назадъ въ городъ, побрелъ пилить дрова на монастырскій дворъ.

Горе Николая Аѳанасьевича не знало мѣры и предѣловъ. Совсѣмъ не такъ онъ думалъ возвращаться, какъ довелось, и зато онъ теперь ѣхалъ все вертясь въ своихъ соображеніяхъ на одномъ и томъ же предметѣ, и вдругъ его посѣтила мысль,—простая, ясная, спасительная и блестящая мысль, какія рѣдко ниспосылаются и обыкновенно приходятъ вдругъ,—именно какъ бы откуда-то свыше, а не изъ насъ самихъ.

Карликъ съ десятой версты повернулъ въ городъ и, явясь къ начальству Савелія, умолялъ *приказать* протопопу повиниться.

Начальство, въ самомъ дѣлѣ, давно не радо было, что

зацѣпило упрямаго старика, и карликъ, получивъ то, чего желалъ, внезапно предсталъ снова Туберозову и сказалъ:

— Ну-съ, государь мой, гордый отецъ протопопъ, не желали вы сдаваться на просьбу, такъ теперь довели себи до того, что должны оказать повиновеніе строгости: мнѣ приказано вамъ сказать, что вамъ властію повелѣваютъ извиниться.

— Гдѣ же они повелѣваютъ мнѣ стать предъ ними на колѣни: здѣсь, или на площади, или во храмѣ?—сухо спросилъ Туберозовъ.—Мнѣ все равно: по повелѣнію я все исполню.

Карликъ отвѣчалъ ему, что никто отъ него никакого униженія не требуетъ и что ему достаточно написать требуемое прошеніе на бумагѣ.

Туберозовъ тотчасъ же взялъ и написалъ кому и что слѣдовало, обозначивъ эту бумагу: «Требованное всепокорнѣйшее прошеніе». Карликъ замѣтилъ, что слово «требованное» здѣсь совершенно неумѣстно, но Савелій это рѣшительно отвергъ и сказалъ:

— Ну, ужъ, надѣюсь, что тебѣ меня логикѣ не повелѣно учить; я ей въ семинаріи наученъ: ты сказалъ, что отъ меня требуютъ, я и пишу «требованное».

Кончилось это для отца Савелія тѣмъ, что, наскучивъ съ нимъ возиться, его отпустили, но за то, что всепокорнѣйшее прошеніе его было въ то же время прошеніе «требованное», на немъ послѣдовала надпись, въ силу которой упорный старикъ за эту «требованность» оставляемъ еще на полгода подъ запрещеніемъ.

Савелій этимъ нисколько не смутился и, поблагодаривъ всѣхъ, кого считалъ нужнымъ благодарить, выѣхалъ съ карликомъ домой послѣ долгой и тягостной ссылки своей.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Во время дороги они мало разговаривали, и то заводилъ рѣчи только Николай Аѳанасьевичъ. Стараясь развлечь и разсѣять протопопа, сидѣвшаго въ молчаніи со сложенными

на колѣняхъ руками въ старыхъ замшевыхъ перчаткахъ, онъ заговаривалъ и про то, и про другое, но Туберозовъ молчалъ или отзывался самыми краткими словами. Карликъ разсказывалъ, какъ скучалъ и плакалъ по Туберозовѣ его приходъ, какъ почтмейстерша, желая избить своего мужа, избила Препотенскаго, какъ учитель бѣжалъ изъ города, гонимый Бизюкиной,—старикъ все отмалчивался.

Николай Аѳанасьевичъ заговорилъ о домикѣ Туберозова, что онъ опускается и требуетъ поправки.

Протопопъ вздохнулъ и сказалъ:

— Уже все это отнынѣ для меня прахъ, и я гнушаюсь, что былъ къ тому привязанъ.

Карликъ повернулъ на то, что вотъ Ахилла все находитъ себѣ утѣшеніе и, скучая безмѣрно, взялъ къ себѣ въ домъ изъ-подъ кручи слѣпого щеночка и имъ забавляется.

— Добро ему: пусть тѣшится, прошепталъ протопопъ.

Николай Аѳанасьевичъ оживился.

— Да-съ; началъ онъ,—и скажу вамъ, батушка, сколько же съ ними чрезъ эту собачку, по ихъ характеру, произошло самыхъ дивныхъ исторій. Выучили они эту собачку, какъ и прежнихъ, смѣяться; скажутъ: «засмѣйся, собачка»,— она и скалитъ зубенки; но впала имъ въ голову мысль, какъ ее назвать?

— Ну не все ли будто равно псу, какъ его называютъ?— отозвался нехотя протопопъ.

Карликъ замѣтилъ, что разсказы объ Ахиллѣ спутникъ его слушалъ не такъ равнодушно, и пошелъ далѣе.

— Да-съ; ну, вотъ подите же! А по отца дьякона характеру, видите, не все равно: что̀ сѣло имъ въ голову, то ужъ имъ вынь да положь. «Я, говорятъ, этого песика по особенному случаю растревоженный домой принесъ, и хочу, чтобъ онъ въ означеніе сего случая такимъ особеннымъ именемъ назывался, какихъ и нѣтъ».

Протопопъ улыбнулся.

— Ну-съ, вотъ и пріѣзжаетъ онъ, отецъ Ахилла, такимъ манеромъ ко мнѣ въ Плодомасово верхомъ и стано-

вится на конѣ супротивъ нашихъ съ сестрицей окошекъ, и зычно кричитъ: «Николаша! а Николаша!» Я думаю: Господи, что такое? Высунулся въ форточку, да и говорю:—ужъ не съ отцомъ ли Савеліемъ еще что худшее, отецъ дьяконъ, приключилось?—«Нѣтъ, говоритъ, не то, а я нужное дѣло къ тебѣ, Николаша, имѣю. Я къ тебѣ за совѣтомъ пріѣхалъ».

— Такъ пожалуйте же, молъ, въ комнаты,—не казаки же мы съ вами сторожевые, чтобы намъ перекликаться одному съ коня, а другому съ вышки. Такъ вѣдь куда тебѣ!—не хочетъ: «мнѣ, говоритъ, некогда, да я и не одинъ».

— Въ чемъ же, кричу, дѣло-то? Говорите скорѣе, сударь, а то мнѣ въ форточкѣ холодно, я человѣкъ зябкій.— «А ты, говоритъ, сызмальства по господскимъ домамъ живешь, такъ долженъ ты всѣ собачьи имена знать». Ну какъ, молъ, можно всѣ ихъ имена знать; мало ли гдѣ какъ собакъ называютъ.—«Ну, кричитъ, скорѣй пересчитывай!»— Я имъ и называю, что вѣдь названія, молъ, даются все больше по породамъ, что̀ какой прилично: борзыя почаще все «Милорды», а то изъ нашихъ простыхъ, которыя красивѣй, «Барбосы» есть, изъ аглицкихъ «Фани», изъ курляндскихъ «Шарлотки», французскихъ называютъ и «Жужу» и «Бижу»; испанскія «Карло» или «Катанья», или еще какъ нибудь; нѣмецкія «Шпицъ»... Но отецъ дьяконъ меня на этомъ перебиваютъ: «Нѣтъ, ты, говоритъ, скажи мнѣ такое имя, чтобы ни у кого такого не было. Ты, изволятъ настаивать, долженъ это знать!» Какъ, думаю, ихъ успокоить?

— Ну и какъ же ты его успокоилъ?—полюбопытствовалъ Туберозовъ.

— Да я, батушка, что же, я въ ту пору сталъ очень въ форточкѣ-то зябнуть и, чтобы поскорѣе отдѣлаться, говорю: знаю я сударь, еще одну кличку, да только сказать вамъ ее опасаюсь.—«Нѣтъ, ничего, кричитъ, ничего, говори». Звали, молъ, у одного барина собаку *Каквасъ*. А отецъ Ахилла-то вдругъ и засмутились.—«Что ты это за вздоръ, говорятъ, мелешь: или ты съ ума сошелъ?» Нѣтъ, молъ, я

съ ума не сходилъ, а я точно знаю, что въ Москвѣ у одного князя собаку звали *Каквасъ*. Ахилла Андреичъ вдругъ какъ вскипятъ, разгнѣвались и начали лошадь шпорить и къ стѣнѣ подскакиваютъ, а сами кричатъ: «Развѣ тебѣ, безстыдникъ ты этакій старый, можно это на меня сказать? Развѣ ты не знаешь, что мое имя крещеное и я священнослужитель?» Насилу ихъ, батушка, успокоилъ и растолковалъ имъ, что̀ это такое *Каквасъ*. Ну, тутъ ужъ зато они взыграли на конѣ и, вынувъ изъ-за пазухи изъ полушубка того щеночка, закричали: «Здравствуй *Каквасинька*!» и понеслись радостные назадъ.

— Дитя великовозрастное, проговорилъ улыбнувшись Савелій.

— Да-съ, все бы имъ шутки.

— Не осуждай его: чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь бы не плакало; тяжело ему ношу, сонную дрему, весть, когда въ немъ въ одномъ тысяча жизней горитъ.

— Именно-съ. Я и не знаю, какъ ему умирать?

— Я и самъ этого не знаю, пошутилъ протопопъ,—онъ есть само отрицаніе смерти. Ну, а что же съ этимъ *Каквасомъ?*

— А что вы изволите полагать, съ нимъ идетъ бѣда по сю пору, да и нельзя безъ нея. Отецъ дьяконъ какія же привычки себѣ изволили выдумать? Какъ только имъ дѣлается по васъ очень скучно, они въ ту пору возьмутъ своего *Какваску* на руки и идутъ къ почтовой станціи, сядутъ на крылечко и ждутъ. Чуть какой-нибудь важный проѣзжій или дама какая останавливаются, а они сейчасъ: «засмѣйся, собачка», та и смѣется, каналья, а проѣзжимъ любопытство; спрашиваютъ: «батушка, какъ эту собачку звать?» А они: я, говоритъ, не батушка, а дьяконъ,—моего батушку собаки съѣли. А спросятъ: «ну, а какъ же вашу собачку звать?»—«А собачку, отвѣчаютъ, зовутъ *Каквасъ*». И ссоры онъ изъ-за этого затѣваетъ постоянныя и все говоритъ: я ихъ теперь, говоритъ, всѣхъ этакъ постоянно въ глаза буду собаками звать, и самъ мировой

судья мнѣ ни лысаго бѣса не сдѣлаетъ. И все это за васъ, отецъ Савелій, мститъ, а въ какомъ соображеніи мститъ— того не разсуждаетъ. А вотъ отцу Захаріи за него вышла непріятность: у нихъ эту собачку благочинный увидали, да спросили какъ звать; а отецъ Захарія говоритъ: «Зовутъ *Каквасъ*, ваше преподобіе», и получили выговоръ.

Савелій разсмѣялся до слезъ и, обтершись платкомъ, проговорилъ:

— Безцѣнный сей прямодушный Захарія. Сосудъ Господень и молитвенникъ, какого другого я не видывалъ. Жажду обнять его.

Предъ путешественниками вдругъ съ горы открылся родной городъ,—городъ древній, характерный и полный для Туберозова воспоминаній, подъ мгновеннымъ напоромъ которыхъ старикъ откинулся назадъ и зажмурился, какъ отъ сверканія яркаго солнца.

Они велѣли ѣхать еще тише, чтобы не въѣзжать засвѣтло, и въ сумерки постучали въ желѣзное кольцо знакомыхъ воротъ. Послышался окликъ: «кто тамъ», это былъ голосъ Ахиллы. Туберозовъ обтеръ пальцемъ слезу и перекрестился.

— Кто тамъ?—переспросилъ еще Ахилла.

— Да кто же какъ не я и отецъ Савелій, отозвался карликъ.

Дьяконъ взвизгнулъ, слетѣлъ со всѣхъ ступеней крыльца, размахнулъ настежь ворота, а самъ вкатилъ клубомъ въ бричку и, обхвативъ шею протопопа, замеръ.

Оба они, обнявъ другъ друга въ бричкѣ, долго и жалостно всхлипывали, межъ тѣмъ какъ карликъ, стоя на землѣ, тихо, но благодатно плакалъ въ свой прозябшій кулачокъ.

Наконецъ дьяконъ, нарыдавшись, захотѣлъ говорить. Онъ чуть было уже не спросилъ о Натальѣ Николаевнѣ; но, спохватясь, ловко перемѣнилъ слово и, показывая протопопу на вертѣвшуюся возлѣ его ногъ собачку, сказалъ:

— А вотъ это, батя, мой новый пёсикъ *Какваска!* Са-

мая чудесная собачка. И какъ мы захотимъ, она намъ сейчасъ засмѣется. Чего о пустомъ скучать!

— «*О пустомъ*», съ нестерпимою болью въ сердцѣ было повторилъ о. Савелій, но удержался и только крѣпко, во всю мочь сжалъ Ахиллину руку.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Войдя въ свой домъ, гдѣ въ теченіе довольно долгаго времени оставался хозяиномъ и единственнымъ жильцомъ дьяконъ Ахилла, протопопъ поцѣловалъ стихійнаго исполина въ сухой проборъ его курчавой головы и, обойдя вмѣстѣ съ нимъ всѣ комнатки, перекрестилъ пустую осиротѣлую кроватку Натальи Николаевны и сказалъ:

— Что же, другъ: теперь намъ съ тобой уже не стòитъ и расходиться,—станемъ жить вмѣстѣ!

— И очень извольте: радъ и готовъ, и даже самъ такъ располагалъ, отвѣчалъ Ахилла и опять обѣими руками обнялъ протопопа.

Такъ они и остались жить вдвоемъ: Ахилла служилъ въ церкви и домовничалъ, а Туберозовъ сидѣлъ дома, читалъ Джона Буніана, думалъ и молился.

Онъ показывался изъ дома рѣдко, или, лучше сказать, совсѣмъ не показывался, и на вопросы навѣщавшихъ его людей, почему онъ не выходитъ, коротко отвѣчалъ:

— Да вотъ... все... собираюсь.

Онъ, дѣйствительно, все *собирался* и жилъ усиленной и сосредоточенною жизнью самоповѣряющаго себя духа.

Ахилла отстранялъ его отъ всякихъ заботъ и попеченій и это давало старцу большое удобство *собираться*.

Но недолго суждено было длиться и этому блаженству. Ахиллу ждала честь: его бралъ съ собою въ Петербургъ архіерей, вызванный на череду для присутствованія въ синодѣ. Губернскій протодьяконъ былъ нездоровъ.

Разставаніе дьякона съ Туберозовымъ было трогательное, и Ахилла, никогда не писавшій никакихъ писемъ и не

знавшій, какъ ихъ пишутъ и какъ отправляютъ, не только вызвался писать отцу Туберозову, но и исполнялъ это.

Письма его были оригинальны и странны, не менѣе чѣмъ весь складъ его мышленія и жизни. Прежде всего онъ прислалъ Туберозову письмо изъ губернскаго города и въ этомъ письмѣ, вложенномъ въ конвертъ, на которомъ было надписано: «отцу протоіерею Туберозову секретно и въ собственныя руки», извѣщалъ, что, живучи въ монастырѣ, онъ отмстилъ за него цензору Троадію, привязавъ его коту на спину колбасу съ надписаніемъ: «сію колбасу я хозяину носу» и пустивъ кота бѣгать съ этою ношею по монастырю.

Черезъ мѣсяцъ Ахилла писалъ изъ Москвы, сколь она ему понравилась, но что народъ здѣсь прелукавый и особенно пѣвчіе, которые два раза звали его пить вмѣстѣ лампопо, но что онъ, «зная изъ практики, что̀ такое обозначаетъ сіе лампопо, такой ихъ пѣвческой наглости только довольно подивился».

Еще немного спустя, онъ писалъ уже изъ Петербурга: «Прелюбезный другъ мой и ваше высокопреподобіе отецъ Савелій. Радоватися. Живу чудесно на подворьѣ, которое будетъ въ родѣ монастырька, но соблазну ужасъ какъ много, потому что все равно, что среди шумнаго города. Но по васъ все-таки, несмотря на сію шумность, скучаю, ибо вмѣстѣ бы если бы тутъ были, то отраднѣй бы гораздо всему вдвоемъ удивлялись. Совѣты ваши благіе помню и содержу себя въ постоянномъ у всѣхъ почтеніи, на что и имѣете примѣту въ томъ московскомъ лампопѣ, котораго пить не захотѣлъ. Пью самую малость, да и то главнѣе всего для того, что чрезъ непитье опасаюсь какъ бы хорошее знакомство не растерять. Хорошаго здѣсь много, но дьяконовъ настоящихъ, какъ по нашему требуется, нѣтъ; все тенористые, пристойные по-нашему развѣ только къ кладбищамъ, и хотя иные держатъ себя и очень даже форсисто, но и собою всѣ противъ насъ жидки и въ служеніи все дѣйствуютъ говоркомъ, а нерѣдко даже и не въ ноту, почему пѣвчимъ съ ними потрафлять хорошо невозможно. Я же, какъ

въ этомъ свѣдущій, ихъ модѣ не подражаю, а служу посвоему и зато хоть и пріѣзжій, но купечество приглашало меня въ Гостиный рядъ подъ воротами въ шатрѣ молебенъ служить и, окромя денежнаго подаренія, за ту службу дали мнѣ три фуляровые платка, какіе вы любите, и я ихъ вамъ привезу въ гостинецъ. На здоровье! Скучаю я тоже не мало, конечно, по своей необразованности, да и потому, что отовсюду далеко. Изъ угощеній здѣсь все больше кофій. Да я по дальности мало у кого и бываю, потому что надо все въ сторону; я же ѣзжу на полъимперіалѣ, а на немъ никуда въ сторону невозможно, но вы этого, по своей провинціальности, не поймете: сидишь точно на домѣ, на крышкѣ очень высоко, и если сходить оттуда, то надо имѣть большую ловкость, чтобы сигнуть долой на всемъ скаку, а для женскаго пола, по причинѣ ихъ одежды, этого даже не позволяютъ. Извозчики же здѣсь, по замѣчанію, очень насмѣшливы, и буде нашъ братъ духовный станетъ ихъ нанимать, но жертвуетъ очень дешево, то они сейчасъ одинъ о другомъ выкрикаютъ: «напрасно, батюшка, съ нимъ сѣли: онъ вчера священника въ лужу вывалилъ», а потому и не ряжу ихъ вовсе. Варнавку нашего однажды встрѣтилъ, но не тронулъ, потому что и онъ, и я оба ѣхали на встрѣчныхъ полъимперіалахъ, и я ему только успѣлъ погрозить, да, впрочемъ, онъ здѣсь сталъ очень какой-то дохлый. Насчетъ же вашего несчастія, что вы еще въ запрещеніи и не можете о себѣ на литургіи молиться, то, пожалуйста, вы объ этомъ нимало не убивайтесь, потому что я все это преестественно обдумалъ и дополнилъ, и Вседержитель это видитъ. Полагайтесь такъ, что хотя не можете вы молиться сами за себя изъ уѣзднаго храма, но есть у васъ такой человѣкъ въ столицѣ, что черезъ него идетъ за васъ молитва и изъ Казанскаго собора, гдѣ спаситель отечества, свѣтлѣйшій князь Кутузовъ погребенъ, и изъ Исаакіевскаго, который весь снаружи мраморный, отъ самаго низа даже до верха, и столичный этотъ за васъ богомолецъ я, ибо я, четши эктенію, велегласно за кого по-

ложено возглашаю, а про самого себя шопотомъ твое имя, друже мой, отецъ Савелій, потаенно произношу, и молитву за тебя самую усердную отсюда посылаю Превѣчному, и жалуюсь, какъ ты напрасно предъ всѣми отъ начальства обиженъ. А ты особливо того слова, пожалуйста, себѣ и не думайте и не говорите, что «дни мои изочтены», потому что это намъ съ отцомъ Захаріей будетъ современемъ очень прискорбно и я тебя, честное слово, развѣ малымъ чѣмъ тогда переживу».

Засимъ слѣдовала подпись: «временно столичный за протодіакона своей епархіи Старогородскаго уѣзднаго собора дьяконъ Ахилла Десницынъ».

Было и еще получено письмо отъ Ахиллы, гдѣ онъ писалъ, что «счастливымъ случаемъ таки свидѣлся съ Препотенскимъ и думалъ съ нимъ за прошедшее биться, но вышелъ всему тому совсѣмъ другой оборотъ, такъ что онъ даже и былъ у него въ редакціи, потому что Варнава теперь уже былъ редакторомъ и Ахилла видѣлъ у него разныхъ «литераторовъ» и искренно тамъ съ Варнавой примирился. Примиренію же этому выставлялась та причина, что Варнава сталъ (по словамъ Ахиллы) человѣкъ жестоко несчастливый, потому что невдавняхъ женился на здѣшней барышнѣ, которая гораздо всякой дамы строже и судитъ все противъ брака, а Варнаву, говорятъ, нерѣдко бьетъ, и онъ теперь уже совсѣмъ не такой: самъ мнѣ открылся, что если бы не опасался жены, то готовъ бы даже за Бога въ газетѣ заступиться, и ругательски ругаетъ госпожу Бизюкину, а особливо Термосесова, который чудесно было себя устроилъ и получалъ большое жалованье на негласной службѣ для надзора за честными людьми, но врагъ его смутилъ жадностью: сталъ фальшивыя бумажки перепущать и теперь въ острогъ сѣлъ». Наипаче же всего Ахилла хвалился тѣмъ, что онъ видѣлъ какъ въ театрѣ представляли. «Разъ (объяснилъ онъ), было это съ пѣвчими, ходилъ я въ штатскомъ уборѣ на самый верхъ на оперу «Жизнь за Царя», и отъ прекраснаго пѣнія голосовъ послѣ

цѣлую ночь въ восторгѣ плакалъ; а другой разъ, опять тоже переряженный по-цивильному, ходилъ глядѣть, какъ самого царя Ахиллу представляли. Но только на меня даже ни крошки не похоже: выскочилъ актеръ весь какъ есть въ латахъ и на пятку жалится, а дай мнѣ этакую сбрую, я бы гораздо громче разыгралъ. Остальная же игра вся по-языческому съ открытостью до самыхъ поръ, и вдовому или одинокому человѣку это видѣть не спокойно».

И еще, наконецъ, пришло третье и послѣднее письмо, которымъ Ахилла извѣщалъ, что скоро вернется домой, и вслѣдъ затѣмъ въ одинъ сумрачный сѣрый вечеръ онъ предсталъ предъ Туберозова внезапно, какъ радостный вѣстникъ.

Поздоровавшись съ дьякономъ, отецъ Савелій тотчасъ же самъ бросился на улицу запереть ставни, чтобы скрыть отъ любопытныхъ радостное возвращеніе Ахиллы.

Бесѣда ихъ была долгая. Ахилла выпилъ за этою бесѣдой цѣлый самоваръ, а отецъ Туберозовъ все продолжалъ безпрестанно наливать ему новыя чашки и приговаривалъ:

— Пей, голубушка, кушай еще, — и когда Ахилла выпивалъ, то онъ говорилъ ему:—Ну, теперь, братецъ, разсказывай дальше: что̀ ты тамъ еще видѣлъ и что узналъ?

И Ахилла разсказывалъ. Богъ знаетъ что̀ онъ разсказывалъ: это все выходило пестро, громадно и нескладно, но всего болѣе въ его разсказахъ удивляло отца Савелія то, что Ахилла кстати и некстати немилосердно уснащалъ свою рѣчь самыми странными словами, какихъ онъ до поѣздки въ Петербургъ не только не употреблялъ, но, вѣроятно, и не зналъ!

Такъ, напримѣръ, онъ ни къ селу, ни къ городу начиналъ съ того:

— Представь себѣ, голубчикъ, отецъ Савелій, какая комбынація (при чемъ онъ безпощадно напиралъ на *ы*).

Или:

— Какъ онъ мнѣ это сказалъ, я ему говорю: ну нѣтъ же ву пердю, это, братъ, сахаръ дюдю.

Отецъ Туберозовъ хотя съ умиленіемъ внималъ разсказамъ Ахиллы, но, слыша частое повтореніе подобныхъ словъ, поморщился и, не вытерпѣвъ, сказалъ ему:

— Что ты это... Зачѣмъ ты такія пустыя слова научился вставлять?

Но безконечно увлекающійся Ахилла такъ нетерпѣливо разворачивалъ предъ отцомъ Савеліемъ всю сокровищницу своихъ столичныхъ заимствованій, что не берегся никакихъ словъ.

— Да ты, душечка, отецъ Савелій, пожалуйста, не опасайтесь, теперь за слова ничего—не запрещается.

— Какъ, братецъ, *ничего?* слышать скверно.

— О-о! это съ непривычки. А мнѣ такъ теперь что̀ хочешь говори, все ерунда.

— Ну, вотъ опять.

— Что такое?

— Да что ты еще за пакостное слово сейчасъ сказалъ?

— Ерунда-съ!

— Тьфу, мерзость!

— Чѣмъ-съ?.. всѣ литераты употребляютъ.

— Ну, имъ и книги въ руки: пусть ихъ и сидятъ съ своею «герундой», а намъ съ тобой на что эту герунду заимствовать, когда съ насъ и своей русской чепухи довольно?

— Совершенно справедливо, согласился Ахилла и, подумавъ, добавилъ, что чепуха ему даже гораздо болѣе нравится, чѣмъ ерунда.

— Помилуйте, добавилъ онъ, опровергая самого себя,— чепуху это отмочишь и сейчасъ смѣхъ, а они тамъ съерундятъ, напримѣръ, что Бога нѣтъ, или еще какіе пустяки, что даже попервоначалу страшно, а не то споръ.

— Надо, чтобъ это всегда страшно было, кротко шепнулъ Туберозовъ.

— Ну, да вѣдь, отецъ Савелій, нельзя же все такъ строго. Вѣдь если докажутъ, такъ дѣться некуда.

— Что докажутъ? что ты это? что ты говоришь? Что тебѣ доказали? Не то ли, что Бога нѣтъ?

— Это-то, батя, доказали...

— Что ты врешь, Ахилла! Ты добрый мужикъ и христіанинъ: перекрестись! что ты это сказалъ?

— Что же дѣлать? Я, вѣдь, голубчикъ, и самъ этому не радъ, но противъ хвакта не попрешь.

— Что за «хвактъ» еще? что за фактъ ты открылъ?

— Да это, отецъ Савелій... зачѣмъ васъ смущать? Вы себѣ читайте свою Буніану и вѣруйте въ своей простотѣ, какъ и прежде сего вѣровали.

— Оставь ты моего Буніана и не заботься о моей простотѣ, а посуди, что̀ ты на себя говоришь?

— Что же дѣлать? хвактъ!—отвѣчалъ, вздохнувъ, Ахилла.

Туберозовъ, смутясь, всталъ и потребовалъ, чтобъ Ахилла непремѣнно и сейчасъ же открылъ ему фактъ, изъ коего могутъ проистекать сомнѣнія въ существованіи Бога.

— Хвактъ этотъ по каждому человѣку прыгаетъ, отвѣчалъ дьяконъ, и объяснилъ, что это блоха, а блоху всякій можетъ сдѣлать изъ опилокъ, и значитъ все-де могло сотвориться само собою.

Получивъ такое искреннее и наивное признаніе, Туберозовъ даже не сразу рѣшился, что̀ ему отвѣтить; но Ахилла, высказавшись разъ въ этомъ направленіи, продолжалъ и далѣе выражать свою петербургскую просвѣщенность.

— И взаправду теперь, говорилъ онъ, — если мы отъ этой самой ничтожной блохи пойдемъ дальше, то и тутъ намъ ничего этого не видно, потому что тутъ у насъ ни книгъ этакихъ, настоящихъ, ни глобусовъ, ни трубъ, ничего нѣтъ. Мракъ невѣжества до того, что даже я тебѣ скажу здѣсь и смѣлости-то такой, какъ тамъ, нѣтъ, чтобъ очень разсуждать! А тамъ я съ литератами, знаешь, сѣлъ, полчаса посидѣлъ, ну и вижу, что религія какъ она есть, такъ ее и нѣтъ, а блоха это положительный хвактъ. Такъ по наукѣ выходитъ...

Туберозовъ только посмотрѣлъ на него и, похлопавъ глазами, спросилъ:

— А чему же ты до сихъ поръ служилъ?

Дьяконъ нимало не сконфузился и, указавъ рукой на свое чрево, отвѣтилъ:

— Да чему и всѣ служатъ: маммону. По наукѣ и это выведено, для чего человѣкъ трудится, — для ѣды; хочетъ, чтобъ ему быть сытому и голоду не чувствовать. А если бы мы ѣсть бы не хотѣли, такъ ничего бы и не дѣлали. Это называется *борба* (дьяконъ произнесъ это слово безъ *ь*) за *сушшествованіе*. Безъ этого ничего бы не было.

— Да вотъ видишь ты, отвѣчалъ Туберозовъ,—а Богъ-то вѣдь, ни въ чемъ этомъ не нуждаясь, сотворилъ свѣтъ.

— Это правда, отвѣчалъ дьяконъ,—Богъ это сотворилъ.

— Такъ какъ же ты его отрицаешь?

— То-есть я не отрицаю, отвѣчалъ Ахилла,—а я только говорю, что, восходя отъ хвакта въ разсужденіи, какъ блоха изъ опилокъ, такъ и вселенная могла сама собой явиться. У нихъ богъ, говорятъ, «кислородъ»... А я, прахъ его знаетъ, что̀ онъ есть кислородъ! И вотъ видите: какъ вы опять заговорили въ разныя стороны, то я уже опять ничего не понимаю.

— Откуда же взялся твой кислородъ?

— Не знаю, ей-Богу... да лучше оставьте про это, отецъ Савелій.

— Нѣтъ, нельзя этого, милый, въ тебѣ оставить! Скажи: откуда начало ему, твоему кислороду?

— Ей-Богу не знаю, отецъ Савелій! Да нѣтъ, оставьте, душечка!

— Можетъ-быть сей кислородъ безначаленъ?

— А идолъ его знаетъ! Да ну его къ лѣшему!

— И конца ему нѣтъ?

— Отецъ Савелій!.. да ну его совсѣмъ къ свиньямъ, этотъ кислородъ. Пусть онъ себѣ будетъ хоть и безъ начала, и безъ конца: что намъ до него?

— А ты можешь ли понять, какъ это безъ начала и безъ конца?

Ахилла отвѣчалъ, что это онъ можетъ.

И затѣмъ громко продолжалъ:

«Единъ Богъ во святой Троицѣ споклоняемый, Онъ есть вѣченъ, то есть не имѣетъ ни начала, ни конца Своего бытія, но всегда былъ, есть и будетъ».

— Аминь!—произнесъ съ улыбкой Туберозовъ и, такъ же съ улыбкой приподнявшись съ своего мѣста, взялъ Ахиллу дружески за руку и сказалъ:

— Пойдемъ-ка, я тебѣ что-то покажу.

— Извольте, отвѣчалъ дьяконъ.

И оба они, взявшись подъ руки, вышли изъ комнаты, прошли весь дворъ и вступили на средину покрытаго блестящимъ снѣгомъ огорода. Здѣсь старикъ сталъ и, указавъ дьякону на крестъ собора, гдѣ они оба столь долго предстояли алтарю, молча же перевелъ свой перстъ внизъ къ самой землѣ и строго вымолвилъ:

— Стань поскорѣй и помолись!

Ахилла опустился на колѣни.

— Читай: «Боже! очисти мя грѣшнаго и помилуй мя», произнесъ Савелій и, проговоривъ это, самъ положилъ первый поклонъ.

Ахилла вздохнулъ и вслѣдъ за нимъ сдѣлалъ то же. Въ торжественной тишинѣ полуночи, на бѣломъ освѣщенномъ луною пустомъ огородѣ, начались одинъ за другимъ его мѣрно повторяющіеся поклоны горячимъ челомъ до холоднаго снѣга, и полились широкіе вздохи съ сладостнымъ воплемъ молитвы: «Боже! очисти мя грѣшнаго и помилуй мя», которой вторилъ голосъ протопопа другимъ прошеніемъ: «Боже, не вниди въ судъ съ рабомъ Твоимъ». Проповѣдникъ и кающійся молились вмѣстѣ.

Надъ Старымъ Городомъ долго неслись воздыханія Ахиллы: онъ, утѣшникъ и забавникъ, чьи кантаты и веселые окрики внималъ здѣсь всякій съ улыбкой, онъ самъ, согрѣшивъ,

теперь сталъ молитвенникомъ, и за себя, и за весь міръ умолялъ удержать праведный гнѣвъ, на насъ движимый!

О, какая разница была ужъ теперь между этимъ Ахиллой и тѣмъ давнимъ Ахиллой, который, свистя, выплылъ къ намъ раннею зарей по рѣкѣ на своемъ красномъ жеребцѣ!

Тотъ Ахилла являлся свѣжимъ утромъ послѣ ночного дождя, а этотъ мерцаетъ вечернимъ закатомъ послѣ дневной бури.

Старый Туберозовъ съ качающеюся головой во все время молитвы Ахиллы сидѣлъ, въ своемъ сѣромъ подрясничкѣ, на крыльцѣ бани и считалъ его поклоны. Отсчитавъ ихъ сколько разумѣлъ нужнымъ, онъ всталъ, взялъ дьякона за руку, и они мирно возвратились въ домъ, но дьяконъ, прежде чѣмъ лечь въ постель, подошелъ къ Савелію и сказалъ:

— Знаете, отче: когда я молился...

— Ну?

— Казалося мнѣ, что земля была трепетна.

— Благословенъ Господь, что далъ тебѣ подобную молитву! Лягъ теперь съ миромъ и спи, отвѣчалъ протопопъ, и они мирно заснули.

Но Ахилла, проснувшись на другой день, ощутилъ, что онъ какъ бы куда-то ушелъ изъ себя: какъ будто бы онъ невзначай что-то кинулъ и что-то другое нашелъ. Нашелъ что-то такое, что нести тяжело, но съ чѣмъ и нельзя и не охота разставаться.

Это былъ прибой благодатныхъ волнъ вѣры въ смятенную и трепетную душу.

Ей надо было болѣть и умереть, чтобы воскреснуть, и эта святая работа совершалась.

Немудрый Ахилла сталъ мудръ: онъ искалъ безмолвія и, окрѣпнувъ, черезъ нѣсколько дней спросилъ у Савелія:

— Научи же меня, старецъ великій: какъ мнѣ себя исправлять, если на то будетъ Божія воля, что я хоть на малое время останусь одинъ? Силой своею я былъ гордъ, но на семъ вразумленъ, и на нее больше я не надѣюсь...

— Да, былъ могучъ ты и силенъ, а и къ тебѣ приблизится часъ, когда не самъ препояшешься, а другой тебя препояшетъ, отвѣтилъ Савелій.

— А разумъ мой еще силы моей ненадежнѣй, потому что я, знаете, всегда въ разсужденіи сбивчивъ.

— На сердце свое надѣйся, оно у тебя бьется вѣрно.

— А что жъ я взговорю, если гдѣ надобно слово? Вѣдь сердце мое безсловесно.

— Слушай его и что̀ въ немъ простонетъ, про то говори, а съ сорной земли сигающихъ на тебя блохъ отрясай!

Ахилла взялся рукой за сердце и отошелъ, помышляя: не знаю, какъ все сіе будетъ? А безотчетное предчувствіе внятно ему говорило, что онъ скоро, скоро будетъ одинъ, и оставитъ его вся сила его, «и иной его препояшетъ».

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

Жуткія и темныя предчувствія Ахиллы не обманули его: хилый и разбитый событіями старикъ Туберозовъ былъ уже не отъ міра сего. Онъ простудился, считая ночью поклоны, которые клалъ по его приказанію дьяконъ, и заболѣлъ, — заболѣлъ не тяжко, но такъ основательно, что сразу сталъ на край домовины.

Чувствуя, что смерть принимаетъ его въ свои объятія, протопопъ сѣтовалъ объ одномъ, что срокъ запрещенія его еще не минулъ. Ахилла понималъ это и разумѣлъ, въ чемъ здѣсь главная скорбь.

Туберозову не хотѣлось умереть въ штрафныхъ, — ему хотѣлось предстать предъ небесною властію разрѣшеннымъ властію земною. Онъ продиктовалъ Ахиллѣ письмо, въ которомъ извѣщалъ свое начальство о своемъ болѣзненномъ состояніи и умилительно просилъ снизойти къ нему и сократить срокъ положеннаго на него запрещенія. Письмо это было послано, но отвѣта на него не получалось.

Отецъ Туберозовъ молчалъ, но Ахилла прислушался къ голосу своего сердца и, оставивъ при больномъ старикѣ

дьячка Павлюкана, взялъ почтовую пару и катнулъ безъ всякаго разрѣшенія въ губернскій городъ.

Онъ не многословилъ въ объясненіяхъ, а отдалъ кому слѣдовало все, чѣмъ могъ располагать, и жалостно просилъ исхлопотать отцу Туберозову немедленно разрѣшеніе. Но хлопоты не увѣнчались успѣхомъ: начальство на сей разъ показало, что оно вполнѣ обладаетъ тѣмъ, въ чемъ ему у насъ такъ часто любятъ отказывать. Оно показало, что обладаетъ характеромъ, и рѣшило, что все опредѣленное Туберозову должно съ нимъ совершиться, какъ должно совершиться все опредѣленное высшими судьбами.

Ахилла было опять почувствовалъ припадокъ гнѣва, но обуздалъ этотъ порывъ, и какъ быстро собрался въ губернскій городъ, такъ же быстро возвратился домой и не сказалъ Туберозову ни слова; но старикъ понялъ и причину его отъѣзда и прочелъ въ его глазахъ привезенный имъ отвѣтъ.

Пожавъ своею хладѣющею рукой дьяконову, Савелій проговорилъ:

— Не огорчайся, другъ.

— Да и, конечно, не огорчаюсь, отвѣтилъ Ахилла.—Мало будто вы въ свою жизнь наслужились предъ Господомъ!

— Благодарю Его... открылъ мой умъ и смыслъ, далъ зрѣть Его дѣла, проговорилъ старикъ и, вздохнувъ, закрылъ глаза.

Ахилла наклонился къ самому лицу умирающаго и замѣтилъ на его темныхъ вѣкахъ старческую слезу.

— А вотъ это нехорошо, баточка, дружески сказалъ онъ Туберозову.

— Чт... т...о?—тупо вымолвилъ старикъ.

— Зачѣмъ людьми недоволенъ?

— Ты не понялъ, мой другъ, прошепталъ слабо въ отвѣтъ больной и пожалъ руку Ахиллы.

Вмѣсто Ахиллы въ губернскій городъ снова поскакалъ карликъ Николай Аѳанасьичъ и поскакалъ съ рѣшительнымъ словомъ:

— Какъ только доступлю, говоритъ онъ, — такъ ужъ прочь и не отойду безъ удовлетворенія. Да-съ; мнѣ семьдесятъ годовъ и меня никуда заключить нельзя; я калѣчка и уродецъ!

Дьяконъ проводилъ его, а самъ остался при больномъ.

Всю силу и мощь и все, что только Ахилла могъ счесть для себя драгоцѣннымъ и милымъ, онъ все охотно отдалъ бы за то, чтобъ облегчить эту скорбь Туберозова, но это все было внѣ его власти, да и все это было уже поздно: ангелъ смерти сталъ у изголовья, готовый принять отходящую душу.

Черезъ нѣсколько дней Ахилла, рыдая въ углу спальни больного, смотрѣлъ, какъ отецъ Захарія, склонясь къ изголовью Туберозова, принималъ на ухо его послѣднее предсмертное покаяніе. Но что это значитъ?.. Какой это такой грѣхъ былъ на совѣсти старца Савелія, что отецъ Бенефактовъ вдругъ весь такъ взволновался? Онъ какъ будто бы даже забылъ, что совершаетъ таинство, не допускающее никакихъ свидѣтелей, и громко требовалъ, чтобъ отецъ Савелій кому-то и что-то простилъ! Предъ чѣмъ это такъ непреклоненъ у гроба Савелій?

— Будь миренъ! будь миренъ! прости! настаивалъ кротко, но твердо Захарія.—Коль не простишь, я не разрѣшу тебя...

Блѣдный Ахилла дрожалъ и съ замираніемъ сердца ловилъ каждое слово.

— Богомъ живымъ тебя, пока живъ ты, молю... голосно вскрикнулъ Захарія и остановился, не докончивъ рѣчи.

Умирающій судорожно привсталъ и снова упалъ, потомъ выправилъ руку, чтобы положить на себя ею крестъ и, благословясь, съ большимъ усиліемъ и разстановкой произнесъ:

— Какъ христіанинъ, я... прощаю имъ мое предъ всѣми поруганіе, но то, что букву мертвую блюдя... они здѣсь... Божіе живое дѣло губятъ...

Торжественность минуты все становилась строже: у Савелія щелкнуло въ горлѣ и онъ продолжалъ какъ будто въ бреду:

— Ту скорбь я къ престолу... Владыкѣ царей... положу и самъ въ томъ свидѣтелемъ стану...

— Будь миренъ: прости! все имъ прости! — ломая руки воскликнулъ Захарія.

Савелій нахмурился, вздохнулъ и прошепталъ: «благо мнѣ яко смирилъ мя еси» и вслѣдъ затѣмъ неожиданно твердымъ голосомъ договорилъ:

— По суду любящихъ имя Твое просвѣти невѣждъ и прости слѣпому и развращенному роду его жестокосердіе.

Захарія съ улыбкой духовнаго блаженства взглянулъ на небо и осѣнилъ лицо Савелія крестомъ.

Лицо это уже не двигалось, глаза глядѣли вверхъ и гасли: Туберозовъ кончался.

Ахилла, дрожа, ринулся къ нему съ воплемъ и, рыдая, упалъ на его грудь.

Отходящій послѣднимъ усиліемъ перенесъ свою руку на голову Ахиллы и съ этимъ уже громкій колоколецъ заигралъ въ его горлѣ, мѣшаясь съ журчаньемъ словъ тихой отходной, которую читалъ сквозь слезы Захарія.

Протопопъ Туберозовъ кончилъ свое житіе.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Смерть Савелія произвела ужасающее впечатлѣніе на Ахиллу. Онъ рыдалъ и плакалъ не какъ мужчина, а какъ нервная женщина оплакиваетъ потерю, перенесеніе которой казалось ей невозможнымъ. Впрочемъ, смерть протоіерея Туберозова была большимъ событіемъ и для всего города: не было дома, гдѣ бы не молились за усопшаго.

Въ домѣ покойника одна толпа народа смѣняла другую: одни шли, чтобъ отдать послѣдній поклонъ честному гробу, другіе, чтобы посмотрѣть, какъ лежитъ въ гробѣ священникъ. Въ ночь послѣ смерти отца Савелія, карликъ Николай Аѳанасьичъ привезъ разрѣшеніе покойнаго отъ запрещенія, и Савелій былъ положенъ въ гробу во всемъ облаченіи: огромный, длинный, въ камилавкѣ. Панихиды въ домѣ его совершались безпрестанно, и какой бы священ-

никъ, приходя изъ усердія, ни надѣвалъ лежавшую на аналоѣ ризу и эпитрахиль, чтобъ отпѣть панихиду, дьяконъ Ахилла тотчасъ же просилъ благословенія на орарь и, сослужа, усердно молился.

На второй день было готово домовище и, по старому мѣстному обычаю, доселѣ сохраняющемуся у насъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ при положеніи священниковъ въ гробъ, началась церемонія торжественная и страшная. Собравшееся духовенство со свѣчами, въ траурномъ облаченіи, обносило на рукахъ мертваго Савелія три раза вокругъ огромнаго гроба, а Ахилла держалъ въ его мертвой рукѣ дымящееся кадило, и мертвецъ какъ бы самъ окаждалъ имъ свое холодное домовище. Потомъ усопшаго протопопа положили въ гробъ и всѣ разошлись, кромѣ Ахиллы; онъ оставался здѣсь одинъ всю ночь съ мертвымъ своимъ другомъ, и тутъ произошло нѣчто, чего Ахилла не замѣтилъ, но что̀ замѣтили за него другіе.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Дьяконъ не ложился спать съ самой смерти Савелія, и три безсонныя ночи, вмѣстѣ съ напряженнымъ вниманіемъ, съ которымъ онъ безпрестанно обращался къ покойнику, довели стальные нервы Ахиллы до крайняго возбужденія.

Въ дьяконѣ замолчали инстинкты и страсти, которыми онъ наиболѣе былъ наклоненъ работать, и вмѣсто нихъ выступили и рѣзкими чертами обозначились душевныя состоянія, ему до сихъ поръ несвойственныя.

Его вѣчная легкость и разметанность смѣнилась тяжеловѣсностью неотвязчивой мысли и глубокою погруженностью въ себя. Ахилла не поблѣднѣлъ въ лицѣ и не потухъ во взорѣ, а, напротивъ, смуглая кожа его озарилась розовымъ, матовымъ подцвѣтомъ. Онъ видѣлъ все съ рѣжущею глазъ ясностью; слышалъ каждый звукъ такъ, какъ будто этотъ звукъ раздавался въ немъ самомъ, и понималъ многое такое, о чемъ доселѣ никогда не думалъ.

Онъ теперь понималъ все, чего хотѣлъ и о чемъ заботился покойный Савелій, и назвалъ усопшаго мученикомъ.

Оставаясь всѣ три ночи одинъ при покойномъ, дьяконъ не находилъ также никакого затрудненія бесѣдовать съ мертвецомъ и ожидать отвѣта изъ-подъ парчеваго воздуха, покрывавшаго лицо усопшаго.

— Баточка! взывалъ полегоньку дьяконъ, прерывая чтеніе Евангелія и подходя въ ночной тишинѣ къ лежавшему предъ нимъ покойнику:—Встань! А?.. При мнѣ при одномъ встань! Не можешь, лежишь, яко трава.

И Ахилла нѣсколько минутъ сидѣлъ или стоялъ въ молчаніи и опять начиналъ монотонное чтеніе.

На третью и послѣднюю ночь Ахилла вздремнулъ на одно короткое мгновеніе, проснулся за часъ до полуночи, смѣнилъ чтеца и заперъ за нимъ дверь.

Надѣвъ стихарь, онъ сталъ у аналоя и, прикоснувшись къ плечу мертвеца, сказалъ:

— Слушай, баточка мой, это я теперь тебѣ въ послѣднее зачитаю,—и съ этимъ дьяконъ началъ Евангеліе отъ Іоанна. Онъ прочелъ четыре главы и, дочитавъ до главы пятой, сталъ на одномъ стихѣ и, вздохнувъ, повторилъ дважды великое обѣщаніе: «яко грядетъ часъ и нынѣ есть, егда мертвіи услышатъ гласъ Сына Божія и, услышавши, оживутъ».

Повторивъ дважды голосомъ, Ахилла началъ еще мысленно нѣсколько разъ кряду повторять это мѣсто, и не двигался далѣе.

Чтеніе надъ усопшимъ дѣло не мудрое; люди, маломальски привычные къ этому дѣлу, исполняютъ его безъ малѣйшаго смущенія; но при всемъ томъ и здѣсь, какъ во всякомъ дѣлѣ, чтобъ оно шло хорошо, нужно соблюдать нѣкоторые практическіе пріемы. Одинъ изъ такихъ пріемовъ заключается въ томъ, чтобы чтецъ, читая, не засматривалъ въ лицо мертвеца. Повѣрье утверждаетъ, что это нарушаетъ его покой; опытъ пренебрегавшихъ этимъ пріемомъ чтецовъ убѣждаетъ, что въ глазахъ начинается какое-

то непріятное мреянье; покой, столь нужный въ ночномъ одиночествѣ, измѣняетъ чтецу, и глаза начинаютъ замѣчать тихое, едва замѣтное мельканіе, сначала невдалекѣ вокругъ самой книги, потомъ и дальше, и больше, и тогда ужъ нужно или возобладать надъ собою и разрушить начало галлюцинаціи, или она разовьется и породитъ неотразимые страхи.

Ахилла теперь нимало не соблюдалъ этого правила, напротивъ, онъ даже сожалѣлъ, что ликъ усопшаго закутанъ парчевымъ воздухомъ; но, несмотря на все это, ничто похожее на страхъ не смущало дьякона. Онъ, какъ выше сказано, все стоялъ на одномъ стихѣ и размышлялъ:

«Вѣдь онъ уже теперь услышалъ гласъ Сына Божія и ожилъ... Я его только не вижу, а онъ здѣсь».

И въ этихъ размышленіяхъ дьяконъ не замѣтилъ, какъ прошла ночь, и на небѣ блеснула блѣдною янтарною чертой заря, послѣдняя заря, осѣняющая на землѣ разрушающійся остатокъ того, что было слышащимъ землю свою и разумѣвающимъ ее попомъ Савеліемъ.

Увидя эту зарю, дьяконъ вздохнулъ и отошелъ отъ аналоя къ гробу, облокотился на обѣ стѣнки домовища, такъ что высокая грудь Савелія пришлась подъ его грудью и, осторожно приподнявъ двумя перстами парчевый воздухъ, покрывающій лицо покойника, заговорилъ:

— Батя, батя, гдѣ же нынѣ духъ твой? Гдѣ твое огнеустое слово? Покинь мнѣ, малоумному, духа твоего!

И Ахилла припалъ на грудь мертвеца и вдругъ вздрогнулъ и отскочилъ: ему показалось, что его насквозь что-то перебѣжало. Онъ оглянулся по сторонамъ: все тихо, только отяжелѣвшія вѣки его глазъ липнутъ и голову куда-то тянетъ дремота.

Дьяконъ отряхнулся, ударилъ земной поклонъ и испугался этого звука: ему послышалось, какъ бы надъ нимъ что-то стукнуло, и почудилось, что будто Савелій сидитъ съ закрытымъ парчею лицомъ и съ Евангеліемъ, которое ему положили въ его мертвыя руки.

Ахилла не оробѣлъ, но смутился и, тихо отодвигаясь отъ гроба, приподнялся на колѣни. И что же? по мѣрѣ того, какъ повергнутый Ахилла возставалъ, мертвецъ по той же мѣрѣ въ его глазахъ медленно ложился въ гробъ, не поддерживая себя руками, занятыми крестомъ и Евангеліемъ.

Ахилла вскочилъ и, махая рукой, прошепталъ:

— Миръ ти! миръ! я тебя тревожу!

И съ этимъ словомъ онъ было снова взялся за Евангеліе и хотѣлъ продолжать чтеніе, но, къ удивленію его, книга была закрыта и онъ не помнилъ, гдѣ остановился.

Ахилла развернулъ книгу наудачу и прочелъ: «Въ мірѣ бѣ, и міръ его не позна...»

«Чего это я ищу?»—подумалъ онъ отуманенною головой и развернулъ безотчетно книгу въ другомъ мѣстѣ. Здѣсь стояло: «И возрятъ нань его же прободоша».

Но въ то время, какъ Ахилла хотѣлъ перевернуть еще страницу, онъ замѣчаетъ, что ему непомѣрно тягостно и что его держитъ кто-то за руки.

«А что же мнѣ нужно? и что̀ это такое я отыскиваю?.. Какое зачало? Какой нынѣ день?»—соображаетъ Ахилла и никакъ не добьется этого, потому что онъ восхищенъ отсюда...

Въ ярко-освѣщенномъ храмѣ, за престоломъ, въ свѣтлой праздничной ризѣ и въ высокой фіолетовой камилавкѣ стоитъ Савелій и круглымъ полнымъ голосомъ, выпуская какъ шаръ каждое слово, читаетъ: «Въ началѣ бѣ Слово и Слово бѣ къ Богу и Богъ бѣ Слово».

«Что это, Господи! А мнѣ казалось, что умеръ отецъ Савелій. Я проспалъ пиръ вѣры!.. я пропустилъ святую заутреню».

Ахилла задрожалъ и, раскрывъ глаза, увидалъ, что онъ, дѣйствительно, спалъ, что на дворѣ уже утро; красный огонь погребальныхъ свѣчъ исчезаетъ въ лучахъ восходящаго солнца, въ комнатѣ душно отъ нагару, въ воздухѣ несется заунывный благовѣстъ, а въ двери комнаты громко стучатъ.

Ахилла торопливо провелъ сухой рукой по лицу и отперъ двери.

— Заснулъ?—тихо спросилъ его входящій Бенефактовъ.

— Воздремалъ,—отвѣтилъ дьяконъ, давая дорогу входившему за отцомъ Захаріей духовенству.

— А я... знаешь... того; я не спалъ: я сочинялъ всю ночь нагробное слово,—шепнулъ дьякону Бенефактовъ.

— Что же, сочинили?

— Нѣтъ; не выходитъ.

— Ну; это ужъ такъ по обыкновенію.

— А знаешь ли, можетъ быть, ты бы нѣчто сказалъ?

— Полноте, отецъ Захарія, развѣ я ученый!

— Что же... вѣдь ты въ стихарѣ... ты право имѣешь.

— Да что же въ томъ правѣ, отецъ Захарія, когда дара и пониманія не имѣю?

— А вы, сударь, возьмите-ка да поусерднѣе о дарѣ помолитесь, онъ и придетъ, вмѣшался шопотомъ карликъ.

— Помолиться! Нѣтъ, другъ Николаша, развѣ ты за меня помолись, а я отъ печали моей обезумѣлъ; мнѣ даже наяву видѣнія снятся.

— Что же, извольте, я помолюсь,—отвѣчалъ карликъ.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Вотъ весь Старогородъ сопровождаетъ тѣло Туберозова въ церковь. Обѣдня и отпѣваніе, благодаря Ахиллѣ, производили ужасное впечатлѣніе; дьяконъ, что ни начнетъ говорить, захлебывается, останавливается и заливается слезами. Рыданія его, разносясь въ толпѣ, сообщаютъ всѣмъ глубочайшую горесть.

Только во время надгробнаго слова, сказаннаго однимъ изъ священниковъ, Ахилла смирилъ скорбь свою и, слушая, тихо плакалъ въ платокъ; но зато, когда онъ вышелъ изъ церкви и увидѣлъ тѣ мѣста, гдѣ такъ много лѣтъ ходилъ вмѣстѣ съ Туберозовымъ, котораго теперь несутъ заключеннымъ въ гробѣ, Ахилла почувствовалъ необходимость не только рыдать, но вопить и кричать. Дабы

дать исходъ этимъ рвавшимся изъ души его воплямъ, онъ пѣлъ «Святый Безсмертный, помилуй насъ», но пѣлъ съ такой силой, что слѣпая столѣтняя старуха, которую при приближеніи печальнаго шествія внуки вывели за ворота поклониться гробу, вдругъ всплеснула руками и, упавъ на колѣни, воскликнула:

— Охъ, слышитъ это, слышитъ Господь, какъ Ахилла подъ самое небо кричитъ!

Но вотъ и обведенное рвомъ и обсаженное ветлами мѣсто упокоенія, — кладбище, по которому часто любилъ гулять вечерами Туберозовъ и о порядкѣ котораго онъ не мало заботился. Гробъ пронесли подъ переметъ темныхъ тесовыхъ воротъ; пропѣта послѣдняя литія, и бѣлые холсты, перекатившись черезъ насыпь отвала, протянулись надъ темною пропастью могилы. Черезъ секунду раздастся послѣдній «аминь» и опустится въ могилу.

Но предъ этимъ еще надлежало произойти чему-то, чего никто не ожидалъ. Много разъ въ жизнь свою всѣхъ удивлявшій Ахилла почувствовалъ необходимость еще разъ удивить старогородцевъ и притомъ удивить совсѣмъ въ новомъ родѣ. Блѣдный и помертвѣвшій, онъ протянулъ руку къ одному изъ державшихъ холстъ могильщиковъ и, обратясь умиленными глазами къ духовенству, воскликнулъ:

— Отцы! молю васъ... велите повременить немного... я только нѣкое самое малое слово скажу.

Всхлипывающій Захарія торопливо остановилъ могильщиковъ и, протянувъ обѣ руки къ дьякону, благословилъ его.

Весь облитый слезами, Ахилла обтеръ бумажнымъ платкомъ покрытый красными пятнами лобъ и судорожно пролепеталъ дрожащими устами: «Въ мірѣ бѣ и міръ его не позна»... и вдругъ, не находя болѣе соотвѣтствующихъ словъ, дьяконъ побагровѣлъ и, какъ бы ловя высохшими глазами звуки, начертанные для него въ воздухѣ, грозно воскликнулъ: «Но возрятъ нань его же прободоша», и съ этимъ онъ бросилъ горсть земли на гробъ, снялъ торопливо стихарь и пошелъ съ кладбища.

— Превосходно говорили, государь отецъ дьяконъ!—прошепталъ сквозь слезы карликъ.

— Се духъ Савеліевъ бѣ на немъ, отвѣтилъ ему разоблачавшійся Захарія.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Послѣ похоронъ Туберозова Ахиллѣ оставалось совершить два дѣла: во-первыхъ, подвергнуться тому, чтобъ «иной его препоясалъ», а во-вторыхъ, умереть, будучи, по словамъ Савелія, «живымъ отрицаніемъ смерти». Онъ непосредственно и торопливо принялся приближать къ себѣ и то, и другое. Освободившись отъ хлопотъ за погребальнымъ обѣдомъ, Ахилла легъ на своемъ войлокѣ въ сѣничномъ чуланѣ и не подымался.

Прошелъ день, два и три, Ахилла все лежалъ и не показывался. Домъ отца Туберозова совсѣмъ глядѣлъ мертвымъ домомъ: взойдетъ яркое солнце и освѣтитъ его пустынный дворъ—мертво; набѣжатъ грядой облачка и отразятся въ стеклахъ его оконъ, словно замогильныя тѣни, и опять ничего.

Наблюдая эту тишь, сосѣди стали жаловаться, что имъ даже жутко; а дьяконъ все не показывался. Стало сомнительно, что̀ съ нимъ такое?

Захарія пошелъ его навѣщать. Долго кроткій старичокъ ходилъ изъ комнаты въ комнату и звалъ:

— Дьяконъ, гдѣ ты? Послушай, дьяконъ!

Но дьяконъ не откликался. Наконецъ, отецъ Захарія пріотворилъ дверь въ темный чуланчикъ.

— Чего вы, отецъ Захарія, такъ гласно стужаетесь?—отозвался откуда-то изъ темноты Ахилла.

— Да какъ, братецъ мой, чего? Гдѣ ты о сю пору находишься?

— Пріотворите пошире дверь: я вотъ тутъ въ уголушкѣ.

Бенефактовъ исполнилъ, что ему говорилъ Ахилла, и увидѣлъ его лежащимъ на примощенной къ стѣнѣ дощатой кроваткѣ. На дьяконѣ была ровная холщевая сорочка

съ прямымъ отложнымъ воротникомъ, завязаннымъ по-малороссійски длинною пестрою тесьмой, и широкіе тиковые полосатые шаровары.

— Что же ты такъ это, дьяконъ?—вопросилъ его, ища себѣ мѣста, отецъ Бенефактовъ.

— Позвольте, я подвинусь, отвѣчалъ Ахилла, перевалясь на ближайшую къ стѣнѣ доску.

— Что же ты, дьяконъ?

— Да, вотъ вамъ и дьяконъ...

— Да что-жъ ты такое?

— Уязвленъ, отвѣтилъ Ахилла.

— Да чѣмъ же ты это уязвленъ?

— Смѣшно вы, отецъ Захарія, спрашиваете: чѣмъ? Тѣмъ и уязвленъ. Кончиной отца протопопа уязвленъ.

— Да, ну что-жъ дѣлать? Вѣдь это смерть... конечно... она враждебна... всему естеству и помысламъ преграда... но неизбѣжно... неизбѣжно...

— Вотъ я этою преградой и уязвленъ.

— Но ты... ты того... мужайся... грѣхъ... потому воля... опредѣленіе...

— Ну, когда-жъ я и опредѣленіемъ уязвленъ!

— Но что же ты это зарядилъ: уязвленъ, уязвленъ! Это, братецъ, того... это нехорошо.

— Да что же осталось хорошаго!—ничего.

— Ну, а если и самъ понимаешь, что мало хорошаго, такъ и надо имѣть разсудокъ: закона природы, братъ, не обойдешь!

— Да про какой вы тутъ, отецъ Захарія, про «законъ природы»! Ну, а если я и закономъ природы уязвленъ?

— Да что̀ же ты теперь будешь съ этимъ дѣлать?

— Тсъ! ахъ Царь мой Небесный! Да не докучайте вы мнѣ, пожалуйста, отецъ Захарія, съ своими законами! Ничего я не буду дѣлать!

— Однакоже, неужто такъ и будешь теперь все время лежать?

Дьяконъ промолчалъ, но потомъ, вздохнувъ, началъ тихо:

— Я еще очень скорблю, а вы сразу со мной заговорили. О какомъ вы тутъ дѣлѣ хотите со мной разговаривать?

— Да поправляйся скорѣй, вотъ что̀, потому что вѣдь хоть и въ скорбѣхъ, а по слабости и ѣсть, и пить будемъ.

— Да это-то что, что про это и говорить? Ѣсть-то и пить мы будемъ, а вотъ въ этомъ-то и причина!

— Что, что такое? Какая причина?

— А вотъ та причина, что мы теперь, значитъ, станемъ объ этомъ, что было, мало-по-малу позабывать и вдругъ совсѣмъ что ли про него позабудемъ?

— А что же дѣлать?

— А то дѣлать, что я съ моимъ характеромъ никакъ на это не согласенъ, чтобъ его позабыть.

— Все, братецъ, такъ; а придетъ время, позабудешь.

— Отецъ Захарія! Пожалуйста, вы мнѣ этого не говорите, потому что вы знаете, какой я въ огорченіи дикій.

— Ну вотъ еще! Нѣтъ, ужъ ты, братъ, отъ грубостей воздерживайся.

— Да, воздерживайся! А кто меня отъ чего-нибудь теперь будетъ воздерживать?

— Да если хо́чешь, я тебя удержу.

— Полноте, отецъ Захарія!

— Да что ты такое? Разумѣется, удержу!

— Полноте, пожалуйста!

— Да отчего же полноте?

— Да такъ; потому что зачѣмъ неправду говорить: ни отъ чего вы меня не можете удержать.

— Ну, это ты, дьяконъ, даже просто нахалъ, отвѣчалъ, обидясь, Захарія.

— Да ничуть не нахалъ, потому что я и васъ тоже люблю; но какъ вы можете меня воздержать, когда вы характера столь слабаго, что вамъ даже дьячокъ Сергѣй грубитъ.

— Грубитъ! Мнѣ всѣ грубятъ! А ты больше ничего какъ глупо разсуждаешь!

— А вотъ удержите же меня теперь отъ этого, чтобъ я такъ не разсуждалъ.

— Не хочу я тебя удерживать, да... не хочу, не хочу, за то, что я пришелъ тебя навѣстить, а ты вышелъ грубіянъ... Прощай!

— Да позвольте, отецъ Захарія! Я совсѣмъ не въ томъ смыслѣ...

— Нѣтъ, нѣтъ; пошелъ прочь: ты меня огорчилъ.

— Ну, Богъ съ вами...

— Да, ты грубіянъ и очень большой грубіянъ.

И Захарія ушелъ, оставивъ дьякона, въ надеждѣ, что авось тому надоѣстъ лежать и онъ самъ выйдетъ на свѣтъ; но прошла еще цѣлая недѣля, а Ахилла не показывался.

— «Позабудутъ, твердилъ онъ: непремѣнно всѣ они его позабудутъ!» И эта мысль занимала его неотвязно, и онъ сильнѣйшимъ образомъ задумывался, какъ бы этому горю помочь.

Чтобы вызвать Ахиллу изъ его мурьи, нужно было особое событіе.

Проснувшись однажды около шести часовъ утра, Ахилла смотрѣлъ, какъ сквозь узенькое окошечко надъ дверями въ чуланчикъ пронизывались лучи восходящаго солнца, какъ вдругъ къ нему вбѣжалъ впопыхахъ отецъ Захарія и объявилъ, что къ нимъ на мѣсто отца Туберозова назначенъ новый протопопъ.

Ахилла поблѣднѣлъ отъ досады.

— Что же ты не радъ, что ли, этому?—вопросилъ Захарія.

— А мнѣ какое до этого дѣло?

— Какъ какое до этого дѣло? А ты спроси, кто назначенъ-то?

— Да развѣ мнѣ не все равно?

— Академикъ!

— Ну вотъ, академикъ! Вишь чему вы обрадовались! Нѣтъ, ей-Богу, вы еще суетны, отецъ Захарія.

— Чего ты «суетный»? Академикъ,—значитъ умный.

— Ну вотъ опять: умный! Да пусть себѣ умный: нешто мы съ вами отъ этого поумнѣемъ?

— Что же это, — стало быть ученаго духовенства не уважаешь?

— А развѣ ему не все равно: уважаю я его или не уважаю? Ему отъ этого ничего, а я, можетъ быть, совсѣмъ о чемъ важнѣе думаю.

— О чемъ? позволь спросить, о чемъ?

— О вчерашнемъ.

— Вотъ ты опять грубишь!

— Да ничего я вамъ не грублю: вы думаете, какъ бы новаго встрѣтить, а я — какъ бы стараго не забыть. Что вы тутъ за грубость находите?

— Ну съ тобой послѣ этого говорить не стоитъ, рѣшилъ Захарія, и съ неудовольствіемъ вышелъ, а Ахилла тотчасъ же всталъ, умылся и потекъ къ исправнику съ просьбой помочь ему продать какъ можно скорѣе его домъ и пару его аргамаковъ.

— На что это тебѣ?—спрашивалъ Порохонцевъ.

— Не любопытствуй, отвѣчалъ Ахилла: — только послѣ, когда сдѣлаю, тогда все и увидишь.

— Хоть скажи, въ какомъ родѣ?

— Въ такомъ родѣ, чтобы про отца Савелія не скоро позабыли, вотъ въ какомъ родѣ.

— Пусть отецъ Захарія о немъ чаще въ словѣ церковномъ напоминаетъ.

— Что отецъ Захарія можетъ напоминать? Нѣтъ, онъ нынче уже науки любитъ, а я... я по-старому человѣка люблю.

На этомъ кончились переговоры и имущество Ахиллы, согласно его желанію, было продано.

Оставалось смотрѣть, что онъ теперь станетъ дѣлать.

Дьяконъ получилъ за все ему принадлежавшее двѣсти рублей; сунулъ оба билетика въ карманъ нанковаго подрясника и объявилъ, что идетъ въ губернію. Онъ уже отрубилъ себѣ отъ тонкой жердины дорожную дубинку, связалъ маленькій узелокъ, купилъ на базарѣ двѣ большія лепешки съ лукомъ и, засунувъ ихъ въ тотъ же карманъ, гдѣ ле-

жали у него деньги, совсѣмъ готовъ былъ выступить въ походъ, какъ вдругъ пріѣхалъ новый протопопъ Иродіонъ Граціанскій. Это былъ благообразный человѣкъ, неопредѣленнаго возраста. По его наружному виду ему съ одинаковымъ удобствомъ можно было дать двадцать шесть лѣтъ, какъ и сорокъ.

Ахилла подошелъ къ этому своему новому настоятелю и, принявъ отъ него благословеніе, хотѣлъ поцѣловать ему руку, но когда тотъ отдернулъ эту руку и предложилъ дружески поцѣловаться, то Ахилла и поцѣловался.

— Видишь какой добрый!—говорилъ дьякону, провожая его черезъ часъ, Захарія.

— Въ чемъ же вы такъ скоро это, отецъ Захарія, заключаете его доброcть?—отвѣчалъ небрежно Ахилла.

— Какъ же? даже не позволилъ тебѣ руки поцѣловать, а устный поцѣлуй... это доброcть.

— А по-моему это больше ничего какъ самая пустая поважность, отвѣчалъ Ахилла.

Теперь онъ уже ожесточенно ревновалъ новаго протопопа къ мѣсту Савелія и придирался къ нему, стараясь находить въ немъ все нехорошее, чтобъ онъ никакъ не могъ сравниться съ покойнымъ Туберозовымъ. Чѣмъ болѣе новый протопопъ всѣмъ старогородцамъ нравился, тѣмъ Ахилла ожесточеннѣе хотѣлъ его ненавидѣть.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

На другой день новый протопопъ служилъ обѣдню и произнесъ слово, въ которомъ расточалъ похвалы своему предшественнику и говорилъ о необходимости и обязанности поминать и чтить его заслуги.

Ахилла и Захарія слушали эту проповѣдь изъ алтаря, прислоня уши свои къ завѣсѣ вратъ. Ахиллу возмущало, что новый протопопъ такъ же говоритъ, и что его слушаютъ съ неменьшимъ вниманіемъ, чѣмъ Туберозова... и что онъ, наконецъ, заступается за Туберозова и поучаетъ цѣнить и понимать его заслуги.

— Къ чему это? къ чему это ему? — негодовалъ, идучи съ Захаріей изъ церкви, дьяконъ.

Онъ уже жестоко ненавидѣлъ новаго протопопа за его успѣхъ въ проповѣди и лютовалъ на него какъ ревнивая женщина. Онъ самъ чувствовалъ свою несправедливость, но не могъ съ собой совладать, и когда Захарія, взявшись устыжать его, сказалъ, что Граціанскій во всѣхъ своихъ поступкахъ благороденъ, Ахилла нетерпѣливо переломилъ бывшую въ его рукахъ палочку и проговорилъ:

— Вотъ это-то самое мнѣ и противно-съ!

— Да что же, развѣ лучше, если бъ онъ былъ хуже?

— Лучше, лучше... разумѣется, лучше!—перебилъ нетерпѣливо Ахилла.—Что вы, развѣ не знаете, что не согрѣшивый не покается!

Захарія только махнулъ рукой.

Походъ Ахиллы въ губернскій городъ все день-ото-дня откладывался: дьяконъ присутствовалъ при повѣркѣ ризницы, книгъ и церковныхъ суммъ, и все это молча и негодуя Богъ вѣсть на что. На его горе, ему не къ чему даже было придраться. Но вотъ Граціанскій заговорилъ о необходимости поставить надъ могилой Туберозова маленькій памятникъ.

Ахилла такъ и привскочилъ.

— Это за что же ему «маленькій» памятникъ, а не большой? Онъ у насъ большое время здѣсь жилъ и свои заслуги почище другого кого оставилъ.

Граціанскій посмотрѣлъ на Ахиллу съ неудовольствіемъ и, не отвѣчая ему, предложилъ подписку на сооруженіе Савелію памятника.

Подписка принесла тридцать два рубля.

Дьяконъ не захотѣлъ ничего подписать и рѣзко отказался отъ складчины.

— Отчего же? Отчего ты не хочешь?—спрашивалъ его Бенефактовъ.

— Оттого, что суетно это, отвѣчалъ Ахилла.

— А въ чемъ вы видите эту суетность?—сухо вставилъ Граціанскій.

— Да какъ же можно такому человѣку отъ всего міра въ тридцать два рубля памятникъ ставить? Этакій памятникъ все равно что за грошъ пистолетъ. Нѣтъ-съ; меня отъ этой обиды ему увольте; я не подпишусь.

Вечеромъ отецъ Захарія, совершая обычную прогулку, зашелъ къ Ахиллѣ и сказалъ ему:

— А ты, дьяконъ, смотри... ты нѣсколько вооружаешь противъ себя отца протопопа.

— Что?... тсс! ахъ, говорите вы, пожалуйста, явственно. Что такое; чѣмъ я его вооружаю?

— Непочтеніемъ, непочтеніемъ, непокорствомъ, вотъ чѣмъ: на памятникъ не согласился, ушелъ—руки не поцѣловалъ.

— Да вѣдь онъ не желаетъ, чтобъ я у него руку цѣловалъ?

— Не желаетъ дома, а то на службѣ... Это, братецъ, совсѣмъ другое на службѣ...

— Ахъ! вы этакъ меня съ своимъ новымъ протопопомъ совсѣмъ съ толку собьете! Тамъ такъ, а тутъ этакъ: да мнѣ всѣхъ этихъ вашихъ артикуловъ всю жизнь не припомнить, и я лучше буду одинъ порядокъ держать.

Дьяконъ пошелъ къ новому протопопу проситься на двѣ недѣли въ губернскій городъ и насильно поцѣловалъ у него руку, сказавъ:

— Вы меня извините; а то я иначе путаюсь.

И вотъ Ахилла на волѣ, на пути, въ который такъ нетерпѣливо снаряжался съ цѣлями самаго грандіознаго свойства: онъ еще, лежа въ своемъ чуланѣ, прежде всѣхъ задумалъ поставить отцу Туберозову памятникъ, но не въ тридцать рублей, а на всѣ свои деньги, на всѣ двѣсти рублей, которые выручилъ за все свое имущество, пріобрѣтенное трудами цѣлой жизни. Ахилла считалъ эти деньги вполнѣ достаточными для того, чтобы возвести монументъ на диво временамъ и народамъ, монументъ столь огромный, что идеальный планъ его не умѣщался даже въ его головѣ.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Октябрьская ночь была холодна и сумрачна; по небу быстро неслись облака и вѣтеръ шумѣлъ голыми вѣтвями придорожныхъ ракитъ. Ахилла, все, не останавливаясь, шелъ, и когда засѣрѣлъ осенній разсвѣтъ, онъ былъ уже на половинѣ дороги и смѣло могъ дать себѣ роздыхъ.

Онъ свернулъ съ дороги къ большому обмету соломы, прилегъ за нимъ отъ вѣтра, закрылъ полой голову и заснулъ.

День былъ такой же какъ ночь: холодное солнце то выглянетъ и заблещетъ, то снова занавѣсится тучами: вѣтеръ то свирѣпѣетъ и рветъ, то шипитъ змѣей по землѣ. Пола, которою дьяконъ укуталъ свою голову, давно была сорвана съ его головы и билась по вѣтру, а солнце, выскакивая изъ-за облакъ, прямо освѣщало его богатырское лицо. Дьяконъ все спалъ. День уже совсѣмъ обогрѣлся, и въ вытоптанномъ жнивьѣ, въ которомъ лежалъ Ахилла, уткнувшись головой въ солому омета, показались послѣдніе запоздалые жильцы умершей нивы: на сапогъ Ахиллы вползла жесткая чернокожая двухвостка, а по его бородѣ, едва плетясь и вздрагивая, поднялся полуокоченѣвшій шмель. Бѣдное насѣкомое, обрѣтя тепло и пріютъ въ густой бородѣ дьякона, начало копошиться и разбудило его: Ахилла громко фыркнулъ, потянулся, вскочилъ, забросилъ за плечи свой узелъ и, выпивъ на постояломъ дворѣ за грошъ квасу, пошелъ къ городу.

Къ сумеркамъ онъ отшагалъ и остальныя тридцать пять верстъ и, увидѣвъ кресты городскихъ церквей, сѣлъ на отвалѣ придорожной канавы и впервые съ выхода своего задумалъ попитаться: онъ досталъ перенедѣльничавшія у него въ карманѣ лепешки и, сложивъ ихъ одна съ другою исподними корками, началъ уплетать съ сугубымъ аппетитомъ, но все-таки не доѣлъ ихъ и, сунувъ опять въ тотъ же карманъ, пошелъ въ городъ. Ночевалъ онъ у знакомыхъ семинаристовъ, а на другой день рано утромъ пришелъ къ Туганову, велѣлъ о себѣ доложить и сѣлъ на коникъ въ передней.

Прошелъ часъ и другой, Ахиллу не звали. Онъ уже не разъ спрашивалъ часто пробѣгавшаго мимо казачка:

— Дворецкій! что-жъ: когда меня позовутъ?

Но дворецкій даже и не считалъ нужнымъ отвѣчать мужиковатому дьякону въ пыльной нанковой рясѣ.

Не отдохнувъ еще какъ должно отъ вчерашняго перехода, Ахилла началъ дремать, но какъ дрема была теперь для него не у мѣста, то онъ задумалъ разсѣяться ѣдою, къ чему недоѣденные вчера куски лепешки представляли полную возможность. Но только что онъ досталъ изъ подрясника остатокъ этихъ лепешекъ и хотѣлъ обдуть налипшій къ нимъ соръ, какъ вдругъ остолбенѣлъ и потомъ вскочилъ, какъ ужаленный, и бросился безъ всякаго доклада по незнакомымъ ему роскошнымъ покоямъ дома. По случаю онъ попалъ прямо въ кабинетъ предводителя и, столкнувшись съ нимъ самимъ лицомъ къ лицу, воскликнулъ:

— Отцы! кто въ Бога вѣруетъ, пособите мнѣ! Посмотрите, какое со мною за несчастіе!

— Что, что такое съ тобою?—вопросилъ удивленный Тугановъ.

— Парменъ Семенычъ! что я, злодѣй, сдѣлалъ!—вопіялъ потерявшійся отъ ужаса Ахилла.

— Что, ты убилъ кого что ли?

— Нѣтъ; я бѣжалъ къ вамъ пѣшкомъ, чтобы вы мнѣ хорошо посовѣтовали, потому что я хочу протопопу памятникъ ставить за двѣсти рублей.

— Ну такъ что жъ? Или у тебя отняли деньги.

— Нѣтъ, не отняли, а хуже.

— Ты ихъ потерялъ?

— Нѣтъ, я ихъ съѣлъ!

И Ахилла въ отчаяніи поднесъ къ глазамъ Туганова исподнюю корку недоѣденной лепешки, къ которой словно припеченъ былъ одинъ уцѣлѣвшій уголокъ сторублевой бумажки.

Тугановъ тронулъ своими тонкими ногтями этотъ уголокъ и, отдѣливъ его отъ корки, увидалъ, что подъ нимъ

ниже еще плотнѣе влипъ и присохъ такой же кусокъ другого билета.

Предводитель не выдержалъ и разсмѣялся.

— Да; вотъ, какъ видите, всѣ съѣлъ, утверждалъ дьяконъ, кусая въ растерянности ноготь на своемъ среднемъ пальцѣ, и вдругъ, повернувшись, сказалъ:—Ну-съ, затѣмъ прошу прощенія, что обезпокоилъ, прощайте!

Тугановъ вступился въ его спасеніе.

— Полно, братецъ, приходить въ отчаяніе, сказалъ онъ:—все это ничего не значитъ; мнѣ въ банкѣ обмѣняютъ твои бумажки, а ты бери у меня другія и строй памятникъ попу Савелію, я его любилъ.

И съ этимъ онъ подалъ Ахиллѣ два новые сторублевые билета, а его объѣдки прибралъ для пріобщенія къ фамильнымъ антикамъ.

Эта бѣда была поправлена, но начиналась другая: надо было сочинить такой памятникъ, какого хотѣлъ, но не могъ никакъ сообразить Ахилла.

Онъ и эту бѣду повергъ на воззрѣніе Туганова.

— Я хочу, Парменъ Семенычъ, говорилъ онъ,—чтобы памятникъ за мои деньги былъ какъ можно крѣпкій и обширный.

— Пирамиду закажи изъ гранита.

Тугановъ велѣлъ подать себѣ изъ шкапа одну папку и, доставъ оттуда рисунокъ египетской пирамиды, сказалъ:

— Вотъ такую пирамиду!

Мысль эта Ахиллѣ страшно понравилась, но онъ усомнился, хватитъ ли у него денегъ на исполненіе? Онъ получилъ въ отвѣтъ, что если двухсотъ рублей не хватитъ, то Тугановъ, уважая старика Туберозова, желаетъ самъ приплатить все, что не достанетъ.

— А ты, молвилъ онъ,—будешь строитель и строй по своему усмотрѣнію, что хочешь!

— Вотъ ужъ это... заговорилъ было, растерявшись, Ахилла, но вмѣсто дальнѣйшихъ словъ ударилъ поклонъ въ землю и, неожиданно схвативъ руку Туганова, поцѣловалъ ее.

Тугановъ былъ тронутъ: назвалъ Ахиллу «добрымъ мужикомъ» и предложилъ ему помѣститься у него въ мезонинѣ.

Дьяконъ немедленно перешелъ отъ семинаристовъ на дворъ къ предводителю и началъ хлопотать о заказѣ камня. Онъ прежде всего старался быть крайне осторожнымъ.

— Что такое?—говорилъ онъ себѣ:—вѣдь и вправду точно, куда я стремлюсь, туда слѣдомъ за мной и всѣ безпорядки.

И онъ молилъ Бога, хоть теперь, хоть разъ въ жизни, избавить его отъ всѣхъ увлеченій и сподобить его исполнить предпринимаемое дѣло вполнѣ серьезно.

## ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Дьяконъ обошелъ всѣхъ извѣстныхъ въ городѣ монументщиковъ и остановился на самомъ худшемъ, на русскомъ жерновщикѣ, какомъ-то Попыгинѣ. Два монументщика изъ нѣмцевъ разсердили дьякона тѣмъ, что все желали знать «позволитъ ли масштабъ» построить столь большую пирамиду, какую онъ имъ заказывалъ, отмѣряя разстояніе попросту шагами, а вышину подъемомъ руки.

Жерновщикъ Попыгинъ понялъ его короче: они все размѣряли шагами и косыми саженями, и уговорились они тоже на словѣ, ударили по рукамъ, и пирамида была заказана и исполнялась. Ахилла смотрѣлъ какъ двигали, ворочали и тесали огромные камни и былъ въ восторгѣ отъ ихъ большихъ размѣровъ.

— Вотъ этакъ-то лучше безъ мачтаба, говорилъ онъ:— какъ хотимъ, такъ и строимъ.

Русскій мастеръ Попыгинъ его въ этомъ поддерживалъ.

Тугановъ выслушивалъ рапорты Ахиллы о движеніи работъ и ни о чемъ съ нимъ не спорилъ, ни въ чемъ не противорѣчилъ. Онъ тѣшилъ этого богатыря памятникомъ, какъ огорченнаго ребенка тѣшатъ игрушкой.

Черезъ недѣлю и пирамида, и надписаніе были совсѣмъ готовы, и дьяконъ пришелъ просить Туганова взглянуть на чудесное произведеніе его творческой фантазіи. Это была

широчайшая расплюснутая пирамида, съ крестомъ наверху и съ большими вызолоченными деревянными херувимами по угламъ.

Тугановъ осмотрѣлъ монументъ и сказалъ: «живетъ»; а дьяконъ былъ просто восхищенъ. Пирамиду разобрали и разобранную повезли на девяти саняхъ въ Старъ-Городъ. На десятыхъ саняхъ сзади обоза ѣхалъ самъ Ахилла, сидя на корточкахъ, въ засаленномъ тулупѣ, между четырехъ деревянныхъ вызолоченныхъ и обернутыхъ рогожей херувимовъ. Онъ былъ въ восторгѣ отъ великолѣпія памятника, но къ его восторгу примѣшивалось нѣкоторое безпокойное чувство: онъ боялся, какъ бы кто не сталъ критиковать его пирамиды, которая была для него завѣтнымъ произведеніемъ его ума, вкуса, преданности и любви къ усопшему Савелію. Чтобъ избѣжать критикановъ, Ахилла рѣшилъ довершить пышное сооруженіе какъ можно секретнѣе и, прибывъ въ Старъ-Городъ, ночью появился только одному Захаріи и ему разсказалъ всѣ трудности, преодолѣнныя имъ при исполненіи пирамиды.

Но Ахиллѣ не удалось собрать монументъ въ секретѣ. Разложенныя на подводахъ части пирамиды Савелія на слѣдующее же утро сдѣлались предметомъ всеобщаго вниманія. Собравшіяся кучи горожанъ были особенно заинтересованы сверкавшими изъ рогожъ руками и крыльями золоченыхъ херувимовъ; эти простые люди горячо спорили и не могли рѣшить, какого свойства эти херувимы: серебряные они или позолоченные?

— Серебряные и позолоченные, а въ середкѣ бриллiантами наколоченные, разъяснилъ имъ Ахилла, въ это же самое время расталкивая согражданъ, толпившихся вокругъ собирателей пирамиды.

Докучали Ахиллѣ и граждане высшихъ сферъ. Эти, какъ ему показалось, даже прямо нарочно пришли съ злобною цѣлію критиковать.

— Это, просто, я не знаю, какъ и назвать, что это такое! Все, все, все, какъ есть нехорошо. Ахъ, ты, Боже мой!

Можно ли такъ человѣка огорчать? Ну, если не нравится тебѣ, нехорошо,—ну потерпи, помолчи, уважь... вѣдь я же старался... Тьфу! Что за поганый народъ—люди!

И не самолюбивый и не честолюбивый Ахилла, постоянно раздражаясь, дошелъ до того, что сталъ нестерпимъ: онъ не могъ выносить ни одного слова о Туберозовѣ. Самыя похвалы покойнику приводили его въ азартъ: онъ находилъ, что безъ нихъ лучше.

— Что хвалить!—говорилъ онъ Бенефактову.—Вы, отецъ Захарія, воля ваша, легкомысленникъ; вы вспоминаете про него словно про молоко въ коровій слѣдъ.

— Да я развѣ что худое про него говорю?

— Да не надо ничего про него говорить, теперь не такое время, чтобы про сильно вѣрующихъ спорить.

— Ишь ты цензоръ какой! Значитъ, его и похвалить нельзя?

— Да что его хвалить? Онъ не цыганская лошадь, чтобъ его нахваливать.

— Ты совершенно, совершенно несуразный человѣкъ, говорилъ Захарія;—прежде ты былъ гораздо лучше.

Съ другими Ахилла былъ еще рѣзче, чѣмъ съ Бенефактовымъ, и какъ всѣ, признавъ раздражительность Ахиллы, стали избѣгать его, онъ вдругъ насѣлъ на одну мысль: о тщетѣ всего земного и о смерти.

— Какъ вы хотите-съ, разсуждалъ онъ,—а это тоже не пустое дѣло-съ вдругъ взять и умереть, и совсѣмъ Богъ знаетъ гдѣ, совсѣмъ въ другомъ мѣстѣ очутиться.

— Да тебѣ рано объ этомъ думать, ты еще не скоро умрешь, утѣшалъ его Захарія.

— Почему вы это, отецъ Захарія, предусматриваете?

— По сложенію твоему... и уши у тебя какія... крѣпкія.

— Да по сложенію-то и по ушамъ мнѣ и самому разумѣется, пожалуй, ввѣкъ не умереть, а долбней бы добивать меня надо; но это... знаете, тоже зависитъ и отъ фантазіи, и потому человѣкъ долженъ объ этомъ думать.

И, наконецъ, дьяконъ впалъ взаправду въ тягостнѣйшую

ипохондрію, которую въ немъ стали и замѣчать, и заговорили, что онъ на себя смерть зоветъ.

Съ этихъ поръ каморочка завѣщаннаго на школу протопопскаго дома, гдѣ до времени ютился философствующій Ахилла, сдѣлалась для однихъ предметомъ участливаго или любопытнаго вниманія, а для другихъ—мѣстомъ таинственнаго страха.

Протоіерей Граціанскій, навѣстивъ дьякона, упрекалъ его за добровольное изгнаніе и убѣждалъ, что такое удаленіе отъ людей неблагоразумно, но Ахилла спокойно отвѣчалъ:

— Благоразумнаго уже поздно искать: *онъ похороненъ.*

Лѣкарю Пуговкину, котораго дьяконъ нѣкогда окуналъ и который все-таки оставался его пріятелемъ и по дружбѣ пришелъ его утѣшить и увѣрять, что онъ боленъ и что его надо лѣчить, Ахилла вымолвилъ:

— Это ты, другъ, правду говоришь: я всѣми моими мнѣніями вокругъ разсѣянъ... Размышляю—не знаю о чемъ, и все... меня... знаешь, мучитъ (Ахилла поморщился и докончилъ шопотомъ): тоска!

— Ну да, у тебя очень возвышенная чувствительность.

— Какъ ты назвалъ?

— У тебя возвышенная чувствительность.

— Вотъ именно чувствительность! Все меня, знаешь, давитъ, и въ груди какъ колъ, и я ночью сажусь и долговременно не знаю, о чемъ сокрушаюсь и плачу.

Пріѣхала навѣстить его духовная дочь Туберозова, помѣщица Серболова. Ахилла ей обрадовался. Гостья спросила его:

— Чѣмъ же это вы, отецъ дьяконъ, разболѣлись? Что съ вами такое сдѣлалось?

— А у меня, сударыня, сдѣлалась возвышенная чувствительность: послѣ отца протопопа все тоска и слезы.

— У васъ возвышенныя чувства, отецъ дьяконъ, отвѣчала дама.

— Да... грудь спираетъ и все такъ кажется, что жить больше не зачѣмъ.

— Откуда вы это взяли, что жить не надо?

— А пришли ко мнѣ три сестрицы: уныніе, скука и печаль, и все это мнѣ открыли. Прощайте, милостивая государыня, много цѣню, что меня посѣтили.

И дьяконъ выпроводилъ ее, какъ выпроваживалъ всѣхъ другихъ, и остался опять со своими «тремя сестрицами» и возвышенною чувствительностью.

Но вдругъ произошло событіе, по случаю котораго Ахилла встрепенулся: событіе это была смерть карлика Николая Аѳанасьевича, завѣщавшаго, чтобъ его хоронили отецъ Захарія и Ахилла, которымъ онъ оставилъ за то по пяти рублей денегъ, да по двѣ пары чулокъ и по ночному бумажному колпачку своего вязанья.

Возвратясь съ похоронъ карлика, дьяконъ не только какъ бы повеселѣлъ, а даже расшутился.

— Видите, братцы мои, какъ *она* по ряду всю нашу дюжину обирать зачала, говорилъ онъ:—вотъ уже и Николай Аѳанасьевичъ померъ: теперь скоро и наша съ отцомъ Захаріей придетъ очередь.

И Ахилла не ошибался. Когда онъ ждалъ *ея* встрѣчи, *она*, милостивая и неотразимая, стояла уже за его плечами и пріосѣняла его прохладнымъ крыломъ своимъ.

Хроника должна тщательно сберечь послѣднія дѣла богатыря Ахиллы,—дѣла вполнѣ его достойныя и пособившія ему переправиться на ту сторону моря житейскаго въ его особенномъ вкусѣ.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Старъ-Городъ оживалъ въ виду приближенія весны: рѣка собиралась вскрыться, синѣла и пучилась; по обоимъ берегамъ ея росли буяны кулей съ хлѣбомъ и ладились широкія барки.

Изъ голодавшихъ зимой деревень ежедневно прибывали въ городъ толпы оборванныхъ мужиковъ въ лаптяхъ и бѣлыхъ войлочныхъ колпачкахъ. Они набивались въ бурлаки изъ однѣхъ податей и изъ хлѣба, и были очень счастливы, если ихъ брали сплавлять въ далекія страны тотъ самый

хлѣбъ, котораго недоставало у нихъ дома. Но и этого счастья, разумѣется, удостоивались не всѣ. Предложеніе труда далеко превышало запросъ на него. Объ этихъ излишнихъ людяхъ никто не считалъ себя обязаннымъ заботиться; занятые были другое дѣло: о нихъ заботились. Ихъ подпускали къ пищѣ при приставникахъ, которые отгоняли наголодавшихся отъ котла, когда они наѣдались въ мѣру. До отвала наголодавшимся нельзя давать ѣсть; эти, какъ ихъ называютъ, «жадники» объѣдаются, «не просиживаютъ зобовъ» и мрутъ отъ обжорства. Недавно два такіе голодные «жадника»—родные братья, рослые ребята съ Оки, сидя другъ противъ друга за котломъ каши, оба вдругъ покатились и умерли. Лѣкарь вскрылъ трупы и, ища въ желудкѣ отравы, нашелъ одну кашу; кашей набитъ растянутый до нельзя желудокъ; кашей набитъ былъ пищеводъ, и во рту и въ гортани вездѣ лежала все та же самая съѣденная братьями каша. Грѣхъ этой кончины падалъ на приставника, который не успѣлъ во-время отогнать отъ пищи наголодавшихся братьевъ «жадниковъ». Недосмотръ былъ такъ великъ, что въ другой артели въ тотъ же день за обѣдомъ посинѣли и упали два другіе человѣка; эти не умерли только благодаря тому, что случился опытный человѣкъ, видавшій уже такіе виды. Объѣвшихся раздѣли до нага и держали животами предъ жаркимъ костромъ. Товарищи наблюдали, какъ изъ вытапливаемыхъ бурлаковъ валилъ паръ, и они уцѣлѣли и пошли на выкормку.

Все это сцены, извѣстныя межъ тѣми, что попадали съ мякины на хлѣбъ; но рядомъ съ этимъ шли и другія, тоже, впрочемъ, довольно извѣстныя сцены, разыгрываемыя оставшимися безъ хлѣба: ночами, по глухимъ и уединеннымъ улицамъ города, вдругъ ни съ того, ни съ сего начали показываться черти. Одинъ такой внезапный чортъ, въ полной адской формѣ, съ рогами и когтями, до-чиста обобралъ двухъ бабъ, пьянаго кузнеца и совершенно трезваго приказнаго, ходившаго на ночное свиданіе съ купеческою дочерью. Ограбленные увѣряли, что у чорта, которому они

попались въ лапы, были бычьи рога и когти, совершенно какъ желѣзные крючья, какими бурлаки, нагружая барки, шпорятъ кули. По городу никто не сталъ ходить, чуть догорала вечерняя зорька, но чортъ все-таки таскался; его видѣли часовые, стоявшіе у соляныхъ магазиновъ и у острога. Онъ даже былъ такъ дерзокъ, что подходилъ къ солдатамъ, ближе чѣмъ на выстрѣлъ, и жалостно просилъ у нихъ корочки хлѣба. Посланы были ночные патрули, и одинъ изъ нихъ, подъ командой самого исправника, давно извѣстнаго намъ воина Порохонцева, дѣйствительно встрѣтилъ чорта, даже окликнулъ его, но, получивъ отъ него въ отвѣтъ «свой», оробѣлъ и бросился бѣжать. Ротмистръ, не полагаясь болѣе на средства полиціи, отнесся къ капитану Повердовнѣ и просилъ содѣйствія его инвалидной команды къ безотлагательной поимкѣ тревожащаго городъ чорта; но капитанъ затруднялся вступить въ дѣло съ нечистымъ духомъ, не испросивъ на то особаго разрѣшенія у своего начальства, а чортъ, между тѣмъ, все расхаживалъ и, наконецъ, нагналъ на городъ совершенный ужасъ. Въ дѣло вмѣшался протоіерей Граціанскій: онъ обратился къ народу съ рѣчью о суевѣріи, въ которой увѣрялъ, что такихъ чертей, которые снимаютъ платки и шинели, вовсе нѣтъ, и что бродящій ночами по городу чортъ есть, всеконечно, не чортъ, а какой-нибудь лѣнивый бездѣльникъ, находящій, что такимъ образомъ, пугая людей въ костюмѣ чорта, ему удобнѣе грабить. На протопопа возгорѣлось сильное негодованіе. Уставщикъ раскольничьяго молитвеннаго дома изъяснилъ, что въ этомъ заключается ересь новой церкви, и безъ всякаго труда пріобщилъ къ своей сектѣ нѣсколько овецъ изъ соборнаго стада. Чортъ отмстилъ Граціанскому за его отрицаніе еще и инымъ способомъ: на другой же день послѣ этой проповѣди, на потолкѣ, въ сѣняхъ протопопскаго дома, замѣтили слѣды грязныхъ сапоговъ. Разумѣется, это всѣхъ удивило и перепугало: кто бы это могъ ходить по потолку кверху ногами. Рѣшено было, что этого никто иной не могъ сдѣлать какъ чортъ, и протопопъ былъ безсиленъ разубѣдить

въ этомъ даже собственную жену. Вопреки его увѣщаніямъ, отважный демонъ пользовался полнымъ почетомъ; его никто не рѣшался гнѣвать, но и никто зато послѣ сумерекъ не выходилъ на улицу.

Однако, чортъ пересолилъ и ему за то пришлось очень плохо; на улицахъ ему не стало попадаться ровно никакой поживы. И вотъ, вслѣдъ за симъ началось похищеніе мѣдныхъ крестовъ, складней и лампадъ на кладбищѣ, гдѣ былъ погребенъ подъ пирамидой отецъ Савелій.

Городъ, давно напуганный разными продѣлками чорта, безъ всякихъ разсужденій отнесъ и это святотатство къ его же вражескимъ проказамъ.

Осматривавшіе кражу набрели, между прочимъ, и на поврежденія, произведенныя на памятникѣ Савелія: крестъ и вызолоченная главка, вѣнчавшіе пирамиду, были сильно помяты ломомъ и расшатаны, но все еще держались на крѣпко заклепанномъ стержнѣ. Зато одинъ изъ золоченыхъ херувимовъ былъ сорванъ, безжалостно расколотъ топоромъ и съ пренебреженіемъ брошенъ, какъ вещь, не имѣющая никакой ходячей цѣнности.

Извѣщенный объ этомъ, Ахилла осмотрѣлъ растревоженный памятникъ и сказалъ:

— Ну, будь ты самъ Вельзевулъ, а ужъ тебѣ это даромъ не пройдетъ.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Въ слѣдующую за симъ ночь, въ одиннадцатомъ часу, дьяконъ, не говоря никому ни слова, тихо вышелъ изъ дому и побрелъ на кладбище. Онъ имѣлъ въ рукѣ длинный шестъ и крѣпкую пеньковую петлю.

Никого не встрѣтивъ и никѣмъ не замѣченный, Ахилла дошелъ до погоста въ началѣ двѣнадцатаго часа. Онъ посмотрѣлъ на ворота: они заперты и слегка постукиваютъ, колеблемыя свѣжимъ весеннимъ вѣтромъ. Чортъ, очевидно, ходитъ не въ эти ворота, а у него должна быть другая большая дорога.

Ахилла взялъ въ сторону и попробовалъ шестомъ рыхлый снѣгъ, наполнявшій ровъ, которымъ окопано кладбище. Палка, проткнувъ легкій ледяной налетъ, сразу юркнула и ушла до половины. Канава была глубиной аршина два съ половиной, а съ другой стороны этой канавы шелъ обмерзшій и осклизшій глинистый отвалъ.

Ахилла воткнулъ шестъ покрѣпче, оперся на него и, взвившись змѣемъ, перелетѣлъ на другую сторону окопа. Эта воздушная переправа совершена была Ахиллой благополучно, но самый шестъ, на которомъ онъ сдѣлалъ свой гигантскій скачокъ, не выдержалъ тяжести его массивнаго тѣла и переломился въ ту самую минуту, когда ноги дьякона только что стали на перевалѣ. Ахилла надъ этимъ не задумался; онъ надѣялся найти на кладбищѣ что-нибудь другое, что, съ такимъ же точно удобствомъ, сослужило бы ему службу при обратной переправѣ; да и притомъ его вдругъ охватило то чувство, которое такъ легко овладѣваетъ человѣкомъ ночью на кладбищѣ. Страшно не страшно, а на душѣ какъ-то строго, и всѣ пять чувствъ настораживаются остро и проницательно. Ахилла широко вдохнулъ въ себя большую струю воздуха, снялъ съ головы черный суконный колпачокъ и, тряхнувъ сѣдыми кудрями, съ удовольствіемъ посмотрѣлъ, какъ луна своимъ серебрянымъ свѣтомъ заливаетъ «Божію ниву». На душѣ его стало грустно и въ то же время бодро; онъ вспомнилъ старые годы своей минувшей удали и, взглянувъ на луну, послалъ ей шутливый привѣтъ:

— «Здравствуй, казацкое солнышко!»

Тишь, безпробудность, настоящее мѣсто упокоенія! Но вотъ что-то ухнуло, словно вздохъ... Нѣтъ, это ничего особеннаго, это снѣгъ осѣдаетъ. И Ахилла сталъ смотрѣть, какъ почернѣвшій снѣгъ точно весь гнется и волнуется. Это обманъ зрѣнія; это по лунному небу плывутъ, тѣснясь, мелкія тучки и отъ нихъ на землю падаетъ бѣглая тѣнь. Дьяконъ прошелъ прямо къ могилѣ Савелія и сѣлъ на нее, прислонясь за одного изъ херувимовъ. Тишь, ничѣмъ не на-

рушимая, только тѣни все беззвучно бѣгутъ и бѣгутъ, и нѣтъ имъ конца.

На дьякона сталъ налегать сонъ; онъ поплотнѣй прислонился къ пирамидѣ и задремалъ, но не надолго; ему вдругъ почудилось, какъ-будто кто-то громко топнулъ; Ахилла открылъ глаза: все было тихо, только небо измѣнилось; луна поблѣднѣла, и по сѣрой пирамидѣ Савелія ползла одна длинная и широкая тѣнь. Тучилось и пахло утромъ. Ахилла всталъ на ноги и въ эту минуту ему опять показалось, что по кладбищу кто-то ходитъ.

Дьяконъ обошелъ пирамиду: никого нѣтъ.

Есть какъ-будто что-то похожее на недавніе слѣды, но кто теперь отличитъ свѣжій слѣдъ отъ вчерашняго, когда снѣгъ весь взялся жидкимъ киселемъ и нога дѣлаетъ въ немъ почти безформенную яму. Въ городѣ прокричали утренніе пѣтухи. Нѣтъ, вѣрно чорта сегодня не будетъ...

Ахилла побрелъ назадъ къ тому мѣсту, гдѣ онъ перепрыгнулъ на кладбище. Безъ всякаго затрудненія нашелъ онъ этотъ лазъ и безъ задумчивости взялся рукой за торчащій изъ канавы длинный шестъ, но вспомнилъ, что онъ свой шестъ переломилъ... откуда же опять взялся цѣлый шестъ?

«Диковина!» подумалъ дьяконъ, и, удостовѣрясь, что шестъ ему не мерещится, а дѣйствительно стремитъ изъ канавы, онъ уже готовъ былъ на немъ прыгнуть, какъ вдругъ сзади черезъ плечи на грудь его пали двѣ огромныя лапы, покрытыя лохматою черною шерстью, съ огромными желѣзными когтями.

Чортъ!

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Ахилла быстро принагнулся въ колѣнахъ и, подобравшись такимъ пріемомъ подъ насѣдавшаго на него чорта, схватилъ его за лапы и дернулъ за нихъ такъ сильно, что подбородокъ чорта звонко ляскнулъ о маковку дьякона и такъ и прилипъ къ ней. Не ожидавшій такого исхода, чортъ

отчаянно закопошился, но скоро, понявъ тщету своихъ усилій, стихъ и, глухо застонавъ, повисъ за спиной у дьякона. Онъ не только не могъ вырываться, но не могъ даже произнести ни одного слова, потому что челюсти его были точно прессомъ прижаты къ макушкѣ Ахиллы. Всѣ движенія, какія чортъ могъ дѣлать, заключались въ дрыганьѣ ногами, но зато ими демонъ воспользовался съ адскимъ коварствомъ.

Ахилла, держа на себѣ чорта съ такою же легкостью, съ какою здоровый мужикъ несетъ снопъ гороху, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ назадъ на кладбище и, разбѣжавшись, прыгнулъ черезъ канаву, но лукавый чортъ воспользовался этимъ мгновеніемъ и ловко обвилъ своими ногами разметанныя по воздуху ноги дьякона въ тотъ самый моментъ, когда оба они были надъ канавой. Неожиданно опутанный Ахилла потерялъ балансъ и рухнулъ вмѣстѣ съ своею ношей въ холодную студень канавы.

Отъ страшнаго холода онъ чуть было не разжалъ рукъ и не выпустилъ чорта, но одолѣлъ себя и сталъ искать другихъ средствъ къ спасенію. Но, увы! средствъ такихъ не было; гладкіе края канавы были покрыты ледянистою корой и выкарабкаться по нимъ безъ помощи рукъ было невозможно, а освободить руки значило упустить чорта. Ахилла этого не хотѣлъ. Онъ попробовалъ кричать, но его или никто не слыхалъ, или кто и слышалъ, тотъ только плотнѣе запирался, дескать: «кого-то опять чортъ деретъ».

Дьяконъ понялъ, что онъ не можетъ надѣяться ни на какую помощь отъ запуганнаго населенія, но не выпускалъ чорта и дрогъ съ нимъ въ канавѣ. Оба они окоченѣли и, можетъ быть, оба здѣсь умерли бы, если бъ ихъ не выручилъ случай.

Раннимъ утромъ къ городской пристани тянулся обозъ со спиртомъ. Проходя дорогой мимо кладбища, мужики замѣтили въ канавѣ какую-то необыкновенную группу и остановились, но, разглядѣвъ въ ней синее лицо человѣка, надъ которымъ сзади возвышалась рогатая морда чорта, броси-

лись прочь. Застывшій Ахилла, собравъ всѣ силы и позвавъ мужиковъ, велѣлъ имъ смотрѣть за чортомъ, а самъ вытащилъ изъ канавы руку и перекрестился.

— Это, ребята, крещеный! — крикнули мужики и, вытащивъ дьякона съ чортомъ изъ канавы, всунули въ уторъ одной бочки соломинку и присадили къ ней окоченѣлаго Ахиллу, а чорта бросили на передокъ и поѣхали въ городъ.

Потянувъ немножко спирту, дьяконъ вздрогнулъ и повалился въ сани. Состояніе его было ужасное: онъ весь былъ мокръ, синь, какъ котелъ, и отъ дрожи едва переводилъ дыханіе. Чортъ совсѣмъ лежалъ мерзлою кочерыжкой; такъ его, окоченѣлаго, и привезли въ городъ, гдѣ дьяконъ далъ знакъ остановиться предъ присутственными мѣстами.

Здѣсь Ахилла снялъ чорта съ саней и, велѣвъ его внести въ канцелярію, послалъ за исправникомъ, а самъ, спросивъ у сторожа сухую рубашку и солдатскую шинель, переодѣлся и легъ на диванѣ.

Городъ, несмотря на ранній часъ утра, былъ уже взволнованъ новостію, и густая толпа народа, какъ море вокругъ скалы, билась около присутственныхъ мѣстъ, гдѣ жилъ въ казенной квартирѣ самъ ротмистръ Порохонцевъ. Народъ, шумя, напиралъ и ломился на крыльцо, желая видѣть и чорта, который раскололъ херувима, да и дьякона, совершившаго поимкой этого чорта до сихъ поръ никому не удавшійся подвигъ. Сквозь эту толпу, несмотря на свой санъ и значеніе, съ трудомъ могли пробираться самыя вліятельныя лица города, какъ-то: протоіерей Граціанскій, отецъ Захарія и капитанъ Повердовня, да и то они пробились лишь потому, что толпа считала присутствіе священниковъ при расправѣ съ чортомъ религіозною необходимостью, а капитанъ Повердовня протѣснился съ помощію сабельнаго эфеса, которымъ онъ храбро давалъ зуботычины направо и налѣво.

Этотъ офицеръ теперь тоже здѣсь былъ чрезвычайно необходимъ и притомъ со всею своею храбростію, потому что городу угрожалъ бунтъ.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Пока внизу люди кипѣли и волновались вокругъ дома, скрывшаго необычайное явленіе, не менѣе суеты происходило и въ самомъ домѣ. Исправникъ, ротмистръ Порохонцевъ, выскочилъ въ канцелярію въ спальныхъ бумазейныхъ панталонахъ и фланелевой курткѣ и увидалъ, что тамъ, скорчась въ комочекъ на полу, дѣйствительно сидитъ чортъ съ рогами и когтями, а противъ него на просительскомъ диванѣ лежитъ и дрожитъ огромная масса, покрытая, поверхъ солдатской шинели, еще двумя бараньими шубами: это былъ дьяконъ.

Надъ чортомъ въ различныхъ позахъ стояла вся старогородская аристократія, но лица не выражали ни малѣйшаго страха отъ близости демона. Бояться было и нечего: всякій могъ видѣть, что этотъ чортъ былъ что-то жалкое, дрожащее отъ холода и обороченное кое-какъ въ ветхія лохмотья старой войлочной бурки, подаренной когда-то, по совершенной ея негодности, дьякономъ Ахиллой комиссару Данилкѣ. На головѣ чорта, покрытой тою же буркой, торчали скверно и небрежно привязанные грязною бичевкой коровьи рога, а у рукъ, обмотанныхъ обрывками вывернутой овчины, мотались два обыкновенные желѣзные крюка, которыми поднимаютъ кули. А что всего страннѣе, такъ это то, что одинъ изъ солдатиковъ, запустивъ чорту за пазуху свою руку, вытащилъ оттуда на шнуркѣ старый мѣдный крестъ съ давленною надписью: «Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его».

— Я вамъ говорилъ, что это обманъ, замѣтилъ протоіерей Граціанскій.

— Да, да; по костюму совершенно чортъ, а по образку совершенно не чортъ, поддержалъ его Захарія и, тотчасъ же подскочивъ къ этому сфинксу, запыталъ: — Послушай, братецъ: кто ты такой? А? Слышишь, что я говорю?.. Любезный!.. А? Слышишь?.. Говори... А то сѣчь будемъ!.. Говори!.. добивался Захарія.

Но тутъ вступился исправникъ и принялся самъ допрашивать чорта, но такъ же безуспѣшно.

Чортъ, начавъ отогрѣваться и приходя въ себя, только тихо заворочался и, какъ черепаха, еще глубже ушелъ въ свою бурку.

Изъ различныхъ устъ подавались различныя мнѣнія: какъ же теперь быть съ этимъ чортомъ? Исправникъ полагалъ отослать его прямо въ такомъ видѣ, какъ онъ есть, къ губернатору и опирался въ этомъ на законъ о чудовищахъ и уродцахъ; но всеобщее любопытство страшно возставало противъ этого рѣшенія и изобрѣтало всякіе доводы для убѣжденія исправника въ необходимости немедленно же разоблачить демона и тѣмъ удовлетворить всеобщее нетерпѣливое и жгучее любопытство.

Не спорили только два лица: это голова и отецъ Захарія, но и то они не спорили потому, что были заняты особыми разслѣдованіями: голова, низенькій толстый купецъ, все потихоньку подкрадывался къ чорту то съ той, то съ другой стороны, и изъ изнавѣсти крестилъ и затѣмъ самъ тотчасъ же быстро отскакивалъ въ сторону, чтобы съ нимъ вмѣстѣ не провалиться, а Захарія тормошилъ его за рожки и шепталъ подъ бурку:

— Послушай, братецъ, послушай: ты мнѣ одно скажи, это ты у отца протопопа вверхъ ногами по потолку ходилъ? Признайся, и сѣчь не будемъ.

— Я, глухо простоналъ чортъ.

Это первое произнесенное домономъ слово произвело въ присутствующихъ неожиданную панику, которая еще увеличилась дошедшими до нихъ въ эту минуту дикими воплями народа снаружи. Потерявшая терпѣніе толпа ломилась наверхъ, требуя, чтобы чортъ немедленно же былъ ей предъявленъ, при чемъ громогласно выражалось самое яркое подозрѣніе, что полиція возьметъ съ чорта взятку и отпуститъ его обратно въ адъ. Въ толпѣ нашлись люди, которые прямо предлагали высадить двери правленія и насильно взять чорта изъ рукъ законной власти. За угро-

зой почти непосредственно послѣдовало и исполненіе: раздались удары въ двери; но ротмистръ нашелся, что сдѣлать: онъ мигнулъ квартальному, который тотчасъ же выкатилъ пожарную трубу, взлѣзъ со шприцемъ на заборъ и пустилъ въ толпу сильную холодную струю. Сигналъ былъ данъ, и пошла потѣха. Народъ на минуту отхлынулъ, раздались веселые крики, свистки и хохотъ, но черезъ минуту всѣ эти развеселившіеся люди вдругъ принасупились, закусили губы и двинулись впередъ. Холодная душь болѣе никого не пугала: дверь затрещала, въ окна полетѣли камни, а квартальнаго стащили за ноги съ забора и, овладѣвъ шприцемъ, окачивали его въ глазахъ начальства. Исправникъ, а за нимъ и всѣ бывшіе съ нимъ аристократы шарахнулись во внутренніе покои и заперлись на замокъ, а не успѣвшій за ними туда капитанъ Повердовня бѣгалъ по канцеляріи и кричалъ:

— Господа! ничего!.. не робѣть!.. Съ нами Богъ!.. У кого есть оружіе... спасайтесь!

И съ этимъ, увидя растворенный канцелярскій шкапъ, онъ быстро вскочилъ въ него и захлопнулъ дверцы; а между тѣмъ въ комнату черезъ разбитыя окна еще ожесточеннѣе падали камни. У самого чорта вырвался крикъ ужаса и отчаянія.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Минута была самая рѣшительная: она ждала своего героя, и онъ явился. Шубы, которыми былъ закрытъ всѣми позабытый Ахилла, зашевелясь, слетѣли на полъ, а самъ онъ, босой, въ узкомъ и куцомъ солдатскомъ бѣльѣ, потрошилъ того, кто такъ недавно казался чортомъ, и за кого поднялась вся эта исторія, принявшая видъ настоящаго открытаго бунта.

— Раздѣвайся! — командовалъ дьяконъ: — раздѣвайся и покажи, кто ты такой, а то я все равно все это съ тебя вмѣстѣ съ родной кожей сниму.

И говоря это, онъ въ то же время щипалъ чорта, какъ ретивая баба щиплетъ ошпареннаго цыпленка.

Одно мгновеніе—и чорта какъ не бывало, а передъ удивленнымъ дьякономъ валялся окоченѣвшій мѣщанинъ Данилка.

Ахилла поднесъ его къ окну и, высунувъ голову сквозь разбитую раму, крикнулъ:

— Цыть, дураки! Это Данилка чортомъ наряжался! Глядите, вотъ онъ.

И дьяконъ, поднявъ предъ собою синяго Данилку, самъ въ то же время выбрасывалъ на улицу одну за другою всѣ части его убранства и возглашалъ:

— А вотъ его коготки! а вотъ его рожки! а вотъ вамъ и вся его амуниція! А теперь слушайте: я его допрошу.

И оборотя къ себѣ Данилку, дьяконъ съ глубокимъ и неподдѣльнымъ добродушіемъ спросилъ его:

— Зачѣмъ ты, дурачокъ, такъ скверно наряжался?

— Съ голоду, прошепталъ мѣщанинъ.

Ахилла сейчасъ же передалъ это народу и непосредственно вслѣдъ затѣмъ вострубилъ своимъ непомѣрнымъ голосомъ:

— Ну, а теперь, православные, расходитесь, а то, спаси Богъ, ежели начальство осмѣлѣетъ, оно сейчасъ стрѣлять велитъ.

Народъ, весело смѣясь, сталъ расходиться.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Начальство, дѣйствительно, «осмѣлѣло», выползло и приступило къ распорядкамъ.

Мокраго и едва дышащаго Данилку переодѣли въ сухую арестантскую свиту и стали серьезно допрашивать. Онъ винился, что съ голоду и холоду, всѣми брошенный и отъ всѣхъ за свое безпутство гонимый, онъ ходилъ и скитался и надумался, наконецъ, одѣться чортомъ и такъ пугалъ ночами народъ и таскалъ, что откуда попало, продавалъ жиду и тѣмъ питался. Ахилла все это внимательно слушалъ.

Кончился допросъ, онъ все смотрѣлъ на Данилку и ни съ того, ни съ сего сталъ замѣчать, что Данилка въ его глазахъ то поднимется, то опустится. Ахилла усиленно моргнулъ глазами и опять новая притча. Данилка теперь становится то жарко-золотымъ, то бѣлымъ серебрянымъ, то огненнымъ, такимъ, что на него смотрѣть больно, то совсѣмъ стухнетъ и нѣтъ его, а межъ тѣмъ онъ тутъ. Слѣдить за всѣми этими калейдоскопическими превращеніями больно до нестерпимости, а закроешь глаза, все еще пестрѣе и хуже рѣжетъ.

«Фу ты, что это такое!» подумалъ себѣ дьяконъ и, проведя рукой по лицу, замѣтилъ, что ладонь его, двигаясь по кожѣ лица, шуршитъ и цѣпляется будто сукно по фланели. Вотъ минута забвенія, въ крови быстро прожгла огневая струя и, стукнувъ въ темя, отуманила память. Дьяконъ позабылъ, зачѣмъ онъ здѣсь и зачѣмъ тутъ этотъ Данилка стоитъ общипаннымъ цыпленкомъ и беззаботно разсказываетъ, какъ онъ пугалъ людей, какъ онъ щечился отъ нихъ всякою всячиной и какъ, наконецъ, нежданно-негаданно попался отцу дьякону.

— Ну, а разскажи же, спрашиваетъ его опять Захарія:— разскажи, братецъ, какъ ты это у отца протоіерея вверхъ ногами по потолку ходилъ?

— Просто, батюшка, отвѣчалъ Данилка, — я снялъ сапоги, вздѣлъ ихъ голенищами на палочку, да и клалъ по потолку слѣдочки.

— Ну, отпустите же его теперь, довольно вамъ его мучить, неожиданно отозвался, моргая глазами, Ахилла.

На него оглянулись съ изумленіемъ.

— Что вы это говорите? какъ можно отпустить святотатца?—остановилъ его Граціанскій.

— Ну, какой тамъ еще святотатецъ? Это онъ съ голоду. Ей-Богу отпустите! Пусть онъ домой идетъ.

Граціанскій, не оборачиваясь къ Ахиллѣ, замѣтилъ, что его заступничество неумѣстно.

— Отчего же... за бѣднаго человѣка, который съ голоду... апостолы класы восторгали...

— Да что вы это?—строго повернулся протопопъ:—вы соціалистъ что ли?

— Ну, какой тамъ «соціалистъ»! Святые апостолы, говорю вамъ, проходя полемъ, класы исторгали и ѣли. Вы, разумѣется, городскія іерейскія дѣти, этого не знаете, а мы, дѣти дьячковскія, въ училищѣ, бывало, сами съѣстное часто воровали. Нѣтъ, отпустите его, Христа ради, а то я его все равно вамъ не дамъ.

— Что вы, съ ума что ли сошли? Развѣ вы смѣете!..

Но дьякону эти послѣднія слова показались столь нестерпимо обидными, что онъ весь побагровѣлъ и, схвативъ на себя свой мокрый подрясникъ, вскричалъ:

— А вотъ я его не дамъ, да и только! Онъ мой плѣнникъ, и я на него всякое право имѣю.

Съ этимъ дьяконъ, шатаясь, подошелъ къ Данилкѣ, толкнулъ его за двери и, взявшись руками за обѣ притолки, чтобы никого не выпустить вслѣдъ за Данилкой, хотѣлъ еще что-то сказать, но тотчасъ же почувствовалъ, что онъ растетъ, ширится, пышетъ зноемъ и исчезаетъ. Онъ на одну минуту закрылъ глаза и въ ту же минуту повалился безъ чувствъ на землю.

Состояніе Ахиллы было сладостное состояніе забвенья, которымъ даритъ человѣка горячка. Дьяконъ слышалъ слова: «буйство», «актъ», «ударъ», чувствовалъ, что его трогаютъ, ворочаютъ и поднимаютъ; слышалъ суету и слезныя просьбы вновь изловленнаго на улицѣ Данилки, но онъ слышалъ все это какъ сквозь сонъ, и опять росъ, опять простирался куда-то въ безконечность и сладостно пышетъ и перегораетъ въ огневомъ недугѣ. Вотъ это она, кончина жизни, *смерть*.

О поступкѣ Ахиллы былъ составленъ надлежащій актъ, съ которымъ старый сотоварищъ, «старый гевальдигеръ», Воинъ Порохонцевъ, долго мудрилъ и хитрилъ, стараясь представить выходку дьякона какъ можно невиннѣе и мягче,

но тѣмъ не менѣе дѣло все-таки озаглавилось: «*о дерзостномъ буйствѣ, произведенномъ, въ присутствіи старогородскаго полицейскаго правленія, соборнымъ дьякономъ Ахиллою Десницынымъ*».

Ротмистръ Порохонцевъ могъ только вычеркнуть слово «дерзостномъ», а «буйство» Ахиллы сдѣлалось предметомъ дѣла, по которому, рано или поздно, должно было пасть строгое рѣшеніе.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Ахилла ничего этого не зналъ: онъ спокойно и безмятежно горѣлъ въ огнѣ своего недуга на больничной койкѣ. Лѣкарь, принявшій дьякона въ больницу, объявилъ, что у него жестокій тифъ, прямо начинающійся безпамятствомъ и жаромъ, что такіе тифы обязываютъ медика къ предсказаніямъ самымъ печальнымъ.

Ротмистръ Порохонцевъ ухватился за эти слова и требовалъ у врача заключенія: не слѣдуетъ ли поступокъ Ахиллы приписать началу его болѣзненнаго состоянія? Лѣкарь взялся это подтвердить. Ахилла лежалъ въ безпамятствѣ пятый день при тѣхъ же туманныхъ, но пріятныхъ представленіяхъ и въ томъ же безпрестанномъ ощущеніи сладостнаго зноя. Предъ нимъ на утломъ стульчикѣ сидѣлъ отецъ Захарія и держалъ на головѣ больного полотенце, смоченное холодною водой. Ввечеру сюда пришли нѣсколько знакомыхъ и лѣкарь.

Дьяконъ лежалъ съ закрытыми глазами, но слышалъ, какъ лѣкарь сказалъ, что кто хочетъ имѣть дѣло съ душой больного, тотъ долженъ дорожить первою минутой его просвѣтлѣнія, потому что близится кризисъ, за которымъ ничего хорошаго предвидѣть невозможно.

— Не упустите такой минуты, говорилъ онъ, — у него уже пульсъ совсѣмъ ненадежный, и затѣмъ лѣкарь началъ бесѣдовать съ Порохонцевымъ и другими, которые, придя навѣстить Ахиллу, никакъ не могли себѣ представить, что онъ при смерти и вдобавокъ при смерти отъ простуды! Онъ,

богатырь, умретъ, когда Данилка, раздѣлявшій съ нимъ холодную ванну, сидитъ въ острогѣ здоровъ-здоровешенекъ. Лѣкарь объяснялъ это тѣмъ, что Ахилла давно былъ сильно потрясенъ и разстроенъ.

— Да, да, да, вы говорили... у него возвышенная чувствительность, пролепеталъ Захарія.

— Странная болѣзнь, замѣтилъ Порохонцевъ,—и тутъ все новое! Я сколько лѣтъ живу и не слыхалъ такой болѣзни.

— Да, да, да... поддержалъ его Захарія,—утончаются обычаи жизни и усложняются болѣзни.

Дьяконъ тихо открылъ глаза и прошепталъ:

— Дайте мнѣ питки!

Ему подали металлическую кружку, къ которой онъ припалъ пламенными губами и, жадно глотая клюковное питье, смотрѣлъ на всѣхъ воспаленными глазами.

— Что̀ нашъ орга́нъ дорогой, какъ тебѣ теперь? участливо спросилъ его голова.

— Огустѣлъ весь, тяжело отвѣтилъ дьяконъ, и черезъ минуту совсѣмъ неожиданно заговорилъ въ повѣствовательномъ тонѣ:—Я послѣ своей собачонки *Какваски*...—когда ее мальпостъ колесомъ переѣхалъ... хотѣлъ было себѣ еще одного песика купить... Вижу въ Петербургѣ на Невскомъ собачея... и говорю: достань, говорю, мнѣ... хорошенькую собачку... А онъ говоритъ: «нынче, говоритъ, собакъ нѣтъ, а теперь, говоритъ, пошли все понтера́ и сетера́...» А что̀, молъ, это за звѣри? «А это тѣ же самыя, говоритъ, собаки, только имъ другое названіе».

Дьяконъ остановился.

— Вы это къ чему же говорите? спросилъ больного смѣлымъ, одушевляющимъ голосомъ лѣкарь, которому казалось, что Ахилла бредитъ.

— А къ тому, что вы про новыя болѣзни разсуждали: всѣ онѣ... какъ ихъ ни называй, клонятъ къ одной предмѣстности—къ смерти...

И съ этимъ дьяконъ опять забылся и не просыпался до полуночи, когда вдругъ забредилъ:

— Аркебузиръ, аркебузиръ... пошелъ прочь, аркебузиръ!

И съ этимъ послѣднимъ словомъ онъ вскочилъ и, совершенно проснувшись, сѣлъ на постели.

— Дьяконъ, исповѣдайся, сказалъ ему тихо Захарія.

— Да, надо, сказалъ Ахилла, — принимайте скорѣе, — исповѣдаюсь, чтобъ ничего не забыть, — всѣмъ грѣшенъ, простите Христа ради, и затѣмъ, вздохнувъ, добавилъ: — Пошлите скорѣе за отцомъ протопопомъ.

Граціанскій не заставилъ себя долго ждать и явился.

Ахилла привѣтствовалъ протоіерея издали глазами, попросилъ у него благословенія и дважды поцѣловалъ его руку.

— Умираю, произнесъ онъ, — желалъ попросить васъ: простите: всѣмъ грѣшенъ.

— Богъ васъ проститъ и вы меня простите, отвѣчалъ Граціанскій.

— Да я вѣдь и не злобствовалъ... но я разсужденьемъ не всегда былъ понятенъ...

— Зачѣмъ же конфузить себя... У васъ благородное сердце...

— Нѣтъ, не стòитъ сего... говорить, перебилъ, путаясь, дьяконъ. — Все я не тѣмъ занимался, чѣмъ слѣдовало... и напослѣдяхъ... серчалъ за памятникъ... Пустая фантазія: земля и небо сгорятъ и все провалится. Какой памятникъ! То была одна моя несообразность!

— Онъ уже мудръ! — уронилъ, опустивъ головку, Захарія. Дьяконъ метнулся на постели.

— Простите меня Христа ради, возговорилъ онъ спѣшно, — и не вынуждайте себя быть здѣсь, меня опять распаляетъ недугъ... Прощайте!

Ученый протопопъ благословилъ умирающаго, а Захарія пошелъ проводить Граціанскаго и, переступивъ обратно за порогъ, онѣмѣлъ отъ ужаса:

Ахилла былъ въ агоніи, и въ агоніи не столько страш-

ной, какъ поражающей: онъ нѣсколько секундъ лежалъ тихо и, набравъ въ себя воздуху, вдругъ выпускалъ его, протяжно издавая звукъ: у-у-у-хъ! при чемъ всякій разъ взмахивалъ руками и приподнимался, будто отъ чего-то освобождался, будто что-то скидывалъ.

Захарія смотрѣлъ на это цѣпенѣя, а утлыя доски кровати все тяжче гнулись и трещали подъ умирающимъ Ахиллой, и жутко дрожала стѣна, сквозь которую точно рвалась на просторъ долго сжатая стихійная сила.

«Ужъ не кончается ли онъ?» хватился Захарія и метнулся къ окну, чтобы взять маленькій требникъ, но въ это самое время Ахилла вскрикнулъ сквозь сжатые зубы:

— Кто ты, огнелицый? Дай путь мнѣ!

Захарія робко оглянулся и оторопѣлъ, огнелицаго онъ никого не видалъ, но ему показалось со страху, что Ахилла, вылетѣвъ самъ изъ себя, здѣсь же гдѣ-то съ кѣмъ-то боролся и одолѣлъ...

Робкій старичокъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ и, закрывъ глаза, выбѣжалъ вонъ, а черезъ нѣсколько минутъ на соборной колокольнѣ заунывно ударили въ колоколъ по умершемъ Ахиллѣ.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Старогородская хроника кончается и послѣднею ея точкой долженъ быть гвоздь, забитый въ крышку гроба Захаріи.

Тихій старикъ не долго пережилъ Савелія и Ахиллу. Онъ дожилъ только до великаго праздника весны, до Свѣтлаго Воскресенія, и тихо уснулъ во время самаго богослуженія.

Старогородской поповкѣ настало время полнаго обновленія.

# НА КРАЮ СВЂТА.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Раннимъ вечеромъ, на святкахъ, мы сидѣли за чайнымъ столомъ въ большой голубой гостиной архіерейскаго дома. Насъ было семь человѣкъ, восьмой нашъ хозяинъ, тогда уже весьма престарѣлый архіепископъ, больной и немощный. Гости были люди просвѣщенные и между ними шелъ интересный разговоръ о нашей вѣрѣ и о нашемъ невѣріи, о нашемъ проповѣдничествѣ въ храмахъ и о просвѣтительныхъ трудахъ нашихъ миссій на Востокѣ. Въ числѣ собесѣдниковъ находился нѣкто флота-капитанъ Б., очень добрый человѣкъ, но большой нападчикъ на русское духовенство. Онъ твердилъ, что наши миссіонеры совершенно неспособны къ своему дѣлу, и радовался, что правительство разрѣшило теперь трудиться на пользу Слова Божія чужеземнымъ евангелическимъ пасторамъ. Б. выражалъ твердую увѣренность, что эти проповѣдники будутъ у насъ имѣть огромный успѣхъ не среди однихъ евреевъ и докажутъ, какъ два и два — четыре, неспособность русскаго духовенства къ миссіонерской проповѣди.

Нашъ почтенный хозяинъ, въ продолженіе этого разговора, хранилъ глубокое молчаніе: онъ сидѣлъ съ покрытыми пледомъ ногами въ своемъ глубокомъ вольтеровскомъ креслѣ и, повидимому, думалъ о чемъ-то другомъ; но когда Б. кончилъ, старый владыка вздохнулъ и проговорилъ:

— Мнѣ кажется, господа, что вы господина капитана

напрасно бы стали оспаривать; я думаю, что онъ правъ: чужеземные миссіонеры положительно должны имѣть у насъ большой успѣхъ.

— Я очень счастливъ, владыко, что вы раздѣляете мое мнѣніе, отвѣчалъ капитанъ Б. и, сдѣлавъ вслѣдъ за симъ нѣсколько самыхъ благопристойныхъ и тонкихъ комплиментовъ извѣстной образованности ума и благородству характера архіерея, добавилъ:

— Ваше высокопреосвященство, разумѣется, лучше меня знаете всѣ недостатки русской Церкви, гдѣ, конечно, среди духовенства есть люди и очень умные, и очень добрые,— я этого никакъ не стану оспаривать, но они едва ли понимаютъ Христа. Ихъ положеніе и прочее... заставляетъ ихъ толковать все... слишкомъ узко.

Архіерей посмотрѣлъ на него, улыбнулся и отвѣтилъ:

— Да, господинъ капитанъ, скромность моя не оскорбится признать, что я, можетъ быть, не хуже васъ знаю всѣ скорби Церкви; но справедливость была бы оскорблена, еслибы я рѣшился признать вмѣстѣ съ вами, что въ Россіи Господа Христа понимаютъ менѣе, чѣмъ въ Тюбингенѣ, Лондонѣ или Женевѣ.

— Объ этомъ, владыко, еще можно спорить.

Архіерей снова улыбнулся и сказалъ:

— А вы, я вижу, охочи спорить. Что съ вами дѣлать! Отъ спора мы воздержимся, а бесѣдовать—давайте.

И съ этимъ словомъ онъ взялъ со стола большой, богато украшенный рѣзьбою изъ слоновой кости, альбомъ и, раскрывъ его, сказалъ:

— Вотъ нашъ Господь!—Зову васъ посмотрѣть! Здѣсь я собралъ много изображеній Его лица. Вотъ Онъ сидитъ у кладезя съ женой самаритянской—работа дивная; художникъ, надо думать, понималъ и лицо, и моментъ.

— Да; мнѣ тоже кажется, владыко, что это сдѣлано съ понятіемъ, отвѣчалъ Б.

— Однако, нѣтъ-ли здѣсь въ Божественномъ лицѣ излишней мягкости? не кажется-ли вамъ, что Ему ужъ слиш-

комъ все равно, сколько эта женщина имѣла мужей и что нынѣшній мужъ ей не мужъ?

Всѣ молчали; архіерей это замѣтилъ и продолжалъ:

— Мнѣ кажется, сюда немного строгаго вниманія было бы чертой нелишнею.

— Вы правы, можетъ быть, владыко.

— Распространенная картина; мнѣ доводилось ее часто видѣть по преимуществу у дамъ. Посмотримъ далѣе. Опять великій мастеръ. Христа цѣлуетъ здѣсь Іуда. Какъ кажется вамъ здѣсь Господень ликъ? Какая сдержанность и доброта! Не правда ли? Прекрасное изображеніе!

— Прекрасный ликъ!

— Однако, не слишкомъ-ли много здѣсь усилія сдерживаться? Смотрите: лѣвая щека, мнѣ кажется, дрожитъ и на устахъ какъ бы гадливость.

— Конечно, это есть, владыко.

— О, да; да вѣдь Іуда ея ужъ, разумѣется, и стоилъ; и рабъ, и льстецъ—онъ очень могъ ее вызвать у всякаго... только, впрочемъ, не у Христа, Который ничѣмъ не брезговалъ, а всѣхъ жалѣлъ. Ну, мы этого пропустимъ; Онъ насъ, кажется, не совсѣмъ удовлетворяетъ, хотя я знаю одного большого сановника, который мнѣ говорилъ, что онъ удачнѣе этого изображенія Христа представить себѣ не можетъ Вотъ вновь Христосъ и тоже кисть великая писала.—Тиціанъ: передъ Господомъ стоитъ коварный фарисей съ динаріемъ. Смотрите-ка: какой лукавый старецъ, но Христосъ... Христосъ... Охъ, я боюсь! смотрите: нѣтъ-ли тутъ презрѣнія на Его лицѣ?

— Оно и быть могло, владыко!

— Могло, не спорю: старецъ гадокъ; но я, молясь, такимъ себѣ не мыслю Господа и думаю, что это неудобно? Не правда-ли?

Мы отвѣчали согласіемъ, находя, что представлять лицо Христа въ такомъ выраженіи неудобно, особенно вознося къ Нему молитвы.

— Совершенно съ вами въ этомъ согласенъ, и даже

припоминаю себѣ объ этомъ споръ мой нѣкогда съ однимъ дипломатомъ, которому *этотъ* Христосъ только и нравился; но, впрочемъ, что же?.. моментъ дипломатическій. Но пойдемте далѣе: вотъ тутъ уже, съ этихъ мѣстъ у меня начинаются одинокія изображенія Господа, безъ сосѣдей. Вотъ вамъ снимокъ съ прекрасной головы скульптора Кауера: хорошъ, хорошъ!—ни слова; но мнѣ, воля ваша, эта академическая голова напоминаетъ гораздо менѣе Христа, чѣмъ Платона. Вотъ Онъ, еще... какой страдалецъ... какой ужасный видъ придалъ Ему Метсу!.. Не понимаю, зачѣмъ онъ Его такъ избилъ, изсѣкъ и изкровянилъ?.. Это, право, ужасно! Опухли вѣки, кровь и синяки... весь духъ, кажется, изъ Него выбитъ и на одно страдающее тѣло ужъ смотрѣть даже страшно... Перевернемъ скорѣй. Онъ тутъ внушаетъ только состраданіе, и ничего болѣе. — Вотъ вамъ Лафонъ, можетъ быть, и небольшой художникъ, да на многихъ нынче хорошо потрафилъ; онъ, какъ видите, понялъ Христа иначе, чѣмъ всѣ предыдущіе, и иначе Его себѣ и намъ представилъ: фигура стройная и привлекательная, ликъ добрый, голубиный, взглядъ подъ чистымъ лбомъ, и какъ легко волнуются здѣсь кудри: тутъ локоны, тутъ эти пѣтушки, крутясь, легли на лбу. Красиво, право! а на рукѣ Его пылаетъ сердце, обвитое терновою лозою. Это «Sacré coeur», что отцы іезуиты проповѣдуютъ; мнѣ кто-то сказывалъ, что они и вдохновляли сего господина Лафона чертить это изображеніе; но оно, впрочемъ, нравится и тѣмъ, которые думаютъ, что у нихъ нѣтъ ничего общаго съ отцами іезуитами. Помню, мнѣ какъ-то разъ, въ лютый морозъ, довелось заѣхать въ Петербургѣ къ одному русскому князю, который показывалъ мнѣ чудеса своихъ палатъ, и вотъ тамъ, не совсѣмъ на мѣстѣ—въ зимнемъ саду, я увидѣлъ впервые этого Христа. Картина въ рамочкѣ стояла на столѣ, передъ которымъ сидѣла княгиня и мечтала. Прекрасная была обстановка: пальмы, аурумы, бананы, щебечутъ и порхаютъ птички, и она мечтаетъ. О чемъ? Она мнѣ сказала— «ищетъ Христа». Я тогда и всмотрѣлся въ это изображеніе.

Дѣйствительно, смотрите, какъ Онъ эффектно выходитъ, или, лучше сказать, износится изъ этой тьмы; за Нимъ ничего: ни этихъ пророковъ, которые докучали всѣмъ, бѣгая въ своихъ лохмотьяхъ и цѣпляясь даже за царскія колесницы,— ничего этого нѣтъ: а только тьма... тьма фантазіи. Эта дама,—пошли ей Богъ здоровья,—первая мнѣ и объяснила тайну, какъ находить Христа, послѣ чего я и не спорю съ господиномъ капитаномъ, что иностранные проповѣдники у насъ не однимъ жидамъ Его покажутъ, а всѣмъ, кому хочется, чтобы Онъ пришелъ подъ пальмы и бананы слушать канареекъ. Только Онъ-ли туда придетъ? Не пришелъ бы подъ Его слѣдъ кто другой къ нимъ? Признаюсь вамъ, я этому щеголеватому канареечному Христу охотно предпочелъ бы вотъ эту жидоватую главу Гверчино, хотя и она говоритъ мнѣ только о добромъ и восторженномъ раввинѣ, котораго, по опредѣленію господина Ренана, можно было любить и съ удовольствіемъ слушать... И вотъ вамъ, сколько пониманій и представленій о Томъ, Кто одинъ всѣмъ намъ на потребу! Закроемъ теперь все это и обернитесь къ углу, къ которому стоите спиною: опять ликъ Христовъ и уже на сей разъ это именно не лицо,—а ликъ. Типическое русское изображеніе Господа: взглядъ прямъ и простъ, темя возвышенное, что̀, какъ извѣстно, и по системѣ Лафатера означаетъ способность возвышеннаго богопочтенія; въ ликѣ есть выраженіе, но нѣтъ страстей. Какъ достигали такой прелести изображенія наши старые мастера? — это осталось ихъ тайной, которая и умерла вмѣстѣ съ ними и съ ихъ отверженнымъ искусствомъ. Просто—до невозможности желать простѣйшаго въ искусствѣ: черты чуть слегка означены, а впечатлѣніе полно; мужиковатъ Онъ, правда, но при всемъ томъ Ему подобаетъ поклоненіе, и какъ кому угодно, а по моему, нашъ простодушный мастеръ лучше всѣхъ *понялъ* — Кого ему надо было написать. Мужиковатъ Онъ, повторяю вамъ, и въ зимній садъ Его не позовутъ послушать канареекъ, да что̀ бѣды!—гдѣ Онъ какимъ открылся, тамъ такимъ и хо-

дитъ; а къ намъ зашелъ Онъ въ рабьемъ зракѣ и такъ и ходитъ, не имѣя, гдѣ главы приклонить отъ Петербурга до Камчатки. Знать Ему это нравится принимать съ нами поношенія отъ тѣхъ, кто пьетъ кровь Его и ее же проливаетъ. И вотъ, въ эту же мѣру, въ какую, по моему, проще и удачнѣе наше народное искусство поняло внѣшнія черты Христова изображенія, и народный духъ нашъ, можетъ быть, ближе къ истинѣ постигъ и внутреннія черты Его характера. Не хотите-ли, я вамъ разскажу нѣкоторый, можетъ быть не лишенный интереса, анекдотъ на этотъ случай.

— Ахъ, сдѣлайте милость, владыко; мы всѣ васъ просимъ объ этомъ!

— А, просите?—такъ и прекрасно: тогда и я васъ прошу слушать и не перебивать, что̀ я начну сказывать довольно издали.

Мы откашлянулись, поправились на мѣстахъ, чтобы не шевелиться, и архіерей началъ.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

— Мы должны, господа, мысленно перенестись за много лѣтъ назадъ: это будетъ относиться къ тому времени, когда я еще, можно сказать, довольно молодымъ человѣкомъ, былъ поставленъ во епископы, въ весьма отдаленную сибирскую епархію. Я былъ отъ природы нрава пылкаго и любилъ, чтобы у меня было много дѣла, а потому не только не опечалился, а даже очень обрадовался этому дальнему назначенію. Слава Богу, думалъ я, что мнѣ хотя для начала-то выпало на долю не только ставленниковъ стричь, да пьяныхъ дьячковъ разбирать, а настоящее живое дѣло, которымъ можно съ любовію заняться. Я разумѣлъ именно то наше малоуспѣшное миссіонерство, о которомъ господинъ капитанъ изволилъ вспомнить въ началѣ нашей сегодняшней бесѣды. Ѣхалъ я къ своему мѣсту, пылая рвеніемъ и съ планами самыми обширными, и сразу же было и всю свою энергію остудилъ и, что еще важнѣе, — чуть-чуть было самаго дѣла не перепортилъ, если бы мнѣ не

данъ былъ спасительный урокъ въ одномъ чудесномъ событіи.

— Чудесное!—воскликнулъ кто-то изъ слушателей, позабывъ условіе не перебивать разсказа; но нашъ снисходительный хозяинъ за это не разсердился и отвѣчалъ:

— Да, господа, обмолвясь словомъ, могу его не брать назадъ: въ томъ, что со мною случилось и о чемъ началъ вамъ разсказывать—не безъ чудесъ, и чудеса эти начали мнѣ являться чуть не съ самаго перваго дня моего прибытія въ мою полудикую епархію. Первое дѣло, съ котораго начинаетъ свою дѣятельность русскій архіерей, куда бы онъ ни попалъ, конечно есть обозрѣніе внѣшности храмовъ и богослуженія, — къ этому обратился и я: велѣлъ, чтобы вездѣ были приняты прочь съ престоловъ лишніе евангелія и кресты, благодаря которымъ эти престолы у насъ часто превращаются въ какія-то выставки магазина церковной утвари. Заказалъ себѣ столько ковриковъ съ орлецами, сколько нужно было, чтобы они лежали на своихъ мѣстахъ, чтобы не шмыгали у меня съ ними подъ носомъ, подбрасывая ихъ подъ ноги. Съ усиліемъ и подъ страхомъ штрафовъ воздерживалъ дьяконовъ не ловить меня во время служенія за локти и не забираться рядомъ со мною на горнее мѣсто, а наипаче всего не надѣлять тумаками и подзагривками бѣдныхъ ставленниковъ, у которыхъ оттого, послѣ пріятія благодати Святаго Духа, недѣли по двѣ, и загорбокъ и шея болитъ. И никто изъ васъ мнѣ не повѣритъ, сколько все это стоитъ труда и какія приноситъ досады, особенно человѣку нетерпѣливому, какимъ я тогда былъ и остаюсь таковымъ же, къ моему стыду, отчасти и доселѣ. Окончилось съ этимъ,—надо было приниматься за второе архіерейское дѣло первой важности: удостовѣриться, умѣютъ-ли причетники читать, хоть ужъ если не по писанному, то, по крайней мѣрѣ, по печатному. Эти экзамены долго меня заняли и сильно досаждали мнѣ, а порою и смѣшили. Безграмотный, или, по крайней мѣрѣ, «*неписьменный*» дьячокъ или пономарь и теперь еще, пожалуй,

отыщется въ селѣ или въ уѣздномъ городишкѣ и внутри Россіи, что и оказалось, когда имъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, пришлось въ первый разъ росписываться въ полученіи жалованья. Но тогда,—во время оно, да еще въ Сибири,—это было явленіе самое обыкновенное. Я ихъ велѣлъ учить; они на меня, разумѣется, плакались, и прозвали меня «лютымъ»; приходы жаловались, что нѣтъ чтецовъ, что архіерей «церкви разоряетъ». Что̀ тутъ дѣлать! я сталъ отпускать на мѣста такихъ дьячковъ, которые хоть на память читать умѣли, и—о Боже!—что за людей я видѣлъ! Косые, хромые, гугнявые, юродивые и даже... какіе-то одержимые. Одинъ, вмѣсто «Пріидите, поклонимся Цареви Нашему Богу», закрывъ глаза, какъ перепелъ, колотилъ: «плитимбоу, плитимбоу» и заливался этимъ такъ, что удержать его невозможно. Другой — уже это именно былъ одержимый,—онъ такъ искусился въ скорохватѣ, что съ какимъ нибудь извѣстнымъ словомъ у него являлась своя ассоціація идей, которой онъ никакъ не могъ не подчиняться. Такое слово для него было, напримѣръ, «на небеси». Начнетъ читать: «Иже на всякое время, на всякій часъ на небеси»... и вдругъ у него что-то въ головѣ защелкнетъ, и онъ продолжаетъ: «да святится Имя Твое, да пріидетъ царствіе». Что я съ этимъ тираномъ ни мучился, все было тщетно! Велѣлъ ему по книгѣ читать,—читаетъ: «Иже на всякое время, на всякій часъ на небеси», но вдругъ закрылъ книгу и пошелъ «да святится имя Твое», и залапоталъ до конца, и возглашаетъ «отъ лукаваго». Только тутъ и остановиться могъ: оказалось, что онъ не умѣетъ читать. За грамотностью дьячковъ очередь переходитъ къ благонравію семинаристовъ и опять начинаются чудеса. Семинарія была до того распущена, воспитанники пьянствовали и до того безчинствовали, что, напримѣръ, одинъ философъ, при инспекторѣ, кончая вечернія молитвы, прочелъ: «упованіе мое, Отецъ, прибѣжище мое Сынъ, покровъ мой Духъ Святый: Троица Святая,—*мое вамъ почтеніе*»; а въ богословскомъ классѣ другая исторія: одинъ послѣ

обѣда благодаритъ, «яко насытилъ земныхъ благъ», и проситъ не лишить и «небеснаго царствія», а ему изъ толпы кричатъ: Свинья! нажрался, да еще въ царство небесное просишься».

Надо было подыскать какъ можно скорѣе инспектора, подходящаго подъ мой духъ, — тоже лютаго; при большой спѣшности и небольшомъ выборѣ попался такой: лютости въ немъ оказалось довольно, но уже за то ничего другого не спрашивай.

— Я, говоритъ, ваше преосвященство, приму все это по-военному, чтобы сразу...

— Хорошо, отвѣчаю, примись по-военному...

Онъ и принялся и съ того началъ, что молитвы распорядился не читать, но пѣть хоромъ, дабы устранить всякія шалости, и то пѣть по его командѣ. Взойдетъ онъ при полномъ молчаніи и, пока не скомандуетъ, всѣ безмолвствуютъ; скомандуетъ: «молитву!» и запоютъ. Но этотъ уже очень «по-военному» уставилъ; скомандуетъ «молит-в-у-у!» Семинаристы только запоютъ «Очи всѣхъ Господи на Тя упов...»—онъ на половинѣ слова кричитъ: «Ст-о-ой» и подзываетъ одного:

— Фроловъ, поди сюда!

Тотъ подходитъ.

— Ты Багрѣевъ?

— Нѣтъ-съ, я Фроловъ.

— А-а: ты Фроловъ?! Отчего же это я думалъ, что ты Багрѣевъ?

Опять хохотъ и опять ко мнѣ жалобы. Нѣтъ, вижу—не годится этотъ съ военными пріемами, и нашелъ кое-какъ цивилиста, который былъ хотя не столь лютъ, но благоразумнѣе дѣйствовалъ: передъ учениками притворялся самымъ слабымъ добрякомъ, а мнѣ все ябедничалъ и повсюду разсказывалъ ужасы о моемъ звѣрствѣ. Я это зналъ и, видя, что эта мѣра оказывается дѣйствительною, не претилъ его системѣ.

Насилу этихъ своею «лютостію» въ повиновеніе при-

велъ, въ зрѣломъ возрастѣ чудеса пошли: доносятъ мнѣ, что въ соборнаго протоіерея возъ сѣна въ середину въѣхалъ и не можетъ выѣхать. Посылаю узнавать; говоритъ: дѣйствительно такъ. Протопопъ былъ тучный; послѣ обѣдни крестилъ въ купеческомъ домѣ и вдоволь облѣпихою угостился, а что отъ этой облѣпихи, что отъ другой тамошней ягоды, дикуши, хмѣль самый тяжелый и глупый. То и съ этимъ сталось: пришелъ домой, часа четыре заснулъ, всталъ и, выпивъ жбанъ квасу, легъ грудью на окно, чтобы поговорить съ кѣмъ-то, кто внизу стоялъ, и вдругъ... возъ съ сѣномъ въ него въѣхалъ. Вѣдь все это глупое такое, что даже противно сдѣлается, а раздѣлается, такъ, пожалуй, еще противнѣй станетъ. На другой день келейникъ подаетъ мнѣ сапоги и докладываетъ, что «слава Богу, говоритъ, изъ отца протопопа возъ съ сѣномъ уже выѣхалъ».

— Очень радъ, говорю, таковой радости; но подай-ка мнѣ эту исторію обстоятельно.

Оказывается, что протопопъ, имѣвшій двухъ-этажный домъ, легъ на окно, подъ которымъ были ворота, и въ нихъ въ эту минуту въѣхалъ возъ съ сѣномъ, причемъ ему, отъ облѣпихи и отъ сна до одури, показалось, что это въ него въѣхало. Невѣроятно, но, однако, такъ было: credo, quia absurdum.

Какъ же сего дивотворнаго мужа спасли.

А тоже дивотворно: встать онъ ни за что не соглашался, потому что въ немъ возъ сидитъ; лѣкарь не находилъ лѣкарства противъ сего недуга. Тогда шаманку призвали; та повертѣлась, постучала и велѣла на дворѣ возъ сѣна наложить и назадъ выѣхать; больной принялъ, что это изъ него выѣхало, и исцѣлѣлъ.

Ну, послѣ этого дѣлайте съ нимъ, что хотите, а онъ свое уже сдѣлалъ: и людей насмѣшилъ, и шаманку призвалъ идольскими чарами его пользовать; а такія вещи тамъ не въ мѣшечкѣ лежатъ, а по дорожкѣ бѣжатъ. «Что-де попы, — они ничего не значатъ и сами нашихъ шамановъ зовутъ шайтана отгонять». И идутъ себѣ да идутъ

этакія глупости. Долго я приправлялъ, какъ могъ, сіи дымящія лампады, и приходская часть мнѣ черезъ нихъ невыносимо надокучила; но за то насталъ давно желанный и вожделѣнный мигъ, когда я могъ всего себя посвятить трудамъ по просвѣщенію дикихъ овецъ моей паствы, пасущихся безъ пастыря.

«Забралъ я себѣ всѣ касающіяся этой части бумаги и присѣлъ за нихъ вплотную, такъ что и отъ стола не отхожу».

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Ознакомясь съ миссіонерскими отчетностями, я остался всею дѣятельностію недоволенъ болѣе, чѣмъ дѣятельностію моего приходскаго духовенства: обращеній въ христіанство было чрезвычайно мало, да и то ясно было, что добрая доля этихъ обращеній значилась только на бумагѣ. На самомъ же дѣлѣ одни изъ крещенныхъ снова возвращались въ свою прежнюю вѣру, — ламайскую или шаманскую; а другіе дѣлали изъ всѣхъ этихъ вѣръ самое странное и нелѣпое смѣшеніе: они молились и Христу съ Его апостолами, и Буддѣ съ его буддисидами, да тенгеринами, и войлочнымъ сумочкамъ съ шаманскими ангонами. Двоевѣріе держалось не у однихъ кочевниковъ, а почти и повсемѣстно въ моей паствѣ, которая не представляла отдѣльной вѣтви какой нибудь одной народности, а какіе-то щепы и осколки Богъ вѣсть когда и откуда сюда попавшихъ племенныхъ разновидностей, бѣдныхъ по языку и еще болѣе бѣдныхъ по понятіямъ и фантазіи. Видя, что все, касающееся миссіонерства, находится здѣсь въ такомъ хаосѣ, я возымѣлъ объ этихъ моихъ сотрудникахъ мнѣніе самое невыгодное и обошелся съ ними нетерпѣливо сурово. Вообще, я сталъ очень раздражителенъ, и данное мнѣ прозвище «лютаго» начало мнѣ приличествовать. Особенно испыталъ на себѣ печать моего гнѣвливаго нетерпѣнія бѣдный монастырекъ, который я избралъ для своего жительства и при которомъ желалъ основать школу для мѣст-

ныхъ инородцевъ. Разспросивъ чернецовъ, я узналъ, что въ городѣ почти всѣ говорятъ по-якутски, но изъ моихъ иноковъ изо всѣхъ по-инородчески говоритъ только одинъ очень престарѣлый іеромонахъ, отецъ Киріакъ, да и тотъ къ дѣлу проповѣди не годится, а если и годится, то, хоть его убей, не хочетъ идти къ дикимъ проповѣдывать.

— Что это, спрашиваю, за ослушникъ, и какъ онъ смѣетъ? Сказать ему, что я этого не люблю и не потерплю.

Но экклезіархъ мнѣ отвѣчаетъ, что слова мои передастъ, но послушанія отъ Киріака не ожидаетъ, потому что это уже ему не первое:—что и два мои быстро другъ за другомъ смѣнившіеся предмѣстника съ нимъ строгость пробовали, но онъ уперся и одно отвѣчаетъ:

— «Душу за моего Христа положить радъ, а крестить тамъ (то есть въ пустыняхъ) не стану». Даже, говоритъ, самъ просилъ лучше сана его лишить, но туда не посылать. И отъ священнодѣйствія много лѣтъ былъ за это ослушаніе запрещенъ, но нимало тѣмъ не тяготился, а напротивъ, съ радостью несъ самую простую службу: то сторожемъ, то въ звонарнѣ. И всѣми любимъ: и братіей, и мірянами, и даже язычниками.

— Какъ? удивляюсь: неужто даже и язычниками?

— Да, владыко, и язычники къ нему иные заходятъ.

— За какимъ же дѣломъ?

— Уважаютъ его какъ-то изстари, когда еще онъ на проповѣдь ѣздилъ въ прежнее время.

— Да каковъ онъ былъ въ то, въ прежнее-то время?

— Прежде самый успѣшный миссіонеръ былъ и множество людей обращалъ.

— Что же ему такое сдѣлалось? отчего онъ бросилъ эту дѣятельность?

— Понять нельзя, владыко; вдругъ ему что-то приключилось: вернулся изъ степей, принесъ въ алтарь мѵрницу и дароносицу и говоритъ:—Ставлю и не возьму опять, доколѣ не придетъ часъ.

— Какой же ему нуженъ часъ? что онъ подъ симъ разумѣетъ.

— Не знаю, владыко.

— Да неужто же вы у него никто этого не добивались? О, роде лукавый, доколѣ живу съ вами и терплю васъ? Какъ васъ это ничто дѣла касающееся не интересуетъ? Попомните себѣ, что если тѣхъ, кои ни горячи, ни холодны, Господь обѣщалъ изблевать съ устъ своихъ, то чего удостоитесь вы, совершенно холодные?

Но мой экклезіархъ оправдывается:

— Всячески, говоритъ, владыко, мы у него любопытствовали, но онъ одно отвѣчаетъ: — «Нѣтъ, говоритъ, дѣтушки, это дѣло не шутка,—это страшное... я на это смотрѣть не могу».

А что такое страшное, на это экклезіархъ не могъ мнѣ ничего обстоятельнаго отвѣтить, а сказалъ только, что «полагаемъ-де такъ, что отцу Киріаку при проповѣди какое-либо откровеніе было». Меня это разсердило. Признаюсь вамъ, я недолюбливаю этотъ ассортиментъ «слывущихъ», которые вживѣ чудеса творятъ и непосредственными откровеніями хвалятся, и причины имѣю ихъ недолюбливать. А потому я сейчасъ же потребовалъ этого строптиваго Киріака къ себѣ и, не довольствуясь тѣмъ, что уже достаточно слылъ грознымъ и лютымъ, взялъ да еще принасупился: былъ готовъ опалить его гнѣвомъ, какъ только покажется. Но пришелъ къ моимъ очамъ монашекъ, такой маленькій, такой тихій, что не на кого и взоровъ метать; одѣтъ въ облинялой коленкоровой ряскѣ, клобукъ толстымъ сукномъ покрытъ, собой черненькій, востролицынькій, а входитъ бодро, безъ всякаго подобострастія, и первый меня привѣтствуетъ:

— Здравствуй, владыко!

Я не отвѣчаю на его привѣтствіе, а начинаю сурово:

— Ты что это здѣсь чудишь, пріятель?

— Какъ, говоритъ, владыко? Прости, будь милостивъ: я маленько на ухо тугъ—не все дослышалъ:

Я еще погромче повторилъ.

— Теперь, молъ, понялъ?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, ничего не понялъ.

— А почему ты съ проповѣдью идти не хочешь и крестить инородцевъ избѣгаешь?

— Я, говоритъ, владыко, ѣздилъ и крестилъ, пока опыта не имѣлъ.

— Да, молъ; а опытъ получивши и пересталъ?

— Пересталъ.

— Что же сему за причина?

Вздохнулъ и отвѣчаетъ:

— Въ сердцѣ моемъ сія причина, владыко, и Сердцевѣдецъ ее видитъ, что велика она и мнѣ, немощному, непосильна... Не могу!

И съ симъ въ ноги мнѣ поклонился.

Я его поднялъ и говорю:

— Ты мнѣ не кланяйся, а объясни: что ты откровеніе, что-ли, какое получилъ, или съ самимъ Богомъ бесѣдовалъ?

Онъ съ кроткою укоризною отвѣчаетъ:

— Не смѣйся, владыко; я не Моисей, Божій избранникъ, чтобы мнѣ съ Богомъ бесѣдовать; тебѣ грѣхъ такъ думать.

Я устыдился своего пыла и смягчился, и говорю ему:

— Такъ что же? за чѣмъ дѣло?

— А за тѣмъ, видно, и дѣло, отвѣчаетъ, что я не Моисей, что я, владыко, робокъ и свою силу-мѣру знаю: изъ Египта-то языческаго я вывесть—выведу, а Чермнаго моря не разсѣку и изъ степи не выведу, и воздвигну простыя сердца на ропотъ къ преобидѣ Духа Святаго.

Видя этакую образность въ его живой рѣчи, я было заключилъ, что онъ, вѣроятно, самъ изъ раскольниковъ, и спрашиваю:

— Да ты самъ-то какимъ чудомъ въ единеніе съ Церковью приведенъ?

— Я, отвѣчаетъ, въ единеніи съ нею съ моего младенчества и пребуду въ немъ даже до гроба.

И разсказалъ мнѣ препростое и престранное свое происхожденіе. Отецъ у него былъ попъ, рано овдовѣлъ; повѣнчалъ какую-то незаконную свадьбу и былъ лишенъ мѣста, да такъ, что всю жизнь потомъ не могъ себѣ его нигдѣ отыскать, а состоялъ при нѣкоей пожилой важной дамѣ, которая всю жизнь съ мѣста на мѣсто ѣздила и, боясь умереть безъ покаянія, для этого случая сего попа при себѣ возила. Ѣдетъ она,—онъ на передней лавочкѣ съ нею въ каретѣ сидитъ; а она въ домъ войдетъ,—онъ въ передней съ лакеями ее ожидаетъ. И можете себѣ вообразить человѣка, у котораго этакая была вся жизнь! А между тѣмъ, онъ, не имѣя уже своего алтаря, питался буквально отъ своей дароносицы, которая съ нимъ за пазухою путешествовала, и на сынишку онъ у этой дамы какія-то крохи вымаливалъ, чтобы въ училищѣ его содержать. Такъ они и въ Сибирь попали: барыня сюда поѣхала дочь навѣстить, которая была тутъ за губернаторомъ замужемъ, и попа съ дароносицей на передней лавочкѣ привезла. Но какъ путь былъ далекій, да къ тому же еще барыня тутъ долго оставаться собиралась, то попикъ, любя сынишку, не соглашался безъ него ѣхать. Барыня подумала, подумала — и, видя, что ей родительскихъ чувствъ не переупрямить, согласилась и взяла съ собою и мальчишку. Такъ онъ сзади за каретою переѣхалъ изъ Европы въ Азію, имѣя при семъ путевымъ долгомъ охранять своимъ присутствіемъ привязанный на запяткахъ чемоданъ, на которомъ и самого его привязали, дабы сонный не свалился. Тутъ и его барыня, и его отецъ умерли, а онъ остался, за бѣдностію курса не кончилъ, въ солдаты попалъ, этапъ водилъ. Имѣя мѣткій глазъ, по приказанію начальства, не цѣлясь, въ догонъ за какимъ-то бѣглымъ пулю пустилъ и безъ всякаго желанія, на свое горе, убилъ того, и съ той поры онъ все страдалъ, все мучился и, сдѣлавшись негоднымъ къ службѣ, въ монахи пошелъ, гдѣ его отличное поведеніе было замѣчено, а знаніе инородческаго языка и его религіозность побудили склонить его къ миссіонерству.

Выслушалъ я эту простую, но трогательную повѣсть старика и стало мнѣ его до жуткости жалко, и чтобы перемѣнить съ нимъ тонъ, я ему говорю:

— Такъ, стало быть, это, что подозрѣваютъ, будто ты чудеса какія нибудь видѣлъ, это неправда?

Но онъ отвѣчаетъ.

— Отчего же, владыко, неправда?

— Какъ?.. такъ ты видѣлъ чудеса?

— Кто же, владыко, чудесъ не видѣлъ?

— Однако?

— Что однако? Куда ни глянь—все чудо: вода ходитъ въ облакѣ, воздухъ землю держитъ, какъ перышко; вотъ мы съ тобою прахъ и пепелъ, а движимся и мыслимъ, и то мнѣ чудесно; а умремъ и прахъ разсыпется, а духъ пойдетъ къ Тому, Кто его въ насъ заключилъ. И то мнѣ чудно: какъ онъ нагъ безо всего пойдетъ? кто ему крыла дастъ яко голубицѣ, да полетитъ и почіетъ?

— Ну, это-то, молъ, мы оставимъ другимъ разсуждать, а ты скажи мнѣ, не виляя умомъ: не было ли съ тобою въ жизни какихъ либо необычайныхъ явленій, или чего иного въ семъ родѣ?

— Было отчасти и это.

— Что же такое?

— Очень, говоритъ, владыко, съ дѣтства я былъ взысканъ Божіей милостію и недостойно получалъ дважды чудесныя заступленія.

— Гм? разсказывай.

— Первый разъ это было, владыко, въ сущемъ младенчествѣ. Въ третьемъ классѣ я былъ еще и очень мнѣ въ поле гулять идти хотѣлось. Мы, трое мальчишекъ, пошли у смотрителя рекреацію просить, да не выпросили и рѣшились солгать, а зачинщикъ всему тому я былъ. «Давай, говорю, ребята, всѣхъ обманемъ, побѣжимъ и закричимъ: отпустилъ, отпустилъ!» Такъ и сдѣлали; всѣ съ нашего слова и разбѣжались изъ классовъ и пошли гулять и купаться, да рыбченку ловить. А къ вечеру на меня страхъ

и напалъ: что мнѣ будетъ, какъ домой вернемся?—запоретъ смотритель. Прихожу и гляжу—уже и розги въ лохани стоятъ; я скорѣй драла, да въ баню, спрятался подъ полокъ, да и ну молиться: «Господи! хотя нельзя, чтобы меня не пороть, но сдѣлай, чтобы не пороли!» И такъ усердно объ этомъ въ жару вѣры молился, что даже запотѣлъ и обезсилѣлъ; но тутъ вдругъ на меня чудной прохладой тихой повѣяло и у сердца какъ голубокъ тепленькій зашевелился, и сталъ я вѣрить въ невозможность спасенія какъ въ возможное, и покой ощутилъ и такую отвагу, что вотъ не боюсь ничего, да и кончено! И взялъ да и спать легъ: а просыпаюсь, слышу, товарищи-ребятишки весело кричатъ: «Кирюшка! Кирюшка! гдѣ ты? вылѣзай скорѣй,—тебя пороть не будутъ, ревизоръ пріѣхалъ и насъ гулять отпустилъ».

— Чудо, говорю, твое простое.

— Просто и есть, владыко, какъ сама Троица во единицѣ—простое существо, отвѣчалъ онъ и съ неописаннѣйшимъ блаженствомъ во взорѣ добавилъ:

— Да вѣдь какъ я, владыко, Его чувствовалъ-то! Какъ пришелъ-то Онъ, батюшка мой, отрадненькій! удивилъ и обрадовалъ. Самъ суди: всей вселенной Онъ не обхватитъ, а видя ребячью скорбь, подъ банный полочекъ къ мальченкѣ подползъ въ дусѣ хлада тонка и за пазушкой обкталъ...

Я вамъ долженъ признаться, что я болѣе всякихъ представленій о Божествѣ люблю этого, нашего *русскаго Бога*, который творитъ себѣ обитель «за пазушкой». Тутъ, что намъ господа греки ни толкуй, и какъ ни доказывай, что мы имъ обязаны тѣмъ, что и Бога черезъ нихъ знаемъ,—а не они намъ Его открыли:—не въ ихъ пышномъ византійствѣ мы обрѣли Его въ дымѣ кажденій, а Онъ у насъ свой притоманный и по нашему, по просту, всюду ходитъ, и подъ банный полочекъ безъ ладана въ дусѣ хлада тонка проникнетъ, и за теплой пазухой голубкомъ пріоборкается.

— Продолжай, говорю, отецъ Киріакъ,—о другомъ чудѣ разсказа жду.

— Сейчасъ и про другое, владыко. Это было, какъ я сталъ уже дальше отъ Него, помаловѣрнѣе,—это было, какъ я сюда за каретою ѣхалъ. Взять меня надо было изъ россійскаго училища и сюда перевести передъ самымъ экзаменомъ. Я не боялся, потому что первымъ ученикомъ былъ и меня бы безъ экзамена въ семинарію приняли; а смотритель возьми, да и напиши мнѣ свидѣтельство во всемъ *посредственное.* «Это, говоритъ, нарочно, для нашей славы, чтобы тебя тамъ экзаменовать стали и увидали, каковыхъ мы за посредственныхъ считаемъ». Горе было намъ съ отцомъ ужасное; а къ тому же, хотя отецъ меня и заставлялъ, чтобы я дорогою, на запяткахъ сидя, учился, но я разъ заснулъ и, черезъ рѣчку вбродъ переѣзжая, всѣ книжки свои потерялъ. Самъ горько плачучи, отецъ прежестоко меня за это на постояломъ дворѣ выпоролъ; а все таки, пока мы до Сибири доѣхали, я все позабылъ и начинаю опять по ребячьи молиться: «Господи, помоги! сдѣлай, чтобы меня безъ экзамена приняли». Нѣтъ; какъ Его ни просилъ, посмотрѣли на мое свидѣтельство и велѣли на экзаменъ идти. Прихожу печальный; всѣ ребята веселые и въ чехарду другъ черезъ дружку прыгаютъ,—одинъ я такой, да еще другой, тощій-претощій мальчишка сидитъ, не учится, такъ, отъ слабости, говоритъ, «лихорадка забила». А я сижу, гляжу въ книгу и начинаю въ умѣ перекоряться съ Господомъ: «ну, что же? думаю, вѣдь ужъ какъ я Тебя просилъ, а Ты вотъ ничего и не сдѣлалъ!» И съ этимъ всталъ, чтобы пойти воды напиться, а меня какъ что-то по самой серединѣ камеры хлопъ по затылку и на полъ бросило... Я подумалъ: это вѣрно за наказаніе! помочь-то Богъ мнѣ ничего не помогъ, а вотъ еще и ударилъ. Анъ, смотрю, нѣтъ: это просто тотъ больной мальчикъ черезъ меня прыгнуть вздумалъ, да не осилилъ, и самъ упалъ и меня сбилъ. А другіе мнѣ говорятъ: «гляди-ка, чужакъ, у тебя рука-то мотается». Попробовалъ, а рука сломана. Повели меня въ больницу и положили, а

отецъ туда пришелъ и говоритъ: «не тужи, Кирюша, тебя за то теперь безъ экзамена приняли». Тутъ я и понялъ, какъ Богъ-то все устроилъ, и плакать сталъ... А экзаменъ-то легкій, прелегкій былъ, такъ что я его шутя бы и выдержалъ. Значитъ: не зналъ я, дурачокъ, чего просилъ, но и то исполнено, да еще съ вразумленіемъ.

— Ахъ ты, говорю, отецъ Киріакъ, отецъ Киріакъ? да ты человѣкъ преутѣшительный!.. Расцѣловалъ я его неоднократно, отпустилъ, и, ни о чемъ болѣе не разспрашивая, велѣлъ ему съ завтрашняго же дня ходить ко мнѣ, учить меня тунгузскому и якутскому языку.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Но отступивъ со своею суровостію отъ Киріака, я за то напустился на прочихъ монаховъ своего монастырька, отъ коихъ, по правдѣ сказать, не видалъ ни Киріакова простодушія и никакого дѣла на службу вѣры полезнаго: живутъ себѣ этакимъ, такъ сказать, форпостомъ христіанства въ краю язычниковъ, а ничего, лѣнивцы, не дѣлаютъ, — даже языку туземному ни одинъ не озаботился научиться.

Щунялъ я ихъ, щунялъ келейно и, наконецъ, съ амвона на нихъ громыхнулъ словомъ царя Ивана къ преподобному Гурію, что «напрасно де именуютъ чернецовъ ангелами,— нѣтъ имъ съ ангелами сравненія, ни какого либо подобія, а должны они уподобляться апостоламъ, которыхъ Христосъ послалъ учить и крестить!»

Киріакъ приходитъ ко мнѣ на другой день урокъ давать и прямо мнѣ въ ноги:

— Что ты? что ты? говорю, подымая его; учителю благій, тебѣ это не довлѣетъ ученику въ ноги кланяться.

— Нѣтъ, владыко, ужъ очень ты меня утѣшилъ, такъ утѣшилъ, что я и въ жизнь не чаялъ такого утѣшенія!

— Да чѣмъ, говорю, божій человѣкъ, ты такъ мною обрадованъ?

— А что велишь монахамъ учиться, да идучи *впередъ учить, а потомъ крестить*; ты правъ, владыко, что та-

кой порядокъ устроилъ, его и Христосъ велѣлъ и приточникъ поучаетъ: «идѣже нѣсть ученія души, нѣсть добра». Крестить-то они всѣ могучи, а обучить слову нѣтяги.

— Ну, ужъ это, говорю, ты меня, братъ, кажется шире понялъ, чѣмъ я говорилъ; эдакъ, вѣдь, по твоему и дѣтей бы не надо крестить.

— Дѣти христіанскія другое дѣло, владыко.

— Ну да; и предковъ бы нашихъ князь Владиміръ не окрестилъ, еслибы долго отъ нихъ наученности ждалъ.

А онъ мнѣ отвѣчаетъ:

— Эхъ, владыко, да вѣдь и впрямь бы ихъ, можетъ, прежде поучить лучше было. А то, самъ, чай, въ лѣтописи читалъ,—все больно скоро варомъ вскипѣло, «понеже благочестіе его со страхомъ бѣ сопряжено». Платонъ митрополитъ мудро сказалъ: «Владиміръ поспѣшилъ, а греки слукавили,—невѣждъ ненаученыхъ окрестили». Что намъ ихъ спѣшкѣ съ лукавствомъ слѣдовать? вѣдь они, знаешь, «льстивы даже до сего дня». И такъ, во Христа-то мы крестимся, да во Христа не облекаемся. Тщетно это такъ крестить, владыко!

— Какъ, говорю, тщетно, отецъ Киріакъ, что ты это, батюшка, проповѣдуешь?

— А что же, отвѣчаетъ, владыко? — вѣдь это благочестивой тростью писано, что одно водное крещеніе невѣждѣ къ пріобрѣтенію жизни вѣчной не служитъ.

Посмотрѣлъ я на него и говорю серьезно.

— Послушай, отецъ Киріакъ, вѣдь ты еретичествуешь.

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, во мнѣ нѣтъ ереси, я по тайноводству святого Кирилла Іерусалимскаго правовѣрно говорю: «Симонъ волхвъ въ купѣли тѣло омочи водою, но сердце не просвѣти духомъ, и сниде, и изыде тѣломъ, а душою не спогребеся, и не возста». Что окрестился, что выкупался, все равно христіаниномъ не былъ. Живъ Господь и жива душа твоя, владыко,—вспомни, развѣ не писано: будутъ и крещеные, которые услышатъ «не вѣмъ васъ», и некрещеные, которые отъ дѣлъ совѣсти оправдятся и внидутъ, яко

хранившіе правду и истину. Неужели же ты сіе отметаешь?

Ну, думаю, подождемъ объ этомъ бесѣдовать, и говорю:

— Давай-ка, говорю, братъ, не іерусалимскому, а дикарскому языку учиться, бери указку, да не больно сердись, если я не толковъ буду.

— Я не сердитъ, владыко, отвѣчаетъ.—И точно, удивительно былъ благодушный и откровенный старикъ и прекрасно училъ меня. Толково и быстро открылъ онъ мнѣ всѣ таинства, какъ постичь эту молвь, такую бѣдную и немногословную, что ее едва ли можно и языкомъ назвать. Во всякомъ разѣ это не болѣе какъ языкъ жизни животной, а не жизни умственной; а между тѣмъ усвоить его очень трудно: обороты рѣчи, краткіе и непеpіодическіе, дѣлаютъ крайне затруднительнымъ переводы на эту молвь всякаго текста, изложеннаго по правиламъ языка выработаннаго, со сложными паріодами и подчиненными предложеніями; а выраженія поэтическія и фигуральныя на него вовсе не переводимы, да и понятія, ими выражаемыя, остались бы для этого бѣднаго люда недоступны. Какъ разсказать имъ смыслъ словъ: «будьте хитры, какъ зміи, и незлобивы, какъ голуби», когда они и ни змѣи, и ни голубя никогда не видали и даже представить ихъ себѣ не могутъ. Нельзя имъ подобрать словъ: ни мученикъ, ни креститель, ни предтеча, а Пресвятую Дѣву, если перевести по ихнему словами *шочмо Абя*, то выйдетъ не наша Богородица, а какое-то шаманское божество женскаго пола,— короче сказать, — *богиня*. Про заслуги же св. крови, или про другія тайны вѣры еще труднѣе говорить, а строить имъ какую-нибудь богословскую систему, или просто слово молвить о рожденіи безъ мужа, отъ дѣвы, — и думать нечего:—они или ничего не поймутъ, и это самое лучшее, а то, пожалуй, еще прямо въ глаза расхохочутся.

Все это мнѣ передалъ Киріакъ и передалъ такъ превосходно, что я, узнавъ духъ языка, постигъ и весь духъ этого бѣднаго народа; и что всего мнѣ было самому надъ собою забавнѣе, что Киріакъ съ меня самымъ незамѣт-

нымъ образомъ всю мою напускную суровость сбилъ: между нами установились отношенія самыя пріятныя, легкія и такія шутливыя, что я, держась сего шутливаго тона, при концѣ своихъ уроковъ, велѣлъ горшокъ каши сварить, положилъ на него серебряный рубль денегъ, да чернаго сукна на рясу, и понесъ все это, какъ выученикъ, къ Киріаку въ келью.

Онъ жилъ подъ колокольнею въ такой маленькой кельѣ, что какъ я вошелъ туда, такъ двоимъ и повернуться негдѣ, а своды прямо на темя давятъ; но все тутъ опрятно, и даже на полутемномъ окнѣ съ рѣшеткою, въ разбитомъ варистомъ горшкѣ, астра цвѣтетъ.

Киріака я засталъ за дѣломъ, — онъ низалъ что-то изъ рыбьей чешуи и нашивалъ на холстикъ.

— Что ты это, говорю, стряпаешь?

— Уборчики, владыко.

— Какіе уборчики?

— А вотъ дѣвчонкамъ маленькимъ дикарскимъ уборчики: онѣ на ярмарку пріѣзжаютъ, я имъ и дарю.

— Это ты язычницъ невѣрныхъ радуешь?

— И-и, владыко! полно-ка тебѣ все такъ: «невѣрные», да «невѣрные»; всѣхъ одинъ Господь создалъ; жалѣть ихъ, слѣпыхъ, надо.

— Просвѣщать, отецъ Киріакъ.

— Просвѣтить, говоритъ, хорошо это, владыко, просвѣтить. Просвѣти, просвѣти,—и зашепталъ: «да просвѣтится свѣтъ твой предъ человѣки, когда увидятъ добрыя твоя дѣла».

— А я вотъ, говорю, къ тебѣ съ поклономъ пришелъ и за выучку горшокъ каши принесъ.

— Ну, что же, хорошо, говоритъ; садись же и самъ при горшкѣ посиди,—гость будешь.

Усадилъ онъ меня на обрубочекъ, самъ сѣлъ на другой, а кашу мою на скамью поставилъ и говоритъ:

— Ну, покушай у меня, владыко; твоимъ же добромъ да тебѣ же челомъ.

Стали мы ѣсть со старикомъ кашу и разговорились.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

Меня, по правдѣ сказать, очень занимало, что такое отклонило Киріака отъ его успѣшной миссіонерской дѣятельности и заставило такъ странно, по тогдашнему моему взгляду,—почти преступно, или, во всякомъ случаѣ, соблазнительно относиться къ этому дѣлу.

— О чемъ, говорю, станемъ бесѣдовать? — къ доброму привѣту хороша и бесѣда добрая. Скажи же мнѣ: не знаешь ли ты, какъ намъ научить вѣрѣ вотъ этихъ инородцевъ. которыхъ ты все подъ свою защиту берешь?

— А учить надо, владыко, учить, да отъ добраго житія примѣръ имъ показать.

— Да гдѣ же мы съ тобою ихъ будемъ учить?

— Не знаю, владыко; къ нимъ бы надо съ наученіемъ идти.

— То-то и есть.

— Да, учить надо, владыко; и утромъ сѣять сѣмя, и вечеромъ не давать отдыха рукѣ,—все сѣять.

— Хорошо говоришь,—отчего же ты такъ не дѣлаешь?

— Освободи, владыко, не спрашивай.

— Нѣтъ, ужъ разскажи.

— А требуешь разсказать, такъ поясни: зачѣмъ мнѣ туда идти?

— Учить и крестить.

— Учить?—учить-то, владыко, неспособно.

— Отчего? врагъ, что ли, не даетъ?

— Нѣ-ѣтъ! что̀ врагъ, — велика ли онъ для крещенаго человѣка особа: его однимъ пальчикомъ перекрести, онъ и сгинетъ; а вражки мѣшаютъ,—вотъ бѣда!

— Что это за вражки?

— А вотъ куцые одѣтели, отцы благодѣтели, приказные, чиновные, съ приписью подъячіе.

— Эти, стало быть, самого врага сильнѣй?

— Какъ же можно: сей родъ, знаешь, ничѣмъ не изымается, даже ни молитвою, ни постомъ.

— Ну, такъ надо, значитъ, просто крестить, какъ всѣ крестятъ.

— Крестить... проговорилъ за мною Киріакъ, и—вдругъ замолчалъ и улыбнулся.

— Что же? продолжай.

Улыбка сошла съ губъ Киріака и онъ съ серьезною и даже суровою миной добавилъ:

— Нѣтъ, я скорохватомъ не хочу это дѣлать, владыко.

— Что-о-о!

— Я не хочу этого такъ дѣлать, владыко, вотъ что! — отвѣчалъ онъ твердо и опять улыбнулся.

— Чего ты смѣешься? говорю. А если я тебѣ велю крестить?

— Не послушаю, отвѣчалъ онъ, добродушно улыбнувшись и, фамильярно хлопнувъ меня рукою по колѣну, заговорилъ:

— Слушай, владыко: читалъ ты или нѣтъ,—есть въ житіяхъ одна славная повѣсть.

Но я его перебилъ и говорю:

— Поосвободи, пожалуйста, меня съ житіями: здѣсь о словѣ Божіемъ, а не о преданіяхъ человѣческихъ. Вы, чернецы, знаете, что въ житіяхъ можно и того, и другого достать, и потому и любите все изъ житій хватать.

А онъ отвѣчаетъ:

— Дай же мнѣ, владыко, кончить; можетъ, я и изъ житій что нибудь прикладно скажу.

И разсказалъ старую исторію изъ первыхъ христіанскихъ вѣковъ о двухъ друзьяхъ, — христіанинѣ и язычникѣ, изъ коихъ первый часто говорилъ послѣднему о христіанствѣ и такъ ему этимъ надокучилъ, что тотъ, будучи до тѣхъ поръ равнодушенъ, вдругъ сталъ ругаться и изрыгать самыя злыя хулы на Христа и на христіанство, а при этомъ его подхватилъ конь и убилъ. Другъ, христіанинъ, видѣлъ въ этомъ чудо и былъ въ ужасѣ, что другъ его, язычникъ, оставилъ жизнь въ такомъ враждебномъ ко Христу настроеніи. Христіанинъ сокрушался объ этомъ и горько плакалъ,

говоря: лучше бы я ему совсѣмъ ничего о Христѣ не говорилъ,—онъ бы тогда на Него не раздражался и отвѣта бы въ томъ не далъ. Но, къ утѣшенію его, онъ извѣстился духовно, что другъ его принятъ Христомъ, потому что когда язычнику никто не докучалъ настойчивостію, то онъ самъ съ собою размышлялъ о Христѣ и призвалъ Его въ своемъ послѣднемъ вздохѣ.

— А Тотъ, говоритъ, тутъ и былъ у его сердца: сейчасъ и обнялъ и обитель далъ.

— Это опять, значитъ, все дѣло свертѣлось «за пазушкой»?

— Да, за пазушкой.

— Вотъ это-то, говорю, твоя бѣда, отецъ Киріакъ, что ты все на пазуху-то уже очень располагаешься.

— Ахъ, владыко, да какъ же на нее не полагаться: тайны-то уже тамъ очень большія творятся,—вся благодать оттуда идетъ: и материно молоко дѣтопитательное, и любовь тамъ живетъ, и вѣра. Вѣрь,—такъ, владыко. Тамъ она, вся тамъ; сердцемъ однимъ ее только и вызовешь, а не разумомъ. Разумъ ее не созидаетъ, а разрушаетъ: онъ родитъ сомнѣнія, владыко, а вѣра покой даетъ, радость даетъ... Это, я тебѣ скажу, меня обильно утѣшаетъ; ты вотъ глядишь какъ дѣло идетъ, да сердишься, а я все радуюсь.

— Чему же ты радуешься?

— А тому, что все добро зѣло.

— Что такое: добро зѣло?

— Все, владыко: и что намъ указано, и что отъ насъ сокрыто. Я думаю такъ, владыко, что мы всѣ на одинъ пиръ идемъ.

— Говори, сдѣлай милость, яснѣй: ты водное крещеніе-то просто-на-просто совсѣмъ отметаешь, что ли?

— Ну вотъ: и отметаю! Эхъ, владыко, владыко! сколько я лѣтъ томился, все ждалъ человѣка, съ которымъ бы о духовномъ свободно по духу побесѣдовать, и, узнавъ тебя, думалъ, что вотъ такого дождался; а и ты сейчасъ, какъ сгрянчій, за слово емлешься! Что тебѣ надо?—слово всяко

ложь и я тожъ. Я ничего не отметаю; а ты обсуди, какіе мнѣ приклады разные приходятъ,—и отъ любви, а не отъ ненависти. Яви терпѣніе,—вслушайся.

— Хорошо, отвѣчаю, буду слушать, что ты хочешь проповѣдывать.

— Ну, вотъ мы съ тобою крещены,—ну, это и хорошо; намъ этимъ какъ билетъ данъ на пиръ; мы и идемъ, и знаемъ, что мы званы, потому что у насъ и билетъ есть.

— Ну!

— Ну, а теперь видимъ, что рядомъ съ нами туда же бредетъ человѣчекъ безъ билета. Мы думаемъ, «вотъ дурачокъ! напрасно онъ идетъ:—не пустятъ его! Придетъ, а его привратники вонъ выгонятъ». А придемъ и увидимъ: привратники-то его погонятъ, что билета нѣтъ, а хозяинъ увидитъ, да, можетъ быть, и пустить велитъ,—скажетъ: «ничего, что билета нѣтъ,—я его и такъ знаю: пожалуй, входи», да и введетъ, да еще, гляди, лучше иного, который съ билетомъ пришелъ, станетъ чествовать.

— Ты, говорю, это имъ такъ и внушаешь?

— Нѣтъ; что имъ это внушать? это я только про себя такъ о всѣхъ разсуждаю, по Христовой доброти, да мудрости.

— Да то-то; мудрость-то Его ты понимаешь ли?

— Гдѣ, владыко, понимать! — ее не поймешь, а такъ... что сердце чувствуетъ, говорю. Я, когда мнѣ что нужно сдѣлать, сейчасъ себя въ умѣ спрашиваю; можно ли это сдѣлать во славу Христову? Если можно, такъ дѣлаю, а если нельзя—того не хочу дѣлать.

— Въ этомъ, значитъ, твой главный катехизисъ?

— Въ этомъ, владыко, и главный, и неглавный, — весь въ этомъ; для простыхъ сердецъ это, владыко, куда какъ сподручно! — просто вѣдь это: водкой во славу Христову упиваться нельзя, драться и красть во славу Христову нельзя, человѣка безъ помощи бросить нельзя... И дикари это скоро понимаютъ и хвалятъ: «хорошъ, говорятъ, вашъ Христосикъ—праведный»,—по-ихнему это такъ выходитъ.

— Что же... это, пожалуй, хоть и такъ—хорошо.

— Ничего, владыко,—изрядно; а вотъ что мнѣ нехорошо кажется: какъ придутъ новокрещенцы въ городъ и видятъ все, что тутъ крещеные дѣлаютъ, и спрашиваютъ: можно ли то во славу Христову дѣлать? что имъ отвѣчать, владыко? христіане это тутъ живутъ или нехристи? Сказать «нехристи»—стыдно, назвать христіанами—грѣха страшно.

— Какъ же ты отвѣчаешь?

Киріакъ только рукой махнулъ и прошепталъ:

— Ничего не говорю, а... плачу только.

Я понялъ, что его религіозная мораль попала въ столкновеніе съ своего рода «политикою». Онъ Тертулліана «О зрѣлищахъ» читалъ и вывелъ, что «во славу Христову» нельзя ни въ театры ходить, ни танцовать, ни въ карты играть, ни многаго иного творить, безъ чего современные намъ, наружные христіане уже обходиться не умѣютъ. Онъ былъ своего рода новаторъ и, видя этотъ обветшавшій міръ, стыдился его и чаялъ новаго, полнаго духа и истины.

Какъ я ему это намекнулъ, онъ мнѣ сейчасъ и поддакнулъ.

— Да, говоритъ, да, эти люди плоть; — а что плоть-то показывать?—ее надо закрывать. Пусть хотя не хулится черезъ нихъ имя Христово въ языцѣхъ.

— А зачѣмъ это къ тебѣ, говорятъ, будто инородцы и до сихъ поръ приходятъ?

— Вѣрятъ мнѣ и приходятъ.

— То-то; зачѣмъ?

— Поспорятъ когда или поссорятся, и идутъ:—разбери, говорятъ, по-христосикову.

— Ты и разбираешь?

— Да, я обычай ихъ знаю; а умъ Христовъ приложу и скажу, какъ быть.

— Они и примутъ?

— Примутъ:—они Его справедливость любятъ. А другой разъ больные приходятъ или бѣсные,—просятъ помолиться.

— Какъ же ты бѣсныхъ лѣчишь? отчитываешь, что ли?

— Нѣтъ, владыко; такъ помолюсь, да успокою.

— Вѣдь на это ихъ шаманы слывутъ искусниками.

— Такъ, владыко:—не ровенъ шаманъ; иные и впрямь не мало тайныхъ силъ природныхъ знаютъ; ну, да вѣдь и шаманы ничего... Они меня знаютъ и иные сами ко мнѣ людей шлютъ.

— Откуда же у тебя и съ шаманами пріязнь?

— А вотъ какъ: ламы буддійскіе на нихъ гоненіе сдѣлали,—ихъ, этихъ шамановъ, тогда наши чиновники много въ острогъ забрали а въ острогѣ дикому человѣку скучно:—съ иными Богъ вѣсть что дѣлается. Ну, я, грѣшникъ, въ острогъ ходилъ, калачиковъ для нихъ по купцамъ выпрашивалъ и словцомъ утѣшалъ.

— Ну, и что же?

— Благодарны, берутъ Христа ради и хвалятъ Его: хорошъ, говорятъ,—добръ. Да ты молчи, владыко, они сами не чуютъ, какъ края ризы Его касаются.

— Да вѣдь какъ, говорю, касаются-то? все, вѣдь, это безъ толку!

— И, владыко! что ты все сразу такъ сунешься! Божіе дѣло своей ходой, безъ суеты идетъ. Не шесть ли водоносовъ было на пиру въ Каннѣ, а вѣдь не всѣ ихъ, чай, сразу наполнили, а одинъ за другимъ наливали; Христосъ, батюшка, самъ уже на что великъ чудотворецъ, а и то слѣпому жиду прежде поплевалъ на глаза, а потомъ открылъ ихъ; а эти вѣдь еще слѣпѣе жида. Что отъ нихъ сразу-то много требовать? Пусть за краекъ Его ризочки держатся,—доброту Его чувствуютъ, а онъ ихъ Самъ къ себѣ уволочетъ.

— Ну вотъ, уже и «уволочетъ»!

— А что же?

— Да какія ты слова-то неумѣстныя употребляешь.

— А чѣмъ, владыко, неумѣстное,—слово препростое. Онъ, благодѣтель нашъ, вѣдь и Самъ не боярскаго рода, за простоту не судится. Родъ Его кто исповѣсть; а Онъ съ пастухами ходилъ, съ грѣшниками гулялъ и шелудивой

овцой не брезговалъ, а гдѣ найдетъ ее, взвалитъ Себѣ, какъ она есть, на святыя рамена и тащитъ къ Отцу. Ну, а Тотъ... что Ему дѣлать?—не хочетъ многострадательнаго сына огорчить.—замарашку ради Его на дворъ овчій пуститъ.

— Ну, говорю, хорошо; въ катехизаторы, ты, братъ Киріакъ, совсѣмъ не годишься, а въ крестители ты, хоть и еретичествуешь немножко, однако пригоденъ и, какъ себѣ хочешь, а я тебя снаряжу крестить.

Но Киріакъ ужасно взволновался и разстроился.

— Помилуй, говоритъ, владыко: къ чему тебѣ меня нудить? Да запретитъ тебѣ Христосъ это сдѣлать! И ничего изъ этого не послѣдуетъ, ничего, ничего и ничего!

— Отчего же это такъ?

— Такъ; потому что сія дверь для насъ затворена.

— Кто же ее затворилъ?

— А Тотъ, Который имѣетъ ключъ Давидовъ: «отверзаяй и никтоже отворитъ, затворяяй и никтоже отверзетъ». Или ты Апокалипсисъ позабылъ?

— Киріакъ, говорю, многія книги безумнымъ тя творятъ.

— Нѣтъ, владыко, я не безуменъ, а ты меня если не послушаешь, то людей обидишь и Духа Святаго оскорбишь, и только однихъ церковныхъ приказныхъ обрадуешь, чтобы имъ въ своихъ отчетахъ больше лгать да хвастать.

Я его пересталъ слушать, однако не оставлялъ мысли современемъ его перекапризить и непремѣнно его послать. Но что бы вы думали?—вѣдь не одинъ простосердечный ветхозавѣтный Аммосъ, собирая ягоды, вдругъ сталъ пророчествовать,—и мой Киріакъ мнѣ напророчилъ, и его слова: «да запретитъ тебѣ Христосъ» начали дѣйствовать. Въ это самое время я, какъ нарочно, получилъ изъ Петербурга извѣщеніе, что, по тамошнему благоусмотрѣнію, у насъ, въ Сибири, увеличивается число буддійскихъ капищъ и удваиваются штаты ламъ. Я хоть и въ русской землѣ рожденъ и пріученъ былъ не дивиться никакимъ неожиданностямъ, но, признаюсь, этотъ порядокъ contra jus et fas изумилъ меня, а что гораздо хуже,—онъ совсѣмъ

съ толку сбивалъ бѣдныхъ новокрещенцевъ и, можетъ быть, еще большей жалости достойныхъ миссіонеровъ. Вѣсть съ этимъ радостнымъ событіемъ, во вредъ христіанству и въ пользу буддизма, какъ вихремъ разнеслась по всему краю. Для ея распространенія скакали лошади, скакали олени, скакали собаки, и Сибирь оповѣстилась, что «все преодолѣвшій и все отвергшій» богъ Фо въ Петербургѣ «одолѣлъ и отвергъ и Христосика». Торжествующіе ламы увѣряли, что уже все наше верховное правительство и самъ нашъ Далай Лама, то есть митрополитъ, приняли буддійскую вѣру. Перепугались миссіонеры, извѣстясь о семъ; не знали, что имъ дѣлать; иные изъ нихъ, кажется, отчасти сомнѣвались: ужь и впрямь не повернуло ли въ Петербургѣ дѣло на ламайскую сторону, какъ оно въ то тонкое и каверзливое время поворачивало на католическую, а нынѣ, въ сію многодумную и дурашливую пору поворачиваетъ на спиритскую. Только нынче оно, разумѣется, совершается спокойнѣе, потому что теперь кумиръ хотя и ледащенькій выбранъ, но зато теперь и противъ этого рожна прать никому не охота; а тогда еще этой хладнокровной выдержки недоставало во многихъ и, въ числѣ прочихъ, во мнѣ грѣшномъ. Я не могъ равнодушно смотрѣть на моихъ бѣдныхъ крестителей, которые *пѣшкомъ* плелись изъ степей ко мнѣ подъ защиту. Имъ однимъ по всему краю не было ни лошадиной клячи, ни оленя, ни собаки, и они Богъ ихъ знаетъ какъ лѣзли пѣшіе по сугробамъ и пришли оборванные, обмаранные, истинно уже не какъ іереи Бога вышняго, а какъ настоящіе калѣки-перехожіе. Чиновники и заурядъ все управленіе, безъ зазрѣнія совѣсти, покровительствовали ламамъ. Мнѣ приходилось сражаться съ губернаторомъ, чтобы сей христіанскій бояринъ хотя малость остепенялъ своихъ пособниковъ, дабы они, по крайней мѣрѣ, не совсѣмъ открыто радѣли буддизму. Губернаторъ, какъ водится, обижался и у насъ съ нимъ закипѣла жестокая стычка: я ему на его чиновниковъ жалуюсь,—онъ мнѣ на моихъ миссіонеровъ пишетъ, что «никто-де имъ не мѣ-

шаетъ, а они-де сами лѣнивые и неискусные». А мои дезертировавшіе миссіонеры, въ свою очередь, пищатъ, что имъ хотя, точно, рты тряпками не затыкаютъ, но нигдѣ ни лошадей, ни оленей не даютъ, потому что по степямъ всюду всѣ люди ламъ боятся.

— Ламы, говорятъ, богаты,—они чиновниковъ деньгами дарятъ, а намъ дарить нечѣмъ.

Что же мнѣ было можно имъ въ утѣшеніе сказать? Синоду, что ли, обѣщать представить, чтобы лавры и монастыри, имѣя «деньги многи», подѣлились съ нашею бѣдностію и какую-нибудь сумму на взятки приказнымъ отпустили, но боялся, что въ большихъ залахъ въ синодѣ, это, чего добраго, за неумѣстное сочтутъ и, помолясь Богу, во вспомоществованіе на взятки мнѣ откажутъ, пожалуй. А къ тому же еще и это средство въ нашихъ рукахъ могло быть ненадежно: апостолы мои въ самихъ себѣ такую слабость мнѣ открыли, которая, въ связи съ обстоятельствами, получала очень важное значеніе.

— Насъ, говорятъ, за дикарей жалость беретъ; изъ нихъ съ этой возней совсѣмъ послѣдній толкъ выбьютъ; нынче мы ихъ крестимъ, завтра ламы его обращаютъ и велятъ Христа порицать, а за штрафъ все, что попало, у нихъ берутъ. Обнищеваетъ бѣдный народъ и въ скотѣ, и въ своемъ скудномъ разумѣ,—всѣ вѣры перепуталъ и на всѣ колѣна хромаетъ, а на насъ плачется.

Киріакъ этою борьбою очень интересовался и, пользуясь моимъ расположеніемъ, не разъ останавливалъ меня вопросами:

— Что тебѣ, владыко, вражки пишутъ? или:

— Что ты, владыко, вражкамъ написалъ?

Разъ даже онъ явился ко мнѣ съ просьбою:

— Посовѣтуйся со мною владыко, какъ будешь вражкамъ писать?

Это было по случаю тому, что губернаторъ мнѣ ставилъ на видъ, что въ сосѣдней епархіи, при тѣхъ же обстоятельствахъ, въ какихъ я находился, проповѣдь и кре-

щеніе совершаются успѣшно, причемъ указывалъ мнѣ на какого-то миссіонера Петра, изъ зырянъ, который цѣлыми массами креститъ инородцевъ.

Такое обстоятельство меня смутило, и я спросилъ сосѣдняго архіерея: такъ ли это?

Тотъ отвѣчалъ, что, дѣйствительно, у него есть зырянинъ, попъ Петръ, который два раза ѣздилъ на проповѣдь и въ первый разъ «всѣ кресты раскрестилъ», а во второй вдвое больше крестовъ взялъ и опять недостало,—съ одного на другого на шеи перевѣшивалъ.

Киріакъ, какъ это услышалъ, такъ и всплакался.

— Боже мой, говоритъ, откуда еще ко всѣмъ бѣдамъ пришелъ сюда сей коварный строитель? Онъ Христа въ Его же церкви да Его же кровью затопитъ! Охъ бѣда! помилосердуй, владыко,—проси скорѣе архіерея, чтобы онъ унялъ своего слугу вѣрнаго,—оставилъ бы въ церкви силъ хоть на сѣмена.

— Ты, говорю, отецъ Киріакъ, вздоръ говоришь; могу ли я отъ столь хвальной ревности человѣка удерживать?

— Ахъ, нѣтъ, молитъ, владыко, проси; вѣдь это тебѣ непонятно, а я такъ знаю, что, значитъ, теперь тамъ въ степяхъ дѣлается. Это все не Христу, а вражкамъ его служба тамъ идетъ. Залютъ, залютъ они Его, голубчика, кровью и на сто лишнихъ лѣтъ отъ Него народъ отпугаютъ.

Я, разумѣется, Киріака не послушалъ, а напротивъ—написалъ къ сосѣднему архіерею, чтобы онъ далъ мнѣ своего зырянина на подержаніе, или, какъ сибирскіе аристократы по французски говорятъ: «о прока». Сосѣдъ мой архіерей въ это время уже, отбывъ сибирскую эпитимью, перемѣщался въ Россію и не постоялъ за своего досужаго крестителя. Зырянинъ былъ мнѣ присланъ: такой большебородый, словоохотливый и, что называется, весь до дна маслянъ. Я его сейчасъ же отправилъ въ степь, а недѣли черезъ двѣ отъ него уже и радостныя вѣсти имѣлъ: доносилъ онъ мнѣ, что креститъ народъ на всѣ стороны. Одного онъ опасался: достанетъ ли у него крестовъ, которыхъ

забралъ съ собою весьма изрядную коробку? Изъ сего я, не ошибаяся, могъ заключить, что уловъ въ мережи сего счастливаго ловца попадаетъ чрезвычайно обильный.

Вотъ, думаю, когда я досталъ себѣ, наконецъ, къ этому дѣлу настоящаго мастера! И очень былъ этому радъ, да и какъ радъ-то! Откровенно скажу вамъ,—съ самой казенной точки зрѣнія,—потому что... и архіерей вѣдь тоже, господа, человѣкъ, и ему надокучитъ, когда одна власть пристаетъ: «крести», а другая—«пусти»... Ну, ихъ совсѣмъ! скорѣй какъ-нибудь кончить въ одну сторону, и какъ попался ловкій креститель, такъ пусть уже заурядъ все креститъ, авось, и людямъ спокойнѣе станетъ.

Но Киріакъ не раздѣлялъ моего взгляда, и разъ иду я вечеромъ черезъ дворъ изъ бани и встрѣчаю его; онъ остановился и привѣтствуетъ меня:

— Здравствуй, владыко!

— Здравствуй, говорю, отецъ Киріакъ.

— Хорошо ли вымылся?

— Хорошо.

— А зырянина-то отмылъ ли?

Я разсердился.

— Это, говорю, что за глупость?

А онъ опять про зырянина.

— Онъ безжалостный, говоритъ,—онъ и у насъ теперь такъ креститъ, какъ за Байкаломъ крестилъ; его крестниковъ черезъ это только мучаютъ, а они на Христа, батюшку, плачутся. Грѣхъ всѣмъ вамъ, а тебѣ больше всѣхъ грѣхъ, владыко!

Я Киріака счелъ за грубіяна, но слова-то его мнѣ все-таки въ душу запали. Что въ самомъ дѣлѣ? онъ, вѣдь, старикъ основательный,—на вѣтеръ болтать не станетъ: въ чемъ же тутъ секретъ?—какъ, въ самомъ дѣлѣ, взятый мною «о прока» досужій зырянинъ креститъ? Я имѣлъ понятіе о религіозности зырянъ; они по преимуществу храмоздатели,—церкви у нихъ повсюду отличныя и даже богатыя, но изъ всѣхъ глаголемыхъ христіанъ на свѣтѣ они,

должно сознаться, самые внѣшніе. Ни къ кому столько, какъ къ нимъ, не идетъ опредѣленіе, что у нихъ «Богъ въ однихъ лишь образахъ, а не въ убѣжденіяхъ человѣка»; но, вѣдь, не жжетъ же этотъ зырянинъ дикарей огнемъ, чтобы они крестились? Быть этого не можетъ! Въ чемъ же тутъ дѣло? отчего зырянинъ успѣваетъ, а русскіе не умѣютъ, и отчего я этого о-сю пору не знаю?

— А все оттого, владыко, пришло мнѣ на мысль, что ты и тебѣ подобные себялюбивы да важны: «деньги многи» собираете, да только подъ колокольнымъ звономъ разъѣзжаете, а про дальнія мѣста своей паствы мало думаете и о нихъ по слухамъ судите. На безсиліе свое на родной землѣ нарекаете, а сами все звѣзды хватать наровите, да вопрошаете: «что ми хощете дати, да азъ вамъ предамъ?» Берегись-ка, братъ, какъ бы и ты не таковъ же сталъ?

И ходилъ я, ходилъ этотъ вечеръ съ своею думою по моей пустой скучной залѣ, и до тѣхъ поръ доходился, пока вдругъ мнѣ пришла въ голову мысль: пробѣжать самому пустыню.

Такимъ образомъ я надѣялся уяснить себѣ, если не все, то, по крайней мѣрѣ, очень многое. Да, признаюсь вамъ, и освѣжиться хотѣлось.

Для совершенія этого пути мнѣ, при моей неопытности, нуженъ былъ товарищъ, который хорошо бы зналъ инородческій языкъ; но какого же товарища лучше желать, какъ Киріака? И, не откладывая этого по своей нетерпѣливости въ долгій ящикъ, я призвалъ Киріака къ себѣ, открылъ ему свой планъ и велѣлъ собираться.

Онъ не противорѣчилъ, а, напротивъ, казалось, былъ даже очень радъ и, улыбаясь, повторялъ:

— Богъ въ помощь! Богъ въ помощь!

Откладывать было незачѣмъ, и мы на другое же утро ранымъ-рано отпѣли обѣденку, одѣлись оба по-туземному и выѣхали, держа путь къ самому сѣверу, гдѣ мой зырянинъ апостольствовалъ.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Лихо прокатили мы первый день на доброй тройкѣ и все бесѣдовали съ отцомъ Киріакомъ. Любезный старикъ разсказывалъ мнѣ интересныя исторіи изъ инородческихъ религіозныхъ преданій, изъ коихъ меня особенно занимала повѣсть о пятистахъ путешественникахъ, которые, подъ руководствомъ одного книжника, по-ихнему—«обушія», пустились путешествовать по землѣ въ то еще время, когда «побѣдившій силу бѣсовскую и отринувшій всѣ слабости» богъ Шигемуни гостепріимствовалъ «непочатыми яствами» въ Ширвасѣ. Повѣсть эта тѣмъ интересна, что въ ней чувствуется весь складъ и духъ религіозной фантазіи этого народа. Пятьсотъ путниковъ, предводимые обушіемъ, встрѣчаютъ духа, который, чтобы устрашить ихъ, принимаетъ самый ужасный и отвратительный видъ и спрашиваетъ: «есть ли у васъ такія чудовища?»—«Есть гораздо страшнѣе», отвѣчалъ обушій.—«Кто же они?»—«Всѣ тѣ, которые завистливы, жадны, лживы и мстительны; они, по смерти, становятся чудовищами гораздо тебя страшнѣе и гаже». Духъ скрылся и, превратясь гдѣ-то въ человѣка, такого сухого и тощаго, что даже жилы его пристали къ костямъ, опять появился предъ путниками и говоритъ: «Есть ли у васъ такіе люди?»—«Какъ же, отвѣчаетъ обушій, гораздо суше тебя есть,—таковы всѣ, любящіе почести».

— Гм! перебилъ я Киріака,—это, говорю, смотри, уже не на насъ ли, архіереевъ, мораль пущена?

— А Богъ вѣсть, владыко, и продолжаетъ:—По нѣкоторомъ времени духъ явился въ видѣ прекраснаго юноши и говоритъ: «А вотъ такіе у васъ есть ли?» — «Какъ же, отвѣчаетъ обушій,—между людьми есть несравненно тебя прекраснѣе,—это тѣ, которые имѣютъ острое понятіе и, очистивъ свои чувства, благоговѣютъ къ тремъ изяществамъ: Богу, вѣрѣ и святости. Сіи столь тебя красивѣе, что ты предъ ними никуда не годишься». Духъ разсердился и сталъ экзаменовать обушія другими манерами.

Онъ зачерпнулъ въ горсть воды:—«Гдѣ, говоритъ, больше воды: въ морѣ или въ горсти?»—«Въ горсти болѣе», отвѣчалъ обушій.—«Докажи».—«Ну, и докажу: по видимому судя, кажется въ морѣ, дѣйствительно, болѣе воды, чѣмъ въ горсти, но когда придетъ время разрушенія міра и изъ нынѣшняго солнца выступитъ другое, огнепалящее, то оно изсушитъ на землѣ всѣ воды,—и большія, и малыя: и моря, и ручьи, и потоки, и сама Сумберъ-гора (Атласъ) разсыпется; а кто при жизни напоилъ своею горстью уста жаждущаго или обмылъ своею рукою раны нищаго, того горсть воды семь солнцъ не изсушатъ, а, напротивъ того, будутъ только ее расширять и тѣмъ самымъ увеличивать»...—Право, какъ вы хотите, а вѣдь это не совсѣмъ глупо, господа? вопросилъ, пріостановясь на минуту, разсказчикъ,—а? Нѣтъ, взаправду, какъ вы это находите?

— Очень неглупо, совсѣмъ не глупо, владыко.

— Признаюсь вамъ, и мнѣ это показалось, пожалуй, толковѣе иной протяженной проповѣди объ оправданіи... Ну, впрочемъ, не все объ этомъ. Потомъ повели мы долгія бесѣды о томъ, какой способъ надо предпочесть всѣмъ другимъ для обращенія дикарей въ христіанство. Киріакъ находилъ, что съ ними надо какъ можно меньше обрядничать, потому что они иначе самого Кирика съ его вопросами превзойдутъ о томъ: можно ли того причащать, кто яйцомъ въ зубы постучитъ; да не надо много и догматизировать, потому что ихъ слабый умъ устаетъ слѣдить за всякою отвлеченностью и силлогизаціею, а надо имъ просто разсказывать о жизни и о чудесахъ Христа, чтобы это представлялось имъ какъ можно живообразнѣе и чтобы ихъ бѣдной фантазіи было за что̀ цѣпляться. Но главное: все на то напиралъ, что «кто премудръ и худогъ, тотъ пусть покажетъ имъ отъ своего житія добраго,—тогда они и Христа поймутъ, а иначе, говоритъ, плохо наше дѣло, и истинная наша вѣра, хоть мы ее промежъ нихъ и наречемъ, то будетъ она у нихъ подъ началомъ у неистинной: наша будетъ нареченная, а та дѣйствующая,—что̀ въ томъ добра-то,

владыко? Посуди: къ торжеству Христовой вѣры это будетъ или къ ея униженію? А еще того горше, какъ отъ нашего что̀ возьмутъ, да не знать, что̀ изъ него сдѣлаютъ. Нечего спѣшить нарекать, а надо насаждать; другіе придутъ—будутъ поливать, а возраститъ самъ Богъ... Не такъ ли, владыко, апостолъ-то училъ, а? Вспомни его, должно-быть, такъ; а то, гляди, какъ бы не поспѣшить, да людей не насмѣшить и сатану не порадовать».

Я, по правдѣ сказать, внутренно во многомъ съ нимъ соглашался и не замѣтилъ, какъ въ простыхъ и мирныхъ съ нимъ разговорахъ провелъ весь день до вечера; а съ тѣмъ и нашъ конный путь кончился.

Переночевали мы съ нимъ у огонька въ юртѣ и на другое утро покатили на оленяхъ.

Погода стояла чудесная и ѣзда на оленяхъ очень меня занимала, хотя она, однако, не совсѣмъ отвѣчала моимъ о ней представленіямъ. Въ дѣтствѣ моемъ я очень любилъ смотрѣть на картинку, гдѣ былъ представленъ лапландецъ на оленяхъ. Но тѣ олени, на картинкѣ, были легкіе, быстроногіе, какъ вихри степные неслись, закинувъ назадъ головы съ вѣтвистыми рогами, и я, бывало, все думалъ: эхъ, кабы хоть разъ такъ прокатиться! Какая это, должно-быть, пріятная быстрота при такой скачкѣ! А на дѣлѣ же оно выходило не такъ: передо мною были совсѣмъ не тѣ уносистые, рогатые вихри, а камолые, тяжеловатые увальни съ понурыми головами и мясистыми, разлатыми лапами. Бѣжали они побѣжкой нетвердою и неровною, склонивъ головы, и съ такою задышкою, что инда съ непривычки жалость брала на нихъ смотрѣть, особливо какъ у нихъ ноздри замерзли и они рты поразинули. Такъ тяжело дышутъ, что это густое дыханіе ихъ собирается облакомъ и такъ и стоитъ въ морозномъ воздухѣ полосою. И эта ѣзда, и грустное однообразіе пустынныхъ картинъ, которыя при ней открываются, производятъ такое скучное впечатлѣніе, что даже говорить не хочется, и мы съ Киріакомъ, ѣдучи два дня на оленяхъ, почти ни о чемъ и не бесѣдовали.

На третій день къ вечеру и этотъ путь прекратился: снѣга стали рыхлѣе и мы замѣнили нескладныхъ оленей собаками — такія сѣренькія, мохнатыя и востроухія, какъ волчки, и по-волчьи почти и тявкаютъ. Запрягаютъ ихъ помногу, штукъ по пятнадцати, а почетному путнику, пожалуй, и больше зацѣпятъ, но салазки такія узенькія, что двоимъ рядомъ сидѣть невозможно, и мы съ отцомъ Киріакомъ должны были раздѣлиться: на однѣхъ приходилось ѣхать мнѣ съ проводникомъ, а на другихъ—Киріаку съ другимъ проводникомъ. Проводники оба казались равнаго достоинства, да и съ обличья ихъ одного отъ другого даже и не отличишь, особенно какъ своими малицами закутаются,—точно банные обмылки: что̀ одинъ, что̀ другой—въ обоихъ одна красота. Но Киріакъ нашелъ въ нихъ разницу и непремѣнно настаивалъ, чтобы усадить меня съ тѣмъ, который казался ему надежнѣе; а въ чемъ онъ видѣлъ эту надежность—не объяснилъ.

— Такъ, говоритъ, владыко: ты въ этомъ краѣ неопытнѣе меня, такъ ты съ этимъ поѣзжай.—За это я его не послушалъ и сѣлъ съ другимъ. Поклажу свою мы раздѣлили: я взялъ себѣ въ ноги узелокъ съ бѣльемъ да съ книгами, а Киріакъ надѣлъ на себя мурницу и дароносицу, да взялъ въ ноги кошель съ толокномъ, сухой рыбкой и прочей нашей незатѣйливой походной провизіей.

Усѣлись мы такъ, подоткнулись малицами, сверху по колѣнамъ оленьими кожами застегнулись и поскакали.

Ѣзда эта была гораздо быстрѣе, чѣмъ на оленяхъ, но зато сидѣть такъ худо, что у меня съ непривычки черезъ часъ же страшно спину разломило. Погляжу на Киріака—онъ сидитъ какъ воткнутый столбушекъ, а я такъ и вихляюсь по сторонамъ,—все балансъ хочу удержать, и за этой гимнастикой даже не могъ и поговорить съ моимъ проводникомъ. Узналъ только, что онъ крещеный и окрещенъ недавно моимъ зырянином, а поэкзаменовать его не успѣлъ. Къ вечеру я такъ измучился, что совсѣмъ держаться не могъ и пожаловался Киріаку.

— Плохо, говорю, меня что-то сразу уже очень расшатало.

— А все это оттого, отвѣчаетъ, что ты меня не слушалъ, — не съ тѣмъ ѣдешь, съ которымъ я тебя сажалъ: этотъ лучше правитъ, покойнѣе. Яви ласку: пересядь завтра.

— Хорошо, говорю, изволь, пересяду,—и точно, пересѣлъ и опять ѣдемъ.

Не знаю: понавыкъ ли я за прошлый день держаться на этихъ рожнахъ, или, дѣйствительно, этотъ проводникъ лучше своимъ орстелемъ правилъ, только мнѣ спокойнѣе ѣхалось, такъ что я даже могъ и побесѣдовать.

Спрашиваю его: крещеный онъ или нѣтъ?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, бачка, моя некрещена, моя счастливая.

— Чѣмъ же ты такъ счастливъ?

— Счастливая, бачка; меня, бачка, Дзолъ-Дзаягачи дала, бачка. Она меня, бачка, бережетъ.

Дзолъ-Дзаягачи у шаманистовъ такая богиня, дарующая дѣтей и пекущаяся будто бы о счастіи и здоровьи тѣхъ, которыя у нея вымолены.

— Такъ что же, говорю, а почему же не креститься-то?

— А она, бачка, меня не даетъ крестить.

— Кто это? Дзолъ-Дзаягачи?

— Да, бачка, не даетъ.

— Ага, ну, хорошо, что ты мнѣ это сказалъ.

— Какъ же, бачка, хорошо?

— Да вотъ я тебѣ за это, на зло твоей Дзолъ-Дзаягачи, и велю окрестить.

— Что ты, бачка? зачѣмъ Дзолъ-Дзаягачи сердить?— она разсердится,—дуть станетъ.

— Очень она мнѣ нужна, твоя Дзолъ-Дзаягачи: окрещу, да и баста.

— Нѣтъ, бачка, она не дастъ обижать.

— Да какая тебѣ, глупому, въ этомъ обида?

— Какъ же, бачка, меня крестить?—мнѣ много обида, бачка: зайсанъ придетъ—меня крещенаго бить будетъ, ша-

манъ придетъ—опять бить будетъ, лама придетъ—тоже бить будетъ и олешковъ сгонитъ. Большая, бачка, обида будетъ.

— Не смѣютъ они этого дѣлать.

— Какъ, бачка, не смѣютъ? смѣютъ, бачка, все возьмутъ; у меня дядю, бачка, уже разорили... Какъ же, бачка, разорили и брата, бачка, разорили.

— Развѣ у тебя есть братъ крещеный?

— Какъ же, бачка, есть братъ, бачка, есть.

— И онъ крещеный?

— Какъ же, бачка, крещеный, два раза крещеный.

— Что такое? два раза крещеный? Развѣ по два раза крестятъ?

— Какъ же, бачка, крестятъ.

— Врешь!

— Нѣтъ, бачка, вѣрно: онъ одинъ разъ за себя крестился, а одинъ разъ, бачка, за меня.

— Какъ за тебя? Что ты это за вздоръ мнѣ разсказываешь?

— Какой, бачка, вздоръ!—не вздоръ: я, бачка, отъ попа спрятался, а братъ за меня крестился.

— Для чего же вы такъ смошенничали?

— Потому, бачка, что онъ добрый.

— Кто это: братъ-то твой, что ли?

— Да, бачка, братъ. Онъ сказалъ: «я все равно уже пропалъ,—окрещенъ, а ты спрячься,—я еще окрещусь»; я и спрятался.

— И гдѣ же онъ теперь, твой братъ?

— Опять, бачка, креститься побѣжалъ.

— Куда же этого его, бездѣльника, понесло?

— А туда, бачка, гдѣ нынѣ, слыхать, твердый попъ ѣздитъ.

— Ишь ты! Что̀ же ему до этого попа за дѣло?

— А свои у насъ тамъ, бачка, свои люди живутъ, хорошіе, бачка, люди; какъ же? ему, бачка, жаль... онъ ихъ жалѣетъ, бачка,—за нихъ креститься побѣжалъ.

— Да что же это за шайтанъ, этотъ твой братъ? Какъ онъ это смѣетъ дѣлать?

— А что, бачка? ничего: ему, бачка, ужъ все равно, а тѣхъ, бачка, зайсанъ бить не будетъ и лама олешковъ не сгонитъ.

— Гм! надо, однако, твоего досужаго брата на примѣту взять. Скажи-ка мнѣ, какъ его зовутъ?

— Куська-Демякъ, бачка.

— Кузьма или Демьянъ?

— Нѣтъ, бачка,—Куська-Демякъ.

— Да; по-твоему чище,—Куська-Демякъ или мѣди пятакъ,—только это два имени.

— Нѣтъ, бачка, одно.

— Я тебѣ говорю—два!

— Нѣтъ, бачка, одно.

— Ну, тебѣ, видно, и это лучше знать.

— Какъ же, бачка, мнѣ лучше.

— Но это его Кузьмой и Демьяномъ при первомъ или при второмъ крещенiи назвали?

Вылупился и не понимаетъ; но когда я ему повторилъ, онъ подумалъ и отвѣтилъ:

— Такъ, бачка: это какъ онъ за меня крестился, тогда его стали Куська-Демякъ дразнить.

— Ну, а послѣ перваго-то крещенiя вы какъ его дразнили?

— Не знаю, бачка,—забылъ.

— Но онъ-то, чай, это знаетъ?

— Нѣтъ, бачка, и онъ позабылъ.

— Быть, говорю, этого не можетъ!

— Нѣтъ, бачка,—вѣрно, позабылъ.

— А вотъ я его велю разыскать и разспрошу.

— Разыщи, бачка, разыщи; и онъ скажетъ, что позабылъ.

— Да только уже я его, братъ, какъ разыщу, такъ самъ зайсану отдамъ.

— Ничего, бачка; ему теперь, бачка, никто ничего,—онъ пропащiй.

— Черезъ что̀ же это онъ пропащiй-то? Черезъ то, что окрестился, что ли?

— Да, бачка; его шаманъ гонитъ, у него лама олешки забралъ, ему свой никто не вѣритъ.

— Отчего не вѣритъ?

— Нельзя, бачка, крещеному вѣрить,—никто не вѣритъ.

— Что ты, дикій глупецъ, врешь! Отчего нельзя крещеному вѣрить? Развѣ крещеный васъ, идолопоклонниковъ, хуже?

— Отчего, бачка, хуже?—одинъ человѣкъ.

— Вотъ видишь, и самъ согласенъ, что не хуже?

— Не знаю, бачка,—ты говоришь, что не хуже, и я говорю; а вѣрить нельзя.

— Почему же ему нельзя вѣрить?

— Потому, бачка, что ему попъ грѣхъ прощаетъ.

— Ну, такъ что̀ же тутъ худого? неужто же лучше безъ прощенія оставаться?

— Какъ можно, бачка, безъ прощенія оставаться! Это нельзя, бачка. Надо прощенье просить.

— Ну, такъ я же тебя не понимаю; о чемъ ты толкуешь?

— Такъ, бачка, говорю: крещеный своруетъ, попу скажетъ, а попъ его, бачка, проститъ; онъ и невѣрный, бачка, черезъ это у людей станетъ.

— Ишь ты какой вздоръ несешь! А по-твоему это, небось, не годится?

— Этакъ, бачка, не годится у насъ, не годится.

— А по-вашему какъ бы надо?

— Такъ, бачка: у кого укралъ, тому назадъ принеси и простить проси; человѣкъ проститъ и Богъ проститъ.

— Да, вѣдь, и попъ человѣкъ: отчего же онъ не можетъ простить.

— Отчего же, бачка, не можетъ простить?—и попъ можетъ. Кто у попа укралъ, того, бачка, и попъ можетъ простить?

— А если у другого укралъ, такъ онъ не можетъ простить?

— Какъ же, бачка?—нельзя, бачка: неправда, бачка, будетъ; невѣрный человѣкъ, бачка, вездѣ пойдетъ.

Ахъ, ты, думаю, чучело этакое неумытое, какія себѣ построенія настроилъ!—и спрашиваю далѣе:

— А ты про Господа Іисуса Христа-то что-нибудь слыхалъ?

— Какъ же, бачка,—слыхалъ.

— Что̀ же ты про Него слыхалъ?

— По водѣ, бачка, ходилъ.

— Гм! ну, хорошо—ходилъ; а еще что̀?

— Свинью, бачка, въ морѣ топилъ.

— А болѣе сего?

— Ничего, бачка,—хорошъ, жалостливъ, бачка, былъ.

— Ну, какъ же жалостливъ? Что̀ онъ дѣлалъ?

— Слѣпому на гдаза, бачка, плевалъ,—слѣпой видѣлъ; хлѣбца и рыбка народца кормилъ.

— Однако, ты, братъ, много знаешь.

— Какъ же, бачка,—много знаю.

— Кто же тебѣ все это разсказалъ?

— А люди, бачка, говорятъ.

— Ваши люди?

— Люди-то? Какъ же, бачка,—наши, наши.

— А они отъ кого слышали?

— Не знаю, бачка.

— Ну, а не знаешь ли ты, зачѣмъ Христосъ сюда на землю приходилъ?

Думалъ онъ, думалъ,—и ничего не отвѣтилъ.

— Не знаешь? говорю.

— Не знаю.

Я ему все православіе и объяснилъ, а онъ не то слушаетъ, не то нѣтъ, а самъ все на собакъ погикиваетъ, да орстелемъ машетъ.

— Ну, понялъ ли, спрашиваю, что̀ я тебѣ говорилъ?

— Какъ же, бачка, понялъ: свинью въ морѣ топилъ, слѣпому на глаза плевалъ,—слѣпой видѣлъ, хлѣбца-рыбка народца далъ.

Засѣли ему въ лобъ эти свиньи въ морѣ, слѣпой да рыбка, а дальше никакъ и не поднимется... И припомни-

лись мнѣ Киріаковы слова о ихъ жалкомъ умѣ и о томъ, что они сами не замѣчаютъ, какъ края ризы касаются. Что же? и этотъ, пожалуй, крайка коснулся, но ужъ именно только коснулся,—чуть-чуть дотронулся; но какъ бы ему болѣе дать за нее ухватиться? И вотъ я и попробовалъ съ нимъ какъ можно проще побесѣдовать о благѣ Христова примѣра и о цѣли Его страданія,—но мой слушатель все одинаково невозмутимо орстелемъ помахиваетъ. Трудно мнѣ было себя обольщать: вижу, что онъ ничего не понимаетъ.

— Ничего, спрашиваю, не понялъ?

— Ничего, бачка,—все правду врешь; жаль Его: Онъ хорошъ, Христосикъ.

— Хорошъ?

— Хорошъ, бачка, не надо Его обижать.

— Вотъ ты бы Его и любилъ.

— Какъ, бачка, Его не любить?

— Что? ты можешь Его любить?

— Какъ же, бачка.—я, бачка, Его и всегда люблю.

— Ну, вотъ и молодецъ.

— Спасибо, бачка.

— Теперь, значитъ, тебѣ остается креститься: Онъ и тебя спасетъ.

Дикарь молчитъ.

— Что же, говорю, пріятель: что ты замолчалъ?

— Нѣтъ, бачка.

— Что такое «нѣтъ, бачка?»

— Не спасетъ, бачка; за Него зайсанъ бьетъ, шаманъ бьетъ, лама олешковъ сгонитъ.

— Да; вотъ главная бѣда!

— Бѣда, бачка.

— А ты и бѣду потерпи за Христа.

— На что̀, бачка,—Онъ, бачка, жалостливый: какъ я дохнуть буду, Ему Самому меня жаль станетъ. На что Его обижать!

Хотѣлъ было сказать ему, что если онъ вѣритъ, что Христосъ его пожалѣетъ, то пусть вѣритъ, что Онъ же его

можетъ и спасти,—но воздержался, чтобы опять про зайсана да про ламу не слушать. Ясно, что Христосъ у этого человѣка былъ въ числѣ его добрыхъ и даже самыхъ добрыхъ божествъ, да только не изъ сильныхъ: добръ, да не силенъ,—не заступается,—ни отъ зайсана, ни отъ ламы не защищаетъ. Что̀ же тутъ дѣлать? какъ дикаря переувѣрить въ этомъ, когда Христову сторону поддержать не съ кѣмъ, а для той много подпоръ? Католическій проповѣдникъ въ такомъ случаѣ схитрилъ бы, какъ они въ Китаѣ хитрили: положилъ бы Буддѣ къ ногамъ крестикъ, да и кланялся и, ассимилировавъ и Христа, и Будду, кичился бы успѣхомъ; а другой новаторъ втолковалъ бы такого Христа, что въ Него и вѣрить нечего, а только... думай о Немъ благопристойно и—хорошъ будешь. Но тутъ и это трудно: чѣмъ этотъ мой молодецъ станетъ раздумывать, когда у него вся думалка комомъ смерзлась и ему ее оттаять негдѣ.

Припомнилось мнѣ, какъ Карлъ Эккартсгаузенъ превосходно, въ самыхъ простыхъ сравненіяхъ, умѣлъ представлять простымъ людямъ великость жертвы Христова пришествія на землю, сравнивая это, какъ бы кто изъ свободныхъ людей, по любви къ заключеннымъ злодѣямъ, самъ съ ними заключался, чтобы терпѣть ихъ злонравіе. Очень просто и хорошо; но вѣдь у моего слушателя, благодаря обстоятельствамъ, нѣтъ большихъ злодѣевъ, какъ тѣ, отъ кого онъ бѣгаетъ изъ страха, чтобы его не окрестили; нѣтъ у него такого мѣста, которое могло бы произвести ужасъ въ сравненіи съ страшнымъ мѣстомъ его всегдашняго обитанія... Ничего съ нимъ не подѣлаешь,—ни Массильономъ, ни Бурдалу, ни Эккартсгаузеномъ. Вонъ онъ тебѣ тычетъ орстелемъ въ снѣгъ да помахиваетъ, рожа обмылкомъ—ничего не выражаетъ; въ глядѣлкахъ, которыя стыдъ глазами звать,—ни въ одномъ ни искры душевнаго свѣта; самые звуки словъ, выходящихъ изъ его гортани, какіе-то мертвые: въ горѣ ли, въ радости ли—все одно произношеніе, вялое и безстрастное, — половину слова

гдѣ-то въ глоткѣ выговоритъ, половину въ зубахъ сожметъ. Гдѣ ему съ этими средствами искать отвлеченныхъ истинъ и что̀ ему въ нихъ? Они ему бремя: ему надо вымирать со всѣмъ родомъ своимъ, какъ вымерли ацтеки, вымираютъ индѣйцы... Ужасный законъ! Какое счастье, что онъ его не знаетъ,—и знай тычетъ себѣ орстелемъ,—тычетъ направо, тычетъ налѣво; не знаетъ куда меня мчитъ, зачѣмъ мчитъ и зачѣмъ, какъ дитя простой душою, открываетъ мнѣ, во вредъ себѣ, свои завѣтныя тайны... Малъ весь талантъ его и... благо ему: мало съ него спросится... А онъ все несется, несется въ безбрежную даль, и машетъ своимъ орстелемъ, который, мигая передъ моими глазами, началъ дѣйствовать на меня, какъ маятникъ. Меня замаячило; эти мѣрные взмахи, какъ магнетизерскіе пассы, меня путали сонною сѣтью; подъ темя тѣснилась дрема, и я тихо и сладко уснулъ,—уснулъ для того, чтобы проснуться въ положеніи, отъ котораго да сохранитъ Господь всякую душу живую!

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Я спалъ очень крѣпко и, вѣроятно, довольно долго, но вдругъ мнѣ показалось, что меня какъ будто что-то толкнуло и я сижу, накренясь на бокъ. Я въ полуснѣ еще хотѣлъ поправиться, но вижу, что меня опять кто-то пошатнулъ назадъ; а вокругъ все воетъ... Что такое? Хочу посмотрѣть, но нечѣмъ смотрѣть,—глаза не открываются. Зову своего дикаря.

— Эй, ты, пріятель! гдѣ ты?

А онъ на самое ухо кричитъ мнѣ:

— Прочкнись, бачка,—прочкнись скорѣй! застынешь!

— Да что это я, говорю, не могу глазъ открыть?

— Сейчасъ, бачка, откроешь.

И съ этими словами — что̀ бы вы думали? — взялъ да мнѣ въ глаза и плюнулъ, и ну своимъ оленьимъ рукавомъ тереть.

— Что̀ ты дѣлаешь?

— Глаза тебѣ, бачка, протираю.

— Пошелъ ты, дуракъ...

— Нѣтъ, погоди, бачка, — не я дуракъ, а ты сейчасъ глядѣть станешь.

И точно, какъ онъ провелъ мнѣ своимъ оленьимъ рукавомъ по лицу, мои смерзшіяся вѣки оттаяли и открылись. Но для чего? что̀ было видѣть? Я не знаю, можетъ ли быть страшнѣе въ аду: вокругъ мгла была непроницаемая, непроглядная темь — и вся она была, какъ живая: она тряслась и дрожала, какъ чудовище, — сплошная масса льдистой пыли была его тѣло, останавливающій жизнь холодъ — его дыханіе. Да, это была смерть въ одномъ изъ самыхъ грозныхъ своихъ явленій и, встрѣтясь съ ней лицомъ къ лицу, я ужаснулся.

Все, что̀ я могъ проговорить, это былъ вопросъ о Киріакѣ,—гдѣ онъ? Но говорить было такъ трудно, что дикарь ничего не слышалъ. Тутъ я замѣтилъ, что онъ, говоря мнѣ, нагибался и кричалъ мнѣ подъ треухъ въ самое ухо и самъ я подъ треухъ ему закричалъ:

— А гдѣ наши другія сани?

— Не знаю, бачка,—насъ разбило.

— Какъ разбило?

— Разбило, бачка.

Я хотѣлъ этому не вѣрить; хотѣлъ оглянуться, но никуда, ни въ одну сторону не видать ничего: кругомъ адъ темный и кромѣшный. Подъ самымъ моимъ бокомъ у саней что-то копошилось, какъ клубъ, но не было никакихъ средствъ видѣть, что̀ это такое. Спрашиваю дикаря, что̀ это. Тотъ отвѣчаетъ:

— А это, бачка, собачки спутались,—грѣются.

И вслѣдъ затѣмъ онъ сдѣлалъ въ этой тьмѣ какое-то движеніе и говоритъ:

— Падай, бачка!

— Куда падать?

— Вотъ сюда, бачка,—въ снѣгъ падай.

— Погоди, говорю.

Мнѣ еще не вѣрилось, что я потерялъ своего Киріака, и я привсталъ изъ саней и хотѣлъ позвать его, но меня въ то же мгновеніе и сразу же задушило, точно какъ заткнуло всего этою ледяною пылью, и я повалился въ снѣгъ, причемъ довольно больно ударился головой о санную грядку. Подняться у меня не было никакихъ силъ, да и мой дикарь мнѣ не далъ бы этого сдѣлать. Онъ придержалъ меня и говоритъ:

— Лежи, бачка, смирно лежи, не околѣешь: снѣгъ замететъ, тепло будетъ; а то околѣешь. Лежи!

Ничего не оставалось, какъ его слушаться; и я лежу и не трогаюсь, а онъ сволокъ съ салазокъ оленью шкуру, бросилъ ее на меня и самъ подъ нее же подобрался.

— Вотъ теперь, говоритъ, бачка, хорошо будетъ.

Но это «хорошо» было такъ скверно, что я въ ту же минуту долженъ былъ какъ можно рѣшительнѣе отворотиться отъ моего сосѣда въ другую сторону, ибо присутствіе его на близкомъ разстояніи было невыносимо. Четверодневный Лазарь въ Виѳанской пещерѣ не могъ отвратительнѣе смердѣть, чѣмъ этотъ живой человѣкъ; это было что-то хуже трупа,—это была смѣсь вонючей оленьей шкуры, остраго человѣчьяго пота, копоти и сырой гнили, юколы, рыбьяго жира и грязи... О, Боже, о, бѣдный я человѣкъ! Какъ мнѣ былъ противенъ этотъ, по образу Твоему созданный, братъ мой! О, какъ бы охотно я выскочилъ изъ этой вонючей могилы, въ которую онъ меня рядомъ съ собою укладывалъ, если бы только сила и мочь стоять въ этомъ метущемся адскомъ хаосѣ! Но ничего похожаго на такую возможность нельзя было и ждать, — и надо было покоряться.

Мой дикарь замѣтилъ, что я отъ него отвернулся, и говоритъ:

— Погоди, бачка, ты не туда морду клалъ; — ты вотъ сюда клади морду, вмѣстѣ дуть будемъ,—тепло станетъ.

Это даже слушать казалось ужасно!

Я притворился, что его не слышу, но онъ вдругъ какъ-

то напружинился, какъ клопъ, перекатился чрезъ меня и легъ прямо носъ къ носу, и ну дышать мнѣ въ лицо съ ужаснымъ сапомъ и зловоніемъ. Сопѣлъ онъ тоже необычайно, точно кузнечный мѣхъ. Я никакъ не могъ этого стерпѣть и рѣшился добиться, чтобы этого не было.

— Дыши, говорю, какъ-нибудь потише.

— А что? ничего, бачка, я не устану: я тебѣ, бачка, морду грѣю.

«Мордою» его я, разумѣется, не обижался, потому что не до амбиціи мнѣ было въ это время, да и, повторяю вамъ, у нихъ для оттѣнка такихъ излишнихъ тонкостей, чтобы отличать звѣриную морду отъ человѣческаго лица, и отдѣльныхъ словъ еще не заведено. Все морда: у него самого морда, у жены его морда, у его оленя морда, и у его бога Шигемони морда,—почему же у архіерея не быть мордѣ? Это моему преосвященству снести было не трудно, но вотъ что̀ трудно было: сносить это его дыханіе съ этой смердючей юколой и какимъ-то другимъ отвратительнымъ зловоніемъ, — вѣроятно, зловоніемъ его собственнаго желудка,—противъ этого я никакъ не могъ стоять.

— Довольно, говорю, перестань; ты меня согрѣлъ, теперь болѣе не сопи.

— Нѣтъ, бачка, сопѣть—теплѣй будетъ.

— Нѣтъ, пожалуйста, не надо: и такъ надоѣлъ, — не надо!

— Ну, не надо, бачка, не надо. Теперь спать будемъ.

— Спи.

— И ты, бачка, спи,

И въ эту же секунду, какъ это выговорилъ, точно муштрованная лошадь, которая сразу въ галопъ принимаетъ, такъ и онъ сразу же уснулъ и сразу же захрапѣлъ. Да, вѣдь, какъ же, злодѣй, захрапѣлъ! Я, признаюсь вамъ, съ дѣтства страшный врагъ соннаго храпа, и гдѣ въ комнатѣ хоть одинъ храпливый человѣкъ есть, я уже мученикъ и ни за что уснуть не могу; а такъ какъ у насъ, въ семинаріи и академіи, разумѣется, было много храпуновъ, и я

ихъ поневолѣ много и прилежно слушивалъ, то, не въ смѣхъ вамъ сказать, я вывелъ себѣ о храпѣ свои наблюденія: по храпу, увѣряю васъ, все равно, какъ по голосу и по походкѣ, можно судить о темпераментѣ и о характерѣ человѣка. Увѣряю васъ, это такъ: задорный человѣкъ—онъ и храпитъ задорно, точно онъ и во снѣ сердится; а товарищъ у меня по академіи весельчакъ и франтъ былъ, — такъ тотъ и храпѣлъ какъ-то франтовски: — этакъ весело какъ-то, съ присвистомъ, точно въ своемъ городѣ въ соборъ идетъ новый сюртукъ обновлять. Его, бывало, даже изъ другихъ камеръ слушать приходили и одобряли его искусство. Но теперешній мой дикій сосѣдъ такую положительную музыку завелъ, что я никогда ни такого обширнаго діапазона, ни такого темпа еще не наблюдалъ и не слыхивалъ: точно какъ будто сильный густой рой гудитъ и въ звонкій сухой улей о стѣнки мягко бьется. Прекрасно этакъ, солидно, ритмически и мѣрно: у-у-у-у-бумъ, бумъ, бумъ, у-у-у-у-бумъ, бумъ, бумъ... По моимъ наблюденіямъ, надлежало бы вывести, что это дѣйствуетъ человѣкъ обстоятельный, надежный; но лиха бѣда, мнѣ не до наблюденій было: онъ такъ одолѣлъ совсѣмъ, разбойникъ, этимъ гуломъ! Терпѣлъ, терпѣлъ я, наконецъ, не выдержалъ,—толкнулъ его въ ребра.

— Не храпи, говорю.

— А что, бачка? зачѣмъ не храпѣть?

— Да ты ужасно храпишь: спать мнѣ не даешь.

— А ты самъ захрапи.

— Да я не умѣю храпѣть.

— А я, бачка, умѣю,—и опять сразу въ галопъ загудѣлъ.

Что ты съ этакимъ мастеромъ станешь дѣлать? Что ужъ тутъ съ такимъ человѣкомъ спорить, который во всемъ превосходитъ: и о крещеньи больше меня знаетъ, по скольку разъ крестятъ, и объ именахъ свѣдущъ, и храпѣть умѣетъ, а я не умѣю; во всемъ передо мною преферансъ получаетъ,—надо ему и честь, и мѣсто дать.

Попятился я отъ него, какъ могъ, немножко въ сторону, провелъ съ трудомъ руку за подрясникъ и пожалъ репетиръ: часы прозвонили всего три и три четверти. Это, значитъ, еще былъ день; вьюга, конечно, пойдетъ на всю ночь, можетъ-быть, и больше... Сибирскія вьюги, вѣдь, продолжительны. Можете себѣ представить, каково имѣть все это въ перспективѣ! А между тѣмъ, положеніе мое все становилось ужаснѣе: сверху насъ, вѣрно, уже хорошо укрыло снѣгомъ и въ логовѣ нашемъ стало не только тепло, а даже душно; но зато и отвратительныя, вонючія испаренія становились все гуще,—отъ этого спертаго смрада у меня занимало дыханіе и очень жаль, что это сдѣлалось не сразу, потому что тогда я не испыталъ бы и сотой доли тѣхъ мученій, которыя ощутилъ, приведя себя въ память, что съ моимъ отцомъ Киріакомъ пропала и моя бутылка съ подправленною коньякомъ водою и вся наша провизія... Я ясно видѣлъ, что если я не задохнусь здѣсь, какъ въ Черной Пещерѣ, то мнѣ, навѣрно, грозитъ самая ужасная, самая мучительная изъ всѣхъ смертей,—голодная смерть и жажда, которая уже начала надо мною свое терзательство. О, какъ я теперь жалѣлъ, что не остался мерзнуть наверху и залѣзъ въ этотъ снѣжный гробъ, гдѣ мы двое лежали въ такой тѣснотѣ и подъ такимъ прессомъ, что всѣ мои усилія приподняться и встать были совершенно напрасны!

Съ величайшимъ трудомъ я доставалъ изъ-подъ своего плеча кусочки снѣгу и жадно глоталъ ихъ, одинъ за другимъ, но—увы!—это меня нимало не облегчало—напротивъ, это возбуждало у меня тошноту и несносное жженіе въ горлѣ и желудкѣ, а особенно около сердца; затылокъ у меня трещалъ, въ ушахъ стоялъ звонъ и глаза гнело и выпирало на лобъ. А между тѣмъ докучный рой гудѣлъ все гуще и гуще, и все звонче пчелки бились объ улей. Такое ужасное состояніе продолжалось, пока часовой репетиръ сказалъ семь,—и затѣмъ я больше ничего не помню, потому что потерялъ сознаніе.

Это было величайшее счастіе, какое могло посѣтить меня

въ моемъ настоящемъ бѣдственномъ положеніи. Не знаю, отдыхалъ ли я въ это время сколько-нибудь физически, но я, по крайней мѣрѣ, не мучился представленіемъ о томъ, что меня ожидало впереди и что въ дѣйствительности, по ужасу своему, должно было далеко превзойти всѣ представленія встревоженной фантазіи.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Когда я пришелъ въ чувства, пчелиный рой отлетѣлъ, и я увидѣлъ себя на днѣ глубокой, снѣжной ямы; я лежалъ на самомъ ея днѣ, съ вытянутыми руками и ногами и не чувствовалъ ничего: ни холоду, ни голоду, ни жажды;—рѣшительно ничего! Только голова моя была до того мутна и безтолкова, что мнѣ порядочнаго труда стоило привести себѣ на память все, что̀ со мною произошло, и въ какомъ я теперь нахожусь положеніи. Но, наконецъ, все это выяснилось, и первая мысль, которая мнѣ пришла въ эту пору, была та, что мой дикарь очнулся ранѣе меня и улизнулъ одинъ, а меня бросилъ.

Оно, по здравому сужденію, ему такъ бы и стоило со мною сдѣлать, особенно послѣ того, какъ я ему вчера нагрозилъ и его крестить, и брата его Кузьму-Демьяна разъискивать; но онъ, по своему язычеству, не такъ поступилъ. Чуть я, съ трудомъ двинувъ моими набрякшими членами, сѣлъ на днѣ моей разрытой могилы, какъ увидѣлъ я его шагахъ въ тридцати отъ меня. Онъ стоялъ подъ большимъ заиндевѣлымъ деревомъ и довольно забавно кривлялся, а надъ нимъ, на длинномъ суку, висѣла собака, у которой изъ распоротаго брюха ползли внизъ теплыя черева.

Я догадался, что это онъ жертву или, по-ихнему, таилгу принесъ, и, по правдѣ сказать, не возропталъ, что это жертвоприношеніе его здѣсь задержало, пока я проснулся, и помѣшало ему меня бросить. А я вполнѣ былъ увѣренъ, что этотъ язычникъ непремѣнно долженъ былъ имѣть такое нехристіанское намѣреніе, и завидовалъ отцу Киріаку, который терпитъ теперь свою бѣду, по крайней мѣрѣ, хоть

съ человѣкомъ крещенымъ, который все же долженъ быть благонадежнѣе моего нехристя. И отъ тяжкаго ли моего положенія, что ли, во мнѣ родилось даже такое подозрѣніе, что не слукавилъ ли со мною отецъ Киріакъ и, предусматривая всѣ больше меня ему извѣстныя случайности сибирскихъ путешествій, подъ видомъ доброжелательства подсудобилъ мнѣ язычника, а себѣ отобралъ христіанина? Не похоже это, конечно, было на отца Киріака, и мнѣ даже и сейчасъ, когда я это вспоминаю, стыдно становится сей моей подозрительности; но что̀ дѣлать, когда она явилась?

Вылѣзъ я изъ снѣжной ямы и сталъ подбираться къ моему дикарю; онъ услыхалъ, какъ снѣгъ захрустѣлъ подъ моими ногами, и обернулся, но сейчасъ же опять сталъ продолжать попрежнему свои тайнодѣйствія.

— Ну, не довольно ли тебѣ кивать-то? сказалъ я, постоявъ возлѣ него съ минуту.

— Довольно, бачка,—и сейчасъ же пошелъ къ санямъ и началъ цѣплять въ шорки остальныхъ собаченокъ. Закладка была готова, и мы поѣхали.

— Кому ты это тамъ таилгу далъ?—спросилъ я его, махнувъ назадъ головою.

— А не знаю, бачка.

— Да собачку-то ты кому пожертвовалъ: Богу или чорту—шайтану?

— Шайтану, бачка, какъ же,—шайтану.

— За что̀ же ты его угостилъ?

— А за то, бачка, что онъ насъ не заморозилъ: я ему, бачка, за это собачку далъ,—пусть его лопаетъ.

— Гм! да онъ-то пусть лопаетъ, — не облопается, а собаченку жаль.

— Чего, бачка, жаль: собачка плохая, скоро бы дохнуть стала; ничего, бачка,—пусть его беретъ—лопаетъ.

— Да; такъ ты съ разсчетомъ: дохленькую ему далъ...

— Какъ же, бачка.

— А скажи, пожалуйста: куда мы это теперь ѣдемъ?

— Не знаю, бачка—слѣдъ ищемъ.

— А гдѣ мой попъ—товарищъ?

— Не знаю, бачка.

— Какъ же намъ его найти?

— Не знаю, бачка.

— Можетъ-быть, онъ замерзъ?

— Зачѣмъ, бачка, замерзъ: снѣгъ есть—не замерзнетъ.

Я вспомнилъ опять, что съ Киріакомъ есть еще и бутылка съ согрѣвающимъ питьемъ, и провизія, и — успокоился. Со мною ничего этого не было, а я теперь охотно поѣлъ бы хоть собачьей юколы, но боялся о ней спросить, потому что не увѣренъ былъ, есть ли она съ нами.

Цѣлый день мы кружили какъ-то зря; я это видѣлъ если не по безстрастному лицу моего возницы, то по неспокойнымъ, неровнымъ и тревожнымъ движеніямъ его собакъ, которыя все какъ-то прыгали, суетились и безпрестанно метались изъ стороны въ сторону. Моему дикарю съ ними было много хлопотъ, но его неизмѣнное безстрастное равнодушіе не покидало его ни на минуту: онъ только работалъ своимъ орстелемъ какъ будто съ нѣсколько большимъ вниманіемъ, безъ котораго намъ, конечно, въ этотъ день сто разъ быть бы выброшенными и остаться либо среди степи, либо гдѣ-нибудь подъ лѣсами, мимо которыхъ мы проѣзжали.

Но вотъ вдругъ одна собачка ткнулась мордою въ снѣгъ, дрыгнула задними лапами и пала. Дикарь, разумѣется, лучше меня зналъ, что̀ это значитъ и какою угрожаетъ намъ новою бѣдою, но не выразилъ ни страха, ни смущенія: такъ же, какъ и всегда, онъ твердою, но безстрастною рукою застремилъ въ снѣгъ свой орстель и далъ мнѣ держать этотъ якорь нашего спасенія, а самъ поспѣшно сошелъ съ саней, вынулъ изнемогшаго пса изъ хомутика и потащилъ его взадъ, за сани. Я думалъ, что онъ хочетъ пришибить и закинуть куда-нибудь этого пса; но, оглянувшись, увидѣлъ, что и эта собака уже виситъ на деревѣ и изъ нея опять ползутъ внизъ кровавыя черева. Отвратительное зрѣлище!

— Это что опять?—крикнулъ я ему.

— А шайтану ее, бачка.

— Ну, братъ, довольно будетъ съ твоего шайтана; много ему по двѣ собаки на день ѣсть.

— Ничего, бачка, пусть лопаетъ.

— Нѣтъ, не «ничего», говорю; а если ты ихъ такъ будешь колоть, то ты ихъ всѣхъ шайтану переколешь.

— Я, бачка, ему тѣхъ даю, которыя дохнутъ.

— А ты бы ихъ лучше покормилъ.

— Нечѣмъ, бачка.

— Вотъ оно что! — это сказалось то самое, чего я и боялся.

А короткій день уже опять клонился къ вечеру и остальныя собаченки, видимо, совсѣмъ устали, изъ силъ выбились и начали какъ-то дико похаркивать и садиться. И вдругъ еще одна пала, а прочія всѣ, какъ по уговору, всѣ сразу сѣли на хвосты и завыли, точно тризну по ней правили.

Дикарь мой всталъ и хотѣлъ вздернуть шайтану третью собаку, но я ему этого на сей разъ уже рѣшительно не позволилъ. Такъ надоѣло мнѣ на это смотрѣть, да и казалось, что эта мерзость какъ будто увеличивала ужасъ нашего положенія.

— Оставь, говорю, и не смѣй трогать: пусть издыхаетъ какъ ей пришлось.

Онъ и спорить не сталъ, но зато съ обычнымъ ему, самымъ невозмутимымъ спокойствіемъ выкинулъ самую неожиданную штуку. Онъ молча застремилъ свой орстель впереди саней и всѣхъ собаченокъ, одну за другою, отцѣпилъ и пустилъ ихъ на волю. Оголодалые псы словно забыли истому: они взвизгнули, глухо затявкали и понеслись всей стаей въ одну сторону и въ минуту же скрылись въ лѣсу за дальнимъ перелогомъ. Все это сталось такъ скоро, какъ въ сказкѣ объ Ильѣ-Муромцѣ сказывается: «какъ садился Илья на коня, всѣ видѣли, а какъ уѣхалъ, того никто не видалъ». Наша двигательная сила насъ оставила: мы *опѣшили:* отъ десятка нашихъ, еще такъ недавно

бодрыхъ собаченокъ, при насъ оставалась только одна, издохшая, которая валялась у нашихъ ногъ въ своемъ хомутишкѣ.

Дикарь мой стоялъ на этомъ позорищѣ, облокотясь на свой орстель и съ тѣмъ же безстрастіемъ смотрѣлъ себѣ на ноги.

— Зачѣмъ ты это сдѣлалъ?—воскликнулъ я.

— Пустилъ, бачка.

— Вижу, что пустилъ; а придутъ ли онѣ назадъ?

— Нѣтъ, бачка, не придутъ,—онѣ одичаютъ.

— Для чего же, для чего ты ихъ спустилъ?

— Лопать, бачка, хотятъ,—пусть звѣрька изловятъ,—лопать будутъ.

— А мы съ тобою что̀ будемъ лопать?

— Ничего, бачка.

— Ахъ ты, извергъ!

Онъ, вѣрно, не понялъ и ничего мнѣ не отвѣчалъ, но воткнулъ въ снѣгъ свой орстель и пошелъ. Никто бы не отгадалъ, куда и зачѣмъ онъ отъ меня удалился. Я его окликалъ, звалъ его вернуться назадъ, но онъ, только взглянувъ на меня своимъ тупымъ взглядомъ, прорычалъ: «молчи, бачка», и побрелъ дальше. Скоро и онъ исчезъ за опушкой, и я остался одинъ-одинёшенекъ.

Надо ли вамъ распространяться о томъ, какъ ужасно было мое положеніе или, можетъ-быть, вы лучше поймете весь этотъ ужасъ изъ того, что я не думалъ ни о чемъ, кромѣ того, что я голоденъ, что мнѣ хочется не ѣсть, въ человѣческомъ смыслѣ желанія пищи, а жрать, какъ голодному волку. Я вынулъ мои часы, подавилъ репетиръ и былъ пораженъ новымъ сюрпризомъ: мои часы стояли,—чего съ ними никогда не случалось на заводѣ. Дрожащими руками я вложилъ въ нихъ ключъ и удостовѣрился, что онѣ стали потому, что весь заводъ сошелъ; а онѣ ходили около двухъ сутокъ на одномъ заводѣ. Это мнѣ открывало, что мы, ночуя подъ снѣгомъ, пролежали въ своей ледяной могилѣ *болѣе чѣмъ сутки*!.. Сколько же? — можетъ-быть, двое,

можетъ-быть, трое? Я болѣе не удивлялся, что я такъ мучительно страдаю отъ голода... Я, значитъ, не ѣлъ, по крайней мѣрѣ, третьи сутки и, сообразивъ это, почувствовалъ свой терзающій голодъ еще ожесточеннѣе.

Ѣсть, что-нибудь ѣсть! — нечистое, гадкое, лишь бы ѣсть!—вотъ все, что я понималъ, отчаянно водя вокругъ себя полными нестерпимой муки глазами.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Мы стояли на плоскомъ возвышеніи; за нами была огромная, безбрежная степь, а впереди безконечное ея продолженіе; вправо обозначалась занесенная снѣгомъ низменность и перевалъ, за которымъ далеко синѣла на горизонтѣ гряда лѣса, куда скрылись наши собаки. Влѣво шла другая лѣсная опушка, вдоль которой мы ѣхали, пока вся наша сбруя не разстроилась. Сами мы стояли какъ разъ подъ большимъ сугробомъ, который, видно, намело на пригорокъ, покрытый высокими, подъ самое небо уходящими пихтами и елинами. Томимый голодомъ, я стылъ, сидя на краю саней, и, не обращая вниманія ни на что окружающее, не замѣтилъ, когда здѣсь очутился возлѣ меня мой дикарь. Я не видалъ ни того, какъ онъ подошелъ, ни того, какъ онъ, молча, сѣлъ рядомъ со мною; теперь же, когда я обратилъ на него вниманіе, онъ сидѣлъ, поставивъ орстель въ колѣна, а руки завелъ за теплую малицу. Ни одна черта его лица не измѣнилась, ни одинъ мускулъ не двигался и глаза не выражали ничего, кромѣ тупой и спокойной покорности.

Я взглянулъ на него и ни о чемъ его не спросилъ, а онъ, какъ до сихъ поръ никогда первый не заговаривалъ, и теперь не заговорилъ. Такъ мы и осмеркли, такъ и просидѣли рядомъ безконечную темную ночь, не сказавъ другъ другу ни одного слова.

Но чуть на небѣ начало слегка сѣрѣть, дикарь тихо поднялся съ саней, заложилъ руки поглубже за пазуху и опять побрелъ вдоль по опушкѣ. Долго онъ не бывалъ на-

задъ, я долго видѣлъ, какъ онъ бродилъ и все останавливался: станетъ и что-то долго-долго на деревьяхъ разглядываетъ, и опять дальше потянетъ. И такъ онъ, наконецъ, скрылся съ моихъ глазъ, а потомъ опять такъ же тихо и безстрастно возвращается и прямо съ прихода лѣзетъ подъ сани и начинаетъ тамъ что-то настроивать или разстроивать.

— Что ты, спрашиваю, тамъ дѣлаешь? — и при этомъ непріятно открываю, какъ у меня спалъ и даже совсѣмъ перемѣнился мой голосъ, между тѣмъ мой дикарь какъ прежде говорилъ, такъ и теперь такъ же, перекусывая звуки, отрываетъ.

— Лыжи, бачка, достаю.

— Лыжи!—воскликнулъ я въ ужасѣ, тутъ только во всемъ значеніи понявъ, что такое значитъ «навострить лыжи».— Зачѣмъ ты лыжи достаешь?

— Сейчасъ убѣгу.

— Ахъ, ты, разбойникъ, думаю: куда же ты это побѣжишь?

— На правую руку, бачка, убѣгу.

— Зачѣмъ же ты туда побѣжишь?

— Лопать тебѣ принесу.

— Врешь, говорю,—ты меня здѣсь кинуть хочешь.

Но онъ ни мало не смутился и отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, я тебѣ лопать принесу.

— Гдѣ же ты мнѣ лопать возьмешь?

— Не знаю, бачка.

— Какъ же не знаешь: куда же ты бѣжишь?

— На праву руку.

— Кто же тамъ на правой рукѣ?

— Не знаю, бачка.

— А не знаешь, такъ чего же ты бѣжишь?

— Примѣту нашелъ,—чумъ есть.

— Врешь, говорю, любезный, ты меня одного здѣсь бросить хочешь.

— Нѣтъ; я лопать принесу.

— Ну, ступай, только ужъ лучше не ври, а иди себѣ куда знаешь.

— Зачѣмъ, бачка, врать, не хорошо врать.

— Очень, братъ, не хорошо, а ты врешь.

— Нѣтъ, бачка, не вру! поди со мной; я тебѣ примѣтку покажу.

И, зацѣпивъ лыжи и орстель, онъ поволокъ ихъ за собою и меня взялъ за руку, привелъ къ одному дереву и спрашиваетъ:

— Видишь, бачка?

— Что же, говорю, дерево вижу,—больше ничего.

— А вонъ, на большомъ суку вѣтка на вѣткѣ,—видишь?

— Ну, что же такое? вижу, есть вѣтка, — вѣрно вѣтеръ ее сюда забросилъ.

— Какой, бачка, вѣтеръ; это не вѣтеръ, а добрый человѣкъ ее посадилъ,—въ ту руку чумъ есть.

Ну, очевидное дѣло, что или онъ меня обманываетъ, или самъ обманывается; но что же мнѣ дѣлать?—силой мнѣ его не удержать, да и зачѣмъ я его стану удерживать? Не все ли равно, что одному, что вдвоемъ умирать съ холоду и голоду? Пусть бѣжитъ и спасается, если можетъ спастись,— и говорю ему по-монашески: «спасайся, братъ!»

А онъ спокойно отвѣчаетъ: «спасибо, бачка», и съ этимъ утвердился на лыжахъ, заложилъ орстель на плечи, шаркнулъ разъ ногой, шаркнулъ два,—и побѣжалъ. Черезъ минуту его уже и не видно стало, и я остался одинъ-одинёшенекъ среди снѣга, холода и совсѣмъ уже изнурившаго меня мучительнаго голода.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Небольшой зимній сибирскій день я пробродилъ около саней, то присаживаясь, то снова поднимаясь, когда холодъ пересиливалъ несносныя муки голода. Ходилъ я, разумѣется, потихоньку, потому что и силъ у меня не было, да и отъ сильнаго движенія скорѣе устаешь, и тогда еще скорѣе стынешь.

Бродя все вблизи того мѣста, гдѣ меня кинулъ мой дикарь, я не разъ подходилъ и къ тому дереву, на которомъ онъ мнѣ указывалъ примѣтную вѣтку: прилежно я ее разсматривалъ и все еще болѣе убѣждался, что это просто вѣтка, заброшенная сюда вѣтромъ съ другого дерева.

— Обманулъ, говорилъ я себѣ, обманулъ онъ меня, да и не поставится ему это въ грѣхъ: зачѣмъ ему было пропадать вмѣстѣ со мною, безъ всякой для меня пользы?

И нужно ли вамъ разсказывать, какъ тяжело и мучительно дологъ мнѣ казался этотъ куцый день? Я не вѣрилъ ни въ какую возможность спасенія и ждалъ смерти; но гдѣ она? зачѣмъ медлитъ и когда-то еще соберется припожаловать? Сколько я еще натерзаюсь прежде, чѣмъ она меня обласкаетъ и успокоитъ мои мученія?.. Скоро я сталъ замѣчать, что у меня начинаетъ минутами изнемогать зрѣніе: вдругъ всѣ предметы какъ бы сольются и пропадучъ въ какой-то сѣрой мглѣ, но потомъ опять вдругъ и неожиданно разъяснитъ... Кажется, это происходитъ просто отъ усталости, но не знаю, какую роль здѣсь играетъ перемѣна въ освѣщеніи: чуть освѣщеніе перемѣнится, становится снова видно, и видно очень ясно и далеко, а потомъ опять затуманитъ. На часокъ выпрыгнувшее за далекими холмами солнышко стало обливать покрывавшій эти холмы снѣгъ удивительно чистымъ розовымъ свѣтомъ,—это бываетъ тамъ передъ вечеромъ, послѣ чего солнце сейчасъ же быстро и скрывается, и розовый свѣтъ тогда смѣняется самою дивною синевою. Такъ было и теперь: вокругъ меня вблизи все засинѣло, какъ будто сапфирною пылью обсыпалось, — гдѣ рытвинка, гдѣ ножной слѣдъ, или такъ просто палкою въ снѣгъ ткнуто, — вездѣ какъ сизый дымокъ заклубился и черезъ малое время этой игры все сразу смеркло: степь какъ опрокинутою чашей покрыло и потомъ опять облегчаетъ... сѣрѣетъ... Съ этою послѣднею перемѣною, какъ исчезъ и сей удивительный голубой свѣтъ и перебѣжала мгновенная тьма, на моихъ усталыхъ глазахъ въ сѣрой мглѣ пошли отражаться разные удивительные степные фокусы.

Всѣ предметы начали принимать невѣроятные, огромные размѣры и очертанія: наши салазки торчали какъ корабельный остовъ; заиндевѣлая дохлая собака казалась спящимъ бѣлымъ медвѣдемъ, а деревья какъ бы ожили и стали переходить съ мѣста на мѣсто... И все это такъ живо и интересно, что я, не смотря на мое печальное положеніе, готовъ былъ бы во все это съ любопытствомъ всматриваться, если бы не одно странное обстоятельство, которое меня отпугнуло отъ моихъ наблюденій и, пробудя во мнѣ новый страхъ, оживило съ нимъ вмѣстѣ и инстинктъ самосохраненія. Предъ моими глазами, вдали, въ полутьмѣ, что-то мелькнуло, какъ темная стрѣла, потомъ другая, третья, и вслѣдъ затѣмъ въ воздухѣ раздался протяжный жалобный вой.

Я мигомъ сообразилъ, что это или волки, или наши отпущенныя собаки, которыя, вѣроятно, ничего съѣдомаго не нашли и звѣря не затравили, а, истомясь голодомъ, вспомнили о своей околѣвшей подругѣ и хотятъ воспользоваться ея трупомъ. Во всякомъ случаѣ, тѣ ли это, или другіе, оголодавшіе ли псы, или волки, но они моему преосвященству спуска не дадутъ, и хотя мнѣ по разуму собственно было бы легче быть сразу растерзаннымъ, чѣмъ долго томиться голодомъ, однако инстинктъ самосохраненія взялъ свое и я съ ловкостью и быстротою, какихъ, признаться сказать, никогда за собою не зналъ и отъ себя не чаялъ, взобрался въ своемъ тяжеломъ убранствѣ на самый верхъ дерева, какъ векша, и тогда лишь опомнился, когда выше было некуда лѣзть. Передо мною открывалась цѣлая необъятность и снѣга, и темнаго, какъ густая накипь, неба, на которомъ, изъ далекой непроглядной тьмы, зардѣлись красноватыя, безлучныя звѣзды; а пока я окинулъ все это взглядомъ, внизу, почти у самаго корня моего дерева, произошла какая-то свалка: рванье, стонъ, опять потасовка, и опять стонъ, и вотъ опять во тьмѣ мелькнули врозсыпь стрѣлы, и сразу все стихло, какъ будто ничего и не бывало. Настала такая невозмутимая тишина, что я слышалъ и свой

собственный пульсъ внутри себя, и свое дыханіе: оно какъ-то шумитъ, какъ сѣно, а если сильно вздохнуть, то точно электрическая искра тихо пощелкиваетъ въ невыносимо-разрѣженномъ морозномъ воздухѣ, такомъ сухомъ и такомъ холодномъ, что даже мои волосы на бородѣ насквозь промерзли, кололись, какъ проволоки, и ломались; я даже сейчасъ чувствую ознобъ при этомъ воспоминаніи, которому всегда помогаютъ мои съ той поры испорченныя ноги. Внизу, можетъ-быть, было немножко теплѣе, а можетъ-быть, и нѣтъ; но я во всякомъ случаѣ не вѣрилъ, что нашествіе хищниковъ тамъ не повторится, и рѣшилъ до утра не сходить съ дерева. Это было не страшнѣе, чѣмъ закопаться подъ снѣгомъ съ моимъ зловоннымъ товарищемъ, да и, вообще, что уже могло быть страшнѣе всего моего теперешняго положенія? Я только выбралъ поразбросистѣе развѣтвленіе и усѣлся на немъ, какъ въ довольно спокойномъ креслѣ, такъ что если бы даже мнѣ и вздремнулось, то я ни за что не упалъ бы; а впрочемъ, для большей безопасности, я крѣпко обхватилъ одинъ сукъ руками и завелъ ихъ обѣ поглубже за малицу. Позиція была хорошо выбрана и хорошо устроена: я сидѣлъ, какъ примерзлый старый сычъ, на котораго, вѣроятно, похожъ былъ и съ виду. Часы мои давно уже не шли, но отсюда для меня были прекрасно открыты Оріонъ и Плеяды — эти небесные часы, по которымъ я теперь могъ вести счетъ времени моихъ мученій. Я этимъ и занялся: сначала вычислилъ себѣ приблизительно данную минуту, а потомъ, такъ, просто, безъ всякой цѣли, долго-долго глядѣлъ на эти странныя звѣзды, на совершенно черномъ небѣ, пока онѣ стали слабѣть и изъ золотыхъ сдѣлались мѣдяными и, наконецъ, совсѣмъ потемнѣли и сгасли.

Настало утро, такое же сѣрое и безрадостное. Мои часы, поставленные мною по распоряженію Плеядъ, показали девять. Голодъ все ожесточался и мучилъ меня неимовѣрно: я уже не чувствовалъ ни томящаго запаха яствъ и никакого воспоминанія о вкусѣ пищи, а у меня просто была

голодная боль: мой пустой желудокъ сучило и скручивало какъ веревку и причиняло мнѣ мученія невыносимыя.

Безъ всякой надежды найти что-нибудь съѣстное, я спустился съ дерева и сталъ бродить. Въ одномъ мѣстѣ я поднялъ на снѣгу еловую шишку. Сначала думалъ, не кедровая ли и нѣтъ ли въ ней орѣшковъ, но оказалось, просто-на-просто обыкновенная еловая шишка. Я разломилъ ее, досталъ изъ нея зернышко и проглотилъ, но смолистый запахъ былъ такъ противенъ, что и пустой желудокъ не принялъ этого зерна и отъ того боли мои только усилились. Въ это время я замѣтилъ, что около нашихъ брошенныхъ саней въ разныхъ направленіяхъ было множество недавнихъ слѣдовъ и что наша дохлая собака исчезла. За нею теперь, очевидно, былъ на очереди мой трупъ, на который сбѣжатся тѣ же волки и такъ же скоро и хищно его между собою раздѣлятъ. Только когда же это будетъ? Неужели еще сутки? А ну, какъ еще болѣе?—Нѣтъ. Я припомнилъ себѣ одного фанатика-запощеванца, который заморилъ себя голодомъ во славу Христову; онъ имѣлъ духъ отмѣчать дни своего томленія и насчиталъ ихъ девять... Это ужасно! Но тотъ голодалъ въ теплѣ, а я подвергаюсь всему при жестокомъ холодѣ,—это, конечно, должно дѣлать большую разницу. Силы мои меня совсѣмъ оставили, — я уже не могъ согрѣвать себя движеніемъ и сѣлъ на сани. Даже сознаніе моей участи меня какъ будто покинуло: я чувствовалъ на вѣкахъ моихъ тѣнь смерти и томился только тѣмъ, что она такъ медленно уводитъ меня въ путь невозвратный. Вы поймете, что я такъ искренно желалъ уйти изъ этой мерзлой пустыни въ сборный домъ всѣхъ живущихъ и нимало не сожалѣлъ, что здѣсь, въ этой студеной тьмѣ, я постелю постель мою. Цѣпь мыслей моихъ порвалась, кувшинъ разбился и колесо надъ колодцемъ обрушилось: ни мыслей, ни даже обращенія къ небу въ самыхъ привычныхъ формахъ,—нечего, негдѣ и нечѣмъ стало почерпнуть. Я это созналъ и вздохнулъ.

Авва Отче! не могу даже изнести Тебѣ покаянія, но Ты

Самъ сдвинулъ свѣтильникъ мой съ мѣста, Самъ и поручись за меня передъ Собою!

Это была вся моя молитва, которую я могъ собрать въ умѣ моемъ, и затѣмъ ничего не помню, какъ шелъ этотъ день. Всеконечно, съ твердостію могу уповать, что онъ былъ такой же точно, какъ и тотъ, что минулъ. Казалось мнѣ только, что я въ этотъ день видѣлъ будто бы вдали отъ себя два живыя существа, и это будто были двѣ какія-то птицы; онѣ мнѣ казались ростомъ съ сорокъ и статью похожія на сороку, но съ сквернымъ лохматымъ перомъ, въ родѣ совинаго. Передъ самымъ закатомъ солнца онѣ слетѣли откуда-то съ дерева на снѣгъ, походили и улетѣли. Но, можетъ-быть, мнѣ это только казалось въ моихъ предсмертныхъ галлюцинаціяхъ; однако, казалось это такъ живо, что я слѣдилъ за ихъ полетомъ и видѣлъ, какъ онѣ гдѣ-то вдали скрылись, какъ будто растаяли. Усталые глаза мои, дойдя до этого мѣста, такъ на немъ и стали, и остолбенѣли. Но что бы вамъ думалось? — вдругъ я начинаю замѣчать въ этомъ направленіи какую-то странную точку, которой, кажется, здѣсь прежде не было. При томъ же казалось, что она какъ будто движется, — хоть это было такъ незамѣтно, что движеніе ея скорѣй можно было отличать внутреннимъ чутьемъ, а не глазами, но я былъ увѣренъ, что она движется.

Надежда на спасеніе заговорила, и всѣ муки мои не въ силахъ были перекричать и заглушить ее; точка все росла и все яснѣе, и яснѣе опредѣлялась на этомъ удивительно нѣжно-розовомъ фонѣ. Миражъ ли это, столь возможный въ семъ пустынномъ мѣстѣ, при такомъ капризномъ освѣщеніи, или это, дѣйствительно, что-то живое спѣшитъ ко мнѣ, но оно во всякомъ случаѣ летитъ прямо на меня, и именно не идетъ, а летитъ: я вижу, какъ *оно* чертитъ, наконецъ, различаю фигуру—вижу у нея ноги,—я вижу, какъ онѣ штрихуютъ одна за другою и... вслѣдъ затѣмъ, снова быстро перехожу отъ радости къ отчаянію. Да; это не миражъ— я его слишкомъ явно вижу, но зато это и не человѣкъ,

какъ и не звѣрь. Вообще на землѣ нѣтъ во плоти ни одного такого существа, которое походило бы на это волшебное, фантастическое видѣніе, какое на меня надвигало, словно сгущаясь, складываясь, или, какъ господа спириты говорятъ нынѣ, «матеріализуясь» изъ игривыхъ тоновъ мерзлой атмосферы. Или меня обманываетъ мой глазъ и мое воображеніе, или, кто что ни говори, а это духъ. Какой? Кто ты? Неужто это мой отецъ Киріакъ спѣшитъ мнѣ навстрѣчу изъ царства мертвыхъ... А можетъ быть мы оба уже *тамъ*?.. неужто я уже и кончилъ переходъ? Какъ хорошо! какъ любопытенъ этотъ духъ, этотъ мой новый согражданинъ въ новой жизни! Опишу его вамъ какъ умѣю: ко мнѣ плыла крылатая, гигантская фигура, которая вся съ головы до пятъ была облечена въ хитонъ серебряной парчи и вся искрилась; на головѣ огромнѣйшій, казалось, чуть ли не въ сажень вышины, уборъ, который горѣлъ, какъ будто весь сплошь усыпанъ былъ брилліантами или точно это цѣльная брилліантовая митра... Все это точно у богато-убраннаго индійскаго идола, и, въ довершеніе сего сходства съ идоломъ и съ фантастическимъ его явленіемъ, изъ-подъ ногъ моего дивнаго гостя брызжутъ искры серебристой пыли, по которой онъ точно несется на легкомъ облакѣ, по меньшей мѣрѣ, какъ сказочный Гермесъ.

И вотъ, пока я его разсматривалъ, онъ, этотъ удивительный духъ, все ближе, ближе, и—вотъ, наконецъ, совсѣмъ близко, и еще моментъ, и онъ, обрызгавъ всего меня снѣжной пылью, воткнулъ передо мною свой волшебный жезлъ и воскликнулъ:

— Здравствуй, бачка!

Я не вѣрилъ ни своимъ глазамъ, ни своему слуху: удивительный духъ этотъ былъ, конечно, онъ, — мой дикарь! Теперь въ этомъ нельзя было болѣе ошибаться: вотъ подъ ногами его тѣ же самыя лыжи, на которыхъ онъ убѣжалъ, за плечами другія; передо мною воткнутъ въ снѣгъ его орстель, а на рукахъ у него цѣлая медвѣжья ляжка, совсѣмъ и съ шерстью, и со всей когтистой лапой. Но во что онъ убранъ, во что онъ преобразился?

Не дожидая съ моей стороны никакого отвѣта на свое привѣтствіе, онъ сунулъ мнѣ къ лицу эту медвѣжатину и, промычавъ:

— Лопай, бачка!—самъ сѣлъ на сани и началъ снимать съ своихъ ногъ лыжи.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Я припалъ къ окороку и грызъ, и сосалъ сырое мясо, стараясь утолить терзавшій меня голодъ, и въ то же время смотрѣлъ на моего избавителя.

Что это такое было у него на головѣ, которая оставалась все въ томъ же дивномъ блестящемъ, высокомъ уборѣ,—никакъ я этого не могъ разобрать, и говорю:

— Послушай, что это у тебя на головѣ?

— А это, отвѣчаетъ, то, что ты мнѣ денегъ не далъ.

Признаюсь, я не совсѣмъ понялъ, что онъ мнѣ этимъ хотѣлъ сказать, но всматриваюсь въ него внимательнѣе—и открываю, что этотъ его высокій бриллiантовый головной уборъ есть не что иное, какъ его же собственные длинные волосы: всѣ ихъ пропушило насквозь снѣжною пылью, и какъ они у него на бѣгу развѣвались, такъ ихъ снопомъ и заморозило.

— А гдѣ же твой треухъ?

— Кинулъ.

— Для чего?

— А что ты мнѣ денегъ не далъ.

— Ну, говорю, я тебѣ, точно, забылъ денегъ дать,—это я дурно сдѣлалъ, но какой же жестокій человѣкъ этотъ хозяинъ, который тебѣ не повѣрилъ и въ такую стыдь съ тебя шапку снялъ.

— Съ меня шапки никто не снималъ.

— А какъ же это было?

— Я ее самъ кинулъ.

И разсказалъ мнѣ, что онъ по примѣткѣ весь день бѣжалъ, юрту нашелъ,—въ юртѣ медвѣдь лежитъ, а хозяевъ дома нѣтъ.

— Ну?

— Думалъ тебѣ долго ждать, бачка,—ты издохнешь.

— Ну?

— Я медвѣдь рубилъ и лапу взялъ, и назадъ бѣжалъ, а ему шапку клалъ.

— Зачѣмъ?

— Чтобы онъ дурно, бачка, не думалъ.

— Да вѣдь тебя этотъ хозяинъ не знаетъ.

— Этотъ, бачка, не знаетъ, а другой знаетъ.

— Который другой?

— А тотъ Хозяинъ, Который сверху смотритъ.

— Гм! Который сверху смотритъ?..

— Да, бачка, какъ же: вѣдь Онъ, бачка, все видитъ.

— Видитъ, братецъ, видитъ.

— Какъ же, бачка?—Онъ, бачка, не любитъ, кто худо сдѣлалъ.

Разсужденіе весьма близкое къ тому, какое высказалъ св. Сиринъ соблазнявшей его прелестницѣ, которая манила его къ себѣ въ домъ, а онъ приглашалъ ее согрѣшить всенародно на площади; та говоритъ: «тамъ нельзя; тамъ *люди увидятъ*», а онъ говоритъ: «я на людей-то не очень бы посмотрѣлъ, а вотъ какъ бы насъ Богъ не увидалъ? Давай-ка лучше разойдемся».

— Ну, братъ, подумалъ я, однако, и ты отъ царства небеснаго недалеко ходишь; а онъ во время сей краткой моей думы кувыркнулся въ снѣгъ.

— Прощай, говоритъ, бачка, ты лопай, а я спать хочу.

И засопѣлъ своимъ могучимъ обычаемъ.

Это уже было темно; надъ нами опять разостлалось черное небо и по немъ, какъ искры по смолѣ, засверкали безлучныя звѣзды.

Я тогда уже немножко препитался, то есть проглотилъ нѣсколько кусочковъ сырого мяса, и стоялъ съ медвѣжьимъ окорокомъ на рукахъ надъ спящимъ дикаремъ и вопрошалъ себя:

— Что за загадочное странствіе совершаетъ этотъ чи-

стый, высокій духъ въ этомъ неуклюжемъ тѣлѣ и въ этой ужасной пустынѣ? Зачѣмъ онъ воплощенъ здѣсь, а не въ странахъ, благословенныхъ природою? Для чего умъ его такъ скуденъ, что не можетъ открыть ему Творца въ болѣе пространномъ и ясномъ понятіи? Для чего, о Боже, лишенъ онъ возможности благодарить Тебя за просвѣщеніе его свѣтомъ Твоего Евангелія? Для чего въ рукѣ моей нѣтъ средствъ, чтобы возродить его новымъ торжественнымъ рожденіемъ съ усыновленіемъ Тебѣ Христомъ Твоимъ? Должна же быть на все это воля Твоя; если Ты, въ семъ печальномъ его состояніи, вразумляешь его какимъ-то дивнымъ свѣтомъ свыше, то я вѣрю, что сей свѣтъ ума его есть даръ Твой! Владыко мой, како уразумѣю: что сотворю, да не прогнѣвлю Тебя и не оскорблю сего моего искренняго?

И въ этомъ раздумьѣ не замѣтилъ я, какъ небо вдругъ вспыхнуло, загорѣлось и облило насъ волшебнымъ свѣтомъ: все приняло опять огромные, фантастическіе размѣры и мой спящій избавитель представлялся мнѣ очарованнымъ могучимъ сказочнымъ богатыремъ. Я пригнулся къ нему и сталъ его разсматривать, словно никогда его до сей поры не видѣлъ, и что я скажу вамъ?—онъ мнѣ показался прекрасенъ. Мнилось мнѣ, что это былъ тотъ, на чьей шеѣ обитаетъ сила; тотъ, чья смертная нога идетъ въ путь, котораго не знаютъ хищныя птицы; тотъ, передъ кѣмъ бѣжитъ ужасъ, сократившій меня до безсилія и уловившій меня, какъ въ петлю, въ мой собственный замыслъ. Скудно слово его, но за то онъ не можетъ утѣшать скорбное сердце движеніемъ губъ, а слово его—это искра въ движеніи его сердца. Какъ краснорѣчива его добродѣтель и кто рѣшится огорчить его?... Во всякомъ разѣ не я. Нѣтъ, живъ Господь, огорчившій ради его душу мою, это буду не я. Пусть плечо мое отпадетъ отъ спины моей и рука моя отломится отъ моего локтя, если я подниму ее на сего бѣдняка и на бѣдный родъ его! Прости меня, блаженный Августинъ, а я и тогда разномыслилъ съ тобою, и сейчасъ съ тобою не

согласенъ, что будто «самыя добродѣтели языческія суть только скрытые пороки». Нѣтъ; сей, спасшій жизнь мою, сдѣлалъ это не по чему иному, какъ по добродѣтели, самоотверженному состраданію и благородству; онъ, не зная апостольскаго завѣта Петра, «мужался ради меня (своего недруга) и предавалъ душу свою въ благотвореніе». Онъ покинулъ свой треухъ и бѣжалъ сутки въ ледяной шапкѣ, конечно, движимый не однимъ *естественнымъ* чувствомъ состраданія ко мнѣ, а имѣя также religio, — дорожа *возсоединеніемъ* съ тѣмъ Хозяиномъ, «Который сверху смотритъ». Что же я съ нимъ сотворю теперь? возьму ли я у него эту религію и разобью ее, когда другой, лучшей и сладостнѣйшей, я лишенъ возможности дать ему, доколѣ «слова путаютъ смыслъ смертнаго», а дѣлъ, для плѣненія его, показать невозможно? Неужто я стану страхомъ его нудить, или выгодою защиты обольщать? Никогда, да не будетъ онъ, какъ Емморъ и Сихемъ, обрѣзавшіеся ради дочерей и скотовъ Іаковлевыхъ! Скотовъ и дочерей вѣрою пріобрѣтающіе —не вѣру, а дочерей и скотовъ только пріобрящутъ и семидалъ отъ рукъ ихъ будетъ Тебѣ яко же и кровь свиная. А гдѣ же мои средства его воспитать, его *просвѣтить*, когда нѣтъ ихъ, этихъ средствъ, и все какъ бы нарочито такъ устроено, чтобы имъ не быть въ моихъ рукахъ? Нѣтъ; вѣрно, правъ мой Киріакъ: здѣсь печать, которой несвободною рукой не распечатаешь,—и благъ мнѣ по мысли пришелъ совѣтъ Аввакума пророка: «аще умедлитъ, потерпи ему, яко идый пріидетъ и не умедлитъ». Ей, гряди, Христосъ, ей, гряди Самъ въ сіе сердце чистое, въ сію душу смирную; а доколѣ медлишь, доколѣ не изволишь сего... пусть милы ему будутъ эти снѣжныя глыбы его долинъ, пусть въ свой день онъ скончается, сброся жизнь, какъ лоза—дозрѣвшую ягоду, какъ дикая маслина—цвѣтокъ свой... Не мнѣ ставить въ колоды ноги его и преслѣдовать его стези, когда Самъ Сый написалъ перстомъ Своимъ законъ любви въ сердцѣ его и отвелъ его въ сторону отъ дѣлъ гнѣва. Авва Отче, сообщай Себя любящему

Тебя, а не испытующему, и пребудь благословенъ до вѣка такимъ, какимъ Ты по благости Своей дозволилъ и мнѣ, и ему, и каждому по-своему постигать волю Твою. Нѣтъ больше смятенія въ сердцѣ моемъ: вѣрю, что Ты открылъ ему Себя, сколько ему надо, и онъ знаетъ Тебя, какъ и все Тебя знаетъ:

Largior hic campos aether et lumine vestit
Purpureo, solemque suum, sua sidera norunt!

подсказалъ моей памяти старый Виргилій,—и я поклонился у изголовья моего дикаря лицомъ до низу и, ставъ на колѣни, благословилъ его и, покрывъ его мерзлую голову своею полою, спалъ съ нимъ рядомъ такъ, какъ бы я спалъ, обнявшись съ пустыннымъ ангеломъ.

## ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Досказывать ли вамъ конецъ? Онъ не мудренѣе начала.

Когда мы проснулись, дикарь подладилъ подъ меня принесенныя имъ лыжи, вырубилъ мнѣ шестъ, всунулъ въ руки и научилъ, какъ его держать; потомъ подпоясалъ меня веревкою, взялъ ее за конецъ и поволокъ за собою.

Спросите: куда?—Прежде всего за медвѣжатину долгъ платить. Тамъ мы надѣялись взять собакъ и ѣхать далѣе; но поѣхали не туда, куда вначалѣ влекла меня моя неопытная затѣя. Въ дымной юртѣ нашего кредитора ждало меня еще одно поученіе, имѣвшее весьма рѣшительное значеніе на всю мою послѣдующую дѣятельность. Въ томъ было дѣло, что хозяинъ, которому мой дикарь шапку покинулъ, совсѣмъ не на охоту въ то время ходилъ, когда прибѣгалъ мой избавитель, а онъ выручалъ моего Киріака, котораго обрѣлъ брошеннаго его крещенымъ проводникомъ среди пустыни. Да, господа, тутъ въ юртѣ, близь тусклаго вонючаго огня, я нашелъ моего честнаго старца, и въ какомъ ужасномъ, сердце сжимающемъ, положеніи! Онъ весь обмерзъ; его чѣмъ-то смазали, и онъ еще живъ былъ, но ужасный запахъ, который обдалъ меня при приближеніи къ нему, сказалъ мнѣ, что духъ, стерегшій домъ сей, отхо-

дитъ. Я поднялъ покрывавшую его оленью шкуру и ужаснулся: гангрена отдѣлила все мясо его ногъ отъ кости, но онъ еще смотрѣлъ и говорилъ. Узнавъ меня, онъ прошепталъ:

— Здравствуй, владыко!

Въ несказанномъ ужасѣ я глядѣлъ на него и не находилъ словъ.

— Я ждалъ тебя, вотъ ты и пришелъ; ну, слава Богу, Видѣлъ степь? Какова показалась?... Ничего, — живъ будешь, опытъ имѣть будешь.

— Прости, говорю, меня, отецъ Киріакъ, что я тебя сюда завелъ.

— Полно, владыко. Благословенъ будь приходъ твой сюда; опытъ получилъ и живи, а меня скорѣй исповѣдуй.

— Хорошо, говорю, сейчасъ; гдѣ же у тебя Святые Дары,—они вѣдь съ тобой были?

— Со мной были, отвѣчаетъ, да нѣтъ ихъ.

— Гдѣ же они?

— Ихъ дикарь съѣлъ.

— Что̀ ты говоришь!

— Да!.. съѣлъ! Ну, что говоритъ, — темный человѣкъ... спутанъ умъ... Не могъ его удержать... говоритъ: «попа встрѣчу, — онъ меня проститъ». Что говорить?.. все спуталъ...

— Неужто же, говорю, онъ и мѵро съѣлъ!

— Все съѣлъ, и губочку съѣлъ, и дароносицу унесъ, и меня бросилъ... вѣритъ, что «попъ проститъ»... Что говорить?.. спутанъ умъ... простимъ ему это, владыко,—пусть только насъ Христосъ проститъ. Дай слово мнѣ не искать его, бѣднаго, или... если отыщешь его...

— Простить?

— Да; Христа ради прости и... какъ пріѣдешь домой, гляди, вражкамъ ничего о немъ не сказывай, а то они, лукавые, пожалуй, надъ бѣднякомъ-то свою ревность покажутъ. Пожалуйста, не сказывай.

Я далъ слово и, опустясь возлѣ умирающаго на колѣни,

сталъ его исповѣдывать; а въ это самое время въ полную людей юрту вскочила пестрая шаманка, заколотила въ свой бубенъ; ей пошли подражать на деревянномъ камертонѣ и еще на какомъ-то непонятномъ инструментѣ, типа того времени, когда племена и народы, по гласу трубы и всякаго рода муссикіи, повергались ницъ передъ истуканомъ деирскаго поля,—и начилось дикое торжество.

Это моленіе шло за насъ и за наше избавленіе, когда имъ, можетъ быть, лучше было бы молиться за свое отъ насъ избавленіе, и я, архіерей, присутствовалъ при этомъ моленіи, а отецъ Киріакъ отдавалъ при немъ свой духъ Богу, и не то молился, не то судился съ Нимъ, какъ Іеремія пророкъ, или договаривался, какъ истинный свинопасъ евангельскій, не словами, а какими-то воздыханіями неизглаголанными.

— Умилосердись, шепталъ онъ. — Прими меня теперь, какъ одного изъ наемниковъ Твоихъ! Насталъ часъ... возврати мнѣ мой прежній образъ и наслѣдіе... не дай мнѣ быть злымъ дьяволомъ въ адѣ; потопи грѣхи мои въ крови Іисуса, пошли меня къ Нему!.. хочу быть прахомъ у ногъ Его... Изреки: «да будетъ такъ»...

Перевелъ духъ и опять зоветъ:

— О доброта... о простота... о любовь!.. о радость моя!.. Іисусе!.. вотъ я бѣгу къ Тебѣ, какъ Никодимъ, ночью; вари ко мнѣ, открой дверь... дай мнѣ слышать Бога, ходящаго и глаголющаго!.. Вотъ... риза Твоя уже въ рукахъ моихъ... сокруши стегно мое... но я не отпущу Тебя... доколѣ не благословишь со мной всѣхъ.

Люблю эту *русскую* молитву, какъ она еще въ двѣнадцатомъ вѣкѣ вылилась у нашего Златоуста, Кѵрила въ Туровѣ, которою онъ и намъ завѣщалъ «не токмо за свои молитися, но и за чужія, и не за единыя христіаны, но и за иновѣрныя, да быша ся обратили къ Богу». Милый старикъ мой, Киріакъ, такъ и молился, — за *всѣхъ* дерзалъ: «*всѣхъ*, говоритъ, благослови, а то не отпущу Тебя!» Что съ такимъ чудакомъ подѣлаешь?

Съ сими словами потянулся онъ — точно поволокся за Христовою ризою,—и улетѣлъ... Такъ мнѣ и до сихъ поръ представляется, что онъ все держится, виситъ и носится за Нимъ, прося: «благослови *всѣхъ*, *а то — не отстану*». Дерзкій старичокъ этотъ своего, пожалуй, допросится; а Тотъ по добротѣ Своей ему не откажетъ. У насъ вѣдь это все in sancta simplicitate *семейно* со Христомъ дѣлается. Понимаемъ мы Его, или нѣтъ, объ этомъ толкуйте, какъ знаете, но а что мы живемъ съ нимъ запросто—это-то уже очень, кажется, неоспоримо. А Онъ простоту сильно любитъ...

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Я схоронилъ Киріака подъ глыбой земли, на берегу замерзшаго ручья, и тутъ же узналъ отъ дикарей гнусную новость, что мой успѣшный зырянинъ крестилъ... стыдно сказать — *съ угощеніемъ*, по-просту — съ водочкой. Стыдомъ это въ моихъ глазахъ все это дѣло покрыло и не захотѣлъ я этого крестителя видѣть и слышать о немъ, а повернулъ назадъ къ городу, съ рѣшимостью сѣсть въ своемъ монастырѣ за книги, безъ коихъ монаху въ праздномысліи— смертная гибель, а въ промежуткахъ времени смирно стричь ставленниковъ, да дьячихъ съ мужьями мирить: но за святое дѣло, которое всвятѣ совершать нельзя кое-какъ, лучше совсѣмъ не трогаться,—«не давать безумія Богу».

Такъ я и сдѣлалъ,—и вернулся въ монастырь умудренный опытомъ, что многострадальные миссіонеры мои люди добрые и слава Богу, что они такіе, а не иные.

Теперь я ясно видѣлъ, что добрая слабость простительнѣе ревности не по разуму въ томъ дѣлѣ, гдѣ нѣтъ средства приложить ревность разумную. А что таковая невозможна, — въ этомъ убѣждала меня дожидавшаяся меня въ монастырѣ бумага, въ коей мнѣ сообщалось «къ свѣдѣнію», что въ Сибири, кромѣ 580 буддійскихъ ламъ, состоящихъ въ штатѣ при тридцати четырехъ кумирныхъ, допускаются еще ламы сверхштатные. Что же? вѣдь я не Канюшкевичъ

или не Арсеній Маціевичъ,—я епископъ школы новой и съ кляпомъ во рту въ Ревелѣ сидѣть не хочу, какъ Арсеній сидѣлъ, да отъ этого и проку нѣтъ... Я принялъ извѣстіе объ усиленіи ламъ «къ свѣдѣнію», и только вытребовалъ, какъ могъ поскорѣе, къ себѣ назадъ изъ степей зырянина и, навѣсивъ ему за успѣхи набедренникъ, яко мечъ духовный, оставилъ его въ городѣ при соборѣ ризничимъ и наблюдателемъ за перезолоткою иконостаса; а своихъ лѣнивенькихъ миссіонеровъ собралъ, да, въ поясъ имъ поклонясь, сказалъ:

— Простите меня, отцы и братія, что вашу доброту не понималъ.

— Богъ, говорятъ, проститъ.

— Ну, молъ, спасибо, что вы милостивы, и будьте отнынѣ вездѣ и всегда паче всего милостивы и Богъ милосердія будетъ на дѣлахъ вашихъ.

И съ тѣхъ поръ во все мое остальное, довольно продолжительное, пребываніе въ Сибири я никогда не смущался, если тихій трудъ моихъ проповѣдниковъ не давалъ столь любимыхъ великосвѣтскими религіозными нетерпѣливцами эффектныхъ результатовъ. Когда не было такихъ эффектовъ, я былъ покоенъ, что «водоносы по очереди наполняются»; но когда случайно у того или у другого изъ миссіонеровъ являлась вдругъ большая цифра... я, признаюсь вамъ, чувствовалъ себя тревожно... Мнѣ припоминался то мой зырянинъ, то оный гвардейскій креститель Ушаковъ, либо совѣтникъ Ярцевъ, которые были еще благопоспѣшнѣе, понеже у нихъ, якоже и во дни Владиміра, «благочестіе со страхомъ бѣ сопряжено», и инородцы у нихъ, еще до пріѣзда миссіонеровъ, уже просили крещенія... Да только что же изъ всей ихъ этой борзости и «благочестія со страхомъ сопряженнаго» вышло?—Мерзость запустѣнія стала по святымъ мѣстамъ, гдѣ были купели сихъ борзыхъ крестильниковъ и... въ этомъ путалось все—и умъ, и сердце, и понятія людей, и я, худой архіерей, не могъ съ этимъ ничего сдѣлать, да и хорошій ничего не сдѣлаетъ, пока... пока, такъ сказать, мы въ серьезъ станемъ заниматься вѣрою, а

не кичиться ею фарисейски, для блезира. Вотъ, господа, въ какомъ положеніи бываемъ мы, русскіе крестители, и не отъ того, чай, что не понимаемъ Христа, а именно отъ того, что мы Его понимаемъ и не хотимъ, чтобы имя Его хулилось во языцѣхъ. И такъ я и жилъ уже, не лютуя съ прежнею прытью, а терпѣливо и даже, можетъ быть, лѣностно влача кресты, отъ Христа и не отъ Христа на меня ниспадавшіе, изъ коихъ замѣчательнѣйшимъ былъ тотъ, что я, ревностно принявшись за изученіе буддизма, самъ раченіемъ моего зырянина прослылъ за потаеннаго буддиста... Такъ это при мнѣ и осталось, хотя я, впрочемъ, ревность своего зырянина не стѣснялъ и предоставлялъ ему орудовать испытанными, по своей вѣрности, пріемами князя Андрея Боголюбскаго, о коихъ выкликалъ надъ его гробомъ Кузьма домочадецъ: «придетъ, дескать, бывало, язычникъ, ты велишь его весть въ ризницу, — *пусть смотритъ на наше истинное христіанство*». И я зырянину предоставилъ, кого онъ хочетъ, водить въ ризницу и все собранное тамъ отъ нашего съ нимъ «истиннаго христіанства» со тщаніемъ показывать... И было все это хорошо и довольно дѣйственно; наше «истинное христіанство» одобряли, но только разумѣется, можетъ быть, моему зырянину казалось скучно по два да по три человѣка крестить, да и впрямь оно скучно. Вотъ и до настоящаго русскаго слова договорился: «скучно»! Скучно, господа, тогда было бороться съ самодовольнымъ невѣжествомъ, терпѣвшимъ вѣру только какъ политическое средство; за то теперь, можетъ быть, еще скучнѣе бороться съ равнодушіемъ тѣхъ, которые замѣсто того, чтобы другимъ свѣтить, по удачному выраженію того же Маціевича, «*сами насилу вѣруютъ*»?... А вы, вѣдь, современные умные люди, все думаете: «эхъ, плохи наши епархіальные архіереи! Что они дѣлаютъ? Ничего они, наши архіереи, не дѣлаютъ». Не хочу за всѣхъ заступаться: многіе изъ насъ, дѣйствительно, очень немощны стали: подъ крестами спотыкаются, падаютъ и уже не то, что кто нибудь—заправскій воротила, и даже иной

pora mitratus для нихъ въ своемъ родѣ владыкой становится, и все это, разумѣется, изъ того, «что ми хощете дати», но, а спросилъ бы я васъ: что ихъ до этого довело? Не то ли именно, что они, ваши епархіальные архіереи, обращены въ администраторовъ и *ничего* живого не могутъ теперь дѣлать? И знаете: вы, можетъ быть, большою благодарностію имъ обязаны, что они въ эту пору ничего не дѣлаютъ. А то они скрутили бы вамъ клейменымъ ремнемъ такія бремена неудобоносимыя, что Богъ вѣсть, разсѣлся ли бы хребетъ вдребезги, или разлетѣлся бы ремень пополамъ; но мы вѣдь *консерваторы:* бережемъ, какъ можемъ, «свободу, ею же Христосъ насъ свободи», отъ таковыхъ «содѣйствій»... Вотъ, господа, почему мы слабо дѣйствуемъ и содѣйствуемъ. Не колите же намъ глазъ бывшими іерархами, какъ св. Гурій и другіе. Св. Гурій умѣлъ просвѣщать—это правда; да вѣдь онъ для того и ѣхалъ-то въ дикій край хорошо оснаряженъ: съ наказомъ и съ правомъ «привлекать народъ ласкою, кормами, *заступленіемъ* передъ властями, *печалованіемъ* за вины передъ воеводами и судьями»; «*онъ обязанъ былъ*» участвовать съ правителями въ совѣтѣ; а вашъ сегодняшній архіерей даже съ своимъ сосѣдомъ архіереемъ не воленъ о дѣлахъ посовѣщаться; ему словно ни о чемъ не надо думать: за него есть кому думать, а онъ обязанъ только все принять «*къ свѣдѣнію*». Чего же вы отъ него хотите, если ему нынѣ самому за себя уже негдѣ стало печаловаться?... Эхъ, твори, Господи, волю Свою... Что можетъ еще дѣлаться, то какъ-то пока само дѣлается, и я это видѣлъ подъ конецъ моего пастырства въ Сибири. Пріѣзжаетъ разъ ко мнѣ одинъ миссіонеръ и говоритъ, что онъ напалъ на кочевье въ томъ мѣстѣ, гдѣ я зарылъ моего Киріака, и тамъ у ручья цѣлую толпу окрестилъ въ «Киріакова Бога», какъ крестился нѣкогда человѣкъ во имя «Бога Іустинова». Добрый народъ у костей добраго старца возлюбилъ и понялъ Бога, сотворившаго сего добряка, и самъ захотѣлъ служить Богу, создавшему такое душевное «изящество».

Я за это велѣлъ Киріаку такой здоровый дубовый крестъ поставить, что отъ него не отрекся бы и галицкій князь Владимірко, вмѣнявшій ни во что цѣлованіе креста малаго; воздвигли мы Киріаку крестъ вдвое больше всего зырянина,— и это было самое послѣднее мое распоряженіе по сибирской паствѣ.

Не знаю, кто этотъ крестъ срубитъ, или уже до сихъ поръ и срубилъ его: буддійскіе ли ламы, или русскіе чиновники,—да, впрочемъ, это все равно...

Вотъ вамъ разсказъ мой и конченъ. Судите всѣхъ насъ, въ чемъ видите,—оправдываться не стану, а одно скажу; что мой простой Киріакъ понималъ Христа навѣрно не хуже тѣхъ нашихъ заѣзжихъ проповѣдниковъ, которые брящаютъ, какъ кимвалъ звенящій, въ вашихъ гостиныхъ и вашихъ зимнихъ садахъ. Тамъ имъ и присутствовать, среди женъ Лотовыхъ, изъ коихъ каждая, какихъ бы словесъ ни наслушалась, въ Сигоръ не уйдетъ, а, пофинтивъ передъ Богомъ, доколѣ у насъ очень скучненько живется, при малѣйшемъ измѣненіи въ жизни, опять къ своему Содому обернется и столбомъ станетъ. Вотъ въ чемъ и будетъ заключаться весь успѣхъ этой салонной христовщины. Что намъ до этихъ чудодѣевъ? Они хотятъ не по низу идти, а по верху летать, но имѣя, какъ прузи, крыльца малыя, а чревища великія, далеко не залетятъ и не прольютъ ни свѣта вѣры, ни услады утѣшенія въ туманы нашей родины, гдѣ въ дебрь изъ дебри ходитъ *нашъ* Христосъ—благій и добрый и, главное, до того терпѣливый, что даже всякаго самаго плохенькаго изъ слугъ своихъ Онъ научилъ съ покорностью смотрѣть, какъ разоряютъ Его дѣло тѣ, которые должны бы сугубо этого бояться. Мы ко всему притерпѣлися, потому что намъ уже это не первый снѣгъ на головы. Было и то, что нашъ «*Камень вѣры*» прятали, а «*Молотъ*» на него нѣмецкаго издѣлія всѣмъ въ руки совали, и стричь-то, и брить-то насъ хотѣли, и въ аббатиковъ передѣлать желали. Одинъ благодѣтель, Голицынъ, намъ свое юродское богословіе указывалъ проповѣдывать; другой, Про-

тасовъ, намъ своимъ пальцемъ подъ самымъ носомъ грозилъ; а третій, Чебышевъ, уже всѣхъ превзошелъ, и на гостиномъ дворѣ, какъ и въ синодѣ, открыто «гнилыя слова» изрыгалъ, увѣряя всѣхъ, что «Бога нѣтъ и говорить о Немъ глупо»... А кого еще впередъ срѣтать будемъ и что намъ тотъ или другой новый пѣтухъ запоетъ, про то и гадать нельзя. Одно утѣшеніе, что всѣ они, эти радѣтели Церкви русской, ничего ей не сдѣлаютъ, потому что не равна ихъ борьба: Церковь неразорима, какъ зданіе апостольское, а въ сихъ пѣвняхъ духъ пройдетъ и не познаютъ они мѣста своего. Но вотъ что, господа, мнѣ кажется крайне безтактно,—это то, что иные изъ этихъ, какъ ихъ нынѣ стали звать, лица высокопоставленныя, или широкоразставленныя, нашей скромности не замѣчаютъ и ея не цѣнятъ. Это, по истинѣ скажу, неблагодарно: имъ бы не резонъ нарекать на насъ, что мы терпѣливы да смирны... Будь мы понетерпѣливѣе, такъ Богъ вѣсть, не стали бы сожалѣть объ этомъ очень многіе, и больше всѣхъ тѣ, иже въ трудѣхъ не суть и съ человѣки ранъ не пріемлютъ, а, обложивъ тукомъ свои лядвіи, праздно умствуютъ, во что бы имъ начать вѣрить, чтобы было только о чемъ нибудь умствовать. Поцѣните же вы, господа, хоть святую скромность православія и поймите, что вѣрно оно духъ Христовъ содержитъ, если терпитъ все, что Богу терпѣть угодно. Право, одно его смиреніе похвалы стоитъ; а живучести его надо подивиться и за нее Бога прославить.

Мы всѣ безъ уговора невольно отвѣчали:

— Аминь.

# ЗАПЕЧАТЛѢННЫЙ АНГЕЛЪ.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Дѣло было о святкахъ, наканунѣ Васильева вечера. Погода разгулялась самая немилостивая. Жесточайшая поземная пурга, изъ тѣхъ, какими бываютъ славны зимы на степномъ заволжьи, загнала множество людей въ одинокій постоялый дворъ, стоящій бобылемъ среди гладкой и необозримой степи. Тутъ очутились въ одной кучѣ дворяне, купцы и крестьяне, русскіе и мордва, и чуваши. Соблюдать чины и ранги на такомъ ночлегѣ было невозможно: куда ни повернись, вездѣ тѣснота, одни сушатся, другіе грѣются, третьи ищутъ хотя маленькаго мѣстечка, гдѣ бы пріютиться; по темной, низкой, переполненной народомъ избѣ, стоитъ духота и густой паръ отъ мокраго платья. Свободнаго мѣста нигдѣ не видно: на палатяхъ, на печкѣ, на лавкахъ и даже на грязномъ земляномъ полу, вездѣ лежатъ люди. Хозяинъ, суровый мужикъ, не радъ былъ ни гостямъ, ни наживѣ. Сердито захлопнувъ ворота за послѣдними, добившимися на дворъ санями, на которыхъ пріѣхали два купца, онъ заперъ дворъ на замокъ и, повѣсивъ ключъ подъ божницею, твердо молвилъ:

— Ну, теперь кто хочешь, хоть головой въ ворота бейся, не отворю.

Но едва онъ успѣлъ это выговорить и, снявъ съ себя обширный овчинный тулупъ, перекрестился древнимъ большимъ крестомъ и приготовился лѣзть на жаркую печку, какъ кто-то робкою рукой застучалъ въ стекло.

— Кто тамъ?—окликнулъ громкимъ и недовольнымъ голосомъ хозяинъ.

— Мы, отвѣтили глухо изъ-за окна.

— Ну-у, а чего еще надо?

— Пусти, Христа ради, сбились... обмерзли.

— А много ли васъ?

— Не много, не много, восемнадцатеро всего, восемнадцатеро, говорилъ за окномъ, заикаясь и щелкая зубами, очевидно, совсѣмъ перезябшій человѣкъ.

— Некуда мнѣ васъ пустить, вся изба и такъ народомъ укладена.

— Пусти хоть малость обогрѣться!

— А кто же вы такіе?

— Извозчики.

— Порожнемъ или съ возами?

— Съ возами, родной, шкурье веземъ.

— Шкурье! шкурье везете, да въ избу ночевать проситесь. Ну, люди на Руси настаютъ! Пошли прочь!

— А что же имъ дѣлать?—спросилъ проѣзжій, лежавшій подъ медвѣжьею шубой на верхней лавкѣ.

— Валить шкурье, да спать подъ нимъ, вотъ что имъ дѣлать, отвѣчалъ хозяинъ и, ругнувъ еще хорошенько извозчиковъ, легъ неподвижно на печь.

Проѣзжій изъ-подъ медвѣжьей шубы въ тонѣ весьма энергическаго протеста выговаривалъ хозяину на жестокость, но тотъ не удостоилъ его замѣчанія ни малѣйшимъ отвѣтомъ. Зато вмѣсто его откликнулся изъ дальняго угла небольшой рыженькій человѣчекъ, съ острою клиномъ бородкой.

— Не осуждайте, милостивый государь, хозяина, заговорилъ онъ,—онъ это съ практики беретъ и внушаетъ правильно,—со шкурьемъ безопасно.

— Да?—отозвался вопросительно проѣзжій изъ-подъ медвѣжьей шубы.

— Совершенно безопасно-съ, и для нихъ это лучше, что онъ ихъ не пускаетъ.

— Это почему?

— А потому, что они теперь изъ этого полезную практику для себя получили, а между тѣмъ, если еще кто безпомощный добьется сюда, ему мѣстечко будетъ.

— А кого теперь еще понесетъ чортъ?—молвила шуба.

— А ты слушай, отозвался хозяинъ,—ты не болтай пустыхъ словъ. Развѣ супостатъ можетъ сюда кого-нибудь прислать, гдѣ этакая святыня? Развѣ ты не видишь, что тутъ и Спасова икона, и Богородичный ликъ.

— Это вѣрно, поддержалъ рыженькій человѣкъ.—Всякаго спасеннаго человѣка не Еѳіопъ ведетъ, а ангелъ руководствуетъ.

— А вотъ я этого не видалъ, и какъ мнѣ здѣсь очень скверно, то и не хочу вѣрить, что меня сюда завелъ мой ангелъ, отвѣчала словоохотливая шуба.

Хозяинъ только сердито сплюнулъ, а рыжачокъ добродушно молвилъ, что ангельскій путь не всякому зримъ и объ этомъ только настоящій практикъ можетъ получить понятіе.

— Вы объ этомъ говорите такъ, какъ будто сами вы имѣли такую практику, проговорила шуба.

— Да-съ, ее и имѣлъ.

— Что же это: вы видѣли, что ли, ангела и онъ васъ водилъ?

— Да-съ, я его и видѣлъ, и онъ меня руководствовалъ.

— Что вы шутите или смѣетесь?

— Боже меня сохрани такимъ дѣломъ шутить!

— Такъ что же вы такое именно видѣли: какъ вамъ ангелъ являлся?

— Это, милостивый государь, цѣлая большая исторія.

— А знаете ли, что тутъ уснуть рѣшительно невозможно, и вы бы отлично сдѣлали, если бы теперь разсказали намъ эту исторію.

— Извольте-съ.

— Такъ разсказывайте, пожалуйста: мы васъ слушаемъ. Но только что же вамъ тамъ на колѣняхъ стоять, вы идите

сюда къ намъ, авось какъ-нибудь потѣснимся и усядемся вмѣстѣ.

— Нѣтъ-съ, на этомъ благодарю-съ! Зачѣмъ васъ стѣснять, да и къ тому же повѣсть, которую я предъ вами поведу, пристойнѣе на колѣняхъ стоя сказывать, потому что это дѣло весьма священное и даже страшное.

— Ну, какъ хотите, только скорѣе сказывайте, какъ вы могли видѣть ангела и что онъ вамъ сдѣлалъ.

— Извольте-съ, я начинаю.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

— Я, какъ несомнѣнно можете по мнѣ видѣть, человѣкъ совсѣмъ незначительный, я болѣе ничего какъ мужикъ, и воспитаніе свое получилъ по состоянію, самое деревенское. Я не здѣшній, а дальній, рукомесломъ я каменьщикъ, а рожденъ въ старой русской вѣрѣ. По сиротству моему я съ измальства пошелъ со своими земляками въ отходныя работы и работалъ въ разныхъ мѣстахъ, но все при одной артели, у нашего же крестьянина, Луки Кирилова. Этотъ Лука Кириловъ живъ по сіи дни: онъ у насъ самый первый рядчикъ. Хозяйство у него было стародавнее, еще отъ отцовъ заведено, и онъ его не расточилъ, а преумножилъ и создалъ себѣ житницу велику и обильну, но былъ и есть человѣкъ прекрасый и не обидчикъ. И ужъ за то куда-куда мы съ нимъ ни ходили? Кажется, всю Россію изошли, и нигдѣ я лучше и степеннѣе его, хозяина, не видалъ. И жили мы при немъ въ самой тихой патріархіи, онъ у насъ былъ и рядчикъ, и по промыслу и по вѣрѣ наставникъ. Путь свой на работахъ мы проходили съ нимъ точно іудеи въ своихъ странствіяхъ пустынныхъ съ Моисеемъ, даже скинію свою при себѣ имѣли и никогда съ нею не разставались: то есть имѣли при себѣ свое «Божіе благословеніе». Лука Кириловъ страстно любилъ иконописную святыню, и были у него, милостивые государи, иконы все самыя пречудныя, письма самаго искус-

наго, древняго, либо настоящаго греческаго, либо первыхъ новгородскихъ или строгановскихъ изографовъ. Икона противъ иконы лучше сіяли не столько окладами, какъ остротою и плавностью предивнаго художества. Такой возвышенности я уже послѣ нигдѣ не видѣлъ!

И что были за воимя разныя и Деисусы, и Нерукотворенный Спасъ съ омоченными власы, и преподобные, и мученики, и апостолы, а всего дивнѣе многоличныя иконы съ дѣяніями, каковыя, напримѣръ, Индиктъ: праздники, Страшный Судъ, Святцы, Соборы, Отечество, Шестодневъ, Цѣлебникъ, Седьмица съ предстоящими; Троица съ Авраамліимъ поклоненіемъ у дуба Мамврійскаго, и, однимъ словомъ, всего этого благолѣпія не изрещи, и такихъ иконъ нынче уже нигдѣ не напишутъ, ни въ Москвѣ, ни въ Петербургѣ, ни въ Палиховѣ; а о Греціи и говорить нечего, такъ какъ тамъ эта наука давно затеряна. Любили мы всѣ эту свою святыню страстною любовью и сообща предъ нею святой елей теплили, и на артельный счетъ лошадь содержали и особую повозку, на которой везли это Божіе благословеніе въ двухъ большихъ коробьяхъ всюду, куда сами шли. Особенно же были при насъ двѣ иконы, одна съ греческихъ переводовъ старыхъ московскихъ царскихъ мастеровъ: Пресвятая Владычица въ саду молится, а передъ Ней всѣ древеса кипарисы и олинфы до земли преклоняются; а другая Ангелъ Хранитель, Строганова дѣла. Изрещи нельзя, что это было за искусство въ сихъ обѣихъ святыняхъ! Глянешь на Владычицу, какъ предъ ея чистотою бездушныя древеса преклонились, сердце таетъ и трепещетъ; глянешь на Ангела... радость! Сей Ангелъ во-истину былъ что-то неописуемое. Ликъ у него, какъ сейчасъ вижу, самый свѣтлобожественный и этакій скоропомощный: взоръ умиленъ; ушки съ тороцами, въ знакъ повсемѣстнаго отвсюду слышанія; одѣянье горитъ, рясны златыми преиспещрено; доспѣхъ пернатъ, рамена препоясаны; на персяхъ младенческій ликъ Эмануилевъ; въ правой рукѣ крестъ, въ лѣвой огнепалящій мечъ. Дивно! дивно!.. Власы на головкѣ кудреваты и русы,

съ ушей повились и проведены волосокъ къ волоску иголочкой. Крылья же пространны и бѣлы какъ снѣгъ, а исподъ лазурь свѣтлая, перо къ перу, и въ каждой бородкѣ пера усикъ къ усику. Глянешь на эти крылья, и гдѣ твой весь страхъ дѣнется; молишься: «осѣни», и сейчасъ весь стишаешь, и въ душѣ станетъ миръ. Вотъ эта была какая икона! И были-съ эти два образа для насъ все равно, что для жидовъ ихъ Святая Святыхъ, чуднымъ Веселіила художествомъ изукрашенная. Всѣ тѣ иконы, о которыхъ я впередъ сказалъ, мы въ особой коробьѣ на конѣ возили, а эти двѣ даже и на возъ не поставляли, а носили: Владычицу завсегда при себѣ Луки Кирилова хозяйка Михайлица, а Ангелово изображеніе самъ Лука на свой груди сохранялъ. Былъ у него такой для сей иконы сдѣланъ парчевой кошель на темной пестряди и съ пуговицей, а на передней сторонѣ алый крестъ изъ настоящаго штофу, а вверху пришитъ толстый зеленый шелковый шнуръ, чтобы вокругъ шеи обвесть. И такъ икона въ семъ содержаніи у Луки на груди всюду, куда мы шли, впереди насъ предходила, точно самъ Ангелъ намъ предшествовалъ. Идемъ, бывало, съ мѣста на мѣсто, на новую работу степями, Лука Кириловъ впереди всѣхъ нарѣзнымъ сажнемъ вмѣсто палочки помахиваетъ, за нимъ на возу Михайлица съ Богородичною иконой, а за ними мы всѣ артелью выступаемъ, а тутъ въ полѣ травы, цвѣты по лугамъ, индѣ стада пасутся и свирѣцъ на свирѣли играетъ... то есть просто сердцу и уму восхищеніе! Все шло намъ прекрасно и дивная была намъ въ каждомъ дѣлѣ удача: работы всегда находились хорошія; промежду собою у насъ было согласіе; отъ домашнихъ приходили все вѣсти спокойныя: и за все это благословляли мы предходящаго намъ Ангела, и съ пречудною его иконою, кажется, труднѣе бы чѣмъ съ жизнію своею не могли разстаться.

Да и можно ли было думать, что мы какъ-нибудь, по какому ни есть случаю, сей нашей драгоцѣннѣйшей самой святыни лишимся? А между тѣмъ, такое горе насъ ожидало

и устроялось намъ, какъ мы послѣ только уразумѣли, не людскимъ коварствомъ, а самого онаго Путеводителя нашего смотрѣніемъ. Самъ онъ возжелалъ себѣ оскорбленія, дабы дать намъ свято постичь скорбь и тою указать намъ истинный путь, предъ которымъ всѣ до сего часа исхоженные нами пути были, что дебрь темная и безслѣдная. Но позвольте узнать, занятна ли моя повѣсть и не напрасно ли я ею ваше вниманіе утруждаю?

— Нѣтъ: какъ же, какъ же: сдѣлайте милость продолжайте! — воскликнули мы, заинтересованные этимъ разсказомъ.

— Извольте-съ, послушествую вамъ и, какъ сумѣю, начну излагать бывшія съ нами дивныя дивеса отъ Ангела.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Пришли мы для большихъ работъ подъ большой городъ, на большой текучей водѣ, на Днѣпрѣ рѣкѣ, чтобы тутъ большой и нынѣ весьма славный каменный мостъ строить. Городъ стоитъ на правомъ крутомъ берегу, а мы стали на лѣвомъ, на луговомъ, на отложистомъ, и объявился предъ нами весь чудный пейзажъ: древніе храмы, монастыри святые со многими святыхъ мощами: сады густые и дерева таковые какъ по старымъ книгамъ въ заставкахъ пишутся, то есть островерхіе тополи. Глядишь на все это, а самаго за сердце словно кто щипать станетъ, такъ прекрасно! Знаете, конечно, мы люди простые, но преизящество богозданной природы все же ощущаемъ.

И вотъ-съ это мѣсто намъ такъ жестоко полюбилось, что мы въ тотъ же самый въ первый день начали тутъ постройку себѣ временнаго жилища, сначала забили высокенькія сваечки, потому что мѣсто тутъ было низменное, возлѣ самой воды, потомъ на тѣхъ сваяхъ стали собирать горницу и при ней чуланъ. Въ горницѣ поставили всю свою святыню, какъ надо, по отеческому закону: въ протяженность одной стѣны складной иконостасъ раскинули въ три пояса,

первый поклонный для большихъ иконъ, а выше два тябла для меньшенькихъ, и такъ возвели какъ должно лѣстницу до самаго распятія, а Ангела на аналогіи положили, на которомъ Лука Кириловъ Писаніе читалъ. Самъ же Лука Кириловъ съ Михайлицей стали въ чуланчикѣ жить, а мы себѣ рядомъ казаромку сгородили. На насъ глядючи, то же самое начали себѣ строить и другіе, которые пришли надолго работать, и вотъ сталъ у насъ противъ великаго основательнаго города свой легкій городокъ на сваяхъ. Занялись мы работой, и пошло все какъ надо! деньги за разсчетъ у англичанъ въ конторѣ вѣрныя; здоровье Богъ посылалъ такое, что во все лѣто ни одного больного не было, а Лукина Михайлица даже стала жаловаться, что сама, говоритъ, я не рада какая у меня по всѣмъ частямъ полнота пошла. Особенно же намъ, старовѣрамъ, тутъ нравилось, что мы въ тогдашнее время повсюду за свой обрядъ гоненію подвергались, а тутъ намъ была льгота: нѣтъ здѣсь ни городскаго начальства, ни уѣзднаго, ни попа; никого не зримъ, и никто нашей религіи не касается и не препятствуетъ... Вволю молились: отработаемъ свои часы и соберемся въ горницу, а тутъ уже вся святыня отъ многихъ лампадъ такъ сіяетъ, что даже сердце разгорается. Лука Кириловъ положитъ благословящій началъ; а мы всѣ подхватимъ, да такъ и славимъ, что даже иной разъ при тихой погодѣ далеко за слободою слышно. И никому наша вѣра не мѣшала, а даже какъ будто еще многимъ по обычаю приходила и нравилась не только однимъ простымъ людямъ, которые къ богочтительству по русскому образцу склонны, но и иновѣрамъ. Много изъ церковныхъ, которые благочестиваго нрава, а въ церковь за рѣку ѣздить некогда, бывало станутъ у насъ подъ окнами и слушаютъ и молиться начнутъ. Мы имъ этого снаружи не возбраняли: всѣхъ отогнать нельзя, потому даже и иностранцы, которые старымъ русскимъ обрядомъ интересовались, не разъ приходили наше пѣніе слушать и одобряли. Главный строитель изъ англичанъ, Яковъ Яковлевичъ, тотъ, бывало, даже съ бумажкой подъ окномъ

стоять приходилъ и все наровилъ, чтобы на ноту наше гласованіе замѣчать и потомъ, бывало, ходитъ по работамъ, а самъ все про себя въ нашемъ родѣ гудетъ: «Бо-Господь и явися намъ», но только все это у него, разумѣется, выходило на другой штыль, потому что этого пѣнія, расположеннаго по крюкамъ, новою западною нотою въ совершенствѣ уловить невозможно. Англичане, чести имъ приписать, сами люди обстоятельные и набожные, и они насъ очень любили и за хорошихъ людей почитали и хвалили. Однимъ словомъ, привелъ насъ Господень Ангелъ въ доброе мѣсто и открылъ намъ всѣ сердца людей и весь пейзажъ природы.

И сему-то подобнымъ мирственнымъ духомъ, какъ я вамъ представилъ, жили мы безъ малаго яко три года. Спорилося намъ все, изливались на насъ всѣ успѣхи точно изъ Амалфеева рога, какъ вдругъ узрѣли мы, что есть посреди насъ два сосуда избранія Божія къ нашему наказанію. Одинъ изъ таковыхъ былъ ковачъ Марой, а другой—счетчикъ Пименъ Ивановъ. Марой былъ совсѣмъ простецъ, даже неграмотный, что по старообрядчеству даже рѣдкость, но онъ былъ человѣкъ особенный: видомъ неуклюжъ, на подобіе верблюда, и нѣдристъ какъ кабанъ—одна пазуха въ полтора обхвата, а лобъ весь заросшій крутою космой и точно мраволевъ старый, а средь головы на маковкѣ гуменцо простригалъ. Рѣчь онъ имѣлъ тупую и невразумительную, все шавкалъ губами, и умъ у него былъ тугой и для всего столь нескладный, что онъ даже заучить на память молитвъ не умѣлъ, а только все, бывало, одно какое-нибудь слово твердисловитъ, но былъ на предбудущее прозорливъ и имѣлъ даръ вѣщевать и могъ сбывчивые намеки подавать. Пименъ же, напротивъ того, былъ человѣкъ щаповатый: любилъ держать себя очень форсисто и говорилъ съ такимъ хитрымъ извитіемъ словъ, что удивляться надо было его рѣчи; но за то характеръ имѣлъ легкій и увлекательный. Марой былъ пожилой человѣкъ, за семьдесятъ лѣтъ, а Пименъ средовѣкъ и изященъ: имѣлъ волосы курчавые, посрединѣ

проборъ; брови кохловатыя, лицо съ подрумяночкой, словомъ, веліаръ. Вотъ въ сихъ двухъ сосудахъ и забродила вдругъ оцетность терпкаго питія, которое надлежало намъ испить.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Мостъ, который мы строили на восьми гранитныхъ быкахъ, уже высоко надъ водой возросъ, и въ лѣто четвертаго года мы стали на тѣ столбы желѣзныя цѣпи закладывать. Только тутъ было вышла маленькая задержка: стали мы разбирать эти звенья и пригонять по мѣркамъ къ каждой лункѣ стальные заклепы, какъ оказалось, что многіе болты длинны, и отсѣкать ихъ надо, а каждый тотъ болтъ,— по-аглицки штанга стальная, и дѣланы они всѣ въ Англіи,— отлитъ изъ крѣпчайшей стали и толщины въ руку рослаго человѣка. Нагрѣвать этихъ болтовъ было нельзя, потому что тѣмъ сталь опускается, а пилить ее никакой инструментъ не бралъ: но на все на это нашъ Марой ковачъ изымѣлъ вдругъ такое средство, что облепитъ это мѣсто, гдѣ надо отсѣчь, густою колоникой изъ телѣжнаго колеса съ песковымъ жвиромъ, да и сунетъ всю эту штуку въ снѣгъ, и еще вокругъ солью осыпитъ, и вертитъ и крутитъ; а потомъ оттуда ее сразу выхватитъ, да на горячее ковало, и какъ треснетъ балдой, такъ какъ восковую свѣчу будто ножницами и отстрижетъ. Англичане всѣ и нѣмцы приходили на это хитрое Мароево умудрѣнье смотрѣли, и глядятъ, глядятъ, да вдругъ разсмѣются и заговорятъ сначала промежъ себя по своему, а потомъ на нашимъ языкѣ скажутъ:

— Такъ, руссъ! Твой молодецъ; твой корошъ физикъ понимай!

А какой тамъ «физикъ» могъ понимать Марой: онъ о наукѣ никакого и понятія не имѣлъ, а произвелъ просто какъ его Господь умудрилъ. А нашъ Пименъ Ивановъ и пошелъ объ этомъ бахвалить. Значитъ и пошло въ обѣ стороны худо: одни все причитали къ наукѣ, о которой тотъ нашъ Марой и помыслу не зналъ, а другіе заговорили,

что надъ нами-де видимая Божія благодать творитъ дивеса, какихъ мы никогда и не зрѣли. И эта послѣдняя вещь была для насъ горше первыя. Я вамъ докладывалъ, что Пименъ Ивановъ былъ слабый человѣкъ и любосластецъ, а теперь объясню, зачѣмъ мы его, однако, въ своей артели содержали; онъ у насъ ѣздилъ въ городъ за провизіей, закупалъ какія надо покупки; мы его посылали на почту паспорты и деньги ко дворамъ отправлять и назадъ новые паспорты онъ отбиралъ. Вообще, вотъ всю этакую справу чинилъ и, по правдѣ сказать, былъ онъ намъ человѣкъ въ этомъ родѣ нужный и даже очень полезный. Настоящій степенный старовѣръ, разумѣется, всегда подобной суеты чуждается и отъ общенія съ чиновниками бѣжитъ, ибо отъ нихъ мы, кромѣ досажденія, ничего не видѣли, но Пименъ радъ суетѣ, и у него на томъ берегу въ городѣ завелось самое изобильное знакомство: и торговцы, и господа, до которыхъ ему по артельнымъ дѣламъ бывали касательства, всѣ его знали и почитали его за перваго у насъ человѣка. Мы этому случаю, разумѣется, посмѣивались, а онъ страсть какъ былъ охочь съ господами чаи пить да велерѣчить: тѣ его нашимъ старшиною величаютъ, а онъ только улыбается, да по нутру свою бороду разстилаетъ. Однимъ словомъ сказать, пустоша! И занесло этого нашего Пимена къ одному немаловажному лицу, у котораго была жена изъ нашихъ мѣстъ родомъ, такая была тоже словесница, и начиталась она про насъ какихъ-то новыхъ книгъ, въ которыхъ неизвѣстно намъ, что про насъ писано, и вдругъ не знаю, съ чего-то ей пришло на умъ, что она очень старовѣровъ любитъ. Вотъ вѣдь удивительное дѣло: къ чему она избралась сосудомъ! Ну любитъ насъ и любитъ, и всегда, какъ нашъ Пименъ зачѣмъ къ ея мужу придетъ, она его сейчасъ непремѣнно сажаетъ чай пить, а тотъ тому и радъ, и разовьетъ предъ ней свои свитки.

Та своимъ бабьимъ языкомъ суерѣчитъ, что вы-де старовѣрцы и такіе-то и вотъ этакіе-то, святые, праведные, приснoблаженные, а нашъ веліаръ очи разоцѣ рас-

коситъ, головушку на-бокъ, бороду маслитъ, а голосомъ сласти́тъ:

— Какъ же, государыня. Мы-де отеческій законъ блюдемъ, мы и такія-то, мы и вотъ этакія-то правила содержимъ и другъ друга за чистотою обычая смотримъ, и словомъ, говоритъ ей все такое, что совсѣмъ къ разговору съ мірскою женщиной не принадлежащее. А межъ тѣмъ та, представьте, интересуется.

— Я слыхала, говоритъ, что къ вамъ Божіе благословеніе видимо, говоритъ, проявляется.

А тотъ сейчасъ и подхватываетъ:

— Какъ же, отвѣчаетъ, матушка, проявляется; весьма зримо проявляется.

— Видимо?

— Видимо, говоритъ, государыня, видимо. Вотъ еще на сихъ дняхъ нашъ одинъ человѣкъ могучую сталь какъ паутину щипалъ.

Барынька такъ и всплеснула ручонками.

— Ахъ, говоритъ,—какъ интересно! ахъ, я ужасно люблю чудеса и вѣрю въ нихъ! Знаете, говоритъ, прикажите вы, пожалуста, своимъ старовѣрамъ, чтобъ они помолились, чтобы мнѣ Богъ дочь далъ. У меня есть два сына, но мнѣ непремѣнно хочется одну дочь. Можно это?

— Можно-съ, отвѣчаетъ Пименъ; отчего же-съ; очень можно! Только, говоритъ, въ таковыхъ случаяхъ надо всегда, чтобъ отъ васъ жертвенный елей теплился.

Та съ великимъ своимъ удовольствіемъ даетъ ему на масло десять рублей, а онъ деньги въ карманъ и говоритъ:

— Хорошо-съ, будьте благонадежны, я повелю.

Намъ объ этомъ Пименъ, разумѣется, ничего не сказываетъ, а у барыни родится дочь.

Фу! та такъ и зашумѣла, еще послѣ родовъ обмогнуться не успѣла, какъ зоветъ нашего пустошу и чествуетъ его словно бы онъ самъ былъ тотъ чудотворецъ, а онъ и это пріемлетъ. Вотъ вѣдь до чего осуетится человѣкъ и омрачнѣетъ умъ его, и оледенѣютъ чувства. Черезъ годъ у го-

спожи опять до нашего Бога просьба, чтобы мужъ ей дачу на лѣто нанялъ, — и опять все ей, по ея желанію, дѣлается, а Пимену все на свѣщи да на елей жертвы, а онъ эти жертвы куда надо, на нашъ бокъ не переплавляя, пристраиваетъ. И дивеса, дѣйствительно, дѣялись непонятныя: былъ у этой госпожи старшій сынъ въ училищѣ и былъ онъ первый потаскунъ и лѣнивый нетягъ, и ничему не учился, но какъ пришло дѣло къ экзамену, она шлетъ за Пименомъ и даетъ ему заказъ помолиться, чтобъ ея сына въ другой классъ перевели. Пименъ говоритъ:

— Дѣло трудное; надо мнѣ будетъ всѣхъ своихъ на всю ночь на молитву согнать и до утра со свѣщами вопіять.

А та ни за что не стоитъ; тридцать рублей ему вручила, только молитесь! И что же вы думаете? Выходитъ такое счастіе этому ея блудягѣ сыну, что переводятъ его въ высшій классъ. Барыня мало отъ радости съ ума не сошла, что за ласки такія нашъ Богъ ей дѣлаетъ! Заказъ за заказомъ стала давать Пимену, и онъ ей уже выхлопоталъ у Бога и здоровья, и наслѣдство, и мужу чинъ большой, и орденовъ столько, что всѣ на груди не вмѣщались, такъ одинъ онъ въ карманѣ, говорятъ, носилъ. Диво да и только, а мы все ничего не знаемъ. Но насталъ часъ всему этому обличиться и перемѣниться однимъ девисамъ на другія.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

Замутилось что-то въ одномъ жидовскомъ городѣ той губерніи по торговой части у жидовъ. Не скажу вамъ навѣрное, деньги ли они неправильныя имѣли, или какой безпошлинный торгъ производили, но только надо было это начальству раскрыть, а тутъ награда предвидѣлась велемощная. Вотъ барынька и шлетъ за нашимъ Пименомъ и говоритъ:

— Пименъ Ивановичъ, вотъ вамъ двадцать рублей на свѣчи и на масло; велите своимъ какъ можно усерднѣе молиться, чтобы въ эту командировку моего мужа послали.

Тому какое горе! Онъ уже разохотился эту елейную подать-то собирать, и отвѣчаетъ:

— Хорошо, государыня, я повелю.

— Да, чтобъ они хорошенько, говоритъ, молились, потому мнѣ это очень нужно!

— Смѣютъ ли же они, государыня, у меня плохо молиться, когда я приказываю, заспокоилъ ее Пименъ, — я ихъ голодомъ запощу, пока не вымолютъ, — взялъ деньги да и былъ таковъ, а барину въ ту же ночь желанное его супругою назначеніе сдѣлано.

Ну уже тутъ ей такъ отъ этой благодати въ лобъ вступило, что она недовольна сдѣлалась нашей молитвой, а возжелала непремѣнно сама нашей святынѣ пославословить.

Говоритъ она объ этомъ Пимену, а онъ струсилъ, потому зналъ, что наши ее до своей святыни не допустятъ; но барыня не отстаетъ.

— Я, говоритъ, какъ вы хотите, сегодня же предъ вечеромъ возьму лодку и къ вамъ съ сыномъ пріѣду.

Пименъ ее уговаривалъ, что лучше, говоритъ, мы сами помолитвимъ; у насъ есть такой Ангелъ-Хранитель, вы ему на елей пожертвуйте, а мы ему супруга вашего и довѣримъ сохранять.

— Ахъ, прекрасно, отвѣчаетъ, — прекрасно; я очень рада, что есть такой Ангелъ; вотъ ему на масло, и зажгите предъ нимъ непремѣнно три лампады, а я пріѣду посмотрѣть.

Пимену плохо пристигло, онъ и пришелъ, да и ну намъ виноватиться, что такъ-де и такъ, я, говоритъ,—ей, еллинкѣ гадостной, не перечилъ, когда она желала, потому какъ мужъ ея намъ человѣкъ нужный, и насказалъ намъ съ три короба, а всего, что онъ дѣлалъ, все-таки не высловилъ. Ну сколь намъ было это ни непріятно, но дѣлать было нечего; мы поскорѣе свои иконы со стѣнъ поснимали, да попрятали въ коробьи, а изъ коробей кое-какія замѣнныя заставки, что содержали страха ради чиновничьяго наше-

ствія, въ тяблы поставили и ждемъ гостейку. Она и пріѣхала; такая-то разфуфыренная, что страхъ; широкими да долгими своими ометами такъ и мететъ и все на тѣ наши замѣнные образа въ лорнетку смотритъ и спрашиваетъ: «скажите, пожалуста, который же тутъ чудотворный Ангелъ?» Мы уже не знаемъ, какъ ее и отбить отъ такого разговора:

— У насъ, говоримъ, таковаго Ангела нѣтъ.

И какъ она ни добивалась, и Пимену выговаривала, но мы ей Ангела не показали, и скорѣе ее чаемъ повели поить и какими имѣли закусками угощать.

Страшно она намъ не понравилась, и Богъ знаетъ почему: видъ у нея былъ какой-то оттолкновенный, даромъ, что она будто красивою почиталась. Высокая, знаете, этакая цыбастая, тоненькая, какъ сойга, и бровеносная.

— Вамъ этакая красота не нравится? перебила разсказчика медвѣжья шуба.

— Помилуйте, да что же въ зміевидности можетъ нравиться? отвѣчалъ онъ.

— У васъ что же почитается красотою, чтобы женщина на кочку была похожа?

— Кочку! повторилъ, улыбнувшись и не обижаясь разсказчикъ. — Для чего же вы такъ полагаете? У насъ въ русскомъ настоящемъ понятіи насчетъ женскаго сложенія соблюдается свой типъ, который по нашему гораздо нынѣшняго легкомыслія соотвѣтственнѣе, а совсѣмъ не то, что кочка. Мы длинныхъ цыбовъ точно не уважаемъ, а любимъ, чтобы женщина стояла не на долгихъ ножкахъ, да на крѣпонькихъ, чтобъ она не путалась, а какъ шарокъ всюду каталась и поспѣвала, а цыбастенькая побѣжитъ да спотыкнется. Зміевидная тонина у насъ тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была изъ себя понѣдристѣе и съ пазушкой, потому оно хотя это и не такъ фигурно, да зато материнство въ ней обозначается, лобочки въ нашей настоящей чисто-русской женской породѣ хоть потѣльнѣе, помясистѣе, а зато въ этомъ мягкомъ лобочкѣ веселости и

привѣта больше. То же и насчетъ носика: у нашихъ носики не горбылемъ, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, какъ вамъ угодно, въ семейномъ быту гораздо благоувѣтливѣе, чѣмъ сухой гордый носъ. А особливо бровь; бровь въ лицѣ видъ открываетъ, и потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытнѣе, дужкою, ибо къ таковой женщинѣ и заговорить человѣку повадливѣе и совсѣмъ она иное на всякаго, къ дому располагающее впечатлѣніе имѣетъ. Но нынѣшній вкусъ, разумѣется, отъ этого добраго типа отсталъ и одобряетъ въ женскомъ полѣ воздушную эфемерность, но только это совершенно напрасно. Однако, позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили. Я лучше продолжать буду:

Нашъ Пименъ, какъ суетившійся человѣкъ, видитъ, что мы, проводивъ гостью, стали на нее критику произносить, и говоритъ:

— Чего вы? она добрая.

А мы отвѣчаемъ: какая, молъ, она добрая? когда у нея добра въ обличьи нѣтъ, но Богъ тамъ съ нею: какая она есть, такая и будь, мы уже рады были, что ее выпроводили и взялись скорѣй ладаномъ курить, чтобъ ея и духомъ у насъ не пахло.

Послѣ сего мы вымели отъ гостюшкиныхъ слѣдковъ горенку; замѣнные образа опять на ихъ мѣсто за перегородку въ коробья уклали, а оттуда достали свои настоящія иконы; размѣстили ихъ по тябламъ, какъ было по старому, покропили ихъ святой водой; положили началъ и пошли каждый куда ему слѣдовало на ночной покой, но только Богъ вѣсть, отчего и зачѣмъ всѣмъ что-то въ ту ночь не спалось и было какъ будто жутко и неспокойно.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Утромъ пошли мы всѣ на работу и дѣлаемъ свое дѣло, а Луки Кирилова нѣтъ. Это, судя по его аккуратности, было удивительно, но еще удивительнѣе мнѣ показалось, что приходитъ онъ часу въ восьмомъ весь блѣдный и разстроенный.

Зная, что онъ человѣкъ съ обладаніемъ и пустымъ скорбямъ не любилъ поддаваться, я и обратилъ на это вниманіе и спрашиваю: «Что такое съ тобою, Лука Кириловъ?» А онъ говоритъ: «Послѣ скажу».

Но я тогда, по молодости моей, страсть какъ былъ любопытенъ и къ тому же у меня вдругъ откуда-то взялось предчувствіе, что это что нибудь недоброе по вѣрѣ; а я вѣру чтилъ и невѣромъ никогда не былъ.

А потому не могъ я этого долго терпѣть и подъ какимъ ни есть предлогомъ покинулъ работу и побѣжалъ домой; думаю: пока никого дома нѣтъ, распытаю я что нибудь у Михайлицы. Хоша ей Лука Кириловъ и не открывался, но она его, при всей своей простотѣ, все таки какъ-то проницала, а таиться отъ меня она не станетъ, потому что я былъ съ дѣтства сиротою и у нихъ вмѣсто сына возросъ, и она мнѣ была все равно какъ второродительница.

Вотъ-съ я ударяюсь къ ней, а она, гляжу, сидитъ на крылечкѣ въ старомъ шушунѣ на опашку, а сама вся какъ больная, печальная и этакая зеленоватая.

— Что вы, говорю, второродительница, на такомъ мѣстѣ усѣвшись?

А она отвѣчаетъ:

— А гдѣ же мнѣ, Марочка, притулиться?

Меня зовутъ Маркъ Александровъ; но она, по своимъ материнскимъ чувствамъ ко мнѣ, Марочкой меня звала.

— Что это, думаю себѣ, она за пустяки такіе мнѣ говоритъ, что ей негдѣ притулиться?

— А зачѣмъ же говорю, вы въ чуланчикѣ у себя не ляжете?

— Нельзя, говоритъ, Марочка, тамъ въ большой горницѣ дѣдъ Марой молится.

«Ага! вотъ, думаю, такъ и есть, что что нибудь по вѣрѣ сталось», а тетка Михайлица и начинаетъ:

— Ты вѣдь, Марочка, небось ничего, дитя, не знаешь, что у насъ тутъ въ ночи сталось?

— Нѣтъ, молъ, второродительница, не знаю.

— Ахъ, страсти!

— Разскажите же скорѣе, второродительница.

— Ахъ, не знаю какъ, можно ли это разсказать?

— Отчего же, говорю, не скажете: развѣ я вамъ какой чужой, а не вмѣсто сына?

— Знаю, родной мой, отвѣчаетъ,—что ты мнѣ вмѣсто сына, ну только я на себя не надѣюсь, чтобъ я могла тебѣ это какъ надо высловить, потому что глупа я и безталанна, а вотъ погоди—дядя послѣ шабаша придетъ, онъ тебѣ небось все разскажетъ.

Но я никакъ не могъ, чтобы дождаться и присталъ къ ней: скажи да скажи мнѣ сейчасъ, въ чемъ все происшествіе.

А она, гляжу, все моргаетъ, моргаетъ глазами и всѣ у нея глаза дѣлаются полны слезъ и она ихъ вдругъ груднымъ платкомъ обмахнула и тихо мнѣ шепчетъ:

— У насъ, дитя, сею ночью Ангелъ-Хранитель сошелъ.

Меня отъ всего этого открытія въ трепетъ бросило.

— Говорите, прошу, скорѣе: какъ это диво сталося и кто были онаго дивозрители?

А она отвѣчаетъ:

— Дивеса, дитя, были непостижныя, а дивозрителей никого, кромѣ меня, не было, потому что случилось все это въ самый глухой полунощный часъ, и одна я не спала.

И разсказала она мнѣ, милостивые государи, такую повѣсть:

— Уснувъ, говоритъ, помолившись, не помню я сколько спала, но только вдругъ вижу во снѣ пожаръ, большой пожаръ: будто у насъ все погорѣло, и рѣка золу несетъ, да въ завертахъ около быковъ крутитъ и въ глубь глотаетъ, сосетъ. А самой насчетъ себя Михайлицѣ кажется, будто она, выскочивъ въ одной ветхой срачицѣ, вся въ дырьяхъ, и стоитъ у самой воды, а противъ нея, на томъ берегу стремитъ высокій красный столбъ, а на томъ столбѣ небольшой бѣлый пѣтухъ и все крыльями машетъ. Михайлица будто и говоритъ: «Кто ты такой?» потому что чувствіями ей далося знать, что эта птица что-то предвозвѣщаетъ. А

пѣтелокъ этотъ вдругъ будто человѣческимъ голосомъ возгласилъ: «Аминь», и сникъ, и его уже нѣтъ, а стала вокругъ Михайлицы тишь, и такое въ воздухѣ тощеніе, что Михайлицѣ страшно дѣлалось и продохнуть нечѣмъ, и она проснулась и лежитъ, а сама слышитъ, что подъ дверями у нихъ барашекъ заблеялъ. И слышно ей по голосу, что это самый молодой барашекъ, съ котораго еще родимое руно не тронуто. Прозвенѣлъ онъ чистымъ серебрянымъ голосочкомъ «бя-я-я», и вдругъ уже чуетъ Михайлица, что онъ по молебной горницѣ ходитъ, копытками-то этакъ по половицамъ чокъ-чокъ-чокъ частенько перебираетъ и все будто кого ищетъ. Михайлица и разсуждаетъ: «Господи Исусе Христе! что это такое: овецъ у насъ во всей нашей пришлой слободѣ нѣтъ и ягниться нечему, а откуда же это молозиво къ намъ забѣжало?» И въ ту пору стренулася: «Да и какъ, молъ, онъ въ избу попалъ? Вѣдь это, значитъ, мы во вчерашней суетѣ забыли со двора двери запереть: слава Богу, думаетъ, что это еще агнецъ вскочилъ, а не песъ со двора ко святынѣ забрался». Да и ну съ этимъ Луку будить; «Кирилычъ, кличетъ, Кирилычъ! Прокинься, голубчикъ, скорѣе, у насъ дверь отворена и какое-съ молозиво въ избу вскочило», а Лука Кириловъ, какъ на сей грѣхъ, мертвымъ сномъ объятъ спитъ. Какъ его Михайлица ни будитъ, никакъ не добудится: мычитъ онъ, а ничего не высловитъ. Что Михайлица его жоще трясетъ и двизаетъ, то онъ только громче мычитъ. Михайлица его и стала просить, что «ты, молъ, имя-то Исусово вспомяни», но только что она сама это имя выговорила, какъ въ горницѣ кто-то завизжитъ, а Лука въ ту же минуту сорвался съ кроватки и бросился было впередъ, но его вдругъ посреди горницы какъ будто мѣдяна стѣна отшибла. «Дуй, баба, огонь! Дуй скорѣе огонь!» кричитъ онъ Михайлицѣ, а самъ ни съ мѣста. Та запалила свѣчечку и выбѣгаетъ, а онъ блѣднолицъ, какъ осужденный насмертникъ, и дрожитъ такъ, что не только гапликъ на шеѣ ходитъ, а даже остегны на ногахъ трясутся. Баба опять до него: «Кормилецъ, говоритъ, что

это съ тобой?» А онъ ей только показываетъ перстомъ, что тамъ, гдѣ Ангелъ былъ, пустое мѣсто, а самъ Ангелъ у Луки вскрай ногъ на полу лежитъ.

Лука Кириловъ сейчасъ къ дѣду Марою и говоритъ: такъ и такъ, вотъ что моя баба видѣла и что у насъ сдѣлалось, поди посмотри. Марой пришелъ и сталъ на колѣняхъ передъ лежащимъ на полу Ангеломъ и долго стоялъ надъ нимъ недвижимо, какъ измрамранъ нагробникъ, а потомъ, поднявъ руку, почесалъ остриженное гуменцо на маковкѣ и тихо молвилъ:

— Принесите сюда двѣнадцать чистыхъ плинфъ новаго обожженнаго кирпича.

Лука Кириловъ сейчасъ это принесъ, а Марой осмотрѣлъ плинфы и видитъ, что всѣ они чисты, прямо изъ огненнаго горна, и велѣлъ Лукѣ класть ихъ одна на другую, и возвели они такимъ способомъ столбъ, накрыли его чистою ширинкой, вознесли на него икону, и потомъ Марой, положивъ земной поклонъ, возгласилъ:

— Ангелъ Господень, да проліются стопы твоя аможе хощеши!

И только что онъ эти слова проговорилъ, какъ вдругъ въ двери стукъ-стукъ-стукъ и незнакомый голосъ зоветъ:

— Эй вы, раскольники: кто у васъ тутъ наибольшій?

Лука Кириловъ отворяетъ дверь и видитъ стоитъ солдатъ съ медалью.

Лука спрашиваетъ: какого ему надо набольшаго? А онъ отвѣчаетъ:

— Того самаго, говоритъ, что къ барынѣ ходилъ, котораго Пименомъ звать.

Ну, Лука сейчасъ бабу за Пименомъ послалъ, а самъ спрашиваетъ: что такое за дѣло? на что̀ его въ ночи по Пимена послали?

Солдатъ говоритъ:

— Доподлинно не знаю, а слышно что-то тамъ съ бариномъ жиды неловкое дѣло устроили.

А что такое именно, разсказать не можетъ.

— Слыхалъ-де, говоритъ, какъ будто баринъ ихъ запечаталъ, а они его запечатлѣли.

Но какъ это они другъ друга запечатали—ничего вразумительно разсказать не можетъ.

Тѣмъ временемъ подошелъ и Пименъ, и самъ, какъ жидъ, то туда, то сюда вертитъ глазами: видно самъ не знаетъ, что сказать. А Лука говоритъ:

— Что же ты, шпилманъ ты этакій, сталъ, ступай теперь производи свое шпилманство въ окончаніе!

Они вдвоемъ съ солдатомъ сѣли въ лодку и поѣхали.

Черезъ часъ ворочается нашъ Пименъ и ботвитъ будто бодръ, а видно, что ему жесточе не по себѣ.

Лука его и допрашиваетъ:

— Говори, говоритъ,—говори лучше, вѣтрогонъ, все по откровенности, что ты тамъ такое надѣлалъ?

А онъ говоритъ:

— Ничего.

Ну, такъ и осталось будто ничего, а совсѣмъ было не ничего.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Съ бариномъ, за котораго нашъ Пименъ молитвовалъ, преудивительная штука совершилась. Онъ, какъ я вамъ докладывалъ, поѣхалъ въ жидовскій городъ и пріѣхалъ туда поздно ночью, когда никто о немъ не думалъ, да прямо всѣ до одной лавки и опечаталъ, и далъ знать полиціи, что завтра утромъ съ ревизіей пойдетъ. Жиды это, разумѣется, сейчасъ узнали и сейчасъ же ночью къ нему, просить его, чтобы на сдѣлку, знать того незаконнаго товара у нихъ пропасть было. Пришли они и суютъ этому барину сразу десять тысячъ рублей. Онъ говоритъ: я не могу, я большой чиновникъ, довѣріемъ облеченъ и взятокъ не беру; а жиды промежъ себя гыръ-гыръ-гыръ, да ему пятнадцать. Онъ опять «не могу»; они двадцать. Онъ, что же вы, говоритъ, не понимаете, что ли, что я не могу, я уже полиціи далъ знать, чтобы завтра вмѣстѣ идти ревизовать. А они опять гыръ-гыръ, да и говорятъ:

— Ази-язи, васе сіятельство, то зи ничего зи, что вы дали знать въ полицію, мы вамъ вотъ даемъ зи двадцать пять тысячъ, а вы зи только дайте намъ до утра вашу печатку и лозитесь себѣ спокойно поцивать: намъ ничего больше не нужно.

Баринъ подумалъ, подумалъ: хотя онъ и большимъ лицомъ себя почиталъ, а видно и у большихъ лицъ сердце не камень, взялъ двадцать пять тысячъ, а имъ далъ свою печать, которою печатовалъ, и самъ легъ спать. Жидки, разумѣется, ночью все что надо было изъ своихъ склеповъ повытаскали и опять ихъ тою же самою печатью запечатали, и баринъ еще спитъ, а они уже у него въ передней горгочатъ. Ну, онъ ихъ впустилъ; они благодарятъ и говорятъ:

— А зи теперь зи, васе высокоблагородіе, пожалуйте съ ревизіей.

Ну, а онъ этого какъ будто не слышитъ, а говоритъ:

— Давайте же скорѣе мою печать.

А жиды говорятъ:

— А давайте зи наши деньги.

Баринъ: «что? какъ?» А тѣ на своемъ стали:

— Мы зи, говорятъ, деньги подъ залогъ оставляли.

Тотъ опять:

— Какъ подъ залогъ?

— А какъ зи, говорятъ, мы подъ залогъ.

— Врете, говоритъ, вы подлецы этакіе, христопродавцы, вы мнѣ совсѣмъ тѣ деньги отдали.

А они другъ друга поталкиваютъ и смѣются.

— Гёрнъ-ту, говорятъ, слышь, мы будто совсѣмъ дали... Гм, гм! Ай вай: рази мы моземъ быть такіе глупые и совсѣмъ какъ мужики безъ политику, чтобы такому большому лицу хабара давать? («Хабаръ» по-ихнему взятка).

Ну-съ, чего лучше этой исторіи можете себѣ вообразить? Господину бы этому, разумѣется, отдать деньги, да и дѣло съ концомъ, а онъ еще покапризничалъ, потому что жаль разстаться. Наступило утро; вся торговля въ городѣ за-

перта; люди ходятъ, дивуются; полиція требуетъ печати, а жидки орутъ: «Ай вай, ну что это такое за государственное правленіе! это высокое начальство насъ разорить желаютъ». Гвалтъ ужасный! Баринъ запершись сидитъ и до обѣда чуть ума не рѣшился, а къ вечеру зоветъ тѣхъ хитрыхъ жидковъ и говоритъ: «Ну, берите, проклятые, свои деньги, только отдайте мнѣ мою печать!» А тѣ уже не хотятъ, говорятъ: «А зи какъ же это можно! Мы весь городъ цѣлый день не торговали: теперь намъ съ вашего благородія надо пятьдесятъ тысячъ». Видите, что пошло! А жидки грозятъ: «Если нынче, говорятъ, пятьдесятъ тысячъ не дадите, завтра еще двадцатью пятью тысячами больше будетъ стоить!» Баринъ всю ночь не спалъ, а къ утру опять шлетъ за жидами, и всѣ имъ деньги, которыя съ нихъ взялъ, назадъ имъ отдалъ и еще на двадцать пять тысячъ вексель написалъ, и прошелъ кое-какъ съ ревизіей: ничего, разумѣется, не нашелъ, да поскорѣе назадъ, да къ женѣ и предъ нею и рветъ и мечетъ: гдѣ двадцать пять тысячъ взять, чтобъ у жидовъ вексель выкупить? «Нужно, говоритъ, твою приданую деревнишку продать», а та говоритъ: «Ни за что на свѣтѣ: я къ ней привязана». Онъ говоритъ: это ты виновата, ты мнѣ эту посылку съ какими-то раскольниками вымолила и увѣряла, что ихъ Ангелъ мнѣ поможетъ, а онъ между тѣмъ вотъ какъ мнѣ славно помогъ. А она отвѣчаетъ: что ты, говоритъ, самъ виноватъ, зачѣмъ былъ глупъ и тѣхъ жидовъ не арестовалъ, да не объявилъ, что они у тебя печать украли, а между прочимъ, говоритъ, это ничего: ты только покоряйся мнѣ, а ужъ я дѣло поправлю, и за твою неразсудительность другіе заплатятъ. И вдругъ, на кого тамъ случилось, крикнула-гаркнула: сейчасъ, живо, говоритъ, съѣздить за Днѣпръ и привезть мнѣ раскольницкаго старосту. Ну, посолъ, разумѣется, пошелъ и привезъ нашего Пимена, а барыня ему прямо безъ обинячки: «Послушайте, говоритъ, я знаю, что вы умный человѣкъ и поймете, что мнѣ нужно: съ моимъ мужемъ случилась маленькая непріятность, его одни мерзавцы ограбили...

жиды... понимаете, и намъ теперь непремѣнно на сихъ же дняхъ надо имѣть двадцать пять тысячъ и мнѣ ихъ такъ скоро достать ровно бы негдѣ; но я пригласила васъ и спокойна, потому что старовѣры люди умные и богатые, и вамъ, какъ я сама увѣрилась, во всемъ самъ Богъ помогаетъ, то вы мнѣ, пожалуйста, дайте двадцать пять тысячъ, а я съ своей стороны за то всѣмъ дамамъ буду говорить о вашихъ чудотворныхъ иконахъ, и вы увидите, сколько вы станете получать на воскъ и масло». Безъ труда, чай, можете себѣ, милостивые государи, представить, что нашъ шпилманъ при этакомъ оборотѣ восчувствовалъ? Не знаю ужъ какими словами, но только, вѣрю я ему, онъ началъ горячо ротитися и клятися, завѣряя наше противъ такой суммы убожество, но она, эта обновленная Иродіада, и знать того не хотѣла. «Нѣтъ, да мнѣ, говоритъ, хорошо извѣстно, что раскольники богачи, и для васъ двадцать пять тысячъ это вздоръ. Моему отцу, когда онъ въ Москвѣ служилъ, старовѣры не одинъ разъ и не такія одолженія дѣлали; а двадцать пять тысячъ это пустяки». Пименъ, разумѣется, и тутъ попытался ей разъяснить, что то, молъ, московскіе старовѣры, люди капитальные, а мы простые нивари-черпорабочіе, гдѣ же намъ противъ москвичей отмогуществовать. Но она имѣла въ себѣ вѣрно хорошее московское наученіе и вдругъ его осаждила: «Что вы, что вы, говоритъ, мнѣ это разсказываете! Развѣ я не знаю, сколько у васъ чудотворныхъ иконъ, и вы же мнѣ сами вѣдь говорили, сколько вамъ со всей Россіи на воскъ и на масло присылаютъ? Нѣтъ, я и слышать не хочу; чтобы сейчасъ мнѣ были деньги, а то мой мужъ нынче же къ губернатору поѣдетъ и все разскажетъ, какъ вы молитесь и соблазняете, и вамъ скверно будетъ». Бѣдный Пименъ какъ съ крыльца не свалился; пришелъ домой, какъ я вамъ докладывалъ, и только одно слово твердитъ: «ничего», а самъ весь красный точно изъ бани и все по угламъ ходилъ носъ сморкалъ. Ну, Лука Кириловъ его, наконецъ, малое дѣло немножечко допросился, только, разумѣется, не все онъ ему открылъ, а самую лишь

ничтожность сущности обнаружилъ, какъ-то говоритъ: «Съ меня эта барыня требуетъ, чтобъ я у васъ ей пять тысячъ взаймы досталъ». Ну, Лука, разумѣется, и за это на него расходился: «Ахъ, ты шпилманъ этакій, говоритъ, шпилманъ; нужно было тебѣ съ ними знаться, да еще сюда ихъ водить! Что мы богачи что ли какіе, чтобъ у насъ такія деньги могли въ сборѣ быть? Да и за что мы должны ихъ дать? Да и гдѣ онѣ?.. Какъ это задѣлывалъ, такъ и раздѣлывайся, а намъ пять тысячъ взять негдѣ». Съ этимъ Лука Кириловъ пошелъ въ свою сторону на работу и пришелъ, какъ я вамъ доложилъ, блѣдный, въ родѣ осужденнаго насмертника, потому что онъ, ночнымъ событіемъ искушенный, предвкушалъ, что это повліяетъ на насъ непріятностью; а Пименъ себѣ пошелъ въ другую сторону. Всѣ мы видѣли, какъ онъ изъ камышей въ лодочкѣ выплылъ и на ту сторону въ городъ переправился, и теперь, когда Махайлица все это мнѣ по порядку разсказала, какъ онъ о пяти тысячахъ кучился, я и домекнулъ такъ, что вѣрно онъ ударился ту барыню умилостивлять. Въ такомъ размышленіи я стою возлѣ Михайлицы да думаю, не можетъ ли для насъ изъ этого чего вреднаго воспослѣдовать и не надо ли противъ сего могущаго произойти зла какія либо мѣры принять какъ вдругъ вижу, что все это предпріятіе уже поздно, потому что къ берегу привалила большая ладья и я за самыми плечами у себя услыхалъ шумъ многихъ голосовъ и, обернувшись, увидалъ нѣсколько человѣкъ разныхъ чиновниковъ, примундиренныхъ всякимъ подобіемъ, и съ ними не малое число жандармовъ и солдатъ. И не успѣли мы съ Михайлицей, милостивые государи, глазомъ моргнуть, какъ всѣ они мимо насъ прямо въ Лукину горницу повалили, а у двери двухъ часовыхъ поставили съ обнагощенными саблями. Михайлица стала на тѣхъ часовыхъ метаться, не столько для того, чтобъ ее пропустили, а чтобы пострадовать; они ее, разумѣется, стали отталкивать, а она еще ярѣе кидается, и дошло у нихъ сраженіе до того, что одинъ жандармъ ее, наконецъ, больно зашибъ, такъ что она съ

крыльца кубаремъ скатилась. А я ударился было за Лукою на мостъ, но гляжу, самъ Лука уже навстрѣчу мнѣ бѣжитъ, а за нимъ вся наша артель, всѣ вскрамолились и кто съ чѣмъ на работѣ былъ, кто съ ломомъ, кто съ мотыкою, всѣ бѣгутъ свою святыню оберегать... Кои не всѣ въ лодку попали и не на чемъ имъ до бережка достигнуть, во всемъ платьѣ, какъ стояли на работѣ, прямо съ мосту въ воду побросались и другъ за дружкой въ холодной волнѣ плывутъ... Даже, не повѣрите, ужасно стало чѣмъ это кончится. Стражбы той пріѣхало двадцать человѣкъ, и хотя всѣ они въ разныхъ храбрыхъ уборахъ, но на нашихъ болѣе полусотъ и всѣ выспреннею горячею вѣрой одушевленные, и всѣ они плывутъ по водѣ какъ тюленьки, и хоть ихъ колотушкою по башкамъ бей, а они на берегъ къ своей святынѣ достигаютъ, и вдругъ какъ были всѣ мокренькіе и пошли впередъ, что твое каменіе живо и несокрушимое.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Теперь же вы извольте вспомнить, что когда мы съ Михайлицей на крыльцѣ разговаривали, въ горницѣ находился на молитвѣ дѣдъ Марой и господа чиновники со сбирою своей тамъ его застали. Онъ послѣ и разсказывалъ, что какъ они вошли, сейчасъ дверь на захлопку и прямо кинулись къ образамъ. Одни лампады гасятъ, а другіе со стѣнъ рвутъ иконы да на полу накладываютъ, а на него кричатъ: «Ты попъ?» Онъ говоритъ: «Нѣтъ, не попъ». Они: «Кто же у васъ попъ?» А онъ отвѣчаетъ: «У насъ нѣтъ попа». А они: «Какъ нѣтъ попа! Какъ ты смѣешь это говорить, что нѣтъ попа!» Тутъ Марой сталъ имъ было объяснять, что мы попа не имѣемъ, да какъ онъ говорилъ-то скверно, шавкавилъ, такъ они, не разобравши въ чемъ дѣло, да «связать, говорятъ, его, подъ арестъ!» Марой дался себя связать: хоша то ему ничего не стоило, что десятскій солдатъ ему обрывочкомъ руки опуталъ, но онъ стоитъ и, все это за вѣру пріемля, смотритъ, что далѣе будетъ. А чиновники тѣмъ временемъ зажгли свѣчи и ну иконы печатать: одинъ пе-

чати накладываетъ, другіе въ описи пишутъ, а третьи буравами дыры сверлятъ, да на желѣзный прутъ иконы какъ котелки нанизываютъ. Марой на все на это святотатственное безчиніе смотритъ и плещами не тряхнетъ, потому что разсуждаетъ, что такъ, вѣроятно, это Богу изволился попустить такую дикость. Но въ это-то время слышитъ дядя Марой: одинъ жандармъ вскрикнулъ, и за нимъ другой; дверь разлетѣлася и тюленьки-то наши какъ вылѣзли изъ воды мокрые, такъ и прутъ въ горницу. Да по счастію ихъ впереди ихъ очутился Лука Кириловъ. Онъ сразу крикнулъ:

— Стой, Христовъ народушко, не дерзничайте! а самъ къ чиновникамъ и, указывая на эти пронзенныя прутомъ иконы, молвитъ: Для чего же это вы, господа начальство, такъ святыню повреждаете? Если вы право имѣете ее у насъ отобрать, то мы власти не сопротивники—отбирайте; но для чего же рѣдкое отеческое художество повреждать?

— А этой Пименовой знакомой барыньки мужъ, онъ тутъ главнѣе всѣхъ былъ, какъ крикнетъ на дядю Луку:

— Цыть, мерзавецъ! еще разсуждать смѣешь!

А Лука хоть и гордый былъ мужикъ, но смирилъ себя и тихо отвѣчаетъ:

— Позвольте, ваше высокоблагородіе, мы этотъ порядокъ знаемъ, у насъ здѣсь въ горницѣ есть полтораста иконъ, извольте вамъ по три рубля отъ иконы, и берите ихъ, только предковскаго художества не повреждайте.

Баринъ окомъ сверкнулъ и громко крикнулъ:

— Прочь! а шопотомъ шепнулъ:—Давай по сту рублей со штуки, иначе всѣ выпеку.

Лука этакой силы денегъ дать и сообразить не могъ и говоритъ:

— Богъ съ вами, если такъ: губите все какъ хотите, а у насъ такихъ денегъ нѣтъ.

А баринъ какъ завопіетъ излиха:

— Ахъ ты козелъ бородатый, да какъ ты смѣлъ при насъ о деньгахъ говорить? и тутъ вдругъ заметался, и все,

что видѣлъ изъ божественныхъ изображеній въ скибы собралъ, и на концы прутьевъ гайки навернули и припечатывали, чтобы, значитъ, ни снять, ни обмѣнить было невозможно. И все уже это было собрано и готово, они стали совсѣмъ выходить: солдаты взяли набранныя на болты скибы иконъ на плечи и понесли къ лодкамъ, а Михайлица, которая тоже за народомъ въ горницу пробралась, тѣмъ часомъ тихонько скрала съ аналогія ангельскую икону и тащитъ ее подъ платкомъ въ чуланъ, да какъ руки-то у нея дрожатъ, она ее и выронила. Батюшки мои, какъ баринъ расходился и звалъ насъ и ворами-то, и мошенниками и говоритъ:

— Ага! вы, мошенники, хотѣли ее скрасть, чтобъ она на болтъ не попала; ну, такъ она же на него не попадетъ, а я ее вотъ какъ! да, накоптивши сургучную палку, прямо какъ ткнетъ кипящею смолой съ огнемъ въ самый ангельскій ликъ!

Милостивые государи, вы на меня не посѣтуйте, что я и пробовать не могу описать вамъ, что тутъ произошло, когда баринъ излилъ кипящую смоляную струю на ликъ Ангела и еще, жестокій человѣкъ, поднялъ икону, чтобы похвастать какъ нашелъ досадить намъ. Помню только, что пресвѣтлый ликъ этотъ божественный былъ красенъ и запечатлѣнъ, а изъ-подъ печати олифа, которая подъ огневою смолой самую малость сверху растаяла, струила внизъ двумя потеками, какъ кровь въ слезѣ растворенная...

Всѣ мы ахнули и, закрывъ руками глаза свои, пали ницъ и застонали какъ на пыткѣ. И такъ мы развопились, что и темная ночь застала насъ воющихъ и голосящихъ по своемъ запечатлѣнномъ Ангелѣ, и тутъ-то въ сей тьмѣ и тишинѣ на разрушенной отчей святынѣ пришла намъ мысль: услѣдить, куда нашего хранителя дѣнутъ, и поклялись мы скрасть его, хотя бы съ опасностью жизни, и распечатлѣть, а къ исполненію сей рѣшимости избрали меня, да молодого паренька Левонтія. Этотъ Левонтій годами былъ еще сущій отрокъ, не болѣе какъ семнадцати лѣтъ, но ве-

ликотѣлесенъ, добръ сердцемъ, богочтитель съ дѣтства своего и послушливъ и благонравенъ, что твой ретивъ бѣлъ конь среброузденъ.

Лучшаго сомудренника и содѣятеля и желать нельзя было на такое опасное дѣло, какъ прослѣдить и исхитить запечатлѣннаго Ангела, ослѣпленное видѣніе котораго намъ до немощи было непереносно.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Не стану утруждать васъ подробностями какъ мы съ моимъ сомудренникомъ и содѣйствителемъ, сквозь иглины уши лазучи, во все вникали, а буду прямо разсказывать о горести, которая овладѣла нами, когда мы узнали, что пробуравленныя чиновниками иконы наши, какъ онѣ были скибами на болты нанизаны, такъ ихъ въ консисторію въ подвалъ и свалили, это уже дѣло пропащее и какъ въ гробъ погребенное, о нихъ и думать было нечего. Пріятно, однако, было то, что говорили, будто самъ архіерей, такой дикости сообразованія не одобрилъ, а напротивъ, сказалъ: «Къ чему это?» и даже за старое художество заступился и сказалъ: «Это древнее, это надо беречь!» Но вотъ что худо было, что не прошла бѣда отъ непочтенія, какъ новая, еще большая отъ сего почитателя возрасла: самъ этотъ архіерей, надо полагать, съ нехудымъ, а именно съ добрымъ вниманіемъ взялъ нашего запечатлѣннаго Ангела и долго его разсматривалъ, а потомъ отвелъ въ сторону взглядъ и говоритъ: «Смятенный видъ! Какъ ужасно его изнеявствили! Не кладите, говоритъ, сей иконы въ подвалъ, а поставьте ее у меня въ алтарѣ на окнѣ за жертвенникомъ». Такъ слуги архіереевы, по его приказанію, и исполнили, и я долженъ вамъ сказать, что такое вниманіе со стороны церковнаго іерарха намъ было, съ одной стороны, очень пріятно, но съ другой—мы видѣли, что всякое намѣреніе наше выкрасть своего Ангела стало невозможно. Оставалось другое средство: подкупить слугъ архіереевыхъ и съ ихъ помощію подмѣнить икону инымъ въ соотвѣтствіе сей хитро напи-

саннымъ подобіемъ. Въ этомъ тоже наши старовѣры не разъ успѣвали, но для сего прежде всего нуженъ искусный и опытной руки изографъ, который бы могъ сдѣлать на подмѣнъ икону въ точности, а таковаго изографа мы въ тѣхъ мѣстахъ не предвидѣли. И напала на насъ на всѣхъ съ этихъ поръ сугубая тоска, и пошла она по насъ какъ водный трудъ по закожью: въ горницѣ, гдѣ одни словословія слышались, стали раздаваться одни вопленія, и въ недолгомъ же времени всѣ мы развоплились даже до немощи и земли подъ собой отъ полныхъ слезами очей не видимъ, а чрезъ то или не черезъ это, только пошла у насъ болѣзнь глазъ и стала она весь народъ перебирать. Просто чего никогда не было, то теперь сдѣлалось: нѣтъ мѣры что больныхъ! Во всемъ рабочемъ народѣ пошелъ толкъ, что все это не спроста, а за старовѣрскаго Ангела: «его, баютъ запечатлѣніемъ ослѣпили, а теперь всѣ мы слѣпнемъ», и такимъ толкованіемъ не мы одни, а всѣ и церковные люди вскрамолились, и сколько хозяева-англичане ни привозили докторовъ, никто къ нимъ не идетъ и лѣкарства не беретъ, а вопятъ одно:

— Принесите намъ сюда запечатлѣннаго Ангела, мы ему молебствовать хотимъ, и одинъ онъ насъ исцѣлитъ.

Англичанинъ Яковъ Яковлевичъ, въ это дѣло вникнувъ, самъ поѣхалъ къ архіерею и говоритъ:

— Такъ и такъ, ваше преосвященство, вѣра дѣло великое, и кто какъ вѣритъ, тому такъ по вѣрѣ дается: отпустите къ намъ на тотъ берегъ запечатлѣннаго Ангела.

Но владыко сего не послушалъ и сказалъ:

— Сему не должно потворствовать.

Тогда намъ это слово казалось быть жестокое и мы архипастыря много суесловно осуждали, но впослѣдствіи открылось намъ, что все это велося не жестокостью, а Божіимъ смотрѣніемъ.

Между тѣмъ знаменія какъ бы не прекращались, и перстъ наказующій взыскалъ на томъ берегу самаго главнаго всему этому дѣлу виновника, самого Пимена, который

послѣ этой напасти отъ насъ сбѣжалъ и вцерковился. Встрѣчаю я его тамъ одинъ разъ въ городѣ, онъ мнѣ и кланяется, ну, и я ему поклонился. А онъ и говоритъ:

— Согрѣшилъ я, братъ Маркъ, придя съ вами въ разнобытіе по вѣрѣ.

А я отвѣчаю:

— Кому въ какой вѣрѣ быть—это дѣло Божіе, а что ты бѣднаго за сапоги продалъ, это, разумѣется, нехорошо и, прости меня, а я тебя въ томъ, какъ Аммосъ пророкъ велитъ, братски обличаю.

Онъ при имени пророка такъ и задрожалъ.

— Не говори, говоритъ, мнѣ про пророковъ: я самъ помню Писаніе и чувствую, что «пророки мучатъ живущихъ на землѣ» и даже въ томъ знаменіе имѣю, и жалуется мнѣ, что на-дняхъ онъ выкупался въ рѣкѣ и у него послѣ того по всему тѣлу пѣгота пошла, и растегнулъ грудь да показываетъ, а на немъ точно пѣжинныя пятна какъ на пѣгомъ конѣ, съ груди вверхъ на шею лѣзутъ.

Грѣшный человѣкъ, было у меня на умѣ сказать ему, что «Богъ шельму мѣтитъ», но только сдавилъ я это слово въ устахъ и молвилъ:

— Что̀ же, молись, говорю, и радуйся, что еще на сей землѣ такъ отитлованъ, авось на другомъ предстояніи чистъ будешь.

Онъ мнѣ сталъ плакаться, сколь этимъ несчастенъ и чего лишается, если пѣгота на лицо пойдетъ, потому что самъ губернаторъ, видя Пимена, когда его къ церкви присоединяли, будто много на его красоту радовался и сказалъ городскому головѣ, чтобы когда будутъ черезъ городъ важныя особы проѣзжать, то чтобы Пимена непремѣнно впередъ всѣхъ съ серебрянымъ блюдомъ выставлять. Ну, а пѣгаго ужъ куда же выставить? Но, однако, что̀ мнѣ было эту его веліарскую суету и пустошество слушать, я завернулся да и ушелъ.

И съ тѣмъ мы съ нимъ разстались. На немъ его титла все яснѣе обозначались, а у насъ не умолкали другія зна-

менія, въ заключеніе коихъ, по осени, только что сталъ ледъ, какъ вдругъ сдѣлалась оттепель, весь этотъ ледъ разметало и пошло наши постройки коверкать, и до того шли вреда за вредами, что вдругъ одинъ гранитный быкъ подмыло, и пучина поглотила все возведеніе многихъ лѣтъ стоившее многихъ тысячъ...

Поразило это самихъ нашихъ хозяевъ англичанъ, и было тутъ къ ихъ старшему Якову Яковлевичу отъ кого-то слово, что дабы ото всего этого избавиться, надо насъ, старовѣровъ, прогнать, но какъ онъ былъ человѣкъ благой души, то онъ этого слова не послушалъ, а, напротивъ, призвалъ меня и Луку Кирилова и говоритъ:

— Дайте мнѣ, ребята, сами совѣтъ: не могу ли я чѣмъ нибудь вамъ помочь и васъ утѣшить?

Но мы отвѣчали, что доколѣ священный для насъ ликъ Ангела, вездѣ намъ предходившаго, находится въ огнесмольномъ запечатлѣніи, мы ничѣмъ не можемъ утѣшиться и истаеваемъ отъ жалости.

— Что̀ же, говоритъ,—вы думаете дѣлать?

— Думаемъ, молъ, его современемъ подмѣнить и распечатлѣть его чистый ликъ, безбожною чиновническою рукой опаленный.

— Да чѣмъ, говоритъ, — онъ вамъ такъ дорогъ, и неужели другого такого же нельзя достать?

— Дорогъ онъ, отвѣчаемъ,—намъ потому, что онъ насъ хранилъ, а другого достать нельзя, потому что онъ писанъ въ твердыя времена благочестивою рукой и освященъ древнимъ іереемъ по полному требнику Петра Могилы, а нынѣ у насъ ни іереевъ, ни того требника нѣтъ.

— А какъ, говоритъ, — вы его распечатлѣете, когда у него все лицо сургучемъ выжжено?

— Ну, ужъ на этотъ счетъ, отвѣчаемъ, — ваша милость не безпокойтесь: намъ только бы его въ свои руки достичь, а то онъ, нашъ хранитель, за себя постоитъ: онъ не торговыхъ мастеровъ, а настоящаго Строганова дѣла, а что строгановская, что костромская олифа такъ варены, что и огне-

вого клейма не боятся и до нѣжныхъ вапъ смолы не допустятъ?

— Вы въ этомъ увѣрены?

— Увѣрены-съ: эта олифа крѣпка какъ сама старая русская вѣра.

Онъ тутъ ругнулъ кого зналъ, что этакого художества беречь не умѣютъ, и руки намъ подалъ и еще разъ сказалъ:

— Ну, такъ не горюйте же: я вашъ помощникъ, и мы вашего Ангела достанемъ. Надолго ли онъ вамъ нуженъ?

— Нѣтъ, говоримъ,—на небольшое время.

— Ну, такъ я скажу, что хочу на вашего запечатлѣннаго Ангела богатую золотую ризу сдѣлать, и какъ мнѣ его дадутъ, мы его тутъ и подмѣнимъ. Я завтра же за это возьмусь.

Мы благодаримъ, но говоримъ:

— Только ни завтра, ни послѣзавтра за это сударь, не беритесь.

Онъ говоритъ:

— Это почему такъ?

А мы отвѣчаемъ:

— Потому, молъ, сударь, что намъ прежде всего надо имѣть на подмѣнъ икону такую, чтобъ она какъ двѣ капли воды на настоящую походила, а таковыхъ мастеровъ здѣсь нѣтъ, да и нигдѣ вблизи не отыщется.

— Пустяки, говоритъ: — я самъ изъ города художника привезу; онъ не только копіи, а и портреты великолѣпно пишетъ.

— Нѣтъ-съ, отвѣчаемъ,—вы этого не извольте дѣлать, потому что, во-первыхъ, черезъ этого свѣтскаго художника можетъ ненадлежащая молва пойти, а во-вторыхъ, живописецъ такого дѣла исполнить не можетъ.

Англичанинъ не вѣритъ, а я выступилъ и разъясняю ему всю разницу: что нонѣ, молъ, у свѣтскихъ художниковъ не то искусство: у нихъ краски масляныя, а тамъ вапы на яйцѣ растворенныя и нѣжныя, въ живописи письмо

мазаное, чтобы только на даль натурально показывало, а тутъ письмо плавкое, и на самую близь явственно; да и свѣтскому художнику, говорю, и въ переводѣ самаго рисунка не потрафить, потому что они изучены представлять то, что въ тѣлѣ земного, животолюбиваго человѣка содержится, а въ священной русской иконописи изображается типъ лица небожительный, насчетъ коего матеріальный человѣкъ даже истоваго воображенія имѣть не можетъ.

Онъ этимъ заинтересовался и спрашиваетъ:

А гдѣ же, говоритъ,—есть такіе мастера, что еще этотъ особенный типъ понимаютъ?

— Очень, докладываю,—они нынче рѣдки (да и въ то время они совсѣмъ жили подъ строгимъ сокрытіемъ). Есть, говорю,—въ слободѣ Мстерѣ одинъ мастеръ Хохловъ, да уже онъ человѣкъ очень древнихъ лѣтъ, его въ дальній путь везти нельзя: а въ Палиховѣ есть два человѣка, такъ тѣ тоже врядъ ли поѣдутъ, да и къ тому же, говорю,—намъ ни мстерскіе, ни палиховскіе мастера и не годятся.

— Это опять почему?—пытаетъ.

— А потому, отвѣтствую,—что у нихъ пошибъ не тотъ: у мстерскихъ рисуночекъ головастенекъ и письмо мутно, а у палиховскихъ тонъ бирюзистъ, все голубинкой отдаетъ.

— Такъ какъ же, говоритъ,—быть?

— Самъ, говорю,—не знаю. Наслышанъ я, что есть еще въ Москвѣ хорошій мастеръ Силачевъ: и онъ по всей Россіи между нашими именитъ, но онъ больше къ новгородскимъ и къ царскимъ московскимъ письмамъ потрафляетъ, а наша икона строгановскаго рисунка, самыхъ свѣтлыхъ и рясныхъ вапъ, такъ намъ потрафить можетъ одинъ мастеръ Севастьянъ, съ понизовья, но онъ страстный странствователь: по всей Россіи ходитъ, старовѣрамъ починку работаетъ, и гдѣ его искать—неизвѣстно.

Англичанинъ съ удовольствіемъ всѣ эти мои доклады выслушалъ и улыбнулся, а потомъ отвѣчаетъ:

— Довольно дивные, говоритъ,—вы люди, и какъ послушаешь васъ, такъ даже пріятно дѣлается, какъ вы это

все, что до вашей части касается, хорошо знаете и даже искусства можете постигать.

— Отчего же, говорю,—сударь, искусства не постигать: это дѣло художество божественное, и у насъ есть таковые любители изъ самыхъ простыхъ мужичковъ, что не только всѣ школы, въ чемъ, напримѣръ, одна отъ другой отличаются въ письмахъ: устюжскія или новгородскія, московскія или вологодскія, сибирскія, либо строгановскія, а даже въ одной и той же школѣ извѣстныхъ старыхъ мастеровъ русскихъ рукомесло одно отъ другого безъ ошибки отличаютъ.

— Можетъ ли, говоритъ,—это быть?

— Все равно, отвѣчаю, — какъ вы одного человѣка отъ другого письменный почеркъ пера распознаете, такъ и они: сейчасъ взглянутъ и видятъ, кто изображалъ: Кузьма, Андрей или Прокофій.

— По какимъ же примѣтамъ?

— А есть, говорю, — разница въ пріемѣ какъ перевода рисунка, такъ и въ плави, въ пробѣлахъ, лицевыхъ движкахъ и въ оживкѣ.

Онъ все слушаетъ; а я ему разсказываю, что зналъ про ушаковское писаніе и про рублевское, и про древнѣйшаго русскаго художника Парамшина, коего рукомесла иконы наши благочестивые цари и князья въ благословеніе дѣтямъ дарствовали и въ духовныхъ своихъ наказывали имъ тѣ иконы блюсти паче зѣницы ока.

Англичанинъ сейчасъ выхватилъ свою записную книжку и спрашиваетъ: повторить какъ художника имя, и гдѣ его работы можно видѣть? А я отвѣчаю:

— Напрасно, сударь, станете отыскивать: нигдѣ ихъ памяти не осталось.

— Гдѣ же они дѣлись?

— А не знаю, говорю: — на чубуки ли повертѣли или нѣмцамъ на табакъ промѣняли.

— Это, говоритъ,—быть не можетъ.

— Напротивъ, отвѣчаю, — вполнѣ статочно и примѣры тому есть: въ Римѣ у папы въ Ватиканѣ створы стоятъ,

что наши русскіе изографы, Андрей, Сергѣй да Никита, въ тринадцатомъ вѣкѣ писали. Многоличная миніатюра сія, молъ, столь удивительна, что даже, говорятъ, величайшіе иностранные художники, глядя на нее, въ восторгъ приходили отъ чуднаго дѣла.

— А какъ она въ Римъ попала?

— Петръ Первый иностранному монаху подарилъ, а тотъ продалъ.

Англичанинъ улыбнулся и задумался, и потомъ тихо молвитъ, что у нихъ будто въ Англіи всякая картинка изъ рода въ родъ сохраняется и тѣмъ сама явствуетъ, кто отъ какого родословія происходитъ.

— Ну, а у насъ, говорю,—вѣрно другое образованіе, и съ предковскими преданіями связь разсыпана, дабы все казалось обновленнѣе, какъ будто и весь родъ русскій только вчера насѣдка подъ крапивой вывела.

— А если таковая, говоритъ,—ваша образованная невѣжественность, такъ отчего же, въ которыхъ любовь къ родному сохранилась, не позаботитесь поддержать своего природнаго художества?

— Некѣмъ, отвѣчаю,—намъ его, милостивый государь, поддерживать, потому что въ новыхъ школахъ художества повсемѣстное растлѣніе чувства развито и суетѣ умъ повинуется. Высокаго вдохновенія типъ утраченъ, а все съ земного вземлется и земною страстію дышитъ. Наши новѣйшіе художники начали съ того, что архистратига Михаила съ князя Потемкина Таврическаго стали изображать, а теперь уже того достигаютъ, что Христа Спаса жидовиномъ пишутъ. Чего же еще отъ такихъ людей ожидать? Ихъ необрѣзанныя сердца, можетъ быть, еще и не то изобразятъ и велятъ за божество почитать: въ Египтѣ же и быка и лукъ красноперый богомъ чтили; но только уже мы богамъ чуждымъ не поклонимся и жидово лицо за Спасовъ ликъ не примемъ, а даже изображенія эти, сколь бы они ни были искусны, за студодѣйное невѣжество почитаемъ и отвращаемся отъ него, поелику есть отчее преданіе, «что

развлеченіе очесъ разоряетъ чистоту разума, яко водометъ поврежденный погубляетъ воду».

Я симъ кончилъ и замолчалъ, а англичанинъ говоритъ:

— Продолжай: мнѣ нравится, какъ ты разсуждаешь.

Я отвѣчаю:

— Я уже все кончилъ; а онъ говоритъ:

— Нѣтъ, ты разскажи мнѣ еще, что вы по своему понятію за вдохновенное изображеніе понимаете?

Вопросъ, милостивые государи, для простого человѣка довольно затруднительный, но я, нечего дѣлать, началъ и разсказалъ какъ писано въ Новѣгородѣ Звѣздное Небо, а потомъ сталъ излагать про кіевское изображеніе въ Софійскомъ храмѣ, гдѣ по сторонамъ Бога Саваоѳа стоятъ седмь крылатыхъ архистратиговъ, на Потемкина, разумѣется, непохожихъ; а на порогахъ сѣни пророки и праотцы; ниже ступенью Моисей со скрижалію; еще ниже Ааронъ въ митрѣ и съ жезломъ прозябшимъ; на другихъ ступеняхъ царь Давидъ въ вѣнцѣ, Исаія пророкъ съ хартіей, Іезекіиль съ затворенными вратами, Даніилъ съ камнемъ, и вокругъ сихъ предстоятелей, указующихъ путь на небо, изображены дарованія, коими сего славнаго пути человѣкъ достигать можетъ, какъ-то: книга съ семью печатями—даръ премудрости; седьмисвѣщный подсвѣчникъ—даръ разума; седмь очесъ—даръ совѣта; седмь трубныхъ роговъ—даръ крѣпости; десная рука посреди седьми звѣздъ—даръ видѣнія; седмь курильницъ—даръ благочестія; седмь молній—даръ страха Божія.—Вотъ, говорю,—таковое изображеніе гореносно!

А англичанинъ отвѣчаетъ:

— Прости меня, любезный: я тебя не понимаю, почему ты это почитаешь гореноснымъ?

— А потому, молъ, что таковое изображеніе явственно душѣ говоритъ, чего христіанину надлежитъ молить и жаждать, дабы отъ земли къ неизреченной славѣ Бога вознестись.

— Да вѣдь это же, говоритъ,—всякій изъ Писанія и изъ молитвъ можетъ уразумѣть.

— Ну, никакъ нѣтъ, отвѣтствую:—Писаніе не всякому дано разумѣть, а неразумѣвающему и въ молитвѣ бываетъ затменіе: иной слышитъ глашеніе о «великія и богатыя милости» и сейчасъ полагаетъ, что это о деньгахъ, и съ алчностью кланяется. А когда онъ зритъ предъ собою изображенную небесную славу, то онъ помышляетъ вышній проспектъ жизненности и понимаетъ, какъ надо этой цѣли достигать, потому что тутъ оно все просто и вразумительно: вымоли человѣкъ первѣе всего душѣ своей даръ страха Божія, она сейчасъ и пойдетъ облегченная со ступени на ступень, съ каждымъ шагомъ усвояя себѣ преизбытки вышнихъ даровъ, и въ тѣ поры человѣку и деньги, и вся слава земная при молитвѣ кажутся не иначе какъ мерзость предъ Господомъ.

Тутъ англичанинъ встаетъ съ мѣста и весело говоритъ:

— А вы же, чудаки, чего себѣ молите?

— Мы, отвѣчаю,—молимъ христіанскія кончины живота и добраго отвѣта на страшномъ судилищѣ.

Онъ улыбнулся и вдругъ дернулъ за золотистый шнурокъ зеленую занавѣсь, а за тою занавѣсью у него сидитъ въ креслѣ его жена англичанка и предъ свѣчою на длинныхъ спицахъ вязанье дѣлаетъ. Она была прекрасная барыня, благоувѣтливая, и хотя не много по-нашему говорила, но все понимала и вѣрно хотѣлось ей нашъ разговоръ съ ея мужемъ о религіи слышать.

И что же вы думаете? Какъ отдернулась эта занавѣса, что ее скрывала, она сейчасъ встаетъ, будто содрогаясь, и идетъ, милушка, ко мнѣ съ Лукою, обѣ ручки намъ, мужикамъ, протягиваетъ, а въ глазахъ у нея блещутъ слезки, и жметъ намъ руки, а сама говоритъ:

— Добри люди, добри русски люди!

Мы съ Лукою за это ея доброе слово у нея обѣ ручки поцѣловали, а она къ нашимъ мужичьимъ головамъ свои губки приложила.

Разсказчикъ остановился и, закрывъ рукавомъ глаза, ти-

хонько отеръ ихъ и молвилъ шопотомъ: «Трогательная женщина!» и затѣмъ, оправясь, продолжалъ снова:

— По такимъ своимъ ласковымъ поступкамъ и начала она, эта англичанка, говорить что-то такое своему мужу, по-ихнему, намъ непонятно, но только слышно по голосу, что вѣрно за насъ проситъ. И англичанинъ—знать пріятна ему эта доброта въ женѣ—глядитъ на нее ажно весь гордостію сіяетъ и все жену по головкѣ гладитъ, да этакъ какъ голубь гурчитъ по-своему: «гутъ, гутъ», или какъ тамъ по-ихнему иначе говорится, но только видно, что онъ ее хвалитъ и въ чемъ-то утверждаетъ и потомъ подошелъ къ бюру, вынулъ двѣ сотенныхъ бумажки и говоритъ:

— Вотъ тебѣ, Лука, деньги: ступай ищи гдѣ знаешь какого вамъ нужно по вашей части искуснаго изографа, пусть онъ и вамъ что нужно сдѣлаетъ, и женѣ моей въ вашемъ родѣ напишетъ,—она хочетъ такую икону сыну дать, а на всѣ хлопоты и расходы вотъ это вамъ моя жена деньги даетъ.

А она сквозь слезы улыбается и частитъ:

— Ни, ни, ни: это онъ, а я особая, да съ этимъ словомъ порхъ за дверь и несетъ оттуда въ рукахъ третью сотенную.

— Мужъ, говоритъ,—мнѣ на платье дарилъ, а я платья не хочу, а вамъ жертвую.

Мы, разумѣется, стали отказываться, но она о томъ и слышать не хочетъ, и сама убѣжала, а онъ говоритъ:

— Нѣтъ, говоритъ,—не смѣйте ей отказывать и берите, что̀ она даетъ, и самъ отвернулся и говоритъ:—и ступайте, чудаки, вонъ!

Но мы этимъ изгнаніемъ, разумѣется, нимало не обидѣлись, потому что хоть онъ, этотъ англичанинъ, отъ насъ отвернулся, но видѣли мы, что онъ это сдѣлалъ ради того, дабы скрыть, что онъ самъ растрогался.

Такъ-то насъ, милостивые государи, свои притоманные люди обезсудили, а аглицкая національность утѣшила и

дала въ душу рвеніе, какъ бы точно мы баню паки бытія воспріяли!

Теперь далѣе отсюда, милостивые государи, зачинается преполовеніе моей повѣсти, и я вамъ вкратцѣ изложу: какъ я, взявъ своего среброуздаго Левонтія, пошелъ по изографа, и какія мы мѣста исходили, какихъ людей видѣли, какія новыя дивеса намъ объявились, и что̀, наконецъ, мы нашли, и что̀ потеряли, и съ чѣмъ возвратилися.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ путь шествующему человѣку первое дѣло сопутникъ; съ умнымъ и добрымъ товарищемъ и холодъ, и голодъ легче, а мнѣ это благо было даровано въ томъ чудномъ отрокѣ Левонтіи. Мы съ нимъ отправились пѣшкомъ, имѣя при себѣ котомочки и достаточную сумму, а для охраны оной и своей жизни имѣли при себѣ старую короткую саблю съ широкимъ обушкомъ, коя у насъ всегда береглась для опаснаго случая. Совершали мы путь свой въ родѣ торговыхъ людей, гдѣ какъ попало вымышляя надобности, для коихъ будто бы слѣдуемъ, а сами все, разумѣется, высматривали свое дѣло. Съ самаго первоначала мы побывали въ Клинцахъ и въ Злынкѣ, потомъ навѣдались кое къ кому изъ своихъ въ Орлѣ, но полезнаго результата себѣ никакого не получили: нигдѣ хорошихъ изографовъ не находили, и такъ достигли Москвы. Но что скажу: оле тебѣ, Москва! оле тебѣ, древляго русскаго общества преславная царица! не были мы, старые вѣрители, и тобою утѣшены.

Не охота бы говорить, а нельзя премолчать, не тотъ мы духъ на Москвѣ встрѣтили, котораго жаждали. Обрѣли мы, что старина тутъ стоитъ уже не на добротолюбіи и благочестіи, а на единомъ упрямствѣ, и съ каждымъ днемъ, въ семъ все болѣе и болѣе убѣждаясь, начали мы съ Левонтіемъ другъ друга стыдиться, ибо видѣли оба то, что мирному послѣдователю вѣры видѣть оскорбительно; но, однако, сами себя стыдяся, мы о всемъ томъ другъ другу молчали.

Изографы, разумѣется, въ Москвѣ отыскались и весьма искусные, но что̀ въ томъ пользы, когда все это люди не того духа, о каковомъ отеческія преданія повѣствуютъ? Встарь благочестивые художники, принимаясь за священное художество, постились и молились и производили одинаково, что за большія деньги, что за малыя, какъ того честь возвышеннаго дѣла требуетъ. А эти каждый одному пишетъ рефтью, а другому нефтью, на краткое время, а не въ долготу дней, грунта́ кладутъ мѣловые, слабые, а не лебастровые, и плавь лѣностно сразу наводятъ, не какъ встарь наводили до четырехъ и даже до пяти плавей жидкой какъ вода краскою, отчего получалась та дивная нѣжность, нынѣ недостижимая. И помимо неаккуратности въ художествѣ, всѣ они сами разслабѣвши, всѣ другъ предъ другомъ величаются, а другого чтобъ унизить ни во что вмѣняютъ; или еще того хуже, шайками совокупясь, сообща хитрѣйшіе обманы дѣлаютъ, собираются по трактирамъ и тутъ вино пьютъ и свое художество хвалятъ съ кичливою надменностію, а другого рукомесло богохульно называютъ «адописнымъ», а вокругъ ихъ всегда какъ воробьи за совами старьевщики, что разную иконописную старину изъ рукъ въ руки перепущаютъ, мѣняютъ, подмѣниваютъ, поддѣлываютъ доски, въ трубахъ коптятъ, утлизну въ нихъ дѣлаютъ и червоточину: изъ мѣди разные створы по старому чеканному образцу отливаютъ, амаль въ ветхозавѣтномъ родѣ наводятъ; купели изъ тазовъ куютъ и на нихъ старинные щипаные орлы, какіе за Грознаго времена были, выставляютъ и продаютъ неопытнымъ вѣрителямъ за настоящую грозновскую купель, хотя тѣхъ купелей не счесть сколько по Руси ходитъ, и все это обманъ и ложь безсовѣстные. Словомъ сказать, всѣ эти люди, какъ черные цыгане лошадьми другъ друга обманываютъ, такъ и они святынею, и все это при такомъ съ оною обращеніи, что становится за нихъ стыдно и видишь во всемъ этомъ одинъ грѣхъ да соблазнъ и вѣрѣ поношеніе. Кто привычку къ сему безстыдству усвоилъ, тому еще ничего, и изъ москов-

скихъ охотниковъ многіе этою нечестною мѣною даже интересуются и хвалятся: что-де тотъ-то того-то такъ вотъ Деисусомъ надулъ, а этотъ этого вонъ какъ Николою огрѣлъ или какимъ подлымъ манеромъ поддѣльную Владычицу еще подсунулъ: и все это имъ заростно, и другъ предъ другимъ одинъ противъ другого лучше нарохтятся какъ Божьимъ благословеніемъ неопытныхъ вѣрителей морочить, но намъ съ Левой, какъ мы были простые деревенскіе богочтители, все это въ той степени непереносно показалось, что мы оба даже заскучали и напалъ на насъ страхъ:

«Неужто же, думаемъ, такова она къ этому времени стала наша злосчастная старая вѣра?» Но и я это думаю, и онъ, вижу, то же самое въ скорбномъ сердцѣ содержитъ, а другъ другу того не открываемъ, а только замѣчаю я, что мой отрокъ все ищетъ уединеннаго мѣста.

Вотъ я разъ гляжу на него, а самъ думаю: какъ бы онъ въ смущеніи чего недолжнаго не надумалъ? да и говорю:

— Что ты, Левонтій, будто чѣмъ закручинился?

А онъ отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, говоритъ,—дядя, ничего; это я такъ.

— Пойдемъ же, молъ, на Боженинову улицу въ Эриванскій трактиръ изографовъ подговаривать. Нонѣ туда два обѣщали придти и древнихъ иконъ принести. Я уже одну вымѣнялъ, хочу нонѣ еще одну достать.

А Левонтій отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, сходи ты, дядюшка, одинъ, а я не пойду.

— Отчего же, говорю,—ты не пойдешь?

— А такъ, отвѣчаетъ:—мнѣ нонѣ что-то не по себѣ.

Ну, я его разъ не нужу и два не нужу, а на третій опять зову:

— Пойдемъ, Левонтьюшка, пойдемъ, молодчикъ.

А онъ умильно кланяется и проситъ:

— Нѣту, дядюшка, голубчикъ бѣлый: позволь мнѣ дома остаться.

— Да что же молъ, Лева, пошелъ ты мнѣ въ содѣятели,

а все дома да дома сидишь. Этакъ не велика мнѣ, голубчикъ, отъ тебя помощь.

А онъ:

— Ну родненькій, ну батечка, ну Маркъ Александрычъ, государь, не зови меня туда, гдѣ ѣдятъ да пьютъ и нескладныя рѣчи о святынѣ говорятъ, а то меня соблазнъ обдержать можетъ.

Это его было первое сознательное слово о своихъ чувствахъ и оно меня въ самое сердце поразило, но я съ нимъ не сталъ спорить, а пошелъ одинъ, и имѣлъ я въ этотъ вечеръ большой разговоръ съ двумя изографами и получилъ отъ нихъ ужасное огорченіе. Сказать страшно, что̀ они со мною сдѣлали! Одинъ мнѣ икону промѣнялъ за сорокъ рублей и ушелъ, а другой говоритъ:

— Ты гляди, человѣче, этой иконѣ не покланяйся.

Я говорю:

— Почему?

А онъ отвѣчаетъ:

— Потому что она адописная, да съ этимъ колупнулъ ногтемъ, а съ уголка слой письма такъ и отскочилъ и подъ нимъ на грунту чортикъ съ хвостомъ нарисованъ! Онъ въ другомъ мѣстѣ сковырнулъ письмо, а тамъ подъ низомъ опять чортикъ.

— Господи!—заплакалъ я,—да что же это такое?

— А то, говоритъ,—что ты не ему, а мнѣ закажи.

И увидалъ уже я тутъ ясно, что они одна шайка и норовятъ со мною нехорошо поступить, не по чести, и, покинувъ имъ икону, ушелъ отъ нихъ съ полными слезъ глазами, славя Бога, что не видалъ того мой Левонтій, вѣра котораго находилась въ бореніи. Но только подхожу домой и вижу въ окнахъ нашей горенки, которую мы нанимали, свѣту нѣтъ, а между тѣмъ оттуда тонкое нѣжное пѣніе льется. Я сейчасъ узналъ, что это поетъ пріятный Левонтіевъ голосъ и поетъ съ такимъ чувствомъ, что всякое слово будто въ слезахъ купаетъ. Вошелъ я тихонько, чтобъ

онъ не слыхалъ, сталъ у дверей и слушаю, какъ онъ Іосифовъ плачъ выводитъ:

«Кому повѣмъ печаль мою,
Кого призову ко рыданію».

Стихъ этотъ, если его изволите знать, и безъ того столь жалостный, что его спокойно слушать невозможно, а Левонтій его поетъ да самъ плачетъ и рыдаетъ, что

«Продаша мя мои братія!»

И плачетъ, и плачетъ онъ, воспѣвая, какъ видитъ гробъ своей матери, и зоветъ землю къ вопленію за братскій грѣхъ!...

Слова эти всегда могутъ человѣка взволновать, а особенно меня въ ту пору, какъ я только бѣжалъ отъ братогрызцевъ, они меня такъ растрогали, что я и самъ захлипкалъ, а Левонтій, услыхавъ это, смолкъ и зоветъ меня:

— Дядя! а дядя!

— Что, говорю,—добрый молодецъ?

— А знаешь ли ты, говоритъ,—кто это наша мать, про которую тутъ поется?

— Рахиль, отвѣчаю.

— Нѣтъ, говоритъ,—это въ древности была Рахиль, а теперь это таинственно надо понимать.

— Какъ же, спрашиваю,—таинственно?

— А такъ, отвѣчаетъ,—что это слово съ преобразованіемъ сказано.

— Ты, говорю,—смотри, дитя: не опасно ли ты умствуешь?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ,—я это въ сердцѣ моемъ чувствую, что крестуетъ-бо-ся Спасъ насъ ради того, что мы Его едиными усты и единымъ сердцемъ не ищемъ.

Я еще пуще испугался, къ чему онъ стремится, и говорю:

— Знаешь что, Левонтьюшко: пойдемъ-ко мы отсюда скорѣе изъ Москвы въ нижегородскія земли, изографа Севастьяна поищемъ, онъ нонѣ, я слышалъ, тамъ ходитъ.

— Что же: пойдемъ, отвѣчаетъ,—здѣсь на Москвѣ меня какой-то нужный духъ больно нудитъ, а тамъ лѣса, повѣтріе чище и тамъ, говоритъ, я слыхалъ, есть старецъ Памва,

анахоритъ совсѣмъ беззавистный и безгнѣвный, я бы его узрѣть хотѣлъ.

— Старецъ Памва, отвѣчаю со строгостію,—господствующей церкви слуга, что̀ вамъ на него смотрѣть?

— А что же, говоритъ,—за бѣда, я для того и хотѣлъ бы его видѣть, дабы внять, какова господствующей церкви благодать.

Я его пощунялъ, «какая тамъ, говорю, благодать», а самъ чувствую, что онъ меня правѣе, потому что онъ жаждетъ испытывать, а я чего не вѣдаю, то отвергаю, но упорствую на своемъ противленіи и говорю ему самые пустяки.

— Церковные, говорю,—и на небо смотрятъ не съ вѣрою, а въ Аристетилевы врата глядятъ и путь въ морѣ по звѣздѣ языческаго бога Ремфана опредѣляютъ; а ты съ ними въ одну точку смотрѣть захотѣлъ?

А Левонтій отвѣчаетъ:

— Ты, дядя, баснишь: никакого бога Ремфана не было и нѣтъ, а вся единою Премудростію создано.

Я отъ этого словно еще глупѣе сталъ и говорю:

— Церковные кофій пьютъ!

— А что за бѣда, отвѣчаетъ Левонтій,—кофій бобъ, онъ былъ Давиду царю въ дарахъ принесенъ.

— Откуда, говорю,—ты это все знаешь?

— Въ книгахъ, говоритъ,—читалъ.

— Ну, такъ знай же, что въ книгахъ не все писано.

— А что, говоритъ,—тамъ еще не написано?

— Что? что не написано? А самъ вовсе уже не знаю, что сказать, да брякнулъ ему:

— Церковное, говорю,—зайцевъ ѣдятъ, а заяцъ поганый.

— Не погань, говоритъ,—Богомъ созданнаго, это грѣхъ.

— Какъ, говорю,—не поганить зайца, когда онъ поганый, когда у него ослій складъ и мужеженское естество и онъ рождаетъ въ человѣкѣ густую и меланхолическую кровь?

Но Левонтій засмѣялся и говоритъ:

— Спи, дядя, ты невѣгласы глаголешь!

Я, признаюсь вамъ, тогда еще ясно не разгадалъ, что такое въ душѣ сего благодатнаго юноши дѣлалось, но самъ очень обрадовался, что онъ больше говорить не хочетъ, ибо я и самъ понималъ, что я въ сердцахъ не вѣсть что говорю, и умолкъ я и лежу да только думаю:

«Нѣтъ; это въ немъ такое сомнѣніе отъ тоски стало, а вотъ завтра поднимемся и пойдемъ, такъ оно все въ немъ разсѣется»; но про всякій же случай я себѣ на умѣ положилъ, что буду съ нимъ нѣкое время идти молча, дабы показать ему, что я какъ будто очень на него сержусь.

Но только въ волевращномъ характерѣ моемъ нѣтъ совсѣмъ этой крѣпости, чтобы притворяться сердитымъ, и мы скоро же опять начали съ Левонтіемъ говорить, но только не о Божествѣ, потому что онъ былъ сильно противъ меня начитавшись, а объ окрестности, къ чему ежечасный предлогъ подавали виды огромныхъ темныхъ лѣсовъ, которыми шелъ путь нашъ. Обо всемъ этомъ своемъ московскомъ разговорѣ съ Левонтіемъ я старался позабыть и рѣшилъ наблюдать только одну осторожность, чтобы намъ съ нимъ какъ-нибудь не набѣжать на этого старца Памву анахорита, которымъ Левонтій прельщался и о которомъ я самъ слыхалъ отъ церковныхъ людей непостижимыя чудеса про его высокую жизнь.

«Но, думаю себѣ, чего тутъ много печалиться, уже если я отъ него бѣжать стану, такъ онъ же самъ насъ не обрѣтетъ!»

И идемъ мы опять мирно и благополучно, и, наконецъ, достигши извѣстныхъ предѣловъ, добыли слухъ, что изографъ Севастьянъ точно въ здѣшнихъ мѣстахъ ходитъ, и пошли его искать изъ города въ городъ, изъ села въ село, и вотъ-вотъ совсѣмъ по его свѣжему слѣду идемъ, совсѣмъ его достигаемъ, а никакъ не достигнемъ. Просто какъ сворные псы бѣжимъ, по двадцати, по тридцати верстъ переходы безъ отдыха дѣлаемъ, а придемъ, говорятъ:

— Былъ онъ здѣсь, былъ, да вотъ-вотъ всего съ часъ назадъ ушелъ!

Бросимся вслѣдъ, не настигаемъ!

И вотъ вдругъ на одномъ такомъ переходѣ мы съ Левонтіемъ и заспорили: я говорю «намъ надо идти направо», а онъ споритъ: «налѣво», и, наконецъ, чуть было меня не переспорилъ, но я на своемъ пути настоялъ. Но только шли мы, шли, и, наконецъ, вижу, не знаю куда зашли и нѣтъ дальше ни тропы, ни слѣду.

Я говорю отроку:

— Пойдемъ, Лева, назадъ!

А онъ отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, не могу я, дядя, больше идти,—силъ моихъ нѣтъ.

Я всхлопотался и говорю:

— Что тебѣ, дитятко?

А онъ отвѣчаетъ:

— Развѣ, говоритъ,—ты не видишь, меня отрясовица бьетъ?

И вижу точно, весь онъ трясется и глаза блуждаютъ. И какъ все это, милостивые государи, случилось вдругъ! Ни на что не жаловался, шелъ бодро и вдругъ сѣлъ въ лѣску на траву, а головку положилъ на избутѣлый пень и говоритъ:

— Ой, голова моя, голова! ай горитъ моя голова огнемъ-пламенемъ! Не могу я идти: не могу больше шагу ступить! а самъ, бѣдняга, даже къ землѣ клонится, падаетъ.

А дѣло подъ вечеръ.

Ужасно я испугался, а пока мы тутъ подождали, не облегчитъ ли ему недугъ, стала ночь; время осеннее, темное, мѣсто незнакомое, вокругъ однѣ сосны и ели могучія, какъ аркефовы древеса, а отрокъ просто помираетъ. Что тутъ дѣлать! Я ему со слезами говорю:

— Левушка, батюшка, поневольcя, авось до ночлежка дойдемъ.

А онъ клонитъ головушку, какъ скошенный цвѣтокъ, и словно во снѣ бредитъ:

— Не тронь меня, дядя Марко; не тронь и самъ не бойся.

Я говорю:

— Помилуй, Лева, какъ не бояться въ такой глуши непробудной.

А онъ говоритъ:

— Не спяй и бдяй сохранитъ.

Я думаю: Господи! что это съ нимъ такое? А самъ въ страхѣ все-таки сталъ прислушиваться, и слышу по лѣсу вдалекѣ что-то словно потрескиваетъ... Владыко многомилостиве! думаю, это вѣрно звѣрь, и сейчасъ онъ насъ растерзаетъ! И уже Левонтія не зову, потому что вижу, что онъ точно самъ изъ себя куда-то излетѣлъ и витаетъ, а только молюсь: Ангеле Христовъ, соблюди насъ въ сей страшный часъ! А трескъ-отъ ближе и ближе слышится, и вотъ-вотъ уже совсѣмъ подходитъ... Здѣсь я долженъ вамъ, господа, признаться въ великой своей низости: такъ я оробѣлъ, что покинулъ больного Левонтія на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ лежалъ, да самъ бѣлки проворнѣе на дерево вскочилъ, вынулъ сабельку и сижу на суку да гляжу, что̀ будетъ, а зубами, какъ пуганый волкъ, такъ и ляскаю... И вдругъ-съ замѣчаю я во тьмѣ, къ которой глазъ мой приглядѣлся, что изъ лѣсу выходитъ что-то по началу совсѣмъ безвидное,—не разобрать, звѣрь или разбойникъ, но сталъ приглядываться и различаю, что и не звѣрь, и не разбойникъ, а очень небольшой старичокъ въ колпачкѣ, и видно мнѣ даже, что въ поясу у него топоръ заткнутъ, а на спинѣ большая вязанка дровъ, и вышелъ онъ на поляночку; подышалъ, подышалъ часто воздухомъ, точно со всѣхъ сторонъ повѣтріе собиралъ, и вдругъ сбросилъ на землю вязанку и, точно почуявъ человѣка, идетъ прямо къ моему товарищу. Подошелъ, нагнулся, посмотрѣлъ въ лицо и взялъ его за руку, да и говоритъ:

— Встань, брате!

И что же вы изволите думать? вижу я, поднялъ онъ Левонтія и ведетъ прямо къ своей вязаночкѣ и взвалилъ ее ему на плечи и говоритъ:

— Понеси-ко за мною!

А Левонтій и понесъ.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Можете себѣ, милостивые государи, представить, какъ я такого дива долженъ былъ испугаться! Откуда этотъ повелительный тихій старичокъ взялся и какъ это мой Лева сейчасъ точно смерти былъ приверженъ и головы не могъ поднять, и опять сейчасъ уже вязанку дровъ несетъ!

Я скорѣе соскочилъ съ дерева, сабельку на бичевѣ за спину забросилъ, а сломалъ про всякій случай здоровую лѣторосль понадежнѣе, да за ними, и скоро ихъ настигъ и вижу: старичокъ впереди грядетъ и какъ разъ онъ точно такой же какъ мнѣ съ перваго взгляда показался: маленькій и горбатенькій; а бородка по сторонамъ клочечками, какъ мыльная пѣна бѣлая, а за нимъ мой Левонтій идетъ, слѣдомъ въ слѣдъ его ноги бодро попадаетъ и на меня смотритъ. Сколько я къ нему ни заговаривалъ и рукою его ни трогалъ, онъ и вниманія на меня не обратилъ, а все будто во снѣ идетъ.

Тогда я подбѣжалъ сбоку къ старичку и говорю:

— Доброчестный человѣкъ!

А онъ отзывается:

— Что тебѣ?

— Куда ты насъ ведешь?

— Я, говоритъ,—никого никуда не веду, всѣхъ Господь ведетъ!

И съ этимъ словомъ вдругъ остановился: и я вижу, что предъ нами низенькая стѣнка и ворота, а въ воротахъ продѣлана малая дверка, и въ эту дверку старичокъ началъ стучаться и зоветъ:

— Брате Миронъ! а брате Миронъ!

А оттуда дерзый голосъ грубо отвѣчаетъ:

— Опять ночью притащился. Ночуй въ лѣсу! Не пущу!

Но старичокъ опять давай проситься, молить ласково:

— Впусти, брате!

Тотъ дерзый вдругъ отчинилъ дверь, и вижу я это человѣкъ тоже въ такомъ же колпакѣ, какъ и старичокъ, но

только суровый-пресуровый грубитель, и не успѣлъ старичокъ ноги перенести черезъ порогъ, какъ онъ его такъ толкнулъ, что тотъ мало не обрушился, и говоритъ:

— Спаси тебя Богъ, брате мой, за твою услугу.

«Господи! помышляю, куда это мы попали», и вдругъ какъ молонья меня освѣтила и поразила.

«Спасе премилосердый!» взгадалъ я, «да ужъ это не Памва ли безгнѣвный! Такъ лучше же бы, думаю, я въ дебри лѣсной погибъ или къ звѣрю, или къ разбойнику въ берлогу зашелъ, чѣмъ къ нему подъ кровъ».

И чуть онъ ввелъ насъ въ маленькую какую-то хибарочку и зажегъ воску желтаго свѣчу, я сейчасъ догадался, что мы, дѣйствительно, въ лѣсномъ скитѣ, и, не стерпѣвъ дальше, говорю:

— Прости, благочестивый человѣкъ, спрошу я тебя: гòже ли намъ съ товарищемъ оставаться здѣсь, куда ты привелъ насъ?

А онъ отвѣчаетъ:

— Вся Господня земля и благословенны вси живущіе,— ложись, спи!

— Нѣтъ, позволь, говорю, — тебѣ объявиться, вѣдь мы по старой вѣрѣ.

— Всѣ, говоритъ, — уды единаго тѣла Христова! Онъ всѣхъ соберетъ!

И съ этимъ подвелъ насъ къ уголку, гдѣ у него на полу сдѣлана скудная рогозина постелька, а въ возглавіи древесный круглякъ соломкой прикрытъ, и опять уже обоимъ намъ молвитъ:

— Спите!

И что же? Левонтій мой, какъ послушенствующій отрокъ, сейчасъ и повалился, а я, свое опасеніе наблюдая, говорю:

— Прости, Божій человѣкъ, еще одно вопрошеніе...

Онъ отвѣчаетъ:

— Что вопрошать: Богъ все знаетъ.

— Нѣтъ, скажи, говорю,—мнѣ: какъ твое имя?

А онъ, какъ совсѣмъ бы ему не соотвѣтствовало, бабственною погудкою говоритъ:

— Зовутъ меня зовуткою, а величаютъ уткою, и съ этими пустыми словами поползъ было со свѣчечкою въ какой-то малый чуланъ, тѣсный какъ дощатый гробикъ, но изъ-за стѣны на него тотъ дерзый вдругъ опять закричалъ:

— Не смѣй огня жечь: келью сожжешь, по книжкѣ днемъ намолишься, а теперь впотьмахъ молись!

— Не буду, отвѣчаетъ,—брате Миронъ, не буду. Спаси тебя Богъ!

И задулъ свѣчку.

Я шепчу:

— Отче! кто это на тебя такъ грубительно грозится?

А онъ отвѣчаетъ:

— Это служка мой, Миронъ... добрый человѣкъ, онъ блюдетъ меня.

«Ну, шабашъ! думаю, это анахоритъ Памва! Никто это другой, какъ онъ, и беззавистный, и безгнѣвный. Вотъ когда бѣда! обрящелъ онъ насъ и теперь истлитъ насъ какъ гангрена жиръ; одно только оставалось, чтобы завтра рано на зарѣ восхитить отсюда Левонтія и бѣжать отсюда такъ, чтобъ онъ не зналъ, гдѣ мы были.» Держа этотъ планъ, я положилъ не спать и блюсти первый просвѣтъ, чтобы возбудить отрока и бѣжать.

А чтобы не заснуть и не проспать, лежу да твержу: «Вѣрую» какъ должно по-старому, и какъ протвержу разъ, сейчасъ причитаю «сія вѣра апостольская, сія вѣра каѳолическая, сія вѣра вселенную утверди» и опять начинаю. Не знаю, сколько разъ я эту «Вѣрую» прочелъ, чтобы не заснуть, но только много; а старичокъ все въ своемъ гробѣ молится, и мнѣ оттуда сквозь пазы тесинъ точно свѣтъ кажитъ и видно какъ онъ кланяется, а потомъ вдругъ будто началъ слышаться разговоръ, и какой... самый необъяснимый, будто вошелъ къ старцу Левонтій, и они говорятъ о вѣрѣ, но безъ словъ, а такъ смотрятъ другъ на друга и

понимаютъ. И это долго мнѣ такъ представлялось, я уже «Вѣрую» позабылъ твердить, а слушаю, какъ будто старецъ говоритъ отроку: «поди, очистись», а тотъ отвѣчаетъ «и очищусь». И теперь вамъ не скажу, все это было во снѣ, или не во снѣ, но только я потомъ еще долго спалъ и, наконецъ, просыпаюсь и вижу: утро, совсѣмъ свѣтло, и оный старецъ, хозяинъ нашъ, анахоритъ сидитъ и свайкою лыковый лапо́токъ на колѣняхъ ковыряетъ. Я сталъ въ него всматриваться.

Ахъ, сколь хорошъ! ахъ, сколь духовенъ! Точно ангелъ предо мною сидитъ и лапо̀тки плететъ, для простого себя міру явленія.

Гляжу я на него и вижу, что и онъ на меня смотритъ и улыбается, и говоритъ:

— Полно, Маркъ, спать, пора дѣло дѣлать.

Я отзываюсь:

— Какое же, боготечный мужъ, мое дѣло? Или ты все знаешь?

— Знаю, говоритъ,—знаю. Когда же человѣкъ далекій путь безъ дѣла творитъ? Всѣ, брате, всѣ пути Господняго ищутъ. Помогай Господь твоему смиренію, помогай!

— Какое же, говорю,—святой человѣкъ, мое смиреніе?— ты смиренъ, а мое что̀ за смиреніе въ суетѣ!

А онъ отвѣчаетъ:

— Ахъ, нѣтъ, брате, нѣтъ, я не смиренъ: я великій дерзостникъ, я себѣ въ небесномъ царствѣ части желаю.

И вдругъ, сознавъ сіе преступленіе, сложилъ ручки и, какъ малое дитя, заплакалъ.

— Господи!—молится,—не прогнѣвайся на меня за сію волевращность: пошли меня въ преисподнѣйшій адъ и повели демонамъ меня мучить, какъ я того достоинъ!

«Ну, думаю, нѣтъ: слава Богу, это не Памва прозорливый анахоритъ, а это просто какой-то умоповрежденный старецъ». Разсудилъ я такъ потому, что кто же въ здравомъ умѣ небеснаго царства можетъ отрицаться и молить, дабы послалъ его Господь на мученіе демонамъ? Я этакого хо-

тѣнія во всю жизнь ни отъ кого не слыхалъ и, сочтя оное за безуміе, отвратился отъ старцева плача, считая оный за скорбь демоноговѣйную. Но, наконецъ, разсуждаю: что же это я лежу, пора вставать, но только вдругъ гляжу, отворяется дверь и входитъ мой Левонтій, про котораго я точно совсѣмъ позабылъ. И какъ онъ вошелъ, сейчасъ старцу въ ноги и говоритъ:

— Я, отче, все совершилъ: теперь благослови!

А старецъ посмотрѣлъ на него и отвѣчаетъ:

— Миръ ти: почій!

И мой отрокъ, гляжу, опять ему въ землю поклонился и вышелъ, а анахоритъ опять сталъ свой лапòтокъ плесть.

Тутъ я сразу вскочилъ и думаю:

«Нѣтъ: пойду скорѣе возьму Леву и утечемъ отсюда безъ оглядки!» и съ тѣмъ выхожу въ малыя сѣнички и вижу, что мой отрокъ лежитъ тутъ на дощаной скамьѣ безъ возглавія, навзничь и ручки на груди сложилъ.

Я, чтобы не подать ему виду тревоги, гласно спрашиваю:

— Не знаешь ли ты, гдѣ я зачерпну себѣ воды, чтобы лицо умыть? а шопотомъ шепчу ему:—Богомъ живымъ тебя заклинаю, скорѣе отсюда пойдемъ!

Но всматриваюсь въ него и вижу, что Лева не дышитъ... Отошелъ!.. Умеръ!..

Взвылъ я не своимъ голосомъ:

— Памва! отецъ Памва, ты убилъ моего отрока! А Памва вышелъ потихоньку на порогъ и говоритъ съ радостію:

— Улетѣлъ нашъ Лева!

Меня даже зло взяло.

— Да, отвѣчаю сквозь слезы:—онъ улетѣлъ. Ты изъ него душу, какъ голубя изъ клѣтки, выпустилъ! и повергшись къ ногамъ усопшаго, стеналъ я и плакалъ надъ нимъ даже до вечера, когда пришли изъ монастырька иноки, опрятали его мощи, положили въ гробъ и понесли, такъ какъ онъ симъ утромъ, пока я нетягъ спалъ, къ церкви присоединился.

Ни одного слова я болѣе отцу Памвѣ не сказалъ, да и

что́ бы я могъ ему сказать: согруби ему—онъ благословитъ, прибей его—онъ въ землю поклонится, неодолимъ сей человѣкъ съ такимъ смиреніемъ! Чего онъ устрашится, когда даже въ адъ самъ просится? Нѣтъ; недаромъ я его трепеталъ и опасался, что истлитъ онъ насъ, какъ гангрена жиръ. Онъ и демоновъ-то всѣхъ своимъ смиреніемъ изъ ада разгонитъ, или къ Богу обратитъ! Они его станутъ мучить, а онъ будетъ просить: «жоще терзайте, ибо я того достоинъ». Нѣтъ, нѣтъ! Этого смиренія и сатанѣ не выдержать! онъ всѣ руки о него обколотитъ, всѣ когти обдеретъ и самъ свое безсиліе постигнетъ предъ Содѣтелемъ, такую любовь создавшимъ, и устыдится Его.

Такъ я себѣ и порѣшилъ, что сей старецъ съ лапо̀ткомъ аду на погибель созданъ! и всю ночь по лѣсу бродючи, не знаю отчего вдаль не иду, а все думаю:

«Какъ же онъ молится, какимъ образомъ и по какимъ книгамъ?»

И вспоминаю, что я не видалъ у него ни одного образа, окромѣ креста изъ палочекъ, лычкомъ связаннаго, да не видалъ и толстыхъ книгъ...

«Господи! дерзаю разсуждать: если только въ церкви два такіе человѣка есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевленъ».

И все я о немъ думалъ и думалъ и вдругъ передъ утромъ началъ жаждать хоть на минуту его предъ отходомъ отсюда видѣнія.

И только что я это помыслилъ, вдругъ опять слышу, опять такой самый троскотъ, и отецъ Памва опять выходитъ съ топоромъ и съ вязанкою дровъ и говоритъ:

— Что долго медлилъ? Поспѣшай Вавилонъ строить?

Мнѣ это слово показалось очень горько и я сказалъ:

— За что же ты меня, старче, такимъ словомъ упрекаешь: я никакого Вавилона не строю и отъ вавилонской мерзости особлюсь.

А онъ отвѣчаетъ:

— Что есть Вавилонъ? столпъ кичения; не кичись правдою, а то Ангелъ отступится.

— Я говорю: отче, знаешь ли, зачѣмъ я хожу? И разсказалъ ему все наше горе. А онъ все слушалъ, слушалъ и отвѣчаетъ:

— Ангелъ тихъ, Ангелъ кротокъ, во что̀ ему повелитъ Господь, онъ въ то и одѣется; что̀ ему укажетъ, то онъ сотворитъ. Вотъ Ангелъ! Онъ въ душѣ человѣчей живетъ, суемудріемъ запечатлѣнъ, но любовь сокрушитъ печать...

И съ тѣмъ вижу онъ удаляется отъ меня, а я отвратить глазъ отъ него не могу и, преодолѣть себя будучи не въ состояніи, палъ и вслѣдъ ему въ землю поклонился, а поднимаю лицо и вижу, его уже нѣтъ, или за древа зашелъ, или... Господь знаетъ куда дѣлся.

Тутъ я сталъ перебирать въ умѣ его слова, что̀ такое: Ангелъ въ душѣ живетъ, но запечатлѣнъ, а любовь освободитъ его, да вдругъ думаю: «А что если онъ самъ Ангелъ, и Богъ повелитъ ему въ иномъ видѣ явиться мнѣ: я умру какъ Левонтій!» Взгадавъ это, я, самъ не помню, на какомъ-то пенькѣ переплылъ черезъ рѣчонку и ударился бѣжать: шестьдесятъ верстъ безъ остановки ушелъ, все въ страхѣ, думая не Ангела ли я это видѣлъ, и вдругъ захожу въ одно село и нахожу здѣсь изографа Севастьяна. Сразу мы съ нимъ обо всемъ переговорили и положили, чтобы завтра же ѣхать, но поладили мы холодно и ѣхали еще холоднѣе. А почему? Разъ потому, что изографъ Севастьянъ былъ человѣкъ задумчивый, а еще того болѣе потому, что самъ я не тотъ сталъ: виталъ въ душѣ моей анахоритъ Памва, и уста шептали слова пророка Исаіи, что «духъ Божій въ ноздрѣхъ человѣка сего».

## ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Обратное подорожіе мы съ изографомъ Севастьяномъ отбыли скоро и, прибывъ къ себѣ на постройку ночью, застали здѣсь все благополучно. Повидавшись съ своими, мы сейчасъ же появились и англичанину Якову Яковле-

вичу. Тотъ, любопытный этакой, сейчасъ же поинтересовался изографа видѣть и все ему на руки его смотрѣлъ да плещьми пожималъ, потому что руки у Севастьяна были большущія какъ грабли и черныя, поелику и самъ онъ былъ видомъ какъ цыганъ черенъ. Яковъ Яковлевичъ и говоритъ:

— Удивляюсь я, братецъ, какъ ты такими ручищами можешь рисовать?

А Севастьянъ отвѣчаетъ:

— Отчего же? Чѣмъ мои руки несоотвѣтственны?

— Да тебѣ, говоритъ, — что-нибудь мелкое ими не вывесть.

Тотъ спрашиваетъ:

— Почему?

— А потому, что гибкость состава перстовъ не позволитъ.

А Севастьянъ говоритъ:

— Это пустяки! Развѣ персты мои могутъ мнѣ на что-нибудь позволять или не позволять? Я имъ господинъ, а они мнѣ слуги и мнѣ повинуются.

Англичанинъ улыбается.

— Значитъ ты, говоритъ,—намъ запечатлѣннаго Ангела подведешь?

— Отчего же, отвѣчаетъ, — я не изъ тѣхъ мастеровъ, которые дѣла боятся, а меня самого дѣло боится; такъ подведу, что и не отличите отъ настоящей.

— Хорошо, молвилъ Яковъ Яковлевичъ, — мы немедля же станемъ стараться настоящую икону достать, а ты тѣмъ часомъ, чтобъ увѣрить меня, докажи мнѣ свое искусство: напиши ты моей женѣ икону въ древне-русскомъ родѣ и такую, чтобъ ей нравилась.

— Какое же во-имя?

— А ужъ этого я, говоритъ,—не знаю; что̀ знаешь, то̀ и напиши, это ей все равно, только чтобы нравилась.

Севастьянъ подумалъ и вопрошаетъ:

— А о чемъ ваша супруга болѣе Богу молится?

— Не знаю, говоритъ,—другъ мой; не знаю о чемъ, но, я думаю, вѣрнѣе всего о дѣтяхъ, чтобъ изъ дѣтей честные люди вышли.

Севастьянъ опять подумалъ и отвѣчаетъ:

— Хорошо-съ, я и подъ этотъ вкусъ потрафлю.

— Какъ же ты потрафишь?

— Такъ изображу, что будетъ созерцательно и усугубленію молитвеннаго духа супруги вашей благопріятно.

Англичанинъ велѣлъ ему дать всѣ удобства у себя на вышкѣ, но только Севастьянъ не сталъ тамъ работать, а сѣлъ у окошечка на чердачкѣ надъ Луки Кирилова горенкой и началъ свою акцію.

И что же онъ, государи мои, сдѣлалъ, чего мы и вообразить не могли. Какъ шло дѣло о дѣтяхъ, то мы думали, что онъ изобразитъ Романа чудотворца, коему молятся отъ неплодія, или избіеніе младенцевъ въ Іерусалимѣ, что всегда матерямъ, потерявшимъ чадъ, бываетъ пріятно, ибо тамъ Рахиль съ ними плачетъ о дѣтяхъ и не хочетъ утѣшиться; но сей мудрый изографъ, сообразивъ, что у англичанки дѣти есть и она льетъ молитву не о дарованіи ихъ, а объ оправданіи ихъ нравственности, взялъ и совсѣмъ иное написалъ, къ цѣлямъ ея еще болѣе соотвѣтственное. Избралъ онъ для сего старенькую самую небольшую досточку пядницу, то-есть въ одну ручную пядь величины, и началъ на ней таланствовать. Прежде всего онъ ее, разумѣется, добре вылевкасилъ крѣпкимъ казанскимъ алебастромъ, такъ что сталъ этотъ левкасъ гладокъ и крѣпокъ какъ слоновья кость, а потомъ разбилъ на ней четыре ровныя мѣста и въ каждомъ мѣстѣ обозначилъ особливую малую икону, да еще ихъ стѣснилъ тѣмъ, что промежду нихъ на олифѣ золотомъ каймы положилъ, и сталъ писать: въ первомъ мѣстѣ написалъ рождество Іоанна Предтечи, восемь фигуръ и новорожденное дитя, и палаты; во второмъ—рождество Пресвятыя Владычицы Богородицы, шесть фигуръ и новорожденное дитя, и палаты; въ третьемъ — Спасово пречистое рождество, и хлѣвъ, и ясли, и

предстоящіе Владычица и Іосифъ, и припадшіе боготечные волхвы, и Соломія баба, и скотъ всякимъ подобіемъ: волы, овцы, козы и осли, и сухолапль птица, жидамъ запрещенная, коя пишется въ означеніе, что идетъ сіе не отъ жидовства, а отъ Божества, все создавшаго. А въ четвертомъ отдѣленіи рожденіе Николая Угодника, и опять тутъ и святой угодникъ въ младенчествѣ, и палаты, и многіе предстоящіе. И что̀ тутъ былъ за смыслъ, чтобы видѣть предъ собою воспитателей столь добрыхъ чадъ, и что̀ за художество, всѣ фигурки ростомъ въ булавочку, а вся ихъ одушевленность видна и движеніе. Въ богородничномъ рождествѣ, напримѣръ, святая Анна, какъ по греческому подлиннику назначено, на одрѣ лежитъ, предъ нею дѣвицы тимпанницы стоятъ, и однѣ держатъ дары, а иныя солнечникъ, иныя же свѣщи. Едина жена держитъ святую Анну подъ плещи; Іоакимъ зритъ въ верхнія палаты; баба святую Богородицу омываетъ въ купели до пояса: посторонь дѣвица льетъ изъ сосуда воду въ купель. Палаты всѣ разведены по циркулю, верхняя призелень, а нижняя боканъ, и въ этой нижней палатѣ сидитъ Іоакимъ и Анна на престолѣ, и Анна держитъ Пресвятую Богородицу, а вокругъ между палатъ столбы каменные, запоны червленные, а ограда бѣла и вохряна... Дивно, дивно все это Севастьянъ изобразилъ, и въ премельчайшемъ каждомъ личикѣ все богозрительство выразилъ и надписалъ образъ «Доброчадіе» и принесъ англичанамъ. Тѣ глянули, стали разбирать, да и руки врозь: никогда, говорятъ, такой фантазіи не ожидали и такой тонкости мелкоскопическаго письма не слыхивали, даже въ мелкоскопъ смотрятъ, и то никакой ошибки не находятъ, и дали они Севастьяну за икону двѣсти рублей и говорятъ:

— Можешь ли ты еще мельче выразить?

Севастьянъ отвѣчаетъ:

— Могу.

— Такъ скопируй мнѣ, говоритъ,—въ перстень женинъ портретъ.

Но Севастьянъ говоритъ:

— Нѣтъ, вотъ ужъ этого я не могу.

— А почему?

— А потому, говоритъ, — что, во-первыхъ, я этого искусства не пробовалъ, а повторительно, я не могу для него своего художества унизить, дабы отеческому осужденію не подпасть.

— Что за вздоръ такой!

— Никакъ нѣтъ, отвѣчаетъ, — это не вздоръ, а у насъ есть отеческое постановленіе отъ благихъ временъ, и въ патріаршей грамотѣ подтверждается: «аще убо кто на таковое святое дѣло, еже есть иконное воображеніе, сподобится, то тому изряднаго жительства изографу ничего, кромѣ святыхъ иконъ, не писать!»

Яковъ Яковлевичъ говоритъ:

— А если я тебѣ пятьсотъ рублей дамъ за это?

— Хоть и пятьсотъ тысячъ обѣщайте, все равно, при васъ онѣ останутся.

Англичанинъ просіялъ и шутя говоритъ женѣ:

— Какъ это тебѣ нравится, что онъ твое лицо писать считаетъ для себя за униженіе?

А самъ ей по-аглицки прибавляетъ: «охъ, молъ, гутъ карахтеръ». Но только молвилъ въ концѣ:

— Смотрите же, братцы, теперь мы беремся все дѣло шабашить, а у васъ, я вижу, на все свои правила, такъ чтобы не было упущено или позабыто чего-нибудь такого, что всему помѣшать можетъ.

Мы отвѣчаемъ, что ничего такого не предвидимъ.

— Ну, такъ смотрите, говоритъ: я начинаю, и онъ поѣхалъ ко владыкѣ съ просьбою, что хочетъ-де онъ поусердствовать, на запечатлѣнномъ Ангелѣ ризу позолотить и вѣнецъ украсить. Владыко на это ему ни то, ни се: ни отказываетъ, ни приказываетъ; а Яковъ Яковлевичъ не отстаетъ и домогаетъ; а мы уже ждемъ, что порохъ огня.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

При семъ позвольте вамъ, господа, напомнить, что съ тѣхъ поръ, какъ это дѣло началось, время прошло не мало, и на дворѣ стояло Спасово Рождество. Но вы не числите тамошнее Рождество наравнѣ со здѣшнимъ: тамъ время бываетъ съ капризцемъ, и одинъ разъ справляетъ этотъ праздникъ по зимнему, а въ другой разъ не вѣсть по какому: дождитъ, мокнетъ; одинъ день слегка морозцемъ постянетъ, а на другой опять растворитъ; рѣку то ледкомъ засалитъ, то вспучитъ и несетъ крыги какъ будто въ весеннюю половодь... Однимъ словомъ, самое непостоянное время, и какъ по тамошнему мѣсту зовется уже не погода, а просто *халепа*, такъ оно ей и пристало халепой быть.

Въ тотъ годъ, къ коему разсказъ мой клонитъ, непостоянство это было самое досадительное. Пока я вернулся съ изографомъ, я не могу вамъ и перечислить, какое число разъ наши то на зимнемъ, то на лѣтнемъ положеніи себя поставляли. А время было, по работѣ глядя, самое горячее, потому что уже у насъ всѣ семь быковъ были готовы и съ одного берега на другой цѣпи переносились. Хозяевамъ, разумѣется, какъ можно скорѣе хотѣлось эти цѣпи соединить, чтобы на нихъ къ половодью хоть какой-нибудь временной мостикъ подвѣсить для доставки матеріала, но это не удалось: только цѣпи перетянули, жамкнулъ такой морозище, что мостить нельзя. Такъ и осталось; цѣпи однѣ висятъ, а моста нѣтъ. Зато создалъ Богъ другой мостъ: рѣка стала, и нашъ англичанинъ поѣхалъ по льду за Днѣпръ хлопотать о нашей иконѣ и оттуда возвращается и говоритъ мнѣ съ Лукою:

— Завтра, говоритъ, — ребята, ждите, я вамъ ваше сокровище привезу.

Господи, что̀ только мы въ эту пору почуствовали! Хотѣли было сначала таинствовать и одному изографу сказать, но утерпѣть ли сердцу человѣчу! Вмѣсто соблюденія тайности, обѣгли мы всѣхъ своихъ, во всѣ окна постучали и все

другъ къ другу шепчемъ, да не знать чего бѣгаемъ отъ избы къ избѣ, благо ночь свѣтлая, превосходная, морозъ по снѣгу самоцвѣтнымъ камнемъ сыпитъ, а въ чистомъ небѣ Есперъ звѣзда горитъ.

Проведя въ такой радостной бѣготнѣ ночь, день мы встрѣтили въ томъ же восхищенномъ ожиданіи, и съ утра уже отъ своего изографа не отходимъ и не знаемъ, куда за нимъ его сапоги понести, потому что пришелъ часъ, когда все зависитъ отъ его художества. Что только онъ скажетъ подать или принести, мы во всякій слѣдъ вдесятеромъ летимъ и такъ усердствуемъ, что одинъ другого съ ногъ валимъ. Даже дѣдъ Марой до той поры бѣгалъ, что, зацѣпившись, каблукъ оторвалъ. Одинъ только самъ изографъ спокоенъ, потому что ему эти дѣла было уже не впервые дѣлать, и потому онъ несуетно себѣ все приготовлялъ: яйцо кваскомъ развелъ, олифу осмотрѣлъ, приготовилъ левкасный холстикъ, старенькія досточки, какія подхожія къ величинѣ иконы, разложилъ, настроилъ острую пилку, какъ струну, въ излучинѣ изъ крѣпкаго обода, и сидитъ подъ окошечкомъ, да какіе предвидитъ нужными вапы пальцами въ долони перетираетъ. А мы всѣ вымылись въ печи, понадѣвали чистыя рубашки и стоимъ на бережку, смотримъ на градъ убѣжища, откуда долженъ къ намъ свѣтоносный гость пожаловать; а сердца такъ то затрепещутъ, то падаютъ...

Ахъ, какія были мгновенія, и длились они съ ранней зари даже до вечера, и вдругъ видимъ мы, что по льду отъ города англичаниновы сани несутся и прямо къ намъ... По всѣмъ трепетъ прошелъ, шапку всѣ подъ ноги бросили и молимся.

— Боже Отецъ духовомъ и ангеломъ: пощади рабы Твои!

И съ этимъ моленьемъ упали ницъ на снѣгъ и впередъ жадно руки простираемъ, и вдругъ слышимъ надъ собою англичаниновъ голосъ:

— Эй, вы! Старовѣры! Вотъ вамъ привезъ! и подаетъ узелокъ въ бѣломъ платочкѣ.

Лука принялъ узелокъ и замеръ: чувствуетъ, что это что-то малое и легковѣсное! Раскрылъ уголокъ платочка и видитъ: это одна басма съ нашего Ангела сорвана, а самой иконы нѣтъ.

Кинулись мы къ англичанину и говоримъ ему съ плачемъ:

— Обманули вашу милость, тутъ иконы нѣтъ, а одна басма серебряная съ нея прислана.

Но англичанинъ уже не тотъ, что былъ къ намъ до сего времени: вѣрно досадило ему это долгое дѣло, и онъ крикнулъ на насъ:

— Да что же вы все путаете! Вы же сами мнѣ говорили, что надо ризу выпросить, я ее и выпросилъ; а вы, вѣрно, просто не знаете, что̀ вамъ нужно!

Мы ему, видя, что онъ возклокоталъ, съ осторожностью было начали объяснять, что намъ икона нужна, чтобы поддѣлокъ сдѣлать, но онъ не сталъ насъ болѣе слушать, выгналъ вонъ и одну милость показалъ, что велѣлъ изографа къ нему послать.

Пошелъ къ нему изографъ Севастьянъ, а онъ точно такимъ же манеромъ и на него съ клокотаніемъ.

— Твои, говоритъ,—мужики сами не знаютъ, чего хотятъ: то просили ризу, говорили, что тебѣ только надо размѣры, да абрисъ снять, а теперь ревутъ, что это имъ ни къ чему не нужно; но я болѣе вамъ ничего сдѣлать не могу, потому что архіерей образа не даетъ. Поддѣлывай скорѣе образъ, обложимъ его ризой и отдадимъ, а старый мнѣ секретарь выкрадетъ.

Но Севастьянъ изографъ, какъ человѣкъ разсудительный, обаялъ его мягкою рѣчью и отвѣтствуетъ:

— Нѣтъ, говоритъ,—ваша милость; наши мужички свое дѣло знаютъ, и намъ, дѣйствительно, подлинная икона впередъ нужна. Это, говоритъ,—только въ обиду намъ выдумано, что мы будто по переводамъ, точно по трафаретамъ пишемъ. А у насъ въ подлинникѣ постановленъ законъ, но исполненіе его дано свободному художеству. По подлиннику,

напримѣръ, повелѣно писать Святого Зосиму или Герасима со львомъ, а не стѣснена фантазія изографа какъ при нихъ того льва изобразить? Святого Неофита указано съ птицею голубемъ писать; Конона Градаря съ цвѣткомъ, Тимоѳея съ ковчежцемъ, Георгія и Савву Стратилата съ копьями, Ѳотія съ корнавкой, а Кондрата съ облаками, ибо онъ облака воспитывалъ, но всякій изографъ воленъ это изобразить какъ ему фантазія его художества позволитъ, и потому опять не могу я знать, какъ тотъ Ангелъ писанъ, котораго надо подмѣнить.

Англичанинъ все это выслушалъ и выгналъ Севастьяна какъ и насъ, и нѣтъ отъ него никакого дальше рѣшенія, и сидимъ мы, милостивые государи, надъ рѣкою, яко враны на нырищѣ, и не знаемъ, вполнѣ ли отчаиваться или еще чего ожидать, но идти къ англичанину уже не смѣемъ, а къ тому же, и погода стала опять единохарактерна намъ: спустилась ужасная оттепель и засѣялъ дождь, небо среди дня все яко дымъ коптильный, а ночи темнѣющія, даже Есперъ звѣзда, которая въ декабрѣ съ тверди небесной не сходитъ, и та скрылась и ни разу не выглянетъ... Тюрьма душевная, да и только! И таково наступило Спасово Рождество, а въ самый сочельникъ ударилъ громъ, полилъ ливень, и льетъ, и льетъ безъ уставу два дни и три дни: снѣгъ весь смыло и въ рѣку снесло, а на рѣкѣ ледъ началъ синѣть да пучиться, и вдругъ его въ предпослѣдній день года всперло и понесло... Мчитъ его сверху и швыряетъ крыга на крыгу по мутной волнѣ, у нашихъ построекъ всю рѣку затерло: горой содитъ льдина на льдину и прядаютъ онѣ и сами звенятъ, прости Господи, точно демоны... Какъ стоятъ постройки и этакое несподиванное тѣсненіе терпятъ, даже удивительно. Страшные милліоны могло разрушить, но намъ не до того; потому что у насъ изографъ Севастьянъ, видя, что дѣла ему никакого нѣтъ, вскромолился,—складаетъ пожитки и хочетъ въ иныя страны идти, и никакъ его удержать не можемъ.

Да не до того было и англичанину, потому что съ нимъ

за эту непогодь что-то такое подѣлалось, что онъ мало съ ума не сошелъ: все, говорятъ, ходилъ да у всѣхъ спрашивалъ: «Куда дѣться? Куда дѣваться?» И потомъ вдругъ преодолѣлъ себя какъ-то, призываетъ Луку и говоритъ:

— Знаешь, что̀, мужикъ: пойдемъ вашего Ангеля красть?

Лука отвѣчаетъ:

— Согласенъ.

По Луки замѣчанію было такъ, что англичанинъ точно будто жаждалъ испытать опасныхъ дѣяній и положилъ такъ, что поѣдетъ онъ завтра въ монастырь къ епископу, возьметъ съ собою изографа подъ видомъ злотаря и попроситъ ему икону Ангела показать, дабы онъ могъ съ нея обстоятельный переводъ снять будто для ризы; а между тѣмъ какъ можно лучше въ нее вглядится и дома напишетъ съ нея поддѣлокъ. Затѣмъ, когда у настоящаго злотаря риза будетъ готова, ее привезутъ къ намъ за рѣку, а Яковъ Яковлевичъ поѣдетъ опять въ монастырь и скажетъ, что хочетъ архіерейское праздничное служеніе видѣть и войдетъ въ алтарь и станетъ въ шинели въ темномъ алтарѣ у жертвенника, гдѣ наша икона на окнѣ бережется, и скрадетъ ее подъ полу, и, отдавъ человѣку шинель, якобы отъ жары, велитъ ее вынесть. А на дворѣ за церковью нашъ человѣкъ, чтобы сейчасъ изъ той шинели икону взялъ и летѣлъ съ нею сюда на сей бокъ, и здѣсь изографъ долженъ въ продолженіе времени, пока идетъ всенощная, старую икону со старой доски снять, а поддѣлокъ вставить, ризой одѣть и назадъ прислать, такимъ манеромъ, чтобы Яковъ Яковлевичъ могъ ее опять на окно поставить, какъ будто ничего не бывало.

— Что же-съ? Мы, говоримъ, на все согласны!

— Только смотрите же, говоритъ, помните, что я стану на мѣстѣ вора и хочу вамъ вѣрить, что вы меня не выдадите.

Лука Кириловъ отвѣчаетъ:

— Мы, Яковъ Яковлевичъ, не того духа люди, чтобъ обманывать благодѣтелей.—Я возьму икону и вамъ обѣ назадъ принесу, и настоящую, и поддѣлокъ.

— Ну, а если тебѣ что-нибудь помѣшаетъ?

— Что же такое мнѣ можетъ помѣшать?

— Ну, вдругъ ты умрешь или утонешь.

Лука думаетъ: отчего бы, кажется, быть такому препятствію, а, впрочемъ, соображаетъ, что, дѣйствительно, трафляется иногда и кладязь копающему обрѣтать сокровище, а идущему на торгъ встрѣчать пса бѣснуема, и отвѣчаетъ:

— На такой случай я, сударь, при васъ такого своего человѣка оставлю, который, въ случаѣ моей неустойки, всю вину на себя приметъ и смерть претерпитъ, а не выдастъ васъ.

— А кто это такой человѣкъ, на котораго ты такъ полагаешься?

— Ковачъ Марой, отвѣчаетъ Лука.

— Это старикъ?

— Да, онъ не молодъ.

— Но онъ, кажется, глупъ?

— Намъ, молъ, его умъ не надобенъ, но зато сей человѣкъ достойный духъ имѣетъ.

— Какой же, говоритъ, можетъ быть духъ у глупаго человѣка?

— Духъ, сударь, отвѣтствуетъ Лука, бываетъ не по разуму; духъ идѣ же хощетъ дышетъ, и все равно, что волосъ растетъ у одного долгій и роскошный, а у другого скудный.

Англичанинъ подумалъ и говоритъ:

— Хорошо, хорошо: это все интересныя ощущенія. Ну, а какъ же онъ меня выручитъ, если я попадусь?

— А вотъ какъ, отвѣчаетъ Лука:—вы будете въ церкви у окна стоять, а Марой станетъ подъ окномъ снаружи, и если я къ концу службы съ иконами не явлюсь, то онъ стекло разобьетъ и въ окно полѣзетъ и всю вину на себя приметъ.

Это англичанину очень понравилось.

— Любопытно, говоритъ, любопытно! А почему я долженъ этому вашему глупому человѣку съ духомъ вѣрить, что онъ самъ не убѣжитъ?

— Ну, ужъ это, молъ, дѣло взаймовѣрія.

— Взаймовѣрія, повторяетъ... Гм, гм, взаймовѣрія! Я за глупаго мужика въ каторгу, или онъ за меня подъ кнутъ? Гм, гм! Если онъ сдержитъ слово... подъ кнутъ... Это интересно.

Послали за Мароемъ и объяснили ему въ чемъ дѣло, а онъ говоритъ:

— Ну такъ что же?

— А ты не убѣжишь?—говоритъ англичанинъ.

А Марой отвѣчаетъ:

— Зачѣмъ?

— А чтобы тебя плетьми не били, да въ Сибирь не сослали.

А Марой говоритъ:

— Экося!—да больше и разговаривать не сталъ.

Англичанинъ такъ и радуется: весь ожилъ.

— Прелесть, говоритъ,—какъ интересно.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Сейчасъ же за этимъ переговоромъ началась и акція. Навеслили мы на утро большой хозяйскій баркасъ и перевезли англичанина на городской берегъ: онъ тамъ сѣлъ съ изографомъ Севастьяномъ въ коляску и покатилъ въ монастырь, а черезъ часъ съ небольшимъ смотримъ, бѣжитъ нашъ изографъ и въ рукахъ у него листокъ съ переводомъ иконы.

Спрашиваемъ:

— Видѣлъ ли, родной нашъ, и можешь ли теперь поддѣлокъ потрафить?

— Видѣлъ, отвѣчаетъ,—и потрафлю, только развѣ какъ бы малость чѣмъ живѣе не сдѣлалъ, но это не бѣда, когда икона сюда придетъ, я тогда въ одну минуту яркость цвѣта усмирю.

— Батюшка, молимъ его, порадѣй!

— Ничего, отвѣчаетъ,—порадѣю!

И какъ мы его привезли, онъ сейчасъ сѣлъ за работу

и къ сумеркамъ у него на холстикѣ поспѣлъ Ангелъ, двѣ капли воды какъ нашъ запечатлѣнный, только красками какъ будто немножко свѣжѣе.

Къ вечеру и злотарь новый окладъ прислалъ, потому онъ еще прежде былъ по басмѣ заказанъ.

Наступалъ самый опасный часъ нашего воровства.

Мы, разумѣется, во всемъ изготовились и предъ вечеромъ помолились и ждемъ должнаго мгновенія, и только что на томъ берегу въ монастырѣ въ первый колоколъ ко всенощной ударили, мы сѣли три человѣка въ небольшую ладью: я, дѣдъ Марой, да дядя Лука. Дѣдъ Марой захватилъ съ собою топоръ, долото, ломъ и веревку, чтобы больше на вора походить, и поплыли прямо подъ монастырскую ограду.

А сумерки въ эту пору, разумѣется, раннія, и ночь, несмотря на вселуніе, стояла претемная, настоящая воровская.

Переѣхавши, Марой и Лука оставили меня подъ бережкомъ въ лодкѣ, а сами покрались въ монастырь. Я же весла въ лодку забралъ, а самъ концомъ веревки зацѣпился и нетерпѣливо жду, чтобы чуть Лука ногой въ лодку ступитъ, сейчасъ плыть. Время мнѣ ужасно долго казалось отъ томленія, какъ все это выйдетъ и успѣемъ ли мы все свое воровство покрыть, пока вечерня и всенощная пройдетъ? И кажется мнѣ, что уже времени и не вѣсть сколь много ушло; а темень страшная, вѣтеръ рветъ, и вмѣсто дождя, мокрый снѣгъ повалилъ, и лодку вѣтромъ стало поколыхивать, и я, лукавый рабъ, все мало-по-малу угрѣваясь въ свитенкѣ, началъ дремать. Только вдругъ въ лодку толкъ и закачало. Я встрепенулся и вижу въ ней стоитъ дядя Лука и не своимъ передавленнымъ голосомъ говоритъ:

— Греби!

Я беру весла, да никакъ со страха въ уключины не попаду. Насилу справился и отвалилъ отъ берега, да и спрашиваю:

— Добыли, дядя, Ангела?

— Со мной онъ, греби мощнѣй!

— Разскажи же, пытаю:—какъ вы его достали?

— Непорушно достали какъ было сказано.

— А успѣемъ ли назадъ взворотить?

— Должны успѣть: еще только великій прокименъ вскричали. Греби! Куда ты гребешь?

Я оглянулся: ахъ ты Господи! и точно я не туда гребу: все кажись какъ надлежитъ, впоперекъ теченія держу, а нашей слободы нѣтъ,—это потому что снѣгъ и вѣтеръ такой что страхъ, и въ глаза лѣпитъ, и вокругъ реветъ и качаетъ, а сверху рѣки точно какъ льдомъ дышитъ.

Ну, однако, милостью Божіею мы доставились; соскочили оба съ лодки и бѣгомъ побѣжали. Изографъ уже готовъ: дѣйствуетъ хладнокровно, но твердо: взялъ прежде икону въ руки, и какъ народъ передъ нею упалъ и поклонился, го онъ подпустилъ всѣхъ познаменоваться съ запечатлѣннымъ ликомъ, а самъ смотритъ и на нее, и на свою поддѣлку, и говоритъ:

— Хороша! только надо ее маленько грязцой съ шафраномъ усмирить! А потомъ взялъ икону съ реберъ въ тиски и налячилъ свою пилку что̀ приправилъ въ крутой обручъ и... пошла эта пилка порхать. Мы всѣ стоимъ и того и смотримъ, что повредитъ! Страсть-съ! Можете себѣ вообразить, что вѣдь спиливалъ онъ ее этими своими махинными ручищами съ доски тониною не толще какъ листокъ самой тонкой писчей бумаги... Долго ли тутъ до грѣха: то-есть вотъ на волосъ покриви пила, такъ ликъ и раздеретъ и насквозь выскочитъ! Но изографъ Севастьянъ всю эту акцію совершалъ съ такою холодностью и искусствомъ, что, глядя на него, съ каждой минутой дѣлалось мирнѣй на душѣ. И точно спилилъ онъ изображеніе на тончайшемъ самомъ слоѣ, потомъ въ одну минуту этотъ спилокъ изъ краевъ вырѣзалъ, а края опять на ту же доску наклеилъ, а самъ взялъ свою поддѣлку скомкалъ, скомкалъ ее въ кулакѣ и ну ее трепать объ край стола, и терхать въ долоняхъ, какъ будто рвалъ и погубить ее хотѣлъ, и, наконецъ, глянулъ

сквозь холстъ на свѣтъ, а весь этотъ новенькій списочекъ какъ сито сдѣлался въ трещинкахъ... Тутъ Севастьянъ сейчасъ взялъ его и вклеилъ на старую доску въ средину краевъ, а на долонь набралъ какой зналъ темной красочной грязи, замѣсилъ ее пальцами со старою олифою и шафраномъ въ родѣ замазки и ну все это долонью въ тотъ потерханный списочекъ крѣпко-накрѣпко втирать... Живо онъ все это свершалъ и вновь писанная иконка стала совсѣмъ старая и какъ разъ такая, какъ настоящая. Тутъ этотъ поддѣлокъ въ минуту проолифили и другіе наши люди стали окладомъ ее одѣвать, а изографъ вправилъ въ приготовленную досточку настоящій выпилокъ и требуетъ себѣ скорѣе лохмотъ старой поярковой шляпы.

Это начиналась самая трудная акція распечатлѣнія.

Подали изографу шляпу, а онъ ее сейчасъ перервалъ пополамъ на колѣнѣ и, покрывъ ею запечатлѣнную икону, кричитъ:

— Давай каленый утюгъ!

Въ печи, по его приказу, лежалъ въ жару раскаленъ тяжелый портняжій утюгъ.

Михайлица зацѣпила его и подаетъ на ухватѣ, а Севастьянъ обернулъ ручку тряпкою, поплевалъ на утюгъ, да какъ дерѣетъ имъ по шляпному обрывку!... Отъ разу съ этого войлока злой смрадъ повалилъ, а изографъ еще разъ, да еще имъ третъ и вразъ отхватываетъ. Рука у него просто какъ молонья летаетъ и дымъ отъ поярка уже столбомъ валитъ, а Севастьянъ знай печетъ: одной рукой поярочекъ по-малу поворачиваетъ, а другою—утюгомъ дѣйствуетъ, и все разъ отъ разу неспѣшнѣе да сильнѣе налегаетъ, и вдругъ отбросилъ и утюгъ, и поярокъ, и поднялъ къ свѣту икону, а печати какъ не бывало: крѣпкая строгановская олифа выдержала, и сургучъ весь свелся, только чуть какъ будто красноогненная роса осталась на ликѣ, но зато свѣтлобожественный ликъ весь виденъ...

Тутъ кто молится, кто плачетъ, кто руки изографу лѣзетъ цѣловать, а Лука Кириловъ своего дѣла не забываетъ

и, минутою дорожа, подаетъ изографу его поддѣльную икону и говоритъ:

— Ну, кончай же скорѣй!

А тотъ отвѣчаетъ:

— Моя акція кончена, я все сдѣлалъ, за что̀ брался.

— А печать наложить.

— Куда?

— А вотъ сюда этому новому Ангелу на ликъ, какъ у того было.

А Севастьянъ покачалъ головою и отвѣчаетъ:

— Ну, нѣтъ, я не чиновникъ, чтобъ этакое дѣло дерзнулъ сдѣлать.

— Такъ какъ же намъ теперь быть?

— А уже я, говоритъ,—этого не знаю. Надо было вамъ на это чиновника или нѣмца припасти, а упустили сихъ дѣятелей получить, такъ теперь сами дѣлайте.

Лука говоритъ:

— Что ты это! да мы ни за что не дерзнемъ!

А изографъ отвѣчаетъ:

— И я не дерзну.

И идетъ у насъ въ эти краткія минуты такая сумятица, какъ вдругъ влетаетъ въ избу Якова Яковлевича жена, вся блѣдная какъ смерть, и говоритъ:

— Неужели вы еще не готовы?

Говоримъ: и готовы, и не готовы: важнѣйшее сдѣлали, но ничтожнаго не можемъ.

А она нѣмуетъ по-своему:

— Что же вы ждете? Развѣ вы не слышите, что̀ на дворѣ?

Мы прислушались и сами еще хуже ея поблѣднѣли: въ своихъ заботахъ мы на погоду вниманія не обращали, а теперь слышимъ гулъ: ледъ идетъ!

Выскочилъ я и вижу, онъ уже сплошной во всю рѣку претъ, какъ звѣрье какое бѣшеное, крыга на крыгу скачетъ, другъ на дружку такъ и прядаютъ, и шумятъ, и ломаются.

Я, себя не помня, кинулся къ лодкамъ, ихъ ни одной нѣтъ: всѣ унесло... У меня во рту языкъ осметкомъ сталъ, такъ что никакъ его не сомну, и ребро за ребро опустилось, точно я въ землю ухожу... Стою и не двигаюсь, и голоса не даю.

А пока мы тутъ во тьмѣ мечемся, англичанка, оставшись тамъ въ избѣ одна съ Михайлицей и узнавъ, въ чемъ задержка, схватила икону и... выскакиваетъ съ нею черезъ минуту на крыльцо съ фонаремъ и кричитъ:

— Нате, готово!

Мы глянули: у новаго Ангела на ликѣ печать!

Лука сейчасъ обѣ иконы за пазуху и кричитъ:

— Лодку!

Я открываюсь, что нѣтъ лодокъ, унесло.

А ледъ, я вамъ говорю, такъ табуномъ и валитъ, ломится объ ледорѣзы и трясетъ мостъ такъ, что индо слышно, какъ эти цѣпи, на что толсты, въ добрую половицу, а и то погромыхиваютъ.

Англичанка, какъ поняла это, всплеснула руками, да какъ взвизгнетъ нечеловѣческимъ голосомъ: «Джемсъ!» и пала не живая.

А мы стоимъ и одно чувствуемъ:

— Гдѣ же наше слово? что̀ теперь будетъ съ англичаниномъ? что̀ будетъ съ дѣдомъ Мароемъ?

А въ это время въ монастырѣ на колокольнѣ зазвонили третій звонъ.

Дядя Лука вдругъ встрепенулся и воскликнулъ къ англичанкѣ:

— Очнись, государыня, мужъ твой цѣлъ будетъ, а развѣ только стараго дѣда нашего Мароя ветхую кожу станетъ палачъ терзать и доброчестное лицо его клеймомъ обезчеститъ, но быть тому только развѣ послѣ моей смерти! и съ этимъ словомъ перекрестился, выступилъ и пошелъ.

Я вскрикнулъ:

— Дядя Лука, куда ты? Левонтій погибъ и ты погибнешь! да и кинулся за нимъ, чтобъ удержать, но онъ под-

нялъ изъ-подъ ногъ весло, которое я, пріѣхавши, на-земь бросилъ, и, замахнувшись на меня, крикнулъ:

— Прочь! или на смерть ушибу!

Господа, довольно я предъ вами въ своемъ разсказѣ открыто себя малодушникомъ признавалъ, какъ въ то время, когда покойнаго отрока Левонтія на землѣ бросилъ, а самъ на древо вскочилъ, но ей, право, говорю вамъ, что я бы тутъ не испугался весла и отъ дяди Луки бы не отступилъ, но.... угодно вамъ вѣрьте, не угодно нѣтъ, а только въ это мгновеніе не успѣлъ я имя Левонтія вспомнить, какъ промежду имъ и мною во тьмѣ обрисовался отрокъ Левонтій и рукой погрозилъ. Этого страха я не выдержалъ и возринулся назадъ, а Лука стоитъ уже на концѣ цѣпи, и вдругъ, утвердившись на ней ногою, молвитъ сквозь бурю:

— Заводи катавасію!

Головщикъ нашъ Ареѳа тутъ же стоялъ и сразу его послушалъ и ударилъ: «Отверзу уста», а другіе подхватили, и мы катавасію кричимъ, бури-вою сопротивляясь, а Лука смертнаго страха не боится и по мостовой цѣпи идетъ. Въ одну минуту онъ одинъ первый пролетъ перешелъ и на другой спущается... А далѣе? далѣе объяла его тьма, и не видно: идетъ онъ или уже упалъ и крыгами проклятыми его въ пучину забуровило, и не знаемъ мы: молить ли о его спасеніи или рыдать за упокой его твердой и любочестивой души?

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Теперь что же-съ происходило на томъ берегу? Преосвященный владыко архіерей своимъ правиломъ въ главной церкви всенощную совершалъ, ничего не зная, что у него въ это время въ придѣлѣ крали; нашъ англичанинъ, Яковъ Яковлевичъ, съ его соизволенія, стоялъ въ сосѣднемъ придѣлѣ въ алтарѣ и, скравъ нашего Ангела, выслалъ его, какъ намѣревался, изъ церкви въ шинели, и Лука съ нимъ помчался; а дѣдъ же Марой, свое слово наблюдая, остался

подъ тѣмъ самымъ окномъ на дворѣ и ждетъ послѣдней минуты, чтобы какъ Лука не возвратится, сейчасъ англичанинъ отступитъ, а Марой разобьетъ окно и полѣзетъ въ церковь съ ломомъ и съ долотомъ, какъ настоящій злодѣй. Англичанинъ глазъ съ него не спускаетъ и видитъ, что дѣдъ Марой исправенъ, стоитъ на своемъ послушаніи, и чуть замѣтитъ, что англичанинъ лицомъ къ окну прилегаетъ, чтобы его видѣть, онъ сейчасъ киваетъ, что здѣсь, молъ, я—отвѣтный воръ, здѣсь!

И оба такимъ образомъ другъ другу свое благородство являютъ и не позволяютъ одинъ другому себя во взаимовѣріи превозвысить, а къ этимъ двумъ вѣрамъ третія еще сильнѣйшая двизаетъ, но только не знаютъ они, что та третья вѣра творитъ. Но вотъ какъ ударили въ послѣдній звонъ всенощной, англичанинъ и пріотворилъ тихонько оконную форточку, чтобы Марой лѣзъ, а самъ уже готовъ отступать, но вдругъ видитъ, что дѣдъ Марой отъ него отворотился и не смотритъ, а напряженно за рѣку глядитъ и твердисловитъ:

— Перенеси Богъ! перенеси Богъ, перенеси Богъ! а потомъ вдругъ какъ вспрыгнетъ и самъ словно пьяный пляшетъ, а самъ кричитъ:—Перенесъ Богъ, перенесъ Богъ!

Яковъ Яковлевичъ въ величайшее отчаяніе пришелъ, думаетъ:

— Ну, конецъ: глупый старикъ помѣшался, и я погибъ, анъ смотритъ, Марой съ Лукою уже обнимаются.

Дѣдъ Марой шавчитъ:

— Я тебя назиралъ, какъ ты съ фонарями по цѣпи шелъ.

А дядя Лука говоритъ:

— Со мною не было фонарей.

— Откуда же свѣтеніе?

Лука отвѣчаетъ:

— Я не знаю: я не видалъ свѣтенія, я только бѣгомъ бѣжалъ и не знаю, какъ перебѣгъ и не упалъ... точно меня кто подъ обѣ руки несъ.

Марой говоритъ:

— Это Ангелы,—я ихъ видѣлъ и за то я теперь не преполовлю дня и умру сегодня.

А Лукѣ какъ некогда было много говорить, то дѣду онъ не отвѣчаетъ, а скорѣе англичанину въ форточку обѣ иконы подаетъ. Но тотъ взялъ и кажетъ ихъ назадъ.

— Что же, говоритъ,—печати нѣтъ?

Лука говоритъ:

— Какъ нѣтъ?

— Да нѣтъ.

Ну, тутъ Лука перекрестился и говоритъ:

— Ну, кончено! Теперь некогда поправлять. Это чудо церковный Ангелъ совершилъ, и я знаю, къ чему оно.

И сразу бросился Лука въ церковь, протѣснился въ алтарь, гдѣ владыку разоблачали, и, павъ ему въ ноги, говоритъ:

— Такъ и такъ, я святотатецъ, и вотъ что сейчасъ совершилъ: велите меня оковать и въ тюрьму посадить.

А владыка въ мѣру чести своея все то выслушалъ и отвѣтствуетъ:

— Это тебѣ, должно быть, внушительно теперь, гдѣ вѣра дѣйственнѣе: вы, говоритъ,—плутовствомъ съ своего Ангела печать свели, а нашъ самъ съ себя ее снялъ и тебя сюда привелъ.

Дядя говоритъ:

— Вижу, владыко, и трепещу. Повели же отдать меня скорѣе на казнь.

А архіерей отвѣтствуетъ разрѣшительнымъ словомъ:

— Властію, мнѣ данною отъ Бога, прощаю и разрѣшаю тебя, чадо. Приготовься за утро принять пречистое тѣло Христово.

Ну, а дальше, господа, я думаю, нечего вамъ и разсказывать: Лука Кириловъ и дѣдъ Марой утромъ ворочаются и говорятъ:

— Отцы и братіе, мы видѣли славу Ангела господствующей церкви, и все божественное о ней смотрѣніе въ добротолюбіи ея іерарха, и сами къ оной освященнымъ елеемъ

примазались и тѣла, и крови Спаса сегодня за обѣднею пріобщались.

А я какъ давно, еще съ гостинокъ у старца Памвы, имѣлъ влеченіе воедино одушевиться со всею Русью, воскликнулъ за всѣхъ:

— И мы за тобой, дядя Лука! да такъ всѣ въ одно стадо, подъ одного пастыря, какъ ягнятки, и подобрались, и едва лишь тутъ только поняли, къ чему и куда всѣхъ насъ нашъ запечатлѣнный Ангелъ велъ, пролія сначала свои стопы и потомъ распечатлѣвшись ради любви людей къ людямъ, явленной въ сію страшную ночь.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Разсказчикъ кончилъ. Слушатели еще молчали, но, наконецъ, одинъ изъ нихъ откашлянулся и замѣтилъ, что въ исторіи этой все объяснимо, и сны Михайлицы, и видѣніе, которое ей примерещилось въ просоньѣ, и паденіе Ангела, котораго забѣглая кошка или собака на полъ столкнула, и смерть Левонтія, который болѣлъ еще ранѣе встрѣчи съ Памвою, объяснимы и всѣ случайныя совпаденія словъ говорящаго какими-то загадками Памвы.

— Понятно и то, добавилъ слушатель, — что Лука по цѣпи перешелъ съ весломъ: каменщики извѣстные мастера гдѣ угодно ходить и лазить, а весло тотъ же балансиръ; понятно, пожалуй, и то, что Марой могъ видѣть около Луки свѣтеніе, которое принялъ за ангеловъ. Отъ большой напряженности сильно перезябшему человѣку мало ли что могло зарябить въ глазахъ? Я нашелъ бы понятнымъ даже и то, если бы, напримѣръ, Марой, по своему предсказанію, не преполовя дня умеръ...

— Да онъ и умеръ-съ, отозвался Маркъ.

— Прекрасно! И здѣсь ничего нѣтъ удивительнаго восьмидесятилѣтнему старику умереть послѣ такихъ волненій и простуды; но вотъ, что для меня, дѣйствительно, совершенно необъяснимо: какъ могла исчезнуть печать съ новаго Ангела, котораго англичанка запечатала?

— Ну, а это уже самое простое-съ, весело отозвался Маркъ и разсказалъ, что они послѣ этого вскорѣ же нашли эту печать между образомъ и ризою.

— Какъ же это могло случиться?

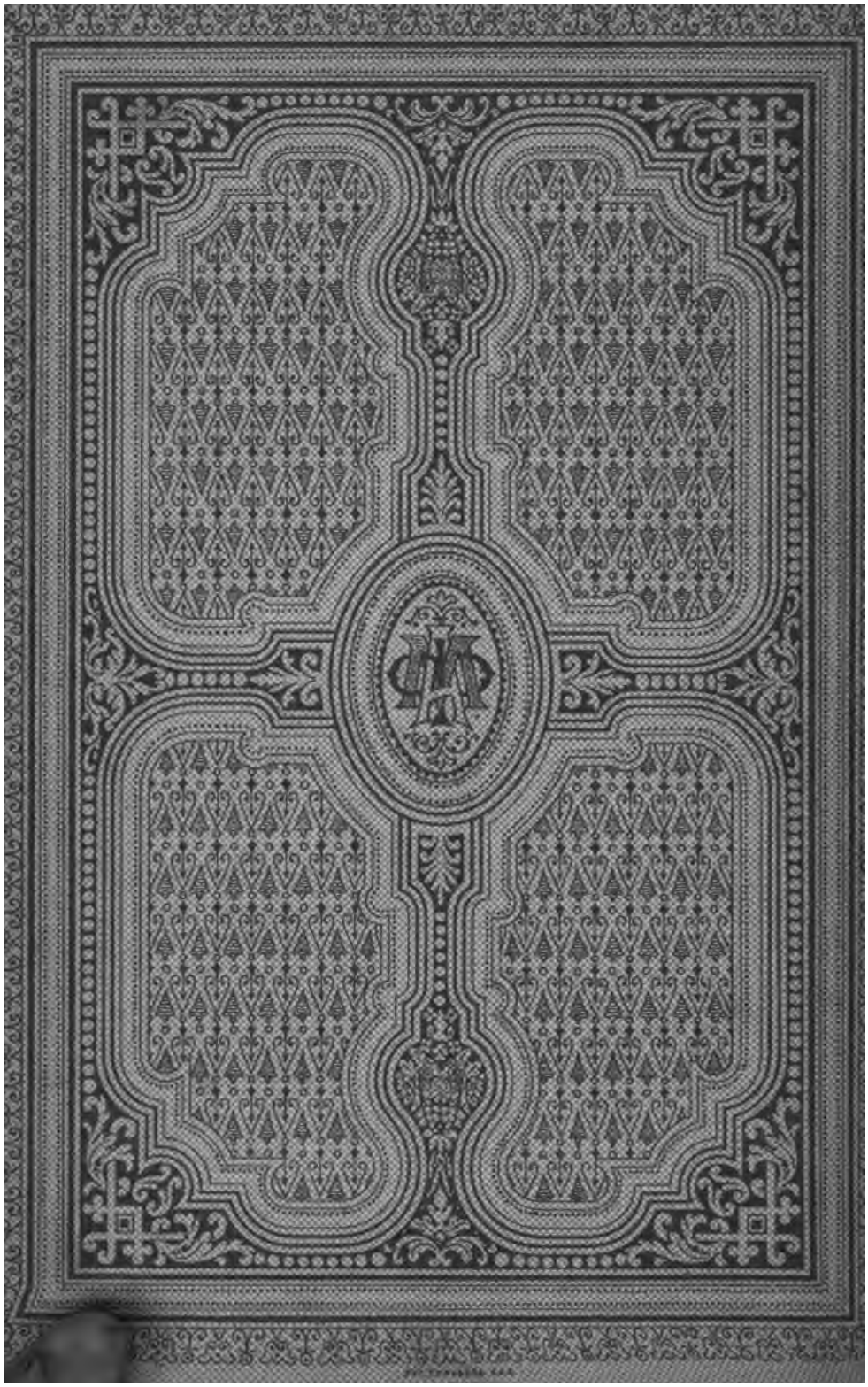
— А такъ: англичанка тоже не дерзнула ангельскій ликъ портить, а сдѣлала печать на бумажкѣ и подвела ее подъ края оклада... Оно это было очень умно и искусно ею устроено, но Лука какъ несъ иконы, такъ онѣ у него за пазухой шевелились и оттого печать и спала.

— Ну теперь, значитъ, и все дѣло просто и естественно.

— Да такъ и многіе располагаютъ, что все это случилось самымъ обыкновеннымъ манеромъ, и даже не только образованные господа, которымъ объ этомъ извѣстно, но и наша братія, въ раздорѣ остающіеся, надъ нами смѣются, что будто насъ англичанка на бумажкѣ подъ церковь подсунула. Но мы противъ таковыхъ доводовъ не споримъ: всякъ какъ вѣритъ, такъ и да судитъ, а для насъ все равно, какими путями Господь человѣка взыщетъ и изъ какого сосуда напоитъ, лишь бы взыскалъ и жажду единодушія его съ отечествомъ утолилъ. А вонъ, мужички-вахлачки, уже вылѣзаютъ изъ-подъ снѣгу. Отдохнули, видно, сердечные, и сейчасъ поѣдутъ. Авось они и меня подвезутъ. Васильева ночка прошла. Утрудилъ я васъ и много кое-гдѣ съ собою выводилъ. Съ новымъ годомъ за то имѣю честь поздравить, и простите, Христа ради, меня невѣжу.

# Оглавленіе I тома.

стр.
Соборяне . . . . . 1
На краю свѣта . . . . . 369
Запечатлѣнный ангелъ. . . . . 449



Stanford University Libraries
3 6105 002 386 956

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

DOC JUN 1 4 1997